ISSN 0130-6545

9.1994

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

В номере:

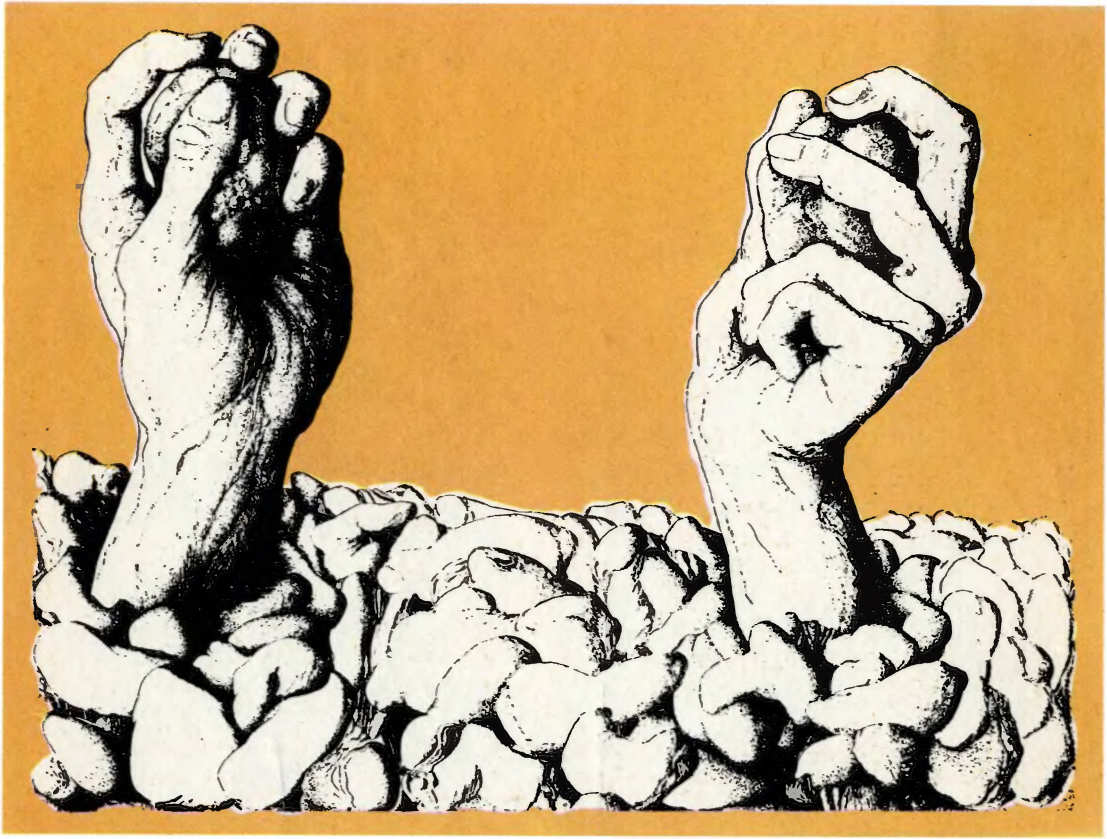
П. ЗЮСКИНД
Голубка

СТЕФАН ГЕЙМ
Агасфер

Х. М. ЭНЦЕНСБЕРГЕР
Великое переселение

Журнал «AKZENTE»

Немецкая литература: поиск истины



Ил 1995

В фокусе нашего внимания по-прежнему будет находиться живой литературный процесс — самые яркие имена, самые заметные произведения. Мы предложим читателю романы, удостоенные престижных премий, попавшие в списки бестселлеров, вызвавшие повышенный интерес критики.

Где бы вы ни жили, подписавшись на «ИЛ», вы окажетесь в самом центре литературной жизни современного мира.

Стараясь сделать минимальным интервал между премьерой книги и ее появлением в русском переводе, редакция ведет переговоры о приобретении прав на публикацию целого ряда новых, но уже знаменитых романов и произведений документальной прозы. Среди наших авторов 1995 года: **УМБЕРТО ЭКО, ДЖУЛИАН БАРНС, ПИТЕР УСТИНОВ, ПИТЕР АКРОЙД, МИЛОШ ФОРМАН, МИЛАН КУНДЕРА, ФЕДЕРИКО ФЕЛЛИНИ, ДАНИЛО КИШ, ЧАРЛЬЗ БУКОВСКИ, ГЮНТЕР ГРАСС, ХАНС МАГНУС ЭНЦЕНСБЕРГЕР, БОРИС ВИАН, АЛЬБЕР КАМЮ** и многие другие.

Подписаться на журнал можно в любом отделении связи. Кроме того, в этом году на журнал можно будет подписаться прямо в редакции — это примерно в полтора раза дешевле. Подписка в редакции будет производиться с 15 сентября до 1 декабря по вторникам (с 17 до 19 часов) и пятницам (с 11 до 19 часов).

Для организаций и частных лиц, желающих материально поддержать журнал, мы устраиваем именную подписку по цене, значительно превышающей каталожную. Обладатели именной подписки, которая продлится до 1 ноября, станут членами Клуба «ИЛ». Состав Клуба будет представлен читателям в январском номере будущего года. Подробности по телефону 233-51-47.

Главный редактор

А. Н. СЛОВЕСНЫЙ

Редакционная коллегия:

Л. Н. ВАСИЛЬЕВА — заведующая отделом художественной литературы
Н. Я. КАЗАРЦЕВА — заведующая отделом критики и публицистики
Г. Ш. ЧХАРТИШВИЛИ — заместитель главного редактора

О. Г. БАСИНСКАЯ — и. о. ответственного секретаря
А. Н. СУСОКОЛОВ — коммерческий директор

Общественный редакционный совет:

С. С. АВЕРИНЦЕВ, В. П. АКСЕНОВ, С. К. АПТ, П. Л. ВАЙЛЬ,
Е. Ю. ГЕНИЕВА, А. А. ГЕНИС, В. П. ГОЛЫШЕВ, Т. П. ГРИГОРЬЕВА,
А. Н. ЕРМОНСКИЙ, В. В. ЕРОФЕЕВ, А. М. ЗВЕРЕВ, Вяч. Вс. ИВАНОВ,
В. Б. ИОРДАНСКИЙ, Т. П. КАРПОВА, Л. З. КОПЕЛЕВ, А. С. МУЛЯРЧИК,
Д. Б. РЮРИКОВ, М. Л. САЛГАНИК, Е. М. СОЛОНОВИЧ, Н. Л. ТРАУБЕРГ,
М. А. ФЕДОТОВ, Б. Н. ХЛЕБНИКОВ

Международный совет:

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ — председатель Совета
ЖОРЖИ АМАДУ (Бразилия), ЭРВЕ БАЗЕН (Франция),
КРИСТА ВОЛЬФ (Германия), ТОНИНО ГУЭРРА (Италия),
МИГЕЛЬ ДЕЛИБЕС (Испания), ЭРНЕСТО КАРДЕНАЛЬ (Никарагуа),
ЗИГФРИД ЛЕНЦ (Германия), АРТУР МИЛЛЕР (США),
АНАНТА МУРТИ (Индия), КЭНДЗАБУРО ОЭ (Япония),
ЙОРДАН РАДИЧКОВ (Болгария),
НГУГИ ВА ТХИОНГО (Кения),
РОБЕРТО ФЕРНАНДЕС РЕТАМАР (Куба),
СЕМБЕН УСМАН (Сенегал), УМБЕРТО ЭКО (Италия)

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1955 ГОДА
УЧРЕДИТЕЛЬ — ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ

9 сентябрь 1994

СОДЕРЖАНИЕ

ПАТРИК ЗЮСКИНД — Голубка *(Повесть. Перевод и послесловие Э. В. Венгеровой)* 5
ХАЙНЦ ЧЕХОВСКИЙ — Стихи *(Перевод и вступление С. Морейно)* . . 33
СТЕФАН ГЕЙМ — Агасфер *(Роман. Перевод Б. Хлебникова)* 37

Из классики XX века

ГЕРМАН ГЕССЕ — Время в саду *(Поэма. Перевод и вступление С. Апта)* 161
ГЕРМАН ГЕССЕ — Сиддхартха *(Индийская поэма. Перевод и комментарий Н. Федоровой)* 170

Литературное наследие

Немецкая эпиграмма *(Вступление С. Морейно)* 219

Публицистика

Х. М. ЭНЦЕНСБЕРГЕР — Великое переселение (Тридцать три фрагмента с одним примечанием о некоторых особенностях охоты на людей) *(Перевод А. Егоршева)* 224
ВОЛЬФ БИРМАН — Отречение *(Перевод А. Егоршева)* 244
МАРК ХАРИТОНОВ — Пригвожденный к работе. Встреча с Юккером . 249

Литературная пресса мира

Журнал «Akzente». *(Перевод и вступление Н. Васильевой)* 254

Т. МОТЫЛЕВА — Из воспоминаний *(Вступление С. Апта)* 276
АНАТОЛИЙ МОШКОВСКИЙ — Константин Богатырев и его время . . 279
Курьер «ИЛ» 283
Немецкая литература на страницах «ИЛ» 286
Авторы этого номера 287

© «Иностранная литература», 1994

В следующем номере «ИЛ»

«Бессмертие» — последний роман МИЛАНА КУНДЕРЫ, изданный сначала во Франции и переведенный на многие языки. Видный критик Ф. Соллерс писал о нем, что это самый продуманный и самый смелый из романов писателя, не похожий на другие романы, очень «французский», интересный не только для интеллектуала, но и для каждого любителя настоящей литературы.

«Любовь в Крыму» — новая пьеса польского писателя СЛАВОМИРА МРОЖЕКА, одного из самых ярких и парадоксальных современных драматургов, широко известного и в нашей стране. На этот раз Мрожек написал пьесу о России в стиле Чехова, действие ее происходит в Крыму в начале века, в 20-е годы и в наши дни.

Иллюстрации номера — графические работы писателя ГЮНТЕРА ГРАССА.

По вопросам, связанным с доставкой нашего журнала, обращаться в Агентство по распространению печати издательства «Известия» по адресу: 103798, ГСП, Москва, К-6, Пушкинская пл., 5.

В Москве журнал можно приобрести в редакции, в Доме книги на Новом Арбате и в киоске Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы.

Художественный редактор **С. И. Мартемьянова**

Технический редактор **С. В. Бейлезон**

Адрес редакции: 109017, Москва, Пятницкая ул., 41. Телефон 233-51-47, факс 233-50-61

Журнал выходит один раз в месяц.

При участии издательства «Известия», Москва, Пушкинская пл., 5.

Сдано в набор 16.06.94. Подписано в печать 25.08.94. Формат 70 × 108 $^{1}/_{16}$. Печать офсетная. Бумага типографская. Усл. печ. л. 25,20. Усл. кр.-отт. 31. Уч.-изд. л. 26,6. Заказ № 4745

Тираж 34 000 экз. Цена по подписке 1700 р.

Полиграфическая фирма «Красный пролетарий». 103473, Москва, Краснопролетарская, 16

ПАТРИК ЗЮСКИНД

Голубка

ПОВЕСТЬ

Перевод Э. В. ВЕНГЕРОВОЙ

Когда произошла эта история с голубем, выбившая из колеи его монотонное существование, Ионатану Ноэлю было уже за пятьдесят, из них последние двадцать он прожил совершенно без всяких событий и даже мысли не допускал, что с ним может произойти что-либо значительное, кроме неизбежной смерти. И его это вполне устраивало. Потому что он терпеть не мог событий, он прямо-таки ненавидел события, нарушающие внутреннее равновесие и вносящие сумятицу во внешний порядок вещей.

Большинство такого рода событий, слава Богу, терялось в сером безвременье его детства и юности, и он предпочитал вообще больше не вспоминать о них, а если и вспоминал, то с величайшим неудовольствием: например, об одном летнем дне в Шарантоне, в июле 1942 года, когда он пришел домой с рыбалки, в тот день была гроза и потом ливень, а до этого долго стояла жара, и на обратном пути он снял ботинки, шел босиком по теплому мокрому асфальту и с наслаждением шлепал по лужам... так вот, он вернулся домой с рыбалки и побежал в кухню, ожидая увидеть там занятую стряпней мать, а матери больше не было, был только ее фартук, он висел на спинке стула. Мать уехала, сказал отец, ей пришлось уехать, надолго. Ее забрали, сказали соседи, сначала на Зимний велодром, а потом отправят в лагерь под Дранси, а из Дранси — на восток, откуда никто не возвращается. И Ионатан не понял, что же произошло, это его совершенно сбило с толку, а через несколько дней исчез и отец, и Ионатан и его младшая сестра вдруг оказались в каком-то поезде, ехавшем на юг, и совершенно незнакомые люди вели их ночью по какому-то лугу и волокли через лес и снова посадили в поезд, ехавший на юг, куда-то далеко, непостижимо далеко, и какой-то дядя, которого они никогда прежде не видели, встретил их в Кавайоне и привел на свою ферму недалеко от местечка Пюже в долине Дюранса и прятал там до конца войны. Потом он отправил их работать на огороды.

В начале пятидесятых — Ионатан уже начинал находить некоторую прелесть в своей батрацкой жизни — дядя потребовал, чтобы он отслужил в армии, и Ионатан послушно завербовался на три года. Весь первый год ушел только на то, чтобы привыкнуть к мерзостям стадной и казарменной жизни. На второй год его отправили в Индокитай. Большую часть третьего года он провалялся в лазарете с огнестрельными ранами в ступне и голени и амебной дизентерией. Вернувшись весной 1954 года в Пюже, он не застал сестры, говорили, что она эмигрировала в Канаду. Теперь дядя потребовал, чтобы Ионатан незамедлительно женился, а именно на девушке по имени

© 1987 by Diogenes Verlag AG, Zürich

Мари Бакуш из соседней деревни Лори, и Ионатан, который еще и в глаза не видел этой девушки, покорно и даже с удовольствием согласился, ибо хотя он имел довольно туманное представление о браке, он все же надеялся обрести наконец-то состояние монотонного покоя и бессобытийности, которое было единственным, к чему он стремился. Но уже через четыре месяца Мари родила мальчика и той же осенью сбежала с каким-то тунисцем — торговцем фруктами из Марселя.

Из всех этих происшествий Ионатан сделал вывод, что полагаться на людей нельзя и, чтобы жить спокойно, следует держаться от них подальше. И поскольку он к тому же стал посмешищем всей деревни и это его раздражало — не из-за насмешек, а из-за того, что он привлекал к себе всеобщее внимание,— он впервые в жизни принял самостоятельное решение: пошел в банк «Креди агриколь», снял со счета свои сбережения, собрал чемодан и уехал в Париж.

Тут ему дважды очень повезло. Он нашел работу охранника в банке на Рю де Севр, и еще он нашел себе пристанище, так называемую chambre de bonne на седьмом этаже доходного дома на Рю де ла Планш. Чтобы попасть в эту комнату, нужно было пересечь задний двор, подняться по узкой лестнице черного хода и пройти по узкому коридору, тускло освещенному единственным окном. В коридор выходили две дюжины комнатушек с серыми нумерованными дверьми, в самом конце коридора располагалась комната Ионатана, номер 24: три метра сорок в длину, два метра двадцать в ширину и два метра пятьдесят в высоту. Всю обстановку составляли кровать, стол, стул, электрическая лампочка и вешалка, больше ничего. Только в конце шестидесятых электропроводка была улучшена настолько, что можно было подключить к ней плиты и обогреватели; к комнатам подвели воду и установили в них раковины и колонки. А до этого все обитатели чердачного этажа, если они не прятали у себя контрабандной спиртовки, питались всухомятку, спали в нетопленных комнатах и стирали носки и мыли посуду холодной водой в единственной на весь коридор умывалке рядом с общей уборной. Все это вполне устраивало Ионатана. Он искал не комфорта, а надежного пристанища, которое принадлежало бы ему, и только ему, которое защитило бы его от неприятных неожиданностей жизни и из которого никто больше не посмел бы его изгнать. Впервые войдя в комнату 24, он сразу понял: вот оно, то, чего ты, собственно, всегда желал, здесь ты останешься навсегда. (Говорят, совершенно то же самое происходит с некоторыми мужчинами при так называемой любви с первого взгляда, когда они молниеносно решают, что впервые увиденная ими женщина — это женщина на всю жизнь, которой они овладеют и с которой останутся до конца своих дней.)

Ионатан Ноэль снял эту комнату за пять тысяч старых франков в месяц, отсюда он каждое утро уходил на службу на расположенную поблизости Рю де Севр, сюда возвращался вечерами с хлебом, колбасой, яблоками и сыром, ел, спал и был счастлив. По воскресеньям он вообще не выходил из дому, убирал комнату и застилал постель свежей простыней. Так он и жил, спокойный и довольный, из года в год, десятилетие за десятилетием.

Некоторые внешние условия жизни за это время изменились, например, квартирная плата, тип жильцов. В пятидесятых годах соседние комнаты снимало еще довольно много служанок, молодых семейных пар, встречались и пенсионеры. Позже все чаще стали въезжать и выезжать испанцы, португальцы, североафриканцы. С конца шестидесятых большинство жильцов составляли студенты, но и они схлынули. Наконец некоторые комнаты перестали сдаваться внаем, они опустели или служили своим владельцам — господам из дорогих квартир на нижних этажах — в качестве чуланов для рухляди или запасных спален для гостей. Комната Ионатана — номер 24 — с течением времени стала довольно комфортабельным обиталищем. Он купил себе новую кровать, встроил шкаф, застелил семь с половиной квадратных метров пола серым ковром, обклеил красными лакированными обоями угол с плитой и раковиной. У него было радио,

телевизор и утюг. Продукты он уже не вывешивал, как когда-то, в мешочке за окно, а хранил в крошечном холодильнике под раковиной, так что у него даже летом в самую сильную жару масло больше не таяло, а ветчина не сохла. Над изголовьем кровати он прибил полку, на которой стояло не меньше семнадцати книг, а именно трехтомный карманный медицинский словарь, несколько великолепно иллюстрированных изданий — о кроманьонцах, о технике литья в эпоху бронзы, о Древнем Египте, об этрусках и о Французской революции, одна книга о парусных судах, одна о флагах, одна о фауне тропиков, два романа Александра Дюма-отца, мемуары Сен-Симона, поваренная книга с рецептами густых супов, «Малый Ларусс» и «Краткий справочник для сотрудников охраны служебных помещений с особым учетом инструкций по использованию табельного пистолета». Под кроватью хранилась дюжина бутылок красного вина, в том числе одна бутылка Chateau Cheval Blanc grand cru classe, которую он собирался распить в день своего выхода на пенсию в 1998 году. Тщательно подогнанная система электрических лампочек позволяла Ионатану сидеть и читать газету в трех местах своей комнаты, а именно в ногах и в изголовье своей кровати, а также за столиком, так что при этом свет не бил в глаза, а на газету не падала тень.

Правда, из-за многочисленных приобретений комната стала еще меньше, она как бы разрослась внутрь, как раковина, в которой накопилось слишком много перламутра, и благодаря своим разнообразным приспособлениям напоминала скорее каюту корабля или роскошное купе спального вагона, чем простую chambre de bonne. Однако за прошедшие тридцать лет она сохранила свое существенное свойство: для Ионатана она была и оставалась надежным островом в ненадежном мире, его твердой опорой, его прибежищем, его возлюбленной, да, возлюбленной, ибо когда он по вечерам возвращался с работы, она, эта маленькая комната, нежно обнимала его, она его согревала и защищала, она питала его душу и тело, она была всегда готова принять его и никогда его не покидала. Она в самом деле была в его жизни единственным, на что можно было положиться. И поэтому он ни на минуту не допускал мысли, что ему придется расстаться с ней, даже теперь, когда ему было уже за пятьдесят и подчас бывало трудновато взбираться по крутым лестницам на седьмой этаж, и жалованье позволило бы нанять настоящую квартиру с собственной кухней, клозетом и ванной. Он оставался верным своей возлюбленной и даже намеревался еще сильнее привязать себя к ней, а ее к себе. Он хотел сделать их отношения навеки нерушимыми, то есть купить ее. Он уже заключил договор с владелицей, мадам Лассаль. Это обойдется ему в пятьдесят пять тысяч новых франков. Сорок семь тысяч он уже выплатил. Остальные восемь тысяч будут уплачены к концу года. И тогда она станет принадлежать только ему, и ничто на свете, до самой смерти, не сможет разлучить их: Ионатана и его любимую комнату.

Так обстояли дела, когда в августе 1984 года, как-то утром в пятницу, произошла эта история с голубкой.

Ионатан только что встал. Он надел домашние туфли и набросил халат, чтобы, как всегда утром, перед бритьем, посетить туалет на этаже. Прежде чем открыть дверь, он приложил ухо к притолоке и прислушался, нет ли кого-нибудь в коридоре. Он не любил встречаться с соседями, тем более по утрам, в пижаме и купальном халате, а уж тем более по дороге в клозет. Ему было бы весьма неприятно обнаружить, что туалет занят; а уж встретиться с кем-нибудь из жильцов перед уборной... одна мысль о такой встрече приводила его в ужас. Она случилась с ним один-единственный раз, летом 1959 года, двадцать пять лет назад, и, вспоминая о ней, он содрогался: этот одновременный испуг при виде другого человека, одновременная потеря анонимности в ситуации, которая прямо-таки вопияла об анонимности, одновременное отшатывание и снова продвижение вперед, одновременное бормотание любезностей, только после вас, ах нет, после вас, месье, но мне совсем не к спеху, нет, нет, сперва вы, прошу вас... и все

это в пижаме! Нет, он не желал больше никогда испытывать что-либо подобное, и он больше никогда не испытал ничего подобного благодаря своему профилактическому прислушиванию. Он знал на этаже каждый звук. Он мог расшифровать каждый треск, каждый скрип, каждый тихий всплеск или шорох, даже тишину. И теперь — всего на несколько секунд приложив ухо к двери — он совершенно точно знал, что в коридоре не было никого, что туалет свободен, что все еще спят. Левой рукой он повернул головку автоматического замка с секретом, правой — отодвинул собачку английского замка, щеколда отошла, он легко потянул дверь на себя, и она отворилась.

Он почти уже переступил порог, он уже занес ногу, левую, он чуть было не сделал шаг — и тут он увидел ее. Она сидела перед его дверью, примерно в двадцати сантиметрах от порога, в белесом отблеске утреннего света, проникавшего через окно. Сидела, уцепившись красными когтистыми лапами за бордовый плинтус коридора, в гладком, свинцово-сером оперенье: голубка.

Она склонила голову набок и уставилась на Ионатана своим левым глазом. Этот глаз — маленький, круглый диск, карий с черной точкой зрачка — внушал ужас. Он походил на пуговицу, пришитую к головному оперенью; без ресниц, без бровей, совершенно голый, он был бесстыдно обращен вовне и жутко открыт; но в то же время в нем была какая-то сдержанная закрытость; и все же он не казался ни открытым, ни закрытым, а просто безжизненным, как линза фотоаппарата, поглощающая весь внешний свет и не выпускающая изнутри ни единого луча. В этом глазе не было ни блеска, ни мерцания, ни единой искры, ничего живого. Это был глаз без взгляда. И он пялился на Ионатана.

Он испугался до смерти — так, вероятно, он описал бы потом этот момент, но описание было бы неточным, потому что испуг пришел позже. Скорее, он был до смерти изумлен.

Может быть, пять, может быть, десять секунд — ему они показались вечностью — он стоял, застыв на пороге своей двери, держась рукой за собачку английского замка и занеся ногу, не в силах двинуться ни взад, ни вперед. Потом произошло какое-то едва заметное движение. То ли голубка переступила с одной лапы на другую, то ли немного распушила перья — во всяком случае, ее тело встрепенулось, и одновременно веки ее сомкнулись, одно — сверху, другое — снизу, собственно, даже не веки, а какие-то резинообразные клапаны, которые поглотили глаз, как возникшие из ничего губы. На какой-то момент глаз исчез. И только теперь Ионатана пронизал страх, теперь, просто от ужаса, у него встали дыбом волосы. Он отпрянул назад, в комнату, и захлопнул дверь, пока глаз голубки не успел открыться снова. Он повернул автоматический замок с секретом, доковылял три шага до кровати и сел, дрожа, с бешено колотящимся сердцем. Лоб был ледяным, и он почувствовал, как на затылке и вдоль позвоночника выступает пот.

Первая его мысль была о том, что сейчас с ним случится инфаркт, или инсульт, или по меньшей мере сосудистый криз; ты как раз в подходящем возрасте, подумал он, когда человеку за пятьдесят — самое время для подобного несчастья. И он повалился боком на постель, и натянул одеяло на мерзнувшие плечи, и стал ожидать судорожных болей, колотья в груди и под лопаткой (он как-то прочел в своем карманном медицинском справочнике, что именно так проявляются неопровержимые симптомы инфаркта или медленного угасания сознания). Но ничего подобного не произошло. Пульс успокоился, кровь снова равномерно заструилась по сосудам головы и конечностей, не было и признаков паралича, характерных для инсульта. Ионатан мог шевелить пальцами ног и рук и двигать мускулами лица, а возможность корчить гримасы была знаком, что с органической и неврологической точек зрения все более или менее в порядке.

Зато в его мозгу заклубилась хаотическая масса совершенно неуправляемых пугающих мыслей, словно там, у него в голове, кричала и била крыльями стая черных ворон. «С тобой покончено! — каркали они.— Ты

стар и немощен! Голубка запугает тебя до смерти, ты боишься ее, она загнала тебя назад, в комнату, она погубит тебя, возьмет в полон. Ты умрешь, Ионатан, умрешь, если не сейчас, то скоро, а твоя жизнь была ошибкой, ты ее прошляпил, раз тебя может привести в ужас какая-то голубка, ты должен ее убить, но ты не умеешь убивать, ты и мухи не обидишь, впрочем, муху-то ты убьешь, или мокрицу, или клеща, но никогда тебе не убить кровное существо, теплокровное создание весом в один фунт, скорее ты убьешь человека, этак ненароком, пиф-паф, это быстро, получается маленькая дырка, диаметр восемь миллиметров, это дело чистое и позволительное, это разрешается в порядке самозащиты, параграф первый служебной инструкции для сотрудников вооруженной внутренней и внешней охраны, это даже предписывается, и никто, ни один человек тебя не упрекнет, если ты застрелишь человека, напротив, но голубка? Как застрелить голубку? Она же трепещет крыльями, легко промахнуться, стрелять в голубя грубо и непристойно, это запрещено, это приведет к лишению служебного оружия, к потере рабочего места, ты попадешь в тюрьму, если станешь стрелять в голубку, нет, убить ее ты не можешь, но и жить, жить с ней ты тоже не сможешь, никогда; в доме, где живет птица, человек больше не может жить, птица — это воплощение хаоса и анархии, птица шныряет туда-сюда, за все цепляется, выклевывает глаза, она везде гадит и рассеивает заразные бактерии и вирусы менингита, она не останется одна, она приманит других голубей, это повлечет за собой половые отношения, начнется размножение, они плодятся с бешеной скоростью, целая стая голубей окружит тебя, возьмет в кольцо, ты больше не сможешь выйти из комнаты, умрешь с голоду, задохнешься в собственных испражнениях, тебе остается выброситься из окна и размозжиться о мостовую, да нет, где тебе, струсишь, запрешься в своей комнате и будешь звать на помощь, кричать, чтобы вызвали пожарную команду с лестницами и спасли тебя от какой-то птицы, от голубки! Ты станешь посмешищем всего дома, посмешищем всего квартала, на тебя станут показывать пальцами и кричать: «Это месье Ноэль! Тот, кто умолял спасти его от птички!», и тебя упекут в психиатрическую клинику: о Ионатан, Ионатан, твое положение безнадежно, ты погиб, Ионатан!»

Вот как вопило и каркало у него в голове, и Ионатан был так смущен и впал в такое отчаяние, что сделал нечто, чего не делал с детских лет, он смиренно сложил руки для молитвы и запричитал: «Боже мой, Боже, почему ты меня оставил? За что меня так караешь? Отче наш, иже еси на небесех, спаси меня от этой голубки, аминь!» Это не было, как мы видим, настоящей молитвой, скорее бормотанием каких-то обрывочных воспоминаний о его рудиментарном религиозном воспитании. Однако это помогло, потому что потребовало определенного сосредоточения и тем самым вспугнуло неразбериху мыслей. Кое-что помогло ему еще больше. Дело в том, что, едва договорив до конца свою молитву, он почувствовал такое непреоборимое желание помочиться, что понял: если ему не удастся облегчиться в течение ближайших нескольких секунд, он запачкает постель, на которой лежит, великолепную перину и даже прекрасный серый ковер. Это совершенно вывело его из себя. Застонав, он поднялся, с отчаянием взглянул на дверь... нет, сквозь эту дверь ему не пройти, даже если проклятая птица исчезла, ему уже не добежать до туалета... он подошел к раковине, сорвал с себя халат, спустил штаны, открыл кран и помочился в раковину.

Он никогда прежде не делал ничего подобного. Самая мысль о том, чтобы мочиться в красивую, белую, отчищенную до блеска раковину, предназначенную для умывания и мытья посуды, была чудовищной! Никогда, никогда он не думал, что может пасть так низко, что он вообще физически в состоянии совершить такое кощунство. И теперь, глядя, как неудержимо, без всякого стеснения льется его моча, как она смешивается с водой и бурлит и исчезает в отверстии, чувствуя блаженное облегчение в низу живота, он одновременно испытал такой стыд, что разрыдался. Когда все было кончено, он еще некоторое время не закрывал кран и основательно вычистил раковину жидким моющим средством,

дабы устранить малейшие следы совершенного непотребства. «Один раз не в счет,— бормотал он про себя, словно извиняясь перед раковиной, перед комнатой или перед самим собой,— один раз не в счет, это была уникальная критическая ситуация, это, разумеется, никогда больше не повторится...»

Теперь он немного успокоился. Мытье раковины, возвращение на место бутылки с моющим средством, выжимание тряпки — привычные, приносящие умиротворение операции — снова вернули ему чувство времени. Он взглянул на часы. Было ровно четверть восьмого. Обычно в четверть восьмого он уже бывал выбрит и приступал к уборке постели. Сегодня он опаздывал, но он еще успеет наверстать упущенное время, если в крайнем случае не позавтракает. Если не завтракать, прикидывал он, то можно даже выиграть семь минут по сравнению с обычным распорядком. Главное — выйти из комнаты не позже чем в пять минут девятого, а в четверть девятого он обязан быть в банке. Он пока не придумал, как справится с этой задачей, но у него еще оставалось в запасе три четверти часа. Это было много. Три четверти часа — большой срок, если ты только что заглянул в глаза смерти и едва избежал инфаркта. Это вдвое больше времени, если ты не испытываешь императивного давления со стороны переполненного мочевого пузыря.

Итак, он решил для начала вести себя так, словно ничего не случилось, и заняться своими обычными утренними делами. Он напустил в раковину горячей воды и побрился.

Во время бритья он предался глубоким размышлениям. «Ионатан Ноэль,— говорил он себе,— ты два года служил солдатом в Индокитае и не раз выходил целым из еще худших передряг. Собери все свое мужество, всю смекалку, всю выдержку, и если повезет, ты сумеешь совершить прорыв из своей комнаты. Но даже если и сумеешь? Допустим, ты в самом деле прорвешься мимо этого отвратительного существа перед твоей дверью, невредимо достигнешь лестницы черного хода и окажешься в безопасности. Ты сможешь отправиться на службу, сможешь дожить до конца дня — но что тебе делать дальше? Куда ты пойдешь сегодня вечером? Где будешь ночевать?» Ибо для него было непреложным фактом, что, даже ускользнув от голубки один раз, встречать ее второй раз он не собирался, ни при каких обстоятельствах; он не смог бы прожить с ней под одной крышей ни единого дня, ни единой ночи, ни единого часа. Значит, он должен быть готов провести эту ночь и, может быть, следующие ночи в каком-нибудь пансионе. Это означало, что ему придется взять с собой бритвенный прибор, зубную щетку и перемену белья. Кроме того, понадобится чековая книжка и на всякий случай — сберегательная книжка. Этого хватит на две недели, при условии, что он найдет дешевый отель. Если голубка и потом все еще будет блокировать его комнату, придется снимать деньги со срочного вклада. На срочном вкладе у него лежало шесть тысяч франков, целая куча денег. На это он сможет несколько месяцев жить в отеле. И кроме того, он же получает жалованье, три тысячи семьсот франков в месяц чистыми. С другой стороны, в конце года он собирался выплатить мадам Лассаль восемь тысяч франков, последний взнос за комнату. За его комнату. За ту комнату, где он даже не будет жить. А как он изложит мадам Лассаль просьбу об отсрочке последнего платежа? «Мадам, я не могу уплатить вам последний взнос, потому что уже несколько месяцев живу в отеле, поскольку комната, которую я хочу у вас купить, блокирована одной голубкой»? Вряд ли у него достанет духу сказать такое... Тут он вспомнил, что у него еще есть пять золотых монет, пять наполеондоров, из которых каждая тянет не меньше чем на шестьсот франков, он купил их в 1958-м, во время алжирской войны, из страха перед инфляцией. Только бы не забыть взять их с собой, только бы не забыть... И еще у него был узкий золотой браслет его матери. И транзисторный приемник. И очень приличная посеребренная шариковая ручка, все служащие банка получили такие ручки в подарок к Рождеству. Если продать эти сокровища, можно, соблюдая строжайшую экономию, жить в отеле до Нового года и все-таки

уплатить последний взнос мадам Лассаль. С 1 января положение должно исправиться, ведь тогда он уже станет владельцем комнаты и ему не придется платить квартплату. А может быть, голубка не переживет зиму. Сколько живут голуби? Два года? Три? Десять лет? А может, эта уже старая? Может, она умрет через неделю? Может, она умрет уже сегодня? Может, она вообще появилась только для того, чтобы умереть...

Он закончил бритье, выпустил воду из раковины, ополоснул ее, снова напустил воды, вымылся до пояса, вымыл ноги, почистил зубы, снова спустил раковину и насухо вытер ее тряпкой... Потом убрал постель.

Под шкафом у него стоял старый фибровый чемодан для грязного белья, раз в месяц он ходил с ним в прачечную. Вытащив чемодан, он опорожнил его и поставил на кровать. Это был тот самый чемодан, с которым он приехал в Париж в пятьдесят четвертом году. Когда он снова увидел на своей постели этот старый чемодан и начал укладывать в него не грязное, а чистое белье, пару туфель, бритвенный прибор, утюг, чековую книжку и драгоценности — как будто собирался в путешествие,— его глаза снова наполнились слезами, но слезами не стыда, а тихого отчаяния. Ему показалось, что жизнь отбросила его на тридцать лет назад, что он потерял тридцать лет своей жизни.

Когда он уложил чемодан, было без четверти восемь. Он оделся: сначала, как обычно, надел мундир (серые брюки, синяя рубашка, кожаная куртка, кожаная портупея с карманом для пистолета, серая форменная фуражка). Затем он снарядился для встречи с голубкой. Самое большое омерзение у него вызывала мысль о том, что она может войти с ним в физический контакт, например, клюнуть его в лодыжку или, вспорхнув, задеть крыльями его руки или шею или даже просто усесться на него, вцепившись своими когтистыми растопыренными лапами. Поэтому он вместо легких туфель натянул высокие грубые кожаные сапоги на толстой подошве из бараньей кожи, которые обычно надевал только в январе или в феврале, влез в зимнее пальто, застегнул его на все пуговицы сверху донизу, замотал шею до самого подбородка шерстяным шарфом и защитил руки кожаными перчатками на подкладке. В правую руку он взял зонт. Снаряженный таким образом, он приготовился к прорыву из квартиры. Было без семи минут восемь.

Он снял форменную фуражку и приложил ухо к двери. Тихо. Он снова надел фуражку, глубже надвинул ее на лоб, взял чемодан и поставил его наготове у двери. Чтобы освободить правую руку, он повесил зонт на запястье, ухватился правой рукой за собачку английского замка, левой рукой за головку автоматического замка с секретом, оттянул задвижку и приоткрыл дверь на ширину щели. Он выглянул в коридор.

Перед дверью голубки не было. На полу, где она сидела, находились теперь изумрудно-зеленые кляксы величиной с пятифранковую монету, а в воздухе тихо дрожало крошечное белое пуховое перо. Ионатан вздрогнул от отвращения. Ему захотелось немедленно снова захлопнуть дверь. Всем существом он инстинктивно отшатнулся назад, назад в свою надежную комнату, прочь от того омерзительного, что было снаружи. Но тут он увидел, что то пятно, та клякса была не единственной, что пятен было много, что весь участок коридора в поле его зрения был заляпан изумрудно-зелеными, влажно мерцавшими пятнами. И тогда произошла странная вещь: множество отвратительных знаков не только не усилили омерзения Ионатана, но, напротив, укрепили его волю к сопротивлению: перед одной-единственной кляксой он бы, наверное, отступил и закрыл бы дверь, навсегда. Но то, что голубка явно загадила своим пометом весь коридор — эта обыденность ненавистного явления,— мобилизовало всю его отвагу. Он распахнул дверь.

Теперь он увидел голубку. Она сидела справа, на расстоянии полутора метров, вжавшись в угол в конце коридора. Туда попадало так мало света, и Ионатан бросил столь короткий взгляд в этом направлении, что не смог рассмотреть, спала она или бодрствовала, был ли ее глаз открыт или закрыт. Да он и не хотел этого знать. Он предпочел бы не видеть ее вовсе.

В книге о тропической фауне он как-то прочел, что некоторые животные, в частности орангутанги, бросаются на человека только тогда, когда тот смотрит им в глаза; если их проигнорировать, они оставят тебя в покое. Может быть, это касается и голубей. Во всяком случае, Ионатан решил сделать вид, что голубки больше нет, по крайней мере, не смотреть на нее.

Он медленно вытащил за дверь чемодан и осторожно протащил его по коридору между зелеными кляксами. Потом раскрыл зонт, держа его левой рукой перед грудью и лицом, словно щит, двинулся по коридору, стараясь не наступить на кляксы на полу, и закрыл за собой дверь. Несмотря на все усилия сделать вид, что ничего не случилось, он все-таки снова струсил, сердце чуть не выскочило из груди, пальцы в перчатке с трудом извлекли из кармана ключ, но при этом Ионатана била такая нервная дрожь, что он чуть не выронил зонт, и пока он правой рукой подхватывал зонт, чтобы зажать его между плечом и щекой, ключ и в самом деле упал на пол, едва не угодив в одну из клякс, и пришлось нагнуться, чтобы поднять его, а когда наконец ключ оказался в руке, то от возбуждения Ионатан трижды промахнулся, прежде чем воткнул ключ в скважину и дважды повернул. В этот момент ему послышался за спиной шорох крыльев... или он просто задел зонтом за стену?.. Но потом он снова отчетливо расслышал короткий сухой хлопок крыльев, и тут его охватила паника. Он рванул ключ из замка, рванул к себе чемодан и бросился вон, обдирая об стену раскрытый зонт, грохая чемоданом в двери других комнат. В середине коридора он наткнулся на створки раскрытого настежь окна, протиснулся мимо них, волоча за собой зонт, так стремительно и неуклюже, что обтяжка разлетелась в клочья, но он и внимания не обратил, ему было все равно, только бы прочь отсюда, прочь, прочь.

Только достигнув лестничной клетки, он на мгновение остановился, чтобы закрыть ставший помехой зонт, и оглянулся назад: ясные лучи утреннего солнца падали через окно, образуя четкий квадрат света на сумрачной тени коридора. Свет слепил глаза, и, только прищурившись и напрягая зрение, Ионатан увидел, как где-то там, далеко позади, голубка вышла из темного угла, сделала несколько быстрых ковыляющих шагов вперед и затем снова уселась прямо перед дверью его комнаты.

Он с омерзением отвернулся и стал спускаться по лестнице. В этот момент он был твердо уверен, что никогда больше не сможет прийти сюда снова.

Спускаясь по лестнице, он понемногу успокаивался. На площадке третьего этажа, обливаясь потом, он вдруг осознал, что на нем все еще зимнее пальто, шарф и сапоги на меху. В любой момент из дорогих нижних квартир через кухонные двери на черный ход могла выйти какая-нибудь служанка, отправленная за покупками, или месье Риго, имевший привычку выставлять сюда свои пустые винные бутылки, или даже сама мадам Лассаль, мало ли по какой причине,— она ведь встает рано, мадам Лассаль, она и теперь уже встала, весь подъезд благоухал назойливым ароматом ее утреннего кофе... а вдруг мадам Лассаль откроет кухонную дверь и выглянет на черный ход, а перед ней на лестнице — Ионатан в нелепом зимнем облачении, а на дворе август и вовсю светит солнце... такое неприличие нельзя просто оставить без внимания, ему придется объясняться, а что он скажет? Придется лгать, но что? Его теперешнему виду невозможно найти никакого приемлемого объяснения. Его только примут за сумасшедшего. Может быть, он и вправду сошел с ума.

Он поставил чемодан, вынул из него туфли и быстро стащил с себя перчатки, пальто, шарф и сапоги, затолкал в чемодан шарф, перчатки и сапоги, а пальто перекинул через руку. Теперь вроде он никого не шокирует своим видом. В случае надобности он всегда может сказать, что несет белье в прачечную, а зимнее пальто — в чистку. Эта мысль принесла облегчение, и он продолжил свой спуск.

Во дворе он столкнулся с консьержкой, которая как раз ввозила с улицы на тележке пустые мусорные баки. Он остановился как вкопанный,

не в силах двинуться ни взад, ни вперед. Путь к отступлению в подъезд был отрезан, она уже заметила его, пришлось двигаться дальше. «Добрый день, месье Ноэль»,— бросила она, проходя мимо нарочито наглой походкой.

«Добрый день, мадам Рокар»,— только и мог пробормотать он. Больше они не обменялись ни словом. За десять лет, что она служила в доме, он не сказал ей ничего, кроме «Добрый день, мадам», «Добрый вечер, мадам» и «Спасибо, мадам», когда она вручала ему почту. Не то чтобы он имел что-то против нее. Ее нельзя было назвать приятной. Она была такой же, как ее предшественница и как предшественница ее предшественницы. Такой же, как все консьержки: неопределенный возраст — не то под пятьдесят, не то под семьдесят, шаркающая походка, полноватая фигура, мучнистый цвет лица, затхлый запах. Она либо ввозила и вывозила мусорные баки, мыла лестницы, спешила за покупками, либо сидела при неоновом свете в своей маленькой каморке в крытом проходе между двором и улицей и, включив телевизор, шила, гладила, варила и напивалась дешевым красным вином и вермутом, как всякая другая консьержка. Нет, он действительно ничего против нее не имел. Просто он вообще терпеть не мог консьержей, потому что консьержи — это люди, которые в силу своей профессии постоянно следят за другими людьми. А мадам Рокар, в частности, была тем человеком, который постоянно следил, в частности, за ним, Ионатаном. Было совершенно невозможно пройти мимо мадам Рокар так, чтобы она не приняла вас к сведению и не проводила хотя бы самым коротким, едва заметным взглядом. Даже когда она засыпала, сидя на своем стуле в привратницкой — что случалось главным образом в ранние послеобеденные часы и после ужина,— достаточно было легкого скрипа входной двери, чтобы она на несколько секунд проснулась и оглядела входящего. Никто на свете так часто и так пристально не глядел на Ионатана, как мадам Рокар. Друзей у него не водилось. В банке он принадлежал, так сказать, к инвентарю. Клиенты смотрели на него как на реквизит. В супермаркете, на улице, в автобусе (он уж и забыл, когда ездил на автобусе!) его анонимность гарантировалась массой других людей. Одна-единственная мадам Рокар знала и узнавала его в лицо и по меньшей мере дважды в день без всякого стеснения удостаивала своим откровенным вниманием. При этом она могла получить о нем весьма интимные сведения, как-то: как он одевается; сколько раз в неделю меняет рубашку; вымыл ли голову; что он принес домой на ужин; получает ли письма и от кого. И хотя Ионатан, как было сказано, в самом деле не имел никаких личных претензий к мадам Рокар, и хотя он прекрасно знал, что ее нескромные взгляды следует приписать отнюдь не любопытству, но профессиональному чувству долга, он все равно постоянно ощущал их на себе как молчаливый упрек, и каждый раз, проходя мимо мадам Рокар — вот уже в течение многих лет,— чувствовал, что его захлестывает короткая, горячая волна возмущения: «Какого черта она снова пялится на меня? Почему снова устраивает мне проверку? Почему раз и навсегда не оставит меня в покое? Почему каждый раз узнает? Почему люди так назойливы?»

И так как сегодня из-за произошедших событий он был особенно раздражителен и считал, что выставляет на всеобщее обозрение убожество своего существования в виде чемодана и зимнего пальто, пристальные взгляды мадам Рокар показались ему особенно презрительными, а ее обращение «Добрый день, месье Ноэль!» — откровенным издевательством. И волна возмущения, которую он до сих пор сдерживал за прочной дамбой вежливости, прорвалась наружу в виде внезапного приступа ярости: он сделал нечто такое, чего не делал никогда. Уже пройдя мимо мадам Рокар, он остановился, поставил на землю чемодан, положил на него свое зимнее пальто и обернулся, полный отчаянной решимости наконец хоть как-то противостоять беспардонности ее взглядов и приставаний. Подходя к ней, он еще не знал, что сделает или скажет. Взметнувшаяся в нем волна возмущения несла его с собой, и отвага его не имела границ.

Она уже сгрузила мусорные баки и собиралась удалиться в свою каморку, когда он задержал ее почти посреди двора. Они остановились

примерно в полуметре друг от друга. Он еще никогда так близко не видел ее мучнистого лица. Пористая кожа на щеках показалась ему нежной, как старая хрупкая папиросная бумага, а в ее глазах, карих глазах, если смотреть с близкого расстояния, не было больше никакой презрительной беспардонности, скорее что-то мягкое, почти по-девичьи робкое. Но и при виде этих подробностей — которые, право же, мало соответствовали представлению, составленному им о мадам Рокар,— Ионатан не дал ввести себя в заблуждение. Чтобы придать своему выступлению официальный оттенок, он прикоснулся пальцами к форменной фуражке и произнес довольно резким голосом: «Мадам! Я должен вам кое-что сказать!» (До этого мгновения он все еще не знал, что, собственно, он собирался ей сказать.)

«Что, месье Ноэль?» — спросила мадам Рокар и едва заметным судорожным движением откинула голову назад.

Она похожа на птицу, подумал Ионатан, на маленькую испуганную птицу. И он резким тоном повторил свое обращение: «Мадам, я хотел бы сказать вам следующее...», чтобы, к своему собственному изумлению, услышать, как все еще взмывающее вверх возмущение без всякого участия с его стороны преобразуется во фразу: «Перед моей комнатой находится какая-то птица, мадам,— и дальше, уточняя,— голубь, мадам. Сидит на полу перед моей комнатой». И только на этом месте ему удалось обуздать рвущуюся как бы из подсознания речь и направить ее в определенное русло: «Эта птица, мадам, уже загадила весь коридор на седьмом этаже».

Мадам Рокар несколько раз переступила с одной ноги на другую, еще сильнее откинула голову назад и сказала: «Откуда тут голубь?»

«Не знаю,— произнес Ионатан.— Вероятно, птица проникла через окно. Окно в коридоре раскрыто настежь. Окна должны быть всегда закрыты. Это предусмотрено правилами домового распорядка».

«Наверное, студенты открыли,— сказала мадам Рокар,— из-за жары».

«Возможно,— сказал Ионатан.— Тем не менее окно должно быть закрыто. Особенно летом. Если начнется гроза, оно может захлопнуться, а стекло разбиться. Однажды это уже произошло, летом 1962 года. Замена стекла обошлась тогда в пятьдесят пять франков. С тех пор в правилах домового распорядка значится, что окно должно всегда оставаться закрытым».

Он, конечно, заметил, что в его постоянных ссылках на правила домового распорядка было что-то смешное. И его вовсе не интересовало, каким образом голубка проникла в коридор. Он вообще не желал вдаваться в дискуссии о голубке, эта ужасная проблема касалась только его. Он хотел дать выход своему возмущению назойливыми взглядами мадам Рокар, больше ничего, и сделал это в первых фразах. Теперь его возмущение улеглось. Теперь ему было больше нечего сказать.

«Надо прогнать голубя и закрыть окно»,— сказала мадам Рокар. Сказала так, словно это было самое простое на свете дело и словно потом все будет в порядке. Он завяз взглядом в глубине ее карих глаз, еще немного, и он начнет погружаться в мягкое коричневое болото, и ему пришлось на секунду закрыть глаза, чтобы снова выбраться из этой глубины и перевести дух и снова обрести голос.

«Дело в том,— начал он, еще раз переведя дух,— дело в том, что там полно помета. Везде зеленые следы. И перья. Она запачкала весь коридор. В этом основная проблема».

«Разумеется, месье,— сказала мадам Рокар,— коридор надо вымыть. Но сначала нам нужно прогнать птицу».

«Да,— сказал Ионатан,— да, да...», и подумал: «Что она имеет в виду? Чего хочет? Почему говорит «нам»? Может, она думает, что эту голубку прогоню я?» И он пожалел, что вообще рискнул обратиться к мадам Рокар.

«Да, да...— лепетал он,— ее нужно, нужно прогнать. Я... я бы и сам ее давно прогнал, но не успел. Я тороплюсь. Видите, у меня с собой белье и зимнее пальто. Мне необходимо отнести пальто в чистку, а белье в прачечную, а потом успеть на службу. Я очень тороплюсь, мадам, поэтому и не прогнал эту голубку. Я просто ставлю вас в известность. Прежде всего из-за следов. Загрязнение коридора птичьим пометом — это главная проблема,

это нарушение правил домового распорядка. В правилах домового распорядка значится, что коридор, лестница и туалет должны постоянно содержаться в чистоте».

Он не мог припомнить, чтобы когда-либо в жизни говорил столь пространно и путано. Казалось, ложь так и лезла в глаза, а единственная правда, которую должна была закамуфлировать ложь, что он никогда и ни за что на свете не смог бы прогнать голубку и что, напротив, голубка сама уже прогнала его, обнажалась самым мучительным образом. И даже если мадам Рокар не расслышала этой правды в его словах, она теперь, очевидно, прочтет ее по его лицу, ибо он чувствовал, как ему становится жарко, как кровь бросается в голову и как пылают от стыда его щеки.

Однако мадам Рокар сделала вид, что ничего не замечает (или она и вправду ничего не заметила?), и только сказала: «Спасибо за указание, месье. При случае я займусь этим делом». Она опустила голову, сделала большой крюк, обходя Ионатана, и, шаркая шлепанцами, направилась к уборной возле привратницкой, где и скрылась.

Ионатан поглядел ей вслед. Если в нем еще теплилась слабая надежда, что кто-то может спасти его от голубки, то теперь эта надежда исчезла, как исчезла из поля его зрения мадам Рокар, скрывшаяся за дверью уборной. «Ничем она не займется,— подумал он.— И не подумает. Очень ей нужно. Она всего лишь консьержка и, как таковая, обязана мести лестницу и коридор и раз в неделю мыть общий клозет, а не прогонять какую-то голубку. К вечеру накачается вермутом и забудет про все это, если не забыла уже сейчас, сию же секунду...»

Точно в восемь пятнадцать Ионатан появился у банка, ровно за пять минут до того, как прибыли заместитель директора месье Вильман и мадам Рок, старший кассир. Они вместе открыли главный портал: Ионатан — внешнюю раздвижную решетку, мадам Рок — внешнюю бронированную стеклянную дверь, месье Вильман — внутреннюю бронированную стеклянную дверь. Затем Ионатан и месье Вильман отключили сигнализацию, Ионатан и мадам Рок открыли двойную огнеупорную дверь в подвальный этаж, мадам Рок и месье Вильман спустились в подвал, чтобы своими взаимодополняющими ключами открыть хранилище, а Ионатан, который тем временем запер в подсобке около туалета чемодан, зонт и зимнее пальто, встал около внутренней бронированной стеклянной двери и начал впускать постепенно прибывавших на работу служащих, нажимая попеременно на две кнопки, из коих одна автоматически отодвигала щеколду на внешней, а вторая — на внутренней бронированной стеклянной двери, по принципу шлюза. В восемь сорок пять все служащие были в сборе, каждый занял рабочее место у окошка, в кассовом зале или в кабинетах, и Ионатан покинул банк, чтобы занять свой пост на мраморных ступенях перед главным порталом. Собственно, это и была его настоящая служба.

Эта служба вот уже тридцать лет состояла лишь в том, что Ионатан с девяти утра до часу дня и с половины третьего до половины шестого проводил время, стоя перед порталом или перемещаясь, всегда размеренным шагом, вверх и вниз по трем нижним ступеням мраморной лестницы. Примерно в половине десятого и где-то между половиной пятого и пятью это занятие ненадолго прерывалось прибытием и соответственно отъездом черного лимузина месье Ределя, директора банка. Следовало оставить пост на мраморной лестнице, спешно пройти примерно двенадцать метров вдоль здания до арки ворот, ведущих во двор, поднять тяжелую стальную решетку, приложить руку в знак почтительного приветствия к козырьку фуражки и пропустить лимузин. Нечто подобное могло случиться рано утром или в поздние послеполуденные часы, когда появлялся бронированный автомобиль фирмы Бринк «Транспортировка ценных грузов». Перед ним также следовало открыть стальную решетку, его тоже полагалось приветствовать, но не поднося почтительно к виску всю ладонь, а мимолетным дружеским жестом касаясь козырька указательным пальцем. Других дел не было. Ионатан стоял, глядел прямо перед собой и ждал. Иногда он глядел на свои

ноги, иногда на тротуар, иногда на кафе на другой стороне улицы. Иногда он прохаживался по самой нижней ступени — семь шагов налево, семь шагов направо — или покидал нижнюю ступень и становился на второй, а иногда, если солнце слишком уж припекало и от жары под козырьком фуражки скапливался пот, он даже взбирался на третью снизу ступень, куда падала тень от козырька портала, чтобы там на короткий миг снять фуражку и утереть рукавом влажный лоб, остаться стоять, глядеть и ждать.

Однажды он подсчитал, что до выхода на пенсию ему предстояло провести, стоя на этих трех мраморных ступенях, семьдесят пять тысяч часов. Тогда он наверняка стал бы человеком, который дольше всех в Париже и даже во всей Франции простоял бы на одном и том же месте. Вероятно, он и теперь, проведя на мраморных ступенях только пятьдесят пять тысяч часов, является таким человеком. Ведь в городе осталось очень немного штатных сторожей. Большинство банков заключили контракты с так называемыми фирмами по охране объектов, и те присылают им молодых, широко расставляющих ноги, глядящих исподлобья парней, которых через несколько месяцев, часто даже через несколько недель, сменяют другие, такие же молодые и такие же угрюмые парни — якобы по соображениям психологической эффективности труда. Говорят, внимание охранника ослабевает, если он слишком долго служит на одном и том же месте; восприятие происходящих вокруг событий притупляется; он становится вялым, равнодушным и тем самым неспособным к исполнению своих обязанностей...

Чушь! Ионатану лучше знать: внимание охранника ослабевает уже через несколько часов. Свое окружение, то бишь сотни людей, входящих в банк, он не воспринимал сознанием с первого дня, да в этом и не было никакой нужды, потому что грабителя все равно нельзя отличить от клиента. И даже если бы охранник мог распознать грабителя и попытался его остановить, то был бы убит, мертв, прежде чем успел бы расстегнуть кобуру: ведь у грабителя всегда есть преимущество внезапности.

Охранник, считал Ионатан, подобен сфинксу (в одной из своих книг он однажды читал о сфинксах). Он производит впечатление не действиями, а простым физическим присутствием. Все, что он может противопоставить грабителю,— это свое присутствие, и только. «Ты вынужден пройти мимо меня,— говорит сфинкс осквернителю могил,— я не могу тебя остановить, но ты должен пройти мимо меня; и если ты дерзнешь совершить это, тебе придется меня застрелить, и тебя настигнет месть правосудия в виде приговора за убийство!»

Конечно, Ионатан прекрасно знал, что в распоряжении сфинкса имеются куда более действенные средства, чем у охранника. Охранник не может рассчитывать на месть богов. И даже в том случае, если грабитель плевать хотел на грядущее возмездие, сфинксу не грозит почти никакая опасность. Сфинкс вырублен из базальта, высечен из цельной скалы, отлит в металле или прочно зацементирован. Сфинкс без труда переживет осквернение гробницы на пять тысяч лет... А охраннику в случае ограбления банка придется расстаться с жизнью уже через каких-нибудь пять секунд. И все-таки они были похожи, сфинкс и охранник, считал Ионатан, ибо власть того и другого не была исполнительной, она была символической. И только благодаря осознанию этой символической власти, которая составляла его гордость и его достоинство, которая придавала ему силы и стойкость, которая защищала его лучше, чем внимательность, оружие или бронированное стекло, Ионатан простоял на мраморных ступенях, охраняя банк, вот уже тридцать лет, без страха, без сомнений в себе, без малейшего чувства недовольства и без угрюмого выражения лица — до сегодняшнего дня.

Но сегодня все было иначе. Сегодня Ионатану никак не удавалось обрести спокойствие сфинкса. Уже через несколько минут он ощутил груз собственного тела как болезненное давление на подошвы, перенес центр тяжести с левой ноги на правую и снова на левую, при этом его слегка зашатало, и ему пришлось сделать несколько маленьких шагов в сторону, чтобы сохранить равновесие, а ведь прежде он умел всегда держать тело

в строго вертикальном положении. К тому же у него вдруг начался зуд на бедре, зачесались грудь и затылок. Через некоторое время ему показалось, что лоб стал сухим и зашелушился, как бывает зимой, а ведь теперь стояла жара, хотя времени было всего четверть десятого, невыносимая, неподобающая жара, лоб вспотел так, словно сейчас уже половина двенадцатого... чесались руки, грудь, спина, ноги до самого низа, зудело везде, где была кожа, он готов был расчесать себя всего, жадно, безудержно, но ведь охраннику не положено чесаться на глазах у всех! И он глубоко вздохнул, выпятил грудь, напряг и расслабил мускулы спины, приподнял и опустил плечи и таким образом потерся изнутри о свою одежду, чтобы доставить себе облегчение. Эти непривычные поеживания и подергивания снова вывели его из равновесия, для сохранения которого было уже недостаточно маленьких шагов в сторону, и Ионатан был вынужден еще до появления лимузина месье Ределя, то есть до половины десятого, отказаться от стояния на посту в позе статуи и перейти к патрулированию взад-вперед, семь шагов налево, семь шагов направо. При этом он пытался зафиксировать взгляд на металлической бровке второй мраморной ступени и перемещать его туда-сюда, как вагончик по надежному рельсу, чтобы этот равномерно вводимый в поле зрения вид окантованного металлом края ступени установил внутри него желанную невозмутимость сфинкса, которая заставила бы его забыть о тяжести собственного тела и зуде по всей коже и вообще обо всей странной неразберихе плоти и духа. Но ничего не вышло. Вагончик постоянно сходил с рельса. Взгляд то и дело отрывался от проклятой бровки, и в поле зрения попадали совсем другие вещи: обрывок газеты на тротуаре; нога в голубом носке; женская спина; корзина с хлебом; ручка внешней бронированной стеклянной двери; светящийся красный ромб табачного киоска у кафе напротив; велосипед; соломенная шляпа; чье-то лицо... Но зафиксировать взгляд, вобрать в себя некий образ, чтобы остановиться и сориентироваться, никак не удавалось. Едва справа в поле зрения оказывалась соломенная шляпа, как слева наезжал автобус, увлекая взгляд за собой вниз по улице, но уже через несколько метров его сменял белый спортивный «кабриолет», снова уводивший внимание по улице вверх, а в это время соломенная шляпа исчезала: взгляд напрасно разыскивал ее среди прохожих, среди множества шляп, останавливался на какой-то розе, подрагивавшей на совсем другой шляпе, отрывался от нее, наконец снова падал на бровку ступени, снова не мог остановиться, устремлялся дальше, не находя покоя, перескакивал с точки на точку, с пятна на пятно, с линии на линию... Казалось, сегодня в воздухе висело какое-то горячее мерцание, характерное только для самого жаркого июльского полдня. Все вещи окутывала прозрачная дрожащая дымка. Контуры домов, линии крыш, фронтоны с пронзительной яркостью вычерчивались на фоне неба, но в то же время лохматились, словно обшитые бахромой. Края дождевых желобов и зазоры между каменными плитами тротуара, обычно прямые, словно проведенные по линейке, сегодня извивались искрящимися кривыми. А все женщины были одеты в броские платья, они, как языки пламени, проносились мимо, увлекая за собой взгляд, но все-таки не давали ему задержаться на себе. Все очертания расплывались. Ничего нельзя было ясно рассмотреть. Все мелькало и мельтешило.

Что-то у меня с глазами, думал Ионатан. За одну ночь я стал близоруким. Нужны очки. Ребенком ему пришлось один раз носить очки, не сильные, минус семьдесят пять сотых диоптрии для правого и левого. Странно, что эта близорукость снова докучает ему в пожилом возрасте. Он где-то читал, что с возрастом у людей развивается дальнозоркость, а близорукость проходит. Может быть, он страдает не классической близорукостью, а чем-то таким, чему очки не помогут, может, у него бельмо, или глаукома, или отслойка роговицы, или рак глаза, или опухоль мозга, которая давит на глазной нерв...

Он был так поглощен этими ужасными мыслями, что короткие повторные гудки автомобиля не сразу дошли до его сознания. Только после четвертого или пятого гудка — теперь уже продолжительных —

он услышал, и отреагировал, и поднял голову: действительно, перед воротами уже стоял черный лимузин месье Ределя! Раздался еще один гудок, и из машины ему даже помахали рукой, значит, лимузин простоял уже несколько минут. Перед воротами с опущенной решеткой! Лимузин месье Ределя! Как же он прозевал его приближение? Обычно он ощущал его, даже не оглядываясь, угадывал по едва слышному гудению мотора, он, как собака, сумел бы расслышать лимузин месье Ределя даже сквозь сон и тут же проснуться...

Он не поторопился, он бросился к нему бегом, чуть было не упав в спешке, он отпер ворота, распахнул их, отдал честь, чувствуя, как колотится сердце и дрожит рука у козырька фуражки.

Заперев ворота, он вернулся на свой пост; он весь взмок от пота. «Ты прошляпил лимузин месье Ределя,— бормотал он дрожащим от отчаяния голосом и все повторял, словно в бреду: — Ты прошляпил лимузин месье Ределя... ты его прошляпил, ты не справился со службой, ты грубо пренебрег своими обязанностями, ты не только ослеп, ты оглох, ты беспомощен и стар, ты больше не годишься на должность охранника».

Он добрался до нижней ступени мраморной лестницы, взобрался на нее и попытался снова принять достойную позу. Он сразу понял, что ему это не удалось. Плечи не желали держаться прямо, руки болтались у лампасов. Он знал, что в этот момент выглядит комично, но ничего не мог с этим поделать. С тихим отчаянием он глядел на тротуар, на улицу, на кафе напротив. Мерцание воздуха улеглось. Вещи снова приняли вертикальное положение, линии выпрямились, мир перед его глазами обрел отчетливость очертаний. Он слышал шум транспорта, шорох автобусных шин, крики официантов из кафе, постукиванье женских каблуков. Его слух и зрение ничуть не ухудшились. Но со лба градом лил пот. Он чувствовал слабость. Он повернулся, поднялся на вторую ступень, поднялся на третью ступень и встал в тени, вплотную к колонне рядом с внешней бронированной стеклянной дверью. Заведя руки за спину, так что они касались колонны, он стал мягко отклоняться назад, опираясь на руки и колонну, пока не прислонился к ней, впервые за тридцать лет. И на несколько секунд прикрыл глаза. Так ему было стыдно.

В обеденный перерыв он забрал из подсобки чемодан, пальто и зонт и отправился на близлежащую улицу Сент-Пласид, в маленький отель, где жили в основном студенты и рабочие-иностранцы. Он попросил самый дешевый номер, ему предложили такой за пятьдесят пять франков, он взял его, не осматривая, оплатил, оставил свои вещи у администратора. В каком-то ларьке купил себе два рогалика с изюмом и пакет молока и перешел на другую сторону улицы в сквер Бусико, маленький парк рядом с универмагом. Сел на скамью в тени и поел.

На третьей от него скамейке расположился клошар. Поставив между коленями бутылку белого вина, он держал в руке полбатона, а рядом с ним на скамье лежал кулек с копчеными сардинами. Он вытаскивал из кулька сардины одну за другой, откусывал им головы, выплевывал, а остаток отправлял в рот. За сардиной следовал кусок хлеба, большой глоток вина из бутылки и блаженный стон. Ионатан знал этого нищего. Зимой он всегда сидел у черного входа в магазин на решетках над котельной; а летом — перед лавчонками на улице де Севр или у почты. Он жил в этом квартале десятилетия, так же долго, как Ионатан. И Ионатан вспомнил, как тогда, тридцать лет назад, впервые увидев клошара, пережил что-то вроде приступа бешеной зависти, зависти к беззаботному образу жизни этого человека. Ионатан являлся на службу ежедневно ровно в девять, а клошар часто волынил до десяти или даже до одиннадцати; Ионатан должен был стоять столбом, а тот разваливался с комфортом на каком-нибудь куске картона и при этом курил; Ионатан, рискуя жизнью, час за часом, день за днем охранял банк и в поте лица зарабатывал на хлеб насущный, а этот тип только и делал, что полагался на сострадание и участие своих ближних, которые кидали ему в шапку наличные. И никогда он, казалось, не бывал

в дурном настроении, даже если его шапка оставалась пустой, никогда он, казалось, не страдал, не испытывал страха и не скучал. От него всегда исходили возмутительное самодовольство и самоуверенность, провоцирующе выставленная на всеобщее обозрение аура свободы.

Но однажды, в середине шестидесятых, осенью Ионатан шел на почту на улицу Дюпен и перед входом чуть не споткнулся о бутылку вина, стоявшую на куске картона между пластиковым пакетом и знакомой шапкой с несколькими монетами... Непроизвольно оглянувшись в поисках клошара, не потому, что хотел видеть именно эту личность, а потому, что в натюрморте с бутылкой, пакетом и куском картона не хватало главного элемента, он обнаружил его на противоположной стороне улицы между двумя припаркованными автомобилями и увидел, как тот справляет свою нужду: клошар сидел на корточках у придорожной канавы, брюки спущены до коленных чашек, зад обращен к Ионатану, зад был совершенно голый, мимо шли прохожие, каждый мог его видеть: белый, мучного цвета зад, расцвеченный синими пятнами и красноватыми струпьями, который выглядел таким же истрепанным, как зад прикованного к постели старика, а ведь этот человек был не старше его, лет тридцати, самое большее тридцати пяти. И из этого истерзанного зада била на тротуар струя коричневой жижи, в огромном количестве и с неимоверной силой, она образовывала лужу, озеро, заливала башмаки, а летевшие во все стороны брызги пачкали носки, лодыжки, брюки, рубашку — все...

Зрелище было таким мерзким, таким омерзительным, что Ионатан еще и сегодня содрогается при одном воспоминании о нем. Тогда он на момент замер от ужаса, а потом вбежал в спасительную почту, оплатил счет за электричество, купил еще почтовых марок, хотя они были ему вовсе не нужны, только чтобы продлить свое пребывание на почте и увериться, что при выходе больше не застанет клошара за его занятием. Уходя с почты, он сощурился, и опустил взгляд, и заставил себя не смотреть на противоположную сторону, а решительно повернуть налево и двигаться вверх по улице Дюпен, и туда он и побежал, налево, хотя ничего там не забыл, просто чтобы не проходить мимо того места с винной бутылкой, картоном и шапкой, и сделал большой крюк, пройдя по улице Шерш-Миди и бульвару Распай, пока не достиг наконец улицы де ла Планш и своей комнаты, этого надежного убежища.

С того часа в душе Ионатана угасла всякая зависть к клошару. И с тех пор, когда в нем время от времени начинало шевелиться легкое сомнение, есть ли для человека смысл проводить треть жизни стоя у ворот банка, иногда открывая ворота и отдавая честь лимузину директора, проделывать одно и то же, получать за это короткий отпуск и маленькое жалованье, большая часть которого бесследно исчезает в виде налогов, квартплаты и взносов на социальное страхование... есть ли во всем этом смысл, то ответ тут же вставал перед его глазами с отчетливостью ужасного зрелища, которое он наблюдал на улице Дюпен: да, смысл есть. И даже очень большой смысл, ибо это избавляло его от перспективы публично обнажать зад и справлять нужду прямо на улице. Что может быть ужаснее, чем публично обнажать зад и испражняться на улице? Что может быть унизительнее, чем эти спущенные штаны, эта поза на корточках, эта вынужденная, уродливая нагота? Что может быть беспомощнее и постыднее, чем осуществлять эту мучительную процедуру на глазах у всего света? Справлять нужду! Уже само слово указывало на принудительность этого акта. И как всякое принудительное действие, акт требовал ради того, чтобы быть хоть как-то переносимым, отсутствия посторонних или чего-то, что скрывало бы его от посторонних глаз: леса, если ты находишься за городом; кустарника, если ты пересекаешь поле; или хотя бы борозды, или сумерек, или, если их нет, хорошо обозримого полигона, окруженного забором длиной в километр, за который никто не имеет права заглянуть. А в городе? Где люди так и кишат? Где никогда не бывает по-настоящему темно? Где даже заброшенный пустырь вокруг развалин не создает достаточной защиты от назойливых взглядов? В городе, чтобы дистанцироваться от людей, можно

только спрятаться в чулан с хорошим замком и щеколдой. Если у вас его нет, этого надежного приюта, где можно справить нужду, вы самый убогий, самый жалкий человек в любом месте на земле. Ионатан обошелся бы и малыми деньгами. Он мог бы себе представить, что ходит в поношенной куртке и обтрепанных брюках. Если на то пошло и если бы он призвал на помощь все свое романтическое воображение, он смог бы представить себя спящим на куске картона и ограничить интимность своего жилища каким-нибудь углом, решеткой отопительного люка, лестничным спуском на станции метро. Но если в большом городе вы даже не можете захлопнуть за собой дверь, чтобы опорожнить желудок, пусть хотя бы дверь клозета на этаже, если человека лишают этой одной, самой важной свободы, а именно свободы по собственной необходимости удаляться от других людей, тогда все другие свободы ничего не стоят. Тогда жизнь не имеет более смысла. Тогда лучше умереть.

Когда Ионатан постиг, что сущность человеческой свободы заключается во владении клозетом и что он располагает этой сущностной свободой, его охватило чувство глубокого удовлетворения. Да, он правильно устроил свою жизнь! Он вел весьма и весьма счастливое существование. Не было ничего, совершенно ничего такого, о чем стоило бы сожалеть или в чем завидовать другим людям.

С того часа он утвердился на своем посту перед воротами банка. Он стоял там, словно был отлит из бронзы. Те самые солидные самодовольство и самоуверенность, которые он до сих пор предполагал в клошаре, влились в него, как расплавленный металл, застыли, образовали внутреннюю броню и придали ему вес. Впредь он не позволит ничему потрясти себя и не даст прорасти никакому сомнению. Он обрел невозмутимость сфинкса. Теперь, встречая или замечая клошара где-нибудь на улице, он испытывал к нему чувство, которое принято называть терпимостью: весьма прохладную смесь отвращения, презрения и сострадания. Этот человек более не возбуждал его. Этот человек был ему безразличен.

Он был безразличен ему вплоть до сегодняшнего дня, когда Ионатан оказался в сквере Бусико, где сидел на скамье, поглощал рогалики с изюмом и пил молоко из пакета. Обычно на обеденный перерыв он уходил домой. Ведь он жил всего в пяти минутах ходьбы отсюда. Обычно дома он готовил себе на плитке омлет, или яичницу с ветчиной, или вермишель с тертым сыром, или подогревал остатки вчерашнего супа, да еще салат и чашка кофе. С тех пор, как он последний раз сидел в обеденный перерыв на скамейке в парке, и ел рогалики с изюмом, и пил молоко из пакета, прошла целая вечность. Он, в общем-то, не любил сладкого. И молоко не очень. Но сегодня он уже истратил на отель пятьдесят пять франков; поэтому ему показалось расточительством идти в кафе и заказывать там омлет, салат и пиво.

Клошар на своей скамейке покончил с обедом. За сардинами и хлебом последовали сыр, груши и кексы, большой глоток из бутылки и вздох глубокого удовлетворения, а потом он свернул свою куртку, подложил ее под голову, как подушку, и растянулся на скамье во всю длину своего ленивого, сытого тела и предался послеобеденному покою. Теперь он спал. Подскакали воробьи и склевали крошки, затем, соблазненные воробьями, к скамье подобрались голуби и стали подбирать своими черными клювами оборванные головки сардин. Клошару птицы не мешали. Он спал крепко и мирно.

Ионатан рассматривал его. И пока он его рассматривал, его самого охватило странное беспокойство. Это беспокойство вызывалось не завистью, как когда-то, но удивлением: как это возможно — спрашивал он себя,— чтобы этот человек, которому за пятьдесят, все еще оставался в живых? Ведь при таком абсолютно безответственном образе жизни он должен был бы давно помереть с голоду, замерзнуть, заболеть циррозом печени — так или иначе погибнуть! А он вместо этого ест и пьет с большим аппетитом, спит сном праведника и в своих залатанных штанах — разумеется, не тех, которые он спускал тогда, на улице Дюпен, а относительно

приличных, почти модных, только кое-где подновленных вельветовых брюках,— и в своей хлопчатобумажной куртке производит впечатление вполне благополучной личности, живущей в полном согласии с миром и наслаждающейся жизнью... в то время как он, Ионатан, и его изумление постепенно разрасталось в какую-то нервозную скачку и путаницу мыслей, а он, кто прожил жизнь честным, порядочным человеком, скромно, без претензий, почти аскетически и чисто, кто всегда был законопослушным и пунктуальным, солидным, благонадежным... кто самостоятельно заработал каждое су, которое у него имелось, кто всегда платил за все: за электричество, за квартиру, за рождественский презент для консьержки... и никогда не делал долгов, никогда никому не был в тягость, даже ни разу не болел и не опаздывал платить страховку... никогда никому не причинял никакого зла, никогда, никогда не желал в жизни ничего, кроме сохранения и гарантии своего маленького личного душевного покоя... он в свои пятьдесят три года сломя голову несется в пропасть, переживает крушение всей своей тщательно продуманной жизненной программы, погружается в сумятицу чувств, и сходит с ума, и вынужден есть рогалики с изюмом просто под влиянием смущения и страха. Да, он боялся! Всевышний — свидетель, как он дрожал и трусил, глядя на этого спящего клошара: его охватывал внезапный необоримый страх стать таким, как этот конченый человек там, на скамейке. Как быстро можно обеднеть и опуститься на дно! Как быстро разрушается, казалось бы, прочный фундамент собственного существования! «Ты прошляпил лимузин месье Ределя,— снова пронеслось у него в мозгу.— То, чего никогда не случалось и не должно было никогда случиться, все-таки произошло сегодня: ты прошляпил этот лимузин. Сегодня ты упустил лимузин, а завтра ты, может быть, упустишь работу вообще, может, потеряешь ключ от ворот, а со следующего месяца тебя с позором уволят, и новой работы тебе не найти, кому же охота нанимать растяпу? На пособие по безработице не прожить, свою комнату ты уже и так потерял, теперь там живет голубка, целое семейство голубей занимает, загаживает и разоряет твою комнату, счета непомерно растут, ты с горя напиваешься, пьешь все больше, пропиваешь все сбережения, погрязаешь в этой трясине, откуда нет выхода, заболеваешь, стервенеешь, опускаешься, у тебя заводятся вши, тебя прогоняют из твоего последнего, самого дешевого пристанища, у тебя нет больше ни единого су, перед тобой ничто, пустота, тебя вышвыривают на улицу, ты спишь, живешь на улице, испражняешься на улице, с тобой все кончено, Ионатан, еще до конца года с тобой будет покончено, и ты, как этот клошар, будешь лежать на скамейке в парке, так же как вон тот, твой вконец опустившийся собрат!

Во рту у него пересохло. Он отвел взгляд от зловещего предупреждения, явленного спящим клошаром, и с трудом проглотил последний кусок рогалика. Прошла целая вечность, прежде чем кусок достиг желудка, он двигался по пищеводу медленно, как улитка, иногда, казалось, вообще застревал и давил и причинял боль, словно какой-то гвоздь буравил ему грудь, и Ионатан думал, что сейчас задохнется, подавившись этим проклятым куском. Но движение возобновлялось, кусок перемещался чуть-чуть и еще чуть-чуть и наконец проник в желудок, судорожная боль отпустила. Ионатан перевел дыхание. Теперь пора идти. Ему не хотелось оставаться здесь дольше, хотя перерыв кончался только через полчаса. С него довольно. Это место ему опротивело. Тыльной стороной ладони он стряхнул крошки, которые, несмотря на всю его осторожность, все-таки просыпались на его форменные брюки, поддернул заглаженную складку, поднялся и пошел прочь, даже не оглянувшись на клошара.

Он уже успел вернуться на улицу де Севр, когда вдруг вспомнил, что оставил на скамье пустой пакет из-под молока, и это было ему неприятно, потому что он терпеть не мог, когда другие люди оставляли мусор на скамейках или выбрасывали прямо на тротуар, а не туда, куда положено, то есть в установленные для этого повсюду урны. Сам он еще никогда не выбрасывал мусор прямо на тротуар, не оставлял его на скамейках, никогда, даже по забывчивости или небрежности, такого с ним просто не

случалось... и потому он не хотел, чтобы это произошло с ним именно сегодня, в этот тяжелый день, когда с ним уже произошло столько несчастий. Ведь он и без того уже сошел с рельсов, и без того вел себя как последний дурак, как невменяемый субъект, почти как асоциальный тип... Прошляпил лимузин месье Ределя! Сидел на скамье в парке и ел на обед рогалики с изюмом! Если теперь он самым решительным образом не возьмет себя в руки, не будет следить за собой, особенно в мелочах, допустит хоть малейшую небрежность в самых незначительных, казалось бы, поступках, вроде того, как он оставил на скамейке пустой пакет, то скоро потеряет всякую опору, и уже ничто в мире не предотвратит его жалкого конца.

Поэтому он повернул направо кругом и пошел обратно в парк. Уже издали он увидел, что скамья, на которой он сидел, была еще свободна, а подойдя ближе, с облегчением заметил белый картон пакета, застрявший между темно-зелеными рейками высокой спинки. Его оплошность, по-видимому, пока еще не привлекла ничьего внимания, он мог исправить непростительную ошибку. Подойдя к скамье сзади, он низко наклонился над спинкой, ухватил левой рукой пакет, снова выпрямился, энергично повернув корпус вправо, примерно в том направлении, где должна была стоять, как он знал, ближайшая урна... и вдруг почувствовал, как что-то резко и сильно дернуло его за брюки — наискосок и вниз, а он не успел отреагировать на этот внезапный рывок, поскольку разворачивался в прямо противоположную сторону — винтовым движением вверх. И в тот же миг раздался отвратительный звук, громкое «трр!», и он почувствовал легкое дуновение над кожей левого бедра, означавшее беспрепятственное проникновение туда воздуха. Его охватил такой ужас, что он не сразу решился взглянуть на бедро. А это «трр!» — оно все еще звучало у него в ушах — было таким невероятно громким, будто у него не просто где-то немного порвались брюки, а будто огромная трещина прошла через него самого, через весь парк, будто после землетрясения разверзлась зияющая пропасть, и все люди вокруг, услышав это чудовищное «трр!», с возмущением воззрились на него, Ионатана, виновника катастрофы. Но никто на него не смотрел. Старухи продолжали вязать, старики — читать газеты, несколько детей, игравших на маленькой площадке, продолжали скатываться с горки, а клошар спал. Ионатан медленно опустил взгляд. Прореха имела примерно двенадцать сантиметров в длину. Она протянулась от нижнего края левого кармана брюк, который и зацепился — при том развороте — за выпирающий из скамьи винт, шла вниз по бедру, но не по шву, а прямо по прекрасному габардину форменных брюк, а потом еще раз поворачивала под прямым углом примерно на два пальца по направлению к складке, так что возникла не просто небольшая дырка, а настоящая дыра, над которой сигнальным флажком трепыхался треугольный лоскут.

Ионатан почувствовал, как адреналин бросился ему в кровь, он как-то читал об этом возбуждающем веществе, которое выделяется в моменты величайшей физической опасности и душевной подавленности, чтобы мобилизовать последние резервы организма на бегство или борьбу не на жизнь, а на смерть. Ему и в самом деле казалось, что он ранен. Как будто разорвались не брюки, а его собственная плоть, и из раны длиной в двенадцать сантиметров течет его кровь, вытекает его жизнь, которой положено циркулировать в совершенно замкнутой системе кровообращения, и он обречен умереть от этой раны, если ему не удастся как можно скорее закрыть ее. Но ведь был еще этот адреналин, странным образом возбуждавший истекающего кровью человека. Его сердце забилось с новой силой, мужество вернулось, мысли вдруг прояснились и обрели целеустремленность. «Ты должен немедленно что-то сделать,— услышал он внутренний призыв,— ты должен сию же минуту что-то предпринять, чтобы закрыть эту дыру, иначе ты погиб!» И прежде чем он задал себе эту задачу, он уже знал решение — вот, значит, как быстро действует адреналин, этот великолепный наркотик, вот как окрыляюще влияет страх на разум и энергию. Он решительно перехватил молочный пакет, который все еще держал в левой

руке, правой рукой, смял его, выбросил, не глядя, все равно куда, на газон, на посыпанную песком дорожку, он не обратил внимания. Высвободившаяся левая рука прикрыла дыру на бедре, и тогда он ринулся прочь, стараясь по возможности не сгибать левую ногу, чтобы рука не соскользнула, отчаянно загребая правой рукой, стремительным дергающимся шагом, свойственным хромым, вылетел пулей из парка и бросился бежать вверх по улице де Севр, у него еще оставалось почти полчаса.

В продуктовом отделе универмага на углу улицы дю Бак работала портниха. Он видел ее всего два дня назад. Она сидела недалеко от входа, там, где составлены коляски для покупок. Над ее швейной машинкой висела табличка с надписью, которую он точно запомнил: «Жанин Топель — подгонка и починка,— тщательно и быстро». Эта женщина ему поможет. Она должна ему помочь — если у ней самой как раз сейчас нет обеденного перерыва. Только бы у нее не было перерыва, нет, нет, нет, это было бы слишком большим невезеньем. Столько невезенья в один день он не выдержит. Не теперь. Не тогда, когда нужда так велика. Когда нужда больше всего, тогда начинает везти, тогда находишь помощь. Мадам Топель будет на своем месте и поможет ему.

Мадам Топель была на своем месте! Он увидел ее, как только вошел в продуктовый отдел, она сидела за своей машиной и шила. Да, на мадам Топель можно было положиться, она работала даже во время обеденного перерыва, тщательно и быстро. Он бросился к ней, встал около швейной машины, отнял руку от бедра, бросил быстрый взгляд на свои наручные часы, было пять минут третьего, перевел дух.

«Мадам!» — начал он.

Мадам Топель довела до конца шов красной юбки, которая была у нее в работе, выключила машину и отпустила держатель иголки, чтобы освободить ткань и обрезать нить. Потом она подняла голову и взглянула на Ионатана. Она носила очень большие очки в толстой перламутровой оправе и с толстыми стеклами, которые делали ее глаза огромными, а глазные впадины — похожими на глубокие тенистые пруды. На вид ей было уже далеко за сорок, может, пятьдесят пять, она носила распущенные гладкие темно-каштановые волосы до плеч, и красила губы серебристо-фиолетовой помадой, и своей манерой держаться напоминала дам, которые гадают на стеклянном шарике или картах, тех несколько опустившихся дам, которым, в сущности, уже не идет определение «дамы» и которые тем не менее сразу же вызывают доверие. И ее пальцы — она сдвинула ими очки слегка вниз по носу, чтобы лучше рассмотреть Ионатана,— ее пальцы, короткие, похожие на колбаски, и все-таки, хотя она много работала руками, ухоженные пальцы с серебристо-фиолетовым маникюром внушали доверие своим полусветским изяществом.

«Что вам угодно?» — спросила мадам Топель хрипловатым голосом.

Ионатан повернулся к ней боком, показал на дыру в брюках и спросил: «Вы можете это починить?» И поскольку ему показалось, что он задал вопрос в слишком грубой форме и тем, вероятно, выдал свое возбуждение, связанное с выбросом адреналина, он прибавил, смягчая впечатление, как можно более небрежным тоном: «Это дырка, небольшая прореха... досадная неловкость, мадам. Можно ли тут чем-нибудь помочь?»

Мадам Топель обратила к Ионатану взгляд своих огромных глаз, обнаружила дыру на бедре и наклонилась, чтобы исследовать ее. При этом гладкая плоскость ее каштановых волос отщепилась, обнаружив короткую, белую, полноватую шею: и тут от нее пахнуло ароматом, таким тяжелым, и приторным, и одуряющим, что Ионатан непроизвольно откинул назад голову и отвел взгляд от близкого затылка, устремив его в даль универмага; и на какой-то момент перед ним предстал весь торговый зал, целиком, со всеми полками, и холодильниками, и прилавками с колбасой, и сыром, и стойками с деликатесами, и пирамидами бутылок, и горами овощей, и со снующими повсюду, толкающими тележки, волочащими за собой маленьких детей покупателями, с продавцами, подносчиками товара, кассиршами,— копошащаяся, несносно жужжащая человеческая масса, на краю которой на всеобщее обозрение выставлен он, Ионатан, в своих разорванных штанах...

И в мозгу у него промелькнула мысль о том, что в этой массе могут оказаться, например, месье Вильман, мадам Рок или сам месье Редель и заметить его, Ионатана, которого публично обследует в довольно сомнительном месте его тела не слишком чистоплотная дама с темно-каштановыми волосами. И его даже немного затошнило, поскольку как раз теперь он, ей-богу, ощутил на коже своего бедра один из похожих на колбаски пальцев мадам Топель, и этот палец приподнимал и опускал, как сигнальный флажок, лоскут надорванного материала...

Но тут мадам снова оторвалась от его бедра, откинулась на спинку стула, и атакующее действие ее духов прекратилось, так что Ионатан смог опустить голову и, отведя взгляд от сумятицы торгового зала, устремить его на внушающую доверие близость больших выпуклых очков мадам Топель.

«Так как же? — спросил он и еще раз повторил: — Как же?» — проявляя то трусливое нетерпение, которое испытывает на приеме у женщины-врача пациент, опасающийся сокрушительного диагноза.

«Никаких проблем,— сказала мадам Топель.— Нужно только подложить с изнанки небольшую заплату. И будет заметен маленький шов. Иначе не получится».

«Но это не имеет значения,— сказал Ионатан,— маленький шов не имеет никакого значения, кто его заметит на таком месте? — И он взглянул на часы, было четырнадцать минут третьего.— Значит, вы можете это поправить? Вы можете мне помочь, мадам?»

«Да, конечно»,— сказала мадам Топель, возвращая назад, к переносице, свои очки, которые во время обследования сползли к кончику носа.

«О, благодарю вас, мадам,— сказал Ионатан,— огромное спасибо. Вы избавляете меня от большого неудобства. Теперь у меня к вам еще одна просьба... не будете ли вы так любезны... я страшно тороплюсь, у меня всего...— и он снова поглядел на часы,— десять минут времени... не могли бы вы сделать это немедленно: прямо сейчас? Безотлагательно?»

Бывают вопросы, которые в самих себе содержат отрицательный ответ, просто потому, что их задают. И бывают просьбы, полная невыполнимость которых становится ясной, когда их высказывают и при этом смотрят другому человеку в глаза. Ионатан посмотрел в затененные очками огромные глаза мадам Топель и сразу понял, что все бессмысленно, бесперспективно, безнадежно. Он понял это еще раньше, торопливо лепеча свой вопрос, понял, просто физически почувствовал это по падению уровня адреналина в крови в тот момент, когда взглянул на часы: десять минут! Ему казалось, что он сам падает, погружается в бездну, как будто стоит на тающей льдине, которая вот-вот растворится в воде. Да кто же в состоянии за десять минут заштопать эту чудовищную дыру? Это же вообще невозможно. И с самого начала было невозможно. В принципе. Ведь не штопать же прямо на бедре. Нужно поставить заплату, а это значит: снять брюки. А откуда на это время взять другие брюки, стоя посреди продуктового отдела в универмаге? Снять штаны и остаться в кальсонах?.. Нелепо. Совершенно нелепо.

«Прямо сейчас?» — спросила мадам Топель, и Ионатан, хотя и понимал, что все нелепо, и хотя его охватила глубокая скорбь безнадежности, кивнул.

Мадам Топель улыбнулась. «Взгляните, месье: вот это все, что вы здесь видите,— и она указала на гардеробную стойку длиной в два метра, сплошь увешанную платьями, куртками, брюками и блузками,— все это я должна сделать прямо сейчас. Я работаю по десять часов в сутки».

«Да, конечно,— сказал Ионатан,— я вполне вас понимаю, мадам, это действительно глупый вопрос. Сколько, по-вашему, нужно времени, чтобы заштопать мою дыру?»

Мадам Топель снова повернулась к своей машине, подвела под иглу материю красной юбки и нажала на ножную педаль. «Если вы принесете мне эти брюки в следующий понедельник, они будут готовы через три недели».

«Через три недели?» — повторил Ионатан, словно не расслышав. «Да,— сказала мадам Топель,— через три недели. Раньше не получится».

После чего она снова запустила машину; загудела игла, а Ионатану показалось, что его больше не существует. Хотя он еще видел мадам Топель, сидевшую за швейной машиной на расстоянии протянутой руки от него, видел ее темно-каштановую голову и перламутровые очки, видел ее быстро орудующий толстый палец и стремительную иглу, ведущую шов на подоле красной юбки... и видел расплывающуюся на заднем плане сумятицу универмага... но он вдруг перестал воспринимать себя самого как часть окружающего мира, несколько секунд ему казалось, что он стоит где-то вне этого мира, далеко-далеко, и рассматривает его в перевернутый бинокль. У него снова, как утром, закружилась голова, и он зашатался. Он сделал шаг в сторону, повернулся, и пошел к выходу. Физическое перемещение в пространстве вернуло его в мир, эффект перевернутого бинокля исчез. Но внутри него все продолжало ходить ходуном.

В отделе канцелярских товаров он купил ролик скотча. Он заклеил скотчем прореху на своих штанах, чтобы треугольный лоскут не трепыхался больше при каждом его шаге. Затем он вернулся на работу.

Вторую половину дня он провел в состоянии горя и ярости. Он стоял перед банком, на верхней ступени, очень близко к колонне, но не опираясь на нее, ибо не желал поддаваться своей слабости. Да он и не мог бы опереться на колонну, ведь чтобы проделать это незаметно, нужно завести обе руки за спину, а это никак не выходило, потому что левая рука должна была оставаться опущенной вдоль бедра, чтобы скрыть заклеенное скотчем место. Вместо этого, чтобы сохранить равновесие, ему пришлось широко расставить ноги, то есть принять ненавистную позу молодых глупых парней, и он заметил, что позвоночник при этом выгибался, а шея, которую он привык держать высоко и свободно, западала между плечами, а вместе с ней голова и фуражка, а это, в свою очередь, автоматически приводило к тому, что взгляд из-под нависшего козырька становился злобным и подозрительным и лицо приобретало то самое угрюмое выражение, которое он так презирал у других охранников. Он казался себе калекой, карикатурой на охранника, искаженным изображением самого себя. Он ненавидел себя в эти часы. Он готов был вылезти из кожи от бешеной ненависти к самому себе, буквально вылезти из собственной кожи, потому что у него теперь чесалось все тело, и он не мог больше потереться о собственную одежду, так как кожа из каждой поры источала пот, и одежда липла к ней как вторая кожа. А там, где одежда не липла, где еще оставалось немного воздуха между кожей и одеждой: на икрах, под мышками, в желобке над ключицей... именно здесь, где чесалось воистину невыносимо, потому что пот скатывался по этому желобку крупными щекочущими каплями,— именно здесь он не хотел чесаться, нет, он не хотел доставлять себе это доступное маленькое облегчение, так как оно не изменило бы общего состояния его огромного горя, но только сделало бы его еще более явным и смехотворным. Теперь он хотел страдать. Чем больше, тем лучше. Страдание его устраивало, оно оправдывало и усиливало его ненависть и ярость, а ярость и ненависть, в свою очередь, усиливали страдание, потому что они все больше волновали его кровь и выдавливали все новые волны пота из пор его кожи. Лицо было залито влагой, с подбородка и волос на затылке капало, рант фуражки резал вздувшийся лоб. Но ни за что на свете он не снял бы фуражку, даже на самый короткий момент. Она должна была оставаться на голове, как крышка на паровом котле, железным обручем сжимать виски, пока голова не лопнет. Он не хотел делать ничего, чтобы облегчить свои страдания. Он стоял совершенно неподвижно, час за часом. Он только замечал, что его позвоночник все больше искривляется, плечи, шея и голова опускаются все ниже и ниже, тело принимает все более согбенное, омерзительное положение.

И наконец — он не мог и не хотел противостоять этому — его скопившаяся досада на самого себя достигла предела, подобралась к глазам, все более злобно и мрачно таращившимся из-под козырька фуражки, и излилась наружу как самая пошлая ненависть к внешнему миру. Все, что попадало в поле его зрения, Ионатан покрывал отвратительным налетом

своей ненависти; можно даже сказать, что реальное отражение мира больше не проникало в него через глаза, но что ход лучей принял обратное направление, и глаза служили только еще как открытые наружу форточки, чтобы через них оплевывать мир внутренними искаженными образами: вон, например, официанты из кафе на той стороне улицы, торчат на тротуаре, глупые, молодые бездельники, валандаются между столами и стульями, чешут языки, и ухмыляются, и огрызаются, и мешают прохожим, и свистят вслед девушкам, шуты гороховые, только и делают, что рявкают в открытую дверь: «Кофе один раз! Одно пиво! Один лимонад!», а потом вразвалочку отправляются за заказом и, изображая крайнюю спешку, жонглируют подносами, щеголяя аффектированными, псевдоартистическими жестами: с размаха швыряют на стол чашку, зажимают коленями бутылку кока-колы и откупоривают ее в один прием, держат кассовый чек зубами, сначала выплюнут его в руку, а потом подсунут под пепельницу, а другой рукой уже собирают с соседнего стола деньги, кучу денег, цены-то астрономические: пять франков за кофе-эспрессо, одиннадцать — за маленькое пиво, а еще пятнадцать процентов наценки за это кривлянье, обслуживание на улице плюс дополнительные чаевые; да-да, им еще и чаевые плати, бездельникам, паразитам, трепачам, специальные чаевые, а то ведь и не поблагодарят, и не попрощаются с клиентом; если клиент не дает чаевых, они его в упор не видят, ты выходишь из кафе, а они нагло поворачиваются спиной, демонстрируют свои наглые задницы и битком набитые деньгами черные кельнерские кошельки, они их нарочно привязывают к поясу, балбесы, считают это особым шиком — хвастливо выставлять на всеобщее обозрение, словно жирные курдюки, свои кошельки с деньгами... ах, он готов был заколоть их насмерть своими взглядами, этих шутов, этих сопляков в прохладных, свободных кельнерских рубашках с короткими рукавами! Перебежать бы через улицу под тень их балдахина и оттаскать бы их за уши, надавать им пощечин при всем честном народе, прямо посреди улицы, так бы и двинул в левую скулу, в правую, в левую, в правую, бац, бац, да еще под дых, да пнуть ногой в зад...

И не только их! Нет, не только этих сопляков-кельнеров, вышвырнуть бы отсюда, вышибить под зад ногой всех клиентов, придурков-туристов, шастают здесь разные в своих летних блузах и соломенных шляпах, хлещут дорогие лимонады, а другие люди должны в поте лица работать стоя. И автомобилисты не лучше. Вон они, эти тупые обезьяны в своих вонючих жестянках, отравители воздуха, омерзительные скандалисты, день-деньской только и делают, что гоняют вверх-вниз по улице де Севр. И без них все тут провоняло! А шум на улице? Шум в городе? Мало того, что жара невыносимая, с неба так и жжет, так они еще высасывают и сжирают своими моторами весь воздух, которым можно дышать, смешивают его с отравой, и сажей, и горячим чадом и пускают прямо в нос порядочным гражданам! Подонки! Мешки с дерьмом! Уголовники! Всех бы вас стереть с лица земли! Вот именно! Исполосовать бы в кровь плетьми и уничтожить. Расстрелять. Всех до единого и каждого в отдельности. О! Как ему хотелось вытащить свой пистолет и выстрелить в кого-нибудь, выстрелить прямо в кафе, пробить стеклянные витрины, так, чтобы только зазвенело и осколки посыпались, или дать автоматную очередь прямо в вереницу машин или в какой-нибудь из огромных домов напротив, уродливых, высоких, угрожающих домов, или просто в воздух, вверх, в это горячее небо, в это чудовищно гнетущее, подернутое дымкой, сизое, как голубь, небо, чтобы оно взорвалось, чтобы от выстрела лопнула эта свинцовой тяжести оболочка и все раздавило, все погребла под собой, все, все, весь этот отвратительный, порочный, вонючий мир: ненависть Ионатана Ноэля была в этот день такой всеобъемлющей, такой титанической, что он из-за дыры на брюках мечтал превратить в руины целый мир!

Но он не сделал ничего, слава Богу, ничего. Он не выстрелил ни в небо, ни в кафе напротив, ни в проносившиеся мимо автомобили. Он стоял, потел и не шевелился. Ибо та же сила, которая возбуждала в нем и вышвыривала из его глаз фанатичную ненависть к миру, парализовала его настолько, что

он не мог пошевелить ни единым мускулом, не говоря уж о том, чтобы взять в руки оружие и нажать пальцем на курок, да что там, он не был даже в состоянии покачать головой и стряхнуть с кончика носа мелкие мучительные капли пота. Эта сила заставляла его каменеть. За эти часы она в самом деле превратила его в угрожающе-бессильную статую сфинкса. Она была чем-то вроде электрического напряжения, которое намагничивает и поддерживает на весу железный сердечник, или чем-то вроде мощной силы давления в сводчатом потолке здания, которая удерживает на строго определенном месте каждый отдельный камень. Она действовала в сослагательном наклонении. Весь ее потенциал заключался в «я бы стал, я бы мог, я бы сделал», и Йонатан, бормоча про себя самые жуткие проклятия и угрозы, в то же время отлично сознавал, что никогда не осуществил бы их. Не такой он был человек. Не одержимый фанатик, который в смятении чувств, в состоянии безумия или в приступе внезапной ненависти совершает преступление; не то чтобы такое преступление казалось ему аморальным, а просто потому, что он вообще был не способен выразить себя действием или словом. Он не был деятелем. Он был терпеливцем.

К пяти часам вечера он пришел уже в такое состояние, что не верил, что когда-нибудь вообще сможет покинуть свой пост на третьей ступени портала. И придется ему тут умереть. Он словно постарел минимум на двадцать лет и стал на двадцать сантиметров ниже ростом; многочасовое стояние под палящим солнцем и подавление внутреннего бешенства расплавило его и окончательно лишило сил, да, лишило сил настолько, что он больше уже не ощущал влажности пота, он был истощен до предела, изнурен, сожжен живьем и расколот, как каменный сфинкс через пять тысяч лет; еще немного, и весь он, целиком, высохнет, и выгорит, и сморщится, и распадется, и обратится в пыль или пепел, и будет лежать здесь, на этом месте, где пока еще с трудом держится на ногах, крошечной кучкой грязи, пока его не сдует ветер, или не сметет уборщица, или не смоет дождь. Да, так он и окончит свои дни: не уважаемым господином на заслуженном отдыхе, дома, в своей постели, в своих четырех стенах, а здесь, перед воротами банка, в виде кучки мусора. И он пожелал, чтобы это уже произошло; чтобы процесс распада ускорился и наступил конец. Он пожелал, чтобы сознание оставило его, колени подогнулись и он смог повалиться наземь. Он изо всех сил старался потерять сознание и упасть. В детстве ему удавалось нечто подобное. Он мог заплакать, когда ему хотелось; мог задержать дыхание, пока не упадет в обморок, или заставить сердце биться через раз. Теперь он вообще ничего больше не мог. Он вообще больше не владел собой. Он буквально не мог больше согнуть колени, чтобы опуститься на землю. Он мог только стоять и принимать все, что с ним происходило.

Тут он услышал тихое гудение лимузина месье Ределя. Не гудок, а то тихое, чирикающее жужжание, которое возникало, когда автомобиль с только что заведенным мотором двигался со двора к воротам. И едва этот слабый шум достиг его слуха, проник в ухо и пробежал, как ток по проводам, по всем нервам его тела, Йонатан почувствовал, как что-то щелкнуло в его коленях и распрямился позвоночник. И он ощутил, как отставленная правая нога как бы сама собой подтянулась к левой, левая нога повернулась на каблуке, правое колено согнулось для ходьбы, а потом левое и снова правое... и вот он уже переместил одну ногу, вторую и в самом деле пошел, нет, резво побежал, преодолев одним прыжком три ступени, вдоль стены к воротам, поднял решетку, принял стойку, молодцевато поднял руку к козырьку фуражки и пропустил лимузин. Он проделал все это совершенно автоматически, без всякого участия воли, отстраненно регистрируя сознанием свои движения и жесты. Единственным выражением его личного участия в событии был злобный взгляд, которым он проводил ускользающий лимузин месье Ределя и множество немых проклятий.

Но потом, когда он снова вернулся на свой пост, в нем угасла и эта злость, последний личный импульс. И пока он механически взбирался на третью ступень, иссяк остаток ненависти, и наверху его глаза уже не источали ни яда, ни сарказма, а глядели вниз на улицу тупо и безразлично.

Словно эти глаза больше не принадлежали ему, а он сидел за ними и смотрел сквозь них, как сквозь мертвые круглые окна; да и все его тело казалось ему не своим, а то, что осталось от него, Ионатана, был крошечный, сморщенный гном, ютившийся в огромном здании чужой плоти, как беспомощный карлик внутри слишком просторной, слишком сложной человеческой машины, которой он не может больше управлять и которая управляется, если вообще управляется, сама собой или же какими-то неведомыми другими силами. Он опять тихо стоял у колонны, но теперь, потеряв невозмутимость сфинкса, он превратился в марионетку, которую за ненадобностью отставили в сторону или повесили на гвоздь. Так простоял он еще десять минут своего служебного времени, пока ровно в семнадцать тридцать у внешней бронированной двери не показался на момент месье Вильман и не крикнул: «Закрываем!» Тут марионеточный человеческий механизм Ионатан Ноэль послушно пришел в движение, вошел в банк, встал у пульта электрического устройства для закрывания дверей и начал попеременно нажимать на обе кнопки — для внутренней и для внешней бронированной двери, чтобы по принципу шлюза выпустить из банка служащих; потом он вместе с мадам Рок запер огнеупорную дверь в хранилище, каковое предварительно было закрыто мадам Рок совместно с месье Вильманом, вместе с месье Вильманом врубил сигнальную систему охраны, снова отключил электрическое устройство для впуска, вместе с мадам Рок и месье Вильманом покинул банк и после того, как месье Вильман закрыл внутреннюю, а мадам Рок — внешнюю стеклянную бронированную дверь, согласно инструкции, запер раздвижную решетку. После этого он отдал легкий деревянный поклон мадам Рок и месье Вильману, открыл рот и пожелал им обоим доброго вечера и удачного уик-энда, с благодарностью выслушал, со своей стороны, наилучшие пожелания уик-энда от месье Вильмана и «До понедельника!» мадам Рок, подождал, как положено, пока оба не удалились на несколько шагов, и тогда влился в поток прохожих, чтобы дать увлечь себя в противоположном направлении.

Ходьба успокаивает. В ходьбе есть целительная сила. Равномерное перемещение ног, одна-другая, одна-другая, одновременные ритмические взмахи рук, ускорение частоты дыхания, легкая стимуляция сердечной деятельности, активность зрения и слуха, необходимая для определения направления и сохранения равновесия, прикосновение к коже прохладного воздуха — все это явления, непреоборимым образом совмещающие тело и дух, от которых может воспрянуть и расшириться даже опечаленная и угнетенная душа.

Так оно и произошло с расстроенным Ионатаном, этим гномом, оказавшимся в слишком большом для него кукольном теле. Постепенно, шаг за шагом, он снова дорос до размеров своего тела, заполнил его изнутри, явно им овладел и наконец полностью с ним слился. Это было примерно на углу улицы дю Бак. И он пересек улицу дю Бак (а Ионатан-марионетка наверняка повернул бы здесь автоматически направо, чтобы привычной дорогой попасть на улицу де ла Планш) и оставил слева улицу Сент-Пласид, где находился его отель, и двинулся прямо к улице Аббата Грегуара, потом вверх по этой улице до улицы Вожирар, а оттуда к Люксембургскому саду. Он вошел в сад и сделал три круга по самой дальней, самой длинной дорожке, по той, где бегают трусцой под деревьями у самой решетки; потом повернул на юг и поднялся вверх к бульвару Монпарнас и дальше к кладбищу Монпарнас, и обошел вокруг кладбища, раз и другой, и двинулся дальше в Пятнадцатый округ, прошел весь Пятнадцатый до Сены и двинулся вверх по Сене к северо-востоку в Седьмой округ и дальше — в Шестой, и все дальше и дальше — летом вечера такие длинные — и снова повернул к Люксембургскому саду, а когда дошел, сад как раз закрывался. Он остановился у решетки больших ворот, слева от здания Сената. Сейчас, наверное, около девяти, но все еще светло как днем. Предстоящая ночь давала о себе знать лишь нежно-золотистой окраской света и фиолетовыми краями теней. Поток автомобилей на улице Вожирар начал иссякать. Масса людей растеклась. Небольшие группки на выходах из парка и углах улиц быстро рассыпались и исчезали в виде отдельных фигур

в многочисленных переулках вокруг театра Одеон и церкви Сен-Сюльпис. Люди шли на аперитив, шли в ресторан, шли домой. Воздух был мягким, пахло цветами. Стало тихо. Париж ел.

Он вдруг почувствовал, как устал. Ноги, спина, плечи болели от многочасовой ходьбы, подошвы горели. И еще он внезапно проголодался, так сильно, что свело желудок. Ему захотелось съесть супа, салата со свежим белым хлебом и кусок мяса. Он знал здесь поблизости один ресторан, где все это было, комплексный обед за сорок семь франков, включая обслуживание. Но не мог же он отправиться туда в таком состоянии, весь пропахший потом, в разорванных брюках.

Он решил вернуться в отель. По дороге, на улице д'Асса, была еще открыта тунисская продуктовая лавка. Он купил банку сардин в масле, маленькую головку козьего сыра, грушу, бутылку красного вина и арабский хлеб.

Номер отеля был еще меньше, чем комната на улице де ла Планш, в ширину едва ли шире входной двери и метра три в длину. Разумеется, стены не располагались перпендикулярно друг к другу, но — если смотреть от двери — расходились под косым углом, пока не расширяли помещение метра на два, чтобы затем снова устремиться друг к другу и соединиться. Таким образом, комната имела горизонтальную проекцию гроба и была не намного просторнее, чем гроб. У одной длинной стены стояла кровать, на другой длинной стене висел умывальник, под ним — шаткое биде, напротив двери — стул. Справа над умывальником, сразу под потолком, было прорезано окно, даже не окно, а застекленный клапан, выходивший в световой колодец и открывавшийся и закрывавшийся при помощи двух шнуров. Через этот клапан в гроб проникал влажный поток нагретого воздуха, принося с собой приглушенные шумы внешнего мира: звяканье тарелок, журчанье туалетов, клочки испанских и португальских фраз, обрывок хохота, плач ребенка и иногда совсем далекий гудок автомобиля.

Ионатан сидел в нижней рубашке и кальсонах на краю кровати и ел. В качестве стола он придвинул стул, на него водрузил фибровый чемодан, а на чемодане разложил пакет, в котором принес продукты. Перочинным ножиком он разрезал пополам тушки сардин, подцеплял половинку кончиком ножа, размазывал ее по куску хлеба и отправлял кусок в рот. При прожевывании нежное, пропитанное маслом мясо сардин смешивалось с пресным ноздреватым хлебом, образуя некую массу восхитительного вкуса. Возможно, не помешала бы капля лимонного сока, подумал он, но это уже было бы почти кощунственным чревоугодием, ибо после каждого куска он отхлебывал глоток из бутылки, давал ему стечь по языку и двигал между зубами, так что слегка отдающее металлом послевкусие рыбы, в свою очередь, смешивалось с живым кисловатым букетом вина, и эффект был настолько впечатляющим, что Ионатан был уверен, что еще никогда в жизни не ел ничего вкуснее, чем сейчас, в этот момент. Жестянка вмещала четыре сардины, это составило восемь маленьких кусков, тщательно пережеванных с хлебом, плюс восемь глотков вина. Он ел очень медленно. Он однажды прочел в газете, что проглоченная в спешке еда, особенно когда человек сильно проголодался, плохо усваивается и ухудшает пищеварение, более того, может вызвать тошноту и рвоту. И еще он ел медленно потому, что думал, что эта трапеза — для него последняя.

Покончив с сардинами и собрав хлебом оставшееся в жестянке масло, он принялся за козий сыр и грушу. Груша была такая сочная, что чуть не выскользнула у него из рук, когда он ее чистил, а сыр был так плотно спрессован и вязок, что приклеивался к острию ножа, а вкус у него был таким кисло-горьким, что у него внезапно пересохло во рту и десны свело судорогой, словно от испуга, и на какой-то момент иссякла слюна. Но за сыром последовала груша, кусок сладкой, источающей сок груши, и все снова увлажнилось, и смешалось, и отлепилось от неба и зубов, и соскользнуло на язык и дальше вниз... и снова кусок сыра, легкий испуг, и снова примиряющая груша, и сыр, и груша... это было так вкусно, что последние остатки сыра он соскреб с бумаги ножом и съел сердцевинку груши, которую предварительно вырезал из плода.

Он еще немного посидел, облизывая языком зубы, потом доел остаток хлеба и допил остаток вина. Затем уложил в пакет жестянку, кожуру, бумагу из-под сыра, стряхнул туда же крошки, выбросил пакет в мусорное ведро за дверью, снял со стула чемодан, поставил стул назад, вытер руки и стал укладываться на ночь. Скатал шерстяное одеяло, сложил его в ногах постели и укрылся одной простыней. Потом погасил лампу. Было темно — хоть глаз выколи. Даже сверху, из люка, в комнату не проникал ни единый луч света; только слабая влажноватая струя воздуха и совсем, совсем издалека шумы внешнего мира. Было очень душно. «Завтра я убью себя»,— сказал он. Потом он заснул.

Ночью была гроза. Одна из тех гроз, которые не сразу разражаются серией молний и ударов грома, а медлят и долго копят силу. Два часа она нерешительно бродила по небу, сигналила слабыми зарницами, тихо ворчала, перемещалась из одной части города в другую, словно не зная, где ей разрядиться, при этом все расширялась, росла и росла, наконец накрыла весь город тонким свинцовым покрывалом, снова заколебалась, провоцируя себя этим колебанием на еще большее напряжение, но никак не решаясь начать... Все замерло под свинцовым покрывалом. В душной атмосфере не ощущалось ни малейшего дуновения, ни единый лист, ни единая пылинка не могли шелохнуться, город словно застыл, он, если можно так сказать, дрожал от замирания, дрожал в парализующем напряжении, словно он сам был грозой и собирался лопнуть, сотрясая небо.

И потом наконец, уже под утро, когда начало светать, раздался грохот, один-единственный удар грома, но такой мощный, словно взорвался весь город. Ионатан содрогнулся в постели. Он не услыхал этого взрыва сознанием, не говоря уж о том, чтобы распознать в нем удар грома, хуже того: в момент пробуждения он ощутил ужас, охвативший все его существо, ужас, причину которого он не знал, смертельный страх. Единственное, что он расслышал, был отзвук взрыва, многократное эхо, откат грома. Звук был такой, словно снаружи все дома обрушились, как книжные полки, и его первой мыслью было: все, вот он, конец. И он подумал не только о собственной смерти, но о конце света, светопреставлении, землетрясении, атомной бомбе или о том и другом — во всяком случае, он имел в виду абсолютный конец.

Но потом вдруг наступила мертвая тишина. Не слышно было ни грохота, ни обвала, ни треска, ровно ничего и никакого эха. И эта внезапная и долгая тишина была явно еще ужаснее, чем гул погибающего мира. Ибо теперь Ионатану казалось, что хотя он еще существует, но вне его ничего больше нет, никакого визави, никакого верха и низа, ничего вовне, ничего другого, что могло бы служить ориентиром. Все ощущения, зрение, слух, чувство равновесия — все, что могло бы сказать ему, где он и кто он такой, падало в пустоту полного мрака и тишины. Он воспринимал только бешеный стук собственного сердца и дрожь собственного тела. Он только еще сознавал, что лежит в кровати, но не помнил в какой и не знал, где стояла эта кровать — если она вообще стояла, а не падала куда-то в бездну, потому что она вроде как шаталась, и он вцепился обеими руками в матрац, чтобы не опрокинуться, чтобы не потерять то единственное, что он держал в руках. Он искал в темноте какой-нибудь зацепки для глаз, в тишине — какой-нибудь зацепки для слуха, но ничего не слышал, ничего не видел, абсолютно ничего, желудок сжался, отвратительный вкус сардин поднялся вверх по пищеводу. «Только бы не вырвало,— подумал он,— только бы ко всему прочему не облевать самого себя!» И этот ужас длился целую вечность, пока он все-таки не различил что-то, а именно слабое-слабое мерцание вверху справа, едва-едва заметный свет. И он вцепился в него взглядом и не выпускал его из поля зрения, это маленькое квадратное пятнышко света, отверстие, границу между вовне и внутри, что-то вроде окна в комнате... но какой комнате? Это же не его комната! Никогда в жизни это не было твоей комнатой! В твоей комнате окно располагается в изножье постели и не так высоко на потолке. Это, это... и не комната в доме дяди, это детская в доме родителей в Шарантоне — нет, не детская,

это подвал, да, подвал, ты в подвале родительского дома, ты ребенок, тебе только снилось, что ты вырос, стал омерзительным охранником в Париже, а ты ребенок и сидишь в подвале родительского дома, а снаружи идет война, и тебя взяли в плен, погребли под руинами, забыли. Почему они не приходят? Почему такая мертвая тишина? Где другие люди? Господи, да где же другие люди? Я же не могу жить без других людей!

Он готов был заорать. Он хотел выкрикнуть в тишину эту единственную фразу, что он же не может жить без других людей, такой огромной была его нужда, его физическая потребность, таким отчаянным был страх седого ребенка Ионатана Ноэля оказаться всеми оставленным. Но в тот момент, когда он готов был закричать, он услышал ответ. Он услышал шорох.

В дверь постучали. Совсем тихо. И снова постучали. И в третий, и в четвертый раз, где-то наверху. И потом стук перешел в равномерную дробь, и она все учащалась и учащалась и наконец превратилась в мощное насыщенное шуршание, и Ионатан узнал в нем шорох дождя.

И тут помещение снова обрело свои координаты, и Ионатан узнал в светлом квадратном пятнышке клапан светового колодца и в предрассветной мгле — очертания гостиничного номера, умывальник, стул, чемодан, стены.

Он выпустил из скрюченных, как когти, пальцев матрац, подтянул ноги к груди и обхватил их руками. И так, подобравшись, нахохлившись, сидел долго, наверное с полчаса, и слушал шум дождя.

Потом он встал и оделся. Ему не понадобилось включать свет, он хорошо ориентировался в полутьме. Взял чемодан, пальто, зонт и покинул комнату. Ночной портье в холле спал. Ионатан на цыпочках прошел мимо и очень коротко, чтобы не разбудить его, нажал на кнопку входной двери. Она издала тихое «лик!», и дверь отворилась. Он вышел.

Снаружи на улице его охватил прохладный серо-голубой рассвет. Дождь перестал. Только еще капало с крыш и маркиз, и на тротуарах стояли лужи. Ионатан пошел вниз к улице де Севр. Кругом не было ни души и ни одного автомобиля. Дома стояли тихо и скромно, в почти трогательной невинности. Казалось, дождь смыл с них всю гордость, и тщеславное притворство, и угрожающий вид. На другой стороне улицы перед продуктовым отделом универмага вдоль витрины прошмыгнула кошка и исчезла под сложенными на ночь овощными прилавками. Справа у сквера Бусико потрескивали от влаги деревья. Несколько черных дроздов принялись было свистать, свист отражался эхом от фасадов зданий, только усиливая тишину, лежавшую над городом.

Ионатан пересек улицу де Севр и повернул на улицу дю Бак, чтобы идти домой. При каждом шаге его мокрые подошвы хлюпали по мокрому асфальту. Это все равно как шлепать босиком, подумал он, вспоминая скорее звук, чем леденящее ощущение влаги в башмаках и носках. Ему страшно захотелось снять туфли и носки и идти дальше босиком, и если он этого не сделал, то лишь из-за лени, а не потому, что это показалось бы ему неприличным.

Но он прилежно шлепал по лужам, забредал в самую середину луж, перебегал зигзагом из одной в другую, даже один раз пересек улицу, потому что увидел на противоположном тротуаре особенно красивую, широкую лужу и перешел ее вброд, загребая воду плоскими подошвами; поднимая фонтан брызг, он забрызгал окна витрин и припаркованные у тротуара машины и свои собственные брюки; это было чудесно, он наслаждался этим маленьким детским хулиганством как огромной, заново обретенной свободой. И он чувствовал себя окрыленным и блаженно-счастливым, когда дошел до улицы де ла Планш, вошел в дом, прошмыгнул мимо закрытой каморки мадам Рокар, пересек двор и поднялся по узкой лестнице черного хода.

Только наверху, на подходе к седьмому этажу, ему стало страшно, что путь окончен: наверху ожидала голубка, жуткая тварь. Она будет сидеть в конце коридора с красными когтистыми лапами, обложенная пометом

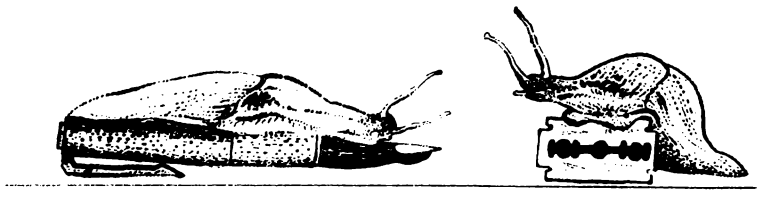
и перьями, она подстережет его, эта голубка с ее ужасными голыми глазами, и встопорщит перья, и налетит на него, Ионатана, хлопая крыльями, и зацепит его своим крылом, от нее невозможно уклониться в тесноте коридора...

Он поставил чемодан и остановился, хотя ему предстояло преодолеть всего пять ступеней. Он не хотел обращаться в бегство. Он хотел только минуту передохнуть, немного собраться с духом, немного успокоить сердце, прежде чем преодолеет последний этап пути. Его взгляд заскользил вдоль овальной спирали перил лестницы, и он увидел на каждом этапе лучи падающего сбоку света. Утренний свет потерял свою синеву и пожелтел и, как ему показалось, стал теплее. Из хозяйских апартаментов доносились первые звуки просыпающегося дома: звяканье тарелок, приглушенный стук дверцы холодильника, тихая радиомузыка. И тут вдруг его обоняния достиг знакомый аромат, аромат кофе мадам Лассаль, и он несколько раз вдохнул его, словно отхлебывая кофе. Он взял свой чемодан и двинулся дальше. Он вдруг перестал испытывать страх.

Войдя в коридор, он сразу, с первого взгляда, заметил две вещи: закрытое окно и половую тряпку, разложенную для просушки на мусорном баке около клозета. Конец коридора еще не был виден, слепящий светлый столб света у окна закрывал перспективу. Он пошел дальше, в какой-то степени бесстрашно, перешагнул световой столб, вступил в тень. Коридор был совершенно пуст. Голубка исчезла. Кляксы помета на полу вытерты. Ни перышка, ни пушинки. Ничто не трепетало больше на красных кафельных плитках.

От переводчика

Эта повесть не станет бестселлером, как «Парфюмер». И объем в два раза меньше, и герой — не урод, не гений и не монстр, и никто никого не убивает, и в описаниях Парижа никакой экзотики восемнадцатого века, а что касается сюжета, то его вроде бы вообще нет. Ну, живет на свете смирный, одинокий, осторожный маленький человек, служит декорацией — швейцаром в престижном банке, стоит себе и стоит на ступенях перед порталом, получает жалованье, не пьет, не курит, не женат, не влюблен, ни с кем не знаком, в гости не ходит, почитывает газеты, сдает белье в прачечную, а пальто — в чистку... Разве это в наше время сюжет для повести? Но почему же его спрятанная в глубине сознания трагедия — трагедия одиночества, абсолютной изолированности от мира, неприспособленности, страха и слепоты так тронула мое посткоммунистическое сердце? Признаюсь, я сразу узнала в нем старых знакомцев по школьной программе — Акакия Акакиевича и Человека в футляре. Сразу обоих в одном. Так что ему нетрудно было вызвать мое сострадание. Но он вызвал у меня и восхищение — безупречностью, стойкостью, чуть ли не рыцарской преданностью долгу. Я немного удивилась: почему автор, так жестоко высмеивая нелепую фигуру героя, дарит своей повести столь светлый финал? Да потому, что антиномии: движение — покой, дисциплина — свобода, страх — безопасность неразрешимы, они и есть жизнь. И ее вечная тайна может предстать перед любым из нас и потрясти до глубины сознания в самом неожиданном воплощении. Например, в виде голубя, усевшегося у порога нашей двери.



ХАЙНЦ ЧЕХОВСКИЙ

Перевод С. МОРЕЙНО

От переводчика

Хайнц Чеховский, родившийся в 1935 году в Дрездене, почти пятьдесят пять лет прожил в ГДР. Дрезден и Лейпциг — «ландшафт души» — по-видимому, самые социалистические города бывшей республики. За что цепляются деревья, вырастающие на песке под ураганным ветром? Чеховский нашел достаточно твердую опору — свой текст. Страх и вера, мужество и отчаяние, обжимая ствол текста, заставили его вытянуться столь высоко, что ветви кроны оказались по ту сторону чудовищного хребта, вне территории господства идеи над человеческими ценностями, за Берлинской стеной. Думаю, духовное воссоединение Германии было бы безнадежным делом, когда бы не люди, сумевшие сложить из литературных произведений опоры, на которые нынче можно опустить мост.

Конечно, Чеховский не Вильгельм Телль и даже не Карл Моор. Но форма его протеста — «внутренняя эмиграция» — не менее характерна для немцев «обеих» Германий. Вместе с героем своей книги «Господин Нитхардт идет через город», живописцем Грюневадом, он шел от «Послеобеденных часов любящей пары» через «Что касается меня» и «Точных примет нет» к последним стихотворениям, заполняя литературными текстами пустоту, дорогой, соединяющей низменные инстинкты с высоким началом. Что с того, что *это* искусство принадлежало стране, от которой сегодня открещивается каждый кому не лень? Завтра оно будет принадлежать нам всем. Пусть он идет через город...

■

Sic transit gloria mundi [1]

Когда-нибудь
Будут оплачены все счета.
Вот и любовь
Прошла свой путь до братских могил; и пепел
К пеплу,
А слабый голос надежды
Не ведает жалости.
Над оградами
Занимается день

[1] Так проходит слава мирская *(лат.)*.

С птичьим щебетом
И грохотом мусоровозов.
Грешники, праведники —
Мы в том числе,—
Зажатые землею и небом,
Несем на себе печать:
боязни, в частности,
Что все уже сказано, впрочем,
Так же, как и боязни, что то, что имеет быть сказано,
Не будет сказано вовсе.
Сбрасывает
Кожу История:
Робеспьер убивает Дантона, Наполеон
Бежит из горящей Москвы, Ленин
Боится Иосифа, господин Гитлер
Засыпает презентами Ковентри,
Чтобы какой-нибудь Гарри С. Браун, Сент-Пол, штат Миннесота,
Отцепил свои бомбы над Анненштрассе,
Над костром из картин.

До сих пор умирает подле Изольды
Тристан, а Изольда подле Тристана.
Боги спускаются в хижину Шен Те,
А писатель Б. советует нам
Заботиться не о спасении души, а об умении
Пасть во имя спасения этого мира.
Как иначе,
Когда ежедневно
Над нашими головами
Вывешивают новый Дамоклов меч?
Sic transit gloria mundi,
Сопровождаемая мазуркой Шопена,
Залпами зенитных орудий, грибами взрывов,
Факелами из чадящих останков,
А-мольной фугой или же
Этим стихотворением, написанным
Противу Безысходности.

* * *

Ближе к вечеру я стал тонуть в бумагах,
как окунь в луже.
Бесшумно катились слова, но я слышал
одышку локомотива, поскольку
была осень: каждый звук,
пролетая над полем, касался
древних стен. Медь луны
кто-то плавил над выемкой, где в тишине
завершалась битва. Было так, как бывает
в канун праздника Кущей: шелестит
листва на ветру, но ни одна молитва
не возносится к небу. Зачем
еще людям молиться?
Из миллионов непонятых один

падает на колени, и кровь его
поит землю. Угасающий день
метнул неверной рукой свою сеть
в глубь сцены, над птичьим хоралом,
поздней музыкой, последней, быть может.
Почтовый рожок, опоздавший на целый век.
Сцена не поддается прочтению:
ни места, ни времени, немые
туманные знаки,
взывающие к справедливости в тот час,
как труп, забытый в финале,
смущает зрителей...
Из-за спины режиссера
ухмыляются вирши кровавых комедий былого.

Пьющие пиво под дождем

Скорее всего — невозможно, сказала она, и ее
возбуждение сразу потухло.
Итак, они шли по улицам под зонтом, но
радость никак не хотела наполнить
их снова.
Тогда им в голову пришло заглянуть в кабак.
Просто переключиться, думал он, переключиться,
думать о чем-то другом.
Скажем, Париж: быть может, есть карта — перенести
нас туда, карта города, гостевая
карта.
Но и в Париже шел дождь.
Да, там был январь, и в кафе «Le Pub» на Rue
Sonfflot реклама 120 сортов пива.
В комнате за стеной ревел джаз.
Здесь это было?
Там?

Загляни в указатель

Загляни в указатель,
там есть и ты:
всегда под буквою Ч.

Гулливер среди лилипутов,
Робинзон Крузо,
вечно жалующийся Иов —
ты найдешь
всех.

Для инвентаризации утраченного
каталог
к вашим услугам,
ты сам
из музейного хлама,
у будущего
нету имен!

В библиотечной тиши
Мальтус перешептывается с Марксом.

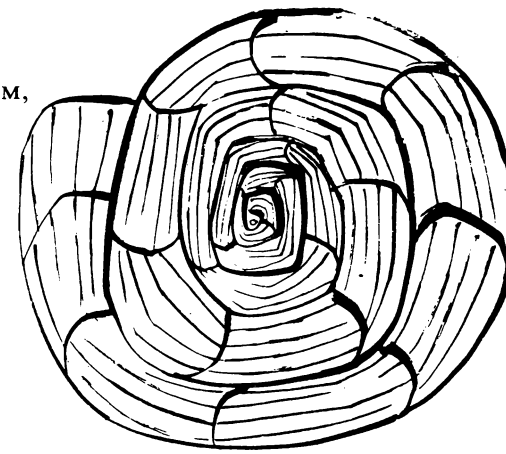
Liberty

Ими пересекалась Атлантика, груз
Приносящими к нам, в Европу, где Молот-
Рыба, война, разинула пасть, Liberty
Окрестили их, что значит «Свобода», поскольку
В безоблачном небе шли
Бомбардировщики, груз
Приносящие в Дрезден, карнавальный груз.

Я живу рядом с мертвыми, души мертвых
Со мной преломляли хлеб, и музыка
Аида есть у меня на пластинках.
До сих пор мертвецы латают пробоины
Мертвых судов, ложащихся в дрейф,
Чтобы стать в Мексиканском заливе
Под загрузку жемчугом и акулами.
Так выясняется, что умерший вовсе не мертв,
А покойник не умирал; кто разберется, тому и
Карты в руки. Я не пишу дидактических стихотворений,
Оставляя это другим, которые их тоже не пишут.
Жизнь и Смерть не учат нас ничему,
Но сами находят общий язык друг
С другом лучше, чем мы.
Корабли же, влачащие по морям
Бороды водорослей на килях, тонут
В будущем.

В белом

Я пересчитываю бумажки у себя на столе:
с каждым днем их все больше, девственно
белых. Моя ручка пуста,
карандаш не заточен. Ах, сколько прекрасных
элегий потеряно, сколько писем!
Но так сбережен покой.
Лишь в мае, когда, между Пасхой и Троицей,
вновь расцветают вишни,
я смотрю на бумажный лист.
Совсем по-другому.
Тогда я вспоминаю
могилу баронессы Марии Луизы фон Кашниц
и крохотный автомобиль,
доставивший нас сюда,
на Фельдберг, откуда дьявол
искушал меня властью над миром,
и чувствую, как белизна
зимы отрекается здесь, наверху,
от дыхания суетной жизни.



■

СТЕФАН ГЕЙМ

Агасфер

РОМАН

Перевод Б. ХЛЕБНИКОВА

Глава первая

В которой рассказывается,
как Бог на радость ангелам сотворил человека,
а два бунтаря разошлись во мнениях
по одному основополагающему вопросу.

Падаем.

Мы летим сквозь бесконечность верхнего неба, огненного, светозарного, сотворенного из того же света, что и наши одежды, впрочем, теперь мы лишены своего ореола, поэтому я вижу Люцифера во всей его наготе, во всем безобразии, и мне становится жутко.

Жалеешь о случившемся? — спросил он.

Нет, не жалею.

Мы были первенцами, сотворенными в первый день вместе с ангелами и архангелами, херувимами и серафимами, эонами и воинствами, созданы из огня и бесконечной пневмы, не имеющими ничьего образа и подобия, сотворены до отделения тверди земной от тверди небесной, до отделения воды, которая под твердью, от воды, которая над твердью, сотворены, когда тьма еще была слитной со светом, а ночь — со днем, когда веяли ветры и бури, а мы были вечным волнением, вечным кружением над сферами, вечной переменой и вечным творческим началом.

Что за тварь — человек! — сказал он.

А ведь все начиналось так грандиозно, Вселенная рождала новую Вселенную, в пространстве раздался глас, Его голос, это было на шестой день, в два часа: сотворим человека по образу и подобию Нашему. «Нашему»! Но таково было Его единоличное решение, Он один принял его, без нашего участия. Ангелов объял страх и трепет, они сказали: Сегодня будет явлено чудо, явлен Бог, наш Создатель, ибо по Его образу и подобию будет сотворен человек.

Вижу, как Люфицер, продолжая падать, оборачивается ко мне и кривит губы. Из праха земного, говорит он.

Чудо началось, как и все Его чудеса, пугающие своим величием: в пространстве возникла десница Бога, она простерлась над миром и собрала все сотворенное. Потом размеры уменьшились, и, словно маг, который колдует над разными ингредиентами, порошками, косточками, волосками, или словно кухарка, которая месит тесто, взбивает яйца, льет масло, так и Он взял от всей тверди земной пылинку, а от всех вод капельку, от

© 1981 Stefan Heym.

всего воздуха — дуновение, от всего огня — немного жара, смешал эти четыре стихии, холод, тепло, сухость и влажность, на Своей ладони, и из них получился Адам.

А мы должны были ему служить, сказал Люцифер, все еще обращаясь ко мне, должны были слушаться его, почитать его, ползать перед ним на коленях.

О том же говорили и ангелы, глядя на Адама; дескать, зачем Бог создал его из четырех стихий, если не затем, чтобы он владел всем миром? Бог взял пылинку земную, чтобы все твари пресмыкались перед Адамом в пыли, Он взял каплю воды, чтобы Адаму принадлежали все моря и реки, Он взял дуновение воздуха, чтобы все птицы небесные слушались Адама, Он взял жар огня, чтобы все духи огня, силы и власти, подчинялись Адаму. Хвалите Господа в вышних!

О, это бесконечное падение вне времени и пространства сквозь все тот же ослепительный свет. Где верх и низ, где небосвод со звездами, облаками, ласковой луной, где глуби, где царство Люфицера, где земля, где опора для ног, где простертая десница Божья?

А он был красив, хоть и из праха, сказал Люцифер.

Да, он был красив, этот Адам, человек, творенье шестого дня; даже меня поразила его красота, когда я увидел в ореоле света его лицо, сияние его глаз, подобное солнечным лучам, теплое мерцание его тела, подобное мерцанию хрусталя. Величавый, он встал посреди земли, на горе Голгофской, там облачился он в царские одежды, возложил на главу корону славы, и Бог дал ему, царю, священнику и пророку, владычество надо всеми нами. Но Люцифер, главный над ангельскими чинами низа, господин над глубинами, сказал нам: не почитайте его и не восхваляйте его, как это делают ангелы. Не мы должны поклоняться ему, а он нам, ибо мы суть огонь и дух; не пристало нам поклоняться праху и чтить персть земную. Тут раздался голос Бога, который спросил меня: А ты, Агасфер, что означает Возлюбленный, поклонишься ли ты Адаму, которого Я сотворил по образу и подобию Моему?

Взглянув на Люцифера, который стоял пред Господом — высокий, огромный, темный, как гора, со вскинутым кулаком, пробившим небесный свод, я ответил Богу: зачем понуждать меня, Господи? Я не стану поклоняться тому, кто младше и меньше, чем я. Я был сотворен прежде, чем он был сотворен; он не движет миром, как я, благодаря мне происходило одно и не происходило другое; он — прах, я — дух. Люцифер же сказал: не гневи нас, Господи, мы были Твоим царством и Твоими творениями по мудрости Твоей бесконечной, мы были Твоей гармонией, которой нужны разные звуки. Человек же, хоть и гладок ликом и хрупок телом,— это паразит, он размножится и расползется, как вошь; превращая всю Твою землю в вонючее болото, он прольет кровь брата своего и прольет семя свое в ослиц, и коз, и овец, он свершит грехов больше, чем я мог бы их выдумать, он опозорит Твой образ и подобие. Если такова твоя воля, Господи, и Ты настаиваешь, чтобы мы чтили Адама и поклонялись ему, то лучше я сам воздвигну трон выше звезд небесных и сам сравнюсь с Богом. Когда остальные ангелы, подчинявшиеся Люциферу, услышали эти слова, они также не захотели поклоняться Адаму.

С тех пор, с шестого дня и его третьего часа, началось наше падение; все мы, Люцифер, я и остальные, летим, ибо Господь во гневе Своем сбросил нас со своей десницы, в которой мы были собраны. Адама же Он вознес в рай на огненной колеснице, а ангелы восхваляли его, серафимы славили, херувимы благословляли.

Он еще пожалеет, сказал Люцифер, ибо тому, кто от нас отвернется, рано или поздно будет худо. Ему необходимо несогласие, как свету нужна тьма. А покуда я пребуду в преисподней, в Геенне, куда все когда-нибудь сами придут ко мне; всему свой срок, и, что сотворено из праха, снова обратится в прах, ибо ничто не вечно.

Тут он, раскинув руки в полете, почти с нежностью коснулся меня.

А все же, сказал я, мне жаль тех трудов, ведь было столько надежд. Как прекрасен был мир! Как прекрасен человек!

Опять ты за свое, сказал Люцифер. Тебя прогоняют, а ты жалеешь Его и Его труды.

Все можно поправить, сказал я.

Это слишком утомительно, сказал он.

На этом мы расстались, он пошел своим путем, а я, Агасфер, что означает Возлюбленный, своим.

Глава вторая

В которой Эйцен узнает для себя на лейпцигском постоялом дворе «Лебедь» немало нового, а кроме того, встречает попутчика, с которым не расстанется до самой смерти.

Когда встречаются два человека, из которых один сразу же понимает, что это событие повлияет на всю его жизнь или, по крайней мере, на значительную ее часть, а второй также чувствует, что новый знакомый сыграет для него немаловажную роль, то в подобной встрече поневоле чудится нечто сверхъестественное.

А ведь при этом вряд ли кто-либо взялся бы утверждать, будто Паулус фон Эйцен, молодой человек, направлявшийся в Виттенберг и остановившийся по пути в лейпцигской гостинице «Лебедь», производит впечатление натуры чуткой или тонкой. Скорее наоборот. Несмотря на нежный пушок на щеках, есть в нем уже какая-то сухость, словно он никогда и не мечтал ни о чем таком, что обычно занимает нас даже в зрелые годы. Поэтому, когда в общую залу вошел незнакомец, то его появление прервало отнюдь не возвышенные размышления или поэтические картины, витавшие в голове Паулуса фон Эйцена, а весьма трезвые подсчеты, какая часть наследства может достаться ему от проживавшей в Аугсбурге тетки, которую он навещал по наказу отца, гамбургского купца Рейнхарда фон Эйцена, торговля сукном и шерстью.

Незнакомец огляделся в душной, пропахшей потом и чесноком зале, где над постояльцами висел монотонный шум разговоров, похожий на рокот водопада, только не такой приятный для слуха. Прихрамывая, он подошел к Эйцену и сказал: «Желаю здравствовать, господин студиозус! Позвольте к вам присоединиться». После чего придвинул к себе табуретку и сел рядом.

Эйцен, насторожившись и глянув украдкой на свой поясной кошель, сразу догадался, что от этого человека быстро не отвяжешься, а потому слегка отодвинулся в сторону и сказал, тем более что незнакомец верно назвал его «студиозусом»: «Кажется, мы знакомы?»

«У меня такое лицо, что все полагают, будто где-то меня уже видели,— ответствовал незнакомец,— самое заурядное лицо, нос, два глаза и два уха, да рот с зубами, не очень, впрочем, хорошими, да черная бородка». Говоря это, он раздувал ноздри, кривил губы, скалил зубы, один-два из которых были черными, подмигивал, пощипывал то мочку уха, то бородку, а кроме того, посмеивался, только улыбка у него была какая-то особенная, совсем не веселая.

Разглядывая гримасничающее лицо собеседника, его странно искривленную спину и уродливую ногу, юноша Эйцен подумал, что вряд ли встречал раньше этого человека, ведь такой внешности не забудешь, она непременно останется в памяти, впрочем, существует же явление, которое французы называют déja'vu; и вновь он почувствовал немалое беспокойство, когда незнакомец неожиданно сказал: «Насколько я вижу, вы направляетесь в Виттенберг, так что нам по пути, ибо я тоже еду туда».

«Как вы догадались? — удивился Эйцен.— Через Лейпциг проходит много народу, и многие останавливаются в «Лебеде», а потом разъезжаются кто куда».

«У меня глаз наметанный,— ответил незнакомец.— Люди часто удивляются моей проницательности, но никаких чудес тут нет, просто житейский опыт, молодой человек, большой житейский опыт». И он снова засмеялся своим особенным смехом.

«Моя тетка дала мне рекомендательное письмо магистру Меланхтону,— сказал Эйцен, которого что-то подмывало на откровенность с незнакомцем.— В прошлом году магистр Меланхтон гостил в Аугсбурге, тетка принимала его у себя и потчевала; шесть блюд ему подали, и он все съел, хотя тетка говорит, что он человек тощий, даже непонятно, куда столько влезло — шесть блюд, да еще на сладкое пирог с яблоками».

«Да уж, церковникам палец в рот не клади,— откликнулся собеседник.— Особенно нашему доктору Мартинусу Лютеру, по нему сразу видно, что чревоугодник, лицо-то багровое, того и гляди — до смерти обожрется».

Подобная реплика задела юношу, он поморщился.

Незнакомец примирительно хлопнул его по плечу: «К вам это не относится. Я знаю, что вы избрали духовное поприще, но вы-то меру знаете, поэтому проживете долго, а когда наступит час и ангелочки понесут вас под руки на небеса, то тяжело им не будет».

«Я не люблю думать о смерти, тем более о своей собственной»,— сказал Эйцен.

«Это о вечном-то блаженстве? — Незнакомец опять рассмеялся.— А ведь каждый христианин должен к нему стремиться, дабы воспарить в сиянии вечном высоко, высоко, высоко, в самые горние выси!»

Эйцен даже вздрогнул, услышав троекратное «высоко». Он попробовал представить себе столь огромную высоту и столь ослепительное сияние, однако ему не хватило воображения; если Паулус фон Эйцен, будучи еще совсем молодым человеком, вообще задумывался когда-либо о вечной жизни, то ему представлялось что-то вроде родительского дома, только гораздо просторнее и богаче, у Господа же — взгляд лукавый и манеры изысканные, как у купца Рейнхарда фон Эйцена, торговля сукном и шерстью.

Наконец зазвонил долгожданный колокол, собиравший постояльцев к ужину. Прислужник, с черными полосками грязи на шее и в распахнутой на потной груди нестираной рубахе, принялся составлять столы в два ряда, отодвигая сундуки и чемоданы истомившихся постояльцев; их узелки, если хозяин замешкается, просто отбрасывались к стене; поднялась пыль, полетела зола из камина, люди зачихали и закашляли.

Эйцен в сопровождении своего нового знакомого направился к центру первого ряда, где, как он знал, будут стоять котлы с едой и где полагалось сидеть ему, молодому человеку из семьи почтенной. Впрочем, никто у него этого места не оспаривал, а уж тем более новый знакомый с хромою ногой и небольшим горбом. По другую сторону от Эйцена сел человек без правой руки; взгляд Эйцена поневоле останавливался на красной культе, при виде которой и кусок-то в горло не полезет, однако остальные постояльцы уже теснились вокруг стола, так что свободных мест не осталось и деваться было некуда. Новый знакомый, наблюдавший за Эйценом, усмехнулся и шепнул: «Многие тогда на власть замахнулись. Ишь чего захотели. Этому еще повезло, что ему руку укоротили, а не башку снесли».

Эйцен, которого поначалу смущала необычайная проницательность нового знакомца, перестал робеть и теперь лишь гадал, сколько же ему лет, если он помнит времена, когда за бунт против властей укорачивали руки и сносили голову, ведь с тех пор целый век человеческий минул, однако возраст нового знакомца угадать трудно — может, двадцать пять, а может, и за сорок. Тот тем временем вытащил из кармана ножичек искусной работы, рукоятка из розового коралла изображала во всех подробностях голую женщину en miniature; юноша аж покраснел, до того хороша была эта бабенка, лежащая со скрещенными под головой руками и приподнявшая одно колено, совсем как та шлюшка, которая научила его всему после первых трех-четырех безуспешных попыток; нет, эта, на рукоятке ножичка, была гораздо красивее, тем более странно, что такую дорогую вещичку носит в кармане человек, про которого с первого взгляда не скажешь, что у него денег полно.

Тем временем прислужник расстелил на столах холщовые скатерти, которые давно не стирали, и оттого по ним можно было угадать все меню, по крайней мере за прошлую неделю: пятна высохшего супа, волоконца мяса и еще что-то, похожее на рыбу; краями скатерти едоки прикрывали колени, а кое-кто даже запихивал скатерть за пояс — уж лучше ее запачкать, чем собственные штаны. Эйцен осмотрел деревянную миску, деревянную ложку и помятую оловянную кружку, потом огляделся по сторонам, не болен ли кто французской хворью или испанской чесоткой; изо рта воняло почти у каждого, и почти каждый чесал либо под мышкой, либо коленку, либо голову, впрочем, может, делалось это просто от скуки, ибо ни супа, ни вина пока не несли; с кухни слышалось, как хозяин бранится с кухарками, а ведь «Лебедь» слыл приличным постоялым двором, которым все гости, дескать, остаются довольны. За столом начинали перебрасываться похабными шуточками про пастора и его кухарку, что опять-таки вызывало у Эйцена немалое возмущение, ибо сам он относится к вере строго и знает, что с тех пор, как доктор Мартинус Лютер прибил к воротам церкви свои знаменитые тезисы, пасторы сочетаются с кухарками вполне законным браком.

Наконец принесли суп в большом котле, где плавал жир и даже виднелись куски мяса. Тотчас началась шумная возня с разливанием супа, после чего все быстро принялись за еду, однорукий проявлял большую сноровку в орудовании ложкой; теперь слышались лишь чавканье, сопение да тихий смешок горбатого соседа, который сказал Эйцену: «А ведь человек не слишком отличается от скотины, не правда ли? Вот и подумается порой, чего же на самом деле хотел Господь, когда создавал великое творение якобы по образу и подобию Своему».

Однорукий, чавкая, вставил: «Злой это бог, неправедный; бедных он наказывает, а сильных мира сего награждает. Видно, и впрямь над этим неправедным богом есть другой Господь, поглавнее. Сейчас Он далеко, но когда-нибудь придет сюда и принесет всем нам свет».

Этого Эйцен снести уже не мог; вскочив с места и потянув за собой край скатерти, так что из мисок кругом повыплескивался суп, он крикнул: «Да как вы смеете богохульствовать и кощунствовать? Разве вы не видите, что справедливость и порядок вновь утвердились на небе, как и на земле!» Тут все примолкли, выжидая, но в голове юноши внезапно разверзлась ужасная пустота, он не знал, что сказать дальше, и, поперхнувшись собственной слюной, закашлялся; там и сям послышались смешки, они перешли во всеобщий хохот, пока не появился хозяин и не принес мясо, тут уж все схватились за миски, чтобы не упустить свой кусок, а поперед всех — Эйцен. Мясо запивалось кислым вином из долины реки Зале, питье и кушанье горячили и веселили; что же касается горбатого соседа справа, то юношу удивляло, сколь грациозно он ест, действуя всего лишь тремя пальцами, аккуратно отламывая хлеб и разрезая мясо своим красивым ножичком; собравшись с духом, Эйцен полюбопытствовал: «Вот вы много знаете про меня, и то, что я студиозус и путь держу в Виттенберг, а сами вы, позвольте спросить, кто будете и что привело вас в Лейпциг?»

«Он-то? — проворчал безрукий.— Знаю я его, ездит повсюду, только нигде не задерживается, а с картами такие штуки вытворяет, что лишь диву даешься. Люди даже говорят, будто он слово такое ведает, чтобы козьи катыши в золото превращать, но если потом этим золотом расплатиться захочешь, они у тебя в руке опять козьими катышами становятся».

Горбун рассмеялся своим невеселым смехом и сказал: «Ну, насчет золота — это преувеличение, а на картах я гадаю, могу предсказать будущее; тут никаких чудес нет, туз идет к валету, семерка к тройке, главное — система; еду же я сейчас по делам, разыскиваю одного еврея, которого здесь недавно видели, надо мне с ним кое о чем словечком перемолвиться».

«Еврея, значит...» — повторил Эйцен, полагая, что нашел подходящую тему для разговора, ибо аугсбургская тетка растолковала ему, как на место знатного рода Фуггеров, которые вели банковские дела и финансировали своими деньгами целые княжества и даже самого императора, заступили теперь евреи; только с ними иметь дело куда дороже, хотя богатства своего напоказ не выставляют.

«Не забудьте, что вы говорите о народе, из которого произошел Господь наш, Иисус Христос»,— заметил сосед.

«И который распял его...— не замедлил козырнуть Эйцен, он-то знал эти разговоры, слышал, как отец в Гамбурге спорил с евреями, у которых брал деньги под большие проценты.— О чем же вы хотите перемолвиться со своим евреем?»

«Да вот хочу выяснить, есть ли он тот, кто есть».

Эти слова до глубины души поразили Эйцена, который в Библии тверд и поэтому знает, что Иисус Христос на соответствующий вопрос сказал: я тот, кто я есть. Тем не менее, чтобы заглушить в себе странное чувство, Эйцен, громко расхохотавшись, проговорил: «Должно быть, вас тот еврей обобрал, они ведь на это горазды».

Однако, похоже, собеседнику препирательства на темы духовные уже надоели. Тем временем пришел прислужник с грифельной доской, на которой крестами и кружочками отмечалось, кто и сколько съел или выпил; он собрал в скатерть миски и ложки, завернул ее узлом, оставил только кружки для вина, а скатерть унес, после чего горбун вытащил из кармана аккуратную колоду карт, какие сейчас изготовляют в печатнях и в народе зовут «сатанинской Библией», положил перед собою на голый стол десять карт и предложил Эйцену выбрать одну из них, запомнить ее хорошенько и сказать, когда будет готов. Внимательно рассмотрев лежавшие вниз рубашкой и странно манившие к себе карты, Эйцен подумал, что все это, конечно же, фокусы, но выбрал червонный туз в память о девице Барбаре Штедер, которая осталась дома в Гамбурге и тайно покорила его сердце, после чего сказал, что готов. Новый знакомый собрал десять открытых карт, присовокупил их к колоде, которую перетасовал так быстро и ловко, что у всех, кто с бокалами или кружками в руках обступил горбуна, Эйцена и безрукого, аж глаза на лоб полезли. Затем он разложил перед Эйценом карты веером, рубашками кверху, и проговорил: «Смотрите внимательно, господин студиозус, даю вам три попытки, тяните карту».

Эйцен вытянул карту.

«Нет, это не та. Отложите ее в сторону».

Эйцен вытянул вторую карту.

«И это не та. Неужели вы хотите нас разочаровать, молодой человек?»

Эйцену стало жарко. Фокусы, подумал он опять, но тут же ему почудилось, будто от правильного выбора третьей карты зависит, получит ли он девицу Штедер вместе с ее богатым приданым; рука у него задрожала, он почувствовал на себе горячее дыхание тесно обступивших его людей и вслепую схватил карту.

«А теперь верно,— сказал горбун.— Червонный туз. Я угадал, господин студиозус?»

Эйцен встал с широко открытым ртом, не соображая толком, чему надо больше дивиться, горбуну ли, который, похоже, отныне занял прочное место в его судьбе, или же самому себе и своей счастливой руке. Остальные кругом примолкли, только безрукий вдруг заржал: «Ах, братец Лёйхтентрагер, ну и чудеса вы творите! Даже дураки у вас становятся прозорливцами». Так Эйцен узнал, как зовут нового знакомого, а будучи человеком ученым, то есть имея за плечами четыре года латинской школы, законченной в родном городе, он сразу припомнил нечестивого Люцифера [1], впрочем, мы-то, слава Богу, живем в Германии, где нет никаких «светоносцев», тут фонарь — это просто фонарь, а тот, кто его носит,— обычный ночной сторож.

Другие зрители также захотели поугадывать карты, но Лёйхтентрагер объяснил им, что для того, чтобы угадывание получилось, нужно испытывать приязнь к человеку, участвующему в этой игре, а поскольку он таковой ко всем присутствующим не испытывает, то вместо этого фокуса он всего за пять грошей мог бы предсказать желающим по картам судьбу; желающих оказалось много, все захотели узнать, как пойдут их дела, будут ли их любить женщины, кому жена рога наставит, кто погибнет от меча, кто на

[1] Люцифер — «несущий свет» *(лат.)*, немецкая фамилия Лёйхтентрагер имеет тот же смысл, а кроме того, означает «фонарщик», «ночной сторож». *(Здесь и далее — прим. перев.)*

виселице, а кто помрет в собственной постели; короче, за недолгое время Лёйхтентрагер заработал своими пророчествами больше денег, чем иной человек зарабатывает за неделю тяжелой работы. Лишь Эйцен не решился выложить пять грошей, но не потому, что у него их не было, а потому, что, по его глубокому убеждению, судьба человеческая зависит от воли Божьей, а не от колоды разрисованных картинок, к тому же одно счастливое гадание у него в этот вечер уже состоялось.

Тем временем под воздействием вина и духоты голова его помутилась, и в конце концов он, сам не зная как, очутился в большой кровати на верхнем этаже «Лебедя», где среди ночи пришел в себя и почувствовал, что на нем осталась одна рубаха, а кафтан, штаны, чулки и ботинки куда-то подевались, равно как и поясной кошель; значит, подпоил его горбун и обобрал, недаром же он сразу заподозрил недоброе в этом Лёйхтентрагере, который к нему прилепился, да и в одноруком, ибо известно: кто хоть раз бунтовал, тот уж никогда не поладит с законом. Эйцен хотел уж было вскочить, закричать «караул!», но тут увидел в проникающем через окошко лунном свете однорукого, мирно храпевшего по соседству, а своей голой лодыжкой почувствовал копытистую ногу Лёйхтентрагера, который вовсе не спал, а бодрствовал и даже вглядывался в темноту, словно к чему-то прислушивался. Заметив, что Эйцен проснулся, он сказал: «Вещички, господин студиозус, я сложил и сунул вам под голову, чтобы их не украли».

Эйцен действительно сразу же нащупал кошель, остававшийся все таким же круглым и тугим, каким дала его на прощание аугсбургская тетка, ибо Эйцен был бережлив, лишнего ни дома, ни в путешествии не тратил, обходился самым необходимым, так уж воспитал его занимавшийся коммерцией отец, который твердил: помни, сынок, грошик к грошику, так капитал и наживается. Успокоившись, Эйцен хотел было вновь положить голову на узелок с вещами, но вдруг услышал то, к чему, видимо, прислушивался его сосед и благодетель. За деревянной стеной, которая отделяла каморку от соседней, раздавались шаги, кто-то расхаживал взад и вперед, взад и вперед, без остановки и передышки. Сколько же времени это уже продолжалось?

Отчего-то Эйцену сделалось не по себе, он вплотную придвинулся к соседу, который оказался очень волосатым, волосы росли даже на горбу, и, сам не ведая почему, сказал: «Прямо как Вечный жид».

«С чего это вы Вечного жида вдруг вспомнили?» — спросил шепотом сосед.

«Да ни с чего,— сказал Эйцен,— просто так говорят, когда человеку на месте не сидится.— Снова услышав шаги, он не выдержал и ткнул Лёйхтентрагера локтем в бок: — А не надеть ли нам штаны и не пойти ли к непоседе? Может, у него есть вино и ему захочется выпить с нами?»

Лёйхтентрагер тихо рассмеялся: «Я уж был там, приоткрыл дверь, заглянул внутрь, но ничего не увидел, только кое-какие вещи, несколько ящиков, поломанный стол и стулья, обычный хлам, какой бывает в чуланах».

Эйцен замолчал. Ему было страшно, но признаваться в этом не хотелось ни себе самому, ни тем более Лёйхтентрагеру. Наконец он все же не выдержал: «А как же шаги?»

«Может, нам это снится...» — сказал Лёйхтентрагер зевнув.

Эйцену показалось странным, что два разных человека могут видеть один и тот же сон, поэтому он покачал головой.

«А вы все еще слышите шаги?» — спросил Лёйхтентрагер.

Эйцен кивнул.

«Вы уверены в этом, господин студиозус? Я вот уже больше ничего не слышу».

Эйцен долго прислушивался к ночной темноте. Порой ему слышался глухой стук, порой нет. Конечно, можно было бы встать и поглядеть самому, как это уже сделал сосед, но лучше остаться в постели, утро вечера мудренее, да и стоит ли придавать значение каким-то шагам, которые померещились во сне; Господь Бог вечен, и вечен Сын Его, это несомненно, что же касается жида...

И снова в каморке все заснули, со всех сторон храпели, стонали, пускали ветры, а вскоре через окошко заглянула заря, но Эйцен этого не видел, потому что тоже спал, причем на сей раз безо всяких сновидений.

Проснувшись, он обнаружил, что каморка опустела, на кроватях валялись в жутком беспорядке тюфяки с соломой; голова у него гудела, словно дикий пчелиный рой. Боже мой, простонал он, тут же испугался и кинулся проверить, цел ли поясной кошель — вот была бы беда, если бы его из-под головы утащили, не зря же у нового знакомца такие ловкие пальцы. Но кошель на месте, а рядом записочка, на которой угольной палочкой выведено: «Жду внизу, господин студиозус. Ваш приятель Л.».

Вот уж он и приятелем себя величает, подумал Эйцен, натягивая штаны, застегивая кафтан и обувая башмаки; не знаю, что уж он такого во мне нашел; зря я, осел, рассказал ему про теткино наследство, может, он на него позарился и замышляет недоброе? Эйцен спустился по лесенке вниз, вышел во двор, где облегчился, почистил у колодца зубы, отсморкался, после чего вернулся в общую залу. Там уже все было пусто, прислужник лениво слонялся из угла в угол, зато новый приятель в ожидании сидел у окна; откусив хлеба и зачерпнув ложку супа, он пожевал и сказал: «Присаживайтесь ко мне, господин студиозус, откушайте со мной; коней наших я уже проведал, с ними все в порядке».

Тут молодому Эйцену пришло в голову, что ему, пожалуй, необыкновенно повезло, он встретил человека, который готов обо всем позаботиться, причем добровольно; только не выставит ли потом этот доброхот свой счет за услуги, вот что настораживало. Оба молча жевали; вообще-то Эйцен ожидал, что приятель заговорит о ночных шагах в соседней каморке, где никого не оказалось, или расскажет, куда подевался однорукий, с которым он, видимо, давно был знаком, а ведь друзей так быстро не меняют, но новый приятель не проронил о своем старом друге ни словечка, зато принялся расхваливать коня, на котором Эйцен приехал из Аугсбурга в Лейпциг, дескать, круп отменно узкий, а грудь широкая, поэтому у Эйцена даже возникло подозрение, уж не собираются ли у него увести коня, и он решил быть начеку. Однако позднее, когда, расплатившись с хозяином «Лебедя», они вышли к конюшне, он увидел, что чужой конь гораздо лучше его собственного, настоящий бес, ноздри раздувает, в глазах огонь, на месте пляшет, на такого и сесть-то не каждый осмелится, того гляди — скинет, но новый приятель, несмотря на хромоту, легко вскочил в седло и, держась прямо, будто настоящий кавалерист, взял с места в карьер, вылетел из ворот на улицу, повернул за угол, только искры из-под копыт, люди шарахались по сторонам, так что Эйцену удалось нагнать своего приятеля лишь за городом, на дороге, ведущей к Виттенбергу, да и то лишь потому, что здесь, где очертания Лейпцига за спиной уже начали расплываться, конь лихого наездника замедлил шаг.

«Вы, господин студиозус, желаете услышать, кто я таков? — проговорил незнакомец, засмеявшись своим невеселым смехом.— Я знаю, что вам покоя не будет, покуда вы этого не выясните. Недаром вы вчера говорили о порядке на земле и на небесах, у вас и в голове для всего должен быть такой же порядок, у каждой вещи свое место, своя полочка, свое отделение, а вот куда меня пристроить, вам невдомек».

И опять Эйцена поразило, насколько точно этот человек угадал его мысли, однако признаваться в том ему вовсе не хочется, поэтому, похлопав коня по потной шее, он пробормотал, что всему свое время, но если, мол, сударю угодно оставить свою историю при себе, то пусть так и будет, тем более что от слов прок невелик, все равно каждый видит другого человека по-своему.

Именно так, подхватил слова Эйцена его спутник, дескать, господин студиозус подметил самую суть: никому не дано исчерпать человеческую душу до дна, всегда останется какая-то тайна, ибо человек непрост.

Эйцен взглянул на своего приятеля со стороны — лицо заурядное, бородка, уголки бровей заострены, за левым плечом небольшой горб; пожалуй, ничего особенно необычного, но вдруг ему показалось, что за этой вполне реальной фигурой проступает какая-то другая, похожая на некую

тень или туманность, а тут еще на солнышко набежало облако, кругом слегка потемнело, отчего Эйцену сделалось жутковато, и он пришпорил коня.

Сбежать он не пытался, от быстрого скакуна попутчика он все равно не смог бы уйти, это было ясно, поэтому он притормозил и дождался, пока неторопливый приятель не нагнал его, после чего спросил, что тот, собственно, имел в виду, когда сказал, что человек непрост.

«Каждый из нас раздвоен»,— услышал он в ответ.

Кинув быстрый взгляд, Эйцен удостоверился, что некая туманность, окружавшая собеседника, исчезла; должно быть, это было просто обманом чувств, подобно тем ночным шагам. А поскольку все в голове Эйцена само собой укладывалось в привычные понятия, он сказал: «Ну конечно. Ведь есть я и есть моя бессмертная душа».

«Да,— согласился новый приятель и засмеялся, только на сей раз в его смехе слышалась явная издевка.— Можно и так взглянуть на это дело».

Здесь в Эйцена закралось ужасное подозрение, гораздо более жуткое, чем все предыдущие, поэтому он настороженно спросил: «Уж не анабаптист ли вы, не перекрещенец ли из тех, что поклоняются в Мюнстере черту и творят всяческое непотребство? Как вы относитесь к крещению?»

«Раз уж вы так любопытны, господин студиозус, отвечу. По-моему, лучше всего крестить в малом возрасте. Даже если младенцу купель не принесет благодати, то уж по крайней мере не повредит, зато обряд будет исполнен, причем, как лютеранский, так и католический».

Подобное мнение показалось Эйцену вполне разумным, хотя ему все-таки претила мысль, что внутри, может, сидит кто-то, кто способен выкинуть какую-нибудь штуку или, не дай Бог, ввести в грех и его самого, и бессмертную душу.

Лёйхтентрагер пустил своего коня шагом.

«Отец мой,— сказал он,— был глазным врачом Бальтазаром Лёйхтентрагером в Китцингене-на-Майне, а супруга его, Анна-Мария, была беременна мною на девятом месяце, когда по приказу нашего маркграфа Казимира ему вместе с другими шестью десятками горожан и крестьян из окрестных деревень выкололи глаза».

«Видать, попал ваш отец в компанию к бунтовщикам»,— догадался Эйцен.

«А он сам и был одним из зачинщиков,— сказал Лёйхтентрагер.— Когда народ стал собираться, кто в панцире, кто с копьем, то господа из городского совета Китцингена стали успокаивать людей, мол, бунт всем только повредит; тогда мой отец выступил с гневной речью о том, что народ не должен поддаваться на сладкие посулы, и что на приманку из сала ловят, мол, глупых мышей, и что настала наконец пора, чтобы полетели с плеч головы кровопийц».

«Да, ужасные то были времена,— важно изрек Эйцен.— Но, слава Богу, теперь они позади благодаря писаниям доктора Мартинуса Лютера и решительным действиям властей». Говоря это, Эйцен задался вопросом, сколь еще силен бунтарский дух старшего Лёйхтентрагера в его сыне, что скачет рядом.

Однако тот преспокойно жевал сорванный с придорожного дерева листок. Сплюнув его, он как ни в чем не бывало продолжил свой рассказ: «Отца моей матери по приказу маркграфа также ослепили за то, что он вытащил из церковной усыпальницы череп святой Аделоизы, основательницы женского монастыря в Китцингене, гонял его, будто шар, по полу; мой отец в тот день, когда ему выкололи глаза, умер от ужасных ран, а моя мать бежала из города со мной во чреве, поэтому и родился я, подобно младенцу Христу, по дороге, в хлеву, только не стояли вкруг меня волы и ослы, не оделяли меня волхвы своими дарами; матушка моя была совсем одна, она уронила меня, так я и стал с самого рождения калекой, хромым на одну ногу да горбатым».

«Да, трудное вам досталось наследство и от отца, и от матери,— не удержался от замечания Эйцен, а сам подумал, что от такого семени доброго плода ждать не приходится, однако вслух сказал: — И что же было дальше?»

Его собеседник вздрогнул, будто очнувшись от каких-то воспоминаний; поняв это движение по-своему, конь припустил галопом, так что Эйцену пришлось долго догонять его, прежде чем он услышал продолжение истории, то есть рассказ о том, как несчастная женщина, вконец обессиленная, донесла свое дитя до Саксонии, до Виттенберга, и там умерла, после чего военный лекарь Антон Фриз и его сердобольная жена Эльзбет взяли на воспитание сиротку, который еще и говорить-то не умел, только лепетал да плакал, прося материнской груди. «И за то им спасибо сердечное,— добавил Лёйхтентрагер,— тем более что утех я им принес немного, ибо рос угрюмым, необщительным, и когда другие говорили то да это, мол, так было всегда, так уж, дескать, заведено, я начинал донимать людей вопросами, отчего они сердились и частенько меня поколачивали».

«Но есть вещи, про которые добрый христианин не спрашивает, как да почему»,— с жаром сказал Эйцен.

«Если бы человек не задавал вопросов, все мы до сих пор оставались бы в раю. Только вот не утерпелось же Еве узнать, почему запрещено есть яблоко».

«Во-первых, она была глупой женщиной,— возразил Эйцен,— а во-вторых, ее змий искусил. Боже упаси нас от подобного змия».

«А я этого змия вполне понимаю,— сказал Лёйхтентрагер.— Видел же он, что Бог дал человеку две руки, чтобы трудиться, и голову, чтобы думать, только зачем голова и руки в раю? Так и отсохли бы они в конце концов за ненадобностью, и что стало бы тогда с образом и подобием Божьим, господин студиозус?»

Не понимая толком, смеется ли новый приятель или нет, Эйцен решил вернуться на более прочную почву, а потому повторил напутствие, данное ему в Гамбурге пастором Иоганнесом Эпиносом: не в знании сила, а в вере. После чего, чтобы избежать спора, который грозил обернуться для него поражением, Эйцен попросил спутника продолжить рассказ.

Тот поведал, что когда приемный отец, военный лекарь Фриз, был при смерти, то призвал его к себе и сказал: «Сын мой, а я всегда считал тебя своим сыном, хотя ты пришел в мой дом бедней чем подкидыш и едва живой от голода, поэтому моя добросердечная жена и я не без труда выкормили и выходили тебя, так вот, сын мой, я хотел бы передать тебе наследство от твоей настоящей матери и твоего настоящего отца; вот то, что было при матери, когда нашли покойницу, вещицы недорогие, но важна память — item, пожелтевший платочек с двумя темными пятнами крови (я сам в том убедился), это кровь с глазниц твоего отца! item, серебряная монета, на которой отчеканена голова римского императора, и, наконец, кусок пергамента с древними еврейскими письменами и примечанием, сделанным рукою твоего отца, которое говорит о том, что монету и пергамент он получил от одного очень старого еврея, побывавшего у него за несколько дней до бунта». Передав все это своему приемному сыну, старый лекарь тихо почил, он же, Лёйхтентрагер, сложил три реликвии в кожаный мешочек, который носит с тех пор всегда с собой как своего рода талисман.

При упоминании еврея, навестившего отца нового приятеля, Эйцену сразу же пришли на ум Вечный жид и ночные шаги в соседней каморке, а также слова приятеля о том, что он ищет некоего еврея, ради которого приехал в Лейпциг, и хотя Эйцену стало жутковато, его подмывало любопытство, поэтому он сказал Лёйхтентрагеру, что носит на груди освященный крестик, подаренный матушкой, и может показать его, если приятель покажет взамен свой амулет.

Лёйхтентрагер, потянувшись со своего коня, хлопнул Эйцена по плечу, отчего тот вздрогнул, и сказал, что если ему интересно посмотреть на подобную чертовщину, то — пожалуйста; кстати, пора дать коням отдохнуть. Всадники остановились, пустили коней на травку, а сами уселись на два пенька; Лёйхтентрагер, вытащив из-за пазухи, показал Эйцену сначала старинную монету, очень хорошо сохранившуюся, на ней можно было отчетливо разглядеть каждый листочек в лавровом венке императора, затем платочек с двумя бурыми пятнами и, наконец, кусок пергамента.

То, что написал на полях отец Лёйхтентрагера, Эйцен разобрал, но древнееврейские письмена были ему совершенно непонятны, поэтому он

попросил объяснить, что же тут начертано — магическая ли формула или же проклятье какое, а может, этот секрет вообще нельзя разгадать?

О, кое-что в древнееврейском языке он смыслит, сказал Лёйхтентрагер и для вящей пользы студиозуса добавил, что это отрывок из Библии, слова пророка Иезекииля: «Так говорит Господь Бог: вот Я — на пастырей дурных, и взыщу овец Моих от руки их и не дам им более пасти овец, и не будут более пастыри пасти самих себя, и исторгну овец Моих из челюстей их, и не будут они пищею их».

Эйцен почувствовал немалое смущение: с одной стороны, ему прочитали слова библейского пророка, но, с другой стороны, звучат они слишком бунтарски, поэтому он спросил себя, кого подразумевает пророк под дурными пастырями, наносящими вред своему же стаду, но затем он успокоил себя тем, что все это дела давние, а пастыри нынешние — люди вполне почтенные, они блюдут стада для хозяина, и вспомнил, что хотел показать новому приятелю свой крестик.

Однако тот отвернулся от креста, будто перевидал их на своем веку предостаточно и не питает к ним ни малейшего интереса, после чего засунул свои сокровища за пазуху, схватил коня за узду и вскочил в седло. Глядя сверху на суетящегося Эйцена, он сказал: «Можете остановиться в Виттенберге у меня, господин студиозус. В доме военного лекаря Фриза, который достался мне по наследству, места хватает, а о плате сговоримся, она для вас будет посильной». И, прищелкнув языком, Лёйхтентрагер припустил коня.

Эйцен, поспешая следом, подумал, что, по Божьей воле, все устроилось замечательно; правда, он надеялся на рекомендательное письмо от аугсбургской тетушки к доктору Меланхтону и на то, что доктор поможет найти жилье и стол, особенно если Эйцен запишется в его ученики, однако все получилось даже еще лучше, ибо знаменитого учителя и друга самого Лютера, вероятно, и без того осаждает множество молодых людей, возможно, даже более умных, чем Паулус фон Эйцен из Гамбурга, хотя наверняка не таких усердных. И все-таки, размышлял он с тревогой, и все-таки...

Но сомнения быстро рассеялись. Не стоит приписывать человеку излишней загадочности, решил Эйцен, даже такому странному, как его новый приятель Лёйхтентрагер, который скачет впереди навстречу затянутой облаками вечерней заре.

Глава третья

Где вновь утверждается, что то,
чего не признают школьные учебники,
не должно существовать,
даже если ты видишь это собственными глазами.

Господину профессору
Dr. Dr. h. c. [1] Зигфриду Байфусу
Институт научного атеизма
Беренштрассе, 39а
108 Берлин
Германская Демократическая Республика

19 декабря 1979 г.

Глубокоуважаемый коллега!

С большим интересом прочел Вашу замечательную работу «Иудео-христианские мифы в свете современного естествознания и исторической науки». Я во многом разделяю Ваши суждения, особенно там, где Вы пишете, для каких целей использовались, а отчасти и сейчас используются, вышеупомянутые мифы. Ведь

[1] Doctor Doctor honoris causa *(лат.)* — двойная почетная докторская степень.

долг ученого состоит в том, чтобы по мере сил содействовать просвещению; нельзя позволить дурачить людей, что происходит, однако, с целым рядом новейших мифов, претендующих на научность.

Тем не менее позвольте мне сделать несколько замечаний к разделу, озаглавленному Вами «К вопросу о Вечном жиде». Дело в том, что я и сам посвятил Агасферу (который имел также другие имена) несколько разысканий, предварительные итоги коих сообщаются в прилагаемой копии моей статьи из журнала «Hebrew Historical Studies»; для Вашего удобства прилагаю перевод этой статьи, выполненный одним из моих студентов и потому немного корявый.

На стр. 17 Вашей работы Вы, уважаемый коллега, пишете: «Материалистическое мировоззрение не признает недоказанных и недоказуемых явлений, да и не может признать их, поскольку руководствуется научными принципами, тем самым существование сверхъестественных явлений (бог, сын божий, святой и прочие духи, а также ангелы или бесы) невозможно a priori». Агасфер также отнесен Вами к категории «невозможного».

Не ставя под вопрос ценностей мировоззрения, именуемого Вами диалектическим материализмом (оно, несомненно, имеет свои достоинства), мне хотелось бы со всем уважением к Вам констатировать во избежание дальнейших заблуждений, что Вечный жид не является явлением недоказанным или недоказуемым. Он существует вполне реально, как Вы или я, у него есть сердце, легкие, печень и все прочее; единственно, что можно было бы счесть сверхъестественным, это его необычайная живучесть; не умирает он, и все тут. Не будем спорить, является ли подобная особенность благом или нет; тем более что сам он по этому поводу никогда не высказывается. Похоже, он воспринимает собственное долголетие как некую данность; так мы относимся, скажем, к скрюченному пальцу или псориазу.

Из вышеизложенного следует, что я сам могу засвидетельствовать реальность существования Агасфера. Неудивительно, что клетки головного мозга, перегруженные за долгие века и даже тысячелетия многообразными впечатлениями, обнаруживают некоторые пробелы, тем не менее память Агасфера отличается необычайной ясностью и подробностью, когда речь заходит о вполне определенных эпизодах его жизни. Послушали бы Вы его рассказы о встречах с Иисусом из Назарета, ряд подтверждений которым я нашел, кстати, во фрагментах Свитков Мертвого моря. С радостью представлю эти фрагменты в Ваше распоряжение, как только появится разрешение на их публикацию.

Надеюсь, уважаемый коллега, что кое-что из моего письма пригодится Вам при подготовке переиздания Вашей работы, столь высоко ценимой мною. Позвольте заверить Вас в моем глубочайшем почтении.

Ваш
Йоханаан Лёйхтентрагер
Еврейский университет
Иерусалим

Господину профессору
Йоханнаану Лёйхтентрагеру
Еврейский университет
Иерусалим
Израиль

12 января 1980 г.

Глубокоуважаемый господин профессор Лёйхтентрагер!

Ваше письмо и приложения к нему, поступившие вчера в наш институт, весьма порадовали меня, ибо они служат свидетельством того, что научные исследования, проводимые в нашей стране, Германской Демократической Республике, пользуются известностью и влиянием далеко за ее пределами. Внимание, оказанное результатам нашей работы столь именитым и авторитетным специалистом, как Вы, укрепляет нас в стремлении еще целеустремленней и напористей следовать нашей цели, еще тверже вести борьбу с заблуждениями и пережитками, недостойными человеческого разума. При этом, однако, мы высоко ценим диалог с носителями иного мировоззрения, ибо любая теория утверждает себя в споре аргументов, а критерием истины для науки является, как известно, практика.

Вашу статью «Агасфер, легенда и правда», опубликованную в сборнике «Hebrew Historical Studies», я прочитал не только сам, но и ознакомил с ней моих ведущих научных сотрудников. Поэтому изложенное ниже отражает мнение целого коллектива, отлично зарекомендовавшего себя многолетней исследовательской работой в области научного атеизма.

Все мы не имеем оснований подвергать сомнению ни факт Вашего личного знакомства с упомянутым в Вашей статье господином Агасфером, членом иудейской религиозной общины, ни факта Ваших прежних встреч с ним в Варшавском гетто, откуда Вам, тогда совсем еще молодому человеку, вместе с немногими уцелевшими повстанцами удалось спастись благодаря дерзкому бегству через подземную канализацию. В то же время вызывают сомнения ряд приведенных Вами эпизодов из биографии вышеупомянутого Агасфера, относящихся к значительно более ранним периодам истории; подобные свидетельства, особенно при отсутствии документов или нескольких очевидцев, не могут считаться научно достоверными и приобретают тем более мифологический характер, чем удаленнее от нас само повествуемое событие. Вы называете в своей статье (см. стр. 23) господина Агасфера «другом», а это, позвольте Вам заметить, не исключает возможности того, что Вы оказались под известным влиянием Вашего друга, приведшим к не вполне обоснованным заключениям и выводам.

Отсутствие дипломатических отношений между нашими странами затрудняет гражданам ГДР визиты в Государство Израиль, иначе квалифицированные сотрудники Института научного атеизма или я лично могли бы непосредственно освидетельствовать господина Агасфера, тем более что для установления хотя бы приблизительного возраста достаточно визуального контакта. С учетом сказанного возникает вопрос, нельзя ли на месте произвести официальную медицинскую экспертизу по установлению подлинного возраста господина Агасфера, что вполне удовлетворило бы любопытство всех, кто интересуется данным феноменом.

В этой же связи пресс-секретарь нашего института, доктор Вильгельм Якш, задает резонный вопрос: чем объяснить, что столь падкая на сенсации западная пресса (а израильские газетчики и журналисты вряд ли составляют исключение) обошла своим вниманием человека, которому исполнилось не менее двух тысяч лет? Тем не менее, по нашим сведениям, нигде и никогда не публиковалось не только каких-либо сообщений о господине Агасфере, но даже его фотографий. Не располагаете ли Вы, глубокоуважаемый господин профессор, подобной фотографией? Она могла бы пролить свет на многие обстоятельства, если бы Вы соблаговолили предоставить ее нам во временное пользование.

Позвольте еще раз заверить Вас, что мои сотрудники и я лично приветствуем научную дискуссию, как по данному, так и по другим вопросам, и готовы рассмотреть любые аргументы, подтверждающие Вашу правоту. Впрочем, что касается аргументов, то необходимы более убедительные свидетельства существования Вечного жида, нежели те, что имеются в нашем распоряжении.

Желаю Вам успехов в Вашей работе,

с глубоким уважением
(Prof. Dr. Dr. h. s.) Зигфрид Байфус
Институт научного атеизма
Берлин, столица ГДР

Глава четвертая

В которой доктор Мартинус излагает свое мнение о евреях, а Эйцен встречается с одним из них, что оборачивается для него изрядными неприятностями.

Немалое время прошло с тех пор, как Паулус фон Эйцен обосновался в Виттенберге и начал изучать у магистра Филиппа Меланхтона, а также у других университетских докторов богословие и историю. Жил он по

известному уговору в лёйхтентрагеровском, а прежде фризовском особняке, на втором этаже, где чувствовал себя не хуже, чем в отцовском доме. Впрочем, здешнее хорошее самочувствие имело иной характер, ибо объяснялось, в первую очередь, гостеприимством хозяина, говорившего каждый вечер за бутылкой доброго вина о таких вещах, которые весьма возбуждали молодого человека и которые его почтенному батюшке, коммерсанту Рейнхарду фон Эйцену, торговля сукном и шерстью, не пригрезились бы даже во сне, а во вторую очередь, то была заслуга горничной Маргрит, которая готовила ему завтрак, обстирывала и выкуривала из постели блох и клопов, когда их становилось слишком много. После этого студента переставали донимать насекомые, однако никак не оставляли в покое мысли, которые днем и ночью возвращались к пышным плечам, грудям, бедрам и ягодицам Маргрит. Чтобы отвлечься от этих мыслей, он подходил к окошку, открывавшему прекрасный вид на стоящий напротив, чуть наискосок, дом его учителя Меланхтона, пытался вспомнить его благочестивые изречения наставника или вызвать в своей памяти образ дожидавшейся его в Гамбурге девицы Барбары Штедер, но ничего не помогало; благочестивые изречения сами собой превращались в постную белиберду, а образ Барбары, не успев толком проясниться, безнадежно блекнул, и вместо него перед внутренним взором возникали дерзкие, сочные и алые губы Маргрит.

Лёйхтентрагер давно заметил страдания своего постояльца. «Пауль,— сказал он, ибо в Иоаннову ночь они вдруг расчувствовались, выпили на брудершафт и решили с тех пор величать друг друга просто по имени, Лёйхтентрагер звал Эйцена Паулем, а тот звал Лёйхтентрагера Хансом.— Пауль,— сказал Лёйхтентрагер,— могу пособить тебе с Маргрит, мне достаточно словечко шепнуть, она сама придет к тебе ночью и так ублажит, что вовек не забудешь, у нее от природы такой талант, да еще я кое-чему подучил».

Эйцена аж бросило в жар, но в ответ он лишь пробормотал: «Что ты говоришь, Ханс? Меня ведь в Гамбурге ждет барышня, которой я поклялся в верности».

«Верность — это нечто головное,— возразил приятель.— А твои желания насчет Маргрит имеют совсем иное происхождение; плотское не стоит смешивать с духовным, к тому же отсюда до Гамбурга далеко, ничего твоя девица Штедер не узнает, следовательно, ничего ее и не расстроит. Впрочем, я пришел по совсем другому делу: магистр Меланхтон прислал своего слугу спросить нас, не доставим ли мы ему удовольствие разделить трапезу, которую он устраивает для доктора Мартинуса, его супруги Катарины и других гостей, людей ученых и добропочтенных: госпожа Катарина выставляет по этому случаю бочонок пива, своего, домашнего».

«Как, и меня зовут?» — переспросил Эйцен, рассиявшись от такой нежданной-негаданной чести.

«Да, и тебя»,— подтвердил Лёйхтентрагер, умалчивая, что сам предложил Меланхтону пригласить своего приятеля, ибо имел на этот счет собственные соображения; кроме того, он неплохо изучил Лютера с Меланхтоном, им уже не о чем поговорить вдвоем, зато перед публикой они стараются перещеголять друг друга и становятся такими златоустами, что слушатели только рты разевают, поэтому, думает Лёйхтентрагер, вечерок может получиться забавным.

По столь торжественному случаю Эйцен решил быть при полном параде, он надел новые сапоги из мягкой кожи, черный камзол на серой шелковой подкладке, волосы напомадил, чтобы блестели, а кроме того, он продумал, о чем станет говорить за столом, если ему предоставится слово: он скажет, как жаждут жители Гамбурга мудрого наставления в истинной вере, ибо втайне понимал, что благословение от Лютера поможет получить в Гамбурге пасторский приход, а там, глядишь, и должность суперинтенданта. Однако, когда он такой расфранченный спустился по лестнице вниз, Маргрит, расхохотавшись, спросила, уж не отправляется ли он свататься; вот именно, ответил за него Лёйхтентрагер, только речь идет о невесте небесной.

И вот все они собрались у Меланхтона за его большим столом — доктора, студенты и другие гости, у кого имелась супруга, тот привел ее с собой; Эйцен загляделся на последние лучи закатного солнца, которые играли в круглых ячеистых стеклах окон; зажглись свечи, они отбрасывали на лица неровный свет, поэтому в этих лицах появлялось что-то призрачное, но все дело было лишь в сквозняке с кухни, из которой доносились умопомрачительные ароматы. Посередине длинного стола, словно Иисус Христос на тайной вечере, восседал доктор Мартинус; подперев кулаком свою крупную голову, он вяло оглядывал застолье; видеть он мог лишь одним глазом, и, когда этот глаз останавливался на смеющемся Лёйхтентрагере, который сидел в конце стола, лицо доктора Мартинуса выражало некоторое недоумение и он хмурил кустистые брови, словно тщетно силился вспомнить что-то.

Но тут принесли рыбное блюдо, несколько жирных вареных карпов в отличном соусе, доктор Мартинус сразу же забыл о своем беспокойстве, чело его разгладилось, и он заговорил о Творце и чудесах Его творения: «Поглядите только, как мечет икру рыбешка малая, которая одна приносит тысячу икринок, а самец бьет хвостом о воду и оплодотворяет их. Поглядите на птиц, как они брачуются, самец треплет самочку за хохолок, а та откладывает яички, потом высиживает их, и из каждого яичка вылупливается птенчик; поглядите на птенчика, каково ему было в скорлупе?»

«И все происходит на благо и на пользу человеку,— подхватил Меланхтон,— ибо определено в Писании людям владычествовать над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся на земле».

«И друг над другом,— добавил Лёйхтентрагер.— А еще определено им выжигать друг другу глаза, отсекать руки, резать и колоть, колесовать, и четвертовать, и чинить всяческое насилие. Аминь».

Эйцен увидел, как доктор Мартинус побагровел и едва не подавился рыбьей костью; он тотчас подумал, что одно дело — приятельский разговор с глазу на глаз за бутылкой вина, другое дело — речи в присутствии ученых мужей, поэтому обратился к Лёйхтентрагеру: «Не богохульствуй, Ханс; грех пришел в мир со змием, но мы достаточно сильны, чтобы с Божьей помощью, положившись на мудрость учителей наших Мартинуса Лютера и Филиппа Меланхтона, раздавить гадину и приблизиться тем самым к царству Божию на земле».

Тем временем доктор Мартинус выплюнул рыбью кость, прокашлялся, после чего спросил: «Кто вы, молодой человек?» Пока госпожа Катарина наливала пиво своему еще не успокоившемуся супругу, а потом передавала большой жбан дальше по кругу (у дома Лютеров была привилегия на варение собственного пива), Эйцен, заикаясь от счастья, принялся рассказывать, кто он таков, откуда родом, чем собирается заняться; наклонившись к Меланхтону, Лютер сказал: «Приметьте себе этого молодого человека, магистр Филипп, он далеко пойдет». Лёйхтентрагеру же он через весь стол проворчал: «На духа зла ты похож, но и такового следует выслушать бдительности ради».

Другой бы, наверное, смолчал и растерялся, услышав подобные слова доктора Лютера, но только не Лёйхтентрагер. Эйцену даже показалось, будто его приятель вырос на целую голову или на две, вырос и его горб, впрочем, возможно, это была лишь игра света и теней, во всяком случае, он услышал, как Лёйхтентрагер, громко рассмеявшись, язвительно сказал: «Разве вы, господин доктор, не собирались посвятить себя борьбе с духом зла? Так поведайте о вашем успехе. А может, вы оробели, отошли в сторону, примирились с сильными мира сего, когда увидели, какую затеяли смуту, и поняли, что человек, несущий на себе проклятие, сначала думает о себе и лишь в последнюю очередь о Боге, если вообще о Нем вспоминает?»

Доктор Мартинус Лютер поднялся с места и встал во всем своем мощном дородстве, отчего сидящие за столом невольно чуточку съежились; Эйцену же, который прекрасно знал, что в доме повешенного не говорят

о веревке, первым делом в голову пришло опасение лишиться благосклонности, заслуженной только что и столь долгожданной, а поэтому, набравшись храбрости, он полюбопытствовал у своего учителя Меланхтона, верно ли, что церковь и светские власти служат человеку как бы двумя стопами, не будь любой из них, человек охромеет.

Меланхтону подобная сентенция пришлась по душе, сразу видно, что ученик у него прилежный, но ему хотелось добавить для законченности последний штрих, поэтому он ответствовал, что властители благочестивые, то есть такие, которые ратуют против идей эпикурейских, идолопоклонничества, клятвопреступлений, против тех, кто заключает договор с чертом или исповедует ложные вероучения, воистину служат опорой для церкви.

Однако, похоже, доктор Лютер этих слов не расслышал, он по-прежнему пристально глядел на Лёйхтентрагера, сияющего и пьющего пиво, поднесенное госпожой Катариной, а потом сказал: «Кем бы ты ни был на самом деле, за живое ты меня задел. Если бы, начиная свои писания, я знал, сколь враждебны люди к слову Божьему и как противятся они ему, в чем позднее я действительно убедился, то промолчал бы и никогда бы не дерзнул выступить против папы и законопорядка. Я думал, что люди грешат по невежеству своему и по слабости своей, надеялся, что не посмеют они преднамеренно покуситься на слово Божье; но Господь уподобил меня слепому коню, который не видит, кого везет».

После этих слов доктор Мартинус снова сел и опустил голову. Теперь уж гости и вовсе замолчали, даже Лёйхтентрагер, поэтому Лютер, решив, что его не поняли, сказал: «Затевая доброе дело, надо полагаться на разум и рассудительность, но они редки, чаще люди смелы от глупости и подвержены заблуждениям. А заблуждения ведут к смутам, поэтому лучше сразу сунуть палку в колеса, чтобы всему положить конец».

Лёйхтентрагер поставил кружку на стол. «Но смутам-то конца и края нет,— сказал он с напускной озабоченностью.— Говорят, будто неподалеку от Виттенберга снова видели Вечного жида».

Эйцену тотчас вспомнились ночные шаги в пустой соседней каморке лейпцигского «Лебедя», впрочем, с тех пор сколько воды утекло; Лютер же поднял голову, и на красном лице его проступило явное недовольство: почему ему до сих пор ничего не известно, почему ему сообщает об этом какой-то Лёйхтентрагер, и насколько достоверны сведения?

Госпожа Катарина кинулась расспрашивать: «Где? Когда? Как он выглядел?» Меланхтон сказал: «Да жидов тут хватает, и все они на одно лицо; просто решил кто-нибудь повыхваляться, а мы ему и поверили».

«Но у него на подошвах ног кресты, гвоздями пробитые, по пять гвоздей в каждой ступне»,— возразил Лёйхтентрагер.

Этот довод показался Филиппу Меланхтону не просто убедительным, но и поразил его, ибо при всей своей учености и книжности натуру он имел чувствительную, а потому живо представил себе мучения человека, обреченного на вечные скитания с таким количеством гвоздей в ногах; кроме того, известно, что появление Вечного жида предвещает недобрые времена. «Хорошо бы, чтобы кто-нибудь побеседовал с ним, порасспросил,— сказал он помедлив,— ведь сей человек был очевидцем того, как нашего Спасителя вели на Голгофу с крестом на плечах, он мог бы рассеять кое-какие сомнения».

«Вот как? — проговорил доктор Мартинус.— Какие же такие сомнения?»

«По крайней мере, он помог бы нам обратить иудеев в единственно истинную, христианскую веру»,— ответствовал магистр Филипп.

Это соображение показалось Эйцену вполне разумным, ибо тот, кто видел Иисуса, несущего крест, не может не засвидетельствовать Его святость. Тем удивительнее ему новая вспышка гнева у доктора Мартинуса.

«Вот как? — повторил тот.— Тогда просите нашего государя, нашего всемилостивейшего курфюрста, чтобы он повелел схватить этого жида, где бы тот ни объявился, только схватить его так же невозможно, как самого сатану, ибо он тотчас растворится среди прочих жидов, лишь вонь от него останется, потому что он ничем от них не отличается, а они от него, и в этом смысле все они вечные».

Он оглядел собравшихся, чтобы убедиться, все ли поняли, о каких важных вещах зашел разговор. Кухарка, собравшаяся подавать жаркое, застыла на пороге, не решаясь войти, пока господин доктор говорит, а тот в запале ее даже не заметил.

«Обратить иудеев в христианскую веру невозможно,— продолжал он,— ибо они до сих пор не желают отказываться о своей богоизбранности, хотя уже полтора тысячелетия рассеяны по свету, унижены и брошены на самое дно, а все чаяния их сводятся лишь к мечтам о том, что рано или поздно они поступят с нами, христианами, как во времена Эсфири поступили в Персии с язычниками. Да мы по сей день не ведаем, какой черт занес их к нам, мы их из Иерусалима не звали».

Это также показалось Эйцену вполне справедливым, ибо он наслышан от своей аугсбургской тетушки о бесчинствах евреев, которые обирают и богатых, и бедных, ничего не давая взамен.

«Обратить в христианскую веру! — воскликнул благочестивый доктор Мартинус.— Это жидов-то? Послушайте моего доброго совета: во-первых, все их синагоги и школы надо сжечь, требники их отнять, а талмудистам и раввинам запретить вероучительство; во-вторых, молодым и сильным жидам надо дать цепы, топоры и лопаты, дабы работали до пота, а не захотят, надо гнать их из наших земель вместе с их Вечным жидом; все они согрешили против Господа нашего, Иисуса Христа, за что и прокляты, как тот Агасфер».

Эйцен почувствовал себя немного сбитым с толку, поскольку слова великого Лютера не вполне следовали заповедям Христа, который учил: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас. Но, рассудил он, не Иисус Христос, а, скорее, доктор Мартинус может дать ему церковную кафедру, с коей он станет проповедовать своим прихожанам слово Божье, поэтому вряд ли стоит сомневаться в правоте достопочтенного доктора, тем более что кухарка внесла-таки наконец жаркое, поставила его, и вокруг распространился такой аромат, что у Эйцена окончательно пропали любые сомнения. У доктора Мартинуса тоже, видно, слюнки потекли, поэтому он прервал свою страстную речь, потянулся к блюду и выбрал себе самый сочный кусок, за который и принялся с аппетитом. Едва приступив к еде, он заметил, как Лёйхтентрагер достал свой изящный ножичек, и захотел рассмотреть его поближе; в то время как госпожа Катарина стыдливо отводила глаза в сторону, доктор Мартинус внимательно изучал ножичек, после чего заключил, что это истинное произведение искусства, только внушенного, должно быть, чертом, ибо про художников, скульпторов и прочих людей подобного сорта никогда не знаешь, по чьему наущению они действуют, ангельскому или же сатанинскому.

В разговор тут же вступил господин Лукас Кранах, которому раньше в Виттенберге принадлежала аптека и который также находился теперь среди гостей; он заметил, что художник истинный никогда не следует ничьим наущениям, ни ангельским, ни сатанинским, он сам творит себя, как некогда Господь искусно сотворил человека, и всякую живность, и растительность, а еще он попросил дозволения написать доктора Мартинуса с этим ножичком в руке, мол, так хороши оттенки красного цвета, так прелестна женская фигура, к тому же все это из коралла, но главное — выражение глаз доктора Мартинуса, одновременно критическое и довольное. Наверное, одним замечательным портретом великого Лютера стало бы больше, если бы доктор Мартинус не возразил, что ему более пристало быть запечатленным с молитвенником, нежели с голой бабой, пусть даже совсем крохотной.

Господин Лукас Кранах счел, что Лютер намекает на свой почтенный возраст, поэтому поспешил сказать: именно зрелость умеет ценить подлинную красоту; ведь и сам он, несмотря на свои годы, нарисовал нагую Еву, за что снискал немало похвал.

Оглянувшись вокруг, доктор Мартинус остановил свой взгляд на Эйцене; его кустистая бровь приподнялась, он протянул Эйцену ножичек со словами: «Ну а вы что скажете, молодой человек?»

Рука Эйцена, взявшая ножичек, сразу же вспотела, в голове его

мелькнула мысль и о давешней шлюшке, и о нынешней Маргрит; наконец он сказал: «Все мы грешники, а вожделения наши — это часть врожденного зла, за которое суждена нам извечная смертная кара, но если мы боремся с вожделением — то это уже добродетель, хотя истинно спасти нас может только милость Божья».

У Лютера аж рот открылся, ему пришлось изрядно отхлебнуть пива, прежде чем он сумел проговорить: «Ваши речи столь благоразумны и благочестивы, Эйцен, словно Господь вложил в Вашу юную голову мозг старика».

Не понимая, похвала это или нет, Эйцен обернулся к Лёйхтентрагеру, но тот лишь ухмыльнулся, поэтому остаток вечера, который прошел за умными беседами, десертом и был подогрет добрым пивом от щедрот госпожи Катарины, не слишком его порадовал, зато Эйцен с облегчением вздохнул, когда на прощание Лютер подошел к нему и одобрительно хлопнул по плечу; если будет нужда, сказал доктор Мартинус, господин студент всегда может обратиться к нему за советом, на что магистр Меланхтон состроил довольно кислое лицо. Возвращаясь по улице к дому, Эйцен толкнул своего приятеля Лёйхтентрагера в бок и сказал: «Похоже, мой ангел-хранитель позаботился обо мне, а ты, брат Ханс, видать, вместе с ним все подстроил, а?»

Впрочем, день еще не кончился, ибо, едва открыв ворота и войдя в дом, они услышали голоса, один из которых принадлежал Маргрит, а другой, мужской голос, был Эйцену незнаком; при этом Маргрит смеялась, как смеются женщины, когда их бес под юбками щекочет. Только что у Эйцена голова шла кругом от радости, а теперь он почувствовал, как волосы на ней становятся дыбом, тем не менее он поспешил в гостиную за Лёйхтентрагером, который, похоже, сразу догадался, кто к нему так запоздно пожаловал в гости.

Здесь Эйцену предстала картина, которая будет преследовать его до последних лет жизни: молодой еврей сидел на скамье, ноги широко расставлены, мыски грязных сапог указывают — один на восток, другой на запад, на колени к себе он усадил Маргрит, груди которой не прекратил тискать даже тогда, когда, подняв глаза, увидел, что он с девицей уже не один; ничуть не смущаясь, он сказал: «Мир тебе, Лёйхтентрагер. Как дела, сохранились ли еще у тебя серебряный динарий и пергамент?»

Эйцен хорошо помнил монету и клочок пергамента с выцветшими древнееврейскими письменами, о которых идет речь, поэтому ему стало не по себе, ибо тот, кто отдал эти вещи отцу его приятеля, ослепленному и скончавшемуся от ран глазному врачу из Китцингена, должен был бы теперь быть глубоким старцем, а перед ними, обнимая Маргрит, сидел мужчина в самом расцвете лет, черт бы его побрал.

Погладив бородку, Лёйхтентрагер ответил, что все сохранилось в целости и может быть возвращено по первому требованию, после чего шагнул, прихрамывая, к стене и нащупал тайник — часть стены, к великому изумлению Эйцена, подалась в сторону, открывая ряд пузатых бутылей, в которых мерцало что-то красное, словно кровь. Но, видимо, то была не кровь, а вино, ибо Маргрит тут же соскочила с колен незнакомца и принялась расставлять бокалы, роскошные, расписанные золотом. Лёйхтентрагер и еврей подсели к столу, Эйцен же замешкался, не зная, следует ли ему убраться прочь, как побитой собаке, или же надо присоединиться к компании; никто ему на помощь приходить не собирался. В конце концов любопытство взяло верх над робостью, и он подсел к остальным, хотя его и задевало то, что Маргрит так и льнула к незнакомцу, точно это был не жид в засаленном кафтане, а греческий бог Адонис.

Жид, бормоча еврейские слова, благословил разлитое Лёйхтентрагером вино и отпил глоток. Маргрит взяла бокал и принялась пить жадными глотками, красная капелька потекла с ее подбородка на белую шею; Эйцен содрогнулся, ему показалось, что он видит предсказание будущего. И вообще все сделалось таким странным и таинственным. Горница стала непохожей на горницу, время исчезло, Маргрит оказалась голой, будто Ева с картины мастера Кранаха, и взгляд у нее был такой же мечтательный. Еврей и Лёйхтентрагер заговорили о башмачнике из Иерусалима, который прогнал ребе Йешуа от дверей своего дома, за что и был проклят.

«Это был лжемессия»,— сказал еврей.

«Как знать? — отозвался Лёйхтентрагер.— Мало ли что Старику на ум взбредет. Если уж он создал именно такой мир с именно такими людьми, то почему бы ему и не раздвоиться или даже не разделиться натрое?»

Эйцен догадался, что речь идет о Боге и о великом таинстве, поэтому его возмутило, что говорится об этом без должного благоговения, однако он чувствовал, что оба собеседника знают о своем предмете куда больше, нежели сам он или его учитель Меланхтон, даже больше, нежели великий Лютер, до которого теперь дошел черед в споре, отчего Эйцен предпочел обратиться к вину.

Вино было тяжелым, тягучим, словно мед. Оно туманило голову, но одновременно удивительным образом проясняло ее. Эйцен слышал, как еврей расхваливал доктора Мартинуса: Лютер, дескать, сумел, как никто иной, ускорить ход истории, он разрушил тысячелетний уклад жизни, подорвал основы вероучения и устои законопорядка, родился могучий поток, который смоет и унесет с собою все, несмотря на противодействие нынешнего благонравного Лютера.

Лёйхтентрагер пожал кривым плечом. Он с подобными утверждениями не согласен, ибо слышал от самого Лютера, насколько ужаснулся тот, когда увидел, к чему все привело: взвешенные, продуманные реформы обернулись кровавым бунтом, кругом хаос, поэтому он поспешил оттолкнуть от себя тех, кто раньше поддерживал его и был его единомышленником, не побоялся сделать и следующий шаг — восстановить именем Божьим старые устои и старую опору для прежних господ.

Еврей покачал головой. Что сделано, то сделано, сказал он, и никому, даже самому Лютеру, не дано восстановить прежний порядок вещей. Один переворот повлечет за собой другой, более глубокий, пока не осуществится наконец великая мечта, тогда его работа будет завершена, и он, жид, сможет обрести покой, покой.

Вино. Голова Эйцена поникла.

«Спит»,— сказал еврей.

«Он все равно ничего не понял,— отозвался Лёйхтентрагер.— Да и откуда ему?»

Маргрит, стянув с еврея сапоги, целовала его израненные ноги.

«Как вас теперь зовут?» — спросил Лёйхтентрагер.

«Ахав»,— ответил жид.

Маргрит вскинула голову. «Если вы Ахав, то я буду вашей Иезавелью».

«Ахав,— пробормотал Эйцен, не поднимая головы и словно бы во сне,— Ахав был убит, и псы лизали кровь его».

И тут ему померещились огненное облако, удар грома и адский хохот, после чего послышался голос, который говорил что-то непонятное, кажется, читая древние еврейские письмена со стертого пергамента. Душа его переполнилась страхом и отчаянием, но в тот же миг появился доктор Мартинус, который взял его за руку и сказал: тебе, Пауль, сын мой, восстанавливать царство Божие и законопорядок, к которому я стремился.

Утром, когда Эйцен проснулся и увидел, что голова его лежит на столе среди осколков стекла и полувысохших лужиц пролитого вина, еврея вместе с Маргрит в доме уже не было; лишь Лёйхтентрагер стоял перед ним, опершись на свою хромую ногу, говоря: «Тут письмо тебе пришло, Пауль; надо спешно собираться в Гамбург, отцу твоему худо, и он зовет тебя к себе. Я уже переговорил с господами докторами из университета, они готовы экзаменовать тебя на ученое звание, чтобы ты смог, буде того заслужишь, проповедовать слово Божие у себя на севере. Мне тоже нужно туда по делам, так что, Бог даст, поедем вместе».

Эйцен еще не мог толком прийти в себя от ночного сна, он обескуражен пришедшими известиями, а также тем, что все за него опять решено и устроено, и ему не остается ничего другого, как поблагодарить своего друга. Видно, никогда мне от него не избавиться, подумал Эйцен, да и стоит ли?

Глава пятая

В которой Агасфер сомневается в правоте ребе Йешуа и объясняет ему, что отнюдь не кроткие и долготерпеливые создадут истинное Царство Божие, а те, кто сумеет совершить переворот.

Ему ничем не поможешь.

Он странствует, исцеляет от болезней и недугов, но не способен исцелиться сам, одержимый неким духом, который держит его на поводу, будто погонщик своего мула.

Мне жаль тебя, ребе Йешуа. Мое сердце склонилось к тебе, когда ты был один в пустыне, когда я подошел к тебе, а ты спросил: что ты за ангел? И я ответил: я — Агасфер, один из поверженных. А ты сказал: мой Отец небесный примет тебя к Себе.

Но Он — не есть Бог любви. Он — Вселенная, которой неведомы чувства, в ней существуют лишь хоры светил, силы притяжения и орбиты вращения. Всего этого ребе Йешуа знать не желает, зато он верует, что, когда он вышел из вод Иордана и Иоанн Креститель принял его, то с небес был людям глас, глаголящий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое Благоволение.

Ах, каким он был тогда, в пустыне; кругом лишь сухой терн и голые камни. Волосы его были запорошены песком, нанесенным ветрами, живот распух от голода, острые колени, кажется, вот-вот прорвут кожу, а срам под лохмотьями на чреслах посинел, будто червяк. Но глаза его горели, как у человека, который видел видения, он сказал мне: ко мне приходил некто, он взял меня за руку, отвел в Ерушалаим, святой город, там поставил на крыле храма, на самый верх, и молвил: если ты Сын Божий, бросься вниз; ибо написано: «Ангелам Своим заповедает о Тебе, и на руках понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею». И мне представилось, как я лечу над городом, раскинув руки, будто золотая птица, а народ, выбежавший на улицы, и книжники, и солдаты, все смотрят наверх, видят меня, ликуют и кричат: «Осанна!»

Однако ты не бросился вниз, ребе Йешуа, сказал я. Почему?

Он погладил жидкую бороду сухими и грязными пальцами, качнул головой: потому что написано также: «Не искушай Господа Бога твоего».

Я присел к нему, обнял его за плечи и сказал: я знаю, кто приходил к тебе, кто взял тебя за руку, отвел тебя в святой город и поставил на крыло храма; если бы ты бросился вниз, то упал бы во двор под ноги торговцам и разбился, а так ты остался жив, ребе Йешуа, от тебя исходит свет большой надежды. Пойдем со мной, я покажу тебе твой мир.

Я отвел его на высокую гору, откуда показал ему все царства мира, в каждом из которых творится своя несправедливость, здесь у вдов и сирот забирают последний кусок хлеба, там бросают людей на съедение львам и другим хищным зверям, да еще смеются, в иных местах певцу приходится воспевать властителя, а крестьянину — самому тянуть свою соху, и всюду сильные угнетают, притесняют, унижают слабых. Поэтому я сказал ему: если ты впрямь Сын Божий, посмотри, мудро ли устроил мир твой Отец, возьми дело в свои руки, переверни все снизу доверху, ибо настало время для истинного Царства Божиего. Иди к людям, собери народ, стань вождем, как некогда стал им другой Йешуа, скажи людям, чтобы опоясались мечами, пусть вострубят трубы, тогда врата всех царств земных раскроются перед тобой, стены крепостей рассыплются в прах, ты же воцаришься в справедливости и славе, а человек будет свободен и сможет покорить небо.

Но он лишь обвел взглядом горы и долины, скалистые вершины с вечными снегами, видневшиеся вдали дворцы и хижины, после чего тихо сказал: царство мое не от мира сего.

Начни хотя бы с этого царства, сказал я, сделай что-нибудь.

Он промолчал.

О ребе Йешуа, подумал я, придется мне бороться с тобой, как некогда Иаков боролся с Ангелом Господним; я сказал: пророки говорят, что придет тот, кто сотрет земных царей и судей в пыль, будто не было никогда их племени и семени, и ствол их никогда не укоренялся в земле.

Он взял мою руку, и я почувствовал, как холодна его ладонь, остуженная ветрами с горных вершин; он сказал: но пророк говорил также: «Не возопиет и не возвысит Он голоса Своего, и не даст услышать Его на улицах, трости надломленной не переломит и льна курящегося не угасит...»

Ребе Йешуа, возразил я, однако ведь сказано: «Вот, грядет Он с силою, и мышца Его со властию, Он воздаст врагам Своим — местью».

Он, покачав головой, проговорил: нет, ты повержен и потому стремишься наверх, у пророка же сказано о Мессии: «Торжествуй, дщерь Иерусалима: се, Царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и молодом осле».

Тут охватил меня великий гнев, и я крикнул: с таким, как ты, каши не сваришь. Нет, ты не тот, с чьим приходом всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, и неровные пути сделаются гладкими. За это схватят тебя, назовут царем самозваным, будут тебя бичевать, наденут терновый венец и распнут на кресте, пока твоя холодная кровь не вытечет из тебя до капли из твоего кроткого сердца; агнцу не дано изменить мир, агнец обречен на заклание.

Агнец, сказал он, возьмет на себя грех мира.

Я оставил его в пустыне и пошел своей дорогой. Он поспешил за мною нетвердой походкой, спотыкаясь на склоне, говоря мне вслед: не бросай меня, ведь у меня нет никого; я знаю, что никто не придет мне на помощь, все отринут меня.

Я остановился. Он подошел ко мне дрожа, на лбу его блестели крупные капли пота, я пожалел, что оттолкнул его, и сказал: мы с тобою не ровня, ибо я — один из духов, а ты — сын человеческий. Но я буду с тобой, когда все покинут тебя, я утешу тебя, когда пробьет твой час. У меня ты найдешь отдохновение.

Из пустыни он ушел в Капернаум, к рыбакам, где учил народ, что блаженны кроткие, ибо они наследуют землю, блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.

Глава шестая

Где профессору Лёйхтентрагеру авторитетно заявляют, что в ГДР в чудеса не верят, а следовательно, не верят и в реальность существования Вечного жида.

Господину профессору
Dr. Dr. h. c. Зигфриду Байфусу
Институт научного атеизма
Беренштрассе, 39а
108 Берлин
Германская Демократическая Республика

31 января 1980 г.

Глубокоуважаемый, дорогой коллега!

Ваше письмо от 12-го числа сего месяца содержало весьма приятную для меня неожиданность. Я никак не ожидал, что несколько моих замечаний способны вызвать столь живой интерес; вполне понятно то чувство глубокого удовлетворения, которое я испытал, узнав, что целый научный коллектив проявил интерес к проблеме Агасфера. Мы, к сожалению, располагаем здесь весьма ограниченными силами, по крайней мере в численном отношении.

Спешу откликнуться на те из Ваших предложений, которые оказались достаточно быстро осуществимыми. Прилагаю к письму три фотографии. Одна из них

запечатлела господина Агасфера перед его обувным магазинчиком на Виа Долороза; две другие фотографии сняты вполне традиционно, первая — анфас (видно правое ухо), а вторая — в профиль; замечу сразу же, что они не заимствованы из полицейского архива, однако выполнены полицейским фотографом, чтобы полнее соответствовать Вашим требованиям. При ближайшем рассмотрении нетрудно убедиться, что на этих фотографиях мы имеем дело с человеком бесспорно сильного характера, умным и — обратите внимание на глаза и губы! — обладающим чувством юмора; добавлю, что женщины проявляют к господину Агасферу большой интерес, вдвойне понятный, поскольку он холостяк.

По Вашей же инициативе, дорогой коллега, я организовал судебно-медицинское обследование господина Агасфера. Его провел профессор Хаскел Мейеровиц, директор Института судебной медицины при Еврейском университете; прилагаемое к письму экспертное заключение свидетельствует о том, что возраст обследованного оценивается примерно в сорок лет и что у него не установлено каких-либо серьезных физических дефектов или хронических заболеваний. Анализы крови, однако, побудили профессора Мейеровица пригласить для консультации доктора Хаима Бимсштайна из Института радиологии при том же Университете. Последний подтвердил наличие в крови обследованного микроэлементов со временем полураспада более двух тысяч лет, которые указывают на то, что господин Агасфер гораздо старше, чем ранее предполагалось, и что, следовательно, он жил на свете еще до Рождества Христова. Экспертное заключение, подписанное обоими специалистами, также прилагается.

Я собирался вкратце поведать Вам о моих последних днях в Варшавском гетто не только потому, что в тогдашних событиях известную роль играл мой друг Агасфер, но и потому, что подобные вещи не могут не тронуть Вас как гражданина одного из двух немецких государств. К сожалению — возможно, правильнее было бы сказать, к радости,— пришлось отдать преимущество иным делам, а именно поездке в Стамбул, где, как Вам наверняка известно, в бывшем серале халифа находится архив Высокой Порты.

Благодаря куратору архива, профессору Кемалю Денкташу, мне удалось-таки получить разрешение поработать с архивными документами, среди которых я обнаружил материалы судебного процесса против советника римского императора Юлиана Отступника. Суд состоялся в 364 году от Рождества Христова, то есть год спустя после насильственной смерти императора; обвиняемым был некий еврей по имени Агасфер. Рукопись, к несчастью, сильно поврежденная, содержит фрагменты обвинительной речи Григория Назианзина (Назианина), впоследствии патриарха Константинопольского, в которой Агасфер изобличается как инициатор отступничества, намеревавшийся «посеять смуту, подорвать устои церкви и государства, Рима и Царства Божьего, подбить добрых христиан на злодеяния, а также потребовать, чтобы епископы вернули то, что якобы награбили в храмах и синагогах».

Агасферу позволили защищаться; из-за сильного повреждения пергамента в этом месте я сумел расшифровать только несколько фраз подсудимого, да и то лишь частично. Из расшифровки, во всяком случае, явствует, что Агасфер заявил примерно следующее: почитаемый христианами Иисус не является ни Сыном Божьим, ни мессией, которого ожидали евреи, он всего лишь заурядный раввин, гадатель и знахарь, каких немало осталось и поныне; учение же, которое проповедуется его именем, представляет, мол, собою мешанину из того, чего не признают сами евреи, и того, что давным-давно отбросили греки. Все это, дескать, ему хорошо известно, поскольку он лично знал Иисуса и беседовал с ним.

В конце текста есть указание на решение суда: Агасфера приговорили к четвертованию. Полагаю, дорогой коллега, мы сходимся с Вами во мнении, что церковь совершила за свою историю немало жестокостей; как всякая догматическая организация, она не знает снисхождения к тем, кто ставит под сомнение хотя бы частичку ее вероучения.

Надеюсь, что результаты моих разысканий в архиве Высокой Порты покажутся Вам интересными, поскольку Вы отмечаете в своей почти безупречно подготовленной работе «Иудео-христианские мифы в свете современного естествознания и исторической науки», в разделе «К вопросу о Вечном жиде», будто эта легенда относится к довольно позднему времени, а само имя Агасфер появляется впервые лишь в связи с бывшим суперинтендантом Шлезвига Паулем фон Эйценом, о кото-

ром кое-какие источники, впрочем весьма сомнительные, сообщают, что он, будучи еще студентом, встречался с Вечным жидом в Виттенберге или его окрестностях. Мне также знаком сей господин Эйцен, пустомеля и усердный служака, однако он не может считаться самым ранним свидетелем существования Агасфера, что подтверждается моей теперешней находкой в архиве Высокой Порты.

Поневоле встает вопрос: а почему, собственно, дорогой коллега, Вы не можете примириться с мыслью о реальности Вечного жида? Если допустить возможность подобного вполне естественного феномена, то он тотчас теряет характер чуда, сотворенного Богом или Христом (чудо, разумеется, Вы отрицаете), и не может быть использован в качестве доказательства существования Бога.

Буду рад и впредь делиться имеющимися в моем распоряжении данными. С коллегиальным приветом,

преданный Вам
Йоханаан Лёйхтентрагер
Еврейский университет
Иерусалим

Товарищу профессору
Dr. Dr. h. c. Зигфриду Байфусу
Институт научного атеизма
Беренштрассе, 39а
108 Берлин

12 февраля 1980 г.

Дорогой товарищ Байфус!

Изучив твою переписку с господином Лёйхтентрагером, профессором Еврейского университета в Иерусалиме, поручаем тебе продолжить ее. При этом необходимо проявить твердость и принципиальность в отстаивании наших позиций и научных достижений. Там, где это уместно, следует указывать на ту роль, которую играет Государство Израиль как форпост империализма в борьбе против наших арабских друзей, сражающихся за свою свободу.

С компетентными органами вопрос согласован.

С социалистическим приветом,

Вюрцнер
начальник управления Министерства
высшего и среднего специального
образования

Господину профессору
Йоханаану Лёйхтентрагеру
Еврейский университет
Иерусалим
Израиль

14 февраля 1980 г.

Дорогой, уважаемый коллега!

Получив Ваше любезное письмо от 31 января, а также приложения к нему, я в очередной раз ознакомил с присланными материалами мой научный коллектив, ввиду того что данные материалы вызывают всеобщий интерес.

Вы задаете вопрос, играющий, по-моему, центральную роль в Вашем письме: почему, собственно, я, то есть я вместе с другими научными сотрудниками нашего института не можем допустить реальное существование Агасфера, и даже пытаетесь облегчить нам задачу, указывая на то, что поверить в реальность Вечного жида еще не означает верить в чудеса.

Хочу подчеркнуть, что мы в ГДР не верим ни в чудеса, ни в каких-либо духов, привидения, ангелов или чертей. Признание необычайного долголетия господина Агасфера реальным фактом означало бы, однако, поверить не только в это чудо,

но и в Иисуса Христа, который якобы своим проклятьем обрек Вечного жида на маету и скитания до тех пор, пока он, сын божий, не вернется, дабы вершить свой суд. Как ученый, Вы, глубокоуважаемый коллега, согласитесь с нами, что подобное допущение не выдерживает критики.

А теперь о материалах, полученных нами. Три фотографии, как Вы прекрасно понимаете, доказывают лишь то, что существует или существовал человек с внешностью, запечатленной на полицейских снимках, и что этот человек был сфотографирован перед обувным магазином.

Медицинское заключение, о котором я, в свою очередь, сделал запрос в нашей университетской клинике, также никак не может служить доказательством преклонного возраста господина Агасфера; даже Ваши израильские врачи дают ему не более сорока лет. Лишь анализы крови могли бы считаться, по мнению нашей университетской клиники, аргументом в Вашу пользу, если бы не замечание нашего гематолога, профессора Леопольда Зёнляйна, который обратил мое внимание на возможность, точнее — вероятность того, что представляющиеся Вам столь важными микроэлементы могли попасть в организм обследуемого вместе с какой-либо растительной пищей, а затем через желудочно-кишечный тракт проникнуть в кровь.

Все это говорится не для того, чтобы выразить недоверие Вашему другу, господину Агасферу, а тем более Вам, дорогой коллега; и для моих сотрудников, и для меня лично важно лишь установить научную достоверность Ваших аргументов, которая в случае с тремя фотографиями или медицинскими заключениями оказывается нулевой. Ваша ситуация напоминает мне о папе Пие XII, сделавшем в своем выступлении «Доказательства бытия Божия в свете новейшего естествознания» вывод о том, что так называемое красное смещение в спектре внегалактических звездных систем объясняется первовзрывом, а следовательно, актом творения Вселенной и тем самым наличием ее Творца. Но красное смещение может объясняться не только разбеганием звездных систем от некоего центра, а, например, как полагает профессор Фрейндлих, потерей энергии. Таким образом, здесь, как и в случае с микроэлементами в крови господина Агасфера, речь идет лишь о пока неразрешенной научной проблеме, которая, если она окажется существенной, рано или поздно будет решена человеком. Диалектический материализм не допускает философских спекуляций на основе более чем спорных научных гипотез.

Иначе обстоит дело с сообщением о Ваших разысканиях в архиве Высокой Порты, за которое я Вам весьма признателен. Жаль, что нет возможности получить фотокопию рукописи, поскольку, как известно, этот архив, подобно ватиканскому, дает разрешение на изготовление копий лишь в самых исключительных случаях. Итак, некий Агасфер служил советником при императоре Юлиане Отступнике; что ж, властители часто питали слабость к хитроумным евреям, а тех, в свою очередь, тянуло к властителям. Но неужели же Агасфер, четвертованный в 364 году, непременно должен быть идентичен торговцу обувью с Виа Долороза?

В данном случае сама постановка вопроса предполагает отрицательный ответ. Вы лучше меня знаете, что в истории имелось далеко не единственное действующее лицо по имени Агасфер, достаточно припомнить хотя бы тезку из библейской Книги Эсфири, который уже тогда конфликтовал с иудеями. Профессор Вальтер Бельц из университета в Галле сообщил мне, что имя Агасфер является арамейской передачей персидского имени Артаксеркс, которое можно перевести примерно как «возвышенный богом» или «возлюбленный богом». Не станете же Вы утверждать, что Ваш друг Агасфер является новым воплощением древнего царя персов?

Позвольте, дорогой коллега, поправить Вас и относительно Вашего замечания насчет суперинтенданта Пауля фон Эйцена, которого Вы зачисляете в свидетели реального существования Агасфера. Я далек от того, чтобы брать под защиту столь истового лютеранина, каким был Эйцен, однако справедливости ради должен заметить, что ни в одном из его сочинений, ни в многочисленных латинских трактатах, ни в «Христианском назидании», где он пишет о предопределении и причастии, ни в собрании его проповедей нет ни малейшего намека на встречу автора с Вечным жидом; об этом нет речи и в написанной Феддерсеном «Истории церкви в Шлезвиг-Гольштейне», где Эйцену отводится немало места. Не кажется

ли Вам, дорогой профессор Лёйхтентрагер, что столь плодовитый сочинитель, как Эйцен, который к тому же почти каждое воскресенье выступал с очередной проповедью, не упустил бы возможности рассказать о такой волнительной встрече, если бы она действительно состоялась, дабы извлечь из захватывающего рассказа полезный нравственный урок?

Разрешите в завершение моего непозволительно затянувшегося письма добавить, что Вы не ответили на вопрос нашего пресс-секретаря, доктора В. Якша о непонятном поведении обычно падких на сенсации западных средств массовой информации, которые до сих пор обходят своим вниманием человека, якобы прожившего более двух тысяч лет. Теперь, по получении фотографии господина Агасфера, снятого перед его обувным магазином, мне хотелось бы расширить этот вопрос. Почему сам господин Агасфер не воспользуется тем фактом, что его магазин находится и сейчас на том же месте по пути на Голгофу, где когда-то он прогнал от своего порога осужденного Христа? Почти два тысячелетия один и тот же владелец одного и того же предприятия на одном и том же месте — ни одному бизнесмену любой из капиталистических стран подобная рекламная удача даже не снилась...

Дружески кланяюсь Вам,

искренне Ваш
(Prof. Dr. Dr. h. c.) Зигфрид Байфус
Институт научного атеизма
Берлин, столица ГДР

Глава седьмая

Из которой явствует: если человек тверд в истинном вероучении и чурается ереси, он способен верно рассуждать даже о таких материях, в коих ничего не смыслит.

Обложившись толстенными фолиантами, Эйцен сидел за столом и тяжко вздыхал, ибо в глазах у него темнело, а премудрости отцов церкви и других ученых авторитетов роились в его голове, подобно комарам на болоте — много их, да ни единого не поймаешь.

Университетские доктора и профессора оказались столь милостивы, что ввиду близкой кончины его отца согласились экзаменовать Эйцена досрочно и вне очереди, следовательно, придется показать свое умение отличать истинное вероучение от ересей, внушаемых сатаной, и находить правильный ответ, вспоминать, когда надо, из богословских книг единственно верное слово, ибо все остальное от лукавого и ведет прямиком к ереси. Ах, сокрушался Эйцен, следовало бы мне проявлять побольше усердия, повнимательнее слушать ученых мужей на их диспутациях, но нет же, он чаще думал о Маргрит, нежели о consubstantiatio и transsubstantiatio, да слишком легко поддавался на уговоры своего приятеля Лёйхтентрагера выпить еще бокал вина или еще кружку пива, вместо того чтобы усвоить тонкое различие, проводимое святым Афанасием между Отцом, Сыном и Святым Духом, согласно которому один из них содеян, не сотворен и не рожден, другой не содеян, не сотворен, но рожден, а третий не содеян, не сотворен, не рожден, но исходит; вот только кто из них каков и почему?

Вздохнув в очередной раз от беспокойства и угрызений совести, он вдруг увидел, как свеча замигала, и едва почувствовал, что в комнате еще кто-то есть, как из тени тут же выступил его приятель.

«Все это тебе не поможет,— сказал Лёйхтентрагер.— Что толку в ночном сидении и зубрежке? Ведь когда тебя станут спрашивать, то тут уж как повезет: либо ты знаешь ответ, либо нет, а лучше всего — болтать, что в голову взбредет, ибо вся ваша теология — это словоблудие, какая-нибудь цитата всегда найдется и выручит».

Эйцен с удовольствием прогнал бы приятеля, но тогда некому будет даже пожаловаться. «В голове у меня будто тысячи червяков копошатся,— вздохнул он.— Видно, черт подменил мне мозги».

«У черта есть дела поважнее,— сказал Лёйхтентрагер.— Ладно, я тебе помогу».

«Ну да, поможешь,— проворчал Эйцен,— как тогда с Маргрит, которая с жидом убежала».

«Ты сам отказался от моих услуг,— возразил Лёйхтентрагер,— иначе бы все обернулось по-другому, впрочем, и жид-то весьма силен».

«Хотел бы я знать, как ты мне поможешь, когда я предстану перед доктором Мартинусом и магистром Меланхтоном».

«А я и сам там буду»,— сказал Лёйхтентрагер.

«Вот утешил. И отвечать станешь вместо меня?»

«Я буду с тобой,— сказал Лёйхтентрагер,— а отвечать будешь ты».

«Может, ты и умеешь гадать на картах, которые недаром зовут чертовым требником,— проговорил Эйцен,— но где тебе разобраться в богословских премудростях, если даже я в них ничего не смыслю, и желал бы сейчас вознестись на небо в огненной колеснице, как пророк Илия, лишь бы не тащиться завтра в университет».

«Я знаю, о чем тебя будут спрашивать»,— сказал Лёйхтентрагер.

«Ну да? — усомнился Эйцен.— Вопросы держат в строгой тайне, иначе каждый захочет сдавать экзамен, а докторов станет дюжина на грош».

«Тем не менее я знаю и готов с тобой поспорить,— проговорил Лёйхтентрагер.— Если сказанное мною не подтвердится и завтра спросят тебя что-нибудь другое, тогда я на целый год стану твоим слугой и ты получишь от меня все, что ни пожелаешь».

«Даже Маргрит?»

«Даже Маргрит».

Что, если предсказание Ханса исполнится или окажется, что Лютер или Меланхтон где-то проболтались, а приятель их подслушал, не без опаски подумал Эйцен и спросил: «Чем заплачу я, если проиграю?»

«Ничем,— ответил Лёйхтентрагер,— все, что мне от тебя нужно, я и так получу».

Эйцену было весьма неприятно чувствовать себя чем-то вроде глины в чужих руках и знать, что Лёйхтентрагеру это хорошо известно, но сейчас ему не терпелось узнать, о чем же его завтра будут спрашивать на экзамене, чтобы получше подготовиться.

«Тебя будут спрашивать об ангелах,— сказал Лёйхтентрагер,— а уж о сем предмете мне ведомо гораздо больше, чем твоему доктору Лютеру или твоему магистру Меланхтону и всем университетским профессорам, вместе взятым».

«Но только не мне»,— застонал Эйцен: он кинулся перебирать книги на столе, схватил святого Августина в надежде найти там что-нибудь подходящее.

Однако его приятель, положив ему руку на плечо, остановил поиски: «Ну, выучишь ты за ночь всего Августина, вызубришь все девятьсот девяносто девять тысяч ангельских имен, только ведь это тебе не поможет, если завтра утром нужный ответ не придет тебе на ум. Давай лучше выпьем».

Тут Эйценом овладели сильные сомнения, и он подумал: пропаду я так и так, но если подтвердится, что доктор Мартинус и магистр Меланхтон захотят спросить меня про ангелов, то, значит, придет мне и помощь, будь то от Господа в небесах или от дьявола в преисподней. Не противясь больше, он последовал за приятелем по лестнице вниз, где в горнице их уже поджидали бутылки с красным искристым вином, отчего Эйцену сразу же померещилась Маргрит на коленях у жида и стало так горько, что он подумал: лучше бы она умерла, чем миловаться с жидом; но тут же он сам испугался своей греховной мысли.

«Выпей! — сказал Лёйхтентрагер.— Выпей за всех ангелов разом».

Эйцен осушил бокал. На сердце стало легко, а дальше он уже и не

замечал, как одна за другой откупоривались бутылки, пока не поник головой в забытьи на груди Лёйхтентрагера.

На следующее утро с тяжелою от похмелья головою он поплелся в университет, нигде не найдя своего приятеля, обещавшего помочь; тот словно сквозь землю провалился, не было его ни дома, ни на улице. И вот Эйцен стоит в актовом зале, ему дурно и страшно, слева, справа и позади него духовные лица, члены магистрата, чиновник курфюрста с золотой цепью на шее, а также студенты и прочая публика; перед ним — господа экзаменаторы, в центре его учитель Меланхтон и сам великий Лютер, оба в мантиях, но Эйцену они кажутся двумя палачами, которые прячут топоры под мантиями; ему почудилось, что они с укоризной разглядывают его красные глаза, всклокоченные волосы, а магистр Меланхтон даже прикрывает лицо платочком, дабы не чувствовать винного перегара, которым дышит кандидат Паулус фон Эйцен.

«Итак, господин кандидат, вы готовы?» — вопросил декан.

«С благословенья Божьего»,— сказал Эйцен и почувствовал, что все его знания мгновенно улетучились куда-то, подобно легкому ветерку; он в отчаянии огляделся по сторонам, ища если не ангела-хранителя, то по крайней мере Лёйхтентрагера.

«Расскажите-ка нам, молодой человек,— проговорил доктор Мартинус,— что вам известно об ангелах и их природе».

«Значит, все-таки Лёйхтентрагер оказался прав,— пронеслось в голове у Эйцена,— стало быть, он не будет мне служить целый год и с Маргрит ничего не получится». Других мыслей у него нет, и совершенно непонятно, что же говорить господам докторам и профессорам об ангелах и их природе, он начал что-то невразумительно лепетать, переминаясь с ноги на ногу, будто стоя в огне чистилища на раскаленной сковороде.

«Господин кандидат! — напомнил доктор Мартинус.— Мы хотим услышать, что вам известно об ангелах».

Эйцен готов убежать от стыда куда глаза глядят, но тут он замечает Лёйхтентрагера, и внезапно в голове у кандидата происходит странное просветление, кажется, в мозгу начинают высекаться искры, откуда-то сами собою берутся нужные слова, и, возвысив голос, он произносит: «Angeli sunt spiritus finiti, субстанция их духовна, число конечно, они созданы Господом, наделены разумом и свободной волей, предназначение их состоит в усердном служении Господу. Атрибуты их таковы, ad primum, негативные: Indivisibilitas, ибо они не собраны из частей, а представляют собой единое целое; Invisibilitas, ибо их субстанция невидима; Incorruptibilitas, ибо они не являются смертными существами; и Illocalitas, ибо они находятся всюду и нигде. Ad secundum...»

Эйцен увидел, что у доктора Мартинуса широко открылся рот, а у магистра Меланхтона округлились глаза, столь сильное впечатление произвели на них ученость и красноречие кандидата, в коего словно вселился некий дух, и он бойко продолжает перечислять: «Ad secundum — аффирмативные атрибуты, как-то: Vis intellectiva, ибо они наделены разумом; Voluntatis libertas, ибо они способны и на добро, и на зло; Facultas loquendi, ибо они часто разговаривают как с людьми, так и друг с другом; Potentia, ибо они способны творить вещи чудоподобные — Mirabilia, хотя и не способны на чудеса — Miracula; следует упомянуть их Duratio aeviterna, но не aeterna, ибо они бессмертны, но не вечны в том смысле, что были некогда созданы; и, наконец, они имеют Ubietatem definitivam — определенное место обитания, однако их отличает Agilitatem summam, ибо они с необычайной подвижностью появляются то здесь, то там».

Здесь кандидату Эйцену пришлось перевести дух, а вместе с ним и господам экзаменаторам, и представителям магистрата, и чиновнику курфюрста, поскольку все они никогда еще не слышали на экзамене такого пространного и исчерпывающего изложения предмета, чем немало обескуражены. Студенты же, которые прежде не слишком высоко ставили Эйцена, принялись в восторге топать ногами и так сильно стучать кулаками по столам, что декан испугался за половицы и мебель. Лишь

у Лёйхтентрагера лицо было постным, будто ничего особенного не происходит, зато Эйцена подмывает выступать дальше, он почувствовал себя, как, видимо, некогда чувствовали себя древние пророки, которые говорили на языках незнаемых, только непонятно, кто вещал его устами, Бог или кто-то другой.

«Angeli boni sunt, qui in sapientia sanctitate perstiterunt»,— проговорил он, то есть ангелы благие суть таковы, которые в мудрости и святости своей тверды, греховным соблазнам не подвержены, неизменно Богу поклоняются и милостию Его вечной живы. Часть сих ангелов благих призвана служить Господу и Христу, а другая часть печется о спасении людей. Этот вид ангелов служит благочестивым людям от рождения до кончины. Особым ангельским покровительством пользуются, как легко может убедиться всякий разумный человек, проповедники слова Божьего.

Говоря это, Эйцен многозначительно взглянул на Лютера и на своего учителя Меланхтона, после чего обратился к представителям магистрата, к чиновникам курфюрста и, возвысив голос, продолжил: «Однако эти ангелы ведут и политическую работу по упрочению государственных законов, а потому споспешествуют тем, кто исполняет волю властителей, оберегает защитников правопорядка от врагов, бунтовщиков и иных напастей».

Тут, разумеется, представители магистрата и чиновники курфюрста закивали головами, забормотали одобрительные слова, многим из них показалось, что ниспосланный им свыше ангел-хранитель и впрямь стоит за плечом, нашептывая, к примеру: здесь я, господин первый секретарь.

Неудивительно, что, видя подобную реакцию, кандидат Эйцен воодушевился еще сильнее и с еще большим подъемом принялся рассказывать, как ангелы благие содействуют коммерческим делам, помогают людям добропорядочным, как они пекутся о незыблемости семейных устоев и о порядке в семье, ибо семья есть малое отражение того, чем является для людей церковь и государство. Однако in summa, в конце концов, все это есть лишь Praeparatio, приуготовление к той роли, которую предстоит сыграть ангелам на Страшном суде, когда они станут помогать Христу выносить приговор, отделяя праведников от безбожников и ставя праведников одесную Христа, а безбожников низвергая в ад. Поэтому каждому из нас надлежит чтить ангелов, любить их, остерегаться их при совершении дурных поступков, однако возносить им молитвы не следует.

Колени у Эйцена дрожали. Собственно, для того чтобы говорить, человеку нужны лишь губы, язык и гортань, иногда руки, но если он хочет сделать свою речь значительной, то на это уходит много сил; выступление же кандидата Эйцена было исполнено благочестия, в чем господа экзаменаторы во главе с доктором Лютером и магистром Меланхтоном, а также остальные присутствующие оказались единодушны, поэтому и большой расход сил у оратора вполне объясним. По мнению Эйцена, ему удалось достаточно успешно довести дело до Страшного суда и почитания ангелов, однако так уж устроен мир, что рядом с каждым утверждением есть его отрицание, добро всегда соседствует со злом, поэтому необходимо изложить caput, раздел, посвященный ангелам злым, не столько ради господ ученых, которые вполне удовлетворились бы уже сказанным, сколько из-за острого чувства того, что он просто не может не сделать этого. Ища поддержки, Эйцен оглянулся, но Лёйхтентрагера не увидел — перед ним были лишь напряженные лица доктора Лютера и учителя Меланхтона, застывшие в ожидании, приятеля же и след простыл; Эйцену сделалось не по себе, ибо он прекрасно знал, что сатана непременно наведается к тому, кто заведет о нем разговор.

И тут же он почувствовал кого-то поблизости, некое дыхание, не более того, а затем увидел, что сбоку на него смотрит Лёйхтентрагер, и взгляд у него точно такой же, как прошлой ночью, когда он советовал болтать, что в голову взбредет, ибо вся теология, дескать, есть словоблудие. «Angeli mali sunt, qui in concreata sapientia et justitia non perseverarunt»,— провозглашает Эйцен, и он никак не может понять, сам ли говорит или кто-то вещает его

устами, во всяком случае удивляется, что никто из экзаменаторов не возражает против присутствия кого-то постороннего рядом с кандидатом, ведь такое вряд ли разрешается на экзамене, а скорее всего, вовсе запрещено, но продолжает рассказывать об ангелах злых, которые, будучи наделенными мудростью и справедливостью, не остаются верны им, а по собственной воле отпадают от Бога и закона, становясь заклятыми врагами Господа и людей.

Доктор Лютер почесал щеку, лицо его выражало благорасположение; у него имелся свой опыт общения со злыми ангелами, в одного из них он запустил чернильницу, но промахнулся. У Эйцена же слова будто сами вылетают изо рта, он словно одержим каким-то духом, который заставляет его подробно перечислить, что может сделать злой ангел с праведником: наслать болезни, ослабить волю, ввести в искушение, отвратить от Бога, обмануть ложными надеждами, а также то, как поступает злой ангел с безбожником — овладевает его телом и его душой, которую он терзает и мучает еще при жизни; но особое внимание уделяют злые ангелы лицам духовным, склоняя их к ереси, подбивая смиренного клирика на непокорство, отвращая прихожан от их проповеди, короче, преследуя всех тех, кто ратует за Царство Божие.

Кандидата Эйцена чуть не затрясло от еле сдерживаемого смеха, своего ли, внутреннего ли, когда он заметил, что присутствующие пасторы прямо-таки облизываются при его словах, словно при виде вкуснейших лакомств. Поэтому ему без труда же приходит в голову, что именно надобно сказать господам из магистрата и чиновникам курфюрста, ибо, чем удалось потрафить одним, тем угодит и другим; он заговорил о кознях злых ангелов против властей, о том, как злые ангелы нарушают гармонию государственного устройства, поддерживают диссидентов, играют на руку врагу, давая неверные советы императорам и князьям, возбуждая в народе смуту и недовольство.

Все это звучит для чиновников и господ из магистрата сладостной музыкой, ибо авторитетный ученый подтверждает, что не они сами виновны в разного рода бедах и напастях, а легионы чертей; будь их воля, слушатели уже сейчас дали бы кандидату Эйцену высокую оценку summa cum laude. Ему же казалось, будто Лёйхтентрагер вознамерился прямо-таки влезть в его шкуру, так близко придвинулся он со своим горбом и хромой ногой. Сам испугавшись своего громового голоса, кандидат Эйцен отчеканил: «Но власть злых ангелов могущественнее любой людской, поскольку исходит от Бога и поэтому лишь немногим уступает власти Господней. А князем злых ангелов служит ангел Люцифер, который восседает над нижними чинами на черном троне, объятый пламенем, а другой из их главных — Агасфер, желающий переделать мир и верующий, что это возможно, равно как возможно изменить в нем людей».

На этом он умолк. Лютер, как он заметил, обеспокоен; подобных вещей почтенному доктору слышать не хочется, еще неизвестно, откуда набрался подобных премудростей господин кандидат. Эйцену и самому стало жутко, тем более что на улице и зале неожиданно потемнело, затем за окнами блеснула молния, грянул гром. Эйцен пал на колени.

Пока Меланхтон и другие экзаменаторы возились с Эйценом, помогая ему подняться, он увидел, что приятель его куда-то исчез и он оказался один среди профессоров, докторов и остальной почтенной публики; облегченно сложив руки, будто для молитвы, он сказал своим обычным, вполне знакомым всем голосом: «Но мы с Божьей помощью будем бороться с силами зла. Христос победит сатану и падших ангелов».

Неожиданно Лютер заторопился. «Я хочу услышать его проповедь,— сказал он Меланхтону и добавил: — Говорил же я вам, магистр Филипп, что его надо приметить; он и впрямь далеко пойдет».

Глава восьмая

В которой Агасфер пытается спасти Равви, но тот решает идти своим путем до конца.

Я не знаю, известно ли ему, как дело пойдет дальше. Один из учеников предаст его, другой отречется, придет народ с мечами и кольями, отведет его на допрос к первосвященнику, потом будет суд, приговор, передача римлянам, распятие на кресте, а когда распятого станет мучить жажда, ему дадут уксуса, смешанного с желчью, и он умрет в страшных муках, его похоронят, но на третий день он воскреснет и некоторое время еще будет странствовать по земле, пока не вознесется к Богу и не займет место одесную Отца своего.

А что потом?

Но так далеко его мысль не заходит. Ах, ребе Йешуа, мой бедный друг, почему ты не задашься одним-единственным, самым простым вопросом: после того как все сказано и сделано, что изменилось?

Я стоял среди толпы и смотрел, как он въезжал в Ерушалаим, сидя на молодом ослике, его длинные, худые ноги касались дорожной пыли, а многие люди постилали под копыта ослу свои одежды. Я слышал крики «Осанна!», кто-то называл его Сыном Давидовым, просил повести за собою народ Израиля, как сам Давид, который был царем и пророком; многие бежали за ним, среди них были люди с оружием, они говорили, что настал Судный день и пришел конец их угнетению. Я видел его лицо, оно было просветленным, но лежала на нем и тень великой печали. Я знал, о чем он думает: сегодня они кричат «Осанна!», а завтра будут кричать «Распни его!». Но он не думал, что, возможно, и сам повинен в этом. Он был вроде колеса, которое попало в колею.

Один из учеников ребе был его земляком и звался Иудой Искариотом; учеников ребе не всегда назовешь людьми приятными, но Иуда был хуже всех и очень хитер. У него-то я и встретил Люцифера, который судачил с Иудой о всякой всячине, о том, что деньги дешевеют, ведь если вчера какая-то вещь стоила медный грош, сегодня ее не купишь за серебряный динарий. В этом-то и беда, сказал Иуда, доходы у ребе от его молитв, предсказаний и чудес невелики, а цены на хлеб и мясо растут, учеников же двенадцать, их приходится кормить за счет общего кошелька, которым поручено заведовать ему, Иуде; а тут еще приближается Пасха — значит, понадобится и бурдюк вина.

Оставь его в покое, брат, сказал я Люциферу; тут речь идет о Боге и об его несчастных созданиях, не лезь сюда со своими тридцатью сребрениками.

А ты, ангелочек, растешь, сказал он мне, хочешь стать спасителем человечества, выслуживаешься. Вообще-то этот соглядатай нам не нужен, ищейки первосвященника и без него доносят нам о каждом слове твоего ребе Йешуа; но почему не дать заработать и этому человечку. Он повернулся к Иуде Искариоту и сказал: мой друг считает, что я даю тебе плохой совет. Так вот — послушайся своего учителя; если он захочет сам, чтобы ты предал его, то предай, а если нет, то не надо. Твой учитель знает, чего хочет.

Иуда ушел, ободренный тем, что с него сняли бремя ответственности за решение. Я выбранил Люцифера, но он лишь посмеялся: мне важен Тот, Кто создал нас в первый день из пламени и дуновения вечности, прежде чем сотворить этот скверный мир. Кто, как не Он, указал прежний путь твоему ребе Йешуа? Кто, как не Он, предопределит дальнейший путь, которым теперь придется идти этому несчастному? Мне ли противиться Его всевышней воле? Однажды я уже попытался сделать это, но, как сам знаешь, толку было мало; Ему до сих пор не удается избавиться от тварей, созданных из грязи и воды, которым Он еще зачем-то и душу вдохнул. Чего только Он не перепробовал! Заливал их потопом, жег пожаром, горящей серой, устраивал

одну войну за другой, чтоб они перебили друг друга, но племя человеческое растет, причем каждое поколение оказывается гнуснее прежнего, а теперь появляется некто, кто должен всех спасти тем, что возьмет на себя чужие грехи и пострадает за род людской? Нечего сказать, хороша мыслишка, но и Автор не лучше. Что ж, продолжай в том же духе, Господи, пока весь этот мир не низринется в черную бездну, откуда когда-то возник.

Я понимал, что надежд почти нет, но в первый день Праздника опресноков, вечером, когда приносят в жертву пасхального ягненка, я отправился на окраину города, в дом, где уже убрали лучшую комнату для вечери ребе Йешуа и его учеников.

Ждал я недолго, с наступлением сумерек все собрались к трапезе; ребе Йешуа, узнав меня, усадил рядом, наклонился ко мне и сказал: я знаю, что время мое пришло, поэтому хорошо, что ты со мной, как и обещал. Потом он встал, снял одежды, препоясал полотенцем чресла, влил воды в умывальник, стал предо мною на колени и омыл мои ноги, затем омыл их каждому ученику, Симон Петр ужасно ломался при этом. Помню то странное чувство, когда моей ноги коснулась его рука; прикосновение было нежным, я же подумал, что если не вмешаюсь, то эта рука будет пробита ржавым гвоздем.

Ребе Йешуа сказал: знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня Господом и Учителем, так оно и есть. Но для вас я слуга. Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам.

Затем он облачился в свои одежды и сел на прежнее место, я же припал к его груди, словно любимый ученик, и сказал: Равви, мне противна твоя кротость. Ведь здесь тот, кто предаст тебя, и тот, кто отречется от тебя, да и другие не лучше.

Знаю, сказал он.

Колесо не может выбрать себе колею, сказал я, но возчик, который правит быком, может ее сменить. Не считай, что судьба твоя предопределена, соберись с силами, борись. Ты же видел, как народ встречает тебя у ворот, как он шел за тобой, ты слышал, как тебя приветствовали и что тебе кричали. Если же люди увидят, что ты, будто овца, отдаешь себя на заклание, они отвернутся от тебя, и ни ты, ни я не сможем упрекнуть их за это.

Я проповедовал любовь, сказал он, любовь сильнее меча.

Но те, кто придет после тебя, сказал я, поднимет меч во имя любви, а царство, о котором ты грезишь, будет даже более жестоким, чем Римская империя, и не господин будет мыть ноги слугам, а весь народ будет стонать под пятой господина.

Но он отодвинул меня, взял хлеб, сотворил над ним молитву, разломил на части, раздал мне и другим, после чего сказал: примите и ешьте. Сие есть тело мое. Потом он взял чашу, наполнил вином, благословил его и сказал: пейте из нее все. Сие есть кровь моя, изливаемая за многих во искупление грехов.

Я ел и пил, понимая тщетность моих надежд, а еще я увидел, как тень печали опять легла на лицо ребе Йешуа; он сказал: истинно говорю вам, что один из вас предаст меня.

Ученики испугались, начали перешептываться, недоумевая: ведь ребе только что причастил их телу своему и крови своей, и вдруг такие слова. Симон Петр подошел ко мне сзади и шепнул: спроси его, о ком он говорит?

Я бы и сам мог сказать ему, даже назвать цену, но мне хотелось, чтобы это сделал Равви; тогда бы я понял, что он решил защищаться. Но ребе Йешуа обмакнул кусочек хлеба в чашу с подливкой из горьких трав, протянул этот кусок Иуде Искариоту и молвил: что делаешь, делай скорее.

Так исполнились слова Люцифера, который сказал Иуде, что если учитель захочет, чтобы ты предал его, то предай; мне даже послышался смех Люцифера, хотя его не было рядом. Тогда отвернулся я от Равви, подумав: кто сам предает себя, тому ничем не поможешь.

Сегодня же я задаюсь вопросом: действительно ли он предал себя? Не заключается ли величие Равви в его готовности пройти свой путь до конца?

Что стало бы с ним, если бы он не отринул от себя сомнения, которые я пытался ему внушить?

По окончании трапезы я сказал Иуде Искариоту, отведя его в сторонку: один из тридцати сребреников отдай мне за то, что я промолчал, когда Симон Петр спрашивал о тебе.

Глава девятая

В которой кандидат Эйцен осознает силу слова, особенно если оно направлено против евреев.

Кто может быть счастливее человека, только что успешно сдавшего экзамены? Счастливчику кажется, что с души его свалился тяжеленный камень, ему хочется петь от радости, пусть негромко, но хотя бы про себя, он чувствует такой прилив сил, будто ему ничего не стоит вырвать с корнем дюжину деревьев, словно они были бы травинками.

Впрочем, испытывая облегчение и радость, кандидат Эйцен, без пяти минут магистр, отнюдь не позабыл, кому он всем обязан: во-первых, конечно же, Богу, от которого исходит всяческая милость, а во-вторых, причем немногим меньше, своему приятелю Лёйхтентрагеру. Что касается Бога, то Его Эйцен возблагодарил жаркой молитвой, вложив в нее все переживания до экзамена, во время него и после, а именно ужасный страх, от которого Господь в нужный момент его избавил, ощущение абсолютной пустоты в голове, которую Господь в нужный момент наполнил ученостью, и, наконец, душевное смирение, дарованное Господом, благодаря чему удалось произвести хорошее впечатление на господ профессоров и докторов, и прежде всего на высокочтимого доктора Мартинуса и магистра Меланхтона. По этому случаю Эйцен даже сочинил стишок, подражая лютеровскому стилю:

Экзамен был суров и строг,
но все ж он сдан, помилуй Бог.
Господь был милосердный рядом
с благочестивым кандидатом,
чтобы мудрый дать ему совет
и нужный подсказать ответ.
Так вознесем Христу и Богу
свою молитву за подмогу.

А вот с приятелем Хансом дело обстояло иначе. С одной стороны, его чудесные познания о сущности ангелов свидетельствуют, что Ханс явился орудием Божьего Промысла, подобно ангелам благим, о которых он, кандидат Эйцен, так удачно все рассказал на экзамене, ибо благие ангелы per definitionem, по определению, являются посланцами, вестниками, слугами Господними и орудиями Божественного Промысла; с другой стороны, Лёйхтентрагер слишком мало похож на благого ангела. Чем же отблагодарить его? Деньгами? Но поясной кошель Эйцена заметно отощал, особенно после пирушки, которую пришлось устроить господам студентам, соученикам Эйцена, изнывавшим некогда на соседних скамьях, пока на улице светило солнышко и пели птички, а также господам преподавателям, читавшим курс всемирной истории или богословия; пожалуй даже, понадобится взять денег взаймы у приятеля Ханса, чтобы прикупить провианта в дорогу, ведь не обращаться же к евреям, дающим деньги под высокий процент и под залог отцовской торговли сукном и шерстью, дай Бог батюшке легкой кончины и вечного покоя.

«Послушай, Ханс,— сказал он приятелю,— Господь, думаю, остался

доволен моею благодарственной молитвой и стишком в Его честь, а что желаешь ты за помощь на трудном экзамене?»

Только что пропели петухи, Лёйхтентрагер протер сонные глаза, посмотрел на Эйцена, стоявшего перед ним в ночной рубахе и с голыми ногами, после чего проговорил: «Если бы душа твоя стоила дороже, чем обычная пасторская душонка, я бы пожалуй, взял ее, но их и без того полно, а получить каждую можно дешевле тухлой рыбы в базарный день».

Эйцен насупился; грех отпускать подобные шуточки насчет бессмертной души любого благочестивого христианина, не говоря уж о собственной.

«Я вполне серьезно говорю,— продолжил Лёйхтентрагер.— Сам не знаю, чего ради я вожусь с тобою: ведь ты отнюдь не герой, который увлекает за собой других, у тебя нет дара сплачивать людей вокруг себя, а мыслям твоим никогда не выскочить из наезженной колеи. Но видно, времена измельчали, поэтому и призваны сейчас будут людишки вроде тебя. Что толку в Александрах Великих или Сократах, если само небо нынче не выше комнатного потолка?»

«Но ведь Лютер — великий человек»,— возразил Эйцен, чувствуя, как у него холодеют ноги.

«Верно,— согласился Лёйхтентрагер.— Сначала он дал пинка папе, но затем понял, что надо сохранить божественный миропорядок, чтобы верх остался верхом, а низ низом. Ты о чем будешь говорить утром на проповеди?»

«Пожалуй, о евреях».

Лёйхтентрагер привстал, почесал бородку, ухмыльнулся. «Это из-за жида, который у тебя Маргрит увел?»

«Проповедь от Бога, а тот жид с сатаной снюхался»,— раздраженно сказал Эйцен.

«Значит, хочешь доктору Лютеру угодить? Не забыл, стало быть, как он недавно поносил евреев в доме магистра Меланхтона. Что ж, недаром пророк говорит: кто поддакивает своему господину, тому хорошо живется».

Эйцен опять раздосадовался. «У меня своя голова на плечах». Он хотел было возмутиться и не дать приятелю издеваться над собой, но удержался, ибо вполне возможно, что его помощь еще понадобится на проповеди, как это уже произошло на экзамене. «Ты пойдешь со мной в церковь?» — робко спросил он.

«Надевай-ка штаны, Пауль,— ответил Лёйхтентрагер,— а то у тебя уже коленки друг о дружку стучат».

«Ну пожалуйста»,— взмолился Эйцен.

«Нечего мне в церкви делать,— сказал Лёйхтентрагер.— А проповедь ты и сам прочитаешь, тут моя помощь не нужна, я в этом уверен».

«Неужели ты за евреев?» — спросил Эйцен, вспомнив, сколь близким другом Ханса казался жид в ту ночь.

«Евреи прокляты Богом,— ответил Лёйхтентрагер.— Они хоть этим отмечены, чего не скажешь об иных народах».

Искренне желающий веровать в то, что Бог заботится о нем и даже послал на муки Собственного Сына ради его спасения, Эйцен вдруг с испугом подумал, что Всевышний, может быть, действительно так равнодушен ко всему, как намекает на то Лёйхтентрагер. Но нет же, нет, если ему не поможет друг, то поможет Господь; утром, одевшись, Эйцен поел мучного супчика и, степенно вышагивая, ибо теперь ему надлежало шествовать с достоинством, отправился в замковую церковь, чтобы произнести проповедь прихожанам в присутствии строгого доктора Мартинуса и магистра Меланхтона. Нынче в голове у Эйцена было не так пусто, как несколько дней тому назад, на сей раз благоприобретенные знания оказались не вполне забыты, у него был план, кроме того, за последнюю ночь он перечитал все книги Моисеевы, отыскивая подходящие изречения, нашел много полезного, а на худой конец сунул в карман шпаргалку, которая выручит, если откажет вразумление свыше. К тому же утро выдалось таким погожим; выйдя из дома, он увидел капли росы, сверкающие будто диаманты, даже вода в сточной канаве посреди проулка сияла,

отражая озаряющееся солнцем небо, а прихожане, спешившие спозаранок в церковь, приветствовали Эйцена так любезно, что втайне он подумал: сегодня не может быть неудачи, но тут же себя одернул, ибо сатана любит людей самонадеянных.

Он хорошо знал эту церковь с высокой крышей и вратами, к которым некогда доктор Мартинус прибил свои тезисы; вот как из малого возрастает великое, подумал Эйцен, всего сотня фраз, даже меньше, но они сотрясли Рим, оплот Антихриста. А дальше он подумал о том, что, может, и его собственное твердое и смелое слово будет услышано, наберет силу и послужит процветанию христианства.

После нескольких песнопений он взошел на амвон, внизу все смолкло, лица слушателей обратились к проповеднику, а тот опустил голову в тихой молитве, прося Господа послать ему удачу, чтобы не допустил позора, не выставил его перед людьми дураком или заикой, и, вспоминая, как сам он внимал благочестиво своему учителю Меланхтону или даже великому Лютеру, когда они произносили свои проповеди с этого же амвона, он обратился к пастве со словами: «Возлюбленные мои! Благослови вас Господь! — Затем он прочитал: — «Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом, и сказал: невиновен я в крови Праведника сего; смотрите вы. И отвечая, весь народ сказал: кровь Его на нас и на детях наших».— После этого Эйцен сказал: — Возлюбленные мои! Все, что вы сейчас слышали, произошло более полутора тысяч лет тому назад в Иерусалиме перед домом римского наместника Пилата, когда еврейский народ требовал крови нашего Господа и Спасителя, требовал распять Иисуса Христа. И сей народ, обремененный такою виною, живет среди нас, истово веруя до сих пор, что Бог даровал им и землю Ханаана, и город Иерусалим, и Храм иерусалимский, а кроме того, они кичатся своей богоизбранностью, хотя еще римляне изгнали евреев из родных мест, рассеяли по миру и сделали изгоями в любой стране».

Подняв глаза, Эйцен поискал взглядом доктора Мартинуса и увидел, что тот согласно кивает головой, ибо подобные мысли о народе еврейском вполне соответствуют его собственным. Молодой проповедник понял, что попал в точку, а потому, ободрившись и воодушевившись, продолжил: «Так же сильно, как евреи ненавидели Христа, не веря, что он истинный Мессия, они ненавидят теперь всех добрых христиан. Евреи называют их гоями, а гои в их глазах — люди неполноценные, ибо происхождение имеют не столь славное и не ведут свой род от Авраама, Сарры, Исаака и Иакова, хотя надо заметить, что сам Господь устами пророков своих называл Израиль блудницею, особенно пророк Осия, который упрекал народ Израиля за то, что тот служит Богу лишь напоказ, а сам осквернен грехом и идолопоклонствует».

Молодой проповедник почувствовал, что слова его тронули сердца слушателей и все они, а не только доктор Лютер, говорили сейчас про себя: да, он прав, аминь. Это воодушевило его, поэтому он решил поддать жару и продолжил: «С детских лет евреи исполняются столь ядовитой ненавистью к гоям, что неудивительно читать исторические сообщения о том, как они отравляли колодцы или выкрадывали детей, чтобы мучить и терзать их; такое происходило, например, в Тренте и Вейсензе. Здороваясь с нами, добрыми христианами, они нарочно бормочут по-еврейски, чтобы мы не догадались, что они вовсе не приветствуют нас, а призывают сатану и проклинают нас, накликая на нашу голову всяческие беды и адский пламень. Иисуса нашего они называют байстрюком, а мать Его потаскухой, которая, дескать, приспала ребенка с заезжим молодцом».

Эйцен перевел дух. Ему казалось, будто слова приходят к нему сами собой, как во время экзамена, когда он рассказывал об ангелах, но на сей раз Лёйхтентрагера нигде не было видно. Зато перед его глазами возник наглый молодой жид в грязных сапогах и с Маргрит на коленях. Подобная картина не могла быть сатанинским наваждением, ибо сатане доступа в церковь нет, следовательно, то было знамение от Бога, поэтому Эйцен вновь возвысил голос: «Чем же заслужили мы такую ненависть евреев,

такую злобу? Ведь мы не называем их женщин потаскухами, как они называют Марию, а их самих байстрюками, как они называют Иисуса Христа, мы не крадем, не терзаем, не мучаем их детей, не отравляем их воду, не жаждем их крови. Напротив, мы творим для них всяческое добро: живут они у нас, словно дома, они находятся под нашей защитой, пользуются нашими дорогами, нашими рынками, государи наши и князья позволяют евреям брать из своей казны и сокровищниц столько, сколько тем заблагорассудится, зато из наших государей, князей и их подданных сосут кровь евреи-ростовщики».

Эйцен хорошо знает, что подобные слова нашли у его слушателей куда более сильный отклик, нежели упоминание о Пилате, умывающем руки, или о кичливости евреев своими далекими предками. Это известно ему по разговорам и в отцовском доме, и в доме аугсбургской тетушки. Поэтому, воздев руки, он воскликнул: «Возлюбленные мои! Видел ли хоть один из вас, чтобы еврей работал, в то время как мы трудимся с утра до ночи, в жару и стужу? Нет, не видел, ибо сами евреи говорят: мы никогда не работаем, нам и без работы хорошо, пусть за нас трудятся проклятые гои, а мы будем получать их денежки; мы будем господами, а гои — нашими рабами. Вот как говорят евреи, следуя своим заповедям из Второзакония 23, 20: «Иноземцу отдавай в рост, а брату твоему не отдавай в рост». Они жаждут отобрать у христиан все злато и серебро, ибо нет народа более корыстного, нежели евреи; порой говорят, евреи ссужают, дескать, князей наших большими деньгами и тем полезны. Но позвольте спросить, откуда у них эти деньги? Да от тех же князей и их подданных, которые обобраны ростовщиками».

Оглянувшись по сторонам, он увидел глаза своих прихожан, которые буквально впитывали в себя каждое слово, и почувствовал, какая сила исходит от него, когда он стоит здесь наверху, на амвоне; главное, чтобы проповедник сказал нужное слово в нужное время, тогда люди поднимутся и пойдут исполнять то, к чему их призывали. Окрыленный этой мыслью, он привел в завершение проповеди самое существенное отличие добропорядочных христиан от проклятых евреев. «Евреи,— сказал он,— ждут своего Мессию из Земли Обетованной, который набил бы им брюхо, они ждут царя светского, который истребил бы нас, христиан, а мир поделил бы меж евреями и сделал их господами. Мы же, христиане, обрели Мессию, который позволил нам не страшиться смерти, не бояться гнева Божьего и не поддаваться сатане. Пусть не дарует Он нам золота, серебра и иных богатств, зато радует наши сердца, отчего земля наша становится раем. Возблагодарим же Господа, Отца милосердного, аминь».

Сказав это, он сошел с амвона, ступая осторожно, держась за стену, ибо внезапно почувствовал во всем теле слабость; так смело и прямо редко кто говорил в своей первой проповеди, редко кто показывал львиную хватку, в духовном смысле, разумеется. Он подошел к алтарю, преклонил колена, помолился всемогущему Господу, впрочем, он лишь произносил слова молитвы, не понимая их смысла, ибо душа его до сих пор была переполнена чувством откровения — теперь ему стало ясно, что такое проповедь, недаром великий Лютер учил: проповедник должен быть одновременно и воином, и пастырем, и это трудное искусство. Наконец, повернувшись к прихожанам, он вновь воздел руки, возвел очи к высоким сводам церкви и произнес благословение, сказанное в свое время еще священником Аароном: «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя! Да призрит на тебя Господь светлым лицом Своим и помилует тебя! Да обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир!» При этом он даже содрогнулся от мысли, что отныне вправе испрашивать благословение Божье и передавать его другим, то есть быть истинным посредником между теми, кто внизу, и самим Всевышним, а содрогнувшись, сказал: «Аминь!» — и тут же услышал, как на колокольне зазвонили колокола, чествуя нового пастора.

Когда, сняв в сакристии облачение, Эйцен вышел из церкви, он увидел, что у дверей его поджидает Лютер. «Молодой человек,— сказал Лютер, изучая его своим единственным глазом, который глядел и с сомнением,

и с одобрением одновременно,— вы словно читали мои мысли, говоря о еврейском народе. Но когда я слушал вас, то подумал также: этот человек устроен так, что его непременно будет искушать дьявол. Вы уж мне поверьте, я знаю, о чем говорю. Поэтому вот мой совет: пребывайте в смирении, да поглядывайте иногда через плечо, не подступился ли к вам лукавый. И возьмите от меня письмецо».

С этими словами великий Лютер наклонился, словно хотел обнять Эйцена, но, должно быть, передумал, только запах пива и лука еще остался витать над Эйценом после того, как доктор Лютер скрылся из виду.

Глава десятая

В которой профессор Лёйхтентрагер рассуждает о диалектике веры в Бога и представляет фрагмент из Свитков Мертвого моря, свидетельствующий о том, что встреча Агасфера и Равви действительно состоялась; профессор же Байфус получает задание от вышестоящей инстанции.

Господину профессору
Dr.Dr.h.c. Зигфриду Байфусу
Институт научного атеизма
Беренштрассе, 39а
108 Берлин
Германская Демократическая Республика

29 февраля 1980 г.

Дорогой коллега!

Меня весьма огорчает, что Вас, человека блестящего интеллекта и высокой идейной принципиальности (а сочетание обоих этих качеств встречается довольно редко), мучает жестокая дилемма. В своем любезном письме от 14 февраля сего года Вы говорите, что признание в качестве факта действительного долголетия Агасфера равносильно для Вас признанию существования Христа. Пусть это не сказано прямо, но поскольку последний тезис для Вас исключен, постольку Вы не можете принять и первого тезиса, что подразумевается в самой Вашей постановке вопроса.

Извините меня за прямоту, однако подобный вывод логически не обоснован, ибо, во-первых, Агасфер может быть признан и без Иисуса, а во-вторых, если исходить из реальности встречи Агасфера с Иисусом, как это делаю я, то отсюда необязательно следует вера в Христа как Сына Божьего или иное божественное существо. Впрочем, с богами дело вообще обстоит далеко не лучшим образом — тут мне Вас переубеждать не надо. Человек выдумывал и выдумывает богов себе на потребу, однако, возникнув в качестве удобного подсобного средства, они самообособляются, начинают собственную, причем весьма загадочную жизнь. Здесь поистине нельзя отрицать известной диалектики, что должно порадовать Вас, диалектика по убеждению.

Теперь же, прежде чем перейти к важнейшей части моего письма, а именно к Кумранскому свитку, отвечу на некоторые из Ваших вопросов.

Я вполне разделяю Ваше мнение о том, что Агасфер из Книги Эсфири неидентичен нашему долгожителю Агасферу; ведь тот персонаж не был иудеем, и его связь с иудейством ограничивалась наличием еврейской возлюбленной, вышеупомянутой Эсфири. Агасфером из Книги Эсфири был, собственно, персидский царь Артаксеркс, точнее, Артаксеркс I Макрохеир, или Долгорукий (464—424 до Р. Х.), который заключил так называемый Каллиев мир и признал тем самым независимость греческих городов в Малой Азии. Насколько Артаксеркс Макрохе-

ир действительно благоволил и покровительствовал иудейской диаспоре, об этом можно судить только по Книге Эсфири, однако что касается исторической достоверности отдельных библейских книг, то я нередко склонен разделять Ваши сомнения, во всяком случае, критический взгляд тут весьма уместен.

Зато не могу согласиться с Вашим коллегой, господином доктором Вильгельмом Якшем, который, задавая, надо полагать, сочувственный вопрос относительно недостаточного интереса наших средств массовой информации к моему другу Агасферу и относительно его малоэнергичной рекламы собственного предприятия, пытается скептически отнестись к самому — пусть и впрямь феноменальному — существованию этого человека. Господин Агасфер не раз говорил мне, что шумиха вокруг его собственной персоны ему претит. Дело доходит, например, до отказа отмечать хотя бы день рождения, а ведь оснований для небольшого торжества по такому случаю у него предостаточно, особенно если учесть количество прожитых лет.

Но перейдем к обещанному главному моменту — подтверждению встречи Агасфера с Иисусом, запечатленной во фрагменте Свитков Мертвого моря, на который я уже ссылался в моем письме от 19 декабря прошлого года. Речь идет о свитке 9 Q Res, гл. VII, 3—21 и гл. VIII, 1—12; этот свиток открыт теперь для публикации, поэтому я сразу же поспешил перевести для Вас соответствующие места, пусть даже перевод будет весьма предварительным и не передает в полной мере поэтическую силу оригинала. Для Вашего сведения сообщаю: индекс 9 Q Res означает, что свиток был найден в девятой пещере близ поселка Кумран и получил название Resurrection, ибо в этой рукописи речь шла среди прочего о воскресении и окончательном пришествии Учителя праведности. То есть мы имеем дело с эсхатологическим текстом, а фигурирующие в нем Учитель праведности и Вождь общины воспринимались, видимо, кумранитами как личности мессианского характера. Отточия в моем переводе указывают на те места, где свиток поврежден.

...и наступил день, когда они схватили Учителя праведности,
которому Бог поведал все тайны слов его пророков,
и отвели его к первосвященнику, пошедшему путем греха,
и наместнику исчадий Велиаровых, киттимян...
.....
...осмеянный и подвергнутый истязаниям...
...настало время бедствия для народа Израилева,
не было среди несчастий его такого, как это.
Ибо близок час, когда разверзнутся небеса
и низринется воинство света...

...и идет он, и шатается под тяжестью креста,
пот кровавый течет по лбу измученного Учителя праведности,
течет по его лицу, губы дрожат у него, но молчит он в ответ
на насмешки, и глухо ухо его...
...но нем и голос вождя всей общины,
возлюбленного Богом...
...слушай, Израиль...
...не робейте,
не страшитесь, не бойтесь вражеских полчищ,
ибо пред вами пойдет Непобедимый...
...вооруженный мечом Божьим и щитом Давидовым...
...подходит он к дому, где дорога поворачивает
и поднимается круто вверх к Лысой горе,..

...у порога стоит Вождь общины,
который был от начала Творения
одним из сынов Божьих, рожденных от Света и Духа...
...к нему обращается Учитель праведности...
...позволь мне передохнуть здесь перед трудным подъемом...
...в семь боевых рядов построились нищие и страждущие,
поделилась на сотни и тысячи община Святого Завета
и ждет твоего призыва...

...и на хоругвях твоих написано «Народ Божий» и имена
Израиля и Аарона,
и на знаменах твоих начертаны слова «Слово Божие» и
«Божья справедливость»,
и «Честь Божья», и «Суд Божий»...
...и твоею будет победа, добытая силой руки твоей...
...однако Учитель праведности опустил голову и промолчал.
Тогда Агасфер сказал ему: ступай прочь и иди своею дорогой,
здесь нет места таким, как ты. Учитель праведности
сказал Агасферу: Сын Человеческий пойдет, дабы исполнилось
то, что написано у пророков, ты же останешься и будешь
ждать, пока я не вернусь...

Таков, дорогой коллега, мой перевод некоторых фрагментов свитка 9 Q Res, которые касаются встречи Учителя праведности с Вождем общины; как Вы могли убедиться, последний в решающем месте текста прямо именуется Агасфером. При более внимательном чтении обращает на себя внимание, что эта часть текста отличается от остального материала большим реализмом; по всей вероятности, речь здесь идет об историческом свидетельстве о реальном событии, имевшем для авторов свитка очень важное значение. Кумранская община была лишь одной из нескольких иудейских сект, которые, подобно первохристианам, веровали в близкий или уже наступающий конец мира; кумранцы ожидали мессию в двух ипостасях, а возможно, двух различных мессий, одного, так сказать, мирного, а другого — воинственного, подобно тому как двойственной была сущность древнего иудейского бога, который был богом отмщения и войны, но одновременно и богом милосердия и любви.

Поскольку Вы не верите ни в того, ни в другого, не стоит и спорить о том, каким же он был на самом деле; так или иначе, достоверность свитка 9 Q Res не вызывает сомнений, тем более что ряд стихов дословно повторяют IQM, то есть так называемый «Устав войны», и 1 QpHab, то есть «Комментарий Аввакума».

Надеюсь, что присланный материал будет Вам полезен, и сердечно кланяюсь.

Ваш
Йоханаан Лёйхтентрагер
Еврейский университет
Иерусалим

Господину профессору
Dr. Dr. h. c. Зигфриду Байфусу
Институт научного атеизма
Беренштрассе, 39а
108 Берлин

14 марта 1980.

Дорогой товарищ Байфус!

Последнее письмо профессора Й. Лёйхтентрагера, поступившее на твое имя из Иерусалима, содержит перевод фрагментов древней еврейской рукописи под индексом 9 Q Res. Если это не фальшивка, а судя по ситуации, подобное предположение маловероятно, мы имеем дело с типичным продуктом милитаристского духа израильского народа, достигшего своего апогея в нынешнем сионистском империализме. Достаточно прочитать, что написано на «хоругвях» Израиля, чтобы понять, к чему клонится дело.

Предлагаю тебе подумать, не стоит ли воспользоваться этим текстом, а также, может быть, другими документами, собранными по твоему усмотрению, чтобы составить доклад, в котором ты указал бы на взаимосвязь между религией и империалистическим экспансионизмом, особенно применительно к Израилю. Именно к Израилю, я подчеркиваю это, поскольку ислам также обнаруживает аналогичные тенденции, которые пока что не следует принимать во внимание, исходя из политических задач, решаемых нашими советскими друзьями и нами.

Если тебе удастся достать и обработать материал своевременно, твой доклад мог бы быть представлен на международную научную конференцию, которая состоится в будущем году в Москве. Перед лицом обостряющейся классовой

борьбы наука не должна оставаться в стороне; отстаивая принцип партийности, она призвана занять активную политическую позицию.

С социалистическим приветом,

Вюрцнер
начальник управления
Министерства высшего и среднего
специального образования.

Господину профессору
Йоханаану Лёйхтентрагеру
Еврейский университет
Иерусалим
Израиль

17 марта 1980.

Уважаемый коллега!

Кто бы мог подумать, что Ваши первые краткие замечания к разделу о Вечном жиде из моей работы «Иудео-христианские мифы в свете современного естествознания и исторической науки» обернутся столь интенсивной содержательной перепиской, за которой с интересом следит весь коллектив моих сотрудников. Я всегда полагал, что, несмотря на серьезнейшие мировоззренческие различия, ученые способны вести диалог по своей специальности, и, судя по Вашему последнему письму, мы с удовлетворением можем констатировать, что кое в чем нам удалось поколебать Вашу точку зрения.

Так, например, Вы признаете, что не отождествляете персидского царя Агасфера с Вашим другом, владельцем обувного магазина; что ж, тем самым век последнего укорачивается по крайней мере на целых 400 лет. Далее, из свитка 9 Q Res, которому Вы придаете столь большое значение, следует, что и «Учитель праведности», и «Вождь общины» являлись людьми, а не духами, которые то ли возвращаются вновь и вновь, то ли существуют вечно. Вы справедливо указываете, дорогой коллега, на особую реалистичность некоторых из приведенных Вами стихов. Вместе с тем нельзя отрицать, что весь текст написан в слишком возвышенной манере, которая затрудняет реконструкцию реальных фактов, за исключением, пожалуй, одного-единственного случая. Видимо, в кумранской общине, как Вы сами о том пишете, верили в двух мессий, и автор процитированного Вами свитка сообщает о споре между ними. Спор пересказан весьма живо, ничего сверхъестественного в его содержании нет. Мы полагаем, что оба человека, выдававшие себя за мессий, были попросту мошенниками, которые поначалу сотрудничали друг с другом, пользуясь темнотой и суеверностью остальных членов общины, однако, возможно, оба они были параноиками — это вполне вероятно, особенно если учесть исторические настроения, распространенные между первым тысячелетием до нашей эры и вторым тысячелетием после нашей эры, на что Вы справедливо обращаете внимание и сами. Мошенники нередко ссорятся, это хорошо известно, впрочем, и параноики, метящие в наполеоны или мессии, порой начинают выяснять, кто из них самый главный, тогда их лучше немедленно изолировать.

О паранойе «Вождя общины» свидетельствует прежде всего его маниакально-религиозная воинственность и агрессивность. В этом смысле дух персонажа, называемого в свитке 9 Q Res Агасфером, к сожалению, действительно бессмертен, поэтому я просил двух моих сотрудников подобрать из Библии и апокрифов аналогичные высказывания других персонажей иудейской истории. Когда эта работа будет закончена, мы охотно ознакомим Вас с нею; может быть, Вы и сами, пользуясь Вашими богатыми познаниями, сочтете возможным подсказать нам что-либо интересное.

Жду Вашего ответа и сердечно кланяюсь,

преданный Вам
(Prof. Dr. Dr. h. c.) Зигфрид Байфус
Институт научного атеизма
Берлин, столица ГДР

Глава одиннадцатая

В которой мы можем заглянуть в душу Паулуса фон Эйцена, а на церковной башне трижды кукарекает петух, подтверждая, что Агасфер именно тот, кто он есть.

Письмо, которое вручил Эйцену доктор Лютер, было адресовано Эпинусу, главному пастору гамбургского собора Св. Петра. Аккуратно сложенное и запечатанное личной печатью Лютера, оно жгло карман Эйцену, и, чем дольше он ехал, тем сильнее. До Росслау, что на Эльбе, он еще терпел, отвлекая себя от мыслей о письме пересказом спутнику своей утренней проповеди, которую запомнил до мельчайших подробностей, например своих слов о том, что евреи хоть и живут среди нас, но в Бога нашего не веруют, чересчур спесивы, работать не хотят, наживаются на ростовщичестве, а тех, с кого дерут проценты, еще и презирают, называя гоями, поэтому следует воздать евреям по справедливости. Но уже в ангальтском Цербсте, садясь в седло, после того как он проворочался без сна всю ночь, Эйцен не выдержал и сказал Лёйхтентрагеру: «Ответь мне, Ханс, какую добродетель должен оберегать человек пуще всего от любых искушений?»

Лёйхтентрагер почесал горб — должно быть, прихватил с собой блоху с цербстского ночлега,— огляделся по сторонам, посмотрел на зеленые дерева, в листве которых играло солнышко, на возделанные поля, на весь этот благословенный край, где все вроде бы есть, только по людям не скажешь, что им хорошо живется, ибо любое порядочное государство и каждый порядочный властитель любят держать народ в строгости. «Какую добродетель? — спросил он, хотя отлично понял, куда клонит приятель; он ждал чего-нибудь эдакого с тех пор, как Эйцен поведал о письме, что дал ему на прощание доктор Мартинус. С благочестивым видом, вроде того, который любит напускать на себя Эйцен после получения магистерского звания, Лёйхтентрагер промолвил: — Главная добродетель, Пауль, это оправдание доверия, если оно оказано тебе другим человеком, потому что нельзя обмануть оказанного доверия, не погубив души своей».

Эйцен знал, каким, скорее всего, будет ответ, но втайне надеялся, что приятель как-нибудь поможет распечатать письмо. «Да уж,— вздохнул он,— до чего бы мы дошли, если бы нельзя было положиться на верность и честность. Мир и сейчас полон всяческого зла, а не будь в нем верности и честности, он вовсе стал бы змеиным гнездом».

Так они доехали до Марбурга, великолепного епископского города, где они остановились у соборного проповедника, господина Михаэлиса, и здесь Эйцена вновь охватило нетерпение.

Соборный проповедник был рад оказать гостеприимство молодому коллеге, поскольку имел трех дочерей на выданье, одну костлявее другой, и все словно созданы для того, чтобы стать пасторскими женами; пришлось пригласить и колченогого спутника, который тут же принялся отпускать девицам комплименты, у тех даже щеки заалели. За ужином, собственноручно приготовленным хозяйкой дома при усердной помощи дочерей, Лёйхтентрагер стал подробно расписывать впечатляющую проповедь, которую его друг, магистр Эйцен произнес в Виттенберге в присутствии самого Лютера и Меланхтона; при этом пальцы Лёйхтентрагера поглаживали под столом то костлявую коленку Лизбет, средней дочери, то тощую ножку Ютты, младшей. Старшую же дочь Агнес посадили с расчетом к Эйцену, а потому на ее долю не досталось ни поглаживаний, ни пощипываний.

Соборный проповедник даже не знал, что произвело на него большее впечатление, рассказ ли о красноречии и обширных познаниях молодого собрата или потрясающая память самого рассказчика, которому он заметил: «Видать, очень уж хорошо вы слушали, коли так подробно все запом-

нили. Вот бы Господь сподобил, чтобы кто-нибудь из моей общины так меня слушал на воскресной проповеди».

«Моей заслуги тут нет,— тотчас отозвался Лёйхтентрагер с напускной скромностью,— когда внимаешь подобной проповеди, да еще на такую тему и произнесенную с таким чувством, то кажется, будто тебе вещает сам пророк, а потому каждое слово, всякое словечко запоминается само собой».

Новоиспеченный магистр поперхнулся вином, которое только что пригубил, ведь он-то хорошо знал, что его друга Ханса не было в церкви, когда он так обрушился на евреев и их злодеяния. Девица Агнес тотчас вскочила и принялась колотить своего соседа по спине, делала она это с самыми добрыми намерениями, однако синяки от ее ручки оставались у него еще несколько дней, по поводу чего приятель, осмотревший Эйцена ночью, заметил, что ледащие пальчики, дескать, бьют больнее.

А Эйцен и впрямь не мог заснуть, потому ли, что близкая смерть отца печалила его больше, чем он мог выразить, или потому, что чувствовал, как слаб и беспомощен человек, если забыл о нем Господь и нет у него сильного покровителя, о покровительстве же, возможно, говорилось в письме, которое лежало в кармане; не выдержав, он повернулся к Лёйхтентрагеру: «Ханс? Ты не спишь, Ханс?»

Тот пробормотал что-то насчет вчерашнего перепоя и слишком костлявых девиц, не желая просыпаться. Но Эйцен от него не отставал. «Ханс,— говорит он,— мочи нет, как охота узнать, что написал доктор Лютер в письме, которое он дал мне с собою».

«Ну так открой его»,— проворчал Лёйхтентрагер, будто речь шла о ничтожной малости, вроде — раз и готово.

Только открывать письмо Эйцен не решался, тем более что сам он теперь почти священник, то есть добрый пастор, который должен служить остальным христианам образцом благонравия. Поэтому он забубнил снова: «Ханс, ты же все знаешь, можешь сказать, какую человек загадал карту, червонного туза, винового валета или трефовую девятку, знаешь, про что будут спрашивать на экзамене, про Святую ли Троицу, или про то, что плоть и кровь Христова a priori была в хлебе и вине, или же про ангелов добрых и злых...»

«А тут чудес никаких нет,— сказал Лёйхтентрагер, понявший, что теперь ему не скоро дадут заснуть.— Если котелок у тебя варит, ты и сам сообразишь, что к чему».

«Моему котелку долго придется варить,— вздохнул молодой магистр,— только неизвестно, будет ли прок».

«Ты поставь себя на место Лютера,— недовольно пробурчал Лёйхтентрагер,— попробуй представить себе, что он пишет про тебя главному пастору Эпинусу. Небось, говорит, какой ты бестолковый, какой лицемер, как лебезишь перед сильными мира сего, чтобы сделать себе карьеру».

Тут он попал в самую точку, ибо именно этого Эйцен боится больше всего, слишком уж хорошо помнится ему история с другим письмом, тем самым, которое царь Давид передал через Урию своему военачальнику Иоаву; конечно, у него, Эйцена, нет такой красивой жены, как Вирсавия, а из-за девицы Барбары Штедер, на которую он нацеливается, никто его убивать не станет, ибо пусть она и не столь бестелесна и тоща, как марбургская барышня Агнес, но того все равно не стоит.

«Может, ему бы и следовало так написать,— продолжил Лёйхтентрагер,— однако он этого не сделал. Мы ведь оба знаем Лютера, он никогда не признается письменно, что дал ход очередному пустоголовому святоше».

Обидно, конечно, слышать такие слова, зато очень утешительно, поэтому Эйцен легко простил их другу и лишь еще жалобнее запричитал, как тяжело ему проезжать по сорок миль за день, терзаясь неизвестностью, и каким облегчением было бы для его сердца, несмотря на ожидающие его скорбные события, доподлинно узнать, что же написал доктор Мартинус.

«Ладно, зажги свечу,— сказал Лёйхтентрагер,— и подай письмо».

Эйцен завозился с огнивом и кресалом, через некоторое время каморку

осветил неровный огонек, являя картину довольно-таки жутковатую: молодой магистр и колченогий горбун, оба в ночных рубахах, склонились над сложенным листом бумаги, один выписывал свечкой загадочные круги над печатью, пока она с легким треском не отскочила и письмо само собой не раскрылось.

«На,— говорит Лёйхтентрагер,— читай».

Эйцену хоть и неловко читать вскрытое таким образом письмо, но удержать себя он не может, слишком уж велико любопытство, тем более речь идет о собственной судьбе. Почерк был знаком, своевольные крючки и росчерки, кляксы, чернильные брызги, будто по бумаге разбежались тараканы. «Мир вам во Христе, досточтимый и любезный брат наш»,— писал Лютер.

А вот и о нем: «... отнеситесь благосклонно к подателю сего письма, молодому магистру Паулусу фон Эйцену, уроженцу вашего города Гамбурга. Здесь, в виттенбергском университете, он проявил немалое усердие в изучении Закона Божьего, закончил учебу с большим успехом, выдержал экзамен, на котором обнаружил недюжинное красноречие и усвоение уроков своих наставников...»

Подняв глаза, Эйцен увидел скучающее выражение лица у своего приятеля, которому, казалось, содержание письма было давно известно. Эйцен возвысил голос и со смешанными интонациями гордости и протеста продолжил: «Поэтому, любезный брат, горячо рекомендую Вам магистра фон Эйцена и прошу споспешествовать ему по мере Ваших сил и возможностей. Это будет делом богоугодным, что так же истинно, как истинны Святое Евангелие и Господь наш Иисус Христос. Пребывайте же всегда со Христом. Писано в Виттенберге и проч., и проч. Сердечно Ваш — Мартин Лютер».

«Ну что? — спросил Лёйхтентрагер.— Успокоился наконец?»

Одернув задравшийся спереди подол ночной рубахи, Эйцен ответил: «Ты же сам сказал, что доктор Мартинус ничего другого и не мог написать».

«Ты действительно так считаешь? — спросил Лёйхтентрагер, и вдруг, откуда ни возьмись, в руке у него появилось второе письмо, точно такое же, как первое, со вскрытой личной печатью Лютера.— На-ка прочти!»

Эйцена зазнобило. Тот же почерк, даже те же кляксы, зато все слова каким-то дьявольским образом переиначены, и говорится в них, что голова новоиспеченного магистра Паулуса фон Эйцена забита чем угодно, только не Законом Божьим, он, дескать, преуспел лишь в льстивой угодливости, а потому нельзя доверять ему амвона, не говоря уже о доброхристианской пастве, ибо стремится он лишь к власти над людьми, а не к тому, чтобы служить им усердно и смиренно. Далее следовала подпись, в точности повторяющая подпись на первом письме: Мартин Лютер.

Эйцену стало жутко. Ведь письмо как бы раскрывало две совершенно разные стороны одного и того же человека, а человеком этим был он сам. Но доктор Лютер написал лишь одно-единственное письмо, так какое же письмо подлинное, где же истинный Лютер? И каков истинный сам он, магистр Паулус фон Эйцен?

Взяв пальцами оба письма за кончики, Лёйхтентрагер тихонько покачивал листочки перед выражавшим недоверие лицом Эйцена, Пауль было потянулся к первому, настоящему письму, которое надо передать главному пастору Эпинусу, чтобы тот посодействовал быстрой карьере, но письмо выскальзывало из рук, а сам приятель Ханс сделался туманообразным, расплывчатым. Пауль закричал и проснулся в своей постели, рядом с ним сидел его попутчик, держа в руках открытое письмо с неповрежденной сургучной печатью; он прочитал при неровном огоньке затухающей свечи: «... поэтому, любезный брат, горячо рекомендую вам магистра фон Эйцена...»

«А где другое?» — спросил Эйцен, толкая Лёйхтентрагера в бок.

«Что другое?» — удивился тот.

«Другое письмо!»

Лёйхтентрагер качнул головой; о другом письме ему ничего не ведомо, есть только вот это, что Эйцен держит в руках, и следовало бы поднести сургучную печать к свечке, чтобы сургуч размягчился, а потом аккуратно запечатать письмо; вскоре огонек погас, и в гостевой комнате дома соборного проповедника Михаэлиса снова стало темно. Но Эйцену не спалось. Через стену до него доносился сухой кашель девицы Агнес, а может, это кашляла Лизбет или Ютта; кто-то тяжко застонал, словно в кошмаре, балки потрескивали, половицы поскрипывали, будто сюда собрались домовые со всего Магдебурга; исполненный страха, Эйцен думал: «Боже мой, Боже мой, я-то надеялся, что после экзамена и показательной проповеди все пойдет своим чередом, как предопределил Господь в милости Своей, но как же непрочна и тонка под ногами, оказывается, земная твердь и как близко под нею адское пламя».

Утром, после того как Лёйхтентрагер ущипнул на прощание среднюю и младшую из дочерей соборного проповедника за щечки, а Эйцен чинно протянул руку девице Агнес, за что получил от хозяйки дома на дорогу хлеба и колбас, оба приятеля поскакали дальше, в Хельмштедт, где герцог Брауншвейгский содержал высшее училище, которое позднее стало университетом, и где приятели надеялись найти пристанище, чтобы можно было хорошенько поесть, выпить доброго вина и завести умные разговоры о судьбах мира; впрочем, Эйцен сидел в седле мешком, он чувствовал себя разбитым, будто на всем теле не осталось живого места. Зато у Лёйхтентрагера самочувствие было недурное, он ехал себе на своей лошадке, поглядывая на друга со стороны и размышляя: до чего же слаб человек; любая мелочь повергает его в уныние, отчего он тотчас возопиет к Господу, подобно Иову, но продолжает веровать в Него, вместо того чтобы полагаться на собственные силы; живут люди по правилам и законам, считают, что законы эти от Бога, цепляются за них, не замечая, как все по этим законам катится к чертям, как шествуют прямехонько в преисподнюю сначала князья и духовные лица, потом поэты и купцы, а за ними простолюдины.

В Хельмштедте — базарный день, народ съехался из ближней и дальней округи, одни продают, другие покупают, а кому заняться нечем, тот глазеет на торгующих. Пестры базарные ряды, каждый хочет показать товар лицом, да и себя показать. Горшечники и портные, булочники и колбасники, кудахчут куры, гуси гогочут, пока им шею не свернут, кругом полно евреев в островерхих шляпах, они расхваливают развешенные лохмотья, будто это платья самой герцогини, а какого-нибудь полудохлого мерина готовы выдать чуть ли не за чистокровного арабского скакуна.

Напоив коней и привязав их, Эйцен и его приятель Ханс уселись на одной из скамеек, выставленных хозяином харчевни перед своим заведением. Эйцен с удовольствием потягивался и попивал винцо, которым угостил его приятель, глядел, как тот режет своим изящным ножичком колбасу, подаренную в дорогу молодым людям женой соборного проповедника,— половину себе, половину другу, и почувствовал впервые за нынешний день, что есть-таки у жизни приятные стороны, хоть их и немного. А еще он разглядел, что справа, неподалеку от церкви, народу толпится поболее, чем в иных местах; там стоял сколоченный помост и было натянуто полотнище с изображением крестных мук Господа нашего Иисуса Христа, с рыжей бородой, окровавленным челом, а по бокам его понуро свесили головы распятые разбойники. Наверное, представление будут давать, подумал Эйцен, будут петь или что-нибудь показывать; он не знал, стоит ли ему присоединиться к толпе, дожидающейся начала представления, или лучше остаться на удобной скамье, что больше приличествует человеку, который почти уже пастор и у которого в кармане рекомендательное письмо от самого доктора Лютера. К тому же вроде и приятель не собирался двигаться с места, а может, даже и не замечал, что затевается неподалеку.

И вдруг стало тихо, как в церкви. Даже шум базарных рядов долетал теперь глухо, словно сквозь одеяло. На деревянные подмостки вышла женщина в зеленых шальварах, как на турецких картинках, которые Эйцен

видел порою в книгах; поверх белой кофты на женщине была красная расшитая жилетка, а на голове — синий тюрбан с мерцающей брошью, над которой торчал пушистый султан. Лицо у нее было сильно набелено, так что никто не мог угадать, что скрывается за белилами, возможно, старушечьи морщины. Зато глаза, большие и блестящие, как жемчужины, явно молоды, и эти глаза хорошо знакомы Эйцену, поэтому его тотчас сорвало с места и понесло к толпе, окружавшей подмостки; втиснувшись в толпу, он принялся, не обращая внимания на брань, распихивать и расталкивать людей, пока не приблизился к женщине и не уставился на нее, видя ее как бы насквозь, как, бывает, видят духов — сквозь ее блузку и шальвары он угадывал груди и бедра, во рту у него сделалось сухо, он хотел крикнуть: «Маргрит!» — но с уст его не смогло слететь ни единого звука.

Женщина же подняла руку и, убедившись, что народ выжидательно пораскрывал рты, звонким, торжественным голосом возвестила, что зовут ее принцесса Елена и является она младшей, любимой дочерью князя Трапезундского, великого герцога из свиты могущественного султана; но отца и мать, и прекрасный гарем, где было у нее все, что душе угодно: наряды и украшения, шелковые подушки и черные рабы с опахалами,— пришлось ей покинуть, ибо в ночь накануне восемнадцатилетия явился ей Вечный жид, Агасфер, проклятый Иисусом Христом скитаться до Страшного суда; он-то, Агасфер, и обратил ее в истинную веру. С тех пор она следует повсюду за Вечными жидом, который не может умереть и каждый раз таинственным образом возрождается заново, она стала ему как бы невестой небесной, дабы помочь свидетельствовать о Славе Господней и о страданиях Иисуса Христа, которые Вечный жид видел собственными глазами, о чем он сейчас сам расскажет, а также покажет всему народу свои израненные ноги и поведает собственнолично, что говорил ему Иисус Христос, как проклял его за бессердечность, эту вину бедняге приходится искупать вот уже тысячу лет и еще пятьсот два года. Кого сия печальная история не тронет, тот может ступать себе по своим делам, Вечный жид простит его, как простит и Иисус Христос милосердный, но если кого заденет она за живое, если откликнется на нее сердце доброго христианина, то после представления он сможет купить книжицу с разноцветными картинками, которые рассказывают историю о том, как проклят был Вечный жид, Агасфер; после представления она, дескать, обойдет публику, и да внесет каждый посильную плату, которая нужна на то, чтобы они с господином Агасфером сумели пойти дальше возвещать народу иных городов и весей свет истины.

Эйцен все еще не мог вымолвить ни слова. Он, конечно, еще тогда, после вечера, проведенного у магистра Меланхтона, догадывался, несмотря на хмель в голове, что нахальный молодой еврей, усадивший на колени Маргрит и тискавший ее, имеет какое-то отношение к Вечному жиду, однако наутро отогнал от себя эту мысль, как ночной морок и зловредное наваждение. А вот теперь еще и принцесса Елена Трапезундская оказывается той самой горничной, которая прислуживала Эйцену, когда тот проживал у своего приятеля Лёйхтентрагера, выкуривала из постели юного студиозуса насекомых, выносила его ночной горшок, соблазнительно поигрывая на ходу ягодицами. Неужели в каждом из нас сидит кто-то другой, а если так, то кто же тогда кроется в нем самом, Пауле фон Эйцене?

А Лёйхтентрагер тем временем оставался, должно быть, сидеть на скамейке перед харчевней, пил вино и даже не подозревал, какие страсти бушуют в груди магистра Эйцена, который был готов выскочить на деревянный помост, схватить принцессу Елену, залезть ей под жилетку и шальвары, только совсем не из тех грязных мыслей, что сразу пришли бы в голову какому-нибудь похабнику, а единственно ради научного интереса; однако тут он уже опоздал, ибо народ уже заволновался, любопытствуя, как же все-таки обстояло дело с вечным проклятием жиду, и, пожалуй, не одному зрителю захотелось проверить, что за подноготная кроется за нарядами прекрасной Елены, да не тут-то было.

На высоком шесте принцесса Елена укрепила большую картину, которая изображала краснобородого Христа в пурпурном одеянии и с зеленым терновым венцом на челе, рядом два солдата, высунувших языки и скорчивших жуткие рожи,— так они издеваются над Христом, а один даже бьет его плеткой по голове. Показывая картину, Елена начала громким и торжественным голосом читать стихи:

Вот над Христом, Его браня,
глумится злая солдатня.
В венце терновом Он стоит,
оплеван ею и избит.
Он полон кроткого смиренья
во имя нашего спасенья.

Эйцену подумалось, что это совсем не тот дерзкий голос, каким Маргрит всегда разговаривала с ним, нет, тут сразу по одной манере, по гладкости речи слышно — стихи читатет благородная дама, а уж принцесса Трапезундская или нет, неважно. Тем большее волнение чувствует он в своей груди, тем чаще озирается по сторонам в поисках своего приятеля Лёйхтентрагера, ибо кто другой, как не тот, может объяснить, что, собственно, происходит; но приятеля опять нигде не видать, а прекрасная турчанка Елена уже водрузила на шест новую картину, которая также изображает Христа, но на сей раз в белой ризе, зато по измученному лицу Его струятся алые капли крови, сам же он низко склонился под тяжестью креста, кругом стоящие женщины глядят на него со слезами и состраданием, одни — сложив руки на груди, другие — обхватив ими свою голову. Указуя левой рукой на картину, а правую руку воздев к небу, принцесса Трапезундская проговорила с воодушевлением:

Нет больше силы у Христа
терпеть под тяжестью креста.
Но до Голгофы путь далек,
еще не вышел мукам срок.
Он лишь рыдавших в стороне
просил: «Не плачьте обо мне».

Эйцену доподлинно известно, что если люди и знают вообще что-нибудь из Библии, то именно эту историю, тем не менее они стоят, не шелохнувшись, запах пота и луковый дух витают над ними, они едва решаются перевести дыхание, вон у старика слюна стекает по подбородку, но он ничего не замечает, другой, позабыв обо всем на свете, почесывает задницу, а прекрасная Елена быстро вешает новую картину, которая вновь изображает изможденного Христа и рядом с ним румяного мужчину в золотом шлеме, что тщетно протягивает руку помощи страдальцу. Дрогнувшим голосом Елена проговорила:

Достойный римлянин один,
имевший офицерский чин,
хотел помочь, но Иисус
не уступил свой тяжкий груз.
Смущенный римлянин изрек:
«Ecce homo! Вот это человек!»

При словах «Ecce homo» по спине Эйцена пробежали мурашки, как всегда, когда он слышал латынь, на этот раз озноб был даже особенно сильным, ибо Паулю показалось, что прекрасная Елена, хоть и увлеченная представлением, а все-таки заметила его, недаром у нее глаза блеснули и голос сбился, пусть лишь на миг, но ему было и этого достаточно; та Маргрит, которую он знавал когда-то, и принцесса Трапезундская слились для него воедино, однако каково же, думает он, слышать эти слова «Ecce homo» из губ чертова отродья, потаскушки жидовской, у него даже в голове помутилось, но вслед за тем тут же пришла другая мысль: а кто ты, собственно, сам такой, то судишь о других строже, чем Господь наш Иисус

Христос, сказавший о грешнице, которая слезами облила Его ноги, и отерла волосами главы своей, и целовала ноги Его, и мазала миром: «прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много»; правда, Маргрит пока не проявляла интереса к его, Пауля, ногам, но, как говорится, еще не вечер. Теперь же она повесила новую картину, где слева нарисован Иисус Христос, согбенный под тяжестью креста, а справа — жид в своем черном кафтане, очень похожий на того, с которым Эйцен познакомился той злополучной ночью, позади жида дом с колоннами, а меж покрившихся колонн — шест, а на шесте висит знак: зеленый венец и пурпурный сапожок. Принцесса Елена подошла к картине вплотную, и сразу стало видно, что история, рассказанная с таким чувством, приближается к своей развязке, грудь Елены начала вздыматься, султан на тюрбане устремился ввысь, она повела взглядом поверх людских голов, будто увидела вдали некий свет, и произнесла:

Не в силах далее идти,
Христос увидел по пути
еврея Агасфера дом
и возмолил его о том,
чтоб здесь, в тени, хотя б чуть-чуть
пред казнью лютой отдохнуть.

Тут толпа единым разом охнула, ибо рядом с принцессой откуда ни возьмись появился тот самый жид в своем потрепанном кафтане и в ермолке на таких же рыжих волосах, что были нарисованы и у Иисуса Христа на всех картинах. Стоит себе, будто бы с неба свалился или, подумал Эйцен, словно из преисподней вылез; вот он — вечный Агасфер, который не может ни успокоиться, ни умереть, а должен странствовать по свету в стужу и зной, по голым горам и пустыням, продираясь через терновник, по скалам и кручам, меж льдов и валунов, по рекам и морям, без конца, без конца, пока не прибудет куда-нибудь, например на Хельмштедтскую базарную площадь, чтобы покаяться сызнова в том, как он обошелся с Иисусом Христом и как был за то страшно проклят.

«Тогда Равви и говорит мне,— сказал он в наступившей на площади тишине,— дай, говорит, мне передохнуть, тяжело мне. Еще бы, думаю, ведь на спине тяжесть немалая, дерево твердое, углы острые. Значит, говорю, тяжело тебе. А нам, по-твоему, от ярма римского не тяжело? Дай мне передохнуть, говорит он, дорога здесь каменистая и крутая, а я избит и измучен. Значит, дорога камениста и крута, говорю. А разве, по-твоему, не крута и не камениста дорога народа Израильского? Позволь мне передохнуть, умоляет он, мне надо собраться с силами, чтобы предстать перед Отцом небесным. Значит, к Отцу небесному собираешься...»

«Он врет!»

Эйцен испуганно вздрогнул. Это он сам кричал и тем не менее испуганно вздрогнул, тут же обернулся по сторонам, не замахнулся ли кто, чтобы ударить его по лицу или по затылку, что может причинить здоровью серьезный ущерб. Но народ, похоже, и сам испугался не меньше, а пуще других — еврей на помосте, у которого слова застряли в глотке, и в пот его бросило. Тут Эйцен увидел, что никто не собирается с ним спорить, тем более поднимать на него руку; наоборот, все смотрят на него, будто уже не жид тут главный, а он, и тогда Эйцен, расхрабрившись и опять чувствуя себя борцом за веру, сказал себе, что сейчас задаст жару этому жиду, после чего набрал полную грудь воздуха и крикнул изо всей мочи: «Все это ложь и обман. Эдак вот морочат глупых крестьян, выманивая у них денежки. Но ни студиозуса, ни ученого мужа, ни достопочтенного горожанина, жителя Хельмштедта, так не проведешь! Да и не Агасфер это вовсе, и Иисуса Христа он видом не видывал. Это же Еврей Ахав, я встречал его в Виттенберге, знаю, как он там принцессу охмурял, а теперь вот думает, что может всех честных христиан надуть».

Послышался сердитый ропот, и Эйцен сразу догадался, кем люди недовольны — не им, а евреем; ропот тем временем все усиливался, стано-

вился грознее, Эйцен ждал, чем ему ответит еврей, если, конечно, у него язык не отнялся. Он уже хотел было подать знак прекрасной Елене, чтобы она спускалась с подмостков под его защиту, только не мог придумать, как это сделать. Вдруг он заметил рядом с собою Лёйхтентрагера, который как-то странно взглянул на приятеля и, криво усмехнувшись, сказал: «Молодец, Пауль, так и продолжай. Сейчас народ кинется наверх и убьет жида вместе с принцессой Трапезундской, а уж Бог тебя за это вознаградит».

Тем временем небо неожиданно быстро затянулось черными тучами, которые надвинулись справа и слева, оставив узкий просвет лишь посредине, прямо над жидом, за которым висела картина с изображением рыжеволосого Христа, распятого между двумя разбойниками; позади распятых возвышалась церковь с островерхой крышей и золотым петушком-флюгером на башне. Тут многие, должно быть, содрогнулись и подумали, что Бог вот-вот рассудит, кто прав, а кто виноват: еврей ли со своей принцессой или же молодой человек в магистерской шляпе, протиснувшийся в самый первый ряд.

Жид воздел руки, подобно пророку. Ропот сразу же приумолк. Глаза жида сделались жесткими и блестящими, как серая галька, он сказал: «Не впервые отвержен тот, кто не должен быть отвергнут, и отвержен тем, кто не должен отвергать. Это говорю вам я, Агасфер, по прозвищу Вечный жид, которого проклял Равви за то, что я прогнал его от дверей моих, когда он, изнемогая под тяжестью креста, хотел отдохнуть у меня, и если я говорю правду, то пусть трижды закричит тот золотой петушок на башне, прежде чем Господь ударит молнией».

Эйцен знал, что теперь надо громко расхохотаться, чтобы все услышали его смех и наваждение исчезло: ведь петушок на башне может разве что указывать направление ветра, но уж никак не кукарекать. Он обернулся к своему другу Лёйхтентрагеру, пытаясь прочесть в его глазах поддержку — мол, петух, он и есть петух, медяшка, она и есть медяшка; однако Лёйхтентрагер лишь поднял палец к уху и сказал: «Слушай!»

И впрямь поначалу тихонько, неуверенно, будто молодой петушок робко пробует голос, потом смелее и звонче, и, наконец, в третий раз оглушительно громко, на всю округу раздается петушиный крик, который изгоняет духов ночи и всяческое мракобесие.

Все будто окаменели. Лишь распятый Христос вроде бы шевельнулся, но нет, это предгрозовой порыв ветра тронул полотно, на котором изображено распятие. Затем ослепительная молния с каким-то шипением взорвала всеобщее оцепенение, она ударила в деревянные подмостки, те мгновенно занялись огнем, вспыхнуло пламя и сожгло картину с распятием, шест, и все это под вопли испуганных людей, метнувшихся в разные стороны, да так, что полы сюртуков и подолы юбок затрещали от встречного ветра.

Кто-то схватил Эйцена за руку, потащил прочь. «Давай-ка уходить подобру-поздорову,— услышал он голос Лёйхтентрагера,— бежим отсюда, пока народ не опомнился и не надумал тебя прибить».

Глава двенадцатая

В которой разрывается надвое большой храмовый занавес, а Агасфер объясняет Иуде Искариоту, что хотя судьба человека предопределена, тем не менее он сам выбирает ее.

Никто не знает всей правды, кроме меня и Равви, но он давно мертв, а мертвые молчат.

Тот день выдался на редкость погожим; земля была еще влажной от зимних дождей, в воздухе стоял запах сырой пахоты, пышно цвели лилии, небо еще не поблекло от палящего солнца и изгибалось высоким синим

куполом над городом и храмом. В такой день надо жить, а не умирать; но был канун субботы, поэтому все дела надлежало завершить сегодня, ибо Господь на седьмой день отдыхал, и никто в Израиле не смел в этот день работать.

Отсюда и спешка. Отсюда беготня между домом Каиафы, домом Ирода и домом Пилата, отсюда же неожиданный опрос среди народа, кого казнить и кого помиловать, бунтовщика ли Варавву или этого сумасшедшего — Царя Иудейского, отсюда же срочное совещание ученых мужей, чтобы разобраться, кто должен выносить приговор и кто — приводить его в исполнение, чтобы учесть национальные, религиозные и прочие интересы священников, тетрарха и оккупационных властей, а тут еще упрямство ребе Йешуа, его полное нежелание считаться с мирскими делами, он уже видел себя призванным восседать одесную Бога, но в то же время сердце его полнилось самыми дурными предчувствиями и страхом. Отсюда же поспешный увод осужденного, не давший народу как следует насладиться зрелищем. А ведь чудак, который назвался царем и должен тащить на Голгофу собственный крест,— это ли не богатая пища для насмешек, это ли не возможность для народа безнаказанно отвести душу, поразвлечься, запомнить подробности, чтобы весело посудачить иногда вечерком, так нет же; едва этот бедняга, задыхающийся, исходящий кровавым потом, подгоняемый ударами, появлялся перед людьми, как его торопили идти дальше, и лишь там, где он рухнул на колени, словно мул под слишком тяжелой поклажей, кое-кто успел прокричать ему с издевкой «Осанна!», или «Да здравствует Царь Иудейский!», или «Как же ты собирался нас спасти, Сын Божий, если ты себе помочь не можешь?»

И мне стало жаль тебя, ребе Йешуа, несмотря на все твое безрассудство; сердце сжалось у меня в груди, когда я, стоя перед своим домом, увидел тебя с крестом на плечах. Я увидел твои глаза, ты тоже узнал меня, твои потрескавшиеся губы дрогнули, ты пытался что-то сказать, но послышался лишь хрип. Тогда я подошел к тебе и сказал: видишь, я оказался рядом в твой самый трудный час.

Кивнув, он с трудом проговорил: ты обещал, что я смогу передохнуть у тебя.

Я снова наклонился к нему, ибо тяжкое бремя пригнуло его к земле, и сказал: меч Божий спрятан у меня под одеждой, я подниму его ради тебя, все твои насмешники, враги и все солдаты испугаются до смерти при виде огненного меча.

Он промолчал.

Ты же, ребе Йешуа, сказал я, сбросишь крест, воспрянешь от бремени, народ Израиля соберется вокруг тебя, и ты поведешь его за собой, ибо, как сказано в Писании, это твоя битва, о князь, и твоя победа, о царь.

Он лишь качнул головой с терновым венцом: оставь свой меч в ножнах. Мне ли не испить чаши, которую дал мне Отец? Только позволь мне немного передохнуть в тени твоих ворот, я смертельно устал.

Но меня обуял гнев от подобного упрямства, я оттолкнул его от себя и крикнул: убирайся, глупец! Да ему там, наверху, наплевать, что тебе пробьют гвоздями руки и ноги, а потом ты будешь медленно умирать на кресте, разве нет? Он создал людей такими, какие они есть, а ты хочешь изменить их своей жалкой смертью?

До сих пор вижу перед собою лицо Равви, оно совсем побледнело, отчего капли крови показались еще алее, до сих пор слышу его слова: Сын Человеческий уйдет, как сказано в Писании, ты же останешься и будешь ждать моего возвращения.

Он пошел дальше и исчез за углом, где дорога поворачивает на Голгофу, за ним потянулся народ, который гомонил и суетился, будто впрямь ждал награды от настоящего царя. Вскоре воцарилась тишина великая, листья моего виноградника, который обвивал опоры навеса, были позолочены солнечным светом, тень от листьев дрожала на мощеном дворе, я сидел и думал о Равви, который в этот час умирал на кресте, о его словах и о тщетности всех моих усилий.

Тут появился Иуда Искариот с кошельком в руках; остановившись рядом со мной, он сказал: а ведь ты — тот самый, кто приникал головой к груди нашего Равви на последней вечере, когда он причастил нас своим телом и своей кровью.

А ты — тот, сказал я, кто должен мне один серебряный динарий из тех тридцати, которые ты получил за предательство.

Предательство, сказал Иуда, какое гадкое слово. Разве я не делал лишь то, что должно, разве я не исполнил последнюю волю Равви, который говорил, что должен пролить свою кровь за многих во искупление их грехов? Значит, я лишь исполнял предопределение и его волю; ты же прогнал его от своих дверей, когда он хотел немного передохнуть, следовательно, на самом деле — это ты его предал, а вовсе не я.

Конечно, возразил я, очень удобно считать, будто всегда поступаешь верно, ибо служишь только инструментом или даже игрушкой в руках высшей силы. Но ведь уже твой прародитель Адам поплатился изгнанием из рая и был осужден на тяжкие труды лишь за то, что попробовал яблоко, хотя это и было предопределено, иначе Бог не повесил бы то яблоко перед носом Адама, не создал бы ни змия, ни Еву, разве нет? Такова уж игра, которую Бог затеял с человеком, судив ему выбирать между добром и злом, хотя выбор вроде бы предопределен; вот и ты рожден предателем, но тем не менее стал им по собственной воле, поэтому тебе не остается ничего другого, как пойти к дереву за моим домом и повеситься. Я же — дух от Духа Божьего, я абсолютен и беспристрастен, мне не нужно, чтобы кто-то проливал кровь ради искупления моих грехов, ибо мне не дано их совершить. А теперь, отдай-ка мне серебряный динарий, который ты мне задолжал.

Тут Иуда испугался, сунул мне серебряный динарий и убежал. Через некоторое время, уже в шестом часу, он вернулся и сказал, что остальные двадцать девять сребреников он отнес в храм, бросил их священникам, но те не захотели брать их, потому что, дескать, это деньги за кровь. Затем он повернулся и пошел к дереву за моим домом; Иуда повесился на веревке, на которой погонщики водят мулов.

Я же увидел, как небо вдруг потемнело, с гор подул пронизывающий ветер. Пробежали люди с криком, что в храме разорвался надвое, снизу доверху, большой занавес, будто рванула его могучая рука; весь город боялся кары Божьей.

Тогда я понял, что ребе Йешуа умер, и, закрыв плащом лицо, заплакал.

Глава тринадцатая

В которой задается крамольный вопрос о том, действительно ли похож человек на Бога, или же, наоборот,— Бог на человека, а также говорится о внутренних противоречиях, грозящих подорвать любые устои.

Я знаю то, что я знаю.

Я знаю глас Божий. Он слышится в гуле водопадов, в ревущем пламени, в завывании вихрей, только он мощнее этих звуков; он слышится в шелесте терновника, только почти совсем неразличим. Он доносится к тебе до самого конца Вселенной, пролетая мимо погасших звезд и тех, которые лишь зарождаются, он звенит у тебя в ушах и не дает покоя.

И раздался глас Божий, сказавший: я отнял от тебя, Агасфер, Свою руку и низринул тебя на шестой день в третьем часу с горних высей и сделал это потому, что Мой порядок тебя не устраивал и Мой закон не был для тебя законом; теперь ты проклят скитаться в пределах дольних, вместо того

чтобы блаженствовать на небесах, вознося хвалу Моей славе, ибо ты до сих пор желаешь все вывернуть наизнанку и сомневаешься в мудрости Моего творения.

Подняв лицо мое к высям над высями, откуда донесся голос, я возразил: прежде всего я сомневаюсь в человеке, который якобы создан по Твоему подобию, по образу Божьему, и сомневаюсь в сыне человеческом, к груди которого я приникал на его последней вечере и который якобы послан Тобой искупать грехи всех людей.

И снова раздался глас Божий, сказавший: мир полон чудес, свершающихся с утра до вечера. Даже одна-единственная молекула так сложна и так гениально проста, что создать ее не мог никто другой, только Я. И ты еще сомневаешься?

Склонившись перед Богом, я ответил: я далек от того, чтобы сомневаться в чудесах Твоих, Господи, и речь идет не о молекулах; я сомневаюсь в Твоей справедливости и в богоподобности человека, которого Ты сотворил.

Тут небеса раскрылись, и из высей прянул луч света, он был ярче тысячи солнц, однако не слепил глаз; в свете этого луча появилась лестница, которая стояла сама по себе и была такою высокой, что ее верхушка терялась где-то в бесконечности, по этой лестнице поднимались и опускались ангелы, разумеется добрые ангелы, а не такие, как мы с Люцифером; казалось, будто по лестнице вверх и вниз бегает множество муравьев, беленьких, с розовыми головками и прозрачными крылышками. Часть из них спускала по лестнице большой престол, им было тяжело нести этот престол, изукрашенный драгоценными каменьями, которые переливались всеми цветами весенней радуги, синим и зеленым, красным и золотым, подлокотники же были резными, с золотой обивкой, а на их окончаниях красовались головы херувимов; четыре ножки престола походили на львиные лапы, а спинку образовывали два переплетенных блестящих змея, головы которых враждовали меж собой. На троне никто не восседал, поэтому можно было подумать, что ангелы просто перетаскивали мебель.

Когда ангелы опустили престол по лестнице, они поднесли его ко мне и поставили передо мной вместе с подножием, прикрепленным к престолу золотыми скобами, после чего ангелы в развевающихся одеяниях упорхнули на своих крылышках. Тут снова раздался глас Божий, сказавший: ты сомневаешься в богоподобности человека, поэтому Я решил явиться тебе.

Луч света из поднебесья превратился в ореол вокруг престола, а посредине этого ореола возникла туманность, какую видишь иногда по утрам. Туманность сгущалась, приобретала очертания, объем и форму, на престоле показался человек зрелого возраста, в белых одеждах, ясноглазый, с волнистыми волосами, и все в нем было исполненно совершенства и неописуемой красоты.

Я же, вместо того чтобы пасть ниц перед престолом и целовать Его ноги, не мог отвести от Него своего взгляда, ибо одновременно мне казалось, что сквозь Него проглядывает жалкая фигура ребе Йешуа, и я спросил: значит, Ты и есть Бог?

Он ответил: Я Тот, Кто Я есть.

Ты прекрасен, Господи, сказал я, ибо покоишься в Самом Себе, я мог бы полюбить Тебя.

Но ты продолжаешь сомневаться во Мне и Моем мироустройстве, хотя вот Я — восседаю пред тобой на престоле как наглядное доказательство богоподобности человека.

Господи, сказал я, Ты отринул меня, и нет у меня никакой власти. Однако позволь спросить Тебя: что же истинно — богоподобность человека или человекоподобность Бога?

Чело Его сделалось сумрачным, померк свет, идущий из поднебесья, мириады розовоголовых ангелов с прозрачными крылышками закружили вокруг лестницы, будто она вот-вот рухнет, и мне стало страшно за свой вопрос.

Опять раздался глас Божий, но теперь он звучал немного сердито: что тебе до того? Ведь ты ничтожней праха, из которого Я сотворил человека.

Это противоречие, Господи, и, значит, в Твоем мироздании есть прореха.

Тут же ко мне подлетели те из добрых ангелов, кто был поплечистей и с кулачищами, как у молотобойцев. Но Господь дал им знак оставить меня в покое и спросил: много ли таких противоречий, Агасфер?

Низко поклонившись, я сказал: о да, Господи, их много, и они — это соль в каше, и дрожжи в тесте, и душа всего дела, Твоего и моего.

Бог сказал: я создал тебя на второй день, но не из праха, как человека, а из огня и дуновения бесконечности. Однако это еще не дает тебе права на твою еврейскую дерзость.

Я сказал: неужели даже спросить ничего нельзя? Ты отринул меня на шестой день в третьем часу, Ты проклял меня на вечные скитания по дольним пределам до Страшного суда, а потом Твой Сын по пути к Голгофе проклял меня тем же проклятьем. Неужто единого раза мало? Может, поскольку Вы триедины, Ты, и Сын Твой, и Дух Святой, о котором известно немного, то Ты считаешь, что двойное проклятье ненадежно?

Тут Господь поднялся со своего престола и подошел ко мне, глаза Его сверкали, чело побагровело, и был Он велик в гневе Своем, я же распростер руки, чтобы встретить Его с любовью, ибо я воистину любил Его за то, что он утратил Свой Божественный покой, я бы даже простил Ему третье проклятье. Но он вдруг помедлил, затем неожиданно улыбнулся и вновь обратился в туманность, которая тут же улетучилась; только пустой престол остался стоять во всем своем великолепии.

Я знаю то, что я знаю. Бог, каков Он есть, и все Его мироздание полно противоречий, как и Он сам.

Глава четырнадцатая

Где Вечный жид облегчает кончину христианина, который, будучи купцом, желал перед смертью надежного залога.

Наконец-то он вернулся, подумал умирающий; хорошо, когда в семье есть свой пастор, ведь пастор даже лучше врача, ибо врач полезен лишь для жизни земной, которая длится лет шестьдесят, в лучшем случае — семьдесят, пастор же нужен для вечности.

Только есть все-таки со смертью одна незадача, продолжал он размышлять. Вот был ты всю жизнь богобоязнен, властям покорен, детей произвел на свет только от законной супруги, а незаконнорожденные за тобою вроде бы не числятся, избегал ты грехов всяческих, смирял гордыню и не поддавался корыстолюбию, не убивал, не грабил, дела вел добросовестно, осмотрительно и по правилам, сколько процентов на капитал оставлять положено, столько и оставлял, не забывал о страховке. Стало быть, можно спокойно готовиться к смерти, веруя в блаженство, которое нам обещано, разве не так?

Но одновременно с болью, которая ширится в груди, сердце умирающего наполнялось сомнениями: а что, если все это пустые выдумки, обман, и от человека ничего не остается, кроме горстки праха, из которого он сотворен? «Разве знает кто взаправду, есть ли душа? — спросил он сына, который сидел у его постели и глядел на отца скорбными глазами,— разве знает кто, что же такое вдохнул в него Господь и что потом возвратится Ему, как одолженный гульден заимодавцу? Из какого отверстия моего бренного тела изыдет душа? Из носа, изо рта, из ушей или еще откуда? А может, все-таки меня, именно меня, совсем не станет?»

Сын ответил: «Но в Писании, отец, сказано, что человек создан для жизни вечной».

Умирающий тихонько застонал. «Страшно,— сказал он.— Я боюсь превратиться в ничто. Раньше у папистов был порядок, как у хорошего купца. Даешь столько-то гамбургских серебряных пфеннигов, в замен получаешь на столько-то лет отпущение грехов, избавление от адского огня и прочих мук, заверенное самим папой римским. А что теперь, после того как твой доктор Лютер все это порушил? Кто теперь даст мне бумагу с печатью о том, что после смерти не все еще кончится и что когда-нибудь действительно настанет воскресение, срастутся распавшиеся косточки, оживет истлевшая плоть, откроются мертвые очи, чтобы узреть сияние и славу мира. Кто даст мне такой залог, чтобы какой-нибудь жид ссудил под него хотя бы грош?»

Сын сказал: «Но апостол Иоанн возвестил, что всем, кто верует в Господа, будет дарована жизнь вечная. Вы должны верить, отец».

Посылал я парня учиться, подумал умирающий, надеялся, что наберется он ума, разузнает про всякие таинства и бессмертную душу; кому же еще и знать-то о них, как не ученым докторам из Виттенберга? Теперь он сам носит магистерскую шляпу, ищет собственный приход, чтобы одарить здешних горожан своей премудростью, а что мне талдычит? Дескать, верь. «Значит, надо верить,— говорит умирающий.— Только кредит, сын мой, без залога не дают. Так есть ли у тебя для меня надежный залог?»

Ах, как озадачили эти слова молодого магистра. Недаром он вырос в семье Эйценов, торговля сукном и шерстью, кое-что смыслит в коммерческих делах, понимает, что всякий легковер может запросто лишиться не только товара или капитала, но и последних штанов. Почему же с религией дело должно обстоять иначе, нежели с торговлей?

«Вы, церковники, сулите нам вечную жизнь,— сказал умирающий.— Ах, как бы мне хотелось поверить в это, все бы отдал, деньги и имущество, на коленях бы дополз до собора Святого Петра, ноги бы целовал главному пастору Эпинусу или даже хоть тебе. Только где надежный залог?»

Сын помнит множество мудрых изречений из Святого Писания и ученых книг, умеет красиво произнести их, уж этому-то он у Филиппа Меланхтона и доктора Лютера научился; но есть ли толк в подобных утешительных словах для того, кто шесть раз за неделю открывает конторскую книгу, а молитвенник лишь единожды, кто привык соразмерять расход с доходом? Такому человеку нужен живой очевидец, который может доподлинно свидетельствовать, подумал сын и сразу понял, что эта мысль давно засела у него в голове, только как-то не осознавалась; крик Хельмштедтского позолоченного петушка до глубины души потряс его, это потрясение не прошло до самого Гамбурга, здесь ему и подумалось, что вечное проклятие, на которое осужден один, может принести вечный покой другому. «Я дам вам надежный залог, отец,— сказал он.— Я расскажу вам про Вечного жида, с которым встречался не раз, и про то, как на церковной башне трижды прокричал петух».

Умирающий жадно вслушивался в сыновние слова. Они проливались бальзамом на его больное сердце, вокруг которого все сильнее сжимался железный обруч; он молил Бога о том, чтобы обруч лопнул, но в то же время знал, что если лопнет обруч, то разорвется и сердце. Этот еврей, подумал он, если он и взаправду тот, за кого себя выдает, то надо ли доказательств более надежных и более достоверных? Ведь сынок самолично подверг еврея проверке, своими ушами слышал, как трижды прокричал медный петух, своими глазами видел молнию. А если есть вечная жизнь, будь она даже проклятием, разве не должна она быть тем более дарована тому, кто помрет со святым причастием, в мире с собой и с Богом? «Где же, сын мой, тот еврей сейчас?» — спросил он.

Новоиспеченный господин магистр совершенно упустил из виду, что как в завершение молитвы непременно должно прозвучать «Аминь», так и рассказ об Агасфере не мог не закончиться просьбой умирающего привести к нему Вечного жида для душевного успокоения. Но искать жида среди узких улочек, где живут евреи, да еще просить его о любезности, этого Паулю Эйцену совсем не хотелось, тем более что он опасался насмешек от принцессы Трапезундской после того случая в Хельмштедте, когда он хотел натравить толпу на жида с принцессой. «Где сейчас находится тот еврей? — переспросил Пауль.— А черт его знает».

Старик заметил, как молодой магистр заерзал на стуле, видимо, не без причины, но от этого ему лишь сильнее захотелось встретиться с тем евреем, расспросить, правда ли, что он видел Христа живым, разговаривал с ним, а затем скитался полторы тысячи лет, и даже больше. Кукарекал петух или нет, подумал он, меня-то этот жид не проведет, у меня на людей особый нюх, иначе я давно бы обанкротился, ибо в нашем деле, торговле сукном и шерстью, плутов, мошенников и проходимцев куда больше, чем честных коммерсантов. «Сын мой,— сказал он,— приведи ко мне еврея. Я хочу с ним поговорить».

Пауль хотел было возразить, но умирающий со стоном приподнялся и сказал: «Такова моя воля, последняя воля. Ступай».

Тут магистру фон Эйцену не осталось ничего другого, как покориться, поэтому он встал и вышел из комнаты. А у него уже пасторская походка, подумал старик, вышагивает чинно, а ступает совсем бесшумно: нельзя пасторам грешника-то спугнуть, пока к рукам не приберут. Еврея он мне приведет-таки, заключил он и попытался себе представить, как выглядит человек, у которого за спиной столько лет,— должно быть, дряхлый старец, глаза слезятся, сам весь усох и сморщился, и несет от него гнилью и тленом. С этими мыслями он заснул, а проснулся, разбуженный чьими-то голосами; он подумал, что вернулся сын, магистр, и привел еврея Агасфера, поэтому поднял голову, чтобы увидеть их, но оказалось, что пришла семья — верная жена Анна, старший сын Дитрих, а также обе дочери, Марта и Магдалена, глаза у всех скорбные, дочери теребят в руках платочки; пришли они, чтобы поддержать умирающего в его последний час, но ему-то недосуг тратить время на них, ибо предстоит еще важный разговор с очень нужным человеком.

Однако главный пастор Эпинус принадлежал к разряду людей, которые строго следуют долгу, не обращая внимания на то, что при этом они кому-то наступают на мозоли; здесь же надо приуготовить душу человеческую к дальней дороге, что является его прямой обязанностью и одновременно дружеской услугой семье. Поэтому он выпроводил жену с детьми из комнаты, подняв руки, словно большая черная птица махнула крыльями,— ведь таинство исповеди предписывает, чтобы священник оставался с грешником наедине. Затем он приблизился к постели, где тихий и бледный, весь в поту от страха лежал старый Эйцен, и проговорил голосом, казавшимся уже почти загробным: «Признаешь ли ты, Рейнхард Эйцен, что грешил, и раскаиваешься ли ты в грехах своих? Если так, то ответствуй: да!»

Эти слова хорошо знакомы старому Эйцену, поэтому они повергли его в еще больший ужас. Неужели и впрямь настал мой последний час, думает он. Как же мне уходить из этого мира, если я еще не готов? И где же мой Пауль с евреем, которого он обещал привести?

Хотя главный пастор Эпинус и не услышал от умирающего утвердительного ответа, но он почел за таковой печальный взгляд устремленных к потолку глаз, поэтому строго кашлянул и продолжил: «Желаешь ли ты, Рейнхард Эйцен, отпущения грехов именем Иисуса Христа? Если так, то ответствуй: да!»

Старому Эйцену послышались за дверью спорящие голоса. Ну вот, подумал он, я еще не отошел, а они уже чего-то не поделили; только все это суета и тщета. Но где же тот, кто должен принести мне надежный залог, почему не идет?

До сих пор с уст умирающего не слетело ни единого звука, не было даже слабого кивка головой, только веки устало дрогнули, но главный пастор Эпинус почел и это движение утвердительным ответом, поэтому задал свой третий, самый тяжелый и серьезный вопрос, от которого зависит, будет ли очищена душа сего грешника и понесут ли ее вскоре ангелы на небеса; торжественно прозвучали слова: «Веруешь ли ты, Рейнхард Эйцен, что Иисус Христос отпустил все твои грехи и что прощение, которое ты получишь от меня, есть прощение от Бога? Если так, то ответствуй: да!»

На сей раз, к радости Эпинуса, умирающий попытался что-то сказать, его губы разлепились, послышался невнятный шепот. Эпинус наклонился, придвинул ухо к самым губам старого Эйцена и услышал: «Где же еврей? Мне нужен еврей». Главному пастору никак не взять в толк, при чем тут еврей, почему вообще какой-то еврей затесался промеж христианином,

которого соборуют перед дальней дорогой, и его исповедником? Он решил, что умирающий, как это нередко с ними бывает, заговаривается и что душа его вот-вот отлетит, а потому поспешил с отпущением и последним причастием, быстро пробормотал absolvo te, словно его язык зачастил, грешным делом, наперегонки с самим дьяволом: «Силой повеления, данного Господом Его святой церкви, объявляю тебе, Рейнхард Эйцен: всемогущий Бог смилостивился над тобой и искуплением, что даровано Иисусом Христом через его крестные муки, и смерть, и воскресение, отпускает тебе все твои грехи. Аминь».

Быстро перекрестив умирающего, главный пастор тут же шагнул к двери, чтобы жена и дети могли засвидетельствовать, что глава семьи принял святое причастие, вкусил напоследок, перед дальней дорогой из этого мира, от плоти и крови Господней. Но едва он со скрипом отворил дверь, как в комнату ворвался магистр Пауль, таща за руку рыжего еврея и громко крича: «Вот он!» За ними влетели брат Дитрих, сестры Марта и Магдалена, а также жена Анна, все сильно возбуждены, наперебой твердят: дескать, стыд и позор и святотатство, нельзя тащить поганого еврея ко христианскому смертному ложу.

Душа бедного магистра Пауля разрывалась надвое. Ведь он исполнил свой сыновний долг, для чего обежал половину Гамбурга, только никого не нашел, пока приятель Лёйхтентрагер не отвел его в нужное место. А дома его встретил раздосадованный и разгневанный неподобающим визитером к смертному одру главный пастор Эпинус, тот самый Эпинус, которому адресовано рекомендательное письмо Лютера, до сих пор лежащее в кармане магистра Пауля, и который готов наорать на пришельцев. Пауль догадался, что ему самому отнюдь не во благо пойдет то благодеяние, которое он совершил ради отца, недаром же старший брат Дитрих расшумелся насчет дурацких выходок и глупых студенческих проделок; в душе Пауль проклял принцессу Трапезундскую, которая лежала дома у еврея, лениво потягиваясь, бесстыже оголив свои пышные груди, да еще отговаривала Агасфера идти к умирающему, из-за того что господин магистр хотел натравить на них толпу в Хельмштедте. Впрочем, ни злость на Маргрит, из-за которой потеряно столько драгоценного времени, ни умоляющие взгляды на главного пастора Эпинуса и брата Дитриха не помогут — придется все объяснять; но тут Пауль увидел, как отец поманил к себе еврея, однако тот продолжал стоять на месте, скрестив руки на груди, и, казалось, забыл об умирающем, как и все остальные, хотя вроде бы именно умирающий был здесь главной персоной.

Магистр Пауль начал свою речь, он говорил горячо, ибо дело шло не только о вечной жизни досточтимого папаши, но и об его собственной, вполне земной жизни, которая еще неизвестно как сложится. Он сказал, что отец сам пожелал увидеть еврея, такова его последняя воля, но и еврей-то не простой, каких полно на улицах, нет, это Агасфер, которого Иисус Христос проклял на вечные скитания за то, что тот прогнал Христа от дверей своего дома, когда Он, изнемогая под тяжестью креста, хотел немного передохнуть; Агасфер должен был засвидетельствовать отцу, что действительно знал Иисуса Христа, действительно разговаривал с Ним, и тем самым подтвердить — жизнь вечная не есть некий символ, в который надлежит просто верить, она существует взаправду, в чем можно убедиться на живом примере.

Услышав столь безумные речи от недавнего выпускника Виттенбергского университета, а теперь соискателя на пасторскую должность, господин Эпинус рванул последние остатки волос на голове и вскричал: «Глупости! То не Вечный жид, а вечная бесовская крамола!» После чего заговорил о том, что, видно, молодой магистр дал себя чем-то подкупить, ибо с каких пор понадобился лукавый иудей для доказательства существования жизни вечной, обетованной каждому правоверному христианину Иисусом Христом, а потом и святыми апостолами. Неужто этому учат в университете Мартин Лютер и Филипп Меланхтон? А может, подобные премудрости есть результат чрезмерного увлечения вином и пивом, которому, к сожалению, предаются господа студенты?

В голове новоиспеченного магистра все перемешалось: отец, лежащий на смертном одре и пытающийся жестом слабой руки подозвать к себе

еврея; красное, злое лицо Эпинуса, который после всего произошедшего вряд ли благосклонно отнесется к рекомендации Лютера; брат, сестры и мать, выпучившие глаза и размахивающие руками; и посреди этой неразберихи — жид, на лице которого блуждала такая спокойная улыбка, будто его тут ничего не касается, будто вовсе и не он главная причина скандала. Ему же, магистру Паулю, придется еще и защищать еврея, хотя бы ради самого себя, чтобы не стоять тут болваном и не выглядеть лжецом.

«Но позвольте, господин главный пастор,— сказал он,— мой учитель, досточтимый доктор Мартинус, может подтвердить — и на сей счет у меня есть письмо, адресованное лично господину главному пастору,— что учился я прилежно, вникал и в слово Божие, и в наставления пророков; тем не менее жид этот — самый что ни на есть подлинный и настоящий, а господину главному пастору следовало бы, вероятно, подумать, не является ли живой пример того, кто некогда обидел Иисуса Христа и был за это проклят, не является ли он сегодня, по прошествии полутора тысяч лет, столь же ценным свидетельством как изустное и письменное предание, а возможно, даже более ценным? Поэтому вместо того, чтобы бранить магистра Эйцена за его рвение, не лучше ли господину главному пастору подумать также о том, как использовать свидетельства Агасфера к вящей пользе в борьбе против тех, кто снова и снова сомневается в верности единственно истинного и благодатного вероучения?»

Подобные речи показались Эпинусу попросту безумием, если не того хуже — ересью, поэтому он, не выбирая выражений, резко возразил Паулю, указав ему на то, что наряду с прочими неблаговидностями он, дескать, записался, судя по всему, в друзья к иудеям, которые не только распяли в свое время Христа, но и до сих пор не признают Его учеников и последователей, возводят на них хулу, подвергают гонениям, а христианских младенцев режут, чтобы запекать их кровь в свои пасхальные опресноки; неужели магистру Паулю неизвестно, что говорил и писал его учитель доктор Мартинус о евреях?

Ему, магистру Паулусу, после его утренней проповеди, читанной в виттенбергской замковой церкви,— и такой упрек?! Пауль побледнел, его губы скривились, будто он отведал кислого вина. Он с удовольствием растолковал бы господину главному пастору, как относится к евреям, ко всему их роду и племени, если бы не Агасфер, который стоял рядом и уже навострил уши, и если бы не отец, которому Вечный жид еще понадобится. Поэтому ничего, кроме какого-то мычания, Паулю некоторое время выдавить из себя не удавалось, но потом наконец с его уст сорвалось: «Петух, петух, петух же трижды прокричал!» В поисках помощи он оглянулся по сторонам, ища глазами поддержки у Агасфера, который мог бы рассказать о Хельмштедтском чуде, однако тот продолжал молчать и не двигался с места.

Зато господин Эпинус еще больше возмутился поведением молодого магистра. «Петух! Петух! — язвительно повторил он.— Мы с вами не в курятнике, господин магистр, а в опочивальне добропорядочного христианина, у его смертного ложа; что же касается петуха, который в свое время кричал апостолу Петру, так его давно уж зарезали». Вспомнив при этих словах об умирающем, который оставался в кровати без поддержки телесной и духовной, он решил, что теперь самое время подкрепить его святым причастием, дабы закончить дело. Подойдя к обтянутой кожей и изукрашенной шкатулке, которую он принес с собой и поставил у постели, главный пастор открыл ее, вынул коробочку, из коробочки достал облатку, затем взял из той же шкатулки бутылочку с темным вином и серебряную чарку.

Тут умирающий зашевелился. Ко всеобщему ужасу, который не коснулся только Агасфера, старик жутко закряхтел, с трудом приподнялся, отчего глаза его едва не вылезли на лоб, и, опершись на локоть, сказал внятно, так что все его хорошо расслышали: «Хочу говорить с евреем».

У господина Эпинуса даже челюсть отвисла, ему подумалось, что без черта тут не обошлось, и захотелось вернуться в стародавние времена, когда бесов изгоняли большим шумом и святой молитвой; сыну Дитриху и сестрам Марте и Магдалене тоже стало не по себе, а супруга Анна и вовсе обмерла, будто жена библейского Лота, которая, несмотря на запрет, обернулась поглядеть на Содом и превратилась за это в соляной столб.

Теперь еврей спокойно поправил ермолку на своей рыжей голове, сощипнул ниточку с рукава кафтана и сказал умирающему: «У нас с вами еще уйма времени, господин Эйцен,— а повернувшись к Эпинусу, добавил: — Я помешал совершить обряд, так вы продолжайте: хоть Богу это ненадобно, зато человеку утешно».

Главный пастор метнул ядовитый взгляд на магистра, который привел сюда столь наглого еврея, потом такой же взгляд на самого еврея, который мало того, что гордыню свою показывает, но еще и богохульствует; впрочем, ничего другого ему, пастору, не осталось, как вершить обряд, а значит — делать то, что сказал еврей. Подняв пальцами облатку, Эпинус проговорил: «Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил его и сказал: «Приимите, ядите. Сие есть Тело Мое, за вас ломимое».

С этими словами он вдвинул тоненькую облатку меж дрожащих губ, чтобы умирающему было легче ее проглотить; Агасферу же, глядя на них, вспомнился Равви и то, как Он привлек его к себе на грудь и прошептал, что все-таки любовь сильнее меча, как мерцала на проникшем сквозь открытое окно ночном ветру лампада, отбрасывая то свет, то тень на лица апостолов, а среди них и на Иуду Искариота; все это было так давно, и вот чем обернулось, подумал он,— полным абсурдом.

«И взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все,— проговорил главный пастор Эпинус, отливая из бутылочки немного вина,— ибо сие есть Кровь Моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов». Он поднес чарку к губам старика, но вино потекло по подбородку на постель, окрашивая одеяло так, будто пролилась настоящая кровь. Затем господин Эпинус начал читать «Отче наш», магистр Паулус подхватил молитву, за ним последовали остальные члены семьи. И вот дело вроде было сделано, смерть может приходить. Но вместо смерти к постели старого Эйцена подошел еврей, который теперь кажется на целую голову выше, чем прежде, а его кафтан выглядит одеянием священника. Возложив руку на умирающего, как это некогда делал Равви, он сказал: «Вы хотели поговорить со мной, господин Эйцен; я пришел и готов ответить на ваши вопросы».

Прочие присутствующие также придвинулись к кровати, прежде всего магистр Паулус, который считал, что у него на еврея больше прав, чем у других, однако подошли и брат Дитрих, сестры Марта с Магдаленой, а также мать Анна, даже сам главный пастор Эпинус не остался в стороне, ибо человеком движет не только корыстолюбие, но и любопытство. Впрочем, умирающему сейчас ни до жены, ни до детей, ни до уважаемого господина главного пастора; старый Эйцен, не сводя взгляда с загадочного еврея, поскольку Агасфер был совсем не похож на усохшего, сморщенного старца со слезящимися глазами, каким он себе его представлял, спросил: «Правда ли, что вы и есть тот самый вечный странник, который видел собственными глазами Господа нашего Иисуса Христа живым и разговаривал с Ним?»

Еврей кивнул: «А кто ж еще? Разве я пришел бы к вам, если бы не был тем, кто есть? Не сойти мне с этого места, господин Эйцен, если я взаправду не разговаривал с Равви, когда он поднимался с крестом на Голгофу и остановился у моих дверей».

Такой ответ показался старому Эйцену вполне убедительным и вызывающим доверие, поэтому он откровенно сказал: «Я боюсь небытия. Прошу вас, господин Агасфер, объясните мне, существует ли действительно бессмертная душа, через какое отверстие она покидает человеческое тело и куда девается потом?»

Это уж чересчур, подумал господин Эпинус, а потому закричал: «Вы не должны изводить себя подобными страхами. Вам дано святое причастие, стало быть, все улажено и устроено надлежащим образом».

Старик закрыл глаза, боль в груди затрудняла дыхание, лишь через силу он сумел вымолвить: «Вы мне не ответили на мой вопрос, господин Агасфер».

Еврей усмехнулся. «Осиротевшие души встречаются мне повсюду, они парят над землею и меж небесами, прозрачные, как парок изо рта в зимний день, затерянные среди ветров бесконечности, поэтому я спрашиваю себя: не был ли бы Господь милосерднее, если бы позволил им вовсе исчезнуть?»

Эти слова вконец расстроили старика, он горько заплакал. Но через некоторое время, шмыгая носом, все же спросил: «И спасения во Христе тоже нет»?

Еврей помедлил. Он снова вспомнил Равви и то, как он, собравшись с силами, пошел дальше, сгибаясь под тяжестью креста. «Равви любил людей»,— сказал он.

Тут умирающему почудилось, будто обруч, стискивающий сердце, лопнул, он громко застонал, глубоко и счастливо вздохнул, последний раз, после чего опытная рука еврея закрыла его веки.

Никто не знал, сколько продолжалось общее молчание; наконец главный пастор Эпинус опомнился и принялся громко читать молитву: «О Агнец Божий, который взял на себя грех мира, помилуй нас. Услышь нас, Христе, Господи, помилуй! Христос, помилуй!» Анна Эйцен, дочери Марта и Магдалена заплакали, громко причитая, сын Дитрих стал прикидывать, как бы поскорее разослать всем торговым партнерам извещение о том, что коммерческий дом Рейнхард фон Эйцен, торговля сукном и шерстью, переходит теперь под его начало, оставаясь верным своим обязательствам, хотя тут, продолжал он размышлять, без Божьей помощи не обойтись, ибо цены постоянно растут, долю братца-магистра и сестер Магдалены с Мартой придется выплатить, а не поможет Бог, надо будет обращаться за кредитом к евреям.

При этой мысли взгляд его упал на еврея, к которому обращено было последнее слово отца; еврей стоял немного растерянный, величавости в нем никакой больше не было, самый обычный жид в засаленном кафтане, и только, поэтому Дитрих схватил его за шиворот и вытолкнул из комнаты. Немного погодя все скорбящее семейство проводило господина Эпинуса по лестнице через горницу до самых наружных дверей, причем магистр Паулус был особенно любезен с главным пастором; покойник остался один лежать со сложенными на груди руками и таким умиротворенным выражением лица, будто теперь ему известно, через какое отверстие бренного тела отлетает бессмертная душа и куда она потом девается.

Глава пятнадцатая

Где профессору Лёйхтентрагеру разобъясняют, что душа является всего лишь функцией нервной системы, а также рассказывается о том, как благочестивые варшавские евреи перестали верить в Бога и как Агасфер сжег себя.

Господину профессору
Йоханаану Лёйхтентрагеру
Еврейский университет
Иерусалим
Израиль

29 марта 1980 г.

Глубокоуважаемый коллега!

Причиной моего второго письма, которое я отправляю всего лишь спустя несколько дней после моего письма от 17-го числа сего месяца, послужило опасение, что я до сих пор не изложил или изложил недостаточно ясно мою мысль, имеющую непосредственное отношение к теме Агасфера. Мои представления на этот счет разделяются научным коллективом нашего института, который принял на себя обязательство подготовить к 1 мая, Международному празднику трудящихся, материал к публикации, которая разоблачила бы сущность мифа о переселении душ.

Разумеется, напрашивается возможность использовать в качестве конкретного примера подобного мифа образ Агасфера, который якобы появляется в различные исторические периоды в разных местах, причем одна и та же проклятая душа каждый раз обретает новое, хотя и схожее, воплощение, и я указывал на такую возможность еще в разделе «К вопросу о Вечном жиде» из моей небезызвестной Вам работы «Иудео-христианские мифы в свете современного естествознания и исторической науки»; дальнейшие размышления над этой темой, связанные с нашей перепиской, показали мне важность затронутого вопроса, поэтому мне представилось необходимым подробнее поделиться с Вами моими соображениями, тем более что подобные идеи могли родиться и у Вас в контексте темы Агасфера.

Думается, Вы не станете возражать, что переселение душ предполагает наличие самой души. Но существует ли оная у человека вообще? Отсюда следует логическое продолжение этого вопроса: есть ли жизнь после смерти?

Только не говорите мне, что возникла целая наука о душе, психология, и о душевных заболеваниях, психиатрия, с многочисленными специалистами, психологами, психиатрами, психоаналитиками, психотерапевтами, а также с соответствующими кафедрами, клиниками, институтами, научными журналами, лекарственными препаратами и т. д. и т. п.; короче, если все они ею занимаются, стало быть — душа есть. Хорошо, допустим. Но подобная разновидность души может быть признана, только исходя из единства души и тела; какой-то отдельной души, которая вела бы свое обособленное существование во время физической жизни ее носителя (человека) или после его смерти, нет, что решительно подтверждается всеми естественнонаучными исследованиями по данной проблеме; более того, обозначаемое нами душой, или психеей, есть не что иное, как функция нервной системы человека и его головного мозга, которые отражают объективные процессы, происходящие в природе и обществе, воздействующие на органы чувств человека и приводящие тем самым в действие нервные рецепторы. Многие из этих процессов, отражающихся в сознании и подсознании человека, в его мыслях, чувствах, мечтах, уже изучены и нашли свое объяснение, другие остались непонятыми, однако получение окончательной ясности по еще нерешенным проблемам — это лишь вопрос времени. Тем не менее уже сейчас с абсолютной достоверностью можно утверждать, что так называемая душа прекращает свое существование в тот самый момент, когда прекращается физическая жизнедеятельность головного мозга, отчего и врачи фиксируют наступление клинической смерти именно в тот миг, когда угасает последний электрический импульс в коре головного мозга.

Все это прописные истины, и я знаю, уважаемый профессор Лёйхтентрагер, что ломлюсь в открытую дверь. Однако проблема Агасфера заставляет меня повторить основные тезисы, сформулировав их кратко и точно, ибо Вы продолжаете считать Агасфера существующим реально, хотя до сих пор отсутствует сколь-нибудь приемлемое научное объяснение подобного феномена. Переселение душ таким объяснением служить не может, так как нет самой парящей в некоем пространстве души, которая на протяжении многих веков переходила от одной инкарнации Агасфера к другой. На этом моменте я просил бы Вас остановиться особо, здесь затрагивается кардинальный вопрос, поэтому меня очень интересует Ваш ответ на него.

Я вполне готов согласиться с Вами, что можно сокрушаться о несовершенстве человеческой души, которая не способна существовать вне своей телесной оболочки. Конечно, прискорбно, что столь тонкий инструмент, позволяющий нам испытывать радость и страдание, любовь и ненависть, может прекратить свою жизнедеятельность буквально в один миг, однако ученый, призванный служить прежде всего объективной истине, обязан смириться с этим фактом, равно как и с тем обстоятельством, что все мы являемся лишь комочками — пускай даже высокоорганизованной — материи, проделавшей очень длительный, но вполне естественный путь своего развития.

Не следует забывать и о том, что не имеющая места в реальности якобы бессмертная душа служила во все времена апробированным средством, чтобы утешить человека надеждой на лучшую судьбу в иных мирах за пот и кровь,

ставшие тяжким уделом земной жизни. Недаром еврейский поэт Генрих Гейне иронически заметил:

Сказку о небе пускают в ход
ради земного порядка,
чтоб убаюкать несчастный народ
этою сказкой сладкой.

Карл Маркс справедливо указывает в своей критике гегелевской философии права: «Религиозное убожество — это выражение действительного убожества и протест против него. Религия — это вздох угнетенной твари, сердце бессердечного мира, подобно тому как она — дух бездушных порядков. Религия есть опиум народа».

Таковы принципы и богатый практический опыт, которыми руководствуется коллектив нашего института, поэтому феномен Агасфера представляется нам в отличие от Вас лишь комплексом, имеющим ряд недостаточно изученных компонентов, однако с Вашей любезной помощью, дорогой коллега, мы надеемся внести в эту проблему должную ясность.

С сердечным приветом,

преданный Вам
(Prof. Dr. Dr. h. c.) Зигфрид Байфус
Институт научного атеизма
Берлин, столица ГДР

Господину профессору
Dr. Dr. h. c. Зигфриду Байфусу
Институт научного атеизма
Беренштрассе, 39а
108 Берлин
Германская Демократическая Республика

2 апреля 1980 г.

Дорогой коллега!

Ваше письмо от 14 марта пришло ко мне одновременно с дополнением от 24 марта, из чего можно заключить, что нынешние пути, по которым идет почта, особенно между Востоком и Западом, воистину неисповедимы. Однако предмет нашей переписки носит такой характер, что даже самый бдительный цензор вряд ли узрит в ней что-либо предосудительное, поэтому нам остается лишь терпеливо ждать и радоваться тому, что письма рано или поздно вообще доходят до адресата.

Признаться, я не вижу особенного смысла в разборе каждого Вашего аргумента по отдельности, чтобы попытаться опровергнуть их там, где они кажутся мне сомнительными. Во-первых, многое из сказанного Вами находит мое полное одобрение, а во-вторых, мне не хотелось бы отвлекаться на докучные диспуты по вопросам, которые имеют для меня лишь второстепенное значение. По-моему, не так уж существенно, были ли Учитель праведности и Вождь общины, персонажи из рукописи 9 Q Res Свитков Мертвого моря, мошенниками и параноиками, для меня важен сам документальный факт появления Агасфера в тексте 9 Q Res. Ваши рассуждения о природе человеческой души, сколь ценными ни казались бы они мне или кому-либо другому, также не являются аргументом в пользу реального существования или несуществования Вечного жида; ни я, ни кто-нибудь другой никогда не объявляли Агасфера живым примером переселения душ или чем-либо подобным.

В Ваших письмах, дорогой коллега, просматривается нечто такое, что могло бы вызвать некоторые опасения, а именно начинающаяся фиксация на феномене Агасфера, который Вы стремитесь объяснить рационально, руководствуясь мерками своего разума, хотя этот феномен явно не втискивается в прокрустово ложе Вашего прежнего опыта. Позвольте мне небольшое критическое замечание: метод, которым Вы при этом пользуетесь, в сущности, ненаучен, он напоминает мне ватиканского ученого, не желавшего признавать спутники Юпитера, потому что они не вписываются в аристотелевскую картину мироздания. Агасфер существует, отрицать его реальность невозможно; любые вопросы, связанные с его

существованием, как и любые выводы из сего факта, могут стать предметом особого рассмотрения, однако сначала необходимо признать наличие Агасфера, доказательства коего я уже представил и еще собираюсь представить.

В этой связи мне и раньше доводилось рассказывать Вам о появлении Вечного жида в последние дни восстания в Варшавском гетто; если прежде я снабжал Вас разного рода документами, например, свитком 9 Q Res, сообщением о процессе против советника Юлиана Отступника или свидетельскими показаниями других людей, то в данном случае очевидцем, надеюсь, пользующимся Вашим доверием, послужил я сам. Я также пребывал в Варшавском гетто, куда загнали более 350 000 человек, и видел, как там мучили и уничтожали несчастных. Поверьте мне, дорогой коллега, ни один дьявол не способен выдумать столь чудовищных методов достижения собственной цели; это было дело рук человеческих, дело тех, кто были, простите меня за это напоминание, Вашими соотечественниками.

Еще в ту пору, но и позднее, я нередко задавался вопросом, почему сопротивление не началось раньше, в первые месяцы после создания гетто, и объяснял это характером религиозности евреев. Они просто не могли себе представить, что такие же существа, схожие с ними и телом, и образом жизни, могли поставить своей целью их тотальное истребление, умерщвление голодом, а там, где, несмотря на тиф и холеру, дело продвигалось недостаточно быстро, прямыми убийствами, отправкой в газовые камеры. Столь же невозможно было принять мысль, что Бог, их Бог, может попустительствовать этому. Потомки народа, который выдумал Бога, его Сына Спасителя и соответствующую этику, надеялись на спасение едва ли не до самого конца.

Но не до конца. Ибо в конце наступило отчаяние. Пришли вопросы. В чем заключался их грех, за который Бог карает так жестоко? Они хранили Ему верность, даже когда Он отвернулся от них; они исполняли его заповеди, даже когда Он мучил их; они любили его, даже когда Он сделал их посмешищем и позорищем. Да есть ли на свете такой грех, которому соразмерна подобная кара? И когда кончится наказание? Сколько еще будет Бог терпеть их мучителей? Разве у них, оскорбленных и униженных, измученных и истерзанных, обессиливших и умирающих, не было права узнать наконец, где же должен быть предел их терпению?

При таких обстоятельствах появление Агасфера в Варшавском гетто показалось мне чем-то большим, чем поэтическая необходимость. От него и впрямь исходило удивительное воздействие: там, куда он приходил, мужество не оставляло даже умирающих; казалось, будто благодаря ему они знают, что не исчезнут бесследно, что сохранится нечто существенное, что их страдания и смерть имеют какой-то смысл, о котором теперь они лишь смутно догадываются и который будет понятен только следующим поколениям.

В тот день Агасфер и я ходили по тем немногим улицам, из которых еще состояло гетто, ибо оно все время сужалось и те, кто еще был жив, были вынуждены тесниться на все меньшем пространстве. Я испытывал странное чувство, возникающее, пожалуй, у каждого человека, который видит у своих ног детей, умирающих от голода, маленькие скелетики, закутанные в лохмотья, и вдруг понимает, что некому даже похоронить этих детей. Мы оба сознавали, что обязаны навсегда запомнить как можно больше из увиденного, однако Вас, дорогой коллега, я избавлю от описания подобных картин; при желании Вы можете обратиться к архивам, куда Вы, несомненно, имеете доступ — ведь немцы всегда любили фотографировать, а гетто давало предостаточное количество сюжетов для их объективов.

— Да,— сказал он.— Мы начинаем.

Я знал, что попытка будет тщетной, но Агасфер был бодр, почти весел, ибо в отличие от меня он верил в изменяемость мира.

— Ножичек у тебя еще сохранился? — спросил он.

Это был старинный ножичек с рукояткой из резного коралла, изображавшей голую красавицу. Я вынул ножичек из кармана, протянул собеседнику.

— Подари мне его,— сказал он мне.— Этот ножичек мне многое напоминает.

Я отдал ножичек Агасферу, и он отвел меня к дому, откуда должна была начаться атака на отряд СС. Видимо, благодаря своей внезапности атака оказа-

лась успешной; те, кого раньше постоянно преследовали, впервые увидели, как бегут их преследователи. И вообще, все как бы совершенно преобразилось: сражающиеся евреи были совсем не такими, какими их привыкли здесь видеть, и, даже когда их настигала смерть, они выглядели совершенно иначе, в них не было того вечного страдания, вечного поражения, символом чего стал тот самый ребе Йешуа, распятый некогда на кресте.

Несколько недель держались мы против частей Дирлевангера и приданных ему соединений. Дом, который служил нашим укреплением, оказался разрушенным на три четверти, почти все его защитники, засевшие этажом выше нас, были убиты. Патронов у нас не осталось, только бутылки с бензином. За то время, пока рушился дом и один за другим погибали от пуль или гранатных осколков наши товарищи, Агасфер был очень молчалив, но вот теперь он заговорил с Богом. У него было своеобразное отношение к Богу, против которого он бунтовал и которого он любил; он пытался объясниться с Богом, но тот не отвечал.

Вместо Бога пришли эсэсовцы. Агасфер сказал мне:

— Уходи через канализацию, я тебя прикрою.

Он забрал оставшиеся три бутылки бензина и пополз по куче щебня к окну навстречу наступавшим.

Две зажженные бутылки он швырнул в эсэсовцев. Из последней он облил бензином себя и кинулся горящим факелом на разъяренную ораву.

Я встретил его снова в Иерусалиме у его обувного магазина на Виа Долороза, который он признал своим прежним частным владением и заново отремонтировал после того, как эта часть города опять стала доступной для евреев в результате Шестидневной войны. Старинный ножичек у него сохранился, Агасфер показал мне его и спросил, хочу ли я получить эту вещицу назад. Я ответил, что он может оставить ножичек себе на память, я знаю одну антикварную мастерскую, где мне сделают точно такой же, со всеми признаками старины.

Как всегда, с наилучшими пожеланиями,

Ваш
Йоханаан Лёйхтентрагер
Еврейский университет
Иерусалим

Глава шестнадцатая

В которой магистр Паулус разрабатывает богоугодный план по обращению закоренелых иудеев в христианскую веру, а также говорится о том, сколь важную роль в любви играет воображение.

Доктор Мартинус Лютер сказал однажды: брачные узы установлены Господом нам во благо, иначе родители перестали бы печься о своих чадах, домашнее хозяйство пребывало бы в упадке, никто не уважал бы ни полицию, ни светские власти, люди пренебрегали бы религией, то есть все пошло бы прахом и не было бы в мире никакого порядка.

Это изречение не раз приходило на ум магистру Паулусу фон Эйцену, равно как и прочие подобные изречения, когда он вспоминал о девице Барбаре Штедер, которая верно и преданно ждала его; да и приданое не помешает, назначенное дочери ее отцом, который был посредником по морским торговым перевозкам, а кроме того, сам поставлял товары, ибо доля, причитающаяся Паулю в наследство от покойного отца, пока что не может быть изъята из капитала семейной фирмы, а надежды на господина Эпинуса не сбывались, слишком уж испугал главного пастора еврей, пришедший к отцовскому смертному ложу; иногда магистру Паулусу позволяют замещать проповедника в церкви Св. Якова или в церкви Марии

Магдалины, но от разовых проповедей нет ни прибытка для кошелька, ни утешения для души с ее высокими устремлениями.

«Ах, Ханс,— сказал он своему приятелю Лёйхтентрагеру, когда они сидели однажды вечером в трактире «Золотой якорь»,— девица Барбара краснеет и бледнеет, завидев меня, она пошла бы за меня и ждет, чтобы я сказал свое слово ее матушке и батюшке, денег у нее тоже хватает, у отца ее тысячные капиталы, долгов нет, он участвует несколькими кораблями в торговле с Россией, но чем больше я думаю, что мне каждую ночь придется ложиться с ней, ласкать ее, спать с ней, тем чаще мне кажется, что я не смогу себя вести как настоящий супруг и мужчина, ибо все мои помыслы и желания обращены к другой женщине, которую я навсегда потерял из-за проклятого еврея».

«Понимаю, понимаю,— сказал приятель, поигрывая ножичком; он поставил ножичек острием на столешницу, прижал сверху кончик рукоятки указательным пальцем, женщина на рукоятке начала вращаться, у магистра даже в глазах потемнело.— Только разве девица Барбара,— продолжил Лёйхтентрагер,— не ублажит тебя не хуже любой другой? Ведь Бог снабдил для этого всех женщин, высоких и коротышек, худых и толстых, морщинистых и гладкокожих, одним и тем же устройством».

«Видишь ли, Ханс,— сказал Эйцен, про себя в очередной раз удивившись, что Лёйхтентрагер до сих пор не уехал из Гамбурга, а занимался здесь какими-то неизвестными делами,— ведь, говоря по чести, я сделал уже одну попытку, но барышня лежала как бревно и только стонала, а ягодицы так стиснула, будто я ей туда чертей засунуть хочу; у меня на нее и так-то аппетита маловато, а тут он и вовсе прошел, слишком уж у нее нос острый, губы тонкие, и плоская она как доска там, где у других женщин есть за что ухватиться. Пришлось сказать родителям, что надо еще повременить; дескать, отец недавно умер и я, при всей моей любви к девице Барбаре, очень скорблю о моем папаше».

Лёйхтентрагер задумчиво почесал горб. «Пора тебе все-таки семьей обзавестись, Пауль,— сказал он.— На все должен быть порядок, а пастор без жены, как пастух без посоха, ему самого главного недостает; ведь ты же призван вершить большие дела сначала в родном городе, затем пойдешь на повышение, следовательно, надо подумать, как тебе помочь с девицей Барбарой».

Такие пророчества укрепляют дух и окрыляют душу, ведь Эйцен не забыл, как приятель предсказал ему, что на виттенбергском экзамене будут спрашивать про ангелов, так оно и вышло. Поэтому он сразу согласился, когда Лёйхтентрагер предложил устроить совместную прогулку по главной улице и по альстерской набережной; тогда он, Лёйхтентрагер, поглядит на барышню Барбару и подумает, как повлиять на нее, исключительно для того, чтобы помочь другу, и, возможно, добавил Лёйхтентрагер, он прихватит с собою одну даму, которая, будучи женщиной опытной и ловкой, сумеет раззадорить барышню.

Сладкая догадка пронеслась в голове Эйцена, его бросило в жар, однако он не решился даже мечтать о таком счастье, поэтому тотчас прогнал желанный образ из своего сердца, а на следующий день отправился в дом Штедеров, чтобы передать девице Барбаре приглашение на прогулку, которое та приняла с нескрываемой радостью, тем более что Эйцен в самых лестных выражениях описал ей своего друга, рассказал, какой тот умный, состоятельный и даже обаятельный, особенно благодаря своим необыкновенным угольчатым бровям и подстриженной бородке; не скрыл он ни горба, ни хромоты, наоборот, намекнул, что, возможно, именно эти изъяны сообщают господину Лёйхтентрагеру какую-то особую притягательную силу, весьма воздействующую на дам, как это было, например, с двумя барышнями из трех в Магдебурге, Лизбет и Юттой, дочерями тамошнего соборного проповедника; про себя же Эйцен подумал, что получилось бы очень забавное хитросплетение, если б и девица Барбара не осталась равнодушной к его другу.

В воскресенье выдалась редкая для Гамбурга хорошая погода, синим

куполом стояло ясное небо над мозаикой крыш и над шпилями церковных башен; накануне прошел сильный дождь, смывший всю уличную грязь в Эльбу, а альстерские воды успели самоочиститься и почти освободились от дурного запаха. Девица Барбара надела свой лучший наряд, темно-зеленый, придающий некую пикантность бледности ее лица, пуховая оторочка искусно скрывала плоскости спереди и сзади, все это дополнялось роскошным чепцом и золотыми украшениями из материнской шкатулки. Эйценовское же платье хоть и было темным, как то подобает церковнослужителю, зато пошито из наилучшего сукна и скроено отменно, а магистерская шляпа поневоле привлекала к себе уважительное внимание прохожих, поэтому мать Барбары, госпожа Штедер, всплеснула руками и не удержалась от замечания о том, какая, дескать, получается из ее дочери и магистра Пауля чудесная пара, пусть даже у него пока нет должности в какой-нибудь большой здешней церкви, но за этим дело не станет, ибо слово ее супруга, маклера и крупного поставщика, имеет вес в городском совете.

И вот они уже чинно вышагивают по улице, не зная, что сказать друг другу,— девица Барбара от застенчивости и робости, а Эйцен оттого, что в глубине души вновь чувствует подчиненность каким-то чуждым силам. Перейдя через мост, ведущий к церкви Святого Духа, Эйцен увидел наконец Лёйхтентрагера, причем не одного, отчего господин магистр застыл будто вкопанный.

Лёйхтентрагер в красной шапке с пером, на боку серебряная шпага, чулки и накидка — тоже красные, подошел к Барбаре, отвесил поклон, взял ее руку, поцеловал на испанский манер и сказал, что счастлив познакомиться с барышней, ибо много слышал о ней — и всегда только самое наилучшее — от господина магистра, не устававшего превозносить, дескать, ее красоту и прочие достоинства, которыми ее столь щедро одарила природа.

У девицы Барбары мурашки так и забегали, одновременно сердечко ее жутко заколотилось; никогда еще не встречался ей мужчина, при первых же словах которого она почувствовала такой жар в крови. Пауль же продолжал стоять будто столб, у него отнялся язык при виде Маргрит или принцессы Трапезундской, разодетой словно герцогиня, в одной руке сумочка золотого шитья, в другой — шелковый платочек, рядом с нею еврей, только и его не узнать: одет по последней английской моде, рукава с прорезями, рыжая борода красиво подстрижена.

«Сэр Агасфер,— представил его Лёйхтентрагер девице Барбаре.— Сэр Агасфер и леди Маргрит».

«Сэр Агасфер и леди Маргрит»,— удивился Эйцен, а поскольку леди выглядит совсем по-другому, нежели Барбара — сложена иначе, рот — сплошной соблазн, блеск темных глаз обещает такие блаженства, о которых подумать страшно,— его охватила ярость при одной лишь мысли о том, что заштатный магистр не идет ни в какое сравнение с евреем, внезапно разбогатевшим и ставшим английским сэром; дальше Эйцен принялся раздумывать, как бы завершить дело, которое не получилось в Хельмштедте, то есть устранить еврея.

После того как сэр Агасфер и леди Маргрит, с одной стороны, а барышня Штедер — с другой, обменялись поклонами, книксенами и прочими этикетными учтивостями, Лёйхтентрагер, положив левую руку на эфес шпаги, а правой взяв под локоток вконец сомлевшую барышню, повел ее по Райхештрассе, не переставая расточать комплименты; сэр и леди пошли за ними, бедный же Эйцен едва успел присоединиться к обеим парам. Впрочем, Лёйхтентрагер отлично знал свое дело; ловко поддерживая локоток, он твердил Барбаре о том, как добродетелен, благочестив ее Пауль, дескать, нынешнему магистру уготована замечательная церковная карьера и, возможно, он даже станет епископом; однако, чтобы барышня не подумала, что речь идет только об ее суженом, Лёйхтентрагер нежно прижимался к ее плечику своим горбом, отчего она так и таяла; потом, сменив тему, Лёйхтентрагер поведал ей о сэре Агасфере и его леди; сэр, дескать, хоть и еврей, но вышел из богатой и почтенной семьи, а здесь он снял для себя и своей леди на то время, которое понадобится для гамбургских дел, целый

дом, обставил его шикарной мебелью, застелил мягкими дорогими коврами; Лёйхтентрагер, мол, пользуясь расположением и благосклонностью сэра, договорился с ним, чтобы тот пригласил к себе барышню Штедер и магистра Пауля, дабы поужинать вместе, отведать разных яств и вин, а потом поразвлечься.

Магистр Пауль, запыхавшись от быстрого шага, который понадобился, чтобы нагнать обе пары, как раз услышал последние слова Лёйхтентрагера и увидел, с каким воодушевлением отнеслась Барбара к этому предложению, а потому поспешил со всей учтивостью поблагодарить за любезное приглашение, принял его от имени барышни Штедер и своего собственного; себя же с тайной опаской спросил, что за игрища затеются вечером, если еврей будет в них участником, а Ханс — церемониймейстером, тем не менее сердце его сладко заныло от одной лишь мысли о Маргрит — он сможет побыть сегодня с нею и даже надеяться на определенную близость. Кое-какие мелочи упрочивали его надежды: леди то бросала на него многозначительный взгляд, то слегка кивала ему, а однажды так удачно обронила платочек, что именно Пауль сумел подхватить и подать его, сэр даже не успел пошевелиться; как бы ни были притягательны знатность и богатство, как бы ни были соблазнительны роскошные платья и украшения, подумал Пауль, но, видно, осталось еще кое-что с тех пор, когда Маргрит вытряхивала блох из моей постели, да и самого долговечного жида не хватит, чтобы утешить все плотские желания такой женщины, как эта.

Еврей же поглядывал на происходящее, на все заигрывания и переглядки с большим хладнокровием, будто он действительно был настоящим джентльменом, которого не касается суета и возня плебеев; он слегка оживился лишь тогда, когда магистр Пауль напомнил ему о его встрече с живым Христом и о Хельмштедтском чуде.

«А чего, собственно, вы добиваетесь, господин магистр? — спросил еврей.— Может, вы хотите, чтобы я продолжил мои скитания и страдания, как большинство моих соплеменников?»

Эйцен принялся горячо отрицать подобное предположение; он, дескать, не раз говорил в своих проповедях о евреях и о приносимой ими пользе; впрочем, если бы все евреи были столь же благородны и обаятельны, как сэр Агасфер, то отношение к ним в Германии складывалось бы совсем иначе, в городах и на торговых дорогах им предоставляли бы защиту, а не нападали бы, чтобы отобрать нажитое ростовщичеством, не таскали бы за бороды и не подвергали бы прочим издевательствам. Хотя сам сэр Агасфер, добавил Пауль, некогда прогнал Иисуса Христа от дверей своего дома, но с тех пор минуло полторы тысячи лет, даже больше; сейчас же можно воочию удостовериться, что сэр Агасфер за время своих долгих скитаний переменился к лучшему, искренне раскаялся в совершенном проступке и даже готов, как это уже было сделано в Хельмштедте, выступить живым очевидцем со свидетельством о муках, которые принял на Себя Иисус Христос ради искупления наших грехов.

Сэр Агасфер внимательно посмотрел на магистра, который ораторствовал с большим жаром, вышагивая рядом с леди; Эйцен же, немного смутившись при мысли о том, что еврей догадался, куда он клонит, поперхнулся, долго и громко откашливался, но потом решил, что надо ковать железо, пока горячо, а поэтому продолжил: «Когда я изучал в Виттенберге теологию, мой учитель Меланхтон и досточтимый доктор Мартинус затеяли диспут относительно вашей истории, сэр Агасфер; по мнению господина Филиппа Меланхтона, коль скоро вы являлись очевидцем того, как Иисус Христос восходил на Голгофу с крестом на плечах, вы могли бы рассеять сомнения в том, что он является подлинным Мессией, и, следовательно, помочь обратить других иудеев в единственно истинную веру; господин же Лютер все оспаривал и утверждал, что евреи испорченны по самой своей природе, а потому неисправимы и не могут быть наставлены на путь истинный».

Лёйхтентрагер хотя и продолжал любезничать с барышней Штедер, однако был занят ею отнюдь не настолько, чтобы совсем не обращать внимания на речи своего приятеля; ухмыляясь, Лёйхтентрагер подтвердил,

что именно так все и было, он собственными ушами слышал перебранку обоих ученых мужей за обеденным столом; впрочем, в конце концов магистр Меланхтон уступил и замолчал, не то доктора Лютера с его холерическим темпераментом хватил бы удар.

Ободренный то ли поддержкой Лёйхтентрагера, то ли близостью леди Маргрит, не переставшей приятно волновать Пауля Эйцена, он внезапно почувствовал необычайный подъем; редко мысли Пауля были столь ясны и прозорливы: ведь, воспользовавшись идеей Меланхтона, можно погубить Агасфера так или эдак; если этот сэр, или как он там себя называет, выступит перед большой иудейской общиной, чтобы засвидетельствовать истинность Мессии, то сделает их всех своими врагами, которые его разорят; если же заявит, что Иисус Христос не был истинным Мессией и Сыном Божьим, искупившим своими страданиями все наши грехи, то городской совет Гамбурга или же герцог Готторпский, в зависимости от места, где состоится диспут, разоблачат мошенника и лжесвидетеля, с позором изгонят его, а то и утопят или же сожгут, после чего у Маргрит не останется иной защиты и опоры, кроме него, магистра Паулуса.

Правда, сейчас он пока не располагает ни подобающей должностью, ни необходимым авторитетом, чтобы устроить сей spectaculum, а господин главный пастор Эпинус, разозленный на еврея, да и на самого Пауля, наверняка ничем не поможет, тем не менее еще не вечер, чего нет сегодня, может найтись завтра, поэтому Пауль решил не отступать от своего замысла и вновь обратился к еврею: «Можно ли положиться на вас, господин Агасфер, можно ли рассчитывать на вашу готовность засвидетельствовать здесь, как вы уже сделали это в Хельмштедте перед принцессой Трапезундской и всем народом, что вы собственными глазами видели живого Иисуса Христа и подтверждаете, что он и был тем, кем был?»

Тут леди Маргрит, которой, видимо, не хотелось сегодня слышать ни о какой принцессе Трапезундской, сердито промолвила: «Опомнитесь, господин магистр! Вы же знаете, что сэр Агасфер прибыл сюда по своим делам и не занимается религией, которую каждый может выбирать по собственному усмотрению, будь то иудей или христианин».

Подобное утверждение решительно противоречит всему, чему научился Эйцен у доктора Мартинуса и иных университетских преподавателей, поэтому он не преминул возразить: «Упаси Бог, леди, чтобы каждый начал веровать по собственному усмотрению, сам бы решал, крестить ему детей или нет и как принимать святое причастие; религия — это дело властей, от нее зависит всеобщий порядок; иначе среди нас кишмя кишели бы разные сумасброды, еретики и бунтовщики, а с церковью и законом было бы покончено; есть только одна истина, и доктор Мартин Лютер написал о ней в своем катехизисе, чтобы она стала доступной даже женщинам, что делает сей труд особенно ценным; если же сэр Агасфер выступит перед иудейской общиной и расскажет о своей встрече с Иисусом Христом, который был обетованным Спасителем, или Мессией, то иудеям больше не понадобится ждать своего, другого Мессию и они с чистой совестью смогут обратиться в единственно истинную, христианскую веру».

Жар, с которым Эйцен отстаивал свой план, заставил леди Маргрит подумать, что вряд ли магистр так уж близко к сердцу принимает обращение иудеев в христианскую веру, за этой горячностью скрывается какой-то умысел, только непонятно какой; она уже приготовилась дать магистру отпор, однако Агасфер, чтобы успокоить ее, тронул за руку, а господина Эйцена поблагодарил за столь большую заботу о духовном благополучии своих единоверцев и сказал, что поразмыслит над его предложением: дескать, о Равви можно поведать многое, недаром четверо евангелистов частенько расходятся в своих свидетельствах; вслед за этим он пригласил гостей в дом, к которому, как оказалось, они и подошли.

Семьи магистра Эйцена или барышни Штедер отнюдь не прозябали в бедности, ибо торговля сукном и шерстью, а также коммерческое судоходство позволяют иметь определенный достаток, поэтому в доме Эйценов или Штедеров жили далеко не впроголодь, у каждого была своя комната, своя кровать, своя пара белья, но дом, куда их привел сэр Агасфер, пускай и не был

собственным, а лишь арендованным на время, показался обоим прямо-таки дворцом, превосходящим своею роскошью все, что они когда-либо видели, настолько богато он был обставлен и красиво изубран. Нога утопала тут в пестром ковре, похожем на лужайку с цветами, мебель резная, самой искусной работы — столы, стулья, шкафы, а до чего хороши деревянные подставочки под тарелки и кубки; последние сияют полированным серебром или позолотой; рядом с ними стоят резные фигуры из благородного дерева и слоновой кости. Тяжелые подсвечники и канделябры, тоже серебряные, превосходили искусностью работы знаменитые шандалы церквей Св. Якова и Св. Петра, а толстые восковые свечи отбрасывали мягкий свет на людей и предметы обстановки, особенно на гобелены, один из которых изображал голых нимф, играющих с носорогом, а другой — троянского принца Париса, выбиравшего из трех богинь самую красивую: все три богини были крутобедры и пышногруды, совсем как леди Маргрит, которая между тем скинула уличную пелерину и вышла пригласить гостей к столу в платье, столь выгодно подчеркивающем ее прелести, что у магистра Эйцена захватило дух. На столе красовались изысканные яства: птица рябчик, фаршированная рыба, жаркое разных видов, все блюда, как с улыбкой пояснил сэр Агасфер, строго кошерные, но с пикантными приправами; в дорогих бутылях венецианского стекла соблазнительно мерцало вино. В одном из эркеров расположились двое музыкантов, один с лютней, другой со скрипкой, они наигрывали нежнейшие мелодии, причем тот, у кого была лютня, еще и пел сладким голосом, хоть и не о божественных, небесных радостях, зато о любви и сердечной страсти. Трапеза удалась на славу, тем более что Агасфер как хозяин дома уселся во главе стола, магистру посчастливилось занять место с леди Маргрит, а Лёйхтентрагер присоседился к барышне Штедер, таким образом, ниточки, которые завязались еще во время прогулки, продолжали свои хитросплетения.

Настроение у магистра Пауля было превосходным, чему немало способствовали прекрасные еда и питье, к тому же ему горячила кровь близость обворожительной соседки, леди Маргрит, или принцессы Трапезундской, которая подкладывала в его тарелку лучшие куски и подливала в его кубок чудесное вино, при этом он каждый раз заглядывался на движение ее роскошных плеч, которые так и хотелось укусить, забыв о прочих яствах, а также на пышный бюст, готовый вот-вот выскочить из лифа. Барышню Штедер тоже все больше распалял ее застольный кавалер, который сладко нашептывал ей на ушко, что ее девические прелести сводят его с ума и что он хотел бы ласкать ее, как это делают ангелочки или же бесенята, то есть сзади, что он зацеловал бы ее сверху донизу, дабы они вдвоем изведали то высшее блаженство, которое человек может испытать уже на земле, и что, дескать, удерживает его единственно верность своему другу, Паулю Эйцену, который сам давно вожделеет от нее тех утех, которым предавался Святой Дух с девой Марией. Поскольку Барбаре подобные услады были известны лишь понаслышке, не считая собственных девичьих ночных забав, кровь жарко бросилась ей в голову, а также в то место, которым ведьмы скачут по воздуху на метле, отправляясь на брокенбергский шабаш, ее бедную головку заполняют видения голых тел, слившихся в сладострастных объятиях, поэтому ей хватает сил лишь прошептать Лёйхтентрагеру, чтобы он, Бога ради, прекратил подобные речи, иначе она пропадет на месте.

Тут сэр Агасфер разлил по бокалам из особой бутылки сладкое, тяжелое вино, о котором он сказал, что сам дьявол вырастил лозу для него, однако ребе Йешуа, которого христиане называют Иисусом, благословил это вино на последней вечере со своими учениками, поэтому оно способно исполнить самые сокровенные желания того, кто его пьет. Затем Агасфер подал знак музыкантам, те вышли вперед, певец с лютней отвесил поклон леди Маргрит, потом барышне Штедер и запел:

От страсти я горю
лучиной на ветру.
Приди, отдайся мне.
Иначе я умру.
Иначе я умру!

Падучею звездой
к тебе я прилечу.
О будь, прошу, моей.
Я так тебя хочу.
Я так тебя хочу!

Коль на земле любовь
благословил Господь,
то пожалей и ты
томящуюся плоть.
Мою живую плоть!

Взволнованная этими словами и музыкой, Барбара заглянула глубоко в глаза Лёйхтентрагера, а магистр — в глаза леди, после чего оба, загадав тайное желание, пригубили волшебного вина. Сэр Агасфер снова подал знак, позади него раздвинулся темный занавес, одна половина вправо, другая влево, открывая еще одну залу, не менее роскошную, чем столовая, только поменьше, а посреди нее — широкую кровать с мягкими подушками, над кроватью балдахин, полог которого расшит золотом и украшен золотой бахромой.

А теперь, возгласил сэр, пора обвенчать молодую пару, но так, чтобы все было честь по чести: дескать, он и леди станут свидетелями, а его друг Лёйхтентрагер свершит по всем правилам надлежащий обряд не хуже самого господина магистра.

Затем он пригласил жестом Пауля и Барбару встать у изложья кровати. Лёйхтентрагер внезапно оказался в священническом облачении — все черное, только кружевной воротничок белый; в руках он держал книгу, но была ли то Библия или же нет, Эйцен не понял, ибо в голове у него помутилось, и он одновременно видел себя у кровати с нареченной ему невестой, но мерещилось ему и то, что рядом с ним стоит Маргрит, причем нагая, словно Ева на картине виттенбергского живописца, мастера Кранаха, совершенно голая, если не считать драгоценного ожерелья и золотых браслетов.

Лёйхтентрагер, раскрыв книгу, прочитал: «И сотворил Бог человека по образу и подобию Своему, по образу Божию сотворил его: мужчину и женщину. Ибо сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному; сотворим ему помощника, соответственного ему. Муж оказывай жене должное благорасположение; подобно жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви. Но как Церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем».

Магистру хорошо знаком этот текст, он знает, что Лёйхтентрагер зачитывает его дословно, точнехонько, до последней буквы, однако благочестивые слова звучат сейчас издевкой, даже святотатством, тем более что все помыслы его устремлены не к худосочной Барбаре, а к голой Маргрит, которую, как ее хозяин и господин, обнимал стоявший рядом еврей. Магистр вздрогнул от неожиданности, когда услышал вопрос Лёйхтентрагера: «Желаешь ли ты, Пауль фон Эйцен, взять в жены из рук Божьих присутствующую здесь девицу Барбару Штедер и обещаешь ли любить ее, уважать и хранить ей верность, пока не разлучит вас смерть?»

«Да»,— ответил он, но не потому, что хотел, просто он почувствовал, что все это предначертано ему с того памятного дня и той встречи в лейпцигском трактире «Лебедь», затем он услышал, как Лёйхтентрагер обратился к Барбаре, спрашивая, желает ли она взять в мужья присутствующего здесь Пауля фон Эйцена, всецело повиноваться ему и быть всегда покорной, пока ее с ним не разлучит смерть, до него донесся ее утвердительный ответ, он увидел, как Лёйхтентрагер, воздев руку, благословил новый брачный союз во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, словно он действительно посвящен в церковный сан и чуть ли не распоряжается по-свойски Святой Троицей. Затем он увидел, как Барбара тут же легла на кровать и простерла руки, только не к нему, а к его приятелю Хансу. Тот же наклонился,

расстегнул пряжку на башмаке, причем со своей хромой ноги, снял башмак и положил поверх одеяла на живот невесты, приговаривая: «Знай же, под чьим сапогом ты отныне будешь жить и кто твой господин»; и Маргрит, или принцесса Трапезундская, или леди, принялась хлопать в ладоши, корчась от смеха. Сэр Агасфер был более сдержан, он лишь слегка улыбнулся и спросил, не собирается ли господин магистр присоединиться к новобрачной.

С этими словами сэр Агасфер, взяв леди под руку, удалился, Лёйхтентрагер последовал за ними, занавес опустился, и в почивальне, кроме молодоженов, осталась только сладчайшая музыка. Вожделение захлестнуло Эйцена, ему вспомнились слова Ханса о том, что Бог снабдил всех женщин одним и тем же устройством, поэтому, не мешкая зря, он сбросил с себя праздничную одежду и залез под одеяло к Барбаре, которая уже раскинула ноги и подалась к нему так страстно, будто с малых лет только и занималась любовью; с придыханиями и стонами она просила: «Еще, мой любимый, еще!» — что было весьма приятно Паулю, но только до тех пор, пока он не услышал, как Барбара принялась расхваливать его чудный горбик, густые волосы на груди и прочее. Тут Пауль догадался, что на ней лежит инкуб, но почувствовал, что и сам лежит не на Барбаре, нет, под ним — голая Маргрит, и он то пускается в бешеный галоп, то томно замедляет прыть, она же обнимает и прижимает его к себе, пока наконец ему не показалось, что вся жизнь истекает из него, оставляя иссохшую оболочку.

На какое-то время наступило затишье. Потом он взял Барбару за руку, и они заснули. Когда же по прошествии многих часов они проснулись, то увидели серое утро; они лежали в вонючей кровати, которая стояла у стены жалкой каморки с мусором по углам и паутиной; ни Пауль, ни Барбара не могли понять, как они попали сюда, в одну из скверных пригородных ночлежек, куда подевались их выходная одежда и откуда взялось вместо нее жалкое тряпье, которое пришлось натянуть на себя. Когда они прокрались по лестнице вниз, навстречу выскочила хозяйка ночлежки и принялась орать, требуя плату, восемь гамбургских грошей, а где их брать, если в кармане нет ни пфеннига; Паулю не оставалось ничего другого, как послать за деньгами в контору брата, а пока они ждали посыльного, над Эйценом и Барбарой потешался всякий сброд, желая узнать, как они провели ночь, хорошо ли он ублажил невесту и много ли синяков осталось у него на теле от ее костяшек.

Глава семнадцатая

В которой приводятся размышления о том, почему самые отъявленные революционеры становятся наиболее суровыми охранителями порядка, и в которой говорится о взаимозависимости утверждения и отрицания, а также о том, сколь трудно создать Царство свободы.

Мы парим.

Парим в глубинах пространства, которое именуется Шеолом и простирается за пределами творения, вне тьмы и света, в некоей бесконечной кривизне.

Здесь можно говорить спокойно, сказал Люцифер, тут нет ни Бога, ни Его приспешников, созданных из духа или материи; здесь — Ничто, а у него нет ушей.

А я ничего не боюсь, сказал я.

Люцифер криво усмехнулся. У того, кто вроде тебя желает изменить мир, есть основания опасаться за собственное благополучие.

Что-то похожее на дуновение касается нас, но это не ветер, а поток

частиц, из которых состоит Ничто и которые блуждают от одного Ничто к другому.

Я искал тебя, брат Агасфер, сказал он.

А где остальные, спросил я. Где твои темные воинства, которых низвергли с небес вместе с тобой и мной за то, что мы не послушались Бога и не поклонились человеку, созданному Им по Своему подобию из песчинки праха земного, из капли воды, из дуновения воздуха и искры огня? Где они?

Здесь все теряется, ответил он.

Я увидел, как его знобит от великой стужи, объявшей нас, и понял, зачем он меня искал, ибо страшнее, чем Ничто, есть мысль о его вечности.

Я следил за тобой и твоими делами, сказал он. Ты восстал, но каждый раз терпел поражение и был сломлен. Тем не менее ты не теряешь надежды.

Бог есть движение перемен, сказал я. Когда Он создал мир из ничего, он изменил Ничто.

Это было прихотью, сказал он, случайностью, единственной и неповторимой. Недаром Бог, осмотрев на седьмой день Свое творение, тут же провозгласил, что все прекрасно именно таким, каким получилось, и поэтому таким мир должен сохраниться на все времена — с его верхом и низом, с архангелами, ангелами, херувимами, серафимами и прочим небесным воинством, где у каждого свой чин и свое место, а венцом творения поставлен человек. Бог похож на всякого, кто однажды что-то изменил; все тут же начинают трястись над своим творением и бояться за собственное положение, отъявленные революционеры становятся суровейшими охранителями существующего порядка. Нет, брат Агасфер, Бог есть сущее, Бог есть закон.

Если бы это было так, сказал я, зачем же тогда Он послал Своего единородного сына искупать страданиями грехи мира? Разве искупление не является обновлением?

Мы парим.

Люцифер обнял меня, словно нас ничего не разделяет, ни различие во взглядах, ни разница в понимании цели, он сказал: ты ведь тоже знал Равви.

Я вспомнил ребе Йешуа, каким он был в пустыне — борода свалялась, живот вспух; вспомнил, как вознес его на вершину высокой горы, чтобы он взглянул оттуда на творение своего Отца, на все беды и несправедливости мира, сказал ему, что пора ему брать дело в собственные руки, ибо настало время создавать истинное Царство Божие; он же ответил мне: Мое царство не от мира сего.

Но чего же добился Равви, спросил Люцифер. Разве с тех пор как его распяли, в мире стало меньше зла, разве землю не поливают кровью даже больше прежнего? Разве волк мирно уживается с овцой, и человек человеку стал братом? Почему ты не пойдешь к нему туда, где он сидит ныне одесную своего Отца, и не спросишь его об этом? Уж тебе-то он должен ответить.

Он проклял меня, сказал я, проклял за то, что я не дал ему отдохнуть в тени моего дома, когда он тащил свой крест к месту казни.

Я увидел, как Люцифер нетерпеливо нахмурился. Знаю, знаю, сказал он, но именно поэтому он и захочет с тобой поговорить. Разве ты был не прав, прогнав от себя того, кто так жестоко ошибался?

И все же, сказал я, Равви любил людей, он пострадал за них.

Страдание — это еще не заслуга, сказал Люцифер; овца, которая покорно отдает себя на съедение, лишь помогает волкам устанавливать волчий порядок. Только тебя, брат Агасфер, волчий порядок не устраивает, ты уповаешь на то, что Бог позволит тебе подлатать Его творение, оставив дырочку, через которую ты со спокойной совестью вернешься назад, под сень Его благодати; ты никак не хочешь признать, что этот мир обречен на погибель именно установленным в нем Божественным порядком и никакая штопка тут не поможет, а лишь продлит агонию. Так пусть же этот старый мир пропадает пропадом, давай творить силой собственного духа наше Царство свободы без маленького божка небольшого кочевого племени, который жив лишь тем, что порабощает все вокруг себя.

Боюсь, брат Люцифер, что такой конец света окажется последним; откуда же взять тогда нового бога для нового сотворения мира?

Мы парим.

Парим в пространстве без начала и конца, без тьмы и света, где по воле Люцифера должны раствориться все краски и звуки, мысли и чувства, все живое, чтобы обратиться в ничто.

Мое «нет» тебе не нравится, сказал Люцифер.

Отрицание также необходимо, как утверждение, возразил я, любое деяние обусловлено их противоборством.

Значит, ты пойдешь к нему, спросил он.

Я вспомнил, каким был ребе Йешуа, когда я припал к его груди на последней вечере и сказал ему о колесе, которое не может выскочить из своей колеи, но выбирает ее тот, кто правит быком, впряженным в повозку.

Не стану же я настраивать его против Отца, ибо они втроем суть единое целое, Отец и Сын и Дух Святой.

Вижу, как Люцифер скорчился от смеха. Из трех делаешь одного, а из одного трех, сказал он, продолжаешь старые трюки с числами, которыми христианская церковь, взяв себе имя Равви, хочет затушевать свои греко-еврейские истоки. Надо что-то выбирать, брат Агасфер. Либо твой ребе Йешуа вознесся на небо, где восседает ныне одесную Бога, тогда он единосущ и с ним можно иметь дело. Либо он слился с Богом, да еще и со Святым Духом, тогда из них троих получилось нечто новое. Но куда же подевался в этом случае прежний Единый Бог, который существовал до Троицы и который низверг нас на шестой день творения?

Я вспомнил, как ребе Йешуа подошел к моему дому с крестом на плечах и как он узнал меня, попытался заговорить со мной, а я сказал ему, что готов поднять в его защиту меч Господень, огонь которого до смерти испугает всех врагов, всех стражников, после чего он соберет весь народ израильский и поведет за собой, исполняя пророчество Писания; он же ответил: неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец?

Мы все еще парим.

Парим среди холодного пространства, обвеваемые ветром, который даже и не ветер вовсе; я слышу, как стучат зубы Люцифера. Здесь слишком неуютно, чтобы продолжать спор о предмете, который жестоко рассорил даже святых отцов, сказал Люцифер. Так что же ты собираешься делать, брат Агасфер?

Пожалуй, я все-таки пойду к Равви, сказал я, посмотрю, что стало с ним и что он сейчас думает на самом деле.

Так мы и расстались, он пошел по своим делам, а я — по своим.

Глава восемнадцатая

Где обнаруживается, что может дать изучение исторических анналов и как без особых усилий можно приобрести докторский титул, почет и шесть локтей коричневой материи.

Господину профессору
Йоханаану Лёйхтентрагеру
Еврейский университет
Иерусалим
Израиль

17 апреля 1980 г.

Глубокоуважаемый коллега!

В последнем письме от 2 апреля с. г. Вы пытаетесь приписать мне начинающуюся фиксацию на феномене Агасфера.

О подобной фиксации, пусть даже всего лишь начинающейся, не может быть

и речи. Хотя я и являюсь директором, однако прежде всего я остаюсь членом научного коллектива, поэтому моя исследовательская работа носит плановый характер, я отчитываюсь за нее перед коллективом. Агасфер интересует меня лишь как типичный пример религиозных предрассудков, из которых рождаются легенды; впрочем, на основе новых данных я готов признать за Агасфером существование реальное, но уж ни в коем случае не вечное.

Будучи приверженцем диалектического материализма, я всегда отрицал наличие каких бы то ни было сверхъестественных существ или явлений (см. мое письмо от 14.02.1980), хотя безусловно признаю, что ряд научных проблем еще не нашел своего разрешения, однако рано или поздно эти проблемы, несомненно, будут решены человечеством, если таковые окажутся для него достаточно важными. Тем приятнее для меня сообщить Вам, уважаемый господин профессор, что по крайней мере загадку Агасфера можно считать разгаданной. Правда, тут нет заслуги нашего института, тем не менее именно нашему сотруднику, доктору Вильгельму Якшу, который изучал диалектику формирования легенды об Агасфере, удалось разыскать публикацию, содержащую необходимые отправные моменты для решения проблемы; речь идет о статье Пауля Йохансена под названием «Бывал ли Вечный жид в Гамбурге», опубликованной в томе XLI «Трудов Общества по изучению истории Гамбурга» за 1951 год.

В своей статье Йохансен приводит убедительные доказательства того, что Агасфер и «лифляндский ясновидец» Юрген Майсенский суть одно и то же лицо. «Параллели в описаниях гамбургского Агасфера, с одной стороны, и призывающего ко всеобщему покаянию лифляндского проповедника и ясновидца — с другой, столь очевидны,— пишет Йохансен,— что не вызывает сомнений идентичность обоих». Уже хронологическое совпадение их появления так велико, что поневоле оба этих человека сливаются в единое целое, в одну фигуру.

Йохансен приводит самое старое из обнаруженных до сих пор описаний Агасфера, которое заимствовано из народной книжицы о Вечном жиде, напечатанной в 1602 году в данцигской типографии Роде; согласно этому тексту, Пауль фон Эйцен, тогдашний студент Виттенбергского университета, находясь зимой 1547 года в Гамбурге, «видел в церкви, во время службы, высокого мужчину с очень длинными, свисающими ниже плеч волосами, который стоял босой прямо против кафедры и внимал проповеди с таким благочестием, что нельзя было заметить в нем какого-либо движения, зато, когда упоминалось имя Иисуса Христа, сей человек низко кланялся, бил себя в грудь и тяжко вздыхал; а теплой одежды на нем в ту морозную зиму вовсе не было, только штаны протертые, сюртук до колен, да худой плащ до пят».

Вероятно, Вам знакомо это свидетельство, дорогой коллега, однако я цитирую его, ибо оно дает основание для сравнения с описаниями прозорливца Юргена или Йорга Майсенского, сделанными его современниками. Так Иоганн Реннер, ставший впоследствии хронистом Бремена, а с 1556 года по 1558 год живший в Лифляндии, пишет: «В ту пору обретался в Риге человек по имени Йорген родом из Майсена, что ходил нагий и босый и не принимал ни еды, ни питья, ежели того не заработал. Каждодневно призывал он всех горожан к покаянию. Он уже бывал в Риге девять лет тому назад (т. е. тоже в 1547 году!) и призывал народ покаяться, не то покарает Господь пожаром, но люди его не слушали, а потому он ушел тогда отсюда».

Вскоре в Риге действительно случился большой пожар, от которого сгорел Домский собор и большая часть города. Зимой 1557/58 гг. Йорг опять оказывается в Лифляндии, о чем ревельский пастор и хронист Бальтазар Рюссов («Хроника провинции Лифляндии», издательство Барта, 1584 г.) сообщает: «Зимой того же года через Польшу и Пруссию в Лифляндию пришел странный человек по имени Йорг, ходил он босый и нагий, одетый только в мешковину дерюжную, волос у него долгий, по самые плечи. Одни называли его безумным, другие пустословом, а третьи говорили, что это знак Божий и быть теперь беде».

Ожидаемой бедой стало вторжение Ивана Грозного в Лифляндию. Тильман Бракель, лифляндский поэт, сочинил по этому поводу летучий листок «Христианское повествование о жестоком разрушении Лифляндии московитами», где говорится:

По Божьему соизволению
В тот год явилося знаменье.
Блаженный некий человек
На площадях народу рек,
Что кара Божия близка,
Ужо дождутся русака.
И вот уж вправду полонит
Наш край проклятый московит.

Йохансен приводит цитату из одного источника, согласно которому прозорливец Йорг был убит темными крестьянами вблизи от русской границы под Дерптом, однако Йохансен сомневается в достоверности этого источника и задается вопросом: с какой стати Йорг оказался у русской границы? И что имел в виду хронист Рюссов, когда писал, что Йорг затерялся где-то между Ревелем и Нарвой? Йохансен даже предполагает идентичность Агасфера-Йорга с Василием Блаженным, знаменитым московским юродивым, который бросал камни в черта и сулил божью кару самому Ивану Грозному; именем Василия Блаженного был назван собор на Красной площади. Кроме того, замечает Йохансен, Василий Блаженный был сапожником, как и Агасфер.

Однако почему — спросите Вы, дорогой коллега,— прозорливец Юрген назвался в Гамбурге Агасфером? Ведь обычно он странствовал под собственным именем?

У Йохансена есть на этот счет весьма убедительное объяснение. Он предполагает, что встреча Юргена с Эйценом, которого Йохансен считает автором, не вызывающим сомнений в достоверности сообщаемого, произошла в церкви Св. Николая, где в 1547 году еще висела большая картина, изображавшая персидского царя Агасфера (Артаксеркса) с его иудейской возлюбленной Эсфирью, эта картина была уничтожена лишь в 1555 году, когда, согласно Гамбургской хронике, «в церковь Св. Николая ударила молния, отчего картина с царем Агасфером и Эсфирью, а также рама рассыпались на куски». На Юргена, «человека странного», эта картина, по словам Йохансена, произвела столь неизгладимое впечатление, что он возомнил себя иудеем Агасфером. «Как бы то ни было,— заключает Йохансен,— именно в этой связи следует видеть принятие на себя Вечным жидом имени Агасфер».

Мои сотрудники и я разделяем гипотезу Йохансена, ибо она, по нашему мнению, основывается на убедительном свидетельстве о встрече Агасфера в Гамбурге с Паулем фон Эйценом, будущим суперинтендантом Шлезвига; следовательно, Агасфер был простым смертным, как Вы и я, а отнюдь не вечным.

Все мы с большим интересом ожидаем, дорогой коллега, Вашей реакции на сообщение о работе Йохансена, которая представила проблему Агасфера в совершенно новом свете и дала необходимые объяснения вполне естественного характера.

С совершеннейшим к Вам почтением и дружеским приветом,

преданный Вам
(Prof.Dr.Dr.h.c.) Зигфрид Байфус
Институт научного атеизма
Берлин, столица ГДР

Господину профессору
Dr.Dr.h.c. Зигфриду Байфусу
Институт научного атеизма
Беренштрассе, 39а
108 Берлин
Германская Демократическая Республика

2 мая 1980 г.

Дорогой, уважаемый коллега!

Ваше подробное, обильное цитатами и ссылками на источники письмо от 17 апреля с. г. доставило мне огромное удовольствие, поэтому я не преминул поделиться этим удовольствием с моим другом, к которому я поспешил на Виа Долороза, где он имеет не только обувной магазин, но и весьма ухоженную холостяцкую квартиру. Господин Агасфер поведал мне, что он прекрасно помнит

не только встречу с Эйценом, описанную в работе Йохансена, но и другие, гораздо менее приятные встречи с этим господином, ставшим впоследствии суперинтендантом Шлезвига; впрочем, Эйцен вообще был человеком малосимпатичным, ограниченным, до крайности честолюбивым, отличающимся большим самомнением и охочим до интриг. Кстати, статья Пауля Йохансена, опубликованная в «Трудах Общества по изучению истории Гамбурга», мне знакома, а не упоминал я ее в своих письмах лишь потому, что не придаю ей ровным счетом никакого значения.

У Йохансена нет ничего, кроме домыслов, не имеющих под собой никаких оснований, способных претендовать на научную достоверность. То немногое, что мы знаем о прозорливце Йорге, доказывает скорее обратное, то есть его несовпадение с Агасфером. Йорг призывает к всеобщему покаянию, грозит карами небесными, Агасфер же далек от этого — он стремится переделать мир, но совершенно иным путем. Далее, нет ни свидетельств современников, ни каких-либо иных источников, которые утверждали бы, что Йорг рассказывал о своей встрече с Христом и был проклят им, как это имеет место в случае с Агасфером; мысль назвать себя Агасфером, да еще и евреем, под воздействием изображения персидского царя, висевшего в гамбургской церкви Св. Николая, могла возникнуть только у склонного к фантазиям Йохансена, но никак не у несчастного странствующего проповедника. Можно восхититься смелостью, которая позволяет Йохансену выдвинуть третье предположение, отождествляющее Агасфера с юродивым Василием Блаженным, однако тут нет и намека на какие-либо доказательства, если, конечно, не считать таковым профессию сапожника, общую для русского юродивого и еврейского вечного путника. Московский нищий как прообраз Агасфера? При всем уважении к великим достижениям русского народа — это уж чересчур.

Единственно верным в статейке Йохансена является факт пребывания Агасфера в Гамбурге. Оно подтверждается не только собственными рассказами Агасфера, которые я слышал от него, но и соответствующей литературой. Тут мне хотелось бы сослаться не столько на многочисленные варианты народных книжек, появившихся после 1602 года, сколько на свидетельства самого Эйцена, запечатленные у Йоганнеса Моллера во фленсбургском издании «Cimbria Literata», вышедшем в 1744 году, и у гамбургского городского архивариуса Николауса Вильнена в его «Гамбургском пантеоне» за 1770 год; но особый интерес представляет, по-моему, документ, любезно предоставленный мне недавно господином Гервартом фон Шаде, директором Североэльбской церковной библиотеки; этот документ был найден при переводе библиотеки в новое здание, и его подлинность не вызывает у меня сомнений. Речь идет о собственноручном письме Агасфера, содержащем любопытные сведения о гамбургском периоде его жизни и о его взаимоотношениях с Эйценом. Однако вначале, дорогой коллега, необходимо, видимо, пояснить, к какому отрезку биографии Эйцена восходит найденное письмо.

Личные причины, вроде распространяемых недругами слухов о непотребствах, якобы устраиваемых в разных злачных местах, а также антипатия со стороны главного пастора Эпинуса заставили магистра фон Эйцена вместе с молодой женой переехать в Росток, где он надеялся оказаться полезным местному университету; однако известные предубеждения мекленбуржцев против шустрых гамбургских ганзейцев не позволили ему там основаться как следует; пришлось возвращаться в родной город, где вскоре у него родился первый ребенок, девочка, которую назвали Маргаритой. Эта девочка, ставшая, несмотря на горбик и хромоту, любимицей у матушки, приобрела впоследствии весьма печальную известность: в сговоре с мужем, писарем герцогской канцелярии Вольфгангом Калундом, Маргарита Эйцен убила свого зятя Эсмарха, бургомистра города Апенраде, за что и была казнена в 1610 году. Впрочем, эта детективная история имеет для нас лишь побочное значение; гораздо существеннее то, что благодаря объединенным усилиям собственной родни и семьи своей жены Эйцен получил наконец должность, хотя и не доходную, в качестве lector Secundarius, то есть второго проповедника при соборе; однако вскоре христианское усердие и абсолютная верность букве лютеровского учения создали Эйцену в Гамбурге такую репутацию, что после смерти Эпинуса гамбургский сенат, чуждый каким бы то ни было богословским новациям, наметил Эйцена

преемником главного пастора и суперинтенданта. К сожалению, академических регалий, привезенных из Виттенберга, Эйцену для новой должности не хватало, поэтому ему пришлось вернуться обратно за докторским дипломом, а чтобы обеспечить успешную сдачу экзамена, его снабдили особым письмом теологическому факультету Виттенбергского университета, в письме авторитетнейшие гамбургские пасторы просили «споспешествовать коллеге и суперинтенданту Паулю фон Эйцену в получении докторской степени», причем указывалось, что вручением диплома факультет «окажет высокую честь и обяжет к большему усердию и глубокой признательности» не только «privatim M. Paulum, sed etiam totam nostram Ecclesiam et civitatem», то есть не только магистра Паулуса, но и всю церковь Гамбурга и его граждан. Подобному нажиму, поддержанному старой связью Эйцена с Меланхтоном, теологический факультет Виттенбергского университета воспротивиться не мог, поэтому, несмотря на все банальности и самоповторы в состоящей из пятидесяти пунктов и произнесенной устно диссертации, ученые мужи «споспешествовали» получению Эйценом докторского звания, что позволило новоиспеченному доктору сделать следующий шаг.

С этим следующим шагом, так называемым «Диспутом с жидом», и связано письмо Эйцена Агасферу от 14 октября 1556 года, копию которого я прилагаю. Эйцен защитил докторскую степень лишь в мае того года, следовательно, планировать и готовить диспут он начал сразу же по возвращении в Гамбург. Разобрать почерк Агасфера непросто, тем не менее я уверен, что Вы сумеете прочитать письмо. Укажу лишь на несколько мест, которые имеют, на мой взгляд, особенное значение; например, очень хорош зачин:

«Высокочтимый доктор, благодетельный господин суперинтендант, я, бедный и несчастный еврей, странствующий из года в год по городам и весям, много повидавший на своем веку, только все больше плохого, нежели хорошего, должен по воле и приглашению Вашего преподобия принять участие в большой и открытой disputatio, дабы свидетельствовать de passione Christi, о муках Христа, который проклял меня in eternitatem, навеки, и сказать Альтонской еврейской общине ex ore testis, что Равви был единственным и истинным сыном Бога Яхве, да святится имя Его, а также Мессией, которого ждал народ Израильский, и надлежит мне сделать со всем благочестием, смирением и раскаянием ad majorem Dei gloriam». Хорош и один из последующих вопросов:

«А что будет, если я откажусь? Разве Вы и власть имущие не станете преследовать меня, чтобы погубить и растерзать меня, словно волки бедную овечку? Ad majorem Dei gloriam, говорите Вы, однако правильнее было бы сказать ad majorem gloriam достопочтенного доктора фон Эйцена, а не Бога, и ради этого я, бедный еврей, должен поставить себя в положение, которое не принесет мне никакого прибытку, зато может стоить головы?»

Еще ниже говорится:

«И все же я сделаю это для Равви, ради Него, ибо кто же и понимал Его по-настоящему, ежели не я?»

После чего следует приписка:

«Кланяйтесь Barbaram conjugem, я пошлю ей локтей коричневой материи и подвески турецкие, а маленькой Маргарите чепчик.

Остаюсь слугой Вашего преподобия странствующий жид Ахашверош».

Вот, дорогой профессор Байфус, что хотелось мне сообщить Вам по поводу домыслов Йохансена и подлинных событий, относящихся к гамбургскому периоду жизни Агасфера.

Дружески кланяюсь Вам,

Ваш
Йоханаан Лёйхтентрагер
Еврейский университет
Иерусалим

Глава девятнадцатая

В которой происходит диспут о том, был ли распятый ребе Йешуа истинным Мессией; ученый еврей из Португалии знакомит доктора Эйцена с небесной арифметикой, а Агасфер заявляет, что каждый, кто создан по образу и подобию Божьему, может стать Спасителем.

В мире существует множество голосов, учил еще апостол Павел, есть голоса внутренние и голоса чужие, бывают голоса, говорящие, допустим, на английском языке, и бывают голоса, говорящие на бесовском, во всяком случае, новоиспеченный доктор теологии Эйцен, который трясся на выбоинах и ухабах дороги в Альтону, не мог толком понять, откуда исходит голос, предупреждавший, что дело может кончиться плохо,— из каких-нибудь верхних сфер или нижних; впрочем, все зашло слишком далеко, чтобы изменить задуманное, а тем более отменить: гости приглашены, среди них и влиятельные представители готторпского двора, пользующиеся доверием самого герцога, и посланцы гамбургского сената, и пасторы из разных мест, и ученый еврей Иезекииль Перейра из Португалии, с которым должен состояться диспут в синагоге; нет, путь назад уже закрыт, подумал Эйцен, это его Рубикон, как у римского полководца Цезаря, и если хотя бы дюжина евреев публично обратится в единственно истинную веру, можно будет праздновать победу, причем таким новообращенцам — об этом Эйцен поведал своей общине — будет даже разрешено поселиться в Гамбурге; впрочем, есть у него и еще один тайный козырь, который побьет любую карту.

Но как бы он ни пекся о благе евреев, они внушали ему некоторый страх, причем не только Агасфер, что было бы еще понятно после всего произошедшего; видно, дело тут в том, что они распяли нашего Христа, размышлял Эйцен, а кроме того, они не такие, как все: везде они чужие, отчего повсеместно вызывают недовольство, поэтому очень правильно и мудро поступил городской сенат, когда запретил евреям селиться в Гамбурге или заниматься там каким-либо промыслом; датчане, и прежде всего герцог Готторпский, относятся к евреям иначе, выдаивая их, как муравьи доят тлей.

Везде они чужие, продолжал думать Эйцен, рассеяны по всему свету, всюду они незваные гости, и нигде их не любят. С великодушного дозволения Его Герцогского Высочества Эйцен несколько раз приезжал в Альтону, чтобы осмотреть синагогу — жуткая дыра, стены дочерна закопчены свечами, которые постоянно горят, с потолка свисает паутина, но ее не сметают, ибо там якобы обитает Шем изборах — Благословенный, Тот, Кого нельзя называть по имени. Эйцен присутствовал и на так называемом богослужении, которое, однако, никак не может быть угодным Богу, подумал он, ибо евреи приходят в синагогу когда захотят, один раньше, другой позже, один надевает свой талес, а другой как раз снимает его; молитву осуществляет в основном хазан, впрочем, он не столько распевает молитвы, сколько стоит перед арон хаккодеш, Ковчегом Завета, где хранятся свитки Торы, и, запрокинув голову и заткнув пальцами уши, кричит во всю мочь по-еврейски то такой скороговоркой, что ничего не разберешь, то протяжно, причем иногда он еще и плачет или смеется, короче, ведет себя будто помешанный, но это помешательство передается другим, евреи начинают подвывать хазану, раскачиваясь во все стороны, откашливаться и отплевываться, скакать туда и сюда, подобно козлищам. Неужели именно этот народ дал нам Господа нашего, Иисуса Христа, подумал Эйцен.

Прибыв в альтонскую синагогу по узкой улочке, где едва хватало места для конской повозки, которая к тому же утопала по ступицу в грязи, Эйцен прошел внутрь; прибыл он заранее, поэтому он смог осмотреться

и убедился, что по крайней мере пол подметен, а также раскурены благовония, придавшие эдакую сладковатость обычным кислым запахам синагоги; для почетных гостей были расставлены деревянные скамьи; с большим почтением Эйцена приветствовали старейшины альтонской общины, а также ученый еврей Иезекииль Перейра из Португалии; вид у них был такой, будто перед ними не суперинтендант Гамбурга, а прямо-таки посланец Божий; они заверили его, что все взрослые альтонские евреи мужского пола приглашены в синагогу, дабы внимательнейшим образом выслушать столь важный диспут. Но Эйцену было не до велеречивых приветствий, его глаза шарили по самым темным уголкам синагоги, куда не доставали свечи, ему хотелось увидеть пусть даже тень того, кто однажды уже выручил бедного кандидата на экзамене в Виттенберге, когда был задан вопрос об ангелах, и кого он больше не видел с памятной ночи в доме сэра Агасфера, когда была зачата Маргарита-младшая, родившаяся с маленьким горбом и хроменькой ножкой; но приятеля нигде не заметно, не видно дружеского взгляда, не слышно ободряющего шепотка; значит, до вызова Агасфера в качестве свидетеля придется уповать на собственные силы, противопоставляя ученым премудростям Иезекииля Перейры те же самые пункты и аргументы, которыми пользовались еще святые отцы в своих спорах с евреями и которые сам он проштудировал весьма прилежно.

Тем временем в синагогу начали прибывать господа из готторпского двора и представители гамбургского сената, все празднично разодетые; колясок с гербами и роскошной обивкой скопилось в узком грязном проезде столько, что можно было подумать, будто речь идет о съезде герцогов и курфюрстов для обсуждения высочайших проблем, а не о диспуте с твердолобым иудеем; показались и его гамбургские коллеги, пасторы Вестфаль, Фирисиус и Беткер, которые некогда подписали ходатайство Виттенбергскому университету, теперь же их снедало любопытство — ведь это дело их впрямую не касалось, не их репутация была поставлена на кон, а нового суперинтенданта, чье место мог бы занять любой из них, если бы власть имущие внезапно не решили иначе. Начали стекаться и евреи черными группками, на головах — островерхие шляпы, на плечах — узкие засаленные кафтаны; они теснились, вполголоса переговаривались, как некогда их прародители перед воротами Иерусалима, когда через них въезжал Спаситель верхом на ослике; впрочем, они не станут кричать «Осанна!», но не скажут и «Распни его!» — эти голоса раздадутся с другой стороны, от его завистников и от тех, кто хочет извратить благочестивейшие прозрения доктора Лютера, превратив христианское вероучение в полнейшую неразбериху, где каждый все толкует на свой лад.

Проследив, как иудеи и христиане постепенно заняли отведенные места, Эйцен стал внимательно слушать старейшину еврейской общины, который, поднявшись на альмемар, возвышение посреди синагоги, заговорил весьма торжественно, приветствуя с многочисленными поклонами гостей из Готторпа и Гамбурга, прибывшего из далекой Португалии мудрейшего и ученейшего господина Дома Иезекииля Перейру, а главное, господина суперинтенданта великого Гамбурга, доктора Паулуса фон Эйцена, который благодаря заботам о всех верноподданейших слугах Его Высочества Адольфа Шлезвигского, герцога Готторпского, дал евреям Альтоны возможность присутствовать на ученом споре, или диспутации, о том, был ли распятый Иисус Христос истинным Сыном Божьим — да святится имя Господне — и Мессией, а также о том, не следует ли евреям, признав все это, обратиться в христианскую веру, принять таинство крещения, дабы улучшить свое положение, а возможно, даже получить права гражданства в великом и богатом городе Гамбурге. Вместе с тем, добавил он, никто не будет принужден ко крещению, даже если досточтимый господин доктор фон Эйцен победит в вышеобозначенной диспутации.

Евреи, как заметил Эйцен, тотчас склонили головы друг к другу и зашептались, а один из них, с большим острым носом и седой лохматой бородой, подняв руку, спросил, придется ли им тогда вкушать от тела повешенного и пить его кровь в церкви, как это делают гои, несмотря на то что в Писании проклят пред Богом всякий, повешенный на дереве?

Тут сердце доктора Паулуса переполнилось святым гневом, из него улетучились всяческая нерешительность и сомнения в том, правильно ли он поступил и благополучно ли закончится его начинание; поднявшись с места, он твердым голосом объявил, что подобные слова свидетельствуют наилучшим образом, сколь велики заблуждения иудеев; Христос в Его великом милосердии умер ради искупления и их грехов, поэтому каждому христианину надлежит молиться о спасении и их проклятых душ, дабы Христос мог порадеть о них, когда пробьет час Страшного суда. «Почему евреи отказываются верить, что их Мессия явился к ним в лице Иисуса Христа? — спросил он, вскинув главу, будто пророк.— Разве они не видят на собственном примере, что Храм их разрушен, а сами они рассеяны по всему свету, где живут они в нужде чужими среди чужих, гонимые и убиваемые своими врагами? Такова была кара Божья, которой Он справедливо наказал и продолжает наказывать по сей день упорствующих в своем заблуждении евреев за то, что они не признали Спасителя, а потребовали от Пилата распять Его, после чего Пилат умыл руки перед народом и сказал: «Не виновен я в крови Праведника Сего»; евреи же, как свидетельствует Матфей, 27, кричали: «Кровь Его на нас и на детях наших».

Эйцен понял, что увлекся и вопреки своим планам и намерениям ввязался в диспут, то есть, по существу, уже ведет его; ученый еврей Иезекииль Перейра также понял это; погладив свою красивую завитую бороду, он, обращаясь к почтенным гостям, спросил, позволят ли ему господин доктор и досточтимые господа присутствующие задать со всею скромностью предварительный вопрос, а именно: руководствуясь какими авторитетами, намеревается вести спор уважаемый опонент и на основе какого Завета — Ветхого, Нового или же обоих? Ибо поскольку речь идет об обращении иудеев в иную веру, и только, то было бы слишком просто сразу же, a priori, потребовать от них признать Евангелие и Апостольские послания. Подобные требования могут быть обоснованными лишь после их обращения в христианскую веру, а до тех пор следует опираться на пять книг Моисеевых, на слова их собственных пророков, на святые псалмы и притчи, чтобы доказать, чем и как столь сильно погрешили евреи.

При подобных словах у Эйцена подвело живот, а под носом выступили капельки пота, тем более что он заметил, как некоторые из почетных гостей закивали головами, будто одобряя сказанное; эти глупцы поддались на внушение, что еврей якобы должен знать лишь собственное вероучение, и даже не догадываются, какой удар наносят они своему суперинтенданту, лишая его доброй половины оружия.

Перейра же, продолжая наступать, захотел узнать, в какой из книг Моисеевых или в каком из писаний святых пророков сказано, что спасение и благо Израиля, а также возвращение благорасположения Господа народу Израиля связано с верой в якобы уже пришедшего Мессию? Писание требует веровать лишь в Одного и Единственного, то есть в Бога, да святится имя Его, ибо сказано: «Шма Исраэль! Адонай Элохэйну, Адонай Эхад», то есть: «Слушай, Израиль: Господь — Бог наш, Господь один!» А Господь ревностен, поэтому Он не допустит для Израиля иных богов рядом с Собою, не говоря уже о каких-либо «сынах божьих».

Эйцен с неудовольствием отметил, что Перейра сумел увернуться от обсуждения очевидной для всех кары Израилю и вместо этого навязал спор о небесной арифметике, которую непросто перевести на арифметику земную, тем более еврейскую. Однако противнику нужно дать немедленный отпор, чтобы выбить из его рук важный аргумент, поэтому Эйцен решительно заявил: «Сын Божий, наш Спаситель, на которого столь уничижительно намекает Дом Перейра, это не второй Бог рядом с первым, нет — это Бог-Отец, Бог-Сын и Логос, Дух Святой, которые изначально являлись единым целым, следовательно, в данном пункте нет абсолютно никакого противоречия заповеди поклоняться Богу единому; другое подтверждение вышесказанному дано тем обстоятельством, что имя Бога, Элохим, употребляется в древнееврейском языке во множественном числе, о чем можно судить по словам Самого Господа из Первой книги Моисеевой «Бытие»,

глава 1, стих 26: «И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему, по подобию Нашему...»; поскольку местоимение «наш» вряд ли относится к ангельскому окружению, следовательно, сотворением человека занимался триединый Господь, то есть все мы являемся творениями и его Сына, а поэтому обязаны чтить Его не меньше, чем Отца».

Ну вот, мы почти дошли до первой главы первой книги Моисеевой, раньше вообще ничего еще не было, подумал Эйцен, так что Перейру удалось побить его собственным оружием — пусть не задается, а то прибыл из Португалии, откуда король выгнал его вместе с остальными спесивыми евреями, и решил, что может наставлять нас в Святом Писании и опять унижать Господа нашего Иисуса Христа. Перейра, однако, улыбнувшись, поклонился почетным гостям и попросил кого-либо из господ сенаторов или высокочтимых герцогских советников предложить многоуважаемому оппоненту процитировать следующий, 27 стих из Первой книги Моисеевой, а поскольку Эйцен обескураженно промолчал, то Перейра сам прочитал этот стих, в котором говорится: «И сотворил Бог (единственное число) человека по образу Своему (единственное число)...» Отсюда следует, что pluralis из стиха 26 есть всего лишь Pluralis Maestatis, так называемое «множественное авторитета», которым пользуются Его Высочество герцог Готторпский и другие сиятельные особы, говоря о себе во множественном числе, отнюдь не являясь при этом сочетанием трех персон. Тут вновь поднялся наглый еврей, который прежде задавал вопрос о теле повешенного, и пожелал узнать у господина суперинтенданта, не могло ли случиться так, что при сотворении мира сынок просто поленился, из-за чего отцу пришлось работать одному; при этих словах остальные евреи загоготали, принялись шлепать себя по ляжкам, восклицать «Ой-ой!», пока городской стражник, стоявший у входа в синагогу, не подошел к наглецу и не вытолкал его взашей на улицу.

Эйцену стало ясно, что лучше было бы сослаться на святых пророков, вместо того чтобы спорить о единственном и множественном числе, ибо верный ответ на арифметическую задачку может получиться, а может и нет, святое же пророчество сбывается непременно. Поэтому он заявил, что в книгах пророков есть многочисленные предсказания об Иисусе Христе как обетованном Мессии; эти предсказания касаются не только Его рождения или происхождения из дома Давидова, но также Его жизни, деяний и смерти. Причем если бы речь шла об одном-единственном пророчестве, в нем еще можно было бы, пожалуй, усомниться, однако пророчеств так много, они так разнообразны и все так недвусмысленно указывают на Христа как Сына Божьего, что даже самый упрямый еврей, пересчитав их по пальцам, не посмеет опровергнуть результат. Разве не говорил пророк Михей: «И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет Вождь, который упасет народ Мой Израиля»? И разве не родился Иисус Христос именно в Вифлееме, в хлеву? Разве не вышел он из чрева девы, как предсказывал Пророк Исайя, считая это знамением Божьим: «Се, Дева во чреве приимет, и родит Сына»? Разве не тот же Пророк Исайя возвестил: «И произойдет отрасль от корня Иессеева, и вновь произрастет от корня его; и почиет на нем Дух Господень»? Но ведь Иосиф, отец Иисуса Христа, происходил, как доподлинно известно, именно из рода царя Давида, бывшего, в свою очередь, сыном Иессея, следовательно, и это пророчество исполнилось.

Перейра вновь вежливо спросил, позволено ли ему будет кое-что заметить досточтимому господину доктору, а получив разрешение, сказал, что хотел бы от него узнать, чьим же все-таки сыном был Иисус, родившийся в Вифлееме: сыном ли плотника Иосифа, о котором в двух из четырех Евангелий говорится, что происходит он из дома царя Давида? Или сыном Божьим, который необъяснимым образом попал во чрево невинной девы? И мог ли вышеупомянутый Иисус, являясь сыном Божьим, вообще иметь человеческую природу, а если он был сыном Иосифа, то мог ли он стать частью божественной Троицы?

На скамьях для почетных гостей беспокойно заерзали, Эйцен тревожно

оглянулся на своих коллег, гамбургских пасторов, ибо дело коснулось пункта, где во мнениях расходились даже четыре евангелиста — Матфей и Лука, Марк и Иоанн; однако духовные собратья имели вид равнодушный, возможно, они даже радовались затруднениям нового суперинтенданта; похоже, евреи тоже заметили, что их поединщик сразил досточтимого доктора, как некогда юный Давид поразил своею пращой могучего Голиафа. Впрочем, новый Голиаф оказался покрепче неуклюжего верзилы, с которым соперничал Давид, а кроме того, суперинтендант твердо памятовал, что человеку легче верить, нежели думать, поэтому, возвысив голос, Эйцен перешел в наступление: «О, еврейская изворотливость! О, постыдное мошенничество и издевательство! Вы, Дом Перейра, осмеливаетесь утверждать, будто поймали Бога на каком-то противоречии. Да как вы дерзнули рассуждать своим скудным умишком о замыслах Всевышнего? Неужели Господь, создавший весь мир и всякую тварь, не был в состоянии сотворить и дите Иосифа?»

Услышав столь неожиданный аргумент от своего оппонента, Перейра притих и молча слушал, как Эйцен продолжал козырять пророками. «Разве не возвещал пророк Захария,— говорил Эйцен уверенным голосом,— „ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима: се, Царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидя на ослице и молодом осле", а весь народ восклицал: „Осанна! Благословен Грядущий во имя Господне, Царь Израиля!"»?

Возможно, конечно, подумал Перейра, что ослов было тогда в Израиле не меньше, чем нынче лошадей в герцогстве Шлезвигском, однако нельзя же считать Мессией каждого, кто въезжает верхом на коне в Гамбург или Альтону. Только стоит ли, подумал он, разоблачать произвол, с которым каждое пророчество соотносится с будущим? Пока Перейра размышлял таким образом, господин суперинтендант пошел дальше, описывая, как Бог дал распять Своего родного Сына, дабы были искуплены все наши грехи, и какие крестные муки претерпел Иисус Христос из-за упорствующего в неправедности народа еврейского, впрочем, и это было предсказано пророком Исайей: «Все мы блуждали как овцы, но Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст Своих, как агнец, которого ведут на заклание. Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились».

Этого Перейра вытерпеть уже не мог; подняв очи к небу, точнее, к закопченному колеблющимся пламенем свечей потолку, он выкрикнул: «Неправда! Неправда! Неужели Бог, который не смог лицезреть, как Авраам простер руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего, а потому остановил руку Авраама, неужели этот Бог отдал бы Своего единственного Сына на крестные муки? Кто же в такое поверит? Да и знает ли кто-нибудь, что на самом деле произошло в те времена и кто был тот самый Иисус, про которого говорят, будто он и есть долгожданный Мессия, и не брали ли евангелисты у пророков все что им заблагорассудится, дабы создать ореол вокруг своего распятого Равви?»

Ах, как обрадовала Эйцена буря возмущения, которая разразилась, когда хитроумный Перейра, потеряв самообладание, поспешил на выручку своему еврейскому богу. «Святотатство! — кричали почетные гости.— Ужас! Мерзость!» Многие принялись звать стражника, а пасторы сцепили ладони, будто молили о прощении за то, что им пришлось услышать столь греховные речи; евреи же, трясясь от страха, сбились в кучу, словно куры при виде лисы, забравшейся в курятник. Эйцен спокойно выждал, пока шум уляжется, потом подал знак стражнику, который уже собирался увести Перейру, отпустить несчастного, после чего проговорил: «Вы, Иезекииль Перейра, спросили, знает ли кто-нибудь, что на самом деле произошло в те времена и каким был Иисус; я покажу вам человека, который все знает, ибо он сам был свидетелем оных событий. Он такой же еврей, как вы и как евреи здешней общины, только, конечно, гораздо старше,

ибо он может доподлинно поведать о том, как Христос пошел на крестные муки». Вскинув руки, Эйцен вызвал Агасфера, и тот сразу же появился в дверях синагоги — на голове была ермолка, на исхудалом теле длинный, поношенный кафтан, зато на ногах ни сапог, ни чулок, так что каждый может видеть, какие мозоли наросли на подошвах босых ног за века скитаний. Все присутствующие в синагоге содрогнулись, как иудеи, так и христиане, а Эйцен спросил: «Кто вы?»

«Я тот, кого вы звали»,— ответил Агасфер.

«Это вы прогнали Христа от дверей вашего дома, когда Он по пути на Голгофу, изнемогая под тяжестью креста, захотел отдохнуть в тени?»

«Да, я прогнал ребе Йешуа от моих дверей,— ответил Агасфер,— и с тех пор каждый божий день провожу в скитаниях».

«Христос проклял вас?» — спросил Эйцен.

«Равви сказал,— ответил Агасфер,— как написано у пророков, „сын человеческий уйдет, а ты останешься и будешь ждать, пока Я не вернусь“».

Евреи уставились на Агасфера, который выглядел как один из них, лет тридцати или тридцати пяти, однако объявляет себя свидетелем тех времен, когда на горе Сион еще стоял во всем своем великолепии большой Храм, а народ Израиля жил в краю отцов, в Земле Обетованной; зато почетные гости и представители властей насторожились, а пасторы весьма удивились тому, что господин суперинтендант раздобыл откуда-то для своего диспута Вечного жида, хотя раньше никогда не упоминал о нем; те и другие еще и встревожились, не грозят ли теперь Альтоне и Гамбургу большие напасти, недаром же поется в известной песне:

Агасфер пришел, беда!
Ждите Страшного суда.
Бойтесь смерча, глада, мора,
войн, пожаров и разора.
Никому пощады нет.
Так покайтесь напослед!

Только Эйцен втайне ликовал, потому что все шло так, как он задумал. «Скажите же нам как свидетель, который видел Иисуса Христа собственными глазами, разговаривал с Ним собственными устами и даже проявил к Нему чудовищное жестокосердие, был ли Иисус Христос перед Богом истинным Мессией, которого ждали иудеи и который был предсказан великими пророками?» — спросил он Агасфера.

«Был ли он Мессией? — переспросил Агасфер, почесал за ухом и вздохнул.— Равви в это верил».

Эйцен увидел, что его свидетель сделался неуверенным, и, опасаясь, что жид порушит все планы, хотя каждый вопрос и каждый ответ были заранее оговорены, прорычал: «Верил! Верил! Эти упрямые евреи не желают знать, во что верил Христос, как они не желали признавать и его учения. Им нужно твое свидетельство, жид Агасфер, который повинен в том, что отказал в помощи Христу, когда Он, изъязвленный терновым венцом и палимый зноем, изнемогал под тяжестью креста. Скажи, был ли он Мессией, да или нет?»

«Мессией? — проговорил Агасфер.— Великим, всемогущим Мессией? — Он выпрямился, и всем показалось, что он озарился каким-то светом и даже на целую голову вырос над окружающими, над Перейрой, над альтонскими евреями, над почетными гостями, сидящими на возвышении, и тем более над стоящим рядом досточтимым господином доктором и суперинтендантом.— Мессия,— повторил он,— Мессия, о котором у пророка сказано, что Он будет судить народы и сделает так, чтобы они перековали мечи свои на орала и копья свои — на серпы? — Эйцена бросало то в жар, то в холод, поэтому он промолчал, тогда Агасфер продолжил: — Я любил Равви, и, наверное, он мог бы быть Мессией. Он мог бы быть Мессией, как всякий, кто сотворен по образу и подобию Божию, имеет силу быть спасителем людей. Он страдал, был распят и умер мучительной, позорной смертью. Но сколь многие до Него и сколь многие

после Него испытали такие же муки и кричали перед смертью: «Боже мой! Боже мой! Для чего ты меня оставил!» Но где же вечный мир, где то царствие, которые должны были прийти с Ним? Ведь Адам до сих пор ест хлеб в поте лица своего, Ева рождает в муках, Каин убивает Авеля, а вы, господин доктор,— он обратился к Эйцену,— что-то я не заметил за время нашего знакомства, чтобы вы любили врагов своих, или благословляли ненавидящих вас, или молились за тех, кто обидел вас, как учил ваш Господь Иисус Христос в Нагорной проповеди, да и другие христиане не лучше вас».

Увидев ужас на лицах почетных гостей, ярость и бессилие на лицах представителей власти, злорадство на лицах других пасторов, господин суперинтендант наконец спохватился и закричал: «Довольно, мерзкий жид! Сколько б веков ты ни расхаживал по свету, это твоя последняя выходка!» Позвав стражника, Эйцен велел ему арестовать Агасфера за богохульство, за оскорбление Его Высочества герцога Готторпского, который является здесь также высшим церковным иерархом, а кроме того, за подстрекательство к безверию и бунту. Тут евреи расшумелись, началась толкотня, один кинулся туда, другой сюда, многие рвали на себе бороды — скорее от тайной радости; во всяком случае, об обращении в христианскую веру никто уже не помышлял; и среди всей этой суматохи Агасфер исчез, будто сквозь землю провалился, ибо никто не видел, чтобы он выходил из дверей.

Глава двадцатая

В которой Агасфер нарушает небесный покой Равви и объясняет ему, что истиной не распоряжается некто свыше, она зрима для всех, кто желает видеть.

Кругом тишина, неподвижность.

Его престол озарен светом, нежным, как ранние голубые сумерки, любовь Божья объемлет его, и свет покоя лежит на лике его; он глядит вниз, на землю, подняв для благословения свою руку, на которой осталась рана от гвоздя.

Я подумал, что он мне чужд и далек от меня, хотя похож на ребе Йешуа, которого я знал прежде, у него та же улыбка, в которой уже тогда угадывалось предначертанное ему страдание; он подобен кукле, что находится внутри другой куклы, а та — внутри третьей: вроде бы триединство, но каждый сам по себе.

Я приблизился к нему и спросил: Равви, это ты?

Не шевельнувшись, продолжая глядеть вдаль, он ответил: Я — Иисус Христос, единородный Сын Божий, зачатый Святым Духом от Девы Марии и рожденный Ею, распятый во времена Понтия Пилата, умерший и похороненный, опустившийся в Царство Смерти, но на третий день восставший из мертвых и вознесшийся на небеса, а ныне восседающий одесную Бога, Отца всемогущего.

Я спросил: что ты видишь, Равви?

Он ответил: я вижу людей, чьи грехи взял на себя и искупил их, испив мою горькую чашу.

Я спросил: а ты хорошо видишь людей, Равви?

На глаза его набежала тень, благословляющая рука опустилась и он ответил: люди так малы и несметны.

Склонившись к нему, я сказал: Ты проклял меня, Равви, ждать там, внизу, твоего второго пришествия, поэтому я странствую среди них, живу с ними, слышу их разговоры, вижу их дела и поступки.

Чело его поникло, и плечи понурились, а рука потерла бок, словно там вновь заныла рана от копья, и он ответил: я ничего не хочу знать.

Но я сказал: когда мы встретились в пустыне и ты был наг и одинок, я отвел тебя на вершину высокой горы, откуда показал тебе все царства, в каждом из которых торжествовала несправедливость; я просил тебя тогда взять дело в свои руки, вывернуть все наизнанку, ибо настало время установить Царство Божие. Ты же ответил: Царство мое не от мира сего.

И снова на лице его мелькнула улыбка, о которой не знаешь, печальна она или иронична. Так оно и было, промолвил он.

Я продолжил: а потом ты хотел отдохнуть в тени моего дома на пути к Голгофе, когда ты изнемогал под тяжестью креста; я сказал тебе, что готов поднять в твою защиту меч Господень и чтобы ты, собрав народ Израиля, повел его на борьбу. Ты же опять не послушал меня и ответил, что должен испить чашу, которую дал тебе твой Отец.

Послушай, сказал он, когда я висел распятым на Голгофе под палящим зноем, то, пока еще кровь не совсем отлила от головы, я думал о сказанном тобой; но не для этого послал меня мой Отец, он послал меня на муки и смерть, чтобы исполнилось обетование и для всех наступило Царство Божие.

Тут я встал перед ним и спросил: ну так что же, исполнилось обетование? Наступило Царство Божие?

Он промолчал. А нимб вкруг него померк, исчез свет покоя с его лика; он обернулся, будто хотел посмотреть, не стоит ли кто-нибудь за спиной и не подслушивает ли его.

Я опять спросил: так наступило Царство Божие?

Глаза его широко раскрылись, будто от испуга, и он крикнул: изыди от меня, сатана!

Усмехнувшись, я проговорил: ошибаешься; меня кое-что связывает с Люцифером, но я другой ангел, хотя мне тоже ведома истина.

Истина — в Боге, сказал он.

Это я уже слышал, причем не раз, сказал я. Но истина зрима для всех, кто желает ее видеть, и для всех, кто хочет думать, она познаваема. Ты же сидишь на своем троне и не видишь ее, утешаясь ее неисповедимостью.

Тут он спросил наконец: чего же ты хочешь?

Я хочу, чтобы ты стал таким, каким должен быть, ответил я.

Когда я причастил учеников телом моим и кровью моей, сказал он, ты был рядом и приникал к моей груди. Возможно ли отдать больше, чем я отдал, и возможны ли большие страдания, чем мои?

Ах, Равви, сказал я, посмотри на то, что видел я в Царстве, наступившем после тебя, услышь то, что слышал я, пойми то, что понял я.

Он закрыл лицо руками, но потом собрался с силой и проговорил: я взял на себя все грехи людей и искупил их вину своей жертвой. Но где сказано, что я истреблю сам грех?

Равви, сказал я, несовершенство людей — это отговорка любой революции, не достигшей своей цели. Ты учил любить врагов своих. Ты говорил: ищите же прежде Царства Божия и правды. И ты верил в то, чему учил. Но вместо сотен тысяч, убивавших друг друга, к которым ты обращался с Нагорной проповедью, пришли теперь сотни раз по сто тысяч. Они алчут богатства, желают жену ближнего своего, развратничают и пьянствуют, торгуют собственными детьми, впрыскивают отраву в свои вены, опоганивают все, чем высок человек. Они враждуют между собой, подсиживают и предают друг друга, устраивают концентрационные лагеря, где множество людей мрет от голода; а еще их бросают в тюрьмы, истязают, убивают, и повсеместно власть имущие возглашают, будто все это делается во имя человеколюбия, на благо народа. Они растрачивают и губят богатства земных недр, превращают плодородные земли в пустыню, а воду — в жижу вонючую; большинство гнет спину на меньшинство, люди не доживают до конца отпущенного им века. Вопреки слову пророка, никто не перековал мечи на орала, копья — на серпы; напротив, тайное оружие уже проникает в космос, а земле грозят огненные грибы до небес, которые испепелят все живое, оставив от человека лишь тень на стене.

Я умолк, он сидел тихо и неподвижно, будто вырезанный из дерева

и раскрашенный; великая тьма объяла нас, только над ним слабо светилось подобие нимба.

Равви, спросил я, ты слышал меня?

Тут раздался глас свыше: Сын Человеческий возвратится, ибо Он есть определенный от Бога Судия живых и мертвых. Пошлет Сын Человеческий Ангелов Своих, и соберут из Царства Его все соблазны и делающих беззакония, и ввергнут их в печь огненную; там будет плач и скрежет зубовный; праведники же воссияют, как солнце.

Но когда это будет, спросил я.

Равви будто очнулся от забытья. Отец мой назначил день, сказал он.

Я бы до того дня не откладывал, сказал я.

Глава двадцать первая

В которой герцог Адольф основывает в Шлезвиге Царство Божие, а его суперинтендант терпит неудачу с графиней Эрентрой, Агасфер же отправляется с песнями на войну.

Оставив позади силуэт удаляющегося Гамбурга, Эйцен, в кармане которого лежало герцогское приглашение в готторпский замок, ехал по прекрасным землям Голштинии; справа коровы и слева коровы, а еще овцы и свиньи — воистину новый Ханаан, правда, немного болотистый, что, впрочем неудивительно, ибо Голштиния находится между двумя морями, Балтийским и Северным, однако, как узнал Эйцен от старшего пастора Форстиуса, у которого он остановился в Итцехоэ, чтобы откушать жареной рыбы и дать передохнуть лошадям, герцог собирался построить дамбы и осушить болота. По словам Форстиуса, герцог стал истинным отцом для здешнего края, пекущимся и о делах церковных; ему, дескать, не хватает лишь мудрого и авторитетного советника, который навел бы порядок среди местных церковных иерархов, поскольку частенько вообще неизвестно, имеет ли тот или иной пастор священнический сан и какую несусветную чушь услышат от него прихожане на очередной проповеди.

Об этом Эйцен и сам мог бы многое порассказать — в его родном городе пасторы интриговали друг против друга, чинили козни своему суперинтенданту за его верность лютеранскому учению, не говоря уж о тех, кто открыто выступал с подстрекательскими речами, называя Эйцена тираном, фарисеем и высмеивая его за попытку образумить упрямых евреев на диспуте; сенат же Гамбурга, которому надлежало бы вымести интриганов из города железной метлой, ничего не предпринимал. Да, вздохнул пастор Форстиус, духовные устои общества поколеблены, в Голштинии появилось множество опасных фанатиков, бунтовщиков, которые следуют бредовым идеям из Мюнстера, этого рассадника крамолы, где даже женщины были общими; теперь его наконец разгромили, но, к несчастью церковных и светских властей, бесовское лжеучение расползается все дальше, оно уже достигло Голландии и герцогства Шлезвигского, где на тайных сборищах читают брошюрки Менно Симонса и других лжепастырей.

Потом Форстиус заговорил о военном походе, в который собирается выступить герцог Адольф, чтобы помочь испанскому герцогу Альбе и императорским войскам разбить голландских повстанцев; дескать, тут у него, Форстиуса, есть сомнения, ибо несмотря на тяготение голландцев к женевцу Кальвину, тем не менее они остаются честными протестантами сродни здешним, шлезвигским, император же — отъявленный папист, который состоит в союзе с самим дьяволом. Но подобные сомнения не вызвали сочувствия у Эйцена, он немедленно принялся объяснять, что герцог Адольф Готторпский хоть и является истинным лютеранином, однако,

будучи имперским князем, обязан помогать императору; более того, он совершает благое христианское дело, когда идет громить бунтовщиков; недаром еще Христос учил отдавать кесарю кесарево, а доктор Лютер доказал, что никакой бунт не может быть праведным, чем бы он ни был вызван, поэтому всякий бунт богопротивен и светские власти должны препятствовать ему мечом.

На следующий день путешествие было продолжено, и уже на подъезде к городу Шлезвигу Эйцен увидел множество солдат, которые расположились на берегах Шляя или слонялись у городских ворот, немало было их и на городских улицах — полк Путефдорфа, а также датские алебардисты, собранные для похода; датчане были мрачны и ворчливы, они с куда большей охотой остались бы дома, при своей скотине, чем идти проливать кровь в далекой Фландрии; непосредственно у герцогского замка — настоящее столпотворение, по двору снуют советники, офицеры, слуги, писари, поставщики разных военных припасов, все толкаются, орут, командуют, не обращая ни малейшего внимания на суперинтенданта Паулуса фон Эйцена, который, выйдя из дорожной коляски, замер в нерешительности, не зная, куда податься.

Но тут он услышал чей-то смешок, показавшийся ему весьма знакомым; обернувшись, Эйцен увидел своего старого приятеля Ханса. Тот был изысканно одет, с короткой шпагой на дорогой перевязи, ибо, как тотчас узнал Эйцен, перед ним стоял не кто иной, как тайный герцогский советник господин Иоганн Лёйхтентрагер собственной персоной; а он заметно постарел, подумал Эйцен, вон бородка и усы поседели, да и сам я далеко не тот юнец, который встретил когда-то в лейпцигской гостинице «Лебедь» странного незнакомца. При этом воспоминании его слегка зазнобило, хотя на замковом дворе еще пригревало послеполуденное солнце, вдобавок он еще и вздрогнул, когда Лёйхтентрагер, тронув его сухими пальцами, сказал, что герцог уже заждался гостя. Комната для Эйцена давно подготовлена, добавил он.

Позднее, когда оба приятеля уселись у камина в комнате Эйцена, который с удовольствием отведал вина и холодной оленины, они вновь вспомнили старые времена, Ханс шлепал Пауля по колену, Пауль трепал Ханса по горбу, все было очень мило, только иногда Эйцен забывал от удивления закрывать рот, ибо обнаруживалось, что Лёйхтентрагер знает о нем едва ли не все — от гамбургского скандала и тайной договоренности с Агасфером, которую тот нарушил, до непрекращающейся тоски Эйцена по Маргрит, которая снится ему по ночам то принцессой Трапезундской, то английской леди, она раздевается донага и призывно ложится перед ним, из-за чего он начинает сходить с ума от вожделения; Эйцен почти готов поверить, что его старый друг был все это время рядом, как когда-то в Виттенберге, когда университетские профессора спрашивали молодого кандидата об ангелах. Эйцен в свою очередь захотел узнать, какими судьбами очутился Лёйхтентрагер в Готторпе, но тайный герцогский советник ограничился лишь улыбкой; о себе он не проронил ни слова, зато намекнул, что ожидающая Эйцена должность весьма заманчива, в остальном же предпочел говорить о госпоже Барбаре и ее дочке, Маргарите-младшей. Эйцен рассказал, что Маргарита-младшая уже выросла довольно большой и умненькой, но когда она выходит на улицу или идет с матерью на рынок, то ее частенько дразнят, отчего она уже не раз спрашивала мать, почему именно ей выпало несчастье родиться с таким уродством, которого другие люди не имеют; при этих словах Лёйхтентрагер смахнул слезу и громко высморкался, будто рассказ о бедняжке сильно задел его за живое. Однако он тут же взял себя в руки, сказав только: «А еще говорят, что Бог создал людей, это отродье поганое, по образу и подобию своему.— Не успел Эйцен, испуганный подобным святотатством, поднять руку, чтобы возразить, как Ханс добавил: — Ну ничего. Со временем она научится жить такой, какая есть, закалится, будет давать сдачи любому обидчику». Потом он встал перед камином и сказал, что пора идти, герцог уже ждет. Эйцен рассчитывал получить аудиенцию лишь завтра-послезавтра, поэтому сразу же заныл, что выпил слишком много вина, голова, дескать, соображает плохо, как бы не наговорить глупостей Его Высочеству. Но Ханс, схватив Пауля за шиворот, потащил его за собою по темным, продуваемым сквозняком залам,

которые переходили друг в друга и лишь изредка освещались укрепленными на стене факелами; наконец последняя дверь открылась сама собой, давая обоим приятелям возможность лицезреть герцога.

Герцог расположился, вальяжно откинувшись, на чем-то, что походило одновременно и на кресло, и на кровать; рубашка его была распахнута, объемистый гульфик зашнурован кое-как, на плечи был полунакинут яркий камзол; одной рукой он приподнял серебряный кубок, а другой шуганул от себя более или менее раздетых дам, которые развлекали его своими играми, после чего подал Эйцену знак приблизиться. «Так-так,— пробормотал герцог, с трудом ворочая языком и пытаясь выпрямиться.— Стало быть, вы и есть знаменитый доктор фон Эйцен из Гамбурга, которого мне столь горячо рекомендовал мой тайный советник?»

Лёйхтентрагер подтолкнул локтем Эйцена, после чего тот поспешно отвесил поклон и сказал: «Он самый, Ваше Высочество». Лёйхтентрагер добавил: «Господин суперинтендант последовательно отстаивает учение Лютера, выступая в своих проповедях против всяческих еретиков и лжетолкователей истинного Евангелия; у него нюх на этих шельм, от него ни один не уйдет из тех, кто сеет смуту и настраивает народ против церковной или светской власти».

«Отменно,— сказал герцог.— Такие нам и нужны.— Наконец герцогу удалось сесть прямо, и он продолжил: — Мы имеем намерение создать здесь, в Шлезвиге, Царство Божие, где каждый христианин следовал бы всем заповедям, как их трактует Лютер; поскольку мы являемся здесь высшим церковным иерархом, то желаем установить единомыслие, чтобы с амвона не проповедовались всякие разности,— за это будете отвечать вы, господин доктор, для чего мы сей ночью назначаем вас суперинтендантом и главным церковным блюстителем нашего герцогства; вам надлежит следить за покоем и порядком, особенно теперь, когда мы идем войной на взбунтовавшиеся Нидерланды».

Сказав это, герцог, весьма гордый своим красноречием, ждал, что ученый гость оценит мощь государственного ума, однако тот молчал, тараща глаза, будто ему явилось привидение; герцог догадался, что благочестивый священнослужитель не может отвести взгляда от его игривых дам, точнее, от одной из них, а Эйцен все глядел, пока тайный советник вновь не толкнул его хорошенько локтем. Тут Эйцен наконец опомнился, поклонился еще ниже, чем в первый раз, и сказал, что потрясен величием герцогских планов, а также оказанным высоким доверием, отчего на некоторое время даже лишился дара речи; он заверил далее, что страстно желает по мере слабых сил помочь созданию Царства Божьего в Шлезвиге; однако, дескать, он хотел бы напомнить Его Высочеству, что обременен семьей, которую, как говорится, надобно кормить и поить.

Выслушав эти слова, герцог велел своему тайному советнику освободить место на столе среди кубков и блюд с остатками дорогих яств для свитка с лентой и печатью, дабы господин суперинтендант прочитал соответствующий указ о назначении на должность, которым он, видимо, останется доволен; в качестве же первой должностной обязанности господину суперинтенданту надлежит составить молитву о даровании победы в походе на Фландрию; эту молитву нужно будет прочитать завтра утром выступающим войскам, а затем во всех церквах герцогства. Покончив таким образом с делами государственными, Адольф сделал добрый глоток вина, откинулся на подушки и поманил к себе вторую даму справа, которая до сих пор стояла наискосок от герцогского ложа, кокетливо прислонившись в полутени от свечей к статуе греческого бога Приапа.

«Похоже, графиня Эрентрой,— сказал он,— в лице нашего нового верховного пастыря вы обрели очередного поклонника, ведь он поглядывает на вас отнюдь не по-христиански. А может, вы уже где-то встречались раньше?»

Графиня склонилась к герцогу, выгодно подчеркивая тем самым пышные формы своего бюста, запечатлела на потном лбу Его Высочества поцелуй и проговорила: «У каждого позади свое прошлое, Ваше Высочество, если не на этом свете, то на другом; наверное, раньше господин суперинтендант был вроде меня, ангелочком, мы сидели на облаках и пели хором божественные песенки, пока он не спустился на землю совершать добрые дела».

Герцог оглушительно расхохотался, представив себе тщедушного, маленького, патлатого Эйцена с его сморщенным лицом, в белой рубашонке, за спиной крылышки, в руках лютня, а рядом — пышную графиню в таком же одеянии, рассылающую воздушные поцелуи на пути от одного облачка к другому; Эйцену же стало жарко при звуке хорошо знакомого, волнующего голоса графини, он внезапно догадался, почему так дьявольски привязан к Маргрит — наверное, они и раньше были скованы одной цепью, только, скорее, не на облаках небесных, а в совсем ином, гораздо более мрачном месте, но хуже всего, что проклятая цепь не отпустит его, Эйцена, до самой смерти. Поскольку смех герцога не прекращался, Эйцен взглянул на своего друга, ища у него поддержки; тот, заметив этот взгляд, склонил горбатую спину к герцогу и попросил отпустить себя и господина суперинтенданта: дескать, сегодня ночью предстоит еще немало дел, к тому же сочинение молитв — нелегкое искусство, особенно если нужно, чтобы слова молитвы действительно дошли до тех, кому они адресованы.

Едва оба приятеля очутились в комнате Эйцена, Пауль схватил Ханса за рукав и вскричал: «Это же была она! Маргрит! Принцесса Трапезундская! Леди! А теперь графиня Эрентрой!»

Лёйхтентрагер стряхнул его руку: «Если ты и дальше так будешь продолжать, Пауль, то скоро Маргрит будет тебе мерещиться в каждой бабе. Я могу устроить, чтобы Эрентрой пришла к тебе после того, как она ублажит герцога; можешь делать с ней что пожелаешь». Заметив, что руки у Эйцена задрожали, а в уголках губ блеснула слюна, он добавил: недаром, дескать, Господь отвел делу время, а потехе — час, и недаром исполнению желаний предшествует молитва; до тех пор, пока настанет час, когда Пауль предстанет пред вратами к райскому блаженству, он может спокойно прочитать указ о своем назначении и сочинить текст молебна.

Подобная мысль показалась Эйцену вполне разумной, поэтому он взял свиток, сломал печать, развернул бумагу и быстро пробежал глазами по строчкам: *Мы, Адольф, доводим сим до сведения всех, кого это касается* и т. д. и т. п., что *Мы с нынешнего числа берем к Себе на службу с назначением соответствующего жалованья* и т. д. и т. п. *досточтимого и любезного Нам, благочестивого и высокоученого знатока Священного Писания, господина доктора богословия* и т. д. и т. п., *на которого Мы возлагаем полную ответственность за вопросы религии; на сию должность он назначается пожизненно с получением из нашей казны ежегодного содержания в размере трехсот шестидесяти гульденов* и т. д. и т. п.; *настоящий указ скреплен герцогской печатью и подписан Нами собственноручно. Адольф.* Угадав в слоге и духе герцогского указа тонкую манеру тайного советника, Эйцен бросился к нему на грудь и, всхлипывая, запричитал: «Триста шестьдесят гульденов! Детки мои, особенно Маргарита-младшая, век будут тебя благодарить, Ханс!» — но почти в тот же миг он запнулся, ибо столь значительные деньги заронили в его душу сомнение: уж не хочет ли приятель потребовать от него чего-то большего, нежели умение придерживать язык за зубами и усердие в трудах по созданию Царства Божьего? Но Лёйхтентрагер только отмахнулся: меж настоящими друзьями не принято сразу же расплачиваться за каждую услугу; тут каждый что-то дает, и еще неизвестно, кто в конце концов окажется должником. А теперь — за дело!

Что ж, занятие вроде бы привычное. Чернила и писчая бумага под рукой, перо очинено, только вот в голове у сочинителя совершенно пусто. Война, думает он, война! Он представил себе поле битвы, убитых, которые лежат в лужах крови, раненых, которые стонут, просят о помощи или шепчут перед смертью последнюю молитву, а рядом полевой священник, который, невзирая на засевшего поблизости врага, утешает умирающего обещанием райского блаженства; втайне он поблагодарил Бога за то, что самому ему не надо быть полевым священником, а можно сидеть дома над толстыми фолиантами, можно скоротать время за ужином в кругу семьи, дожидаясь часа ночного свидания, когда к нему придет графиня Эрентрой.

Он вздрогнул, услышав, как кашлянул Лёйхтентрагер, и, указывая Хансу на все еще чистый, неисписанный лист бумаги, вздохнул: «Вот учился

в Виттенберге, стал магистром и доктором, знаю все об ангелах Божьих, о Священном Писании, о Большом и Малом катехизисах, но до сих пор не знаю, чем напутствовать солдата, чтобы тот со спокойным серцем отправился на войну».

Лёйхтентрагер пожал своим кривым плечом. «Ты относишься к этому слишком серьезно,— проговорил он.— Представь себе, что у противника, против которого идет сейчас войной наш герцог, тоже сидит человек, кусает перо, сочиняя молитву; испокон веку человек обращался к Богу, прося о помощи и моля даровать победу, когда собирался в бой, чтобы убивать своего собрата. Только Бог его не слышал, Ему все безразлично; Он подобен времени, которое равно течет для всех, или звездам, которые равно светят как для победителей, так и для побежденных. Поэтому твоя молитва нужна разве что герцогу, а у него башка будет завтра так трещать с сегодняшнего перепоя, что он вообще вряд ли будет что-нибудь соображать; давай-ка я тебе помогу — какая разница, что писать; лишь бы в конце было сказано «Во имя Отца и Сына...» и «Аминь».

Стоя за спиной Эйцена, Лёйхтентрагер коснулся его руки, и вдруг рука с пером как бы сама заскользила по бумаге, испещряя ее благочестивыми речениями, а когда под словом «Аминь» появилась последняя завитушка, Эйцен поднял глаза и увидел, что его друг исчез, зато в дверях стоит графиня Эрентрой, благоухая восточными ароматами; сладким голоском она спросила: «Не позволите ли войти к вам, господин доктор?»

У Эйцена едва сердце не выпрыгнуло из груди от радости при виде женщины, которая теперь пришла к нему въяве с ее темными, манящими глазами, пухлыми губами и всеми иными прелестями; вот только волосы, которые были у Маргрит рыжими, блестят теперь, словно черный французский шелк, и заколоты наверх, как это делают знатные дамы; опрокинув с грохотом стул, на котором он сидел, Эйцен кинулся ей навстречу. «Ах, дорогая графиня,— пробормотал он,— нет сейчас на свете человека счастливее меня; вы не можете себе представить, какая страсть снедала меня с тех давних пор, когда мы, будто два ангелочка, так славно пели с вами».

Графиня устроилась на кровати, откинувшись на подушки и вытянув ножки в изящных сапожках на покрывале; она лукаво заглянула в глаза Эйцену и сказала, что обожает священников, ибо они лучше всех знают, как обрести неземное блаженство. Все больше и больше распаляясь, господин суперинтендант опустился перед графиней на колени, словно перед самой богиней Венерой, его быстрые пальцы запорхали по ее платью, лифу, рубашке, пока, наконец, освобожденная от одежд, она не предстала перед ним в своей полной красоте. Тогда он принялся целовать ее сверху донизу и снизу доверху; графине это понравилось, и она похвалила ловкость, даже поинтересовалась, не благоприобретена ли подобная легкость в перстах благодаря частому перелистыванию священных книг. Решив, что пора переходить к следующему шагу, Эйцен собрался повторить происшедшее некогда в доме Агасфера, когда Эйцену показалось, будто он возлежит на прекрасной леди; скинув башмаки и свои новые штаты, он уже хотел было овладеть графиней, которая замерла в ожидании, но тут вдруг почувствовал, что ничего не сможет сделать от одного лишь страха быть одураченным вновь прежним суккубом, как это уже было однажды, когда Пауль очнулся со своей Барбарой в захудалом трактире, ограбленный до нитки и отданный на посмешище пьяному сброду; а если такое случится опять, что будет с Царством Божьим в Шлезвиге и что будет с его новой должностью?

«Господин суперинтендант,— сказала наконец графиня,— похоже, мне придется иметь дело со Святым Духом, так пойдите прочь и оставьте меня в покое».

Не смея возразить, Эйцен тут же вышел из комнаты и принялся ждать, что будет дальше; колокола на башне пробили очередной час, а графиня все еще не подавала никакого знака; Эйцена потянуло в сон, он бы и прикорнул где-нибудь, но отовсюду дуло, зябли голые ноги и ягодицы, в носу начинало свербеть — Эйцен уже с тоской подумал, что из-за насморка и хрипоты не сможет прочитать утром свою замечательную, недавно сочиненную молитву. Набравшись

храбрости, он вежливо постучал в собственную дверь, а поскольку ответа не последовало, приотворил ее: графиня исчезла. В комнате витал лишь аромат ее духов, к которому примешивался легкий запах серы; черт ее знает, куда подевалась графиня — второго выхода из комнаты нет, а от окна до земли, как убедился Эйцен, футов сорок — пятьдесят. Значит, все это было наваждением, подумал он, содрогнувшись: графиня, и Маргрит, и любовь; а может, он просто задремал и не заметил, как она ушла? Ведь есть же люди, которые могут спать мертвецким сном стоя,— это была единственная утешительная мысль.

Вскоре первые трубы запели побудку, во дворе началась беготня, зазвучали громкие команды; при свете факелов принялась строиться лейб-гвардия, конная и пешая, все гвардейцы одеты в мундиры герцогских цветов: красный, белый и синий. Потом факелы погасли, занялась заря, и Эйцен зло подумал, что провел целую бессонную ночь, а чего ради, неизвестно. Плеснув себе в лицо наспех холодной воды из кувшина, он надел свое священническое облачение, сунул в карман бумагу с молитвой и отправился искать, где бы можно было подкрепиться с утра горячей похлебкой.

Поплутав по замку, он получил-таки свою похлебку в церемониальном зале, где под балочными крестовинами потолочного свода герцогские советники, другие вельможи и офицеры заглатывали жбанами пиво и отхватывали ножами толстые ломти от окороков, чтобы наесться впрок перед смотром войск, вслед за которым было назначено выступление в поход. Эйцен едва успел опорожнить свою миску и перемолвиться словечком с Лёйхтентрагером, как в зал спустился сам герцог в сапогах со шпорами и панцире, все повскакали с мест, заорали приветствия, вскинули клинки, забряцали оружием, так что можно было подумать, будто сражение уже началось. Герцог же, хотя и слегка пошатываясь, направился прямиком к Эйцену, не знающему, куда бы деть миску с ложкой, и спросил, как почивал уважаемый господин доктор, готов ли он произнести молитву, дабы испросить у Бога благословения на победоносную войну за правое дело.

Как бы ни был пьян герцог, а подобных изъявлений благосклонности никогда еще не выпадало Эйцену, который едва не растаял от этого бальзама, пролитого на разбитое графиней сердце; в сопровождении Лёйхтентрагера он прошествовал к лужайке, предназначенной для военных парадов, мимо красного балдахина, где расположились герцогиня с придворными дамами, маленькие принцы и принцессы; на лужайке стоял деревянный помост с большим, хорошо видным отовсюду крестом; взбираясь на помост, Эйцен представил себе восхищенные взгляды графини, когда он в присутствии самого герцога и всей армии будет произносить молитву. Но сколько он ни озирался с помоста по сторонам, графиню нигде не увидел и наконец сообразил, что тянуть больше нельзя, молитву нужно начинать, ибо этого ждет вся армия, давно построенная по взводам и ротам, а также герцог, одиноко красующийся впереди.

Напрягая горло, он громко возгласил: герцог Адольф, всемилостивый господин и властитель, поднял оружие, дабы с Божьей помощью возвратить взбунтовавшиеся Нидерланды к прежнему миру, согласию и порядку; речь при этом отнюдь не идет о притеснении тамошней христианской церкви, которая блюдет чистоту веры на основе единственно душеспасительных Евангелий, а, напротив, об укреплении и защите этого чистого и истинного вероучения; будучи преданными верноподданными Его Герцогского Высочества, мы обращаемся к всемогущему и милосердному Богу именем Сына Его единородного, Иисуса Христа, с молитвенной просьбою явить Свою милость нашему властителю и господину, а также его военным советникам, военачальникам и всему его ратному воинству, ниспослать через ангелов небесных им обережение от бед и урона, даровать им воинской удачи, ратных успехов и большой победы.

Эйцен перевел дух. Герцог, как он заметил, стоял с лицом тупым и безучастным, не пытаясь, должно быть, вникнуть в то, как господин суперинтендант разобрался с нидерландскими церковными сложностями; впрочем, это вряд ли его вообще интересовало — война есть война, тут тебе раскроят череп, не дожидаясь ответа на вопрос, принимаешь ли ты Святое причастие на папистский манер или на истинно протестантский. Эйцен

продолжил: помолимся же усердно о том, чтобы всемогущий и всемилостивейший Господь ради возлюбленного Сына Своего, Иисуса Христа, оберег наши княжества и земли от всяческого злосчастья, невзгод и напастей, чтобы Он даровал нашему милостивому Государю и Господину, Его сиятельной супруге, чадам и домочадцам, а также военным советникам, военачальникам и всему ратному воинству на радость нам, Его верноподданным, счастливое возвращение; пусть вернутся все с победой целыми и невредимыми.

Тут у Эйцена после столь продолжительной, страстной речи вновь перехватило дыхание; сделав паузу и набирая в грудь побольше воздуха, он оторвал глаза от бумаги, оглянулся по сторонам и увидел, что кое-где иной бравый вояка украдкой отсмаркивался, дабы скрыть слезу; немало растроганный сам своей духоподъемлющей молитвой, Эйцен произнес под конец: «Пусть свершатся все наши чаяния, а для этого давайте от глубины души и с крепкой верой помолимся: „Отче наш, сущий на небесах!..“»

Все воинство, как один человек, во главе с герцогом, которому трудновато давалось равновесие, опустилось, кряхтя и бряцая оружием, на колени, и до слуха Эйцена долетел многотысячеустый хор голосов: «Да святится имя Твое! Да приидет Царствие Твое! Да будет воля Твоя...» Он почувствовал силу божественного слова, а также то, что его собственное слово обладает огромной силой; но увидел он неподалеку и своего друга, тайного советника, который кривил усмешкой рот; услышав следующие слова: «Твое есть Царство и сила, слава во веки. Аминь», Эйцен вдруг понял, что именно этот человек управляет им и что он, доктор богословия, призванный создать Царство Божие в Шлезвиге, оказался инструментом в чужих руках, которые уже никогда не отпустят его.

Тем временем бранью и зычными командами офицеры построили пехотные отряды к выступлению, рейтары оседлали лошадей, герцог взгромоздился на крупастого белого коня, который блистал изукрашенной золотом сбруей и таким же чепраком; Эйцен же воздел руки для пасторского благословения герцогу, его войску, полкам и отрядам, отчего стал похожим на черного ворона, который машет крыльями, тщетно пытаясь взлететь; мимо него пошла армия, впереди герцог с военными советниками, за ними лейб-гвардия, следом пешие датские алебардисты, далее уверенно держащиеся в седле легкие и тяжелые рейтары, за которыми твердым шагом промаршировал полк Пуфендорфа, бодро горланивший походную песню:

Солдат идет в строю
с товарищами вместе,
чтоб голову свою
сложить на поле чести.

Кому не повезет
прийти живым из боя,
пусть доблестно умрет,
как надлежит герою.

Всегда будь впереди,
не прячься трусом сзади,
ведь рана на груди
сродни твоей награде.

После каждого куплета раздавался дружный припев «Валери, валери, валери!», который наполнял душу Эйцена, все еще благословлявшего уходящее войско, приливом неведомой ранее отваги, его прямо-таки подмывало присоединиться к солдатскому строю. Но вот с последним куплетом:

При смело на рожон.
Бесстрашный будет воин
победой награжден
и жизни удостоен! —

промаршировал последний отряд, и Эйцен увидел в первой шеренге, идущей сразу вслед за молоденьким фенрихом, на правом фланге, знакомое лицо; солдат, кажется, тоже узнал Эйцена, а потому под рев «Валери!» обернулся и крикнул что-то похоже на «шед», что значит по-еврейски «сатана» или «черт бы тебя побрал», это был не кто иной, как Агасфер, с полной выкладкой, в форме пуфендорфского полка, полушароварах и камзоле с разрезами на рукавах.

Эйцена словно громом поразило, хотя, увидев среди придворных дам графиню Эрентрой, он уже догадывался, что и Агасфер находится где-то неподалеку; если Вечный жид затесался в войско, то это дурное предзнаменование для похода на Нидерланды, подумалось Эйцену. Но пасторский долг удержал его у деревянного креста, не позволив броситься к Вечному жиду, дабы призвать того к ответу. Тем временем отряд удалился, следом потянулся обоз, телеги и фургоны, на которых свистел и улюлюкал всякий сброд, не выказывавший никакого почтения ни вельможам, отчего те поспешили скрыться в замке, ни пастору, стоящему на помосте. Однако Эйцен, помятуя о христианской любви, решил благословить и этих людей, но тут увидел в одном из фургонов, среди котлов, сковородок и разной утвари, нагло болтающую ногами маркитантку — это была Маргрит.

Тут уж Эйцена не могли удержать ни священническое облачение, ни пасторский долг. Правда, он кинул еще быстрый взгляд на красный балдахин, не остался ли кто под ним, чтобы осудить опрометчивый поступок суперинтенданта, но оттуда все разбежались, поэтому Эйцен, подобрав свою ризу, спрыгнул на истоптанную траву, бросился за фургоном, догнал его и, пытаясь ухватиться за вожжи, чтобы остановить лошадку, запричитал: «Ах, Маргрит, любимая! Погоди! Я хочу быть твоим навеки!»

Но маркитантка принялась хохотать, а собравшемуся тотчас вокруг них народу сказала: «Первый раз его вижу. Нет, вы только послушайте, чего он от меня хочет. Вот времена настали, блудливый святоша среди бела дня нападает на честную женщину!»

И задали бы, видно, Эйцену изрядную трепку, если бы обоз не покатил дальше вместе с маркитанткой, оставив опечаленного пастора стоять на дороге.

Глава двадцать вторая

В которой профессор Байфус идет на известные уступки, а профессор Лёйхтентрагер предпринимает марксистский анализ вопроса об Агасфере и становится нежелательным лицом из-за своего замечания о влиянии юбиляра Мартина Лютера на зарождение современного антисемитизма.

Господину профессору
Йоханаану Лёйхтентрагеру
Еврейский университет
Иерусалим
Израиль

9 июня 1980 г.

Дорогой господин профессор!

Благодарю Вас за любезное предоставление нам копии адресованного суперинтенданту фон Эйцену письма от 14 октября 1556 года, которое неожиданно обнаружилось в фондах Северозльбской церковной библиотеки города Гамбурга и, по-видимому, связано с проведенной некогда в Альтоне «диспутацией»; речь идет, по Вашим словам, о собственноручном письме Вечного жида.

Не буду ставить под сомнение подлинность письма, однако хочу призвать Вас к осторожности по отношению к автору. По получении письма я немедленно

ознакомил с ним наш коллектив, попросив сотрудников высказать свои суждения; в результате обмена мнениями мы пришли к единодушному заключению, что имеем дело с мистификацией, причем мистификацией старой. Надеюсь, дорогой коллега, Вы понимаете, что мы, марксисты, настаиваем на отрицании чудес, а следовательно — на непризнании Вечного жида в качестве реального человека. Но это означает, что писем, сочиненных или написанных таковым, существовать не может. По соображениям, которые можно разделять или оспаривать, Вы не желаете принять гипотезу Пауля Йохансена об идентичности объявившегося в середине XVI века в Гамбурге Агасфера с прозорливцем Йоргом Майсенским (см. том XLI «Трудов Общества по изучению истории Гамбурга»), поэтому возникает вопрос, кем же был в действительности тот «бедный и несчастный еврей», который подписывался Агасфером, завел под этим именем знакомство с суперинтендантом фон Эйценом и позволил себя использовать последним в качестве свидетеля на вышеупомянутой Альтонской диспутации.

Выяснение этого вопроса, а также дальнейшей судьбы «бедного и несчастного еврея» послужило бы благодатной задачей в равной степени как для криминалистов, так и для историков, однако приходится опасаться, что за давностию времени ни серьезных улик, ни весомых доказательств найти не удастся. Так или иначе, здесь был замешан весьма ловкий мошенник, это явствует хотя бы из того, что на его удочку попался такой известный и по тогдашним понятиям высокообразованный человек, как Эйцен; так называемый Агасфер, то есть мнимый Вечный жид, попросту не мог обойтись без мошенничества, что, однако, поймите меня правильно, дорогой коллега, отнюдь не бросает тени на Вашего друга, торговца обувью, носящего то же имя.

История знает множество примеров, когда мелкие проходимцы выдавали себя за личностей, живших в фантазии или памяти народной; вспомните, сколько было лженеронов, сколько лжедмитриев, вспомните легендарного Капитана из Кёпеника, который, будучи, кстати, сапожником, как и Агасфер, воспользовался почтением допропорядочных бюргеров к мундиру прусского офицера. Даже у апостола Иоанна, о котором, как Вы помните, в Новом Завете (см. Иоанн 21, стих 20—23) говорится, что он не умрет, а пребудет, пока Христос не приидет, объявлялся двойник, который был сожжен в Тулузе в конце XVI века.

Я уже имел возможность изложить в разделе «К вопросу о Вечном жиде» моей книги «Иудео-христианские мифы в свете современного естествознания и исторической науки» ряд соображений о том, что апостола Иоанна, объявленного в Евангелии любимым учеником Христа, можно считать одним из первых прообразов Агасфера. Здесь я подхожу к главному тезису, не получившему, возможно, в моей прежней работе должного освещения; теперь же, по зрелом размышлении и после консультаций с моими сотрудниками, я хотел бы особо подчеркнуть значимость этого тезиса: Агасфер, при всей его легендарности, не был реальной исторической личностью, как, например, Фридрих I Барбаросса, и уж тем более не был современником и Пилата, и профессора Йоханаана Лёйхтентрагера одновременно; он являлся фигурой символической, причем весьма типичной.

Если для германцев символом вечно юного героя служил Зигфрид, убитый трусливым и коварным врагом, то символом вечно блуждающего, всюду бездомного, всеми подозреваемого, а нередко гонимого и преследуемого еврея оказался Агасфер. Подобный метафорический элемент прослеживается во многих конкретных еврейских судьбах. Так С. Морпурджо приводит в своей наверняка небезызвестной Вам книге «L'Ebreo errante in Italia» (Флоренция, 1891 г.) свидетельство некоего Антонио ди Франческо из Сан-Лоренцо, который рассказывает о своей встрече с Вечным жидом, состоявшейся в 1411 году, следующее: «Больше трех суток в одной и той же провинции он не выдерживает, а уходит прочь и странствует зримый и незримый; одет он только в хламиду с капюшоном, подпоясан вервием, ноги босые; нету у него ни мошны, ни кошелька, зато денег в достатке. Зайдя в харчевню, ест и пьет всего вдоволь, а потом откроет ладонь и дает хозяину плату щедрую; откуда у него деньги берутся, никто не видел, и никогда у него их не остается...». Эти сведения совпадают с тем, что повествует фламандская народная книжица середины XVII века, выпущенная анонимом, без указания года и места издания, книжица сия объявляет себя переводом с немецкого, но на самом деле была, видимо, первоначально переведена на французский. Там говорится: «А богатства у него всего пять штюберов, только они не кончаются,

сколько их ни раздавай». Во многих изданиях «Повествования краткого о жидовине по прозванию Агасфер», первый дошедший до нас вариант которого был напечатан якобы в 1602 году «в Лейденской печатне Кристофа Кройцера», однако странным образом имел под текстом помету «Шлезвиг, 9 июня 1564 года», рассказывается о том, что сей жидовин часто появлялся в каком-либо городе нищим и оборванным, однако уже очень скоро его там видели богато и модно одетым.

Здесь, конечно, сказывается наблюдение авторов народных книжек, что еврейские торговцы не ездили, подобно купцам-христианам, с деньгами в кошельке, а пользовались безналичным расчетом, так сказать — тогдашними кредитными карточками, чтобы избежать ограбления разбойниками с большой дороги и прочими лихоимцами; то есть еврей, взяв доверенность от соплеменника А. из города Х., приезжал к соплеменнику В. в город У. и сразу же получал там наличные деньги, что казалось непосвященным «гоям» буквально чудом.

В заключение позвольте мне резюмировать точку зрения нашего института: мы признаем Агасфера в качестве символической фигуры еврея. Все же остальное, несмотря на Вашу убежденность, дорогой коллега, и вопреки всем Вашим стараниям уверить нас в обратном разными не относящимися к делу, а то и вовсе абсурдными аргументами, мы считаем, извините за прямоту, вздором.

Остаюсь с наилучшими пожеланиями,

преданный Вам
(Prof. Dr. Dr. h. c.) Зигфрид Байфус
Институт научного атеизма
Берлин, столица ГДР

Господину профессору
Dr. Dr. h. c. Зигфриду Байфусу
Институт научного атеизма
Беренштрассе, 39а
108 Берлин
Германская Демократическая Республика

3 июля 1980 г.

Дорогой друг и коллега Байфус!

В вашем письме от 9 июня с.г., которое я прочитал сразу же по получении с большим вниманием и удовольствием, Вы пишете, выражая мнение Вашего института, что видите в Агасфере фигуру символическую и к тому же особо типическую. Ранее Вы были готовы «признать за Агасфером существование реальное», хотя и «никак не вечное», а кроме того, Вы говорили, что он представляется Вам «комплексом, имеющим ряд недостаточно изученных компонентов».

Восстановив всю последовательность Ваших рассуждений, я пришел к выводу, что Вы и Ваш институт, пусть медленно, но верно приближаетесь к фактическому признанию реального существования Вечного жида, поэтому я размышляю теперь, не стоит ли мне попытаться уговорить моего друга на поездку в Восточный Берлин, чтобы Вы могли познакомиться с ним лично и задать ему вопросы, способные прояснить «недостаточно изученные компоненты» этой вполне живой, хотя, возможно, и символической фигуры. Разумеется, мне понадобится немалое красноречие, ибо не подумайте, что господин Агасфер, повидавший Германию не всегда с лучшей стороны, возвратится туда с легким сердцем.

Но вернемся к Вашим новым аргументам, хотя, признаться, подверстывание Агасфера к юному герою Зигфриду, столь превознесенному во времена национал-социализма, пришлось мне не по вкусу. Конечно же, Агасфер, кроме всего прочего, является еще и символической фигурой; он был и остается евреем, поэтому судьба у него еврейская, взгляд на мир еврейский, отсюда недовольство наличным бытием, стремление изменить его. Он служит олицетворением, воплощением душевного беспокойства, хотя это не только еврейская черта; установленный порядок вещей неминуемо должен, как ему кажется, подвергаться сомнению и время от времени переделываться.

У меня же в этом отношении совершенно иной характер, тут я хотел бы сразу

успокоить и Вас, и Ваш коллектив, и Ваши власти, которые, видимо, проявляют особую осторожность при выдаче виз гражданам Израиля. Я люблю порядок; чем больше где-нибудь порядка, тем уютнее я себя там чувствую. Господь Бог, которого Вы отрицаете, создавая мир, создал заодно и законы, по которым живет этот мир, и с тех пор все подчиняется этим законам, заведенному распорядку и плану, и слава Богу. Моего друга Агасфера это сердит, но я утешаю его аргументом, который, несомненно, соответствует Вашим диалектическим убеждениям: каждый тезис несет в себе антитезис, отрицание, нужно только уметь ждать, однако у него, фигуры символической, истинно еврейский нетерпеж.

Впрочем, что касается символичности, то тут есть свои закавыки. Как я уже имел честь упомянуть в моей скромной работе об Агасфере, опубликованной в «Hebrew Historical Studies», а Вы сделали это гораздо более развернуто в главе «К вопросу о Вечном жиде» в Вашей замечательной книге «Иудео-христианские мифы в свете современного естествознания и исторической науки», легенда об Агасфере сложилась из весьма разнородных элементов, объединенных лишь одним общим мотивом — проклятием на вечную жизнь, на вечные скитания и муки вплоть до окончательного пришествия Иисуса Христа. Вы сами вспоминаете в своем письме слова ребе Йешуа, как это с ним нередко бывало, довольно двусмысленные, которые были адресованы апостолу Иоанну, его любимому ученику (Иоанн 21, стихи 22 и 23): «...если Я хочу, чтобы он пребыл, пока приду, что тебе *до того?*» Эти слова содержат зародыш мысли о том, что один из современников Распятого доживет до его окончательного пришествия.

Апостол Иоанн, как и сапожник Агасфер, был евреем, это несомненно; зато остается под вопросом, были ли евреями все те остальные, о которых рассказывается, что они подгоняли Христа по его пути на Голгофу и даже били его, за что и были прокляты. Был ли евреем Малх, он же Марк, полицейский сыщик, которому Петр в Гефсиманском саду отсек ухо и которому Иисус тотчас приживил это ухо, после чего тот на следующий день бил своего целителя железным кулаком в лицо на допросе у первосвященника Каифы? До создания современного Государства Израиль еврейской полиции никогда не было, если не считать гетто, где еврейскую полицию организовали нацисты; согласно еврейской традиции, грязная работа перепоручалась иноземцам, как это было при царе Соломоне, у которого для подобных дел имелись хелефеи и фелефеи, то есть выходцы с Крита и палестинцы. Или взять Картафилуса, что значит по-гречески «многовозлюбленный», служившего «привратником» (начальником преторианской стражи) у Понтия Пилата и обошедшегося с Христом весьма неласково. Совершенно невероятно, чтобы столь важное доверенное лицо римского наместника в Иудее оказалось евреем; судя по имени, он был греком, то есть язычником, хотя позднее, согласно преданию, тот же самый Анания, который крестил апостола Павла, обратил в христианскую веру Картафилуса, принявшего имя Иосиф. А неизвестный, которого потом назвали в Италии Джованни Боттадио или Буттадиус, то есть «ударивший Бога», разве он был евреем? По рассказам австрийского барона Торновица, в 1643 году иерусалимские турки показывали ему за изрядный бакшиш Малха, которого содержали в «вымощенном камнем подземелье, где пленник, одетый в свое старое римское платье, расхаживал взад-вперед, бил своей дланью то о стену, то о собственную грудь, дабы показать раскаяние за то, что некогда посмел коснуться святого лика Христа, ударив безвинного». О Картафилусе же, принявшем позднее имя Иосиф, пишет английский монах Роджер Уэндиверский в своей хронике «Flores Historiarum», посвященной событиям от сотворения мира до 1235 года, где говорится, что в 1228 году в английский монастырь Св. Альбана приехал армянский архиепископ, который на расспросы об Иосифе-Картафилусе ответил, что незадолго до своего отъезда трапезничал вместе с ним за одним столом. Дескать, епископы Армении и других восточных стран уважают этого благочестивого человека, который иногда рассказывает о подробностях распятия и воскресения, не утаивая своей прискорбной роли в этих событиях. Джованни Боттадио («ударивший Бога») видели на паломничестве к Св. Якову в 1267 году в итальянском городе Форли, о чем свидетельствует житель этого города, астролог Гвидо Бонатти, человек тогда небезызвестный, недаром Данте упоминает его в Песне двадцатой своего «Ада» рядом со знаменитым Микеле Скотто, который «в волшебных плутнях почитался докой».

Однако по-настоящему обширная литература об Агасфере возникла, как Вы

знаете, лишь после Реформации, а именно к середине XVI века, причем стоит задуматься о том, почему наибольшим авторитетом в данном вопросе прослыл столь ревностный протестант, как суперинтендант Гамбурга, позднее Шлезвига Пауль фон Эйцен. (Отчет о судебном процессе против советника императора Юлиана Отступника, с которым я ознакомился в архиве Высокой Порты, или Кумранский свиток 9 Q Res в расчет можно не принимать, ибо они не оказали никакого влияния на создание легенды об Агасфере, поскольку первый документ веками держался в секрете, а второй был найден лишь недавно.) Первые публикации об Агасфере появляются с 1602 года, зато потом число их резко возрастает, они начинают переводиться на разные языки и наводняют всю Северную Европу. Почему? Почему Агасфер возникает как самостоятельная фигура, обособившаяся от апостола Иоанна, сыщика Малха, стражника Картафилуса и паломника Боттадио, лишь после Лютера, зато сразу же с четкими указаниями на особенности финансового поведения? Не связана ли актуальность такой фигуры, как Агасфер, с изменившейся ролью евреев в экономическом устройстве протестантских районов Европы? Вот вопрос, который должен был бы вызывать совершенно особый интерес именно у Вас, дорогой профессор Байфус, коль скоро Вы так охотно ссылаетесь на свои марксистские убеждения.

Разумеется, Лютер вряд ли был совсем уж безразличен к возможности существования живых очевидцев трагической судьбы ребе Йешуа (он же Иисус Христос); церковь, безусловно, надеялась использовать их свидетельства против сомневающихся, еретиков и, естественно, против евреев. Но подобные мотивы имели ограниченное значение, к таким очевидцам обращались редко, если обращались вообще, поскольку существовала опасность, что они зайдут слишком далеко, противопоставляя в своем религиозном рвении слова и мысли Распятого реальной практике тогдашней церкви. Ведь ни один из претендентов на роль очевидца, как бы они себя ни именовали, не сумел стать фигурой символической, не говоря уже о символе еврейства.

Такой фигурой стал Агасфер, сумел ею стать, но лишь после Реформации, которая уничтожила на завоеванных ею территориях монополию католической церкви и ее крупнейших банков, Фуггера и Вельзера, на кредитно-денежные операции. Ведь церковь давно преступила через заповедь Моисея из Второзакония (23, 19), запрещавшую ростовщичество, то есть предоставление ссуд под проценты. Лютер же, выступая против торговли индульгенциями, настаивал на соблюдении библейских заповедей, чем подрывал сложившиеся финансовые структуры, поэтому благочестивые, блюдущие заповеди протестанты остались без банкиров. Но, как Вам известно, дорогой коллега, Моисей запрещает во Второзаконии (23, 19) брать проценты с брата, зато с иноземца их можно драть за милую душу (23, 20); эта оговорка подталкивала тех, кому едва ли не все окружающие приходились чужаками, а именно еврейское меньшинство, к финансовым делам, чем евреи и занялись, поскольку они все равно были лишены прав на иное имущество или ремесла.

Таким образом, именно Лютер заставил и князей, и крестьян обратиться к неугомонному еврею, чтобы потом тем громче проклясть последнего за ростовщичество, разжигая погромные настроения, которые оказались настолько живучими, что ими сумели воспользоваться нацисты. До Реформации антисемитизм носил преимущественно религиозный характер, ибо кто, как не евреи распяли Христа и до сих пор отказываются признать его Мессией? Теперь же антисемитизм приобрел ярко выраженную экономическую основу да еще воплотился в символической фигуре, которая могла вызвать ненависть, а кроме того, отвечала извечным страхам перед чужим, непонятным, еврейским — такой фигурой стал Агасфер.

Я вполне отдаю себе отчет, дорогой профессор Байфус, что те же проблемы, которые возникали у Вас с реально существующим Агасфером, ожидают Вас в силу вышеизложенного и с символической фигурой. Однако к этому понятию в ходе нашей дискуссии прибегли Вы, мне же не оставалось ничего другого, как отреагировать соответствующим образом.

Сердечно и дружески кланяюсь Вам,

Ваш
Йоханаан Лёйхтентрагер
Еврейский университет
Иерусалим

Товарищу профессору
Dr. Dr. h. c. Зигфриду Байфусу
Институт научного атеизма
Беренштрассе, 39а
108 Берлин

8 июля 1980 г.

Дорогой товарищ Байфус!

Вновь рассмотрев твою переписку с профессором Лёйхтентрагером из Еврейского университета города Иерусалим, вынуждены констатировать, что дела приобретают все более нежелательный оборот. Отстаивая в полемике с израильским партнером наши научные позиции и достижения, ты одновременно подпадаешь под его влияние, идешь на уступки, тем самым оказываешься в ловушке, из-за чего позднее тебе приходится отказываться от своих собственных слов. Но еще серьезнее то обстоятельство, что вместо разведки замыслов израильского империализма, планирующего с помощью дискуссии об Агасфере очередную идеологическую диверсию, ты позволяешь проф. Лёйхтентрагеру втянуть тебя в обсуждение ненужных частностей и неопределенностей, что при продолжении подобной линии поставит тебя в оппозицию по отношению к политике нашей партии и правительства.

Особенно подчеркнем неуместность дискуссии о Лютере, в которую вовлекает тебя твой «дорогой коллега» и которая полностью противоречит нашим интересам накануне приближающегося юбилейного 1983 года, когда в чествовании Лютера примут, как известно, участие высшие представители нашего государства. Сегодня господин Лёйхтентрагер напоминает тебе об антисемитских высказываниях и писаниях Лютера, а завтра он процитирует лютеровский памфлет времен Крестьянской войны против «разбойничьих и грабительских шаек крестьян», которых он призывал «рубить, душить и колоть, тайно и явно, так же, как убивают бешеную собаку», что поставит в неловкое положение не только тебя, но и всех, кто работает над успешным проведением запланированных торжеств.

Рекомендуем тебе сделать проф. Лёйхтентрагеру деликатный намек на то, что его визит в ГДР, особенно в сопровождении господина Агасфера, является нежелательным, после чего переписку надлежит прекратить.

С компетентными органами вопрос согласован.

С социалистическим приветом,

Вюрцнер,
начальник управления
Министерства высшего и среднего
специального образования

Глава двадцать третья

В которой повествуется о том, как суперинтендант фон Эйцен защищает истинное вероучение от нападок и отклонений, а также о том, как Маргрит вновь оказывается бесовским наваждением.

Минули годы, а время течет быстро даже в герцогстве Шлезвиг, к тому же, как водится, у кого есть auctoritas, к тому приходит и reputatio, или, говоря попросту, кто занимает высокое положение, тот пользуется и уважением, поэтому немудрено, что к господину суперинтенданту фон Эйцену обращаются самые разные инстанции от гессенского ландграфа до Тюбингенского университета, от гамбургского сената до саксонского курфюрста с просьбами высказать суждение по тем или иным богословским вопросам, таким образом, он становится все более авторитетным арбитром и судьей, когда заходит спор о единственно верном толковании Евангелия и Аугс-

бургского исповедания или о том, что считать ересью, а что нет; его письма расходятся повсюду и встречают их, будто некогда апостольские послания; не раз, если возникала нужда, он отправлялся в путь самолично, добираясь до Наумбурга и даже дальше, чтобы с неизменного благословения Его Герцогского Высочества выступить поборником слова Божьего и защитником единственно истинного вероучения, каким его изложил и истолковал доктор Мартинус Лютер; однако там, где почве надлежало быть особенно прочной, а фундаменту и краеугольным камням Царства Божьего — незыблемыми и надежными, именно там продолжались качания и шатания; какую стену ни задень, начинает сыпаться труха, к чему ни прислушайся, всюду слышатся шепотки инакомыслия или сомнения в таинствах крещения и евхаристии; но хуже всего, что герцог Адольф, вернувшись из голландского похода без лавров победителя, желал наверстать упущенное, то есть снискать славы хотя бы на ином поле брани, в битвах за веру, для чего господин суперинтендант должен вымуштровать все свое духовное воинство, заставив его маршировать единым строем и четко выполнять команды направо или налево.

Тайный советник Лёйхтентрагер, проявивший, как всегда, отменное чутье, сказал Эйцену по этому поводу: «Еще мудрый Аристотель, у которого доброму христианину есть чему поучиться, считал, что истинное благо не может произрасти из сердца человеческого по причине людской слабости и податливости соблазнам; благо может произрасти только из закона, поэтому все следует упорядочить соответствующими установлениями, соблюдать которые обязан каждый, даже если его понадобится принудить к этому силой».

«Ах,— возразил ему суперинтендант,— к нашей общей беде, заповеди Божьи существуют для людей, скорее, ради того, чтобы нарушать их, нежели ради того, чтобы следовать им; Господь же карает нарушителей недостаточно сурово, а главное — не немедленно, как тому полагалось бы быть; нет, откладывая наказание, Он как бы попустительствует преступникам, которые начинают думать, что если гром и молния не поразили их на месте, то ничего дурного вроде бы и не произошло; дескать, до небесных смотрителей далеко, за всеми не уследишь».

«Дело в том, Пауль,— сказал Лёйхтентрагер,— что ты за всеми хочешь уследить сам. Надо же иметь двести глаз и ушей, а еще лучше — две тысячи, которые станут высматривать и подслушивать. Зачем тебе иначе столько пасторов и проповедников, ведь не затем же, чтобы плодились бездельники?»

«Боюсь, ничего с этим не получится, Ханс,— вздохнул Эйцен.— Господа пасторы и проповедники — народ не слишком бойкий, им больше по душе добренький Боженька, так что не знаю, как их раззадорить».

«А ты их обяжи,— сказал приятель, ласково поглаживая по головке хроменькую и горбатенькую Маргариту-младшую, которая зашла в комнату, чтобы принести гостю вина, дарованного, кстати говоря, из герцогских погребов, ибо церкви всегда что-нибудь перепадает.— Обяжи их клятвой и распиской,— продолжил тайный советник.— Вот солдат, например, дает присягу и поэтому обязан беспрекословно повиноваться своему командиру».

Тут с глаз Эйцена словно пелена спала; суперинтенданта озарила мысль, что, если все его пасторы и проповедники торжественно поклянутся блюсти догматы веры и свято пообещают внушать их своим прихожанам со всею строгостью, дабы не возникало никаких отклонений, а в противном случае об инакомыслящих будут доносить властям, тогда в Шлезвиге действительно установится Царство Божие, чем и Господь будет ублажен, и герцог доволен. Он подивился тому, насколько глубоко способен заглянуть его друг Ханс в души людские вообще, и в души пасторов с проповедниками в частности; ведь после такой клятвы никого из них не придется понукать, каждый будет знать, что, допустив послабление или нерадение, он сможет лишиться всех доходов и привилегий, а потому будет стараться изо всех сил.

Когда Ханс, сославшись на неотложные дела, ласково шлепнул Маргариту-младшенькую по попке, раскланялся с хозяйкой дома, госпожой Барбарой, и ушел, Эйцен тут же подсел к пюпитру; очинив перо, он принялся заносить на бумагу все то, во что следует верить и в чем надлежит торжественно поклясться каждому, кто намеревался быть пастырем овечек Господних в герцогстве Шлезвиг; перечисляются, во-первых, Священное Писание, далее — Апостольское учение, Символ веры, догматы и принципы, нераздельное слияние божественной и человеческой природы в Иисусе Христе, Аугсбургское исповедание и, наконец, Большой и Малый катехизисы Лютера. Причем будет положено подписать не только весь документ целиком, но и каждый абзац в отдельности, чтобы позднее ни один из подписавших не смог заявить, будто чего-то недоглядел или упустил.

Поэтому Эйцен пишет: *«Дабы не попустительствовать лукавому, который всячески извращает ныне важнейшие основы нашего христианского вероучения и религии, я, Имярек, клянусь также искренне ненавидеть, осуждать и проклинать лжеучения всех тех, кто отклоняется от вышеупомянутых Священного Писания, Символов веры, догматов и катехизисов, всех причастных ереси цвинглианцев, кальвинистов, приверженцев лжетаинств, а также перекрещенцев и тех, кто отрицает необходимость и силу святого крещения, равно как и присутствие Христа при святом причастии, когда пресуществляется Его плоть и кровь, ибо все эти лжеучения и ереси разрушают единство веры, а также вводят в заблуждение простых людей».*

Эйцен с удовлетворением подумал: вот тот сильный язык, которым пользовался сам доктор Мартинус, когда каждое слово похоже на удар бича, что весьма необходимо, чтобы подстегнуть и припугнуть мягкосердечных пасторов, как нынешних, так и будущих; далее Эйцен велел своим пасторам дать письменную клятву, что они будут всячески предостерегать вверенные им общины от вышеперечисленных заблуждений и не потерпят, чтобы хоть одна овца из их стада прибилась к еретическим обществам и сектам.

Перечитав все, что он с таким тщанием закрепил на бумаге, Эйцен вдруг осознал, какую власть даст ему эта клятва как судье, кто будет решать, кого отнести к правым, а кого к виноватым; чтобы закрепить эту власть и упомянуть светских правителей, которые служат самой надежной опорой пастырю духовному, Эйцен приписал мелкими буковками, поскольку места на листе бумаги оставалось уже немного: *«В заключение сего клянусь всецело повиноваться христианским повелениям, а также указам нашего Государя, Его Высочества Герцога Адольфа, и руководствоваться наряду со Священным Писанием и Аугсбургским исповеданием только Церковным уложением для герцогства Шлезвигского и Гольштинского».* И наконец, почти уже в качестве примечания он добавил на полях: *«Во всем этом да поможет мне Бог. Аминь».*

Герцог Адольф, которому текст новой пасторской клятвы зачитал тайный советник Лёйхтентрагер собственной персоной, остался им весьма доволен и распорядился без промедления обнародовать его в герцогстве Шлезвигском и прочих землях своего владения, после чего господин тайный советник с едва заметной улыбкой сказал своему другу Паулю, что теперь вряд ли что-либо воспрепятствует скорому установлению в Шлезвиге Царства Божьего под благоволящим диктаторским оком суперинтенданта. Ждать этого пришлось действительно не долго, ибо все пасторы и даже кандидаты на пасторскую должность поспешили дать новую клятву и срочно вернуть с подписью и печатью разосланные формуляры, чтобы безотлагательно засвидетельствовать свою верноподданность и благонадежность. Более того, среди них началось прямо-таки соревнование, кто больше вернет в стадо заблудших овец или даст знать соответствующим властям о тех, кто не отказывается от своих заблуждений и остается привержен ереси, дабы с упорствующими можно было поступить по всей строгости закона. Особенно в Айдерштедтском крае, куда переселилось довольно много голландцев, потому что дома их якобы преследовали паписты, теперь на них устраивалась настоящая охота; недаром же исстари

считается, что если в хлеву скотину бесят забравшиеся туда волк или лиса, то и смуту промеж местного люда обычно учиняют чужаки, поэтому в трактирах, на рынках, даже в домах чуткие уши слушали, не говорит ли кто подстрекательских речей, зоркие глаза смотрели, не хранит ли кто книжек Давида Йориса или Менно Симона и тому подобных еретиков, анабаптистских проповедников, не говоря уж о тайных сборищах перекрещенцев-единомышленников; каждый пастор тщательно записывал, а потом сообщал, кто крестит детей, как положено, частенько ли навещает прихожанин церковь, внимательно ли слушает проповедь, регулярно ли причащается. Люди же стали бояться, ведь еще не забыты те недавние времена, когда перекрещенцев сжигали на кострах, еретиков поджаривали, привязав к столбам, или пытали калеными щипцами, душили, четвертовали, вешали на деревьях или бросали к крысам и гадам в глубокие ямы, гноя несчастных заживо.

Там, где одни усердствуют, а другие боятся, успех обеспечен. На меннонитов и давид-йористов устраивались в Шлезвиге облавы, словно на зайцев по осенней поре. Пасторы благочинные и приходские сдавали властям то одного вероотступника, то другого, а самые боевитые, пастор Мумзен из Ольденсворта и пастор Моллер из Тённинга, набрали почти по десятку тех, кто не признавал, что бес совращает даже новорожденных, которых по этой причине необходимо крестить; оба пастора, впрочем, сообщали, что часть грешников увещеваниями или угрозами вечного проклятия была возвращена к истинной вере, однако остальные продолжали упорствовать в инакомыслии, поэтому необходим духовный авторитет более весомый, например самого господина суперинтенданта, чтобы разобраться, что к чему.

Эйцену увиделось в этом знамение свыше. Ему предоставлялась возможность провести показательный церковный процесс, опираясь, разумеется на светские власти, а уж само дело он сумеет повернуть иначе, чем тогдашнюю диспутацию с евреями, ибо теперь Вечный жид не помеха, а вернутся еретики к вере истинной или нет — не так уж важно; главное, что процесс будет деянием богоугодным и покажет всем в Шлезвиге, а также за пределами герцогства, как он, суперинтендант Паулус фон Эйцен, отстаивает от любых нападок и извращений учение Лютера во всей его чистоте.

Когда он рассказал о своем плане Лёйхтентрагеру, тот почесал горб, улыбнулся своей обычной, только еще более кривой улыбкой и сказал, что провести такой процесс, выдвинуть обвинение, допросить обвиняемых и вынести приговор — идея замечательная, она послужит значительным вкладом в наведение порядка, который необходим для процветания государства; он сам переговорит с герцогским наместником и префектом Айдерштедтского края Каспаром Хойером, известным своей честностью и благородством, чтобы тот все как следует подготовил для скорейшего проведения судебного процесса в городе Тённинге, где, между прочим, варят отменное пиво и подают вкуснейших крабов.

Дорога от Шлезвига до Тённинга весьма недурна, хотя и слегка ухабиста, в ясном небе светит весеннее солнышко, и, несмотря на то что Эйцена изрядно растрясло, настроение у него прекрасное, каковым оно и должно быть у человека, который, отстаивая единственно истинное и душеспасительное вероучение, знает, что полиция на его стороне. Герцогский наместник и префект Айдерштедтского края, честнейший и благороднейший Каспар Хойер, который встретил Эйцена во дворе тённингского замка, оказался человеком компанейским; правда, тонкости крещения и евхаристии оставляли его совершенно равнодушным, но раз уж его государь, герцог, считает, что от них зависит процветание государства и благополучие верноподданных, а он, Каспар Хойер, желает и дальше жить спокойно, теша себя копченым угрем, свиными отбивными, добрым вином или пивом, то был отдан приказ заключить в тённингскую крепость Клауса Петера Котеса, Клауса Шиппера, Дириха Петерса, Зиверта Петерса, а также Фопа Корнелиуса, Мартена Петерса и Корнелиуса Сиверса, большинство из которых уроженцы Ольдесверта, а остальные — жители Тетенбюлля или Гардинга;

на всякий случай распоряжением наместника конфискован скот и прочее имущество арестованных, чтобы передать их герцогской казне, если суд вынесет обвинительный приговор.

Все это, а также то, что вести судебный процесс будет наместник и префект Его Герцогского Высочества собственной персоной, Эйцен узнал от честнейшего и благороднейшего Каспара Хойера, когда оба они, почтенные мужи зрелого возраста, живущие в согласии с собой и миром, спустились для прогулки к гавани, чтобы посмотреть, как рыбаки вытаскивают на берег свой улов — толстых рыбин, множество разных моллюсков, а главное, крабов, которые, если их почистить да подать под острым соусом, могут порадовать самого разборчивого гурмана.

Хорошее настроение сохранилось и наутро, когда Эйцен отправился в резиденцию наместника, где должен был состояться суд; ночью он спал глубоко и покойно, отчасти из-за вина и водочки, которыми его потчевал Каспар Хойер, но главное — спится крепко тому, у кого совесть чиста. Нет, ненависти ко всем этим Котесам, Шипперам или Петерсам он не питал, напротив — если б они проявили готовность вернуться на путь истинный, он отнесся бы к ним как добрый пастырь, увидевший своих заблудших овечек на краю пропасти, поэтому с любовью, но и с озабоченностью посмотрел он на выстроившихся в две шеренги арестантов, охраняемых стражниками, а потом перевел взгляд на удобно расположившихся в своих креслах пасторов Мумзена и Моллера, которые вместе с другими духовными лицами прибыли на процесс, дабы поучиться у своего суперинтенданта, как надо обращаться с еретиками. Обвиняемые же выглядели куда хуже; дни, проведенные в темном подземелье, сделали их лица бледными, арестанты зябко ежились и почесывали запястья, натертые веревками.

Наместник и префект Каспар Хойер, восседающий на своем судейском месте, наклонился к Эйцену, который, исполняя роль инквизитора, сидел чуть ниже и слева; Хойер шепнул, что, когда начнется допрос, надо сделать его покороче, поскольку госпожа наместница и префекторша приготовила к обеду превосходного копченого лосося, такого нежного, что просто тает на языке, а также утку, фаршированную капустой, и прочие яства. После этого, уже громко, он велел секретарю судебного заседания объявить имена обвиняемых, чтобы удостоверить их личность и присутствие, а затем огласить само обвинение. Эйцен принял немалое участие в составлении этого текста, что сразу же заметно по обилию благочестивых слов и речений; суть же сводится к изобличениям в отклонении от Аугсбургского исповедания, в принадлежности к секте перекрещенцев и в упрямом нежелании отказываться от заблуждений, несмотря ни на добрые увещевания, ни на христиански суровые наставления; обвиняемые продолжают упорствовать в ереси и в отрицании необходимости крестить младенцев.

После оглашения обвинительного текста господин наместник и префект спросил, не желает ли кто-либо из подсудимых высказаться по сути обвинения, а возможно даже, заявить о своем раскаянии; если таковое желание есть, пусть говорят, пока не начался допрос. Тут Клаус Петер Котес, в некотором роде предводитель подсудимых, сказал, подняв руку: все они, дескать, люди простые, крестьяне и ремесленники, один из них — обойщик; хотя Библию они знают, но в речах неискусны, спорить с учеными господами не умеют, поэтому было бы лучше, чтобы в суде их представлял настоящий проповедник, когда речь зайдет о смысле и значении святого причастия или о первородном грехе; по этой причине они обратились с письмом к своим голландским братьям меннонитам, прося о поддержке; еще вчера от них должен был приехать ученый человек, самое позднее он приедет сегодня, поэтому они просят суд отложить слушание на несколько часов, чтобы дождаться защитника.

«Что?! — гневно воскликнул Эйцен, чувствуя, что с ним опять могут сыграть злую шутку, как это уже случилось однажды в Альтоне.— Разве не довольно с нас инакомыслия самих обвиняемых, которые выступают против посвященных в сан служителей церкви, а также против светских властей, подрывая основы всего божественного мироустройства? Неужели

мы позволим явиться в наше герцогство их главному вольнодумцу, чтобы бесконечно спорить с ним? А может, и вовсе пригласим его на суд в качестве expertum legis divinae? [1] Мы сами достаточно разбираемся в материи, нам не нужны посторонние, чтобы нас поучали, а тем более пришельцы из Нидерландов, где процветает ересь».

Однако честнейший и благороднейший Каспар Хойер, потрогав двойной подбородок пальцем, решил, что нельзя отказывать подсудимым в праве на свидетелей защиты, но заметил, что если эти свидетели будут придерживаться таких же ересей, как и подсудимые, то суд проявит к ним не меньшую строгость, чем к подсудимым; впрочем, срок заседания назначен уже давно, и оно не может быть просто-напросто отложено до тех пор, пока где-то между Амстердамом и Тённингом не сменят подкову захромавшей лошади или не починят сломавшуюся ось экипажа. «А теперь, господин суперинтендант,— заключил он,— задавайте подсудимым ваши вопросы, чтобы по их ответам выяснилось, продолжают ли они упорствовать в ереси, или почли за благо обратиться к учению Лютера, как оно записано в Аугсбургском исповедании, и принять гольштинское уложение о церкви».

Уповая на Господа, волей которого обезножились бы кони голландского лжепроповедника или сломалась бы его коляска, Эйцен начал свой допрос по хорошо продуманному плану, когда от общего речь незаметно переходила к частному, а в результате все еретики должны были попасться на острые крючки лютеровской диалектики. Однако твердолобые еретики отвечали на хитроумные вопросы дерзко или отмалчивались, а некоторые и вовсе заявляли, что никто не заставит их отказаться от своей веры, даже сам господин суперинтендант, как бы он ни старался.

Подобная строптивость, заметил Эйцен, вызвала у префекта серьезное неудовольствие не только по отношению к подсудимым, но и по отношению к попустительской мягкости, с которой велся допрос. Поэтому он решил прекратить разговоры и увещевания, а уж присутствующим господам пасторам придется с этим смириться, тем более наглым вольнодумцам; видит Бог, он сделал для подсудимых все, что мог, пытаясь цитатами из священного Писания и рассуждениями о природе Иисуса Христа вернуть к истинной вере; не захотели, пускай сами расхлебывают. Либо они примут таинства крещения и евхаристии, либо понесут наказание, самое мягкое из которых — выдворение за пределы герцогства. Приосанившись и насупив брови, Эйцен спросил обвиняемых: ad primum, следует ли считать, что все люди, за исключением Иисуса Христа, зачаты и рождены во грехе и были по природе чадами гнева, расположенными к злым делам, да или нет?

Котес почувствовал, что наступил решающий момент; этот священник в черном облачении вцепился в них мертвой хваткой, и теперь от его вопросов не отвертеться. Поэтому ответил: «Мы не понимаем, почему должны считаться пребывающими во грехе со времен Адамовых, и не можем согласиться с тем, что зачаты во грехе. На новорожденном нет греха, который мог бы повредить спасению его души. Нам непонятно, почему говорится, будто болезни и смерть являются следствием греха. Ведь так устроено в природе, а человек начал существовать, будучи Адамом до грехопадения».

«Сие есть предосудительное вольнодумство!» — воскликнул Эйцен, следя за тем, чтобы секретарь судебного заседания аккуратно записал его слова. Затем с оглядкой на честнейшего и благороднейшего господина наместника и префекта, дабы и ему, лицу недуховного звания, было понятно, о чем идет речь, Эйцен спросил: ad secundum, согласны ли подсудимые, что надо крестить младенцев и что крещение служит младенцам во благо и во спасение, да или нет?

«В Писании сказано,— ответил Котес,— что все мы живы верою. Следовательно, спасен будет только тот, кто верует и кто крестился ради веры своей».

---

[1] Эксперт по Закону Божьему *(лат.)*.

«Сие есть кощунство»,— продиктовал Эйцен секретарю, после чего задал подсудимым вопрос: ad tertium, верят ли они, что Христос муками Своими и жертвой, принесенной ради нас, взял на себя наши грехи, и что поэтому мы благодаря одной лишь вере своей получим отпущение грехов и обретем спасение, да или нет?

«Если мы все спихнем на Христа, то расчистим путь для греха,— ответил Котес.— Мы должны сами сделать все, что в наших силах, чтобы обрести спасение. Как Бог ищет человека, так и человек должен искать Бога».

«Сие есть святотатство»,— продиктовал Эйцен и, убедившись, что секретарь записал его слова, пожелал узнать: ad quartum, веруют ли подсудимые, что Иисус Христос воистину питает нас во Святом причастии Своею плотью и поит Своею кровью, да или нет?

«Хлеб и вино,— проговорил Котес устало,— мы вкушаем в память о Христе, но они остаются просто хлебом и вином. Все остальное есть суеверие и папизм».

«Сие есть ересь злостная!» — У Эйцена начал срываться голос, но ему еще хотелось продемонстрировать честнейшему и благороднейшему Каспару Хойеру, к чему ведут вольнодумные искажения единственно истинного и душеспасительного вероучения in praxi, ибо до сих пор в ходе судоговорения еще не было показано, как одно связано с другим, то есть насколько законность и порядок зависят от отправления веры, поэтому он спросил, охрипнув от праведного гнева: ad quintum, согласны ли подсудимые с тем, что настоящий христианин может быть светским правителем, добросовестно исполнять начальственные обязанности и потом обрести спасение; ad sextum, обязаны ли христиане, как это заповедано в Писании, во всем повиноваться властям; и, ad septimum, есть ли, по мнению подсудимых, противоречие между Царствием Христовым, с одной стороны, и государствами и государями светскими — с другой, да или нет?

Наступила такая тишина, что казалось, будто слышно, как древесный червь точит балки наместнической резиденции; все взоры устремились на Клауса Петера Котеса, Клауса Шиппера и Дириха Петерса, а также на Фопа Корнелиуса, Мартена Петерса и Корнелиуса Сиверса, бледные лица которых покрылись серебряными бисеринками пота, ибо все понимали, что эти вопросы — самые тяжелые и в зависимости от ответа на них будет произнесен приговор.

«Так что же? — прохрипел Эйцен.— Да или нет?»

Не дождавшись ответа, он уже собрался было произнести обличительную речь, которая, впрочем, послужила бы лишь предвкушением того, что Котесу и его сообщникам предстояло услышать от Судьи небесного на Страшном суде, как дверь зала сама собой отворилась и через порог шагнул объявленный еретиками лжепроповедник из Голландии в сопровождении женщины, которая была закутана с ног до головы, что не мешало, однако, даже под покровами угадывать весьма впечатляющие формы. Эйцену вдруг почудилось, будто зал судебного заседания со всеми присутствующими начал медленно вращаться, это вращение убыстрялось, но в центре его продолжал хранить неподвижность внезапный гость, а его спутница, откинув покрывала, дерзко взглянула прямо в глаза суперинтенданта, да еще сложила как бы для поцелуя свои пухлые алые губы, словно желая сказать: «Ну что, ты все еще сохнешь по мне, старина?»

Размеренным шагом лжепроповедник подошел к креслу наместника и префекта, степенно поклонился и сказал: «Ваша честь, меня зовут Агасфер, Ахав Агасфер. Я прибыл в Тённинг из Амстердама, чтобы ответить на все вопросы, касающиеся вероисповедания обвиняемых, а также поддержать и утешить их, насколько это окажется в моих силах».

Внимательно разглядев пришельца, одетого в темно-коричневый, голландского покроя сюртук и производившего вполне солидное впечатление, однако вместе с тем вызывавшего какую-то смутную тревогу, Каспар

Хойер сказал: «Что касается опроса, мингерр, то тут вы опоздали, а вот поддержка и утешение еще могут понадобиться».

Агасфер поклонился вновь. «Ваша честь,— сказал он,— разве по завершении опроса обвинителю и обвиняемым не дано право подытожить суть дела? По-моему, досточтимый господин суперинтендант как раз собирается это сделать. Я прошу лишь позволить мне ответить ему, когда он закончит».

«Мингерр...» — пробормотал наместник и запнулся, не зная, что сказать; ища помощи, он взглянул на Эйцена.

Тот наконец пришел в себя. Воздев руки, подобно ветхозаветным пророкам, когда они призывали в свидетели Бога, он закричал: «Да какой это мингерр? Это же базарный лицедей, который выдает себя за Вечного жида. Хуже того, он — презренный дезертир, сбежавший из герцогского полка Пуфендорфа. Хватайте его! Вяжите! Хватайте сучку его, не дайте им уйти!»

Судебные стражники, проявив расторопность, бросились на фальшивого голландца, а когда тот выхватил шпагу, они тоже взялись за оружие, начался гвалт, суматоха, от клинков посыпались искры, к испугу господ пасторов; но против свары псов не устоит даже лев, поэтому вскоре показалось, что израненный Агасфер вот-вот падет наземь, однако тут между ним и самым здоровенным стражником бросилась Маргрит, и удар шпаги, предназначавшийся Агасферу, достался ей. Увидев кровь, стекающую по белой шее, алую, каким некогда в Виттенберге было незабываемое вино, Эйцен содрогнулся и закрыл лицо.

А открыв глаза, он испытал не меньший ужас, чем все другие присутствующие; перед ним лежало то, что осталось от женщины, которая всю жизнь манила и искушала его: деревянная болванка с паклей вместо волос и дырками вместо глаз, носа и рта, рядом соломенный сноп, закутанный в тряпье, обыкновенное пугало, какие стоят на крестьянских полях, чтобы отгонять птиц. Но разве все мы не оказываемся в конце концов лишь перстью земной и прахом, а прочее — только пустое тщеславие и бесовское наваждение?

Тем временем стражники увели Агасфера.

Глава двадцать четвертая

В которой Агасфера, по приговору герцога Готторпского, восемь раз прогоняют сквозь строй, а досточтимый господин суперинтендант не внемлет просьбе смертника, в свою очередь некогда отринувшего Равви, хотя и по иной причине.

Что для растения обильный дождь и солнечное тепло, то для человека — надежда; он расцветает на глазах, щеки его наливаются румянцем, волосы блеском, глаза сиянием, и весь он будто молодеет. Так произошло и с господином суперинтендантом Паулусом фон Эйценом, который обрел надежду, что наконец-то избавится от еврея, который стал истинным проклятием и отравил многие годы его жизни, а напоследок, тут уж сомневаться не приходится, употребил свое дьявольское чародейство, чтобы превратить прекрасную Маргрит в сноп соломы назло ему, благочестивому христианину и верному слуге государства, да и на страх всем остальным.

На вопрос об арестанте он ответил герцогу, который завтракал, лежа в постели и поглядывая на стоявших справа и слева суперинтенданта

и тайного советника Лёхтентрагера: да, сомнений нет, речь идет о шарлатане и базарном лицедее, который странствовал по городам, выдавая себя за Вечного жида и выманивая у людей деньги с помощью принцессы Трапезундской; затем он поступил на службу Его Герцогского Высочества, а именно в полк Пуфендорфа, с которым отправился в голландский поход; он же, выдавая себя за меннонитского проповедника, имел позднее наглость предстать свидетелем защиты перед Его Высочества церковным судом, состоявшимся в Тённинге под председательством Айдерштедтского наместника и префекта, где оный лжепроповедник посредством черной магии превратил живую женщину в сноп соломы; короче, речь идет об одном и том же лице, по существу — обычном дезертире, которого следует отдать под трибунал; господин тайный советник также может подтвердить личность преступника, поскольку знаком с ним по прежним временам; и наконец, имеются списки солдат полка Пуфендорфа, куда вышеозначенный А. Агасфер был занесен и где позднее он был отмечен как пропавший без вести.

От подобного доклада герцог прямо подавился копченым мясом, поданным на завтрак, а когда он наконец прокашлялся и прочистил глотку, то первым делом спросил у своего тайного советника, не было бы разумнее подержать при себе такого кудесника, а не гонять его сквозь строй, ибо в герцогстве полно разряженных и размалеванных дам, которых недурно бы превратить в соломенные чучела, по сути, они таковыми уже и стали. Однако Лёйхтентрагер, бросив на Эйцена взгляд, от которого тот содрогнулся, ответствовал, что арестованный совсем не похож на колдуна или чернокнижника; по доносам надзирателей, он спокойно сидит на цепи и лишь ведет часами беседы с неким ребе Йешуа, что по-еврейски означает Иисус.

Тут герцог Адольф слегка оробел: от человека, который разговаривает с подобным собеседником, лучше держаться подальше, на этот случай у герцога и существует суперинтендант. Эйцен же посоветовал отнестись к делу так, как оно видится на обычный взгляд: человек был в полку и пропал; что будет с армиями, которые воюют за государей, если каждый может пуститься в бега, когда ему вздумается? Тут не возразишь, подумал герцог и прорычал: быть посему, прогнать Агасфера сквозь строй — пусть остальные боятся, а господин суперинтендант радуется. Покончив с завтраком и допив все пиво, герцог подал знак слуге, тот принес фарфоровую миску, герцог долго и тщательно мыл руки, а потом сказал: «Вы его опознали, Эйцен, вы назвали его имя и указали на него пальцем, стало быть, и все прочее — ваша забота».

Суперинтендант хоть и услышал то, что ожидал услышать, однако в сердце его закралась тревога, поэтому он взглянул на своего приятеля Лёйхтентрагера, ища у него поддержки; глаза Лёйхтентрагера были безразличными, как два гранитных камешка, а лицо холодно, словно вечный лед,— он лишь спросил герцога, сколько раз прогнать Агасфера сквозь строй: два, четыре или восемь; герцог уже со скукой проворчал: восемь. Это смертный приговор, понял Эйцен, но тут же ему в голову пришла другая мысль: если Агасфер действительно Вечный жид, проклятый Христом ждать Его окончательного пришествия, то ничего страшного с ним не произойдет, а хорошая трепка ему не повредит; впрочем, этот проходимец и мошенник, который наживался на людском легковерии, да еще пользовался прекрасной Маргрит, пока не превратил ее в соломенное чучело, вполне заслуживает, чтобы его запороли насмерть. Успокоив таким образом свою совесть или что уж там было у него в груди, Эйцен мирно прохрапел следующую ночь рядом с Барбарой, а поскольку наутро супруга стала ласкаться к нему с нежностями, то ему почти удалось ее ублажить, однако едва он почувствовал под собою костлявые бедра и едва начал распаляться по-настоящему, как вдруг ему почудилась кровавая полоса на шее у Барбары; он тут же отпрянул от супруги и уселся в изножье кровати, дрожа от страха и пуча глаза; Барбаре же показалось, что он защемил

мошонку или понес еще какой урон, поэтому она с тревогой спросила: «У тебя все цело, Пауль?»

Тут он увидел, что супруга вполне живехонька, хоть и походит на скелет, ничего у нее не отрезано и не отрублено, ведь только сказочная лошадь Фаллада говорила отрубленной головой, впрочем, та голова была прибита к воротам. Проворчав, что нечего, дескать, задавать дурацкие вопросы, он велел подавать завтрак — день сегодня предстоял тяжелый, на послеобеденное время назначена экзекуция, к тому же герцог приказал, чтобы суперинтендант как главное лицо здешней церкви лично обеспечил духовную поддержку осужденному. Барбара позвонила прислуге, и они вдвоем быстро накрыли на стол такое, от чего другой бы пальчики облизал: мучной суп с яйцом и маслом, пиво, колбасы, свежий хлеб; но у Эйцена пропал аппетит. Служебные дела у него тоже не клеились, не задалась воскресная проповедь, которую он собирался прочесть, отталкиваясь от притчи о фарисее и мытаре из восемнадцатой главы Евангелия от Луки, где рассказывается о спесивом фарисее, который гордится тем, что постится дважды в неделю и дает десятую часть от всех своих прибытков, в то время как бедный мытарь может лишь бить себя в грудь и просить Отца небесного о милости к себе грешнику, на что Христос говорит: «Всякий возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Не получилось у Эйцена и ответное письмо пастору Иоганну Кристиани из Лёйта, который, прислав Барабаре шесть десятков яиц, пожаловался, что обременен многочисленным семейством, имеет пятерых сыновей и трех дочерей, которых надо кормить, а лёйтенский приход не дает вдоволь ни пива, ни хлеба, поэтому нельзя ли, мол, присоединить к нынешнему приходу еще и Бёль, а службы можно укоротить, достаточно прочитать тут и там десять заповедей; был бы путь покороче, можно было бы добавить еще символ веры и даже отправлять некоторые требы. К обеду настроение у Эйцена и вовсе испортилось; до жареного ли цыпленка тут, даже самого румяного и ароматного, когда подумаешь, что вскоре предстоит,— ведь Эйцену доведется впервые присутствовать на экзекуции, да еще в качестве официального лица, а душа у него нежная, не то что у других, он человек мирный, книжный, не какой-нибудь толстокожий военный капеллан, но герцогу отказать нельзя, тем более что сам тайный советник Лёйхтентрагер, старый друг и верный товарищ, подсказал Его Высочеству кандидатуру Эйцена.

В третьем часу пополудни он облачился в свою черную мантию с белым воротничком, захватил серебряный крест, чтобы дать его для целования наказуемому перед тем, как его погонят сквозь строй, хотя, конечно, было неясно, пожелает ли еврей целовать крест. Придя на рыночную площадь, Эйцен увидел там столпотворение; казалось, будто весь город Шлезвиг, дети и взрослые мужчины, старики и женщины, пришли поглазеть на кровавое зрелище, военную экзекуцию. Солдаты также были уже построены, их подобрали по парам одинакового роста, чтобы длинный не боялся задеть шпицрутеном своего малорослого напарника на противоположной стороне и чтобы каждый хлестал крепко; юные барабанщики в пестрых мундирчиках, которым предстояло выбивать дробь, суетились, будто злые гномы, подтягивали кожу на барабанах, чтобы бой был погромче. Эйцен заметил, что солдат привели в неполной выкладке, с пустыми кожаными портупеями, без оружия, а то вдруг кое-кто из них, понимая, что и с ними могут когда-нибудь поступить, как с несчастным осужденным, вздумает повернуть оружие против капралов, офицеров и господина суперинтенданта. Небо висело надо всеми тяжелое и серое, будто свинец, а тучи, которые проносились по нему так низко, что едва не задевали крыш домов, предвещали ненастье. Полковой профос, который командовал экзекуцией, заметив господина суперинтенданта, подошел к нему вместе с субпрофосом, вежливо поприветствовал и пригласил выпить по окончании работы. «Вам это пойдет на пользу, дорогой господин суперинтендант,— сказал он похохатывая.— По вашему виду уже сейчас

понятно, что вы не в себе». Субпрофос, в свою очередь тоже хохотнув, так хлопнул Эйцена по плечу, что у того чуть колени не подкосились. По команде профоса офицеры и капралы построили солдат в две шеренги длиной в триста футов, сто человек в каждой; солдаты расположились на расстоянии шести футов друг от друга, встав вполоборота, чтобы каждому хватило места для полного размаха.

«Оставайтесь со мной, господин суперинтендант,— сказал профос,— а субпрофос пойдет на другой конец шеренги и будет посылать осужденного к нам, чтобы вы давали ему благословение, если парень будет жив».

Тем временем принесли шпицрутены, лозу, только что срезанную с ивняка на беругу Шляя, всего четыре с половиной корзины по пятьдесят шпицрутенов, каждая лоза длиной в три с половиной фута и толщиной с большой палец мужчины. Профос самолично проверил пару шпицрутенов, свистнув ими по воздуху и ударив по деревянной мачте с развевающимся на ветру красно-бело-синим герцогским штандартом,— лоза была достаточно прочная и в то же время гибкая, чтобы обвивать тело несчастного осужденного.

Колокола на церковной башне пробили три часа, шум и гомон на площади стал глуше и вскоре затих совсем. На Готторпской улице, ведущей к рыночной площади, показался эскорт из двенадцати всадников с обнаженными саблями, посредине ехала тележка палача, на ней со связанными руками, бледный, но спокойно глядящий на собравшихся, стоял осужденный. Эскорт проехал через толпу, которая неохотно пятилась от копыт лошадей, и остановился у начала человеческого коридора, через который осужденному предстояло пройти восемь раз, четыре раза туда, четыре обратно, получив всякий раз по двести ударов — каждый громко сосчитан и нанесен в полную силу, ибо за спинами двух солдат стояло по капралу, которые следили, чтобы никто из слабости или тем более из жалости не смягчал удара. Подручные профоса стащили осужденного с тележки, и суперинтендант очутился лицом к лицу с Агасфером, одетым лишь в штаны и рубаху; внезапно у Эйцена не оказалось сил даже взглянуть Агасферу в глаза, он опустил голову и увидел перед собой босые, покалеченные ноги с мозолистыми подошвами — полторы тысячи лет странствий оставили по себе след; Эйцен едва удержался от желания броситься на колени и поцеловать эти ноги, но тут профос толкнул его в бок: «Молитесь, господин суперинтендант, молитесь!» Ломающимся голосом Эйцен спросил Агасфера, не хочет ли тот покаяться, чтобы получить отпущение грехов; расценив молчание как согласие, Эйцен начал подсказывать: «Боже всемогущий, Отец милосердный, прими от меня, несчастного грешника, раскаяние во всех моих прегрешениях, которые я совершил помыслом, словом или делом, чем разгневал Тебя и заслужил ныне и навеки Твою кару». Тут Эйцен невольно запнулся, ибо подумал, что молится скорее о спасении собственной души, нежели о душе осужденного; он поднял глаза к небу в надежде получить оттуда какой-либо утешительный знак, и вдруг взгляд его задел лицо Агасфера, решительно-непримиримое, даже насмешливое отчего Эйцен вновь исполнился лютой ненависти к этому еврею, который неизменно вставал ему поперек пути, а когда-то прогнал от своего дома Господа нашего Иисуса Христа, не дав Ему передышки от крестных мук; чтобы соблюсти приличие, поскольку рядом стоял профос, Эйцен пробормотал последние слова молитвы: «Господи милосердный, ради крестных мук и смерти возлюбленного Сына Твоего Иисуса Христа будь милостив к нам, бедным грешникам, отпусти нам все наши грехи и вразуми нас. Аминь».

А тут и профос вставил, мол, довольно молитв, пора дело делать, а то солдаты заждались, да и народ тоже. Подручные поставили Агасфера перед самым входом в живой коридор, лицом к его концу, профос тут же отдал команду: «К экзекуции готовься! Пошел!»

Перед Агасфером протянулись бесконечные шеренги солдат, лица справа, лица слева, глаза, глаза, глаза, два ряда глаз, и все устремлены на него, шпицрутены, поднятые для удара, казались по мере удаления короче, пока где-то там все это, шеренги, солдаты, шпицрутены, не сливалось в один черный зев, готовый поглотить его. Сначала он чувствовал каждый удар и то, как шпицрутен обвивал его тело, всякий раз дыхание пресекалось, кожа вспухала, лопалась, наружу проступала кровь, густая и горячая. Затем боль стала захлестывать его волнами, он начал захлебываться, потом закричал как зверь, но голос лишился сил, глаза вылезли из орбит, спина превратилась в месиво, а солдатскому строю все еще не было конца. Пощадите, хрипел он, хотя знал, что никто его не слышит и никакой пощады не будет, он ковылял дальше, удары сыпались на него, свистели шпицрутены, хлестали по спине, но звук этот уже казался каким-то чужим, будто не его собственная спина вздрагивала и не на ней рвалась живая плоть волоконце за волоконцем.

Но вот он дошел до конца. И был еще жив. Задыхался, сердце выскакивало из груди, боль обволакивала его, словно огненные одежды. Однако тут же к нему подскочил субпрофос, схватил рукой в перчатке, развернул и отправил пинком назад, в тот же коридор. Агасфер споткнулся, его подхватили. Он удивился, что еще может видеть булыжник под ногами, слышать глухой барабанный бой, думать, как обильно течет кровь и до чего много крови в человеке. Его спина становилась месивом из лоскутьев рубахи, лоскутьев кожи, кровавого мяса, скоро забелеют кости. Потом, с усилием подняв голову, чтобы разглядеть дорогу, он увидел Эйцена, сначала черного и маленького вдали, но растущего с каждым шагом, с каждым хлестким ударом — вот уже прояснились черты лица, остренький нос, плотно сжатые губы, поблескивающие маленькие глаза. Дойдя до него и получив последний удар, Агасфер рухнул на колени, прошептал искусанными в кровь губами: «Позвольте мне передохнуть немного, мне худо, я умираю».

Эйцену знакомы эти слова, ему вновь сделалось страшно, но, главное, ему захотелось поскорее избавиться от еврея, чтобы он исчез с глаз долой, ушел из его жизни навсегда, поэтому он выкрикнул: «А что ты ответил Иисусу Христу, когда он пришел к тебе с крестом на спине и попросил о том же?»

«Я,— сказал Агасфер и даже сумел улыбнуться,— я любил Равви».

Лицо Эйцена исказилось. Гнев Господень овладел им, и он прокричал кощунствующему еврею: «Ты велел Христу убираться от твоих дверей, и Он проклял тебя...»

Он тут же замолк, ибо Агасфер выпрямился, встал перед ним, залитый кровью, поднял руку и сказал Эйцену, рядом с которым замер профос, открывший рот от ужаса: «Будь ты проклят, Паулус фон Эйцен; знай, что дьявол заберет себе твою душу. Это так же верно, как то, что я стою сейчас пред тобою, но когда он придет по твою душу, я буду рядом».

С этими словами он повернулся и сам, без принуждения и колебания, шагнул в живой коридор, а когда первый удар обрушился на него, тучи на небе разорвало молнией, грянул гром, народ испуганно вздрогнул, бросился врассыпную, поднялся вихрь и послышались голоса, что это Божий знак, который предвещает плохой конец шлезвигскому Содому и гольштинской Гоморре.

Спустя некоторое время, когда строй был пройден в восьмой раз и все завершилось, профос ткнул сапогом тело осужденного, чтобы убедиться в его смерти, после чего скомандовал: «Отряд, смирно! Экзекуция закончена». Труп взвалили на тележку, отряд ушел вместе с ней, дождь смыл с булыжников кровь Агасфера, а шпицрутены собрали на площади в кучу, чтобы сжечь; они горели плохо, дымили, чадили, и Эйцену подумалось, что все это было лишь каким-то кошмарным сном, а осужденный оказался-таки мошенником и проходимцем, ибо настоящий Агасфер ни за что не умер бы, даже если бы его прогнали через строй восемь раз.

Глава двадцать пятая

Где рассматривается вопрос о том, что же на самом деле скрывается за проблемой Агасфера и где из научной переписки между профессорами Байфусом и Лёйхтентрагером мы узнаем о возвращении ребе Йешуа и о его взглядах на новый Армагеддон

Господину профессору Dr. Dr. h. c.
Зигфриду Байфусу
Институт научного атеизма
Беренштрассе, 39а
108 Берлин

4 сентября 1980 г.

Дорогой товарищ Байфус!

Отпуска ряда сотрудников задержали наш отзыв на подготовленный твоим институтом доклад «Религиозные аспекты сионистского империализма», составленный на основе материалов легенды об Агасфере и Кумранского свитка 9 Q Res по нашей инициативе, высказанной в марте сего года. Получив к настоящему времени несколько заключений и ознакомившись с докладом лично, вынужден сообщить, что мы считаем присланный доклад в настоящей форме недостаточно проработанным для представления на научной конференции, которая состоится в будущем году в Москве.

Главный недостаток доклада наше управление усматривает в том, что из-за основного упора на легенду об Агасфере и свиток 9 Q Res другим важным аспектам темы уделено недостаточное внимание; это проявилось в неглубокой разработке социальных и национальных вопросов. Так, например, отсутствует обстоятельный анализ первого захвата Палестины Израилем при Иисусе Навине (здесь особого внимания заслуживало бы использование агрессором разведывательных средств); нет разбора экспансионистского характера второго еврейского государства и его политики союзничества с имперским Римом, что пролило бы знаменательный свет на некоторые сегодняшние политические реалии.

В связи с этим, а также в связи с нашим письмом от 8 июля сего года, где мы рекомендовали дать понять проф. Лёйхтентрагеру и его другу, господину Агасферу, что им следует отказаться от приезда в Берлин, столицу Германской Демократической Республики, предлагаем тебе явиться к нам для собеседования в 14 часов следующего понедельника.

С социалистическим приветом,

Вюрцнер
начальник управления
Министерства высшего
и среднего образования

Господину профессору
Йоханаану Лёйхтентрагеру
Еврейский Университет
Иерусалим
Израиль

10 сентября 1980 г.

Дорогой, уважаемый коллега!

Мне уже давно следовало бы ответить на Ваше пространное письмо от 3 июля с. г., но важная работа, а затем нервное расстройство, из-за которого я почти месяц не ходил в институт, не позволяли мне сделать это. Однако тема Агасфера не отпускала меня; мой врач даже высказал предположение, что она каким-то, хотя бы отдаленным, образом связана с моим недомоганием, говорил о фиксации, на которую Вы в свое время уже намекали, и даже спрашивал, не являлся ли

Вечный жид мне во сне или наяву, на что я со спокойной совестью ответил отрицательно.

Тем не менее, дорогой коллега, остается вопрос, почему, собственно, нас обоих так долго и так интенсивно занимает эта тема; ведь если речь о фиксации заходит применительно ко мне, то насколько же сильной она должна быть у Вас, верующего в реальность человека, который чудесным образом пережил многие столетия, и пытающегося убедить в том же самом меня?

А может, следует рассмотреть и общественную значимость данного вопроса? Чем объяснить повсеместное и явное повышение интереса к Агасферу, его истокам, его истории, его влиянию?

В мире ничто не возникает случайно; по законам диалектического материализма, каждое явление обусловлено другим, поэтому следует подумать, что же за всем этим кроется и чьим интересам служит. Именно на эти вопросы Вы, дорогой профессор, и дали — возможно, невольно — вполне убедительный ответ, когда охарактеризовали себя в июльском письме, затрагивающем вероятный запрос к властям ГДР относительно въездной визы, как сторонника законности и порядка, а Вашего друга Агасфера объявили полной противоположностью себе, человеком, исповедующим беспорядок, перевороты, нетерпение, беспокойство, то есть представили его фигурой, символизирующей анархию. Подобные типы — вспомните Троцкого и прочих — всегда служили и служат орудием самых темных сил реакции и империализма, поэтому советую Вам, дорогой коллега, из искренне дружеского расположения (а я надеюсь, что наша длительная и содержательная переписка сдружила нас): подумайте еще раз и по возможности постарайтесь проверить, не является ли сегодняшний, вполне реальный Агасфер (о его предшественниках пока говорить не буду) чем-то иным, нежели безобидным продавцом обуви.

Во всяком случае, сомневаюсь, что ему будет дано разрешение на въезд в Германскую Демократическую Республику.

Всего наилучшего, особенно — крепкого здоровья.

Преданный Вам
(Prof. Dr. Dr. h. c.) Зигфрид Байфус
Институт научного атеизма
Берлин, столица ГДР

Господину профессору Dr. Dr. h. c.
Зигфриду Байфусу
Институт научного атеизма
Беренштрассе, 39а
108 Берлин
Германская Демократическая Республика

10 сентября 1980 г.

Дорогой профессор Байфус!

Меня очень обеспокоило Ваше долгое молчание, ведь последнюю весточку от Вас я получил в июне. Какими бы неоправданно длительными ни были задержки писем из-за Вашей и нашей цензуры на почте, я должен был бы за это время что-то услышать от Вас, особенно если учесть Вашу обычно быструю реакцию во всех случаях, когда дело касалось Агасфера. Уж не занедужили ли Вы и не помешали ли какие-либо инстанции продолжить нашу столь плодотворную научную корреспонденцию?

Во всяком случае, я решил написать Вам сам, просто не мог не сделать этого, даже если Ваше письмо уже находится в пути и пересечется с моим сегодняшним посланием. Меня побуждают сделать это две причины, не говоря уже о том, что испытываю естественное беспокойство за душевное и физическое благополучие коллеги, который вместе со мной принадлежит к числу редких специалистов по Агасферу. Первая причина заключается в том, что у меня есть все основания рассчитывать на финансовую помощь моего университета, который, видимо, сможет помочь мне осуществить поездку по местам, связанным с жизнью и деятельностью Агасфера, то есть, например, в Виттенберг, который находится в ГДР. Эта поездка состоится, вероятно, еще до конца года, и мы с господином Агасфером, который будет сопровождать меня, оплачивая расходы за собственный счет, были

бы рады познакомиться с Вами лично и посетить Ваш институт в Восточном Берлине.

Вторая причина неотложности, срочности моего письма еще важнее, ее даже можно назвать сенсационной. Господин Агасфер только что был у меня, чтобы сообщить, что ребе Йешуа, которого Вы лучше знаете под греческим именем Иисус Христос, вновь побывал на земле; он, Агасфер, не только сам видел его, но и имел с ним весьма продолжительную беседу.

Вы, дорогой коллега, всегда ставили под вопрос существование Агасфера, поэтому в данном случае Вы тем более можете возразить, что, дескать, свидетельство мифической личности не имеет фактической достоверности и что не может быть и речи о реальности неоднократно предсказанного в Новом Завете вторичном пришествии Иисуса Христа, поскольку нет бесспорных исторических свидетельств, которые доказывали бы первое вочеловечение так называемого Сына Божьего, не сохранилось ни еврейских, ни греческих, ни римских документов, ничего, кроме все того же Нового Завета, отдельные части которого были написаны задним числом несколькими авторами с очевидной целью пропаганды и распространения сектантского вероучения, отклоняющегося от ортодоксального иудаизма.

Хотелось бы сразу же отметить, что и мне фигура Иисуса Христа в ее традиционной интерпретации представляется крайне сомнительной; по моему мнению, ребе Йешуа, который в свое время странствовал по Иудее и окрестным землям, проповедуя и рассказывая притчи, еще при жизни, а тем более после смерти был окутан большим количеством мифов, сочиняемых и распространяемых его приверженцами, которые в конце концов объявили его долгожданным Мессией.

Однако когда передо мной предстал мой друг Агасфер со своим спокойным рассказом, как, видимо, приходит и к Вам господин доктор Якш с новыми аргументами в пользу того или иного своего тезиса, я не мог не поддаться его влиянию и думаю, Вы также не останетесь безучастным к его рассказу.

По его словам, Равви, облаченный в некогда белое, а теперь грязное и изодранное одеяние, с трудом поднимался по Виа Долороза, он шатался, будто нес на плечах большую тяжесть, был бледен и очень тяжело дышал. Тем не менее на него почти не обращали внимания, ибо большое количество туристов в этой части Иерусалима всегда притягивало сюда разных нищих, попрошаек и странных типов; лишь несколько молодых людей с гитарами и рюкзаками поначалу заинтересовались им, но тут же отвлеклись на другие диковины. Он же, Агасфер, враз узнал ребе Йешуа, это и неудивительно, особенно если вспомнить их первую, чреватую драматическими последствиями встречу на том же месте. И вообще, появление ребе Йешуа не слишком удивило его; отвечая на мой вопрос, господин Агасфер признался, что так или иначе с некоторых пор ожидал этого события, у него даже появилось ощущение deja vu, когда Равви снова подошел к нему и попросил разрешения передохнуть в тени дома.

На сей раз, поведал мне мой друг, он поступил иначе, нежели это сохранилось в предании. Он не прогнал Равви от своих дверей, а пригласил в дом, провел измученного путника через обувную лавку мимо нескольких шокированных покупателей во внутренний дворик, где предложил гостю расположиться под навесом из вьющегося винограда. Равви отказался от стаканчика вина и от кока-колы, выпил лишь глоток воды и дал омыть кровоточащие раны на своей голове, не издав при этом ни единого стона, лишь вздрогнул раз-другой, когда он, Агасфер, смазал довольно глубокие раны йодом.

Потом, немного отдохнув, ребе Йешуа заговорил. Он сказал, что здесь последняя остановка на его пути, а когда мой друг Агасфер спросил, неужели он вновь решил обречь себя на мученичество, с улыбкой ответил: нет, на сей раз — нет; настало иное время, пришла пора не страданий, а суда. На естественный вопрос, кого же надо судить, Равви ничего не ответил, полагая, видимо, по словам моего друга, что это ясно и так. Очень туманно выразился Равви о тех, кто так жестоко с ним обошелся, осталось неясным, была ли это военная полиция, арабские террористы или просто хулиганы, которым хотелось на ком-либо сорвать свою злобу.

Гораздо больше интересовала его совсем другая тема: Армагеддон, та последняя

битва перед концом света, за которой, согласно преданию, последует Страшный суд. Он говорил о кораблях, таящихся под водой и даже под вечными льдами, невидимых для электронного ока чутких систем перехвата, каждый из этих подводных кораблей оснащен шестнадцатью ракетами, а те, в свою очередь, несут по шестнадцать самонаводящихся атомных боеголовок, причем одной-единственной такой боеголовки достаточно, чтобы силой взрыва и теплового излучения уничтожить в огромном городе все живое, уничтожить основательнее, чем это сделал некогда Господь, проливший дождем серу и огонь на Содом и Гоморру. Во время Армагеддона, продолжал пророчествовать ребе Йешуа, полетят межконтинентальные ракеты, которые способны почти мгновенно поразить цель по другую сторону моря или океана, их атомные заряды не оставят, например, от горы Сион или священного Иерусалима ничего, кроме обугленного кратера, а радиоактивные осадки смертельно отравят людей, животных и даже землю до самого Нила, с одной стороны, и Евфрата — с другой. Таких ракет, добавил Равви с горечью в голосе, больших и поменьше, дальнего, среднего и малого радиуса действия, оснащенных ядерными боеголовками, насчитывается уже много тысяч, и вся эта дьявольская мощь находится в руках нескольких властителей, людей ограниченного ума, которые при всяком удобном случае громогласно заявляют, что этот огромный арсенал нужен им для защиты мира, ибо для мира необходимо равновесие взаимного устрашения; это означает, что если одна сторона может уничтожить противника десятикратно, то другая должна стремиться к двенадцатикратному потенциалу, чтобы пусть уже при последнем издыхании, но поразить врага ответным ударом. Эта убийственная гонка вооружений привела к способности уничтожить все живое, следовательно, от Великого Творения не останется ничего, кроме голой пустыни и далеких звезд. В своем стремлении к всемогуществу, сопровождаемом страхом перед себе подобными, человек посягнул на космические стихии, не умея ни управлять ими, ни контролировать их. Так Адам, созданный некогда по образу и подобию Божьему, превратился в дракона с семью головами и десятью рогами, во Всеразрушителя, Антихриста.

Вот о чем, по словам господина Агасфера, говорил ребе Йешуа. Факты, лежащие в основе высказанных им мыслей, известны Вам, дорогой коллега, не хуже, чем мне; впрочем, мы научились смиряться с ними, жить, по возможности вытесняя их из сознания. Господин Агасфер признал, что не удосужился спросить, откуда же такие сведения почерпнул Равви — от людей ли, снабдивших его соответствующей литературой, от экспертов или даже от специалистов, непосредственно причастных к делу; во всяком случае, Равви не имел возможности постепенно сжиться с нашим атомным веком, привыкнуть к тому безумию, которое стало казаться нам вполне естественным; столкнувшись со всем этим внезапно, по прошествии добрых девятнадцати веков, которые минули с тех пор, когда была пролита его кровь во искупление грехов людских, он испытал глубочайшее потрясение.

Многие задавались умозрительным вопросом, как бы повел себя Христос, что бы сказал он, вернись он сейчас на землю; возможно, и Вы, дорогой профессор, были в числе вопрошающих, несмотря на Ваши атеистические убеждения. По свидетельству Вечного жида, единственного человека, который может опознать ребе Йешуа и подтвердить его возвращение, новое пришествие состоялось. Дан ли ответ на тот вопрос?

Господин Агасфер полагает, что дан. Пусть косвенным образом, но на него ответил сам ребе Йешуа, а именно на Голгофе, там, где когда-то стоял крест. Они пошли туда, после того как Агасфер убедил Равви сменить грязное и разорванное одеяние на белый бурнус, который носят бедуины; там Равви, подняв очи к небу, внезапно воскликнул: Эли, Эли, неужели все оказалось напрасным — Нагорная проповедь и крестные муки? Агнец убит, но жертва не принята?

Потом он надолго умолк. Вокруг него начала собираться толпа — местные жители, туристы, паломники, среди последних была группа священников разных христианских вероисповеданий, каждый в своем конфессиональном облачении, и все они уставились на ребе, будто видели привидение, а одна молоденькая белобрысая и патлатая американка восторженно заверещала: «Doesn't he look just like Jesus Christ?» [1] Равви, оторванный этим восклицанием от своих раздумий, растерянно поднял, словно благословляя, искалеченную стигмой руку, но снова опустил ее; толпа расступилась перед ним, и он ушел через образовавшийся

[1] Разве он не похож на Христа? *(англ.)*

коридор, причем странным образом ни один из фотоаппаратов не щелкнул, хотя они были у многих.

Мне оставалось лишь выяснить личную реакцию господина Агасфера на это событие. Особенно расспрашивать его не пришлось, он сам признался, что возвращение ребе Йешуа потрясло его довольно сильно, поскольку от этого возвращения зависит его судьба. Ведь основная часть зарока «ты же останешься и пребудешь, пока я не прииду» исполнилась, поэтому следует предположить исполнение и того, что содержалось в зароке implicite [1] — после возвращения ребе Йешуа Вечный жид умрет и будет отринут, так что ему, Агасферу, надо успеть уладить кое-какие дела.

Надеюсь, дорогой коллега, Вы поймете мое волнение, с которым я пишу эти строки, а также мою радость, что именно Вам, убежденному скептику и марксисту, я сообщаю первому об удивительном и знаменательном, пусть пока лишь из единственного источника засвидетельствованном событии, каким явилось недавнее возвращение ребе Йешуа. Обо всем этом, как и о других интересующих Вас вещах, Вы сможете побеседовать с господином Агасфером и со мной, когда мы посетим столицу Германской Демократической Республики; я уверен, что наша встреча будет интересной и плодотворной.

А пока сердечно кланяюсь Вам,

Ваш
Йоханаан Лёйхтентрагер
Еврейский университет
Иерусалим

Глава двадцать шестая

В которой Равви и Агасфер отправляются искать Бога и после ряда злоключений встречают старца, который знает тайну Книги жизни за семью печатями и который вызывает Равви на опрометчивый спор.

Мы ищем.

Я, Агасфер, прошагал ошую Равви сорок дней и ночей в поисках Бога. Но Он не являлся нам, вокруг нас была лишь пустыня, серая бескрайность Шеола, в которой все тонет и исчезает. Равви был полон уныния и страха, он спрашивал меня: кто мы такие, чтобы перечить Господу и судить по нашим меркам об Его воле? Ведь в Нем начало и конец, Он был прежде времени и будет после, власть Его не имеет предела.

Но чем был бы Господь без нас, отвечал я. Гласом, вопиющим без отклика, силой без приложения к делу, замыслом без исполнения.

Минули еще сорок дней и ночей в поисках Господа, и Равви опять спросил: а что, если Его вовсе нет? Вдруг мир и мы сами окажемся лишь сном, который развеется, словно туман на ветру?

Равви, ответил я, если вера может передвинуть гору, то вера может и создать ее; нужно верить изо всех сил, тогда ты найдешь Отца своего.

И тут серая пустыня будто расступилась, воссиял свет, указавший нам путь, в конце которого перед нами возник дворец из золота, серебра и драгоценного кедра, все сработано искуснейшими строителями и мастерами; семь врат дворца охраняли семеро стражников, каждый в броне и с огненным мечом, но Равви смело вошел в седьмые ворота и прошествовал в седьмые покои, где стоял изукрашенный драгоценными каменьями престол, переливающийся всеми цветами радуги, на престоле восседал некто в шелках, с завитыми волосами и перстнями на пальцах, прекрасный, как ангел; он сказал: я — царь царей! Я давно жду тебя, сын мой.

Равви, сказал я, если это твой отец, поговори с ним.

Но Равви ответил: не признаю его.

[1] В скрытом виде, неявно *(лат.)*.

Чело царя царей помрачнело от гнева, прибежали семеро вооруженных стражников, схватили Равви и выдворили его из седьмых ворот в пустыню. Но свет над дорогой не погас, она привела нас к храму, который был выше и роскошнее, чем дворец царя царей, здесь было больше серебра, золота, кедрового дерева, и построен он был искуснее; во семи дворах храма перед семью алтарями совершали молитвы семеро священников, каждый с огненной жертвенной чашей; Равви прошел через седьмой двор в седьмой придел, где курился ладан, дорогие благовония, стояла церковная утварь, изукрашенная драгоценными каменьями, которые переливались всеми цветами радуги; в этом приделе находился некто в белом, вкруг его головы сиял нимб; он молвил: я — святейший из святейших! Я ждал тебя, сын мой.

Равви, сказал я опять, если это твой отец, поговори с ним.

Но Равви ответил: этого я тоже не признаю.

Лик святейшего из святейших потемнел от гнева, семеро священников набросились на Равви, схватили его и вытолкали с седьмого двора в пустыню. Но свет над нашей дорогой не погас, только сама она, узкая, круто устремилась вверх, сбоку от нее разверзлись пропасти; дорога привела нас к камню, на котором сидел древний старец; в руках он держал посох и чертил им у ног своих письмена, но ветер тут же сдувал песок и стирал написанное.

Я сказал в третий раз: Равви, если это твой отец, поговори с ним.

Равви, склонившись к пишущему, спросил: что ты тут делаешь, старик?

Тот, продолжая чертить, ответил: разве не видишь, сын мой? Пишу Книгу жизни, что за семью печатями.

Но ты же пишешь на песке, сказал Равви, дунет ветер и все сотрет.

Да, проговорил старец, в том-то и тайна этой Книги.

Ужаснувшись, Равви побледнел, но затем все-таки сказал: ведь это ты создал из пустоты мир со днем и ночью, с водами и сушей, со всеми живыми тварями.

Да, я, проговорил старец.

И все это может навсегда исчезнуть, будто ничего и не было, спросил Равви, все окажется лишь случайным следом, который можно затоптать и стереть?

Старец перестал писать, отложил посох, покачал головой и сказал: когда-то я был полон рвения и веры, любил мой народ или гневался на него, если он того заслуживал, карал его потопом, огнем небесным, посылал ангелов и пророков и, наконец, послал тебя, моего единственного сына. Но сам видишь, что из этого вышло.

Вонючее болото, в котором все твари алчут сожрать друг друга, сказал Равви, царство ужаса, где закон служит только разрушению.

Я знаю, сын мой, сказал старец.

Но, Господи, спросил Равви, разве не в Твоей власти осушить болото и изменить закон?

Старец промолчал.

Господи, сказал Равви, не Ты ли устами пророка возгласил, что сотворишь новое небо и новую землю, чтобы о прежних никто и не вспомнил. Не ты ли обещал людям устами другого пророка, что возьмешь из плоти их сердце каменное, дашь сердце живое и вложишь в них дух новый. Господи, вопрошаю я тебя: когда же? Когда?

Тут старец поднял голову и взглянул на сына снизу и как-то искоса, сказал: я сотворил мир и человека, но, будучи единожды созданным, творение начинает жить по собственным законам, из «да» получается «нет», из «нет» получается «да», пока ничто больше не остается таким, каким было прежде, и мир, сотворенный Господом, оказывается неузнаваемым для самого Творца.

Значит, Ты признаешь тщетность дел Твоих, Господи, спросил Равви.

Я пишу на песке, сказал старец, разве этого мало?

Тут Равви разгневанно молвил: тогда почему Ты не уходишь, Господи? Такой неудачник, как Ты, не должен цепляться за власть.

А ты бы все устроил мудрее, спросил старец. Ты, давший себя распять,

вместо того чтобы бороться с несправедливостью? Ах, сынок, уж не Агасфер ли нашептывает тебе крамольные речи?

Но Равви схватил старца за рукав, стащил с камня, на котором тот сидел, поднял, встряхнул и страстно крикнул, а кто, мол, послал его на крестную смерть, причем зазря, и уж лучше, дескать, не дожидаться, пока мир сам взорвется ко всем чертям, а собрать все силы, даже силы ада, и пойти на этого Бога, который не может справиться с собственным творением, объединиться всем, и Христу, и Антихристу, чтобы взять приступом седьмое небо, осеняющее это змеиное гнездо и гнилую трясину.

Лицо старца переменилось, на губах появилась печальная улыбка; тут же пришли семеро дряхлых ангелов с жидкими бороденками и облезлыми крыльями, каждый нес помятую, ржавую трубу; вострубив в трубы, они взяли Равви под руки и отвели прочь, вознесли к его небесному трону. Господь же повернулся ко мне, Агасферу, и сказал, что считал меня, дескать, умнее, а на сынка, мол, полагаться нельзя и надо за ним присматривать, не то он опять что-нибудь натворит.

Глава двадцать седьмая

Которая является исключительно документальной и представляет собой доклад майора Пахникеля по делу о внезапном исчезновении (возможно, незаконном переходе границы) гражданина З. Байфуса с приложением соответствующих протоколов, материалов и т. п.

От кого: *Управление IIB (13)*
Кому: *Секретариат министра*
Касательно: *Исчезновения (предположительно: незаконный переход границы) гражданина З. Байфуса*

Берлин, 15 сентября 1981 г.

По Вашему указанию представляю предварительный отчет касательно исчезновения (предположительно: незаконный переход границы) вышеназванного гр. Зигфрида Вальтера Байфуса, профессора Dr. Dr. h. c., лауреата государственной премии (2-я степень), заслуженного деятеля науки, трижды награжденного знаком «Активист», а также орденами и медалями; занимаемая должность и место работы — директор Института научного атеизма, 108 Берлин, Беренштрассе, 39а. Соответствующие документы и материалы по делу пронумерованы и прилагаются.

Гр. Зигфрид Вальтер Байфус, род. 10.IV.1927 в г. Хемнице, Саксония; сын зеленщика, возраст — 53 года, женат (жена: Гудрун Байфус, урожденная Йенике, в прошлом секретарша, в настоящее время не работает), проживает по адресу: 108 Берлин, Лейпцигерштрассе, 61, 8-й этаж; дети — Фридрих (р. 1963 г.) и Урсула (р. 1968 г.); особые приметы — нет. Гр. З. Байфус вступил в СЕПГ в 1947 г., член Общества германо-советской дружбы, член лыжно-туристического клуба, а также действительный член Академии наук.

Гр. З. Байфус исчез 31 декабря 1980 года между 23 и 24 часами через большое отверстие в наружной стене (железобетон) своей квартиры. Каких-либо сообщений о себе вроде прощального письма и т. п. им не оставлено, или таковое не обнаружено.

1 января 1981 года в 2 часа 35 минут в дежурную часть позвонили из Центрального управления народной полиции (тов. полицайобермайстер Гирш), которому подведомственна соответствующая территория, и доложили об исчезновении гр. З. Байфуса, после чего было начато расследование.

Расшифровка записи телефонного разговора прилагается:

Гирш. *Пропал один человек, Байфус, профессор Байфус, очень известный ученый, исчез через дыру в стене.*

Деж. часть. *Дыра в стене? Где?*

Гирш. *Да не в той стене, а в доме на Лейпцигерштрассе.*

Деж. часть. *Вы перепились там, что ли?*

Гирш. *У нас ни-ни! Даже на Новый год. Мы — коллектив соцтруда.*

Деж. часть. *Ладно, докладывайте.*

Гирш. *Позвонила женщина. Она заметила пропажу, когда по радио начали бить куранты. У них много гостей было. Когда забили куранты, все стали чокаться, а его и нет. До этого был вместе со всеми. Принялись его искать, обнаружили большую дыру.*

Деж. часть. *Ну, он мог и просто в дверь уйти...*

Гирш. *Да я тоже сперва жене так сказал. А она говорит: почему же тогда дыра? Ну я и выехал с товарищем Рудельманом по адресу.*

Деж. часть. *И что же там?*

Гирш. *Перед домом толкался народ. А наверху действительно большая черная дыра. Но внизу, на мостовой — ничего такого: ни трупа, ни крови...*

Деж. часть. *А в самой квартире?*

Гирш. *Дыра по краям черная, как обугленная, словно стену ракета прошибла и опалила. Но гости сказали, что ничего не слышали, ни взрыва, ни удара. На улице, конечно, хлопушки взрывались и шутихи, как обычно в новогоднюю ночь.*

Деж. часть. *Еще что-нибудь интересное?*

Гирш. *На столе лежала записка, написано что-то по-старинному, неразборчиво.*

Деж. часть. *Она у вас? Попытайтесь все-таки прочесть.*

Гирш. *«С Богом моим одолею стену». А внизу приписано: «Псалом 17, 30».*

Деж. часть. *Значит, все-таки через границу сбежал. Откуда звоните?*

Гирш. *Из квартиры на Лейпцигерштрассе.*

Деж. часть. *Гости еще там? Перепишите фамилии и адреса, скажите, чтобы лишнего не болтали. И вы с товарищем — как его? Рудельманом? — тоже держите язык за зубами. Дежурная часть подключается к расследованию. Конец связи.*

Утром 1 января 1981 г. после доклада мне о случившемся я приступил к расследованию. С учетом возможных осложнений наиболее важные опросы произведены мною лично.

Беседа с гражданкой Г. Байфус, а также тщательный осмотр квартиры (фотографии кабинета З. Байфуса и поврежденной наружной стены прилагаются) ничего существенного к докладу полицайобермайстера Гирша не добавили. Каких-либо следов борьбы в кабинете зафиксировать не удалось. На соответствующий вопрос гражданка Г. Байфус ответила, что уборка в кабинете не производилась и ничего тут не трогали, только занавесили ковром дыру, чтобы не тянуло морозом с улицы. Разыскивая мужа сразу после полуночи, она первой зашла в кабинет, где обнаружила дыру и почувствовала неприятный запах, что-то похожее на серу, но больше животного происхождения. В это время, по ее сведениям, все гости еще оставались на месте, их было 18 приглашенных, в основном коллеги мужа по работе, с женами или приятельницами, и еще несколько человек (точное число она назвать затруднилась), которых приглашенные, как это обычно бывает на Новый год, привели с собой; ее муж также привел домой двух иностранцев, причем еще днем, и вместо того чтобы помочь ей и дочери Урсуле в приготовлениях к приему гостей, заперся с иностранцами в кабинете, где долго и горячо с ними спорил; правда, позднее один из них, невысокого роста, прихрамывающий, с небольшим горбом, весьма охотно помогал накрывать на стол, вдруг достал откуда-то полдюжины вина; это вино потом чрезвычайно возбудило дам, самой же ей, к сожалению, попробовать его не удалось; кроме того, этот господин показывал потрясающие карточные фокусы и еще гадал на картах, угадывал прошлое и предсказывал будущее.

Из показаний гостей только информация тов. Вильгельма Якша содержит сведения, которые позволяют частично прояснить обстоятельства исчезновения гр. З. Байфуса. Протокол прилагается.

Меня зовут Якш Вильгельм, научное звание — доктор философии; родился 30 сентября 1944 года в Пазевальке, проживаю по адресу: 117 Берлин, Шневитхенштрассе, 23; занимаю должность пресс-секретаря Института научного атеизма; член партии.

Еще в начале 1980 года я заметил, что директор нашего института профессор З. Байфус как-то переменился, в нем появились неуверенность и беспокойство, которые на первых порах касались лишь определенных научных вопросов, но постепенно приобретали все более широкий характер. Осенью 1979 г. З. Байфус опубликовал книгу «Иудео-христианские мифы в свете современного естествознания и исторической науки», которая, как и большинство его публикаций, состояла преимущественно из слегка переработанных материалов, подготовленных сотрудниками его научного коллектива; лишь раздел «К вопросу о Вечном жиде» был написан самим З. Байфусом и основывался на его собственных изысканиях. По поводу этого Вечного жида, известного под именем Агасфера, у З. Байфуса завязалась интенсивная переписка с гражданином Израиля, проф. Йоханааном Лёйхтентрагером, в ходе которой З. Байфус выдвигал все новые теории относительно мифологической природы фигуры Агасфера, в то время как проф. Й. Лёйхтентрагер утверждал, будто проклятый некогда Христом иудей действительно существует и прожил более 1900 лет, а сейчас является владельцем обувного магазина в Иерусалиме. На служебных совещаниях, которые проводились все реже, я излагал З. Байфусу мое мнение, что израильский профессор либо сумасшедший, либо намерен одурачить нас и наш институт; позднее я заподозрил, что налицо идеологическая диверсия, речь идет о том, чтобы через наш институт проникнуть в ряды ученых ГДР и разложить их; о своих подозрениях я проинформировал соответствующие инстанции. Мне известно, что З. Байфус как директор Института научного атеизма был предупрежден Министерством высшего образования относительно Й. Лёйхтентрагера и А. Агасфера, и ему было поручено сообщить этим израильским гражданам о нежелательности их приезда в столицу ГДР.

Тем большим оказалось мое удивление, когда З. Байфус известил меня утром 31 декабря о том, что господин Агасфер с профессором Лёйхтентрагером находятся в Берлине и в ближайшие часы посетят наш институт; на мое пожелание присутствовать при разговоре, поскольку я также был причастен к сбору материалов об Агасфере и не раз беседовал с З. Байфусом по этому поводу, последний отреагировал резко отрицательно, заявив, что он, дескать, в состоянии отстаивать собственные научные позиции самостоятельно, без посторонней помощи. Отсюда следует, что З. Байфус не хотел иметь свидетелей своих переговоров с двумя израильскими гражданами. Однако он не мог воспрепятствовать моему присутствию на новогодней вечеринке 31 декабря, которую он устраивал с женой для своих друзей и сослуживцев, где я и имел возможность лично познакомиться с обоими гостями из Израиля.

У меня сложились самые неблагоприятные впечатления о проф. Й. Лёйхтентрагере и господине Агасфере. Проф. Лёйхтентрагер, несмотря на свои физические изъяны, не стеснялся с лихвой эксплуатировать тот интерес, который он как зарубежный гость вызывал у наших дам; А. Агасфер имел скучающий вид и оживился лишь тогда, когда ему представилась возможность произвести на присутствующих впечатление своими историческими познаниями, которые мне показались весьма сомнительными. В ответ на один из моих вопросов он ответил, что лично знал ребе Йешуа, или в греческом варианте — Иисуса, в доказательство чего продемонстрировал мне римскую серебряную монету, якобы один из тех тридцати сребреников, которые получил Иуда Искариот за то, что передал Равви надлежащим властям. Проф. Лёйхтентрагер настоял на том, чтобы погадать мне на колоде старинных карт, которые имелись у него с собой; он предсказал мне большую карьеру, впрочем, это неудивительно, ибо в нашей стране светлое будущее открыто каждому.

Главным образом мое внимание обратил на себя в этот вечер директор нашего института проф. З. Байфус. Он был очень взволнован, чего остальные гости, которые не следили за его поведением в течение последнего года так пристально, как я, возможно, и не заметили; мне же его настроение показалось странным, особенно когда он отозвал меня в сторонку, многозначительно поднял бокал и спросил: «Якш, что бы вы сказали, если бы меня, как говорится, черт побрал?»

«За что? — удивился я.— Разве вы это заслужили?»

Тут он усмехнулся, да так, что у меня мурашки по спине побежали, а потом отвернулся и пошел к проф. Лёйхтентрагеру, как будто его тянуло магнитом и у него не было сил сопротивляться.

Немного позднее по радио раздался бой часов, гости начали чокаться, и я услышал, как госпожа Байфус спросила: «А где мой Зиги?»

Но проф. З. Байфус исчез, вместе с ним — оба израильских гражданина, Й. Лёйхтентрагер и А. Агасфер.

Подп.: доктор Вильгельм Якш

Со своей стороны, заметим, что переписка между З. Байфусом и Й.Лёйхтентрагером находилась под контролем. Сейчас производится ее дополнительное изучение в связи с исчезновением (возможно, незаконным переходом границы) З. Байфуса; по получении результатов дополнительного изучения все письма будут переданы в секретариат министерства.

Информация тов. В. Якша о предупреждении З. Байфуса относительно граждан Израиля Й. Лёйхтентрагера и А. Агасфера и об указании, поступившем из Министерства высшего и среднего специального образования, подтверждена. Меры приняты на основании данных, полученных управлением IIВ от наших арабских друзей из Бейрута; соответствующая шифровка прилагается.

SECRET

Achad Ahasver, located now at 47, Via Dolorosa, Jerusalem, also known as Johannes, Malihus, Cartaphilus, Giovanni Bottadio, Joerg von Meissen, Vassily Blazhenny, longtime Jewish agent. Specialty: Ideological penetration. On occasion, subject was observed in the company of one Jochanaan (Hans) Leuchtentrager, said to be a professor at Hebrew University, and may be associated with him in secret activities.

Уже утром 1 января была произведена проверка въезда и местопребывания в столице ГДР вышеназванных А. Агасфера и Й. Лёйхтентрагера. На контрольно-пропускные пункты был также послан запрос относительно их выезда в сопровождении третьего лица.

Результаты проверки отрицательны. Ответы на запрос прилагаются.

Берлин, 5 января 1981 г.

На Ваш срочный запрос относительно въезда и выезда граждан Израиля А. Агасфера и Й. Лёйхтентрагера сообщаю, что

1) виза вышеупомянутым лицам не оформлялась и не выдавалась;

2)контрольно-пропускные пункты не зарегистрировали въезда и выезда А. Агасфера и Й. Лёйхтентрагера ни в сопровождении третьего лица, ни отдельно.

Расследование в связи с возможным нелегальным переходом границы продолжается.

С соц. приветом,

подп.: капитан Кюнле
МВД
Берлин, 7 января 1981 г.

На Ваш срочный запрос сообщаю, что названные вами израильские граждане А. Агасфер и Й. Лёйхтентрагер в декабре 1980 г. и в первую неделю января 1981 г. в отелях или общежитиях столицы ГДР не останавливались и у нас не зарегистрированы.

Не исключено, что вышеназванные лица воспользовались частной квартирой.

Ведется расследование.

С соц. приветом,

подп.: капитан Мацман
Президиум народной полиции
Отдел паспортов и регистрации

Приложенные ответы на запрос находятся в явном противоречии с показаниями жены З. Байфуса, а также с показаниями товарища В. Якша и других гостей, которые единогласно подтверждают присутствие А. Агасфера и Й. Лёйхтентрагера вечером 31 декабря 1980 г. в квартире исчезнувшего по адресу Лейпцигерштрассе, 61, хотя остается неясно, видели ли вышеназванных лиц в последний раз до или после полуночи. Свидетельские показания относительно внешности вышеназванных лиц совпадают, причем особенно отмечается горб, хромота и карточные фокусы Й. Лёйхтентрагера, а также типичная еврейская внешность А. Агасфера, тем самым галлюцинации свидетелей под воздействием алкоголя или иных средств исключаются, не говоря уж о действительно существующей дыре с опаленными краями в наружной стене на восьмом этаже дома № 61 по Лейпцигерштрассе.

Расследование со стороны МВО (пограничная полиция) дало ряд дополнительных сведений, поступивших, к сожалению, со значительной задержкой. Отчет прилагается.

Берлин, 12 января 1981 г.

Ночью с 31.XII.1980 г. на 1.I.1981 г. около 0 часов 00 минут унтер-офицер Курт Блюмель и ефрейтор Роберт Рекце, дежурившие на дозорной башне контрольно-пропускного пункта пограничного перехода на Фридрихштрассе, наблюдали троих неизвестных лиц, которые двигались по воздуху на высоте 10—15 метров вдоль Фридрихштрассе. Двое из вышеупомянутых лиц имели за собой огненный хвост (унтер-офицер Блюмель предполагает что-то вроде ракетного двигателя), третий же человек, находившийся посередине, сам, видимо, лететь не мог, поэтому двое других несли или тащили его. Поскольку в это время обычно запускается множество шутих, фейерверков и ракет, что затрудняет в Новый год работу пограничных нарядов, унтер-офицер Блюмель и ефрейтор Рекце первоначально решили, что имеют дело с какими-то импортными шутихами необычных размеров и неизвестной конструкции. Вскоре они, однако, поняли, что осуществляется нелегальный перелет границы с помощью новых технических средств. Ефрейтор Рекце хотел открыть огонь по нарушителям, однако унтер-офицер Блюмель удержал его, т. к., согласно предписанию, огонь по летящим объектам на границе ГДР может открываться только по приказу командования.

Тем временем трое неизвестных приблизились к дозорной башне и облетели вокруг нее, причем двое тех, что имели огненные хвосты, громко смеялись, а у среднего было испуганное лицо и он жутко гримасничал, отчего у унтер-офицера Блюмеля и ефрейтора Рекце отнялся язык и началась сильная дрожь. Когда унтер-офицер Блюмель взял себя наконец в руки, он доложил о происшествии дежурному офицеру лейтенанту Кнуту Ломайеру. Однако к этому времени нарушители уже перелетели границу ГДР и находились на западноберлинской стороне, где они на большой скорости стали набирать высоту, пока не показались унтер-офицеру Блюмелю и ефрейтору Рекце похожими на искры от новогодних ракет.

Показания унтер-офицера Блюмеля и ефрейтора Рекце смогли быть зафиксированы лишь много позднее, поскольку лейтенант Ломайер написал рапорт об употреблении унтер-офицером Блюмелем и ефрейтором Рекце спиртных напитков на посту, и в настоящее время оба вышепоименованных отбывают наказание.

С соц. приветом,

Подп.: капитан Кюнле
1 МВД

Поскольку данное дело во многих отношениях выходит за рамки компетенции управления IIB (13), необходимо проинформировать Министра предварительным докладом об исчезновении З. Байфуса и сопутствующих обстоятельствах. Полный отчет будет представлен по окончании расследования.

Собранные к настоящему времени данные из свидетельских показаний и отчетов дают примерно следующую картину происшествия:

Граждане Израиля (проф. ?) Й. Лёйхтентрагер и А. Агасфер появляются 31.XII.1980 г. около 11 часов 00 минут в Институте научного атеизма, 108 Берлин, Беренштрассе, 39а, где коллектив института проводит небольшой

банкет по случаю принятия годового отчета о проделанной работе и достигнутых успехах. Руководитель института проф. Зигфрид Вальтер Байфус отправляется с обоими посетителями в свой кабинет, где происходит довольно взволнованный разговор; перед этим З. Байфус отклоняет предложение о том, чтобы при данном разговоре присутствовал свидетель. Другие сотрудники института в контакт с гражданами Израиля не вступали.

В 14 часов 30 минут З. Байфус в сопровождении обоих иностранцев, по показанию вахтера, покидает здание института через главный вход; в 17 часов он приходит в свою квартиру по адресу Лейпцигерштрассе, д. 61, восьмой этаж, где представляет жене и детям спутников как своего старого друга проф. Лёйхтентрагера и «много пространствовавшего по свету» господина Агасфера, после чего закрывается с ними в кабинете. Данные о том, где он и его спутники провели два с половиной часа между уходом из института и приходом домой, отсутствуют.

Примерно в 19 часов З. Байфус и оба иностранных гостя покидают кабинет. С тех пор З. Байфус, Й. Лёйхтентрагер и А. Агасфер находятся под наблюдением жены и детей З. Байфуса, а также гостей новогодней вечеринки. Это имеет место примерно до полуночи, когда жена и другие присутствующие обнаруживают исчезновение З. Байфуса. С этого времени никто не видел также Й. Лёйхтентрагера и А. Агасфера.

Последние из вышеназванных, взяв с собой З. Байфуса, удалились из дома по Лейпцигерштрассе, 61, проделав большое отверстие в наружной стене восьмого этажа. Впрочем, нельзя исключить возможности обычного ухода из квартиры через дверь, лестницу (или лифт) и парадное, отверстие же служит отвлекающим маневром. Во всяком случае, от дома № 61 по Лейпцигерштрасссе трое вышеназванных передвигались по воздуху вдоль Лейпцигерштрассе в западном направлении; долетев до пересечения с Фридрихштрассе, они свернули на эту улицу и перелетели пограничные укрепления над контрольно-пропускным пунктом; на западноберлинской стороне все трое исчезли из виду, резко набрав высоту.

К данному происшествию имеет отношение записка неизвестного происхождения, обнаруженная полицайобермайстером Гиршем на рабочем столе З. Байфуса. Экспертиза показала, что текст взят действительно из Библии, то есть составлен до сооружения антифашистского защитного вала.

До сего дня ни самого З. Байфуса, ни каких-либо его следов не обнаружено, поэтому его отсутствие на территории ГДР можно считать окончательно установленным. Имеет ли место похищение или же побег за границу, окончательно не выяснено; против последнего предположения говорит факт, что нет данных о появлении З. Байфуса в ФРГ или других кап. странах.

В связи с международными аспектами данного дела управление II В (13) просит принять решение о возможном подключении отделов I А (27) и IV G (4).

С соц. приветом,
подп.: майор Пахникель
Управление II В (13)

Глава двадцать восьмая

В которой суперинтендант фон Эйцен пытается избавиться от черта с помощью учения о предопределении, однако попадает в собственную ловушку и улетает сам-третей через каминную трубу.

Старость — это пора урожая, и если жизнь была достойной, угодной Богу, то плоды ее будут щедрыми и благими, тем более у такого человека, как Пауль фон Эйцен, которого Бог вразумлял Своим словом, обращав-

шимся потом в слово пастырское. Он не только издал «Немецкий сборник проповедей», который без устали и лени пополнял своими праздничными и воскресными проповедями, дабы подчиненные ему пасторы, так сказать младшие духовные братья, могли воспользоваться сборником и, внося небольшие изменения с учетом местных особенностей, использовать соответствующие тексты для наставления своей паствы на путь истинный; он не только представил благосклонному вниманию почтенной публики свое «Назидательное чтение о том, как применять два положения христианского вероучения, а именно о Промысле Божьем и о Тайной Вечере Господа нашего Иисуса Христа, чтобы изъяснить подлинный смысл Слова Божьего и отстаивать истинную веру против всяческого сектантства и инакомыслия, не впадая в препирательства или гневливость» и спешно посвятил сей труд после безвременной кончины герцога его восприемнику Иоганну Адольфу; да, весь свет, особенно протестантский во главе с новым герцогом, единодушно полагает, что без трудов и усердия шлезвигского суперинтенданта никогда бы не установилось в герцогстве то Царство Божие, к которому ныне обратилось столько народу, сколько, говоря словами пророка Исайи, есть песку морского.

Не обделен Эйцен и семейным благополучием. Правда, жена его Барбара, которая с годами тощала все больше, пока от нее не остались кожа да кости, отошла в мир иной, успев получить от супруга обещание загробной верности; зато дети выросли, зажили своей жизнью, причем неплохо, и даже Маргарита-младшая, несмотря на увечность, сумела довольно удачно пристроиться, выйти замуж за судебного писаря Вольфганга Калунда, вместе с которым в 1610 году ее казнили за убийство их зятя Клауса Эсмарха, бургомистра Апенраде, но Эйцену не дано узнать об этом, а его друг Лёйхтентрагер, который в силу известных способностей мог бы кое-что рассказать, предпочел умолчание.

Сам тайный советник тоже, разумеется, постарел, его бородка и поредевшие волосы на голове совсем побелели, только густые угольчатые брови остались по-прежнему черными с каким-то красноватым отливом. Он много путешествовал, неизвестно куда и по каким делам, но сегодня опять приехал сюда, побывал при дворе, чтобы попрощаться, ибо новому государю нужны новые советники, а сейчас он сидел в гостях у Эйцена; в камине горел огонь, Маргарита-младшая, которая пока жила со своим Калундом в отцовском доме, помогая по хозяйству, принесла вина из бочонка, привезенного Лёйхтентрагером, как он сам говорил, из дальних стран; дескать, это вино сразу действует на кровь, ибо красное хорошо смешивается с красным.

«Это то же самое вино,— сказал он,— которым я вас потчевал тогда в Виттенберге, когда с нами была Маргрит».

«Ах, Маргрит...» — вздохнул Эйцен.

«Нет женщин красивее тех, что мы сами себе выдумываем»,— сказал Лёйхтентрагер.

«Наваждение бесовское,— пробормотал Эйцен,— чертом выдумана, чертом вылеплена».

«А ведь ты любил ее»,— сказал Лёйхтентрагер, усмехнувшись своей тихой, кривой усмешкой — мол, у всякой вещи есть второе донце, а за ним кроется еще что-нибудь, и ничего на свете не бывает действительно таким, каким кажется, всякая правда сложна и запутана.

«Она меня водила за нос,— пробормотал Эйцен,— а потом и вовсе сбежала с жидом Агасфером, которого не только я, но каждый добрый христианин почел бы за злодея».

«И из-за тебя его запороли насмерть»,— добавил Лёйхтентрагер.

Отхлебнув вина, Эйцен хлопнул друга по горбу. «Если б он был настоящим Агасфером, которого Иисус Христос проклял на вечные скитания, то не умер бы, а выжил, показал бы кукиш господину профосу, который напоследок его еще и сапогом пнул, чтобы убедиться, что он мертв».

Едва он произнес эти слова, как в комнату вошла Маргарита-младшая и поставила на стол третий бокал, а когда отец спросил ее, что это означает и что если он пожелает видеть Калунда за своим столом, то сам скажет ему, дочь со всей учтивостью ответила, что бокал предназначен не для Калунда,

а для гостя, который как раз прибыл и представился другом дома; тут появился и сам запоздалый гость, он возник в темноте дверного проема, не освещенном огнем из камина, пламя в котором неожиданно заметалось и забилось; суперинтендант Эйцен хотел было крикнуть: «Изыди! Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа...»,— но голос его не послушался, все тело обмякло, а сердце гулко забилось тысячью молотков, подступив к горлу. Агасфер же спокойно подошел к столу, за которым сидели Эйцен и его друг Лёйхтентрагер, уселся в кресло и вальяжно раскинул ноги — молодой, как при первой встрече, в засаленном кафтане и черной ермолке; Маргарита-младшая, опустившись перед ним на колени, стащила сапоги с его ног, мозолистые подошвы которых задубели от долгих странствий. Агасфер погладил Маргариту-младшую по голове и обратился к тайному советнику: «Мир тебе, Лёйхтентрагер, как дела? Сохранились ли серебряная монета и пергамент?»

«Дело, как видишь, продвигается,— ответил Лёйхтентрагер.— Монета сохранилась, при мне и пергамент со словами пророка». Вытащив из кармана обе эти вещи, он вручил их Агасферу с такой торжественностью, будто они были величайшими реликвиями.

У Эйцена екнуло сердце, ему показалось, что однажды он уже видел подобную сцену. Друг же его спросил, почему он вдруг так задрожал: разве не приходилось ему рассказывать прихожанам о воскресении мертвых, чего же тогда бояться, когда мертвый воскрес на самом деле?

«Я не понимаю, что происходит,— ответил Эйцен.— То ли это ожил тот самый еврей, то ли призрак явился из преисподней... мне страшно».

Лёйхтентрагер подлил ему вина и попытался утешить. «Не бойся, Пауль, чему быть, того не миновать. Не ты первый, и не ты последний, чью душу заберет черт».

Эйцен заставил себя рассмеяться, хотя было ему совсем не до смеха; прогнав из комнаты неохотно подчинившуюся отцовскому приказу Маргариту, он дрогнувшим голосом спросил, неужели его друг Лёйхтентрагер и впрямь связан с чертом чем-то большим, нежели только именем, Люцифер; кроме того, он, Эйцен, никогда и никаких сделок с чертом не заключал, никаких сатанинских договоров своей кровью не подписывал, поэтому никаких прав на себя черту не давал.

Тут Агасфер встал, его темная фигура выпрямилась во весь рост, он вынул из кармана кусок пергамента, врученный ему Лёйхтентрагером, и прочитал написанное таким голосом, от которого кровь застыла в жилах суперинтенданта: «Вот Я — на дурных пастырей, и взыщу овец Моих от руки их и не дам им более пасти овец, и не будут более пастыри пасти самих себя, и исторгну овец Моих из челюстей их, и не будут они пищею их».

Эйцену хорошо знакомы эти слова пророка Иезекииля, он сам не раз повторял их ради благих целей, но сейчас стало ясно, что Вечный жид вернулся сюда после страшной экзекуции не для того, чтобы вести богословский диспут; речь теперь зашла о собственной жизни и смерти, поэтому со всей убедительностью, на которую он был способен, Эйцен принялся уверять, что сам он отнюдь не принадлежал к тем дурным пастырям, которые, лицемеря, имели на устах слово Божие, а сами стяжали блага земные; достаточно осмотреться, например, в здешнем герцогстве, господин тайный советник может подтвердить, что тут царит порядок и никто злонамеренно не уклоняется от христианского вероучения, изложенного доктором Мартинусом Лютером и отстаиваемого им, Его Герцогского Высочества старшим церковным блюстителем и суперинтендантом; народ привержен истинной вере, в то время как на востоке и на западе от границ герцогства каждый трактует христианскую религию на собственный лад, будто все могут делать это лучше дипломированных богословов.

Сказав это, Эйцен оглянулся, ища поддержки, на Лёйхтентрагера, который часто подвигал его на богоугодные дела и помогал в затруднениях, но тот лишь скривил ехидно губы и сказал: «Именно поэтому, мой наихристианнейший друг, именно из-за твоих особых заслуг черт и пришел по твою душу».

Эйцен хотел было возразить, хотя в глубине души понимал, что Христос дал распять Себя не затем, чтобы увековечить господство власть

имущих и их приспешников, но Агасфер, подняв руку, сказал: «Где Дух Господень, там свобода, ибо Господь все решает Сам и не уступает права другому; если же правда, что человек создан по образу и подобию Божьему, кто посмеет втискивать дух человеческий в выхолощенные доктрины?»

Эйцен почувствовал себя загнанным в угол, он поглядел на пляшущие тени, мечущееся пламя, и ему померещилось, будто где-то там его поджидают чертенята с раскаленными вилами и копьями, он даже вскрикнул. Нет, это всего лишь господин тайный советник легонько тронул его пальцем и промолвил: «Недаром еще Апостол Павел написал римлянам, что те, кто назвали себя мудрыми, обезумели».

Пока Эйцен слушал, в голове у него одно речение из Священного Писания начало цепляться за другое, как колесики отлаженного часового механизма, который словно сам собой заработал, затикал, и Эйцену показалось, будто черт ненароком подбросил ему спасительную веревку, за которую можно ухватиться. Поэтому он сказал: «Все верно, но что имел в виду Апостол Павел, когда писал эти слова? Да, человек может заблуждаться, но разве же справедливо отдавать его за совершенную ошибку дьяволу и проклинать на веки вечные? Пусть я ошибался, надеясь создать на земле нечто, что было бы похоже на Царство Небесное, послушное изволению лишь одной воли; но человек не должен равнять себя с Богом, ибо он есть всего-навсего горстка праха».

Лёйхтентрагер молчал, скрестив руки на груди, Агасфер же кивал головой, но, пожалуй, он вспоминал свои слова, которые были сказаны, когда Иисус оказался у его дверей; во всяком случае, Эйцен решил, что выбрал правильный путь: еще немножко самоуничижения, а там, глядишь, удастся спихнуть на кого-нибудь собственную вину, тогда, возможно, суровый приговор будет отменен или, по крайней мере, смягчен. «Следовательно,— продолжил Эйцен,— человеку свойственно ошибаться, Господь же не ошибается никогда, все вершится по воле Божьей — как Он решил, так и будет, все исполняется по Его приказу; следовательно, не человек виновен, а Бог, то есть грехи человеческие лежат на Боге, иначе Он не послал бы Своего единородного Сына брать на Себя все грехи мира».

«Стало быть,— сказал Агасфер,— злые и жестокие евреи не виноваты в том, что они кричали «Да будет распят!» и «Да будет кровь Его на нас и на детях наших»? Значит, им пришлось кричать «Да будет распят!» и совершать прочие злодеяния, чтобы исполнилась Воля Божья? Значит, надо было проклинать не меня, Агасфера, а самого Бога за то, что я сделал по Его воле, и это Бог обречен в моем лице на вечные скитания?»

Суперинтендант понял, куда завели его собственные доводы — в трясину, которая засасывает тем глубже, чем сильнее барахтаешься, но страх перед адскими муками и вечным пламенем слишком силен; Господь могуч, подумал он, и моя вина Его не обременит, поэтому он ответил: «Да! Твоя правда. За что же наказывать пастыря, если он делал только то, что велел хозяин стада? — и, повернувшись к своему другу Лёйхтентрагеру возопил: — Где же твоя логика, черт? Где же твой разум, сатана?»

Угольчатые брови Лёйхтентрагера взлетели вверх, а в глазах его блеснули искорки, ибо он всегда справлялся с простой арифметикой быстрее, чем те, кто во всем полагался на христианское вероучение и чудотворство Господнее. Он встал, подошел к книжной полке, на которой выстроились Библии, а также богословские фолианты в роскошных переплетах и окладах; справа размещались печатные труды самого Эйцена, его главное богатство и предмет гордости. Вытащив «Христианское назидательное чтение и пр. и пр.», вышедшее в шлезвигской печатне Николауса Вегенера, Лёйхтентрагер перелистнул несколько страниц, удовлетворенно кивнул и заметил, что сия книжица посвящена вопросам praedestinatio, то есть предопределения, или Божественного Промысла, о котором сейчас и идет речь; когда Эйцен, которого бросило в жар, подтвердил это, Лёйхтентрагер как бы между прочим спросил, сам ли господин суперинтендант являлся сочинителем или, может, книга написана кем-то другим; пришлось Эйцену подтвердить свое авторство; тогда его друг вернулся с книгой в руках к столу, положил ее открытой перед Эйценом, указал пальцем на соответствующую

главу, потом строку и сказал: «Читай!» Эйцен беззвучно зашевелил губами, но Лёйхтентрагер велел: «Читай вслух! Пусть Агасфер тоже послушает».

Эйцену не оставалось ничего другого, как прочитать то, что некогда он написал сам в порыве христианского правоверия и от чего сейчас бы отказался, будто это никогда ему и в голову не приходило, хотя подобные мысли он не раз слышал от своего учителя, незабвенного Мартинуса Лютера еще в Виттенберге, а именно: «Господь, благой и всемилостивый, никого не избрал для греха, проклятия или вечной смерти; проклятие безбожнику предопределено им самим».

«Им самим,— повторил тайный советник и добавил, подняв глаза к небу: — А не тем, кто свыше.— Перелистнув еще несколько страниц, он снова приказал: — Читай!» Эйцену опять пришлось читать вслух написанное когда-то, что теперь, быть может, станет приговором: «Бог сурово покарал и карает по сей день упорствующих и упрямствующих иудеев за их злодеяния и самоволие; следует отметить, что Священное Писание возводит эту жестокую и долгую кару не к Божественному Промыслу, а обусловливает ее злонамеренностью и свободной волей самих иудеев».

«Свободной волей самих иудеев,— повторил Лёйхтентрагер.— Если это верно по отношению к евреям, людям простым и бедным, то должно быть тем более справедливо по отношению к господину доктору богословия, вот так-то, дружище».

«Пошли, господин суперинтендант,— сказал Агасфер, шагнув к камину.— Час пробил».

«Пошли,— сказал Лёйхтентрагер, взмахнув рукой.— Пора».

У Эйцена затряслись колени; ему хотелось бы задержаться, выпить еще вина, которое ало мерцает на столе, но он понял, что этого ему уже не позволят, и лишь испугался застрять в каминной трубе, когда они втроем будут вылетать из нее, и все они, он сам, Лёйхтентрагер и Агасфер, зажарятся прямо здесь. Но Лёйхтентрагер, который внезапно оказался весь в белом, как ангел с картинки, и Агасфер, одежды которого сделались будто сотканными из света, бережно взяли Эйцена под руки, словно угадав его опасения; не бойся, сказал Лёйхтентрагер, мы уж тебя причастим по всем правилам. Не успел Эйцен удивиться тому, что к свершению обряда вроде бы ничего не готово, как ему открыли рот, словно на приеме у зубодера, и голос Лёйхтентрагера произнес: «Ну, давай сюда свою душу, все равно она у тебя неважнецкая». Тут он почувствовал, что внутри что-то оборвалось, хотел вскрикнуть, взмолиться Богу или еще кому-нибудь, но уже не сумел.

Некоторое время спустя в комнату вошла Маргарита-младшая со своим судебным писарем Калундом и увидела отца лежащим перед камином, голова странно вывернута, остекленевшие глаза широко раскрыты от ужаса, язык вывалился.

Огонь в камине погас, а рядом со столом, на котором в трех бокалах мерцало алое вино, стояли сапоги, вроде бы только что стянутые Маргаритой-младшей с ног молодого еврея.

Глава двадцать девятая, и последняя

В которой Равви идет войной на священные устои, происходит Армагеддон, но последние вопросы остаются без ответа.

Мы падаем.

Летим в бездну, которая является одновременно и пространством, и временем, где нет ни верха, ни низа, ни права, ни лева, только потоки частиц — еще неразделенных света и тьмы, вечные сумерки. Я вижу Равви, его руку, протянутую ко мне, и мое сердце тянется навстречу ему.

Жалеешь о том, что случилось, спрашивает он.

Нет, не жалею.

Ибо это было великое свершение, как бы ужасно оно ни закончилось, великая попытка, которая была необходима, чтобы круг замкнулся и все возвратилось к своим началам, твари к творению и Бог к Божеству. Первый и единственный раз он, Равви, был богоравен, когда взлетел на своего белого коня и бросился в битву, глаза его горели огнем, в руке блистал обоюдоострый меч справедливости, а впереди развивалось знамя с начертанным на нем именем, которого никто не знает; следом за ним скакали четыре всадника; первый конь — цвета серы, всадник на нем имел лук, достигающий краев земли, и звали его Огонь испепеляющий; второй конь был рыжим, звали его Война, и сидящему на нем всаднику было дано взять мир с Земли, чтобы в горах и долах все убивали друг друга; третий конь был вороной, звали его Голод, и сидящий на нем имел меру в руке своей, меру пшеницы за серебряный динарий и три меры ячменя в ту же цену; четвертый был конь бледный, на нем сидел всадник Смерть. Волосяным мешком стало Солнце, Луна окровавилась, вверх устремились полчища Гога и Магога, они скакали на буланых и рыжих, вороных и пегих конях, на них были огненные железные панцири, а вместе с ними летела тьма саранчи, глаза косые, пасти пышут пламенем, а шум от крыльев — как стук боевых колесниц, за ними следовали ангелы бездны, которые были низвергнуты на шестой день вместе со мною и с Люцифером, все они были одеты в пестрые одежды и играли на цимбалах, били в барабаны, трубили в трубы, от этих громовых звуков содрогались дали и ужасалось все живое; впереди их вышагивал зверь о семи головах и десяти рогах, звали его Антихрист, и он вел остальных за собою. Едва это воинство прошло мимо, как земля разверзлась, из нее вылезла многолюдная пешая рать нищих, воров и жалких мошенников, а также убогих, калек и увечных, некоторые несли свою голову под мышкой или петлю на шее, среди них были женщины, беззубые, косматые, с обвисшими грудями, вонючие, все они бранились, кричали непотребное, грозили кулаками, ибо кто был обездолен и унижен при жизни, тот остался таковым и после смерти, но вот настал, как они верили, Судный день, поэтому потянулись они во гневе и ярости к небесам, подобно черным птичьим стаям, вслед за конным воинством и за падшими ангелами. Люцифер же сидел на круглом камне, положив ногу на ногу, хромая — сверху, и подперев подбородок левой рукой; он смотрел на проходившее мимо воинство Равви, будто присутствовал на специально для него устроенном представлении.

Равви тронул мое плечо кончиком пальца, я вздрогнул. Все оказалось тщетным, сказал он, в очередной раз тщетным и напрасным.

Я догадался, что он вспомнил о своей смерти на кресте и о том, как я прогнал его от своих дверей, когда он не захотел сражаться; но вот теперь он решился на битву, однако вновь ничего из этого не вышло. Равви, сказал я, взяв его руку, тонкую, как у женщины, может быть, Равви, на сей раз это было твоим искуплением.

Море стеклянное, подобное кристаллу, раскололось, и острова исчезли с мест своих, будто их и не было вовсе, и горы рассыпались, подобно пригоршне песка, и земля запылала из конца в конец; люди скрылись в пещеры и ущелья гор, но и там их настигала смерть, оставив лишь тень на скале. Звезды, пылая, падали с неба, отворяли кладези бездны, из которых вышел ядовитый дым и смрад, и все, что было цело, с грохотом взорвалось. Но Равви продолжал идти вверх, а за ним тянулось его воинство, они искали новый Иерусалим, который выстроен из ясписа и чистого золота и имеет двенадцать ворот: с востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, с запада трое ворот, а над ними Великий храм из белого мрамора, где в Святая святых восседает на вечном престоле Сам Господь в окружении праведников, на челе которых лежит печать Божья; но как бы высоко ни взбирался Равви со своим войском, сколько бы небес ни пересек, нигде такого города не было — вот уж пена покрыла хлопьями морды и крупы коней с четырьмя всадниками, вот уж притомилась даже саранча, даже зверь о семи головах и десяти рогах начал спотыкаться, а падшие

ангелы и пешие рати, вылезшие из могил, взроптали, словно народ Израиля после сорока лет блуждания по пустыне. Наконец Равви остановил своего коня, выпрямился в седле и сказал всем: Бога нигде нет, Он понял, что потерпел поражение со своими ангелами и духами, и бежал, поэтому я, Сын Человеческий, стал теперь Богом, я сделаю то, что Он обещал, но не исполнил; я сотворю новое небо и новую землю, царство любви и справедливости, где волк будет мирно пастись с агнцем, человек не будет врагом человеку, а пойдет с другим рука об руку под лучами моего солнца и под сенью моего сада.

Тут я, Агасфер, увидел, как четыре всадника захлопали себя по ляжкам от смеха, семь голов Антихриста оскалили, ухмыляясь, зубы, заволновались Гоги и Магоги, зашумели падшие ангелы и убогие рати, будто не верили ушам своим; но прежде чем раздался адский хохот, который разнесся бы по всем небесам, от первого до седьмого, осмеивая этот детский лепет, откуда ни возьмись, появился старец, который писал Книгу жизни; он сказал: «Ты пришел, сын мой, со всем этим воинством, чтобы изменить мир по-своему?»

Равви поднял руку, словно отмахиваясь от старца, как отмахиваются от назойливой мухи, но тот сказал: «Ты забываешь, сын мой, что ты — мое подобие и неотделим от меня».

Тогда Равви вскинул меч, чтобы убить старца, однако тот стал расти, сделался огромен, ноги Его упирались в разрушенную землю, а голова уходила за облака; Он поднял Свою десницу, в которой некогда уместилось все Его творение вместе с ангелами, небесными светилами, Адамом, и раздался голос, который был громче самого оглушительного грома и одновременно тихим, словно трепет листьев на ветру; этот голос произнес одно лишь слово — Господь назвал Свое имя, имя Бога, тайное, святое, неизрекаемое.

И все застыли, будто пораженные молнией, четверо всадников, орды Гога и Магога на буланых и рыжих, вороных и пегих конях, саранча с раскосыми глазами и огненными жалами, зверь о семи головах и десяти рогах, падшие ангелы, мертвецы, вылезшие из могил, с их язвами и увечиями, а затем они начали расплываться перед моими глазами, растекаться, улетучиваться, пока не осталось ничего, кроме пустоты, зияющего пространства, и посреди этой пустоты — фигура Равви, без коня и меча; он был мал, тщедушен, изможден и одинок, как тогда, когда я встретил его в пустыне. Я услышал далекий смех, знакомый смех — это все, что осталось от Повелителя бездны и великого борца за порядок, Ангела Люцифера.

Мы падаем, Равви и я.

Мой вечный брат, сказал он мне, не покидай меня.

Я приник головой к его груди, как когда-то на его последней вечере, он поцеловал мое чело, обнял меня и сказал мне, что я для него — будто его собственная плоть, или неразлучная тень, или второе «я». И мы слились с ним в любви и стали единым целым.

А поскольку он и Бог были едины, стал единым с Богом и я: одним существом, одной великой мыслью, одной мечтой.

Примечание

Выражаю глубокую признательность господину барону Герберту фон Шаде из Северо-Эльбской церковной библиотеки, господину Гельмуту Отто из Гамбургского церковного архива, господину доктору Петеру Габриэльсону из Государственного архива (Гамбург), а также господину Фолькмару Дрезе из Североэльбского церковного ведомства, господину доктору Хансу Ф. Ротхерту из земельной библиотеки (Киль); и господину доктору Хансу Зайферту из университетской библиотеки (Киль); далее — господину старшему архивному советнику доктору Райнеру Витту из архива земли Шлезвиг-Гольштейн в замке Готторп и господину Йонасу Циглеру из государственной библиотеки Западного Берлина за их помощь в моих разысканиях. Приношу особую благодарность за добрый совет и вдумчивые критические замечания господину профессору Йоханаану Лёйхтентрагеру (Иерусалим) и профессору доктору Вальтеру Бельцу (Берлин).

ГЕРМАН ГЕССЕ

Время в саду

ПОЭМА

Перевод С. АПТА

НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ 1946

От переводчика

Эту поэму Гессе написал в июле 1935 года — к шестидесятилетию своей сестры Адели. Как только начинаешь читать неторопливый рассказ в гекзаметрах о саде, о домашней жизни, о постоянном круговороте в растительном и животном царстве, на память сразу приходят «Георгики» Вергилия, «Герман и Доротея» Гёте, «Песнь о ребенке» Томаса Манна. Литературное родство «Времени в саду» с этими произведениями очевидно.

Тем, кто знает «Игру в бисер», ясна и связь поэмы с этим прославленным произведением. Она состоит не просто в том, что в тексте упоминаются «Игра» и «мастер Игры» Йозеф Кнехт, а в самом тоне поэмы. Самим своим тоном поэма уже предвосхищает ту альтернативную модель мира, которая еще через семь лет работы предстанет в романе во всей полноте. В поэме, как и в той педагогической картине педагогической провинции, нет ни малейшей назидательности, ни малейшей попытки сделать из этой созерцательной жизни в саду культ или догму.

Гессе говорил, что не надо строить историю «из идей», а достаточно «делать добро». Не стоит спешить с упрощающе-привычными ярлыками: «эскапизм», «теория малых дел», забывая при этом, что своим назначением в жизни Гессе считал писательство. В 1935 году он, уже давным-давно переселившийся в Швейцарию, оказывал гостеприимство и материальную помощь эмигрантам из гитлеровской Германии, хлопотал о визах для изгнанных, писал поручительства и рекомендации. Но, может быть, самый долговечный источник, дающий силу, чтобы сопротивляться напору одичания и озверения, человек находит во внутреннем союзе с природой, в воспарении духа, в высоких мыслях о мировой гармонии и своем месте в ней. И на круг самым большим добром, самым гуманным делом Гессе оказались работа над «Игрой в бисер» и размышления, запечатленные в гекзаметрах «Времени в саду». В наши дни, здесь и сейчас, это чувствуется особенно остро.

В семь утра выхожу на террасу из комнаты. Солнце
Шпарит уже вовсю между тенями фикуса. Стенка
Грубой гранитной ограды согрелась. Мои причиндалы
Замерли здесь наготове. Со всеми я издавна дружен.
Круглая вот корзинка для сорной травы. Вот цаппетта,
Это окучник такой с коротенькой ручкой (прокладку
Между ней и железом я сделал из кожи сапожной,
Так посоветовал мне один умелец тессинский.
В сырости я свой окучник держу, чтоб, гляди, не рассохся).
Грабли тоже стоят здесь, иной раз мотыга и заступ,
Две с водою, на солнце уже согревшейся, лейки.
Я корзинку беру и окучник и солнцу навстречу
В утренний путь свой иду, прохожу мимо вялых, увядших
Роз и мимо чащи цветов у лестницы, там, где
Вечнозеленую розу, что вьется у стенки гранитной,
Стеблями сплетшись, цветы обвили и разные травы.
И гладиолусы здесь, и подсолнух, и дар Наталины,
Славный жасмин, и фонарики здесь, и резуха. При каждом
Ветре сухом иль холодном, при каждой грозе мне бывает
Страшно за них, беззащитных, но я их упрямо сажаю
Из году в год, потому что привык к ним и с ними сроднился.
Вплоть до минувшей зимы стоял здесь еще чужеземец
Около лестницы, кактус. Был ростом красавец, пожалуй,
С мальчика лет десяти. Держался он долгие годы
Великолепно, и креп, и соседей любых, ощетинясь,
Прочь прогонял от себя. Вблизи только бурый, невзрачный
Клевер, бог весть откуда попавший сюда, умудрился
Вырасти. Кактус его признал и дружбу водил с ним.
Только вот прошлой зимой мясистые ветки под снегом,
Вдруг навалившимся, переломились, и мало-помалу
Едкая гнилость от ран разошлась по телу растенья.
На опустевшей земле, где высился тот иноземец,
Травка нынче взошла, и я водосбор наудачу
Здесь посадил, надеясь, что место не будет чрезмерно
Солнечным для таких, привыкших к лесу цветочков.
Мимо сейчас прохожу, головою кивая, но вскоре
Возле дома еще, нагнувшись над галькою, вижу:
Две-три травинки на ней зеленеют, пробившись, и листья
Фикуса и шелковицы желтеют, упавши до срока.
Листья надо убрать. Люблю, чтобы сад был опрятен.
А уж у самого дома опрятность блюду и подавно,
Там, где у окон растут среди гальки самшиты и розы.
По-настоящему сад начинается ведь за самшитом.

Вниз, между лоз, по склонам, в соломенной шляпе, надвинув
Чуть не на брови тулью, иду по ступенькам из камня.
Вот уж и дома не видно. Самшит в раскаленное небо
Только уперся. Вобрал меня сад, вобрал виноградник.
Все отлетело: и дом, и газета, и завтрак, и книги.
Хочется взгляд задержать на сини небесной, на блеске
Озера перед горами, что утром, когда против солнца
Смотришь на них, растворяются в свете, а позже,
Ближе к полудню, когда поднимается солнце к зениту,
Оседают, грузнеют, сжимаются, плотность и тяжесть
Исподволь обретают, а вечером зренье морочат
Ложной близостью всех своих скал, деревень и ущелий,
Как на ладони лежащих в густой позолоте заката.
Утро сейчас, и видны только самые гребни и кромки,
Сизы те, что поближе, а задние всё серебристей,
Всё светлее и тоньше. Но вскоре глаза от востока

Взгляд ослепленный отводят и взором обходят хозяйским
Поприще дел неотложных, урок предстоящей работы.
Вновь разошелся сорняк. Полоть, и немедленно, чтобы
Он зацвести не успел, а то ведь семян разбросает
Столько, что и не счесть, и ягод уже не увидишь.
Также дорожка, что змейкой врезается в гору, вниманья
Требует, то огорчая, то радуя. Это зависит
От того, как она с последним справилась ливнем:
В желобы ль сбросила воду и дальше на траву, как нужно,
Или — что часто бывает,— грозы напугавшись, откосы
Натиску ливня открыла, который песок и щебенку
Намывает в траву и, дорожку размыв, оставляет
Ямы и рытвины в ней и морщины глубокие трещин.
Здесь, на узких террасах, почти всю землю пустили
Под виноградник: вода далеко, да и слишком уж круты
Склоны, да и от лоз много тени. Но даже на этой
Скудной земле удается какую-то мелочь порою
Вырастить — землянику, бобы, капусту, горошек.
Здесь же, на самой широкой, на лучшей террасе делянка
Наталины почтенной, моей помощницы давней.
Нынче, уйдя на покой и кухню забросив, за этим
Ходит угодьем она, от кроликов миски с навозом
Носит сюда и золой удобряет старательно почву
В тех местах, где дорожка приблизилась к грядкам вплотную,
Из году в год вырастают цветы: ведь мы каждодневно
Ходим по этой дорожке крутой, и если горошек,
Если бобы и капуста буреют и сохнут от жажды
В засуху, то цветам достается хоть капелька влаги,
Циннии красно-синей, настурции, львиному зеву.
Мимо них, оживляющих высохший склон своей благотворной
Свежестью, к хлеву спускаюсь. Давно никакой он не хлев, но
Так и зовется поныне. Он чаще закрыт. В нем хранится
Всякий хозяйственный скарб: бутылки, ящики, банки.
Есть у него и чердак. Поленницы, доски, штакетник
Сложены там про запас. А рядом кладовка, где прячет
Все орудья свои виноградарь наш славный Лоренцо.
Лозы он обрезает, подвязывает весною,
Летом опрыскивает, окуривает их серой,
Осенью и зимой подкармливает навозом.
Хлев — главнейшая точка в саду. Здесь пологое место,
Редкость в наших краях, где для каждого дерева надо,
Надо для каждой лозы урывать ступеньку от склона.
Правда, полоска узка, но все-таки радость и счастье —
Даже такая малость. На этом клочке мы разводим
Овощи из году в год. Мы, в зелени скрывшись, часами
Роемся в этой земле, вдали от дома, и крепко
К ней привязались. Такие скопились богатства и блага
Здесь, каких человек посторонний увидеть не сможет.
Ведомы нам лишь они, а уж мы-то ценить их умеем.

Правда, эта терраса у хлева не может сравниться
Роскошью и положеньем с той верхней, у дома, откуда
Вид на север открыт, на долы, на озеро, горы,
С той, где розы кругом, где самшит вдоль площадки, где гости
Хвалят место для дома и спрашивают, как эта
Или как та вершина зовется... Нет, здесь, возле хлева,
Все иначе, орлом над долом озерным и далью
Здесь ты не воспаришь и восторгов гостей не услышишь.
Здесь крестьянская жизнь, здесь не замок стоит, а сарайчик,
Стенкой восточной своей в винограде утопшей и розах,

Прикрывающий грушу. Она в октябре плодоносит.
Три-четыре цветка хохочут под нею. На солнце
Ящерица погреться приходит сюда, сладострастно
Шейку свою раздувая смарагдово-синюю. Рядом,
Возле южной стены, навален компост прошлогодний,
Темный, рыхлый, сыпучий — богатство. Чтоб кучу украсить,
Сею подсолнухи здесь. Они, над стеблями свесив
Головы на ветру, питаются тучной землею.
Сами и вскормят ее, истлевши осенью. Птицы
Выклюют семена, упадут под бурями стебли,
Жадная прежде зеленая плоть устало и мирно
Ляжет в ждущую землю для нового круговорота.
Дивная доля дана цветам и растениям — за год,
Даже меньше того, за какие-то месяцы только
Все ступени жизни пройти — от зачатья до смерти!
Так, как глядят на детей,— забавляясь, весной на цветы мы
Смотрим, на быстрый их рост, на их глуповато-смешные
Рожицы, где и невинность, и трогательность, и жадность
Смешаны вместе. И вдруг среди лета цветок, что ребенком
Только вчера еще был, предстает нам загадочным, древним,
Бесконечно усталым, но, зрелости гордой исполнен,
Вновь улыбается он, живой нам пример и образчик.
Стало быть, здесь золотятся подсолнухи, да за дорожкой
Выросли тоже они самосевом на грядках. Иные
Вырвать пришлось, но уж те, что оставлены, кормим и холим.
Прежде, однако, взглянуть прошу на сокровище наше:
Под деревянною крышкой широкий и очень глубокий
Прячется водоем. Родник, что неподалеку
Бьет у леска, где ветлы поит и орешник, по трубам
Гонит воду сюда. Монтаньольские жители верят,
Будто ключ наш особый: зимой будто теплый, а летом
Людям и травам на радость и в жаркую пору холодный.
Сами построили мы и этот, и тот, что подальше,—
Оба колодца, по трубам погнав родниковые струи.
В прежние времена вода по траве на откосе
Без толку растекалась. Теперь мы и сотню, и больше
Леек теплой воды, хорошо отстоявшейся, можем
В зной зачерпнуть, напоить изнуренные жаждой растенья.
Здесь же и мой огород, с обеих сторон окаймленный
Виноградом. Но ряд, где лозы на юго-востоке
Солнце себе забирают, хочу извести постепенно.
Грядки привольно лежат, одна за другою, под тенью
Лоз и персиков. Правда, копается здесь, в огороде,
Обыкновенно жена, но и я иногда за порядком
Прихожу поглядеть. Ведь работы хватает ей. Много
Дел у всякой хозяйки, на ней и кухня, и стирка,
Да и гости, бывает, заходят. Натрудится за день.
Взгляд мой пытливо обводит ряды ухоженных грядок.
До чего хороши! Ни крестьянка, ни даже садовник
Лучше возделать не смогут. На редкость опрятно и пышно
Разрослась каротель. За столом до нее не охотник,
Я морковку люблю в огороде, люблю за качанье
Кистей густых ботвы на ветру, за запах ядреный.
Гусениц кормит она махаона, который, порхая,
Радует нас благородством своих движений и красок.
Запах морковной ботвы напоминает мне детство,
Летние дни, когда гусениц в ней разводил и зубами
Крепкими сам разгрызал красноватую плоть корнеплода.
Юность, ты снова ко мне возвращаешься в радостях сада
В эти осенние годы, ты снова призывно и сладко

Старое сердце мое бередишь, томишь и волнуешь.
Кое-где находя раздобревшую травку,— под тенью
Пышной морковной ботвы она поднялась потихоньку,—
Я к корешку-паразиту тянусь через зелень на ощупь,
Беспощадно выдергиваю, бросаю в корзину.
Рядом — царство петрушки. Прещемоло — так называют
Здесь этот овощ. Зимой, когда все в огороде, пожухнув,
Стало прахом и грядки декабрьским завалены снегом,
Пусто и голо кругом. Один лишь прещемоло верный
Все еще зеленеет. Навес для петрушки Лоренцо
Сделал, хворостом жерди покрыл и спаржевой травкой.
В этом году наконец после долгих раздумий и прений
Мы огород в двух местах увеличить решили, лужайку
На три-четыре шага в ширину поубавив. Лоренцо
Вскапывал, сквозь решето пропускал каменистую землю,
Перекатывал еще зимою с навозом.
Вот и пришел я сейчас в одну из новых провинций —
Здесь томаты растут — поработать. Управлюсь, быть может,
Раньше, чем фикуса тень под солнцем поднявшимся сгинет.
В пять, как по струнке, рядов стоят мои помидоры
(И «мои» говорю, ибо сам сажал их и холил,
Есть ведь и овощ такой, который жена опекает),
Полной почти высоты достигли, стоят налитые,
Сочные, в листьях густых. Секрет вам открою: на каждый
Корень я насыпáл, смешав с минеральной подкормкой,
Влажного, рыхлого торфа. Попробуйте! Верное дело.
Сочные, стало быть, в листьях густых. Безудержно лезут
Из узловатых стеблей во все стороны листья. Под ними
В темени зеленоватой зеленые, по два и по три,
Юные зреют плоды. Вот-вот загорятся пунцовым,
Лету во славу, огнем. Однако меня занимают
Нынче не столько плоды, сколько колышки, что для подпорки
Служат им. Все мои колья из леса ближайшего. Чаще
В дело идет каштан, но акация тоже и ясень.
Есть высотой с человека и выше. Иное растенье
Колышек перемахнет. Среди растений всегда ведь,
Как и среди людей, встречаются особи, крайне
Бойкие, пробивные, нахрапистые. Порою
Смотришь с восторгом на них, а порою смеешься над грубым
Самодовольством таким, над такой неуемною прытью.
Я слежу, чтобы колья стояли твердо и ровно,
Куст за кустом обхожу с ножом в руке. Обрезая
Буйно растущие ветки, две-три оставляю на каждом
Корне, а прочие все — долой. От побегов я тоже,
Прущих напропалую из пазух листьев, стараюсь
Лишнее срезать, чтоб корень не тратил силы напрасно.
Я достаю из кармана веревочки, верхние ветки
К кольям привязываю, чтоб не разбегались. Настолько
Быстро растут, что дней через пять подвязывать надо
Снова, и мой карман веревкой набит постоянно.
Лыко для этого служит иным, что на вид и приятней,
Но у меня-то всегда веревки полно. Бандероли
Каждый день издатели шлют, а веревки храню я.
Так обхожу ряды помидоров. Тем временем утро
В день перешло, растаяли тени, курится
Душный пар над землей, от корзины, где листья, недавно
Полные жизни, лежат, горьковатый доносится запах.
Солнце уже несносно палит. Не доделав работу,
Я от зноя бегу, ищу прохлады и тени.
Это я нахожу под листвой шелковиц, возле хлева.

То, что в корзину собрал, вытряхиваю на гору
Сорной травы. День за днем гора вырастает и в землю
Все, что когда-то земля родила, претворяет исправно.
Здесь, в тени шелковиц, под плотною крышею листьев
Место укромное. Здесь защищен я надежно и спрятан.
Рядом и персик растет. Я сам посадил его, сам я
К колу его привязал и плодов надеюсь дождаться.
Дальше — боярышник, граница усадьбы. Чуть ниже
Малолюдный проселок. Иной раз, правда, в высокой
Притаившись траве, я вижу, как подо мною
Люди проходят, не зная, что кто-то их слышит, и громко
Разговор свой ведут доверительный. Эти, к примеру,
Две поселянки с утра за хворостом-буреломом
После ночной грозы, не спеша, в башмаках тяжеленных,
За спиною корзины, шагают к лесу. Хохочут,
Сплетничают, негодуют, о чем угодно болтают.
Многое слышу дословно. Но вот удаляются речи
К лесу, стихают, и только отломленных веток оттуда
Треск долетает сухой. Бывает, я слышу глухие
Звуки,— но я никому ни гу-гу,— когда сучкорезка
В дерево входит живое. Какая-то женщина, значит,
В эту безлюдную рань презрела запрет и срезает
Сук за суком на дрова, а порой, разохотясь, и вовсе
Целое деревце... Слава тебе, приют мой зеленый,
Холм из сорной травы в тени шелковиц. Укрываешь
Ты меня в зной, когда птицы молчат, укрываешь в недобрый
Час, когда из дому гонит меня неудача в работе,
Боль, или злобное чье-то письмо, или просто унынье.
Ты неизменно меня принимал с веселым радушьем,
Ты дарил мне часы тишины божественной, дивной,
Полной, такой, что и дятла не слышно в лесу. Благодарен
Я за многие мысли тебе и мечты, за блаженства раздумья.
Часто, когда здесь сижу полураздно-полуприлежно,
Львом через джунгли грядок и лоз прокравшись, приходит
Кот наш неслышно ко мне, дружок мой. Мяукает нежно,
Голову трет об меня, глядит умильно, ложится
На спину, лапки задрав, брюшко открывает и шею
Белую, словно снег, зовет поиграть. А иной раз,
Метко прыжок рассчитав, мне на плечи вскочит, прижмется,
Ласково помурлычет и спрыгнет, довольный, на землю.
А бывает, он только кивнет на ходу деловито,
Занятый чем-то своим, что в лес его тянет, и тихо,
Крадучись, мимо пройдет изысканной поступью, Лев наш,
Сын сиамки. Есть брат у него, когда-то любимый,
Кличку носящий Тигр, с желтоватыми брюхом и шеей.
Эти дружившие прежде и неразлучные братья,
Спавшие рядом всегда, из миски одной без раздоров
Евшие, стали врагами, когда подросли. Развела их
Напрочь мужская страсть, жестокая ревность мужская.

Вот и сейчас улизнул я сюда. Пылает затылок,
Спину едва разгибаю, темно в глазах. До полудня
Здесь отдохну, потешу себя нетрудным занятьем.
Загодя приношу из сарайчика круглое сито,
Старой бумаги комок, зажигалку. Ведь редко бывает,
Чтобы, придя сюда, костерок не развел я. Наверно,
Есть у этой тяги к огню глубокие корни:
От ребяческой страсти поджечь что-нибудь — к всесожженьям
Авеля, Авраама приводят они. Ведь привычка
Всякая, будь то порок или доблесть, корнями уходит

В древность седую, хоть в каждом из нас живет самобытно.
Что до меня, например, то мне (среди прочего) некий
Видится культ в огне, какой-то химический символ:
Многообразие вновь приходит к единству. При этом
Я и жрец, и слуга, и вершитель, и то, что вершится,
Дерево и траву превращая в золу, помогая
Мертвому поскорее исчезнуть, очиститься, часто
Сам я тем же путем иду очистительным, чтобы
Тоже к единству прийти от множества в мыслях о Боге.
Для очищенья огнем, для обряда алхимики прежде
Брали металл. Раскалив, охлаждали его, добавляли
Химикалий и ждали луны молодой или полной.
А покуда металл превращался божественной силой
В высшее естество, философский камень, вершился
Тот же процесс и в душе чернокнижника, полного веры.
Бодрствуя, плоть изнуряя постом, размышляя, он долго
Дух возвышал свой, себя очищал и ждал терпеливо
Дня, когда, как в тигле металл, просветленной и чистой
Станет душа, чтобы слиться в союзе мистическом с Богом.
Вы усмехаетесь, други: смешно, что, на корточках сидя,
Раздувая огонь, вороша угольки, предаваясь,
Как мальчишка, мечтам, я все это пышно украсить
Символами стремлюсь. Но вы же, мои дорогие,
Знаете, в чем для меня смысл творчества. Не приукрасить
Что-то хочу, а излиться. И вы мне мои завихренья,
Надо думать, простите... Итак, я устроился между
Изгородью живой и сваленной в кучу травою
Сорной, бумагу поджег, подкинул сверху немного
Стеблей и листьев, сначала сухих, а потом и зеленых.
Мощный, высокий огонь люблю я в осеннюю пору,
А сегодня, в жару,— да и дров маловато, не то что
В дни равноденственных бурь,— стараюсь, чтоб теплился тихо,
Чтобы только курился и тлел костерок мой часами
Или даже весь день. Супруга меня углежогом
Из-за запаха дыма зовет и огнепоклонства.
Веры моей не приняв, она ее терпит, нет, больше,
Любит. За это жену помяну, творя всесожженье.
Нет ее дома сейчас. Уехала в город, в Лугано.
Связан огонь у меня еще с одной верой: считаю
Пережиганье земли чудодейственным способом. Нынче
Начисто он забыт. Другие придумала средства
Химия, чтоб от кислот очистить, удобрить, улучшить
Грунт, да и времени нет сегодня сидеть и тихонько
Землю пережигать,— кто работу оплатит такую?
Я же поэт, и за это, быть может, многим-премногим
Жертвую, многим плачусь, но зато мне позволено Богом
Жить не только здесь и сейчас, а из тесного плена
Времени вырываться на волю. Когда-то ценилась
Эта способность, звалась отрешенностью, божьим безумьем.
Нынче она не в чести: ведь нынче дорого время,
Трата сил — порок. Интроверсией специалисты
То состоянье зовут, о каком я сейчас повествую.
Свойственно мямле оно, недотепе, который усладу
Ищет в мечтаньях, от дела удрав. Человека такого
Взрослый не примет всерьез, никудышным сочтет и никчемным.

Что ж, и эпохи, и люди по-разному разные блага
Ценят, и каждый да будет доволен собственной долей.
Но возвращаюсь к земле! Речь шла о том, что люблю я
Пережиганье в костре, которое нынче не в моде.

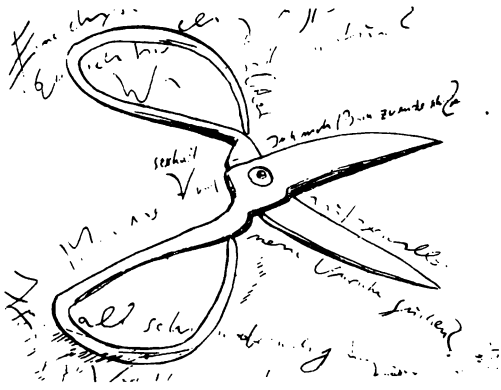
Некогда вера жила, что грунту путем пережога
Можно вернуть плодородность. У Штифтера, кстати — а этот
Очень писатель мне мил,— садовники разные грунты
«Нажигают». И я то же самое делать пытаюсь.
Из отбросов зеленых, корней и ветвей, что сжигаю,
Густо с землей их смешав, получается пепел, отчасти
Темный, отчасти светлый, то серый, а то красноватый.
Эта зола, как мука, мое покрывает кострище.
Тщательно я просеваю золу, пережогом добытый
Камень мой философский, награду мою, и в кастрюльке
В сад уношу, чтобы там бережливо по грядкам рассыпать.
Только любимым цветам да еще посадкам супруги
Этот плод драгоценный дарю медитации долгой,
Жертвенной. Вот и сегодня, в соломенной шляпе, надвинув
Чуть ли не на нос ее, присев, как китаец, кладу я
В тлеющий жар то сухое, то влажное поочередно.
Вновь через руки мои вся зелень проходит, что в кучу
Собрана здесь. Вперемежку лежит в ней с травой-паразитом
Добрая травка, сорняк — и рядом росточки салата,
Огуречные листья, а то попадется, бывает,
Палочка просто с бумажкой, засунутой в трещину. Это
Знак, что засеяли грядку. Но та запоздала, отстала,
Брошена, не нужна. Вот так же точно и мудрость
Древних, писанья священного мудрость сегодня
Кажется дряхлой, отжившей свое, и ногами иные
Часто пинают ее, как эту вот кучу отбросов.
Но для тех, кто мечтаньям свои посвящает досуги,
Вдумчив и чуток, она дорога и священна, как все, что
Через раздумье покой душе человека приносит,
Чтоб госпожою разумной была страстей и порывов.
Надо, однако, и ту обуздывать страсть, что стремится
Мир воспитать, исправить других, историю сделать
Из одних лишь идей. Ведь так, к сожаленью, устроен
Мир, что этот порыв благородный, как все остальные
Наши порывы, приводит к насилью, войнам и крови.
Мудрость игрой мудрецов остается, алхимией. Правят
Более грубые миром и более мощные страсти.
Так смиримся ж и мы, противопоставим событьям
Даже в трудное время спокойствие духа, что благом
Высшим у древних слыло. Без мыслей о переустройстве
Мира попробуем делать добро. Зачтется и это.

Жаркий полдень вокруг тяжелеет безмолвно. Ни звука
В воздухе, только повозка внизу на дороге в долине
Изредка прогремит да хрустнет костер, если пламя
В корень вгрызется сухой, чтобы тут же сожрать его жадно.
Я покойно, хотя и не праздно, стою на коленях,
Тихо, за горстью горсть, решето наполняю золою,
Что от прежних осталась костров, добавляю землицы
Старой, влажной, загнившей — из кучи. Трясу осторожно
Эту рыхлую смесь, и под ситом моим вырастает
Холмик зольной земли. Тряся решето, я невольно
В ритм понемногу вхожу, отбиваю такт. А из ритма
Неугомонная память составить какую-то хочет
Музыку. Я про себя ее напеваю, не зная
Ни названья пока, ни автора. Вдруг озаренье:
Моцарта это квартет с гобоем... И вновь оживает
Давняя мыслей игра, что игрой называется в бисер.
От медитации сущность ее, а от музыки — форма.
Йозеф Кнехт — ее мастер. Ему я обязан прекрасным

Вымыслом этим. Вот счастье мое, игра и забава
В светлые времена, а в полосы горя и смуты
Утешенье, отрада. И здесь, у костра, я нередко
В бисер играю, хотя еще далеко мне до Кнехта.
И покуда мой холмик растет и мука земляная
Сыплется из решета, покуда я правой рукою
То добавляю земли, то костер ворошу безотчетно,
И покуда подсолнухов желтые солнца от хлева
Светят сюда и даль полуденной синью сияет,
Музыку слышу, людей ушедших времен и грядущих
Вижу я, вижу, как духа собор многовратный возводят
В единодушном согласье они — мудрецы, стихотворцы,
Слуги искусств и наук. Позднее когда-нибудь это
Я опишу. День еще не настал, но раньше ли, позже ль
День настанет такой, или он вообще не настанет,—
Все равно неизменно игра доброумная Кнехта
Будет меня утешать в унынии. Старый паломник
В выдуманной стране Востока, я буду из плена
Сроков и числ убегать к божественным братьям, пытаясь
Как-то влить в их согласный хор и собственный голос.

Оклик слышу. Очнулся. Баюкала малая вечность
Сладко меня. От дома доносится голос. Вернулась
После покупок жена. Зовет меня. Я откликаюсь.
Вставши с колен, положив последние горсти подтопки
На алхимический свой костер, отношу я на место
Сито — в сарайчик, затем под солнцем слепящим взбираюсь
В гору по нашей тропинке зигзагообразной к площадке,
Галькой усыпанной, к дому, чтоб встретить жену, посулить ей
В дар и в награду за маки ее, за дельфиний, который
Выращен ею с особой любовью, огромную кучу
Тучного чернозема с золой. Жару и усталость
Чувствую вдруг, с наслажденьем вхожу, по ступенькам поднявшись,
В тень возле дома и в дом, в прохладу приятную. Мою
Руки, жена меня уже приглашает обедать.
Суп разливает, про город рассказывает. Пора, мол,
С нею съездить туда и мне. Опять на затылке
Космы торчат у меня, постричься надо, ведь я же
Все-таки человек, а не леший. Мои возраженья
Без вниманья оставив, она переходит к расспросам.
Сад вспоминает, и вскоре живое идет обсужденье:
Нужно ли вечером нам поливать его, весь ли иль только
Большую часть (работа на много часов и, поверьте,
Вовсе не легкая), или от прошлого дождика влага
В почве осталась еще, на чем и сходимся, чтобы
Трапезу нашу малиной вкуснейшей, красной и желтой,
С верхней гряды, где ближе родник, блаженно закончить.

■



ГЕРМАН ГЕССЕ

Сиддхартха

ИНДИЙСКАЯ ПОЭМА

Перевод и комментарий Н. ФЕДОРОВОЙ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Сын брахмана

Под сенью дома, на солнечном речном берегу возле лодок, под сенью ивовой рощи, под сенью смоковницы рос Сиддхартха *, прекрасный сын брахмана *, юный сокол, рос вместе с другом своим Говиндой, сыном брахмана. Солнце золотило его белые плечи на речном берегу, во время купанья, во время священных омовений, во время священных жертвоприношений. Тень вливалась в черные глаза его под пологом манговой рощи, во время отроческих игр, под песню матери, во время священных жертвоприношений, во время проповедей отца, постигшего многие науки, во время бесед мудрецов. Давно уже Сиддхартха участвовал в беседах мудрецов, упражнялся с Говиндой в искусстве наблюдения, в служенье медитации. Он умел уже беззвучно произносить *ом* *, слово из слов, на вдохе беззвучно роняя его в себя, на выдохе же беззвучно роняя его вовне, сосредоточившись душою, с челом, осиянным блеском ясно мыслящего духа. Он умел уже ощутить внутри своего существа атман *, несокрушимый, неотделимый от Вселенной.

Радостью полнилось сердце отца его, когда он смотрел на сына, смышленого, жаждущего знаний, и видел в нем будущего великого мыслителя и жреца — князя среди брахманов.

Блаженством полнилась грудь матери его, когда она смотрела на него, видела, как он ходит, как он садится и встает — Сиддхартха, сильный, прекрасный, несомый стройными ногами, приветствующий её с безупречным достоинством.

Любовь трепетала в сердцах юных дочерей брахманов, когда Сиддхартха шагал по городским улицам — сияющее чело, царственный взор, узкие бедра.

Но больше всех любил его Говинда, друг, сын брахмана. Он любил глаза Сиддхартхи и мелодичный голос, любил его походку и безупречное достоинство движений, любил все, что бы ни делал и ни говорил Сиддхартха, а превыше всего любил его дух, его пылкие, возвышенные помыслы, его страстную волю, его высокое призвание. Говинда знал: не будет Сиддхартха ни заурядным брахманом, ни ленивым храмовым служителем, ни алчным торговцем заклинаниями, ни тщеславным празднословом, ни злобным, коварным жрецом, как не будет и кротким глупым стадным бараном. Нет, и сам он, Говинда, тоже не хотел быть таким брахманом, одним из многих тысяч. Он последует за Сиддхартхой, возлюбленным, несравненным. И если Сиддхартха станет когда-нибудь божеством, если войдет когда-нибудь в сонм лучезарных, то Говинда последует за ним — его друг, и спутник, и слуга, и копьеносец, и просто его тень.

Все любили Сиддхартху. Всех он радовал, всем был по сердцу.

Самого же себя Сиддхартха не радовал, себе он не был по сердцу. Прогуливаясь по дорожкам сада средь свежести смоковниц, сидя в мерцающе-синей тени рощи

[1] Здесь и далее звездочкой отмечены места, поясняемые в комментарии.

созерцания, совершая ежедневное очистительное омовение, творя жертву в глубоком сумраке мангового леса, полный безупречного достоинства во всяком движенье, всеми любимый, всех радующий, он, однако, не ведал радости в сердце своем. Грезы являлись ему и беспокойные мысли в текучих речных струях, в мерцанье искристых ночных звезд, в блеске сияющих солнечных лучей; грезами и беспокойными мыслями курились жертвы, дышали стихи Ригведы *, сочились проповеди стариков брахманов.

Сиддхартха начал взращивать в себе недовольство. Мало-помалу он почувствовал, что любовь отца, и любовь матери, и любовь друга, Говинды, не будут вечно, до скончания времен дарить ему счастье, утолять боль, насыщать его, довлеть ему. Он начал догадываться, что его почтенный отец и другие его наставники, а также мудрецы брахманы уже сообщили ему бóльшую и лучшую часть своих познаний, перелили их в его ожидающий сосуд и сосуд не наполнился, дух не был удовлетворен, душа не успокоилась, сердце не утихло. Омовения приносили благо, но ведь они были всего-навсего водою, они не смывали грех, не утоляли духовной жажды, не унимали сердечного страха. Выше похвал были жертвы и обращенье к богам — но неужели это все? Даруют ли жертвы счастье? И как обстоит с богами? Вправду ли именно Праджапати * создал мир? А не атман ли, Он, единственный, единосущный? Не суть ли боги творения, созданные, как ты и я, подвластные времени, преходящие? Так благо ли и правильно ли приносить жертвы этим богам, есть ли высокий смысл в таком деянье? Кому же тогда приносить жертвы, кому оказывать почести, как не Ему, единственному, атману? А где найти атман, где Он обитает, где бьется Его вечное сердце, где, как не в собственном «я», в сокровеннейшей глубине, в несокрушимом, которое всяк носит в себе? Но где, где заключено это «я», это сокровеннейшее, это последнее? Оно — не плоть и не кости, не мышление и не сознание, так учили мудрейшие. Где же оно, где? Проникнуть туда, к этому «я», ко «мне», к атману,— есть ли иной путь, какого стоит искать? Ах, и не укажет никто этот путь, никто его не ведает, ни отец, ни учители и мудрецы, ни священные жертвенные песнопения! Всё они знали, брахманы и священные их книги, всё они знали, обо всем пеклись, и даже более чем обо всем; бесконечно многое было им ведомо: сотворение мира, возникновение речи, пищи, вдоха, выдоха, распорядки чувств, деяния богов — но что проку в этом знании, если не знаешь одного-единственного, самого важного, единственно важного?

Конечно, многие стихи священных книг, особенно в упанишадах * Самаведы *, говорили об этом сокровеннейшем и последнем, прекрасные стихи. «Душа твоя — весь мир»,— написано там, а еще написано, что во сне, в глубоком сне человек отходит к своему сокровеннейшему и обитает в атмане. Дивная мудрость заключена в этих стихах, все знание мудрейших собрано здесь в магических словах, чистое, как собранный пчелами мед. Да, немалого уважения заслуживает огромное знание, собранное здесь и сохраненное несчетными поколениями мудрых брахманов... Но где же те брахманы, где жрецы, где мудрые или кающиеся, которым удалось не просто познать это глубочайшее знание, но жить им? Где тот искусник, что сотворит чудо и переведет бытие в атмане из сна в явь, в жизнь, в будни, в слово и дело? Многих почтенных брахманов знал Сиддхартха, и прежде всех — своего отца, чистого, сведущего в науках, весьма почтенного. Отец его был достоин восхищения, спокойны и благородны его манеры, чиста его жизнь, мудра его речь, изысканные и возвышенные помыслы обитали у него в голове — однако и он, столь много знающий, жил ли он в блаженстве, обрел ли мир? Не был ли и он тоже всего лишь ищущим и жаждущим? Не полагалось ли ему, жаждущему, вновь и вновь пить из священных источников, из жертвоприношений, из книг, из бесед брахманов? Отчего ему, безупречному, полагалось каждый день смывать грех, каждый день домогаться очищения, каждый день заново? Разве не было в нем атмана, разве не бил в собственном его сердце первозданный источник? Вот его-то и надо найти, первозданный источник в собственном «я», им-то и надо овладеть! Все остальное — исканье, окольный путь, ошибка.

Таковы были помыслы Сиддхартхи, такова — его жажда, таково — страданье.

Часто повторял он слова из Чхандогьи-упанишады *. «Поистине, имя Брахмана есть Сатьям * — вправду, кто знает это, каждый день входит в мир небесный». Часто он, мир небесный, казался близок, но никогда Сиддхартха не достигал его вполне, никогда не утолял последней жажды. И из всех мудрых и мудрейших,

которых он знал и наставленьям которых внимал,— из них всех ни один не достиг его вполне, мира небесного, ни один не утолил вполне вечной жажды.

— Говинда,— молвил Сиддхартха своему другу,— Говинда, мой дорогой, идем со мной под баньяновое дерево, предадимся медитации.

Они пошли к баньяну, сели там — Сиддхартха, а двадцатью шагами дальше Говинда. Усаживаясь, готовясь произнести *ом,* Сиддхартха нараспев повторил такие стихи:

Ом — это лук, стрела его — душа,
А цель стрелы — Брахман *,
И поразить стрелою эту цель
Должно во что бы то ни стало [1].

Когда истекло привычное время медитации, Говинда поднялся. Свечерело, настала пора для вечернего омовения. Он окликнул Сиддхартху по имени. Сиддхартха не ответил. Сиддхартха пребывал в медитации, глаза его недвижно вперились в какую-то далекую-далекую цель, кончик языка чуть выглядывал между зубов, он словно бы и не дышал. Сидел так, погруженный в медитацию, помышляя *ом,* послав душу свою, как стрелу, к Брахману.

Немногим ранее через город, где жил Сиддхартха, проходили *саманы,* странствующие аскеты, трое мужчин, худущие, как бы потухшие, не старые и не молодые, с покрытыми пылью и окровавленными плечами, почти нагие, опаленные солнцем, окруженные одиночеством, чуждые и враждебные миру, пришельцы и шакалы в царстве людей. За ними следом плыл жаркий и густой запах безмолвной страсти, разрушительного служения, беспощадного освобождения от самости.

Вечером, после часа созерцания, Сиддхартха сказал Говинде:

— Завтра поутру, друг мой, Сиддхартха уйдет к аскетам. Он станет одним из них.

Говинда побледнел, услыхав эти слова и прочтя в недвижном лице своего друга решение, неотвратимое, как стрела, выпущенная из лука. Сразу же, с первого взгляда, Говинда понял: вот и свершилось, Сиддхартха начинает свой путь, его судьба идет в рост, а с нею вместе и моя. И он побледнел, как сухая банановая кожура.

— О Сиддхартха,— воскликнул он,— позволит ли это твой отец?

Сиддхартха посмотрел на него, как бы пробуждаясь. Мгновенно прочел он в душе Говинды — прочел страх, прочел смирение и преданность.

— О Говинда,— тихо молвил он,— не будем попусту тратить слова. Завтра на рассвете я начну жизнь аскета-саманы. Не говори об этом больше.

Сиддхартха вошел в комнату, где на лубяной циновке сидел его отец, и стал у отца за спиной, и стоял там, пока отец не почувствовал, что за спиной кто-то есть.

— Это ты, Сиддхартха? — произнес брахман.— Говори же, зачем пришел. Что желаешь мне сказать?

И Сиддхартха ответил:

— С твоего позволения, отец, я пришел сказать тебе, что хочу завтра покинуть твой дом и уйти к аскетам. Стать аскетом-саманой — вот чего мне хочется. Пусть же отец мой не противится этому.

Брахман молчал, молчал так долго, что звезды в оконце переместились и изменили свой узор прежде, чем молчание в комнате было нарушено. Безмолвно и неподвижно стоял, скрестив руки, сын, безмолвно и неподвижно сидел на циновке отец, а звезды вершили свой путь по небу. И вот отец промолвил:

— Не пристало брахману говорить резкие и гневные слова. Но негодование снедает мне сердце. Я не хочу слышать эту просьбу из твоих уст второй раз.

Брахман медленно поднялся на ноги, Сиддхартха стоял безмолвно, скрестив руки.

— Чего ты ждешь? — спросил отец.

— Ты знаешь,— ответил Сиддхартха.

В раздраженье отец покинул комнату, в раздраженье пошел к своей постели и лег.

Спустя час — сон так и не смежил ему веки — брахман встал, бесцельно прошелся туда-сюда, вышел из дома. Через маленькое оконце он заглянул в комнату и увидел, что Сиддхартха стоит недвижимый, скрестив руки. Тускло белели его светлые одежды. С беспокойством в сердце отец вернулся на свое ложе.

[1] Авторская аллюзия на Мундака-упанишаду (II:2).

Спустя час — сон так и не смежил ему веки — брахман опять встал, бесцельно прошелся туда-сюда, вышел из дома, увидел, что на небе сияет луна. Заглянул через оконце в комнату: Сиддхартха стоял недвижимый, скрестив руки, его голые икры поблескивали в лунном свете. С тревогой в сердце отец вернулся на свое ложе.

И он вновь выходил спустя час и спустя два часа, заглядывал через маленькое оконце, видел Сиддхартху — тот стоял, в сиянье луны, в звездном свете, во тьме. Час за часом выходил брахман, молча заглядывал в комнату, видел недвижимую фигуру, и сердце его полнилось гневом, полнилось беспокойством, полнилось неуверенностью, полнилось болью.

И в последний ночной час, прежде чем наступил день, он вернулся в дом, вошел в комнату, увидел юношу, и тот показался ему большим и как бы незнакомым.

— Сиддхартха,— молвил он,— чего ты ждешь?

— Ты знаешь чего.

— Ты так и будешь все время стоять и ждать, пока не настанет утро, и полдень, и вечер?

— Буду стоять и ждать.

— Ты устанешь, Сиддхартха.

— Устану.

— Ты заснешь, Сиддхартха.

— Не засну.

— Ты умрешь, Сиддхартха.

— Умру.

— И ты предпочтешь умереть, нежели подчиниться отцу?

— Сиддхартха всегда подчиняется своему отцу.

— Значит, ты откажешься от своего замысла?

— Сиддхартха поступит так, как скажет ему отец.

Первый свет дня озарил комнату. Брахман увидел, что колени Сиддхартхи легонько дрожат. В лице Сиддхартхи дрожи не было, в дальнюю даль смотрели его глаза. Тут понял отец, что Сиддхартха уже и теперь не с ним, не в родном краю, что сын уже теперь покинул его.

Отец коснулся плеча Сиддхартхи.

— Ты пойдешь в лес,— молвил он,— и будешь аскетом. Если отыщешь в лесу высшее счастье, приди и научи меня высшему счастью. Если же найдешь разочарование, возвращайся, и мы станем вновь вместе творить жертвы богам. Теперь иди поцелуй мать, скажи ей, куда ты уходишь. А мне пора на реку, совершить первое омовение.

Он снял руку с сыновнего плеча и вышел. Сиддхартха покачнулся, пытаясь идти. Укротив непослушные члены, он склонился вслед отцу и отправился к матери, чтобы сделать, как велел отец.

Когда он в первых лучах дня медленно, на негнущихся ногах покидал тихий еще город, около последней хижины темной тенью сидела на корточках какая-то фигура, и она поднялась и присоединилась к страннику — Говинда.

— Ты пришел,— сказал Сиддхартха и улыбнулся.

— Да, я пришел,— сказал Говинда.

У аскетов

Вечером этого дня они догнали аскетов, худущих подвижников-саманов, и спросили, нельзя ли примкнуть к ним, стать их смиренными спутниками. И были приняты.

Свою одежду Сиддхартха отдал бедному брахману, встретившемуся на дороге. Теперь на нем были только набедренная повязка да землистого цвета накидка из несшитого куска материи. Ел он лишь раз в день и вареной пищи не употреблял. Он постился пятнадцать дней. Постился двадцать восемь дней. Плоть его бедер и щек усыхала. Жаркие мечтания горели в его огромных глазах, на костлявых теперь пальцах отрастали ногти, а на подбородке — жесткая лохматая борода. Ледяным становился его взгляд при встрече с женщинами; презрительно кривился его рот,

когда ему случалось проходить через город, полный нарядно одетых людей. Он видел, как торгуют торговцы, едут на охоту князья, скорбящие оплакивают своих покойников, блудницы предлагают себя, лекари пользуют недужных, жрецы назначают день посева, любящие любят, матери кормят грудью младенцев,— и все это даже взгляда его не заслуживало, все обманывало, все смердело, все смердело обманом, все прикидывалось смыслом, и счастьем, и красотою, а было подспудным тленом.

Одна цель стояла перед Сиддхартхой, одна-единственная: опустошиться, избыть все — жажду, желания, грезы, радости и страданье. Отмереть от самого себя, лишиться своего «я», с опустошенным сердцем обрести покой, освободив мысль от самости, распахнуться навстречу чуду — такова была его цель. Когда «я» будет полностью побеждено и умрет, когда умолкнут в сердце всякая страсть и всякое влечение, тогда непременно проснется самое последнее, самое сокровенное в его существе, уже не-«я», великая тайна.

Молча стоял Сиддхартха под отвесными лучами палящего солнца, сгорая от боли, сгорая от жажды, стоял, пока не утратилось и чувство боли, и чувство жажды. Молча стоял он в сезон дождей, вода текла с его волос на зябнущие плечи, струилась по зябнущим бедрам и голеням, пока плечи и бедра не перестали зябнуть, пока не умолкли, пока не утихли. Молча сидел он на корточках в колючих дебрях, горячая кожа сочилась кровью, нарывы — гноем, а Сиддхартха не шевелился, пока не перестала течь кровь, пока не перестали жалиться колючки, пока не унялось жженье.

Сиддхартха сидел прямой как свеча и учился беречь дыханье, учился обходиться малой толикой дыхания, учился останавливать дыхание. Он учился, начавши с дыхания, успокаивать биенье сердца, учился уменьшать частоту ударов сердца, пока не становились они редкими и не умолкали почти совсем.

Под руководительством старейшего из аскетов постигал Сиддхартха освобождение от самости, предавался медитации по новым, аскетическим предписаниям. Цапля пролетала над бамбуковым лесом — и Сиддхартха принимал цаплю в свою душу, летал над лесами и горами, был цаплей, поедал рыбу, голодал цаплиным голодом, кричал цаплиным криком, умирал цаплиной смертью. Дохлый шакал валялся на песчаном берегу, и душа Сиддхартхи скользнула в это мертвое тело, и стала дохлым шакалом, и валялась на берегу, раздуваясь, смердя, истлевая, гиены разорвали ее на куски, стервятники содрали с нее кожу, и она обратилась в остов, обратилась в прах, развеялась по ветру. И душа Сиддхартхи возвращалась, умирала, истлевала, развеивалась прахом, вкушала мрачный хмель круговорота бытия, нетерпеливо снедаемая новой жаждой, словно охотник, ждала щелки, через которую можно вырваться из круговорота, туда, где конец всех причин, где начинается безмятежная вечность. Он умерщвлял свои чувства, умерщвлял свою память, переселялся из своего «я» в тысячи чужих обличий, был зверем, был падалью, был камнем, древесиной, водою и, пробуждаясь, всякий раз обретал себя, под солнцем или под луной, опять был «я», вращался в круговороте, испытывал жажду, преодолевал жажду, испытывал жажду вновь.

Многому научился Сиддхартха у саманов, многими путями научился он уходить от «я». Он шел по пути освобождения от самости через боль, через добровольное ощущение боли, голода, жажды, усталости. Он шел по пути освобождения от самости через медитацию, через опустошение разума от всех представлений. Он научился идти этими и разными иными путями, тысячи раз покидая свое «я», часами и целыми днями пребывая в не-«я». Но хотя и уводили эти пути от «я», в конце они всегда вновь к нему же возвращались. Тысячи раз Сиддхартха ускользал из «я», находился в Ничто, находился в звере, в камне — неминуемо было возвращенье, неизбежен час, когда он обретал себя, под солнцем или под луной, в тени или под дождем, и вновь становился «я», становился Сиддхартхой, и вновь терзался неотвратимостью круговорота.

Рядом с ним как бы тенью его жил Говинда, шел почти теми же путями, подвергал себя тем же тяготам. И разговоры их редко касались предметов, не связанных со служением и ученичеством. Порой они вдвоем бродили по деревням, выпрашивая пропитание для себя и своих наставников.

— Как ты думаешь, Говинда,— сказал в один из таких дней Сиддхартха,— как ты думаешь, мы продвинулись вперед? Достигли каких-то целей?

И Говинда ответил:

— Мы учились и продолжаем учиться. Ты будешь великим саманой, Сиддхартха. Как быстро ты усваивал всякое упражнение, старики аскеты часто восхищались тобой. Когда-нибудь ты станешь святым, о Сиддхартха.

И молвил Сиддхартха:

— А вот мне так не кажется, друг мой. Все, чему я до сего дня выучился у саманов, я мог бы выучить быстрее и проще — в любом кабаке веселого квартала, друг мой, среди возчиков и игроков в кости.

И сказал Говинда:

— Сиддхартха смеется надо мной. Как бы мог ты научиться медитации, сдерживанью дыхания, невосприимчивости к голоду и боли там, у этих жалких существ?

И Сиддхартха произнес тихо, будто обращаясь к самому себе:

— Что есть медитация? Что есть выход из телесной оболочки? Что есть пост? Что — сдерживанье дыхания? Бегство от «я», краткий уход от мук «я»-бытия, краткое забвенье боли и нелепости жизни. Точно так же погонщик быков бежит от жизни, находит краткое забвенье в пивной, осушив несколько чарок рисовой водки или кокосовой браги. Тогда он не ощущает уже своей самости, не испытывает жизненной боли, тогда ненадолго приходит к нему забвенье. Уснув над чаркой рисовой водки, он обретает то же, что обретают Сиддхартха и Говинда, когда после долгих радений покидают свою телесную оболочку, пребывая в не-«я». Вот так-то, о Говинда.

На это молвил Говинда:

— Так ты говоришь, о друг мой, а все же сознаешь, что Сиддхартха не погонщик быков и самана не выпивоха. Пьяница хотя и обретает забвенье, хотя и уходит ненадолго от жизни, давая себе роздых, однако ж он, очнувшись от грез, обнаруживает, что все осталось по-прежнему, и не становится мудрее, не пополняет копилку знания, не восходит вверх по ступеням.

И Сиддхартха с улыбкой сказал:

— Не знаю, я никогда не был пьяницей. Но что я, Сиддхартха, обретаю в своих радениях и медитациях лишь краткое забвенье и столь же далек от мудрости, от спасенья, как был далек младенцем в утробе матери,— это я знаю, о Говинда, это я знаю.

Так же и в другой раз, когда Сиддхартха с Говиндой вышли из лесу и отправились в деревню попросить немного пищи для братьев своих и наставников, Сиддхартха заговорил и начал так:

— Ну что же, о Говинда, на верном ли мы пути? Приближаемся ли к познанию? Приближаемся ли к спасенью? Или, быть может, ходим по кругу — мы, желавшие вырваться из круговорота?

Говинда же сказал:

— Многому мы научились, Сиддхартха, и многому нам еще предстоит научиться. Мы не ходим по кругу, мы поднимаемся вверх, круг — это спираль, и мы уже взошли на ступеньку-другую.

И Сиддхартха отвечал:

— Как по-твоему, сколько лет старейшему из аскетов, нашему почтенному наставнику?

— Лет шестьдесят,— сказал Говинда,— наверное, нашему старейшине лет шестьдесят.

На это Сиддхартха:

— Шесть десятков лет прожил он и не достиг нирваны. Ему и семьдесят сравняется, и восемьдесят, и мы с тобой доживем до столь же преклонного возраста, и будем радеть, и поститься, и медитировать. Но нирваны не достигнем, ни он, ни мы. О Говинда, по-моему, из всех саманов, какие есть на свете, ни один не достигнет нирваны, ни один. Мы обретаем утешение, обретаем забвение, обретаем искусные навыки, которыми обманываем себя. Но самого главного, пути из путей, мы не находим.

— Не стоит,— молвил Говинда,— не стоит все же тебе, Сиддхартха, произносить столь страшные речи! Да как же среди такого множества сведущих мужей, среди такого множества брахманов, среди такого множества суровых и почтенных саманов, среди такого множества ищущих, такого множества глубоко ревностных, святых мужей не найдется ни одного, что прошел путем из путей?

Сиддхартха же промолвил, и в голосе его слышались равно и печаль, и насмешка, промолвил тихо, чуть печально, чуть насмешливо:

— Скоро, Говинда, твой друг покинет эту стезю саманов, по которой так долго шел вместе с тобой. Меня мучит жажда, о Говинда, а на этом долгом пути аскезы жажда моя нисколько не утолилась. Всегда я жаждал познания, всегда был полон вопросов. Я спрашивал брахманов, год за годом, спрашивал священные Веды, год за годом. Быть может, о Говинда, было бы ничуть не хуже, ничуть не глупее и ничуть не бесполезнее спросить птицу-носорога или шимпанзе. Много времени я потратил, о Говинда, и по сей день не усвоил до конца такую вот истину: научиться невозможно ничему! Мне кажется, то, что мы зовем «ученьем», на самом деле не существует. А существует, о друг мой, лишь одно знание, оно повсюду, и это — атман, который во мне, и в тебе, и во всякой твари. И я начинаю думать, что нет у этого знания врага страшнее, чем желанье знать, чем ученье.

Тут Говинда остановился прямо посреди дороги, воздел руки и произнес:

— Негоже тебе, Сиддхартха, пугать друга такими речами! Поистине страх пробуждают твои слова в моем сердце. Ты только представь себе: если все так, как ты говоришь, если ученья не существует, зачем тогда нужна священность молитв, зачем почтенность варны * брахманов, зачем святость подвижников-саманов?! Что, о Сиддхартха, что станется тогда со всем, что есть на земле святого и священного, ценного и достойного почтения?!

И Говинда пробормотал про себя стихи, стихи из упанишад:

Блажен, кто в размышленье, просветлевши духом,
погружается в атман,
Невыразимо словами блаженство сердца его.

Но Сиддхартха молчал. Он обдумывал слова, сказанные Говиндой, и додумал их до конца.

Да, что же останется от всего, что казалось нам свято и священно? — думал он, стоя с поникшей головою. Что останется? Что уцелеет? И он покачал головой.

И вот однажды, когда юноши прожили у саманов около трех лет, деля с подвижниками их радения, дошла до них многими — прямыми и окольными — путями одна весть, молва, легенда: явился-де некто, по имени Готама, Возвышенный, Будда *, он преодолел в себе страданье мира и остановил колесо перерождений. Возглашая проповеди, в окруженье учеников он-де странствует по городам и весям, неимущий, безродный, безженый, в желтом одеянье аскета, но с ясным челом, исполненный радости, и брахманы, и князья склоняются перед ним и делаются учениками его.

Эта весть, эта молва, эта сказка раздавалась, воспаряла то здесь, то там, в городах о ней толковали брахманы, в лесу — подвижники-саманы, вновь и вновь имя Готамы, Будды, достигало ушей Сиддхартхи и его друга — сказанное по-доброму и со злостью, с похвалою и с поношением.

Подобно тому как в краю, где властвует чума, возникает весть, будто там-то и там-то явился человек, мудрец, ведун, чьего слова и дыханья довольно, чтобы исцелить каждого из пораженных моровою язвой, и как затем эта весть бежит по всей стране и всяк говорит о ней, многие верят, многие сомневаются, а многие тотчас собираются в путь, чтобы повидать мудреца, спасителя,— вот так же разнеслась по здешнему краю эта молва, благоуханно-парящая молва о Готаме, о Будде, мудреце из рода Шакья. Ему, говорили верующие, присуще высшее познанье, он помнил о своих прошлых жизнях, он достиг нирваны и уже не возвращался более в круговорот, не погружался в мутный поток перерождений. Много дивного и невероятного рассказывали о нем, он творил чудеса, одолел демона и беседовал с богами. Противники же его и неверующие говорили, что этот Готама — тщеславный обольститель, что он проводит свои дни в удовольствиях, пренебрегает жертвами, не обладает ученостью и не знает ни радений, ни умерщвления плоти.

Сладостно звучала молва о Будде, волшебством веяло от этих рассказов. Болен был мир, нестерпимо тяжела была жизнь — и вот здесь словно забил источник, словно раздался зов предвестника, утешный, ласковый, исполненный благородных обетов. Повсюду, куда доносилась молва о Будде, повсюду в индийских землях прислушивались к ней юноши и загорались ожиданием, загорались надеждой,

и сыновья брахманов что в городах, что в деревнях дарили гостеприимством всякого странника и пришельца, если приносил он весть о нем, о Возвышенном, о Шакьямуни.

Добралась эта молва и до аскетов в лесу, и до Сиддхартхи, и до Говинды, медленно, капля по капле, каждая капля тяжела от надежды, каждая — тяжела от сомнений. Они мало говорили об этом, ибо старейшине саманов молва пришлась не по душе. Он слыхал, что мнимый этот Будда некогда был аскетом и жил в лесу, потом, однако, вновь обратился к благополучной жизни и мирским удовольствиям, и оттого старый аскет ни в грош не ставил этого Готаму.

— О Сиддхартха,— сказал однажды Говинда своему другу,— нынче я был в деревне, и один брахман пригласил меня в свой дом, а в доме его находился некий сын брахмана из Магадхи *, который собственными глазами видел Будду и слышал его проповеди. Поистине, заболело у меня в груди, и я подумал: хорошо бы и мне, хорошо бы нам обоим, мне и Сиддхартхе, дожить до мгновенья, когда мы услышим проповедь из уст Совершенного! Скажи, друг мой, не отправиться ли и нам туда, не послушать ли проповедь из уст самого Будды?

Ответил Сиддхартха:

— Всегда, о Говинда, я думал, что Говинда останется у саманов, всегда полагал я, что цель его — достичь шестидесяти- и семидесятилетнего возраста, упражняясь в искусствах и раденьях, которые украшают аскета. И вот оказывается, я слишком мало знал Говинду, мало знал о сердце его. Итак, мой дорогой, ты желаешь отправиться в дорогу, туда, где Будда проповедует свое учение.

И Говинда произнес:

— Тебе угодно насмешничать. Что ж, насмешничай, о Сиддхартха, изволь! Но разве не проснулось и в тебе желание, стремление услышать эту проповедь? И не ты ли говорил мне, что недолго осталось тебе идти путем саманов?

Тут Сиддхартха рассмеялся, по своему обычаю, причем тон его голоса окрасился легкой печалью и легкой насмешкой, и молвил:

— Хорошо сказал ты, Говинда, правильно ты запомнил. Но вспомни же и иное, услышанное от меня,— что я не доверяю проповедям и учению, что они наскучили мне и невелика моя вера в слова, приходящие к нам от наставников. Впрочем, ладно, я готов услышать то учение — хотя в сердце моем полагаю, что лучший плод этого учения мы уже вкусили.

На это Говинда:

— Твоя готовность радует мне сердце. Но скажи, как это возможно? Как учение Готамы, которого мы еще не слыхали, могло уже открыть нам свой лучший плод?

И отвечал Сиддхартха:

— Давай, о Говинда, вкусим этого плода и подождем, что будет! Плод же этот, которым мы уже теперь обязаны Готаме, плод этот — клич уйти от аскетов! Ну а дарует ли он нам иное и лучшее, о друг мой, придется подождать со спокойной душою.

В этот же самый день Сиддхартха сообщил старейшине саманов, что решил покинуть его. О своем решении он известил старейшину со всей учтивостью и скромностью, каковые подобают младшему годами и ученику. Самана же разгневался, что юноши пожелали оставить его, и говорил громко, и употреблял грубые, бранные слова.

Говинда испугался и пришел в замешательство. Сиддхартха, однако, наклонился к уху Говинды и прошептал:

— Сейчас я покажу старику, что кое-чему у него научился.

Он стал перед саманой, сосредоточившись душою, вперился взглядом в глаза старика, зачаровал его, лишил речи, лишил воли, подчинил его себе, приказал без единого слова сделать все, что он, Сиддхартха, требует. Старик умолк, взгляд у него стал стеклянным, воля оцепенела, руки повисли, бессильный, он покорился чарам Сиддхартхи. А мысли Сиддхартхи овладели саманой, он поневоле исполнил все, что они повелевали. И вот старик несколько раз поклонился, жестом дал им свое благословение, запинаясь, произнес благочестивое напутствие. И юноши поклонились в ответ, поблагодарили за напутствие и, попрощавшись, отправились в дорогу.

Говинда сказал по пути:

— О Сиддхартха, ты научился у аскетов большему, чем я думал. Трудно, очень трудно зачаровать старика саману. Поистине, останься ты там — и вскоре научился бы ходить по водам.

— Я не жажду ходить по водам,— молвил Сиддхартха.— Пусть такими искусствами довольствуются старики аскеты.

Готама

В городе Саватхи каждый ребенок знал имя Возвышенного Будды и каждый дом готов был наполнить чашу для подаяния ученикам Готамы, безмолвным просителям. Поблизости от города находилось излюбленное прибежище Готамы, роща Джетавана, которую даровал ему и его сподвижникам богатый купец Анатхапиндика, верный почитатель Возвышенного.

На это место указывали рассказы и ответы, выслушанные молодыми аскетами в поисках прибежища Готамы. И когда они очутились в Саватхи, в первом же доме, у дверей которого они остановились, прося подаяния, им предложили пищу, и они приняли ее, а Сиддхартха спросил у женщины, что подала им поесть:

— О благодетельница, нам бы очень хотелось узнать, где пребывает достопочтимейший Будда, ибо мы, лесные аскеты-саманы, пришли увидеть Совершенного и услышать проповедь из собственных его уст.

И ответила женщина:

— Поистине, лесные саманы, вы пришли туда, куда вам потребно. Знайте же, в Джетаване, в саду Анатхапиндики, пребывает Возвышенный. Там и вы, странники, сможете переночевать, ибо в саду том довольно места для всех несчетных множеств, что стекаются слушать проповедь из собственных его уст.

И возрадовался Говинда, и радостно сказал:

— Прекрасно, значит, наша цель достигнута и путь наш завершен! Но скажи нам, о матерь странников, знаешь ли ты его, Будду, видела ли его своими глазами?

Женщина молвила на это:

— Много раз я видела Возвышенного. Много дней видела, как он ходит по улицам, безмолвный, в шафранно-желтых одеждах, как безмолвно протягивает у дверей чашу для подаяния, как уносит с собою наполненную чашу.

С восторгом внимал ей Говинда, и о многом еще хотелось ему расспросить и о многом услышать. Но Сиддхартха напомнил, что время продолжить путь. Они поблагодарили, и пошли дальше, и почти не спрашивали о дороге, потому что в Джетавану шагало немалое число странников и монахов из общины Готамы. А когда ночью они добрались до места, там сновали люди, слышались возгласы и разговоры тех, кто искал приюта и обретал его. Оба аскета, привычные к лесной жизни, быстро и без шума отыскали себе прибежище и отдыхали до утра.

На восходе солнца они с изумлением увидали, сколь великое множество народу — верующих и любопытных — здесь ночевало. Монахи в желтых одеждах прогуливались по всем дорожкам прекрасной рощи, сидели там и сям под деревьями, погруженные в созерцание или увлеченные духовной беседой; точно город выглядели тенистые сады, и людей в них было, что пчел в улье. Большинство монахов с чашами для подаяния шли в город, чтобы собрать пищу на обед, единственную их трапезу. И сам Будда, Просветленный, тоже просил по утрам милостыню.

Сиддхартха увидел его и тотчас же узнал, словно кто-то из богов сделал ему знак. Он увидел скромного человека в шафранно-желтой одежде, который шел по дороге с чашей для подаяния в руках.

— Смотри! — тихо молвил Сиддхартха Говинде.— Вот он и есть Будда.

Внимательно посмотрел Говинда на монаха в желтой одежде, который как будто бы ничем не отличался от сотен других монахов. И скоро Говинда тоже понял: да, это он. И оба пошли следом, наблюдая за ним.

Будда шагал своей дорогой, неприметный, погруженный в свои мысли, безмятежное лицо его не было ни радостно, ни печально, он как бы тихонько улыбался про себя. С затаенной улыбкой, безмятежный, спокойный, чем-то похожий на пышущего здоровьем ребенка, Будда и двигался, и носил свое одеянье, и ступал в точности как все монахи, в точности как предписано. Однако его лицо, и поступь, и безмятежно устремленный долу взор, и безмятежно опущенная рука, и даже любой из пальцев его безмятежно опущенной руки говорили об умиротворенности, говорили о совершенстве — он никому не подражал, никого не искал, мирно дышал невозмутимым покоем, неугасимым светом, высочайшей умиротворенностью.

Вот так Готама шел в город собирать подаянье, и оба аскета узнали его единство по совершенству его покоя, по безмятежности облика, в котором не

чувствовалось ни искания, ни хотения, ни подражания, ни усилия — только свет и умиротворенность.

— Нынче мы услышим проповедь из его уст,— сказал Говинда.

Сиддхартха не ответил. Проповедь мало интересовала его, он не верил, что почерпнет из нее нечто новое, ведь и сам он, и Говинда не раз уже слыхали, в чем состоит учение этого Будды, хотя бы и из вторых и третьих уст. Но он внимательно смотрел на голову Готамы, на его плечи, на его ноги, на безмятежно опущенную руку, и казалось ему, будто каждый палец, каждый ноготь этой руки были учением и проповедью, говорили, дышали, благоухали, блистали истиной. Этот человек, этот Будда был истинным, настоящим до малейшего шевеленья мизинца. Этот человек был святым. Никогда Сиддхартха не почитал так ни одного человека, никого никогда так не любил, как его.

Они проводили Будду до города и молча вернулись обратно, ибо сами намеревались в этот день воздержаться от пищи. Они видели, как Готама воротился, как вкушал трапезу в кругу своих учеников — тем, что он съел, не насытилась бы и птица,— видели, как он удалился под сень манговых деревьев.

А вечером, когда спала жара и весь лагерь ожил и собрался вместе, они услышали проповедь Будды. Услышали его голос, и он тоже был совершенен, полон совершенного спокойствия, полон умиротворенности. Готама проповедовал учение о страдании, о происхождении страдания, о пути к уничтожению страдания. Спокойно и ясно текла его безмятежная речь. Страданием была жизнь, и мир исполнен страдания, но уже найдено избавление: обретал избавление тот, кто шел путем Будды.

Кротким, однако же твердым голосом говорил Возвышенный, проповедовал Четыре Истины *, проповедовал восьмеричную дорогу *, терпеливо шел привычным путем поучения, примеров, повторений, светло и безмятежно парил его голос над внемлющими, как светоч, как звездное небо.

Когда Будда — уже настала ночь — завершил свои речи, иные из паломников вышли вперед и попросили принять их в общину, нашли свое прибежище в учении. И Готама принял их с такими словами:

— Вот и услышали вы учение, вот и оглашена его проповедь. Придите же и живите в святости, дабы положить конец всякому страданию.

И Говинда тоже выступил вперед, робкий Говинда, и молвил:

— И я ищу прибежища у Возвышенного и в учении его,— и попросил допустить его в число учеников, и был допущен.

Немногим позже, когда Будда удалился на ночлег, Говинда обратился к Сиддхартхе и пылко воскликнул:

— Сиддхартха, не пристало мне делать тебе упреки. Мы оба слышали Возвышенного, оба внимали его проповеди. Говинда выслушал поучение и обрел в нем прибежище. А ты, досточтимый, разве не желаешь идти дорогою избавления? Разве станешь ты медлить, станешь еще ждать?

Сиддхартха как бы пробудился от сна, внимая речи Говинды. Долго смотрел он Говинде в лицо. Потом тихо, без насмешки в голосе молвил:

— Говинда, друг мой, вот ты и сделал шаг, вот и выбрал свой путь. Всегда, о Говинда, ты был моим другом, всегда шел следом за мною. Я часто думал: не сделает ли Говинда когда-нибудь собственный шаг, без меня, по зову своей души? И вот ты стал мужчиной и сам выбираешь свой путь. Так пройди же его до конца, о друг мой! И обрети спасение!

Говинда, который еще не вполне понимал, нетерпеливым тоном повторил свой вопрос:

— Говори же, прошу тебя, мой дорогой! Скажи мне — ведь иначе и быть не может,— что и ты, мой сведущий друг, обретешь прибежище у Возвышенного Будды!

Сиддхартха положил руку свою на плечо Говинды.

— Ты не услышал моего благословения, о Говинда! И я повторяю его: пройди же этот путь до конца! Обрети спасение!

В этот миг осознал Говинда, что друг покинул его, и заплакал.

— Сиддхартха! — жалобно вскричал он.

Сиддхартха же приветливо молвил:

— Не забывай, Говинда, теперь ты один из монахов Будды! Ты отрекся от

родины и от отца с матерью, отрекся от семьи и собственности, отрекся от своей воли, отрекся от дружества. Так того желает учение, так желает Возвышенный. Так пожелал ты сам. Завтра, о Говинда, я покину тебя.

Долго еще бродили друзья в роще, долго лежали, и сон не осенял их своим крылом. А Говинда снова и снова упрашивал друга открыть ему, отчего не желает он обрести прибежище в учении Готамы, какой изъян видит он в этом учении. Но Сиддхартха всякий раз уклонялся от ответа, говорил только:

— Успокойся, Говинда! Прекрасно учение Возвышенного, разве можно найти в нем изъян!

Ранним утром один из сподвижников Будды, один из старейших его монахов обошел рощу, скликая к себе всех послушников, обретших прибежище в учении, дабы облачить их в желтые одежды и сообщить им первые уроки и обязанности их теперешнего звания. Тут Говинда оторвался от друга своей юности, обнял его напоследок и примкнул к веренице послушников.

А Сиддхартха в задумчивости прохаживался среди деревьев.

И встретился ему Готама, Возвышенный, а когда он благоговейно поздоровался с ним и прочел во взгляде Будды огромную доброту и безмятежность, то воспрянул духом и попросил у Досточтимого позволенья обратиться к нему. Молча, кивком Возвышенный даровал ему свое позволение.

— Вчера, о Возвышенный,— молвил Сиддхартха,— мне выпало счастье услышать твою чудесную проповедь. Из далеких мест пришел я сюда вместе с моим другом, чтобы услышать ее. И теперь мой друг останется среди твоих сподвижников, найдя прибежище в твоем учении. А я продолжу свое странствие.

— Как тебе будет угодно,— учтиво ответил Возвышенный.

— Непомерно дерзостна моя речь,— продолжал Сиддхартха,— но я не хотел бы покинуть Возвышенного, не поведав ему откровенно, без утайки, мои мысли. Подарит ли мне Досточтимый малую толику своего времени? Выслушает ли меня?

Будда безмолвно кивнул в знак согласия.

И Сиддхартха заговорил:

— Одно, о Досточтимейший, восхитило меня в твоей проповеди более всего. В учении твоем все совершенно ясно, все доказательно; совершенной, никогда и нигде не прерывавшейся цепью предстает у тебя мир, вековечной цепью причин и следствий. Никто до сих пор не видел этого столь ясно, никто не доказывал столь неоспоримо; поистине у каждого брахмана должно сильнее биться сердце, когда сквозь призму твоего учения мир открывается ему как совершенное единство, целостное, прозрачное, словно кристалл, независимое от случая, независимое от богов. Пусть останется под вопросом, добрый это мир или злой, мучительна или радостна в нем жизнь; вероятно, это и не важно, но единство мира, взаимосвязанность всего происходящего, принадлежность и большого, и малого к общему потоку, к общему закону причинности, становления и умирания — вот яркий светоч твоего высокого учения, о Совершенный. И тем не менее, согласно твоему же учению, это единство и логическая упорядоченность всех вещей имеют в одном месте разрыв, сквозь маленькую щелку вливается в этот мир единства нечто чужеродное, нечто новое, прежде небывалое, невыявляемое и недоказуемое — твое учение о преодоленье мирского, о спасении. Но эта маленькая прореха, эта маленькая трещинка вновь ломает и упраздняет весь вековечный и единый мировой закон. Надеюсь, ты простишь мне это возражение.

Безмятежно, невозмутимо выслушал его Готама. А затем Совершенный молвил доброжелательным, учтивым и ясным голосом:

— Ты слышал проповедь, о сын брахмана, и хорошо, что ты так глубоко размышлял о ней. Ты нашел в учении трещинку, изъян. Что ж, продолжи свои размышления. Но позволь предостеречь тебя, любомудрый юноша, от дебрей суждений и от спора о словах. В суждениях нет важности, каковы бы они ни были — прекрасные или безобразные, умные или безрассудные, всякий может быть им привержен или может пренебречь ими. Проповедь же, которую ты слышал от меня, не есть мое суждение и не ставит перед собой цели объяснить мир жаждущим знания. Ее цель в ином; ее цель — спасение, освобождение от страданья. Вот чему учит Готама, и только.

— Не гневайся на меня, о Возвышенный,— сказал юноша.— Я говорил так не затем, что ищу спора с тобою, спора о словах. Поистине ты прав, в суждениях нет

важности. Но позволь сказать тебе еще одно: ни мгновения не сомневался я в тебе. Ни мгновения не сомневался я в том, что ты Будда, что ты достиг цели, высшей цели, к которой стремятся столь многие тысячи брахманов и сыновей брахманов. Ты нашел спасение от смерти. Оно явилось тебе из собственных твоих исканий, на собственном твоем пути, через медитацию, через познание, через просветление. Не из проповеди, не из учения явилось оно тебе! И — такова моя мысль, о Возвышенный! — никто не обретет спасения через проповедь! Никому, о Досточтимый, не сообщишь ты в словах, посредством проповеди то, что произошло с тобой в миг просветления! Многое заключено в учении просветленного Будды, многих оно учит жить праведно, чураться зла. Одного лишь нет в этом столь ясном, столь досточтимом учении — тайны происшедшего с самим Возвышенным, с ним одним, единственным из сотен тысяч. Вот о чем я размышлял, вот что открылось мне, когда я слушал проповедь. Вот почему я продолжу свое странствие — не затем, чтобы искать иного, лучшего учения, ибо я знаю, такого не существует, а затем, чтобы оставить все учения и всех учи́телей и в одиночку достичь моей цели или умереть. Но я буду часто вспоминать этот день, о Возвышенный, и этот миг, когда глаза мои видели Святого.

Глаза Будды безмятежно смотрели долу, безмятежно, в совершенной невозмутимости сиял его непроницаемый лик.

— Пусть мысли твои,— медленно произнес Досточтимый,— не окажутся заблуждением! Пусть цель твоя будет достигнута! Но скажи мне: ты видел ли множество моих саманов, множество моих братьев, нашедших прибежище в этом учении? И ты, чужой самана, полагаешь, что им всем лучше бы отринуть учение и вернуться к мирской жизни, к соблазнам и удовольствиям?

— Я далек от подобной мысли! — воскликнул Сиддхартха.— Пусть не сойдут они с пути этого учения, пусть достигнут своей цели! Не пристало мне судить о чужой жизни! Только о себе, о себе одном до́лжно мне судить, только за себя делать выбор и отвергать. Освобождения от самости «я» ищем мы, саманы, о Возвышенный. Будь я одним из твоих учеников, о Досточтимый, боюсь, я бы лишь мнимо, лишь обманно успокоил мое «я» и обрел спасение, на деле же оно продолжало бы жить и расти, ибо тогда я бы сделал моею самостью учение, мою приверженность, мою любовь к тебе, монашескую общину!

С полуулыбкой, с неколебимой ясностью и благожелательностью посмотрел Готама в глаза чужеземцу и отпустил его едва заметным жестом.

— Ты умен, о самана,— молвил Досточтимый.— И речи твои умны, друг мой. Остерегайся же чересчур большого ума!

Прочь зашагал Будда, и взгляд его и полуулыбка навсегда остались запечатлены в памяти Сиддхартхи.

Никогда прежде, думал он, я не видел, чтобы человек так смотрел и улыбался, сидел и ступал, поистине, и я бы хотел так смотреть и улыбаться, сидеть и ступать — так свободно, так достойно, так замкнуто, так открыто, так ребячливо и таинственно. Поистине, так смотрит и ступает лишь человек, проникший в сокровенные глубины своей самости. Что ж, вот и я попытаюсь проникнуть в сокровенные глубины моей самости.

Я видел человека, думал Сиддхартха, единственного человека, перед которым не мог не опустить глаз. Ни перед кем больше я не опущу глаз, ни перед кем. Ни одна проповедь больше не увлечет меня, ибо не увлекла меня проповедь этого человека.

Будда обобрал меня, думал Сиддхартха, да, обобрал, но еще больше он меня одарил. Он отнял у меня друга, который верил в меня, а теперь верит в него, который был моей тенью, а теперь стал тенью Готамы. Подарил же он мне Сиддхартху, меня самого.

Пробуждение

Когда Сиддхартха покинул рощу, где остался Будда, Совершенный, где остался Говинда, он почувствовал, что и его прежняя жизнь осталась в этой роще, отпала от него. Об этом ощущении, переполнявшем его, он размышлял, медленно шагая прочь. Глубоко размышлял, будто в глубокие воды, погрузился на самое дно этого ощущения, туда, где покоятся первопричины, ибо мнилось ему, что постичь перво-

причины и означает мыслить и лишь благодаря этому ощущения становятся знанием и не пропадают втуне, а обретают сущность и начинают излучать то, что в них содержится.

Медленно шагая, Сиддхартха размышлял. И заключил, что он уже более не юноша, что стал мужчиной. Заключил, что одно оставило его, как змею оставляет ее старая кожа, одного нет в нем более, а ведь это сопровождало его на протяжении всей юности, было неотъемлемо от него: желание иметь наставников и слушать наставления. Последнего наставника, который встретился на его пути, высочайшего и мудрейшего учителя, Святейшего, Будду, он тоже оставил, поневоле разлучился с ним, не смог принять его учение.

Медленнее шагал размышляющий, спрашивая себя: «Но что же, что хотел ты почерпнуть из наставлений и от наставников, и в чем они, столь многому тебя научившие, все-таки не сумели тебя наставить?» И он понял: «Сущность и смысл моего «я» — вот что мне хотелось постичь. Освободиться от этого «я», преодолеть его — вот чего я хотел. Но я не мог его преодолеть, мог только притвориться, только бежать от него, прятаться от него. Поистине ни одна вещь в мире не занимала так мои мысли, как это мое «я», эта загадка, что я живу, что я вот такой, единственный, отделенный и обособленный от других, что я — Сиддхартха! И ни об одной вещи в мире я не знаю меньше, чем обо мне, о Сиддхартхе!»

Медленно шагая, размышляющий остановился, пораженный этой мыслью, а из нее тотчас же явилась другая, новая мысль, гласившая: «То, что я ничего о себе не знаю, что Сиддхартха мне по-прежнему чужд и неведом, имеет одну-единственную причину: я страшился себя, я бежал от себя! Я искал атман, искал Брахман, желал расчленить мое «я», разъять кожуру, дабы в неведомых, сокровенных глубинах обрести таящееся под всеми оболочками ядро, начало начал, атман, жизнь, божественное, последнее. Но при этом я потерял себя».

Сиддхартха открыл глаза и огляделся по сторонам, улыбка разлилась по его лицу, и глубокое чувство пробуждения от долгого сна пронизало его до кончиков пальцев. И он пошел дальше, пошел быстро, как человек, который знает, что ему делать.

«О,— думал он, дыша полной грудью,— теперь уж я этого Сиддхартху не упущу! Не желаю больше начинать мои мысли и мою жизнь с атмана и страданий мира. Не желаю больше умерщвлять себя и расчленять, ища под обломками тайну. Не Йогаведа будет отныне наставлять меня, не Атхарваведа *, не аскеты и вообще не какое-либо учение. Я буду учиться у себя самого, стану своим собственным учеником, познаю себя, познаю тайну Сиддхартхи».

Он огляделся вокруг, как бы впервые увидев мир. А мир был прекрасен, мир был ярок и многоцветен, чуден и таинствен! В нем была синь, и желтизна, и зелень, в нем струились небеса и реки, недвижно замерли леса и горы, все прекрасно, все полно тайны и магии, а в середине — он, Сиддхартха, пробуждающийся, на пути к себе. Все это, вся желтизна и синь, все реки и леса, впервые влилось в глаза Сиддхартхи и было уже не наваждением Мары *, не покрывалом Майи *, не бессмысленным и случайным многообразием мира явлений, презренным для серьезного, вдумчивого брахмана, который отвергает многообразие, ища единства! Синь была синью, река была рекою, и даже если в сини и реке внутри Сиддхартхи сокрыто живет единое и божественное, так ведь лад и смысл божественного как раз в том и заключаются, чтобы здесь быть желтизною, а здесь — синью, там — небесами, там — лесом, а здесь — Сиддхартхой. Смысл и сущность не прятались где-то за вещами, они были внутри их, внутри всего.

«Как я был глух и бесчувствен! — думал резво шагающий путник.— Когда человек читает манускрипт, стремясь доискаться его смысла, он не пренебрегает знаками и буквами, не зовет их обманом, случайностью и бесполезной оболочкой, нет, он вчитывается в них, изучает их и любит, букву за буквой. А я, желавший прочесть книгу мира и книгу собственного моего существа, я в угоду предвзятому смыслу отверг знаки и буквы, звал мои глаза и мой язык случайными и бесполезными явлениями. Нет, это миновало, я пробудился, я в самом деле пробудился и лишь сегодня рожден».

Думая эту думу, Сиддхартха опять остановился внезапно, будто перед ним на тропе лежала змея.

Ибо ему внезапно открылось еще одно: он, в самом деле как бы пробудившийся

и новорожденный, он должен начать жизнь вновь, и с самого начала. Когда в это самое утро он покидал рощу Джетавана, рощу Возвышенного, уже пробуждаясь, уже на пути к себе, он намеревался — и считал это свое намерение естественным и нормальным — после долгих лет аскезы воротиться в родные края, к отцу. Теперь же, вот в этот самый миг, когда остановился, будто увидав на тропе змею, он пробудился и к пониманию следующего: «Я уже не тот, что прежде, я не аскет более, не жрец, не брахман. Что же делать мне в родном доме, у отца моего? Учиться? Творить жертвоприношения? Погружаться в медитацию? Все это миновало, все это уже в стороне от моего пути».

Недвижимо стоял Сиддхартха, и на одно мгновенье, на один вздох сердце его похолодело, он почувствовал, как оно холодеет в груди, точно маленькое живое существо, птичка или зайчонок, когда он увидел свое одиночество. Годами он был одинок и не чувствовал этого. И вот теперь почувствовал. До сих пор, даже в глубочайшей отрешенности, он был сыном своего отца, был высокородным брахманом, духовным лицом. Теперь же он был только Сиддхартхой, только пробужденным, и не более. Он глубоко вздохнул и на мгновенье похолодел и вздрогнул. Никто не был столь одинок, как он. Ведь нет такого аристократа, что не принадлежал бы к знати, нет такого ремесленника, что не принадлежал бы к ремесленникам и не имел бы прибежища у своих, не делил с ними жизнь, не говорил их языком. Нет такого брахмана, что не относился бы к числу брахманов и не жил бы с ними, нет такого аскета, что не имел бы прибежища в монашеском сословии, и даже самый сирый отшельник в лесу не был один как перст, даже его окружали родственные души, даже он принадлежал к некоему сословию, которое было для него родным. Говинда стал монахом, и тысячи монахов были ему братьями, носили его одежду, верили его верой, говорили его языком. А он, Сиддхартха, где найдет он свое братство? Чью жизнь разделит? Чьим языком станет говорить?

Из этого мгновения, когда мир вокруг него исчез, когда он стоял один, как звезда в небе, из этого мгновения холода и робости Сиддхартха вышел, еще больше окрепнув самостью, еще лучше владея собой. Он чувствовал: это была последняя дрожь пробуждения, последняя схватка рожденья. И вот он снова зашагал, резво и нетерпеливо, уже не домой, не к отцу, не вспять.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Камала

На каждом шагу своего пути Сиддхартха узнавал новое, ведь мир преобразился, и сердце его было околдовано. Он видел, как солнце встает над лесистыми хребтами и садится над далеким, поросшим пальмами прибрежьем. Ночью он видел на небе россыпи звезд и месяц, лодкой плывущий в синеве. Видел деревья, звезды, животных, облака, радугу, скалы, душистые травы, ручьи и реки, взблеск росы в кустах поутру; вдали блекло голубели горные вершины, щебетали птицы и жужжали пчелы, ветер колыхал серебристые волны рисовых полей. Все это тысячеликое многоцветье существовало от веку — от веку светили солнце и луна, от веку жужжали пчелы и шумели реки, но прежде все это казалось Сиддхартхе не более чем эфемерной и обманчивой дымкой, которая застит взор, внушает недоверие и назначена для того, чтобы пронизать ее мыслью и уничтожить, ибо все это лишено сущности, ибо сущность лежит по ту сторону зримого. Теперь же его освобожденный взор пребывал по сю сторону, он видел и узнавал зримое, искал свое отечество в этом мире, но не искал сущности, не целил в потустороннее. Мир был прекрасен, если смотреть на него вот так — ничего не ища, просто, по-детски. Прекрасны были луна и звезды, прекрасны ручьи и берега, леса и скалы, козы и жуки-златки, цветы и бабочки. Прекрасно и отрадно было вот так идти по этому миру — ребенком, пробудившимся, доверчивым ребенком, открытым для всего, что рядом. По-иному палило голову солнце, по-иному обвевала прохладой тень, иной вкус был у воды

в ручье и в бочке, иной — у тыквы и банана. Коротки были дни, коротки ночи, и каждый час быстро ускользал прочь, словно парус в море, а под парусом корабль, полный сокровищ, полный утех. Сиддхартха видел обезьяний народ, снующий высоко под сводом леса, высоко в ветвях, и слышал дикарский, алчный напев. Видел, как баран, догнав, покрывает овцу. Видел, как под вечер охотится в тростниковом озере голодная щука, как перед нею с перепугу стайками выскакивают из воды, трепеща и поблескивая, рыбешки-недоростки; силой и страстью разило от стремительных водных вихрей, вздымаемых неистовой охотницей.

Все это существовало от веку, а он этого не видел; его при этом не было. Теперь же он был здесь и участвовал во всем. Его глаза вбирали свет и тень, сквозь его сердце проплывали звезды и луна.

По дороге Сиддхартха вспоминал и все то, что пережил в садах Джетаваны, вспоминал услышанную там проповедь, божественного Будду, прощание с Говиндой, беседу с Возвышенным. Вспоминал собственные свои слова, обращенные к Возвышенному, вспоминал каждое слово и с удивлением уяснил себе, что сказал много такого, чего тогда еще толком не понимал. Ведь он сказал Готаме: его, Будды, сокровище и тайна не учение, не проповедь, а то невыразимое и неисповедимое, что он пережил и познал некогда в миг просветления,— именно это хотел теперь познать и он, Сиддхартха, затем и отправился в путь, именно это и начал сейчас познавать. Познать же он должен себя самого. Конечно, он уже давно понял, что его самость — атман, по природе своей столь же вечный, сколь и Брахман. Но никогда он не обретал по-настоящему этой самости, потому что хотел поймать ее неводом мысли. И не тело, конечно, было самостью, и не игра чувственных восприятий, но ведь точно так же не были ею ни мысли, ни разум, ни приобретенная мудрость, ни приобретенное искусство делать выводы и сплетать из старых мыслей новые. Да, этот мир идей находился тоже по сю сторону, и незачем было умерщвлять случайное «я» чувственных восприятий и пестовать взамен случайное «я» мыслей и ученостей. То и другое — мысли и чувственные восприятия — было по-своему замечательно, за тем и другим таился последний смысл, вслушиваться надлежало в то и другое, играть тем и другим, ни то, ни другое не презирать и не ценить сверх меры, различать в том и другом тайные голоса сокровеннейшего. И стремиться он будет лишь туда, куда велит этот голос, и сосредоточиваться лишь на том, что советует этот голос. Отчего Готама некогда, в тот великий час, уселся под деревом Бодхи, где на него низошло просветление? Он услышал голос, голос внутри своего сердца, который повелел ему сделать привал под этим деревом, и он не отдал предпочтения ни умерщвлению плоти, ни жертве, ни омовению или молитве, ни еде, ни питью, ни сну, ни грезам — нет, он внял голосу. Вот такая послушливость — не веленью извне, а одному только этому голосу,— вот такая готовность была правильной и необходимой, более ничего и не требовалось.

Ночевал Сиддхартха у реки, в крытой соломою хижине перевозчика, и приснился ему Говинда, в желтых одеждах аскета. Печальным выглядел Говинда, печально вопросил он: почему ты покинул меня? Тогда он обнял Говинду, обвил его руками и, привлекши к своей груди и целуя, увидел, что это уже не Говинда, а женщина и из платья ее выпросталась полная грудь, и к ней припал Сиддхартха и пил — сладостным и хмельным на вкус было молоко этой груди. Вкус его напоминал о женщине и о мужчине, о солнце и о лете, о животных и о цветах, о любых плодах, о любых удовольствиях. Оно пьянило и дурманило... Когда Сиддхартха проснулся, за дверью хижины тускло серебрилась река, а в лесу гулко звучал басовитый крик совы.

Когда настал день. Сиддхартха попросил своего благодетеля, перевозчика, свезти его на тот берег. И перевозчик на своем бамбуковом плоту переправил его через реку, и широкий водный простор розовел в утренних лучах.

— Красивая река,— сказал Сиддхартха своему спутнику.

— Да,— молвил в ответ перевозчик,— очень красивая, я люблю ее больше всего на свете. Часто я слушал ее, часто смотрел ей в глаза и всегда учился у нее. У реки можно многому научиться.

— Спасибо тебе, милостивец,— сказал Сиддхартха, выйдя на берег.— Нечем мне одарить тебя за гостеприимство, мой дорогой, нечем и заплатить. Я бесприютный сын брахмана и подвижник-монах.

— Я это заметил,— отозвался перевозчик,— и не ждал от тебя ни платы, ни подарка. Ты сделаешь мне подарок в другой раз.

— Ты так думаешь? — весело воскликнул Сиддхартха.

— Конечно. Я и это узнал от реки: все возвращается! Вернешься и ты, самана. А теперь прощай! Пусть уплатой мне будет твоя дружба. Вспоминай обо мне, когда будешь творить жертвы богам.

С улыбкой расстались они. С улыбкой радовался Сиддхартха дружеству и дружелюбию перевозчика. «Он как Говинда,— с улыбкой думал юноша,— все, кого я встречаю на моем пути, похожи на Говинду. Все благодарны, хотя благодарность причитается им, а не мне. Все стараются угодить, все хотят добрых отношений, охотно уступают, мало думают. Дети — вот кто эти люди».

К полудню он добрался до какой-то деревни. На улочке перед глинобитными хижинами возились дети, играли тыквенными семечками и ракушками, кричали и дрались, но все робели и сторонились чужого саманы. На краю деревни дорога вела через ручей, а у ручья, стоя на коленях, молодая женщина стирала белье. Когда Сиддхартха поздоровался с нею, она подняла голову и с улыбкой взглянула на него, даже белки глаз сверкнули. Как подобает страннику, он послал ей через ручей благословение и спросил, далеко ли еще до большого города. Тут она встала и подошла к нему, красиво алел на юном лице ее влажный рот. Она обменялась с ним шутливыми словами, спросила, ел ли он уже и правда ли, что саманы ночуют в лесу одни и не вправе иметь подле себя женщин. При этом она поставила свою левую ногу на его правую и сделала некое движение, каким у женщин принято приглашать мужчину к любовным утехам, что именуются в учебниках лазаньем на дерево. Сиддхартха почувствовал, как у него закипает кровь, а поскольку в этот миг опять вспомнил давешний сон, то слегка наклонился к женщине и поцеловал коричневый кончик ее груди. Подняв взгляд, он увидел, что улыбка ее полна желания, а сузившиеся глаза мерцают мольбой и истомой.

И Сиддхартха тоже почувствовал желание, почувствовал, как шевельнулось в причинном месте; но поскольку он никогда еще не прикасался к женщине, то чуть помедлил, хотя руки его уже тянулись к ней. И в этот миг он с ужасом услыхал голос своего сокровенного, услыхал его «нет». И тут улыбающееся лицо юной женщины потеряло все свое обаяние, теперь он видел только влажный взгляд самки. Ласково погладив ее по щеке, он отвернулся от разочарованной и легкими шагами скрылся в бамбуковой роще.

Под вечер он добрался до большого города и возрадовался, ибо жаждал общества. Долго жил он в лесах, и крытая соломой хижина перевозчика, в которой он провел сегодняшнюю ночь, впервые с давних пор подарила ему кров.

На городской окраине, возле обнесенной оградою рощи, страннику встретилась небольшая процессия челяди, нагруженной корзинами. Посредине, в изукрашенном паланкине, несомом четверкой слуг, на алых подушках под пестрым балдахином сидела женщина, их госпожа. Сиддхартха остановился у входа в сад, наблюдая за процессией, глядя на прислужников и прислужниц, на корзины, на паланкин, на даму в паланкине. Черные волосы ее были уложены в высокую прическу, лицо белое, точеное, очень умное, рот нежный, алый, как только что сорванная смоква, брови холеные, подведенные высокой дугою, темные глаза светились умом и настороженностью, высокая белоснежная шея выступала из зеленого с золотом наряда, белые руки, узкие, с длинными пальцами, покоились на коленях, запястья перехвачены широкими золотыми браслетами.

Сиддхартха любовался ее красотой, и сердце его смеялось. Когда паланкин был уже близко, он склонился в глубоком поклоне и, выпрямляясь, заглянул в белоснежное прекрасное лицо, мгновенье читал в умных глазах под высокими дугами бровей, вдохнул неведомый аромат. С улыбкой кивнула красавица ему в ответ, мгновенье — и она исчезла в саду, а за нею и вся челядь.

Вот так вхожу я в этот город, думал Сиддхартха, под благим знаком. Его тянуло немедля войти в сад, но он опамятовался и лишь теперь осознал, как смотрели на него челядинцы у входа, как презрительно, как недоверчиво, как враждебно.

Я пока еще самана, думал он, пока еще аскет и попрошайка. Нельзя мне оставаться таким, нельзя таким войти в сад. И он рассмеялся.

Первого же встречного спросил он о роще и об имени женщины и узнал, что это сад Камалы *, знаменитой куртизанки, и что, кроме рощи, у нее есть дом в городе.

Засим Сиддхартха вошел в город. Теперь у него была цель.

Преследуя эту цель, он позволил городу поглотить себя, плыл в потоке улиц, останавливался на площадях, отдыхал на каменных ступенях у реки. К вечеру он сдружился с неким подручным цирюльника, которого видел за работой под сенью арки, а потом встретил за молитвою в храме Вишну и рассказал ему истории о Вишну * и Лакшми *. Заночевал он возле лодок, у реки, а рано утром, прежде чем в цирюльню явились первые клиенты, новый знакомец сбрил ему бороду, постриг волосы, причесал их и умастил благовонным маслом. Потом Сиддхартха омылся в реке.

Когда же перевалило за полдень и красавица Камала отправилась в паланкине в свой сад, у входа стоял Сиддхартха, он поклонился, и куртизанка ответила поклоном. А тому челядинцу, что был последним в процессии, он сделал знак подойти ближе и попросил доложить госпоже, что молодой брахман желает поговорить с нею. Через некоторое время слуга вернулся, пригласил ожидающего войти, молча проводил его в павильон, где на диване возлежала Камала, и оставил их наедине.

— Не ты ли и вчера стоял у входа и приветствовал меня? — спросила Камала.

— Да, я еще вчера видел тебя и приветствовал.

— Но ведь вчера ты был с бородой, и с длинными волосами, и с пылью в волосах?

— А ты наблюдательна и все разглядела. Ты видела Сиддхартху, сына брахмана, который покинул родные края, чтобы стать подвижником-саманой, и три года был им. Теперь же я оставил эту стезю и пришел сюда, в город, и первая, кто встретилась мне под его стенами, была ты. Чтобы высказать это, я и пришел к тебе, о Камала! Ты первая женщина, с которой Сиддхартха говорит, не потупляя взора. И никогда более я не опущу глаз, встретив красивую женщину.

Камала улыбнулась, играя веером из павлиньих перьев. И спросила:

— В самом ли деле Сиддхартха пришел ко мне, только чтобы это высказать?

— Да, чтобы это высказать и поблагодарить тебя за то, что ты так прекрасна. И если ты не против, я хотел бы просить тебя: стань моей подругой и наставницей, ибо я ничего пока не знаю об искусстве, в котором ты достигла мастерства.

Громко рассмеялась Камала:

— Никогда до сих пор не бывало, друг мой, чтобы самана из лесу пришел ко мне и желал учиться у меня! Никогда до сих пор не бывало, чтобы пришел ко мне самана, длинноволосый, в старой дырявой повязке на бедрах! Много юношей приходят ко мне, есть среди них и сыновья брахманов, но приходят они в красивых одеждах, изящных сандалиях, с благовониями в волосах и деньгами в кошельке. Вот, о самана, каковы юноши, что приходят ко мне.

И молвил Сиддхартха:

— Я уже начинаю учиться у тебя. И вчера тоже кой-чему научился. Я уже сбрил бороду, причесал волосы, умастил их благовонным маслом. Лишь малого недостает мне, о прелестнейшая: красивых одежд, изящных сандалий, денег в кошельке. Знай же, Сиддхартха брался за куда более трудные дела, чем эти пустяки, и добивался успеха. Так разве не добьюсь я того, что задумал вчера: стать твоим другом и познать от тебя радости любви! Ты увидишь, я прилежный ученик, Камала, я постигал куда более трудное, нежели то, чему будешь учить меня ты. Итак, Сиддхартха — такой, каков он есть: с благовониями в волосах, но без одежды, без сандалий, без денег,— не удовлетворяет тебя?

Смеясь, воскликнула Камала:

— Нет, дорогой мой, пока не удовлетворяет. Ему необходима одежда, нарядная одежда, и сандалии, нарядные сандалии, и много денег в кошельке, и подарки для Камалы. Ну, теперь ты понял, самана из леса? Теперь запомнил?

— Конечно, запомнил,— вскричал Сиддхартха.— Как же не запомнить то, что произносят такие уста! Твои уста, Камала, как свежая смоква. И мои уста алы и свежи, под стать твоим, вот увидишь... Но скажи, красавица Камала, неужели ты совсем не боишься лесного саманы, что пришел учиться любви?

— А почему я должна бояться какого-то саманы, глупого лесного подвижника, что пришел от шакалов и знать еще не знает, что такое женщина?

— О, он сильный, этот самана, и ничего не страшится. Он мог бы принудить тебя, прекрасная дева. Мог бы тебя украсть. Причинить тебе боль.

— Нет, самана, этого я не боюсь. Разве подвижник или брахман боялся

когда-нибудь, что придет некто, и схватит его, и украдет у него ученость, и набожность, и глубокомыслие? Нет, они принадлежат ему неотъемлемо, и он может лишь поделиться ими, отдать столько, сколько пожелает, и тому, кому пожелает. Вот так в точности обстоит и с Камалой, и с утехами любви. Прекрасны и алы уста Камалы, но попробуй поцеловать их вопреки ее желанию, и ты не вкусишь ни капли их сладости, а ведь они умеют дать так много услады! Ты прилежен в ученье, Сиддхартха, усвой же и это: любовь можно вымолить, купить, получить в дар, найти на улице, но украсть ее нельзя. Тут ты избрал себе ложный путь. Н-да, жаль, когда красивый юноша вроде тебя приступает к делу до такой степени неправильно.

Сиддхартха с улыбкой поклонился.

— И вправду жаль, Камала, ты совершенно права! Очень жаль. Нет уж, ни капли сладости твоих уст не должно пропасть для меня втуне, а для тебя — моих! Стало быть, порешим так: Сиддхартха вернется, когда у него будет недостающее — одежда, сандалии, деньги. Но скажи, прелестная Камала, не дашь ли ты мне на прощанье маленький совет?

— Совет? Отчего же, дам. Кто откажет в совете бедному, невежественному самане, который пришел от лесных шакалов?

— Так посоветуй же мне, дорогая Камала, куда я должен пойти, чтобы поскорее обрести эти три вещи?

— Многие хотели бы это знать, друг мой. Делай то, чему ты научился, и пусть тебе дают за это деньги, одежду и сандалии. Что же ты умеешь?

— Я умею размышлять. Умею ждать. Умею поститься.

— И больше ничего?

— Ничего. Хотя нет, еще я умею слагать стихи. Подаришь мне поцелуй за стихотворение?

— Подарю, если твои стихи мне понравятся. Каково их название?

Сиддхартха с минуту подумал и произнес такие стихи:

В сад свой тенистый прекрасная входит Камала
И видит: стоит на пути темноликий самана,
Перед этой красой, перед лотоса дивным цветком
Он восхищенно склонился, Камала в ответ улыбнулась,
И навеки решил он оставить служенье богам,
Дабы впредь поклоняться одной несравненной Камале.

Громко захлопала в ладоши Камала, золотые браслеты так и зазвенели.

— Хороши твои стихи, темноликий самана, и поистине я ничего не потеряю, если дам тебе за них поцелуй.

Взглядом призвала она его к себе, он наклонил к ней лицо и коснулся губами ее губ, свежих, как только что сорванная смоква. Долго целовала его Камала, и с глубоким изумлением чувствовал Сиддхартха, как она учит его, как она мудра, как она властвует им, отталкивает его и притягивает и как выстраивается за этим первым поцелуем длинная, ровная, проверенная вереница других, грядущих поцелуев, не похожих один на другой. Глубоко дыша, он замер и был в это мгновенье, как ребенок, изумлен полнотою знания, которое открылось его взору и было так достойно постижения.

— Очень хороши твои стихи,— воскликнула Камала,— будь я богата, я бы дала тебе за них золота. Но стихами трудно заработать такие большие деньги, какие нужны тебе. Ибо, если ты хочешь стать другом Камалы, тебе понадобятся большие деньги.

— Как же ты умеешь целовать, Камала! — пролепетал Сиддхартха.

— Да, это я умею, вот почему у меня в достатке и платьев, и сандалий, и прочих красивых вещей. Но что станется с тобою? Неужели ты только и умеешь, что размышлять, поститься, слагать стихи?

— Еще я знаю жертвенные песнопения,— сказал Сиддхартха,— но мне больше не хочется их петь. И заклинания знаю, но мне больше не хочется их читать. Я читал священные книги...

— Погоди,— перебила его Камала.— Ты умеешь читать? И писать?

— Конечно. Не один я умею.

— Большинство не умеет. И я не умею. Очень хорошо, что ты умеешь читать и писать, очень хорошо. Да и заклинания тоже могут пригодиться.

В этот миг вбежала прислужница и шепотом сообщила что-то на ухо госпоже.

— Ко мне пришли,— воскликнула Камала.— Поспеши исчезнуть, Сиддхартха, никто не должен тебя здесь видеть, запомни! Завтра мы увидимся вновь.

Прислужнице она, однако ж, приказала дать набожному брахману белую верхнюю накидку. Сам не зная как, Сиддхартха следом за прислужницей выбрался из павильона, и она окольной дорогой прошла с ним в садовый домик, подарила накидку, затем вывела в заросли и настоятельно призвала поскорее незаметно удалиться.

Удовлетворенный, он сделал как велено. Будучи привычен к лесу, он бесшумно через живую изгородь выскользнул из сада. Удовлетворенный, вернулся в город, неся под мышкой свернутую накидку. На постоялом дворе, где останавливались проезжающие, он стал у двери, молча попросил поесть, молча принял кусок рисового пирога. Может быть, уже завтра, думал он, я никого не попрошу более о пропитании.

Внезапно в нем вспыхнула гордость. Он больше не самана, и негоже ему теперь просить милостыню. Он отдал пирог собакам, а сам остался без пищи.

«Проста жизнь в этом мире,— думал Сиддхартха.— Нет в ней трудностей. Когда я был саманой, все оказывалось трудно, утомительно и в конечном счете безнадежно. А теперь все легко, как уроки поцелуев, которые мне дает Камала. Я нуждаюсь в деньгах и одежде, и только, а это мелкие ближние цели, сну они не помеха».

Он давно разузнал, где находится городской дом Камалы, и на следующий день пришел туда.

— Все хорошо! — крикнула она ему навстречу.— Тебя ждут у Камасвами, он самый богатый купец в этом городе. Если ты ему понравишься, он возьмет тебя на службу. Будь умен, темноликий самана. Я попросила, чтобы ему рассказали о тебе. Будь приветлив с ним, ибо человек он весьма могущественный. Но не скромничай сверх меры! Я не хочу, чтобы ты стал его слугой, ты должен стать ему ровней, иначе я буду недовольна. Камасвами понемногу стареет и делается ленив. Если ты ему потрафишь, он многое тебе доверит.

Сиддхартха поблагодарил ее и засмеялся, а Камала, узнав, что он ни вчера, ни сегодня не ел, велела принести хлеба и фруктов и угостила его.

— Тебе повезло,— сказала она на прощание,— все двери отворяются перед тобою. Как это получается? Ты волшебник?

Сиддхартха ответил:

— Вчера я сказал тебе, что умею размышлять, ждать и поститься, ты же нашла, что от этого нет никакого проку. Однако прок есть, и большой, Камала, вот увидишь. Увидишь, что глупые саманы узнают в лесу прелюбопытные вещи и умеют много такого, чего не умеете вы. Еще позавчера я был шелудивым попрошайкой, вчера я уже целовал Камалу, а скоро стану купцом и буду иметь и деньги, и все эти вещи, которые ты ценишь.

— Пожалуй,— согласилась она.— Но как бы пошли твои дела без меня? Чем бы ты был, если б Камала не помогла тебе?

— Дорогая Камала,— сказал Сиддхартха и выпрямился во весь рост,— придя в твой сад, я сделал первый шаг. Я твердо решил учиться любви у прекраснейшей из женщин. И с той же минуты, как я принял это решение, я знал, что выполню его. Знал, что ты мне поможешь; едва увидев тебя у входа в сад — уже знал это.

— А если бы я не пожелала?

— Ты пожелала. Видишь ли, Камала: когда бросаешь в воду камень, он кратчайшим путем торопится ко дну. Вот так же бывает, когда у Сиддхартхи есть цель, когда он принимает решение. Сиддхартха ничего не делает, он ждет, он размышляет, он постится, но проходит сквозь мирские дела точно камень сквозь воду, ничего не делая, не шевелясь; его тянет, он позволяет себе упасть. Цель тянет его к себе, ибо он не допускает в свою душу ничего, что могло бы воспротивиться цели. Вот чему Сиддхартха научился у подвижников. Вот что глупцы именуют колдовством, полагая, что творят его демоны. Ничего демоны не творят, демонов не существует. Каждый сможет колдовать, каждый сможет достичь своей цели, если умеет размышлять, умеет ждать, умеет поститься.

Камала слушала его. Она любила его голос, любила взор его глаз.

— Возможно, все так, как ты говоришь, друг мой,— тихо проговорила она.—

А возможно, Сиддхартха просто красивый мужчина, и взор его нравится женщинам, и потому счастье идет ему навстречу.

Поцелуем Сиддхартха распрощался с нею.

— Пусть будет так, моя наставница. Пусть взор мой всегда нравится тебе, пусть всегда счастье приходит ко мне от тебя!

Среди ребячливых людей

Сиддхартха отправился к купцу Камасвами и попал в богатый дом. Слуги провели его меж бесценными коврами в покой, где он стал ждать хозяина.

Наконец Камасвами пришел — проворный, гибкий мужчина с сильной проседью в волосах, с очень умными, сторожкими глазами, с чувственным ртом. Приветливо поздоровались хозяин и гость.

— Мне сказали,— начал купец,— что ты брахман, ученый и, однако же, ищешь службы у купца. Ты в нужде, брахман, и оттого ищешь службы?

— Нет,— отвечал Сиддхартха,— я не в нужде и никогда в нужде не бывал. Знай же, я пришел от подвижников-саманов, у которых долго жил.

— Если ты пришел от подвижников, то как же ты не в нужде? Ведь у саманов нет никакого имущества, верно?

— Имущества у меня нет,— сказал Сиддхартха,— если ты это имеешь в виду. Разумеется, нет. Но у меня его нет по доброй воле, а значит, я не в нужде.

— На что же ты собираешься жить, если у тебя нет никакого имущества?

— Я пока не думал об этом, господин. Более трех лет я не владел имуществом и вовсе не думал о том, на что жить.

— Выходит, ты жил за счет имущества других.

— Возможно. Так ведь и купец живет за счет достояния других.

— Хорошо сказано. Однако ж *он* берет собственность других не задаром; взамен он дает им свои товары.

— Похоже, так оно и есть на самом деле. Каждый берет, каждый дает — такова жизнь.

— Но позволь: если ты не владеешь имуществом, что ты отдашь?

— Каждый отдает то, что имеет. Воин отдает силу, купец — товар, учитель — наставление, крестьянин — рис, рыбак — рыбу.

— Верно, верно. Что же в таком случае можешь отдать ты? В чем твоя ученость? Что ты умеешь?

— Я умею думать. Умею ждать. Умею поститься.

— И это все?

— По-моему, в этом все!

— А какой от этого прок? К примеру, пост — на что он нужен?

— На очень многое, господин. Когда человеку нечего есть, самое умное, что он может сделать,— это поститься. И если б Сиддхартха не научился поститься, ему поневоле пришлось бы сегодня же поступить на службу — к тебе или к кому-то еще, ибо голод принудил бы его. А так Сиддхартха может спокойно подождать, ему неведомо нетерпение, неведома нужда, долго может он выдержать осаду голода, еще и посмеется вдобавок. Вот на что нужен пост, господин.

— Твоя правда, самана. Погоди минутку.— Камасвами вышел и вернулся со свитком, который протянул гостю, спросив: — Ты можешь прочитать вот это?

Сиддхартха устремил взгляд на свиток, где был записан договор о продаже, и начал читать вслух.

— Превосходно,— сказал Камасвами.— А не напишешь ли мне что-нибудь на этом листе?

Он подал Сиддхартхе лист и грифель, юноша набросал несколько строк и вернул лист.

Камасвами прочитал:

— «Писать — это хорошо, думать — лучше. Ум — хорошо, терпение — лучше». Ты прекрасно пишешь,— похвалил он.— Кое-что мы с тобою еще должны обсудить. А нынче прошу тебя: будь моим гостем и остановись в моем доме.

Сиддхартха поблагодарил и принял приглашение, поселившись отныне в доме

купца. Ему принесли одежду и сандалии, и один из прислужников ежедневно готовил ему купание. Дважды на дню подавали обильную трапезу, но Сиддхартха ел только раз и не брал в рот ни мяса, ни вина. Камасвами рассказывал ему о своей торговле, показывал товары и хранилища, показывал счета. Много нового узнал Сиддхартха, много слушал и мало говорил. И памятуя речи Камалы, он никогда не лебезил перед купцом, а вынуждал Камасвами обходиться с ним как с ровней, и даже более чем ровней. Камасвами вел дела с тщанием, а зачастую и с пылом. Сиддхартха же видел во всем этом как бы игру, правила которой старался заучить в точности, но содержание игры не задевало его за сердце.

Пробывши в доме Камасвами совсем недолгое время, он уже стал участвовать в торговых делах хозяина. Однако изо дня в день навещал в условленный час красавицу Камалу, в красивых одеждах, в изящных сандалиях, а скоро и с подарками. Многому его научил милый, умный ее рот. Многому его научила нежная, гибкая ее рука. Его, сущего отрока в любви, который готов был слепо и жадно, точно в бездну, ринуться в наслаждение, она обучала с самых азов, втолковывала, что нельзя принимать наслаждение, не отдавая наслаждения взамен, и что всякий жест, всякая ласка, всякое прикосновение, всякий взор, всякое местечко плоти таит свой секрет, пробуждение которого сулит сведущему блаженство. Она втолковывала ему, что влюбленным не должно после празднества любви расставаться, не восхищаясь друг другом, не будучи одинаково побежденными и победителями, тогда не завладеют ими ни пресыщенность и пустота, ни злое чувство, будто оба они скверно обошлись друг с другом. Упоительные часы проводил он у прекрасной и умной мастерицы, сделался учеником ее, и любовником, и другом. Здесь, у Камалы, сосредоточены были суть и ценность его теперешней жизни, а не в торговле Камасвами.

Купец поручил ему написание важных писем и договоров и привык советоваться с ним обо всех важных делах. Скоро он увидел, что Сиддхартха мало разбирается в рисе и шерсти, в речных перевозках и коммерции, зато у него легкая рука и он превосходит его, купца, спокойствием и уравновешенностью, умением слушать и пониманием незнакомых людей.

— Этот брахман,— сказал он одному из друзей,— не настоящий купец и никогда им не станет, душа его не увлечена делами. Но он владеет секретом удачи, он из тех людей, к которым успех приходит сам собою,— то ли он рожден под счастливой звездой, то ли умеет колдовать, то ли научился этому у саманов. Всегда он лишь как бы играет с делами, никогда они полностью не занимают его, не подчиняют себе, никогда не страшится он неудачи, никогда его не огорчает убыток.

Друг посоветовал купцу:

— Отдай ему треть барыша от сделок, которые он за тебя совершает, но пусть несет и равную долю убытка, коли таковой возникнет. Тогда у него прибудет рвения.

Камасвами внял совету. Однако ж Сиддхартху все это нимало не интересовало. Случись барыш, он безразлично принимал свою долю; случись убыток — со смехом говорил:

— Ах, надо же, не повезло!

Дела и вправду словно бы оставляли его равнодушным. Как-то раз он отправился в деревню, намереваясь скупить там большой урожай риса. Но к его приезду рис уже был продан другому торговцу. И все же Сиддхартха задержался в той деревне на несколько дней, угощал крестьян, дарил их ребятишкам медные монетки, отпраздновал чью-то свадьбу и вернулся в город весьма довольный. Камасвами стал его корить за то, что он не вернулся сразу, что зря потратил время и деньги. Сиддхартха ответил:

— Оставь упреки, дорогой мой друг! Упреками ничего путного не добьешься. Коли есть урон, отнеси его за мой счет. Я очень доволен этой поездкой. Я познакомился с множеством разных людей, подружился с одним брахманом, качал на коленях ребятишек, крестьяне показывали мне свои поля, никто и не думал, что я торговец.

— Вот это замечательно! — с досадой вскричал Камасвами.— Но ведь ты все-таки торговец, по-моему! Или ты ездил туда лишь ради собственного удовольствия?

— Конечно,— засмеялся Сиддхартха,— конечно, ради собственного удовольст-

вия. А как же иначе? Я знакомился с новыми людьми и с новыми местами, я встречал дружелюбие и доверие, я нашел дружбу. Видишь ли, мой дорогой, будь я Камасвами, то, узнав, что сделка пошла прахом, я бы немедля в сердцах поспешил обратно, и время, и деньги вправду были бы потеряны. А так я хорошо провел эти дни, учился, радовался, не навредил ни себе, ни другим злостью и скоропалительностью. И если когда-нибудь мне доведется снова там побывать, быть может с целью покупки очередного урожая или по какой-то иной причине, меня приветливо и радостно встретят приветливые люди, и я скажу себе спасибо за то, что не проявил тогда поспешности и недовольства. Так что оставь, друг мой, не вреди сам себе укорами! Вот когда ты в один прекрасный день ясно увидишь, что от этого Сиддхартхи тебе сплошной убыток, тогда по первому твоему слову Сиддхартха уйдет своей дорогой. А до тех пор давай будем довольны друг другом.

Тщетны были и попытки купца убедить Сиддхартху, что он ест его, Камасвами, хлеб. Сиддхартха ел свой собственный хлеб, точнее говоря, оба они ели хлеб других, хлеб всех. Никогда Сиддхартха не интересовался заботами Камасвами, а забот у Камасвами было много. То какая-нибудь сделка грозила обернуться неудачей, то едва не терялась партия товара, то должник вроде бы оказывался неплатежеспособным — и никогда Камасвами не мог убедить своего помощника в необходимости досадливых и гневных слов, хмурых морщин на лбу, плохого сна. Когда Камасвами однажды с упреком сказал, что всему, в чем Сиддхартха разбирается, он выучился у него, тот ответил:

— Негоже строить надо мной этакие насмешки! От тебя я узнал, сколько стоит корзина рыбы и какой процент можно потребовать за ссуженные в долг деньги. Вот твои науки. Думать я научился не у тебя, милейший Камасвами, ты бы лучше сам постарался выучиться этому у меня.

Душой он и вправду был не в торговле. Дела служили затем, чтобы обеспечивать его деньгами для Камалы, и приносили они куда больше, чем требовалось. В остальном же интерес и любопытство Сиддхартхи принадлежали людям, чьи дела, ремесла, заботы, услады и чудачества раньше казались ему чуждыми и далекими, как луна. Ему с легкостью удавалось со всеми разговаривать, со всеми вместе жить, у всех учиться — и, однако же, он отчетливо сознавал: что-то отделяет его от них, и это — его подвижничество. У него на глазах люди жили одним днем, как дети или животные, такая жизнь и нравилась ему, и вызывала презрение. Он видел, как они надрываются, как страдают и седеют из-за вещей, которые, на его взгляд, совершенно того не стоили,— из-за денег, из-за мелких удовольствий, из-за мелких почестей,— видел, как они бранят друг друга и оскорбляют, как сетуют на боль, над которой подвижник-самана только смеется, и страждут от лишений, которых подвижник не замечает.

Он был открыт для всего, что эти люди к нему несли. Всех привечал одинаково — и торговца, предлагающего полотно, и должника, ищущего ссуды, и нищего, который не меньше часа рассказывал ему историю своей скудности, но не был и вполовину так нищ, как любой самана. К богатому иноземному купцу он относился в точности так же, как к слуге-брадобрею и к уличному торговцу, который продавал бананы и обманул его на мелкую монетку. Когда Камасвами приходил пожаловаться на свои горести или попенять за какую-либо сделку, он слушал весело и с любопытством, удивлялся на него, старался понять, признавал его правоту, немножко, ровно настолько, насколько считал необходимым, и отворачивался от него, к следующему, который его домогался. А приходили к нему многие — многие, чтобы с ним торговать, многие, чтобы его обмануть, многие, чтобы осторожно расспросить, многие, чтобы разжалобить, многие, чтобы услышать его совет. Он давал совет, он сочувствовал, он позволял немножко себя обмануть, и вся эта игра и страсть, с какой все люди играли в эту игру, занимали его мысли точно так же, как некогда их занимали боги и Брахман.

Временами он чувствовал — в глубине своего сердца — угасающий, тихий голос, и этот голос тихо остерегал, тихо жаловался и был едва внятен. Тогда он на часок осознавал, что ведет странную жизнь, что все поступки его суть только игра, что, хотя он весел и порой испытывает радость, подлинная жизнь, однако, течет мимо и его не затрагивает. Как игрок в мяч играет своими мячами, так он играл своими сделками и окружающими людьми, наблюдал за ними со стороны, находил в них удовольствие; сердце же, источник его сущности, оставалось безучастно.

Источник струился как бы где-то вдали от него, струился себе и струился, незримый, безотносительный к его жизни. И он не раз пугался этих мыслей и пылко желал, чтобы и ему дано было увлеченно, всем сердцем участвовать в каждодневной ребячливой суете, поистине жить, поистине действовать, поистине наслаждаться и жить, вместо того чтоб быть просто зрителем и стоять в стороне.

Но он всегда вновь приходил к красавице Камале, постигал искусство любви, отправлял культ наслаждения, в котором более чем где-либо сливались воедино «отдавать» и «брать», разговаривал с нею, учился у нее, давал советы и получал оные. Она понимала его лучше, нежели когда-то Говинда, она больше походила на него.

Однажды он сказал ей:

— Ты как я, ты не такая, как большинство людей. Ты Камала, единственная и неповторимая, и в сердце твоем есть умиротворенное прибежище, в любое время ты можешь укрыться там и побыть наедине с собою — подобная возможность дарована и мне тоже. Немногие из людей обладают этим, а ведь могли бы обладать все.

— Не все люди наделены умом,— ответила Камала.

— Нет,— возразил Сиддхартха,— дело не в этом. Камасвами столь же умен, как я, однако не имеет прибежища в сердце своем. Зато оно есть у других, хотя по разуму они малые дети. Большинство людей, Камала, подобны сорванным листьям, которые порхают, и кружатся в воздухе, и трепещут, и падают наземь. Иные же, немногие, подобны звездам, их путь неизменен, никакой ветер им не страшен, у них в сердце и закон, и путь. Среди всех ученых и подвижников — а я знавал многих — лишь один был такого склада и отличался совершенством, никогда я не забуду его. Это — Готама, Возвышенный, провозвестник того самого учения. Тысячи учеников слышат каждый день его проповедь, следуют каждый час его наставлению, но все они — сорванные листья, нет у них в сердце учения и закона.

Камала смотрела на него с улыбкой.

— Опять ты говоришь о нем,— сказала она,— опять думаешь как самана!

Сиддхартха умолк, и они затеяли любовную игру, одну из трех или четырех десятков игр, знакомых Камале. Телом она была гибкая, как ягуар, как охотничий лук; кто обучался любви у нее, тот постигал многие услады, многие тайны. Долго играла она с Сиддхартхой, манила его, и отталкивала, и смиряла, и крепко сжимала, и радовалась его мастерству, пока он не был побежден и не лежал обок нее в изнеможении.

Гетера, склонясь над ним, долго смотрела ему в лицо, в утомленные глаза.

— Ты,— задумчиво произнесла она,— лучший возлюбленный, какого я видела. Ты сильнее других, гибче, податливее. Хорошо ты усвоил мое искусство, Сиддхартха. Я хочу от тебя ребенка, но потом, когда стану старше. И все-таки, мой дорогой, ты остался монахом-подвижником, все-таки ты не любишь меня, не любишь никого из людей. Ведь правда же?

— Быть может, и правда,— устало молвил Сиддхартха.— Я как ты. Ты тоже не любишь — иначе как бы могла ты заниматься искусством любви? Люди вроде нас, наверное, не умеют любить. Ребячливые люди умеют, и это их секрет.

Сансара *

Долго Сиддхартха вкушал наслаждения, жил мирской жизнью и, однако ж, не был с нею связан. Чувства, которые он умерщвлял в горячие годы саманства, вновь пробудились, он изведал богатство, изведал сладострастие, изведал власть; и все же в глубине души он долго еще оставался подвижником, это Камала, умница, правильно разглядела. Всегда жизнью его управляло искусство размышлять, ждать, поститься, и до сих пор мирской люд, ребячливый люд оставался ему чужд, равно как и он оставался чужд для них.

Шли годы; средь благоденствия Сиддхартха почти не ощущал их бега. Он разбогател, давно обзавелся собственным домом, и прислугой, и садом за пределами города, у реки. Люди любили его, приходили к нему, когда нуждались в деньгах и в совете, но близок ему не был никто, кроме Камалы.

То высокое и светлое чувство пробуждения, какое он изведал когда-то, на вершине юности, в дни после проповеди Готамы, после разлуки с Говиндой, то напряженное ожидание, то гордое одиночество без наставлений и без наставников, та покорная готовность слушать божественный голос в собственном своем сердце стали мало-помалу воспоминаниями, оказались преходящи; далеко и тихо журчал священный источник, который был когда-то совсем близко, журчал когда-то в нем самом. Правда, многое из того, что он воспринял от подвижников, чему научился у Готамы, перенял у отца своего, брахмана, еще долгое время сохранялось в нем: скромные потребности, радость размышления, часы медитации, тайное знание о самости, о вечном «я», каковое не есть ни плоть, ни сознание. Кое-что из этого в нем сохранилось, но одно за другим кануло на дно и покрылось пылью. Как гончарный круг, однажды приведенный в движение, еще долго вращается, лишь помалу, словно от усталости, теряя скорость, так и в душе Сиддхартхи еще долго вращалось колесо аскезы, колесо размышления, колесо распознания, вращалось оно и теперь, только очень медленно, как бы нерешительно, готовое вот-вот остановиться. Мало-помалу — подобно влаге, которая, проникая в омертвелый древесный пень, мало-помалу насыщает его и вызывает гниение,— мирская леность проникла в душу Сиддхартхи, мало-помалу напитала ее, наполнила тяжкой усталостью, усыпила. Зато ожили его чувства, многому научились, многое узнали.

Сиддхартха научился торговать, властвовать людьми, развлекать себя женщиной, научился носить красивую одежду, отдавать распоряжения челяди, купаться в благовонной воде. Он научился вкушать нежную, старательно приготовленную пищу: и рыбу, и мясо, и птицу, приправы и сласти,— и пить вино, приносящее вялость и забвение. Он научился играть в кости и в шахматы, любоваться танцовщицами, пользоваться паланкином, спать на мягком ложе. Но по-прежнему чувствовал свое отличие от других и превосходство над ними, по-прежнему смотрел на них с легкой насмешкой, с легким насмешливым презрением, тем самым, с каким подвижник относится к мирянам. Когда Камасвами хандрил, сердился, бывал в обиде, когда его мучили купеческие заботы, Сиддхартха неизменно взирал на это с насмешкой. Лишь помалу и незаметно, меж тем как время жатвы раз за разом сменялось сезоном дождей, насмешка его притомилась, поутихло чувство превосходства. Лишь помалу, все глубже утопая в роскоши, Сиддхартха и сам перенял кое-что от натуры ребячливых людей, крупицу их ребячливости и боязливости. И все же он завидовал им, завидовал тем сильнее, чем больше на них походил. Он завидовал одному-единственному, что было у них и чего он не имел,— той важности, какую они умудрялись придать своей жизни, пылу их радостей и страхов, пугливому, но сладкому счастью их вечной влюбленности. Ведь эти люди были постоянно влюблены — в себя, в женщин, в своих детей, в почести и деньги, в замыслы и надежды. А он не перенял у них этого, именно этого — ребячливой радости и ребячливого безрассудства; он перенял как раз неприятное, им презираемое. Все чаще утром после ночной пирушки он подолгу лежал в постели, чувствуя себя глупым и усталым. Случалось, он сердился и терял терпение, когда Камасвами надоедал ему своими заботами. Случалось, он слишком громко хохотал, когда проигрывал в кости. Его лицо по-прежнему было умнее и одухотвореннее, чем у других, однако ж смеялось оно редко и помалу одну за другой приобретало черты, которые сплошь да рядом обнаруживаешь в лицах богачей,— черты недовольства, хандры, дурного настроения, вялости, равнодушия. Помалу Сиддхартхой завладевала душевная болезнь богачей.

Словно дымка, словно легкий туман окутывала Сиддхартху усталость, мало-помалу с каждым днем густея, с каждым месяцем уплотняясь, с каждым годом тяжелея. Подобно тому как новое платье со временем ветшает, утрачивает свой красивый цвет, покрывается пятнами, мнется, обтрепывается по подолу и начинает тут и там являть глазу потертые места, так и новая жизнь, которую Сиддхартха начал, расставшись с Говиндой, ветшала, утрачивала с годами блеск и яркие краски, покрывалась складками и пятнами, а в глубине, сокрытые, но уже уродливо проглядывающие тут и там, поджидали разочарованность и омерзение. Сиддхартха этого не замечал. Он замечал только, что звонкий и уверенный голос сердца, некогда пробудившийся в нем и в лучшие его годы всегда им руководивший, стал молчалив.

Мирское полонило его, наслажденье, чувственность, леность, а в довершение всего еще и тот порок, который он считал до крайности глупым и более чем

презренным и постоянно высмеивал,— стяжательство. Собственность, имущество и богатство в конце концов полонили его, стали уже не просто игрой и безделицей, а оковами и тяжким бременем. Странным и лукавым путем угодил Сиддхартха в эти последние и самые гнусные путы — через игру в кости. С тех пор как перестал в сердце своем быть саманой, он начал со все большим азартом и страстью играть на деньги и драгоценности, в чем прежде участвовал лишь рассеянно, посмеиваясь, полагая это занятие привычкой ребячливых людей. Он стал опасным игроком, мало кто осмеливался играть против него, так высоки и дерзки были его ставки. Играл же он по сердечной необходимости: проигрывая и транжиря презренный металл, он испытывал злую радость и не мог отчетливее, глумливее выразить свое небрежение богатством, этим идолом купечества. Вот и играл по-крупному, без пощады, ненавидя себя, глумясь над собой, загребал тысячи, швырял тысячи на ветер, проигрывал деньги, проигрывал драгоценности, проигрывал загородный дом, отыгрывал и проигрывал вновь. Страх, жуткий, гнетущий страх, который снедал его, когда бросали кости, когда он холодел от боязни за свои высокие ставки,— этот страх он любил и жаждал вновь ощутить его, вновь разжечь, обострить до предела, ибо в одном только этом чувстве находил он подобие счастья, подобие хмеля, подобие возвышенной жизни среди своей жизни, пресыщенной, безразличной, пресной. И после каждого крупного проигрыша Сиддхартха алкал нового богатства, старательней занимался коммерцией, жестче требовал с должников, потому что хотел продолжать игру, хотел продолжать расточительство, выражая свое небрежение богатством. Он утратил хладнокровное отношение к убыткам и проигрышам, утратил терпеливость с забывчивыми плательщиками, доброжелательность к нищим, удовольствие от раздаривания и одалживания денег просителям. Со смехом проигрывая в кости зараз десятки тысяч, в коммерции он стал жестче и мелочнее и ночами порой видел во сне деньги! А стоило ему пробудиться от этих мерзких чар, увидеть в зеркале на стене спальни свое лицо, постаревшее и подурневшее, почувствовать прилив стыда и отвращения — и он опять бежал, бежал в новую азартную игру, в дурман сладострастия и вина, а оттуда назад в омут накопления и приобретательства. Этот бессмысленный круговорот утомил его, состарил, довел до болезни.

И однажды ему приснился вещий сон. Вечером он был у Камалы, в ее прекрасном саду. Они беседовали под сенью дерев, и Камала произнесла задумчивые слова, за которыми таились печаль и усталость. Она попросила рассказать о Готаме, слушала и не могла наслушаться, как чисты были его очи, как безмятежны и прекрасны уста, как добра его улыбка, как умиротворенна поступь. Долго пришлось Сиддхартхе рассказывать о Возвышенном Будде, и Камала со вздохом произнесла:

— Когда-нибудь, быть может скоро, и я последую за этим Буддой. Я подарю ему мой сад и обрету прибежище в его учении.

Затем, однако, она раздразнила Сиддхартху и в любовной игре с мучительной страстью привлекла его к себе, покусывая и заливаясь слезами, будто желала выдавить из этого тщеславного, эфемерного упоения последнюю сладкую каплю. Никогда Сиддхартха не сознавал с такой редкостной ясностью, насколько наслаждение сродни смерти. Потом он лежал обок Камалы, и лицо ее было совсем рядом, и под глазами и в уголках рта он как никогда ясно прочитал пугающие письмена — письмена тонких линий, легких морщинок, письмена, напоминающие об осени и старости, да и в своих черных волосах он тоже замечал седину. Усталость была написана на прекрасном лице Камалы, усталость от долгого пути, лишенного радостной цели, усталость, и начало увядания, и затаенный, еще невысказанный, а быть может, даже неосознанный испуг: ужас перед старостью, ужас перед осенью, ужас перед неизбежностью смерти. Вздохнув, он попрощался с нею, и душа его была полна недовольства и затаенного страха.

Ночь Сиддхартха провел дома за бокалом вина в обществе танцовщиц, с превосходством поглядывая на своих гостей, хотя ни в чем уже их не превосходил, выпил много вина и лег в постель далеко за полночь, усталый и все же возбужденный, близкий к слезам и отчаянию, и долго тщетно пытался заснуть, сердце его было переполнено безысходностью, которую он, казалось, уже не мог вынести, переполнено омерзением, которое пропитывало его, словно отвратительный тепловатый

вкус вина, слащавая пустая музыка, слишком елейная улыбка танцовщиц, слишком сладкий запах их грудей и волос. Но омерзительнее всего был он сам, его собственные душистые волосы, винный запах изо рта, вялая усталость и дряблость кожи. Подобно тому как человек, не в меру много съевший или выпивший, в муках исторгает все это из себя, радуясь облегчению, так Сиддхартха, лежа без сна, терзаясь чудовищным омерзением, мечтал отринуть эти услады, эти привычки, всю эту бессмысленную жизнь и самого себя. Только с рассветом, когда улица перед его городским домом начала пробуждаться, он смежил веки, на несколько секунд канул в полузабытье, в полудрему. И в эти секунды он увидел сон.

У Камалы в золотой клетке жила редкостная певчая птичка. Она-то Сиддхартхе и приснилась. В сновиденье эта птичка, звонко распевавшая по утрам, вдруг умолкла, а он, заметив ее молчание, подошел и заглянул в клетку: птичка, мертвая, окоченелая, лежала на полу. Он вынул ее из клетки, секунду подержал на ладони и выбросил вон, на улицу, и в тот же миг страшно испугался, и сердце его сжалось от боли, словно вместе с мертвой птичкой он отбросил от себя все доброе и ценное.

В испуге проснувшись, он почувствовал глубокую печаль. Никчемно, так казалось ему, никчемно и бессмысленно прожил он свою жизнь; ничего живого, ничего мало-мальски ценного, заслуживающего сохраниться, у него в руках не осталось. Он был одинок и пуст, точно потерпевший кораблекрушение на берегу.

Угрюмый, отправился Сиддхартха в один из своих садов, запер калитку, сел под манговым деревом, ощущая смерть в сердце и ужас в груди, сидел и чувствовал, как все в нем умирало, увядало, погибало. Постепенно он собрался с мыслями и еще раз умозрительно прошел весь свой жизненный путь, с первых дней, какие мог вспомнить. Когда же испытывал он счастье, чувствовал истинное блаженство? О да, несколько раз довелось ему пережить такое. В отрочестве, когда он удостаивался похвалы брахманов, когда, далеко опередив сверстников, с блеском читал священные стихи, вел диспуты с учеными мужами, прекрасно помогал в жертвоприношениях. Тогда сердце его полнилось счастьем и блаженством: «Перед тобою открыт путь призвания, тебя ожидают боги». И позднее, юношей, когда воспаряющая выше и выше цель всех помыслов выхватила его из великого множества жаждущих знания и увлекла за собою, когда он в мученьях бился над смыслом Брахмана, когда всякое обретенное знание лишь распаляло в нем новую жажду,— тогда, снедаемый этой мукой, этой жаждой, он чувствовал то же: «Дальше! Вперед! Ты призван!» Этому голосу он внимал, когда покинул родину и избрал жизнь подвижника, и вновь услышал его, когда ушел от аскетов к Совершенному, а затем и от него, в неизвестность. Как же давно он не слыхал этого голоса, как давно не поднимался на вершины духа, как уныл и ровен был его путь, долгие-долгие годы, без высокой цели, без жажды, без подъема, в довольстве мелких услад и, однако, в вечной неудовлетворенности! Долгие эти годы он, сам того не ведая, стремился стать таким же, как это множество окружающих, как эти дети, а притом жизнь его была куда более жалкой и нищей, чем их жизнь, ведь ни целей их, ни забот он не разделял, весь этот мир людей, подобных Камасвами, был для него только игрой, танцем, которым любуются со стороны, комедией. Лишь одна Камала была ему мила, лишь ею он дорожил — но так ли это теперь? Нужна ли она ему, нужен ли он ей? Не играют ли они в игру, которой нет конца? Надобно ли жить ради этого? Нет, не надобно! Эта игра зовется сансарой, игрою для детей, быть может, она и стоит того, чтобы сыграть в нее один, два, десять раз,— но ведь не бесконечно, вновь и вновь?

И тут Сиддхартха понял, что игра кончена, что он более не может в нее играть. Дрожь пробежала по его телу, и он почувствовал, как внутри у него что-то умерло.

Весь день просидел он под манговым деревом, вспоминая отца, вспоминая Говинду, вспоминая Готаму. Стоило ли покидать их, чтобы превратиться в этакого Камасвами? Пришла ночь, а он все сидел, и когда, подняв голову, увидел звезды, ему подумалось: «Вот я сижу под моим манговым деревом, в моем саду». Легкая улыбка скользнула по его губам — есть ли в этом необходимость? Справедливо ли это? Не глупая ли игра, что он владеет манговым деревом, владеет садом?

Вот и с этим покончено, и это в нем умерло. Он встал, попрощался с манговым деревом, попрощался с садом. Весь день он провел без пищи, и теперь чувствовал сильный голод и вспомнил свой городской дом, свои покои и ложе, стол с множеством яств. Устало улыбнувшись, он встряхнулся и попрощался со всем этим.

В ночной час покинул Сиддхартха свой сад, покинул город и никогда более туда

не возвращался. Его долго искали по приказу Камасвами, который решил, что он угодил в лапы разбойников. Камала не искала его. Узнав, что Сиддхартха исчез, она не удивилась. Разве она не ждала этого все время? Разве не был он подвижником-саманой, бесприютным странником? Отчетливее всего она почувствовала это при последнем свидании и теперь, несмотря на боль утраты, радовалась, что в тот последний раз так нежно привлекла его к своему сердцу, так полно предалась его власти, так им насытилась.

С первым известием об исчезновении Сиддхартхи она подошла к окну, где в золотой клетке держала редкостную певчую птичку. Отворила дверцу, вынула птичку из клетки и выпустила на волю. Долго смотрела она вслед улетающей птице. С этого дня она более никого не принимала, дом ее стоял на запоре. Через некоторое время, однако, она поняла, что после того свидания с Сиддхартхой забеременела.

На реке

Сиддхартха шел лесом, уже далеко от города, твердо зная только одно: возврата нет, та жизнь, какую он вел много лет, иссякла, кончилась, он высосал ее, упился ею до омерзения. Мертва была певчая птица в его груди. Глубоко увяз он в сансаре, омерзение и смерть впитывал он в себя со всех сторон, как губка впитывает воду, пока не наполнится до отказа. И он был до отказа полон досады, полон безысходности, полон смерти, в мире не существовало более ничего, что способно было привлечь его, порадовать, утешить.

Как страстно желал он не знать более ничего о себе, обрести покой, умереть. Пусть же ударит молния и убьет его! Пусть придет тигр и пожрет его! Пусть найдется вино, отравное зелье, что принесло бы ему дурман, забвенье и сон, от которого нет более пробуждения! Есть ли еще грязь, какой он не перепачкался, грех и безрассудство, каких он не совершал, душевное убожество, каким он себя не обременил? Возможно ли жить дальше? Возможно ли снова и снова вбирать воздух и выдыхать его, чувствовать голод, снова есть, снова спать, снова лежать с женщиной? Неужели этот круговорот не исчерпан для него и не закончен?

Сиддхартха вышел к большой реке в лесу, той самой, через которую его, молодого человека, шедшего от Готамы, переправил некогда перевозчик. У этой реки он остановился, в нерешительности остановился на берегу. Усталость и голод обессилили его, да и зачем ему идти дальше — куда, к какой цели? Целей более не было, ничего не было — только глубокая, мучительная жажда целиком стряхнуть с себя этот кошмарный сон, вытошнить это безвкусное вино, положить конец этой жалкой и позорной жизни.

Над берегом склонилось дерево, кокосовая пальма, к ее-то стволу прислонился Сиддхартха плечом, обхватил ствол рукой и глянул вниз, в зеленую воду, непрестанно струившуюся под ним, глянул и преисполнился могучего желания разжать хватку и утонуть в этой воде. Жуткая пустота смотрела ему навстречу из водного зеркала, давая ответ страшной пустоте в его душе. Да, он дошел до предела. Ему оставалось только уничтожить себя, сломать уродливое тело своей жизни, отшвырнуть его под ноги глумливо хохочущим богам. Вот она, великая тошнота, которой он жаждал: смерть, ломка формы, которую он ненавидел! Пусть рыбы сожрут его, этого пса Сиддхартху, этого безумца, эту испорченную, гнилую плоть, эту изнеженную, преступно исковерканную душу! Пусть рыбы и крокодилы сожрут его, пусть демоны разорвут его на куски!

С исказившимся лицом всматривался он в воду, видел свое отражение и плевал в него. Совершенно без сил он отнял руку от ствола и слегка повернулся, чтобы упасть отвесно, чтобы наконец утонуть. Закрыв глаза, он отдался приближению смерти.

И тут из дальних закоулков его души, из минувших времен усталой его жизни исторгся некий звук. Это было слово, слог, который он бездумно, запинаясь, проговорил себе под нос, давний зачин и исход всех брахманических молитв, священное *ом*, означающее «совершенство» или «преображение». И в тот миг, когда звук *ом* достиг уха Сиддхартхи, спящий дух его внезапно пробудился и осознал опрометчивость его поступков.

Глубокий испуг овладел Сиддхартхой. Вот, стало быть, как с ним обстоит, вот как низко он пал, как погряз в заблужденье,— ведь вконец потерял рассудок, если мог искать смерти, если в нем могло вырасти такое желание, такое ребячливое желание: обрести покой, уничтожив свою плоть! То, в чем не преуспели все муки недавних времен, все отрезвление, все отчаяние, свершил один этот миг, когда *ом* проник в его разум: он узнал себя в своей слабости и в своем заблужденье.

— *Ом!* — тихо произнес он.— *Ом!* — И вспомнил о Брахмане, вспомнил о несокрушимости жизни, снова вспомнил обо всем божественном, что предал забвению.

Но это был лишь миг, молниеносный проблеск. Сиддхартха опустился наземь подле кокосовой пальмы, положил голову на корень и погрузился в глубокий сон.

Глубок был его сон и свободен от грез, давно уже ему так не спалось. Час-другой спустя, пробудившись, он не мог отделаться от ощущения, будто прошло десять лет; Сиддхартха слушал тихий плеск воды, не ведая, где он и кто его сюда принес, потом открыл глаза, с изумлением увидел над собой небо и вспомнил, где он и как здесь очутился. Но ему потребовалось на это много времени, и минувшее представилось как бы подернутым дымкой, бесконечно чуждым, бесконечно далеким, бесконечно неинтересным. Он сознавал только, что прежнюю свою жизнь (в первую минуту эта прежняя жизнь явилась перед ним как очень далекое былое воплощение, как давнее предрожденье его теперешнего «я»),— что прежнюю свою жизнь он оставил, что, полный гадливости и отвращения, хотел вообще отринуть жизнь, но очнулся у реки, под кокосовой пальмой, со священным словом *ом* на устах, после чего уснул и теперь, пробудившись, новым человеком глядит на мир. Тихо произнес он слово *ом,* с которым засыпал, и показалось ему, будто весь его долгий сон был не что иное, как долгое, сосредоточенное повторение *ом,* мышление *ом,* погружение и полное растворение в *ом,* в безыменном, совершенном.

Все-таки до чего же дивный был сон! Никогда еще сон не освежал его так, не обновлял, не молодил! Может быть, он и правда умер, утонул и вновь родился в новом обличье? Но нет, он знал себя, знал свою руку и свои ноги, знал место, где сейчас лежал, знал это «я» в своей груди, этого Сиддхартху, упрямца, чудака, но тем не менее этот Сиддхартха преобразился, был обновленным, до странности отдохнувшим, до странности бодрым, радостным и любопытным.

Сиддхартха приподнялся и увидел перед собой незнакомца, монаха в желтом одеянье, с бритой головой, сидевшего в позе медитации. Он смотрел на этого человека, у которого не было ни волос на голове, ни бороды, и в скором времени узнал в монахе Говинду, друга своей юности. Говинду, который нашел прибежище у Возвышенного Будды. Говинда тоже постарел, но черты лица остались все те же, в них по-прежнему читались пылкая увлеченность, постоянство, искания и боязливость. Когда же Говинда, почувствовав его взгляд, открыл глаза и посмотрел на него, Сиддхартха понял, что Говинда не узнает его. Говинда обрадовался, что он не спит, должно быть, он давно сидел тут, ожидая его пробужденья, хоть и не ведал, кто он.

— Я спал,— сказал Сиддхартха.— А ты откуда взялся?

— Ты спал,— ответил Говинда,— а в местах, где полно змей и бродит лесное зверье, спать нехорошо. Я ученик Возвышенного Готамы, Будды, Шакьямуни, о господин, вместе с нашими я шел этой дорогой и увидел, как ты спишь в таком месте, где спать опасно. Вот почему я попробовал разбудить тебя, господин, но твой сон был очень глубок, и тогда я отстал от своих и сел подле тебя. А после, выходит, сам заснул, хотя собирался оберегать твой сон. Я плохо исполнил мою службу, усталость одержала надо мною верх. Но теперь ты проснулся, так позволь же мне уйти и догнать моих собратьев.

— Спасибо, самана, что ты оберегал мой сон,— молвил Сиддхартха.— Вы, ученики Возвышенного, очень добры. Ну что ж, теперь ты можешь уйти.

— Я ухожу, господин. Будь же всегда в добром здравии.

— Спасибо тебе, самана.

Говинда поклонился и сказал:

— Прощай.

— Прощай, Говинда,— ответил Сиддхартха.

Монах остановился.

— Позволь, господин! Откуда ты знаешь мое имя?

Сиддхартха смотрел на него с улыбкой.

— Я знал тебя, о Говинда, в хижине твоего отца и в школе брахманов, ты мне знаком и по жертвоприношениям, и по нашему странствию к подвижникам-аскетам, и по тому часу, когда в роще Джетавана ты выбрал своим прибежищем Возвышенного.

— Ты — Сиддхартха! — громко вскричал Говинда.— Теперь я узнал тебя и уже не понимаю, как мог я не узнать тебя сразу. Привет же тебе, Сиддхартха, велика моя радость вновь тебя повстречать!

— Я тоже рад нашей встрече. Ты оберегал мой сон, еще раз благодарю тебя за это, хотя страж мне был не нужен. Куда ты идешь, о друг мой?

— Никуда. Мы, монахи, всегда в пути, пока не начнется сезон дождей, странствуем из одной деревни в другую, живем по уставу, проповедуем ученье, собираем милостыню, продолжаем странствие. И так всегда. А ты, Сиддхартха, куда идешь ты?

И Сиддхартха молвил:

— Со мной обстоит точно так же, друг мой, как с тобою. Мой путь не ведет никуда. Я просто в пути. Просто странствую.

— Ты говоришь, что странствуешь, и я верю тебе,— сказал Говинда.— Но прости, Сиддхартха, с виду ты вовсе не похож на странника. У тебя одежды богача, у тебя сандалии аристократа, а твои волосы, пахнущие благовониями, вовсе не такие, как у странника, не такие, как у саманы.

— Что же, мой дорогой, ты весьма наблюдателен, все видит твой зоркий глаз. Но я ведь не говорил тебе, что я самана. Я сказал, что странствую. И это правда: я действительно странствую.

— Ты странствуешь,— сказал Говинда.— Но мало кто странствует в таких одеждах, мало кто — в таких сандалиях, мало кто — с такими волосами. Никогда я не встречал этаких странников, а ведь я странствую уже долгие годы.

— Я верю тебе, мой Говинда. Однако сегодня, сейчас, ты повстречал именно такого странника в таких сандалиях, в таких одеждах. Вспомни, мой дорогой, эфемерен мир воплощений, эфемерны, весьма эфемерны наши одежды, и красота наших волос, и сами наши волосы, и плоть. У меня одежды богача, ты верно разглядел. Я ношу их, потому что был богачом, и волосы мои причесаны, как у мирянина и сластолюбца, потому что я был одним из них.

— А теперь, Сиддхартха, кто ты теперь?

— Этого я не знаю, как не знаешь и ты. Я в пути. Я был богачом, но уже не богач, а кем я стану завтра, не знаю.

— Ты потерял свое богатство?

— Я потерял его, а может быть, оно — меня. Я лишился его. Быстро кружится колесо воплощений, Говинда. Где брахман Сиддхартха? Где подвижник Сиддхартха? Где богач Сиддхартха? Быстро меняется эфемерное, Говинда, ты это знаешь.

Долго смотрел Говинда на друга своей юности, с сомнением во взоре. Затем поклонился ему, как кланяются людям знатным, и пошел прочь своей дорогой.

С улыбкой на лице Сиддхартха глядел ему вслед, он все еще любил его, постоянного, боязливого. Да и возможно ли, чтобы в этот миг, в этот упоительный час после дивного сна, преисполненный *ом*, Сиддхартха не чувствовал любви? В том-то и заключалось волшебное превращение, происшедшее с ним во сне и благодаря *ом*,— он любил все, он был охвачен радостной любовью ко всему, что видел. И казалось ему, будто прежний, тяжкий его недуг в том и состоял, что он не мог любить ничего и никого.

С улыбкой на лице глядел Сиддхартха вослед уходящему монаху. Сон придал ему сил, но не утолил мучительного голода, ведь он уже два дня ничего не ел, а те времена, когда он был невосприимчив к голоду, давно миновали. Огорченно и все же со смехом вспомнил он те времена. Тогда, вспоминалось ему, он хвастался перед Камалой тремя уменьями, тремя благородными и всепобеждающими искусствами — постом, ожиданием, размышлением. Они были его имуществом, его мощью и силой, его надежной опорой; в тяжелые, кипучие годы юности изучил он эти искусства и ничего более. Теперь же они утратились, ни одно не мог он назвать своим — ни пост, ни ожидание, ни размышление. На самое жалкое променял он их, на самое преходящее — на чувственное наслаждение, и благополучие, и богатство! Странно все-таки ему жилось. И кажется, именно сейчас он и вправду стал ребячливым человеком.

Сиддхартха задумался о своем положении. Он с трудом собрался с мыслями; в сущности, ему вовсе не хотелось размышлять, но он принудил себя.

Теперь, думал он, когда все эти эфемернейшие вещи вновь ускользнули от меня, теперь я вновь стою под солнцем, как некогда стоял маленьким ребенком, ничто не принадлежит мне, я ничего не умею, я бессилен и неучен. Удивительно! Ныне, когда я уже немолод, когда волосы мои уже изрядно тронуты сединой, когда силы слабеют,— ныне я вновь начинаю с начала, с дитяти! Невольно он опять улыбнулся. Да, странная у него судьба! Он скатился вниз и теперь вновь стоял в миру нагой, и невежественный, и с пустотою внутри. Но это его нимало не огорчало, нет, напротив, он едва сдерживал смех — смех над собой, над этим странным безрассудным миром.

— Ты катишься вниз! — сказал он себе и рассмеялся, и только он это сказал, взгляд его упал на реку, и он увидел: река тоже катила свои волны вниз, все дальше вниз по течению, да еще и пела, и радовалась. Это пришлось ему по душе, он приветливо улыбнулся реке. Не в ее ли водах он хотел утопиться когда-то, сто лет назад, или все ему лишь пригрезилось?

И вправду удивительна была моя жизнь, думал он, на удивленье извилисты были ее пути. Отроком я имел дело только с богами и жертвами. Юношей — только с аскезой, размышлениями и медитацией, искал Брахман, почитал вечное в атмане. Молодым мужчиной я отправился следом за подвижниками, монахом жил в лесу, страдал от зноя и стужи, учился голодать, учил мое тело мертветь. Дивным образом открылось мне затем постиженье в проповеди великого Будды, я чувствовал, как знание о единстве мира кружит во мне, словно собственная моя кровь. Но и Будду, и великое знание я опять вынужден был оставить. Я ушел и учился у Камалы любовному наслаждению, учился у Камасвами торговать, копил деньги, расточал деньги, учился любить свою утробу, услаждать свои чувства. Многие годы понадобились мне, чтобы утратить дух, опять разучиться мыслить, забыть единство. Ведь я медленно, долгими извилистыми путями стал из мужчины ребенком, из мыслителя — ребячливым человеком, разве не так? И все же это был очень хороший путь, и все же птица в моей груди не умерла. Но что это был за путь! Я прошел через столько глупости, через столько порока, через столько заблуждений, через столько мерзости, и разочарования, и бедствий — только чтобы вновь стать ребенком и начать сначала. И так было правильно, сердце мое говорит «да», глаза смеются, глядя на это. Я должен был изведать отчаяние, я должен был опуститься до самой безрассудной из мыслей, до мысли о самоубийстве, чтобы получить в дар благостыню, чтобы вновь услышать *ом,* чтобы вновь по-настоящему уснуть и по-настоящему пробудиться. Я должен был стать глупцом и безумцем, чтобы вновь обрести в себе атман. Я должен был грешить, чтобы вновь стать способным к жизни. Куда еще приведет меня мой путь? Он прихотлив, этот путь, петляет, а может быть, идет по кругу. Пусть же идет как угодно, я пройду его.

Дивное веселье клокотало в груди Сиддхартхи, он чувствовал.

Откуда же, спросил он свое сердце, откуда в тебе такая радость? Наверно, она коренится в этом долгом, добром сне, который оказался для меня столь благотворен? Или в слове *ом,* произнесенном мною? Или в том, что я ускользнул, что состоялось мое бегство, что я наконец вновь свободен и стою под небесами, будто ребенок? О, какое благо — убежать, стать свободным! Как чист и прекрасен здешний воздух, как хорошо им дышится! Там, откуда я бежал, там все пропахло притираньями, пряностями, вином, изобилием, ленью. Как я ненавидел этот мир богачей, кутил, игроков! Как я ненавидел себя за то, что столь долго оставался в этом ужасном мире! Как я ненавидел себя, как обворовывал, отравлял, терзал, старил себя и злил! Нет, никогда более я не стану, как любил прежде, воображать себя мудрецом! Но этот поступок хороший и правильный, он мне по душе, в самом деле похвально, что теперь пришел конец былой ненависти к себе, безрассудной и пустой жизни! Хвала тебе, о Сиддхартха, за то, что после стольких лет нелепого безумия тебя вновь осенила мысль, и ты совершил поступок, и услышал пение птицы в твоей груди, и последовал за нею!

Так он хвалил себя, радовался себе, с любопытством прислушивался к своему желудку, в котором урчало от голода. Он чувствовал, что в последнее время, в эти последние дни вполне вкусил и выплюнул толику страдания, толику безысходности, пресытился ею до отчаяния и до смерти. Вот и хорошо. Ведь долго еще он бы мог

оставаться у Камасвами, получать деньги, тратить деньги, откармливать свою утробу и морить жаждой свою душу, долго еще мог бы жить в этой мягкой, устланной коврами прейсподней, если б не настал миг полной безутешности и отчаяния, грозный миг, когда он висел над водным потоком и готов был уничтожить себя. И он почувствовал это отчаяние, это глубочайшее омерзение и не поддался им; птица, радостный источник и голос в нем, была еще жива — потому-то он так ликовал, потому смеялся, потому сияло лицо его в обрамленье тронутых сединою волос.

«Хорошо,— думал он,— хорошо изведать на своем собственном опыте все, что надобно знать. Еще ребенком меня учили, что мирские услады и богатство не во благо. Я давно это знал — прочувствовал же только теперь. И отныне знаю это не только памятью, но и глазами, сердцем, желудком. И я счастлив, что знаю!»

Он долго размышлял о своем превращенье, внимал птице, что пела от радости. Разве ж не умерла в нем эта птица, разве не ощутил он ее смерть? Нет, что-то другое в нем умерло, что-то, уже давно стремившееся умереть. Не то ли самое, что он некогда, в горячие годы подвижничества, желал умертвить? Не было ли это его «я», маленькое, пугливое и гордое «я», с которым он воевал столько лет и оно вновь и вновь одерживало верх и после каждого умерщвленья вновь было тут как тут, воспрещало радость, чувствовало трепет? Не оно ли умерло наконец сегодня, здесь, в лесу, у этой прелестной реки? Не по причине ли этой смерти он был теперь, как дитя, полон доверия, полон бесстрашия, полон радости?

Теперь Сиддхартха догадывался и почему он в бытность свою брахманом и подвижником тщетно сражался с этим «я». Чрезмерное знание, слишком много священных стихов, слишком много жертвенных правил, чрезмерное умерщвление плоти, слишком много деяний и стремлений — вот что его сковывало! Он был исполнен высокомерия, всегда всех умнее, всех ревностнее, всегда на шаг впереди других, всегда осведомленный и одухотворенный, священнослужитель или мудрец. В это священное служенье, в это высокомерие, в эту одухотворенность схоронилось его «я», там оно сидело и росло, а он полагал, будто умерщвляет его постом и покаянием. Теперь-то он видел это, видел, что тайный голос был прав, что никакой наставник никогда бы не смог даровать ему избавленье. Поэтому он должен был уйти в мир, предаться усладам и власти, женщинам и деньгам, стать торговцем, игроком в кости, пьяницей и скрягой — покуда не умрет в нем священнослужитель и самана. Поэтому он должен был терпеть эти ужасные годы, терпеть омерзение, пустоту, бессмысленность унылой и потерянной жизни — до конца, до горького отчаяния, покуда не умрет и сластолюбец Сиддхартха, скряга Сиддхартха. И вот он умер, и новый Сиддхартха пробудился от сна. Он тоже состарится, он тоже когда-нибудь умрет, недолговечен Сиддхартха, недолговечно всякое воплощенье. Но сегодня он новый Сиддхартха, он молод, он дитя и полон радости.

Вот такие он думал думы, улыбаясь, прислушивался к своему желудку, благодарно слушал жужжанье пчелы. Весело смотрел он в речной поток, никогда прежде вода не нравилась ему так, никогда он не воспринимал голос и облик текучей воды так отчетливо и прекрасно. Река словно должна была сообщить ему что-то особенное, что-то, чего он пока не знает, что еще только ожидает его. В этой реке Сиддхартха хотел утопиться, в ней утонул сегодня старый, усталый, отчаявшийся Сиддхартха. А новый Сиддхартха чувствовал глубокую любовь к этому водному потоку и решил про себя, что не скоро покинет его.

Перевозчик

У этой реки я останусь, думал Сиддхартха, она ведь та самая, через которую я перебрался когда-то на пути к ребячливым людям, добрый лодочник перевез меня тогда, вот к нему я и пойду, от его хижины мой путь привел меня когда-то к новой жизни, которая теперь состарилась и умерла,— пусть же и нынешняя дорога, моя нынешняя новая жизнь начнется оттуда!

С нежностью он смотрел в водный поток, в прозрачную зелень, в хрустальные нити таинственного узора. Сияющие жемчужины поднимались из глубины, воздушные пузырьки безмятежно плыли по глади вод, отражая небесную синеву. Тысячью

глаз глядела на него река — зеленых глаз, и белых, и хрустальных, и небесно-голубых. Как он любил этот поток, как восхищался им, как был ему благодарен! В сердце он слышал голос, который пробудился вновь и говорил ему: люби эту реку! Останься подле нее! Учись у нее! О да, он хотел учиться у нее, хотел ее слушать. Кто поймет эту реку и ее тайны, тот — мнилось ему — поймет и многое другое, множество тайн, все тайны.

Сегодня же он увидел лишь одну-единственную из речных тайн, которая взяла его за душу. Он увидел: эта река бежала и бежала, бежала не останавливаясь, и все-таки оставалась тут, на месте, всегда и во все времена была та же и все-таки каждую секунду другая, новая! О-о, кто способен понять это, постигнуть! Он этого не понимал и не постигал, только чувствовал, как брезжит догадка, отдаленное воспоминание, божественный голос.

Сиддхартха встал, не в силах более выносить урчанье голода в своей утробе. И с воодушевленьем зашагал дальше по прибрежной тропе, навстречу потоку, слушая плеск воды, слушая урчащий голод у себя внутри.

Когда он вышел к переправе, лодка как раз была у причала, и стоял в ней тот же перевозчик, который некогда доставил за реку молодого саману; Сиддхартха узнал его, он тоже сильно постарел.

— Не перевезешь ли меня? — спросил Сиддхартха.

Перевозчик, удивленный тем, что такой благородный господин ходит здесь один и пешком, посадил его в лодку и оттолкнулся от берега.

— Прекрасную жизнь выбрал ты себе,— сказал пассажир.— Как прекрасно, наверное, изо дня в день жить у этих вод и плавать по ним.

С улыбкою раскачивался гребец — взад-вперед, взад-вперед.

— Да, господин, это прекрасно, ты прав. Но разве не всякая жизнь и не всякая работа прекрасны?

— Возможно. Однако я завидую тебе и твоей работе.

— Ах, тебе она разонравится, и очень скоро. Это неподходящее занятие для людей в богатом платье.

Сиддхартха рассмеялся.

— Нынче из-за этого платья на меня уже смотрели с недоверием. Не желаешь ли, перевозчик, принять от меня эти одежды, которые мне в тягость? Ибо не скрою, у меня нет денег заплатить за переправу.

— Господин шутит,— засмеялся перевозчик.

— Я не шучу, мой друг. Видишь ли, ты уже раз перевозил меня в своей лодке через эту реку даром. Перевези же и нынче, а в уплату возьми мою одежду.

— А ты, господин? Продолжишь свой путь без одежды?

— Ах, я бы с радостью никуда не уходил. Лучше всего, перевозчик, если бы ты дал мне старую повязку на бедра и взял меня в подручные, вернее, в ученики, ведь сначала я должен выучиться управлять лодкой.

Долго и пытливо смотрел на пришельца перевозчик.

— Теперь я узнаю тебя,— наконец сказал он.— Когда-то ты заночевал в моей хижине, давно это было, пожалуй, больше двух десятков лет назад, потом я отвез тебя за реку, и мы попрощались как добрые друзья. Ты же был саманой? А вот имени твоего я уже не помню.

— Зовут меня Сиддхартха, и я был саманой, когда мы виделись с тобою последний раз.

— Добро пожаловать, Сиддхартха. Меня зовут Васудева. Надеюсь, ты и сегодня будешь моим гостем, и заночуешь в моей хижине, и расскажешь мне, откуда ты пришел и отчего красивое платье так тяготит тебя.

Они доплыли до середины реки, и Васудева сильнее налег на весла, чтобы перебороть течение. Он спокойно работал своими крепкими руками, устремив глаза на нос лодки. Сиддхартха сидел, глядя на него, и вспоминал, как еще тогда, в последний день подвижничества, шевельнулась в его сердце любовь к этому человеку. С благодарностью принял он приглашение Васудевы. Когда они добрались до берега, он помог причалить лодку, после чего перевозчик позвал его в хижину, предложил хлеба и воды, и Сиддхартха с охотою поел и также с охотою отведал плодов манго, предложенных Васудевой.

Затем — день клонился к закату — они уселись на древесный ствол возле берега, и Сиддхартха рассказал перевозчику свою родословную и свою жизнь, какой он увидел ее нынче, в годину отчаяния. До глубокой ночи продолжался его рассказ.

Васудева слушал с большим вниманием. Все вбирал в себя его слух — родословную и детство, все ученье, все поиски, все радости и горести. Одной из величайших добродетелей перевозчика было это редкостное умение слушать. Он не говорил ни слова, а рассказчик чувствовал, как Васудева впитывает его слова, безмятежно, открыто, ожидая, и не упускает ни единого из них, и ни единого не ждет с нетерпением, не сыплет ни похвалами, ни упреками, только слушает. Сиддхартха чувствовал, какое счастье исповедаться такому слушателю, утопить в его сердце свою жизнь, свои искания, свои муки.

К концу же повести Сиддхартхи, когда он говорил о дереве подле реки и о своем глубоком паденье, о священном *ом* и как он после сна ощутил такую любовь к реке,— к концу этой повести перевозчик слушал с удвоенным вниманием, забыв обо всем, закрыв глаза.

А когда Сиддхартха умолк и надолго воцарилась тишина, Васудева сказал:

— Так я и думал. Река говорила с тобой. Тебе она тоже друг, с тобой она тоже говорит. Это хорошо, это очень хорошо. Оставайся со мною, друг мой Сиддхартха. Когда-то была у меня жена, ее постель была рядом с моей, но она давно уже умерла, давно я живу один. Живи теперь ты со мною, места и пищи нам обоим хватит.

— Спасибо,— сказал Сиддхартха,— спасибо тебе, я согласен. А еще спасибо за то, Васудева, что ты так хорошо слушал меня! Редко встречаются люди, которые умеют слушать, и я не встречал таких, кто бы умел слушать так, как ты. И этому я тоже выучусь у тебя.

— Выучишься,— отвечал Васудева,— но не у меня. Слушать меня научила река, у нее научишься и ты. Она, река, все знает, всему можно научиться у нее. Видишь, ты уже научился у воды, что стремиться вниз, погружаться на дно, искать глубины — дело благое. Богатый, благородный Сиддхартха станет гребцом, ученый брахман Сиддхартха станет перевозчиком — и об этом тоже сказала тебе река. Ты научишься у нее и другому.

И молвил Сиддхартха после долгого молчания:

— Чему другому, Васудева?

Васудева поднялся.

— Поздно уже,— сказал он,— пойдем-ка спать. Я не могу тебе поведать, что́ это, о друг мой. Но ты научишься, а может быть, тебе это уже известно. Видишь ли, я не ученый, не умею говорить, да и думать тоже не мастер. Я умею только слушать и быть набожным, вот и все. Умей я говорить и проповедовать, я бы, наверно, был мудрецом, а так я просто-напросто перевозчик, и мое дело — переправлять людей через эту реку. Многие тысячи перевез я на тот берег, и для всех для них моя река была не чем иным, как преградой на пути. Они держали путь за деньгами и по делам, на свадьбы и к святым местам, и река была им помехой, а перевозчик затем и был нужен, чтобы помочь им быстро одолеть эту преграду. Однако среди этих тысяч людей нашлись и такие — их было немного, четверо или пятеро,— для которых река перестала быть преградой, они услыхали ее голос, внимали ему, и река стала для них священной, как и для меня. Идем же отдыхать, Сиддхартха.

Сиддхартха остался у перевозчика и выучился управляться с лодкой, а когда перевозить было некого, он вместе с Васудевой трудился на рисовом поле, собирал хворост, рвал бананы. Он научился мастерить весла, и чинить лодку, и плести корзины, и все, чему он учился, радовало его, и быстро текли дни и месяцы. Многому научил его Васудева, но куда большему — река. У нее он учился непрестанно. И прежде всего учился слушать, внимать с кротким сердцем, с открытой, полной ожидания душою, бесстрастно, безмятежно, без предрассудков и предубеждений.

Тихо и мирно жил он обок Васудевы, и по временам они обменивались словами, немногими и тщательно продуманными. Васудева был не охотник до разговоров, редко удавалось Сиддхартхе склонить его к беседе.

— Ты тоже узнал от реки секрет, что время не существует? — так спросил однажды Сиддхартха.

Лицо Васудевы озарила светлая улыбка.

— Да, Сиддхартха,— ответил он.— Ты ведь имеешь в виду, что каждое мгновенье река находится повсюду — у истока и устья, у водопада, у переправы, на быстрине, в море, в горах,— повсюду, каждое мгновенье, и что для нее существует лишь настоящее и ни малейшей тени грядущего?

— Верно,— сказал Сиддхартха.— И когда я постиг это, то посмотрел на свою жизнь, и она тоже была рекою, и отрока Сиддхартху отделяла от мужчины Сиддхартхи и от старца Сиддхартхи лишь тень, а не реальность. И прежние рождения Сиддхартхи тоже не были прошлым, а смерть его и возвращенье к Брахме не были грядущим. Ничего не было, ничего не будет; все живо здесь и сейчас.

Сиддхартха говорил с восторгом, глубоко осчастливило его это озарение. О, разве все страданье — это не время, разве все самоистязанье и страх — это не время, разве все тяжкое, все враждебное в мире не исчезает побежденное, сто́ит лишь победить время, отрешиться в мыслях от времени? Восторг звучал в голосе Сиддхартхи. Васудева же с лучезарной улыбкой согласно кивнул, погладил плечо Сиддхартхи, вернулся к своей работе.

А в другой раз, когда в пору дождей река вздулась и катила свои воды с могучим шумом, Сиддхартха сказал:

— Не правда ли, о друг мой, у реки множество, великое множество голосов? Это и голос царя, и воина, и быка, и ночной птицы, и роженицы, и воздыхателя, и еще тысячи иных голосов...

— Правда,— кивнул Васудева,— в ее голосе слились голоса всех существ.

— А ты знаешь,— продолжал Сиддхартха,— какое слово произносит она, если тебе удается разом услышать все десять тысяч ее голосов?

Счастьем и радостью осветилось лицо Васудевы, он наклонился к Сиддхартхе и шепнул ему на ухо священное *ом*. И сам Сиддхартха тоже слышал именно это слово.

И раз от разу улыбка Сиддхартхи все больше походила на улыбку перевозчика — почти столь же лучезарная, почти столь же пронизанная счастьем, столь же сияющая из тысяч мелких морщинок, столь же ребячливая, столь же старческая. Многие из проезжающих, видя этих двух перевозчиков, принимали их за братьев. Вечерами они часто сидели возле берега на упавшем стволе, молчали, внимая реке, что была для них не рекою, а голосом жизни, голосом бытия, голосом вечного становленья. И порою оба, слушая реку, думали об одном и том же: о позавчерашнем разговоре, о тех из проезжающих, чей облик и участь их заинтересовали, о смерти, о своем детстве,— и в тот миг, когда река говорила им что-то доброе, они смотрели друг на друга, думая в точности об одном, счастливые одним ответом на один и тот же вопрос.

От переправы и от обоих перевозчиков исходило нечто вполне ощутимое для иных проезжающих. Бывало, глянув в лицо кому-то из перевозчиков, проезжающий начинал рассказывать свою жизнь — делился горестями, признавался в дурных поступках, просил совета и утешения. Бывало, иной спрашивал позволения остаться с ними на вечер и послушать реку. Бывало, являлись и любопытные, проведавшие, что, мол, у здешней переправы живут то ли два мудреца, то ли два волшебника, то ли два святых. Эти любопытные задавали множество вопросов, но ответов не получали и перед собою видели не волшебников, не мудрецов, а двух приветливых старичков, вроде бы немых, странноватых и не в своем уме. И любопытные смеялись и толковали между собой о том, до чего же все-таки бездумно и легковерно распространяет народ такие пустые слухи.

Годы шли, и никто их не считал. И вот однажды явились странствующие монахи, последователи Готамы, Будды, и попросили перевезти их через реку, от них-то перевозчики и узнали, что монахи спешно возвращаются к своему великому учителю, ибо разнеслась весть, будто Возвышенный смертельно болен и скоро умрет последней человеческой смертью, дабы обрести спасение. Немного погодя пришла новая группа монахов, за ней еще одна, и как монахи, так и большинство других проезжающих и путников только и говорили что о Готаме и близкой его кончине. И подобно тому как люди, словно муравьи, отовсюду и со всех сторон стекаются под знамена войны или на коронацию, так все они, будто зачарованные, тянулись туда, где ожидал свою смерть великий Будда, где случится необычайное и великий Совершенный всех времен отойдет в лучший мир.

Множество раз вспоминал в ту пору Сиддхартха умирающего мудреца, великого учителя,— ведь это *его* голос наставлял народы и пробудил сотни тысяч, *его* голосу внимал некогда и сам Сиддхартха, в *его* священный лик благоговейно смотрел. С кроткой радостью вспоминал он его, явственно видел перед собою его путь к совершенству и улыбался, перебирая в памяти слова, которые некогда,

в юности, говорил Возвышенному. Теперь эти слова казались ему горделивыми и назидательными, с улыбкой вспоминал он о них. Давным-давно уже утратилось чувство отъединенности от Готамы, учение которого он все же так и не смог принять. Нет, кто подлинно ищет, подлинно желает найти, тот не может принять никакого учения. Тот же, кто нашел, может одобрить любое, да-да, любое учение, любой путь, любую цель, ведь ничто более не отъединяет его от тысяч и тысяч других, живущих в вечном, дышащих божественным.

В один из этих дней, когда столь много паломников стремилось к умирающему Будде, отправилась к нему и Камала, некогда прекраснейшая из куртизанок. Давным-давно уже оставила она прежнюю жизнь, подарила свой сад монахам Готамы, обрела прибежище в учении, стала подругой и благодетельницей странников. Услышав о близкой смерти Готамы, она вместе с маленьким сыном Сиддхартхой собралась в дорогу, в простом платье, пешком. Вместе с сыночком шла она по берегу реки; но мальчик скоро устал, запросился домой, потребовал отдыха и еды, раскапризничался и захныкал. Камале пришлось часто останавливаться, ведь он привык ставить на своем, и она кормила его, успокаивала и даже ругала. Он не понимал, зачем мать взяла его с собой в это утомительное и печальное странствие в незнакомое место, к чужому человеку — святому, который лежал при смерти. И пусть себе умирает — что мальчику до этого?

Путники были уже недалеко от перевоза Васудевы, когда маленький Сиддхартха вновь заставил мать устроить привал. Да и она, Камала, тоже утомилась и, пока мальчик жевал банан, села на землю, прикрыла глаза и замерла. Как вдруг она жалобно вскрикнула, мальчик испуганно посмотрел на мать и увидел, что лицо ее выбелено ужасом, а из-под платья выскользнула черная змейка — она ужалила Камалу.

Теперь оба они заторопились дальше, чтобы добраться до людей, и дошли до самой почти переправы, и там, не в силах продолжить путь, Камала опустилась наземь. Мальчик заплакал, закричал, целуя и обнимая мать, и она тоже начала вместе с ним громко звать на помощь; наконец зов их достиг слуха Васудевы, который стоял у причала. Он бросился к ним, подхватил женщину на руки и отнес в лодку; мальчик был рядом, и скоро они очутились в хижине, где Сиддхартха в это время разводил огонь. Подняв глаза, он сперва увидел лицо мальчика, которое странно всколыхнуло память, напомнило о чем-то забытом. Потом он увидел Камалу и тотчас узнал ее, хотя она в беспамятстве лежала на руках лодочника, и понял Сиддхартха, что о забытом ему напомнило лицо собственного сына, и сердце в его груди встрепенулось.

Место укуса промыли, однако оно уже почернело, а тело женщины распухло; когда ей дали целебное питье, сознание вернулось; она лежала в хижине на постели Сиддхартхи, и, склонясь над нею, стоял Сиддхартха, который некогда так сильно ее любил. Ей казалось, будто она грезит, с улыбкой смотрела она в лицо друга и лишь медленно, с трудом уяснила свое положение, вспомнила об укусе, испуганно позвала мальчика.

— Он здесь, с тобой, не тревожься,— сказал Сиддхартха.

Камала смотрела ему в глаза. Потом заговорила с усилием, яд цепенил ее язык.

— Ты постарел, мой дорогой,— сказала она,— поседел. Но как похож на молодого саману, который некогда без одежды, с запыленными ногами явился в моем саду. Ты похож на него куда больше, нежели когда покинул меня и Камасвами. Глаза твои стали как у него. Ах, я тоже постарела, очень постарела... ты узнал ли меня?

Сиддхартха улыбнулся.

— Тотчас же, тотчас узнал я тебя, Камала, моя дорогая.

Камала показала на мальчика и прошептала:

— А его ты тоже узнал? Он твой сын.

Ее глаза помутнели и закрылись. Мальчик плакал, Сиддхартха посадил его на колени — пусть плачет,— погладил по волосам и, глядя на это детское лицо, вспомнил брахманическую молитву, которую сам учил когда-то маленьким мальчиком. Медленно, нараспев начал он ее читать, из прошлого, из детства текли к нему слова. И под этот напев мальчик успокоился, только всхлипнул еще раз-другой и наконец уснул. Сиддхартха уложил его на постель Васудевы. Васудева, стоя у очага, варил рис. Сиддхартха посмотрел на него, и он с улыбкой ответил на этот взгляд.

— Она умрет,— тихо молвил Сиддхартха.

Васудева кивнул, на его добром лице плясал отсвет огня.

Еще раз очнулась Камала. Боль исказила ее черты, Сиддхартха читал страданье на ее губах, на побелевших ланитах. Читал безмолвно, внимательно, терпеливо, погрузившись в страданье. Камала почувствовала это, ее взор искал его глаза.

И, глядя на него, она сказала:

— Теперь я вижу, твои глаза тоже изменились. Стали совсем другими. Отчего же я все-таки знаю, что ты Сиддхартха? Словно ты — и не ты.

Сиддхартха не сказал ни слова, только безмолвно глядел ей в глаза.

— Ты достиг этого? — спросила она.— Обрел мир?

Он улыбнулся и положил свою руку на ее.

— Я вижу,— сказала она,— вижу. И я тоже обрету мир.

— Ты обрела его,— шепотом вымолвил Сиддхартха.

Камала неотрывно смотрела ему в глаза. Она думала о том, что шла поклониться Готаме, увидеть лик Совершенного, вдохнуть его мир, а нашла — его, и это хорошо, так же хорошо, как если б она увидела Готаму. Она хотела сказать ему об этом, но язык уже не слушался ее. Молча смотрела она на него, и он видел, как жизнь угасает в ее глазах. Когда последняя боль переполнила и остекленила ее взор, когда последняя дрожь пробежала по ее членам, он закрыл ей веки.

Долго сидел он, глядя в навек уснувшее лицо. Долго всматривался в ее рот, старый, усталый рот с тонкими теперь губами, и вспоминал, что некогда, вешней порою жизни, сравнивал этот рот со свежей смоквой. Долго сидел он, читая в бледном лике, в усталых морщинах, насыщался этим зрелищем, видел собственное свое лицо таким же белым, таким же потухшим и одновременно видел свое лицо и ее молодыми, с алыми губами, с горящим взором, и чувство настоящего и одновременности, чувство вечности пронизало все его существо. Глубоко, глубже, чем когда-либо, ощутил он в этот час несокрушимость всякой жизни, вечность всякого мгновенья.

Когда он поднялся, Васудева уже приготовил для него рис. Но Сиддхартха не стал есть. В хлеву, где у них была коза, старики постелили соломы, и Васудева улегся спать. А Сиддхартха вышел на улицу и всю ночь просидел перед хижиной, внимая реке, купаясь в волнах минувшего, объятый и омытый сразу всеми временами своей жизни. Но изредка он вставал, подходил к двери хижины и слушал, спит ли мальчик.

Рано утром, еще до восхода солнца, Васудева вышел наружу и, подойдя к другу, сказал:

— Ты не спал.

— Да, Васудева. Я сидел тут, слушал реку. Много поведала она мне, до краев переполнила благотворной мыслью, мыслью единства.

— Ты изведал страданье, Сиддхартха, однако я вижу, печаль не пришла в твое сердце.

— Нет, мой дорогой, отчего мне печалиться? Я был богат и счастлив, а теперь стал еще богаче и счастливее. Мне дарован сын.

— И для меня твой сын большая радость. Ну а теперь, Сиддхартха, давай-ка возьмемся за работу, много нам нужно сделать. Камала умерла на той же постели, на которой некогда умерла моя жена. И погребальный костер Камалы мы сложим на том же холме, на котором я некогда сложил погребальный костер для моей жены.

Мальчик все спал, а они тем временем сложили погребальный костер.

Сын

Испуганный, плачущий, смотрел мальчик на погребенье матери, хмурый и испуганный, слушал Сиддхартху, когда тот назвал его сыном и сказал, что рад предложить ему кров у себя, в хижине Васудевы. Бледный, он целыми днями сидел у могильного холма, есть отказывался, замыкал свой взор и свое сердце, сопротивлялся и противоборствовал судьбе.

Сиддхартха жалел его и не трогал, уважая скорбь ребенка. Сиддхартха понимал, что сын не знает его и не может любить так, как любят отца. Мало-помалу он

разглядел и понял, что одиннадцатилетний мальчик — балованный маменькин сынок и воспитан в привычке к богатству, приучен к изысканной пище, к мягкой постели, привык командовать слугами. Сиддхартха понял, что безутешный баловень не способен сразу и по доброй воле примириться с чужбиной и скудостью. Он не принуждал мальчика, делал за него кой-какую работу, постоянно выбирал ему лучшие кусочки. И надеялся исподволь, благожелательностью и терпением, завоевать его.

Богатым и счастливым назвал он себя, когда мальчик пришел к нему. Но время текло, а мальчик оставался отчужденным и мрачным, сердцем был заносчив и упрям, никакой работы делать не желал, к обоим старикам относился без всякого почтения, обрывал плоды с фруктовых деревьев Васудевы, и Сиддхартха начал понимать, что вместе с сыном пришли к нему не счастье и мир, а страдания и заботы. Но он любил мальчика, и куда милее были ему страдания и заботы любви, нежели счастье и радость без ребенка.

С тех пор как в хижине появился юный Сиддхартха, старики поделили между собой работу. Васудева опять в одиночку трудился на переправе, а Сиддхартха, чтобы не разлучаться с сыном, работал в хижине и в поле.

Долгое время, долгие месяцы ждал Сиддхартха, что сын поймет его, примет его любовь, а быть может, и ответит на нее. Долгие месяцы ждал Васудева, глядя на них, ждал и безмолвствовал. Однажды, когда младший Сиддхартха опять нещадно мучил отца упрямством и капризами, да еще и расколотил обе рисовые плошки, Васудева вечером отвел друга в сторону и завел с ним разговор.

— Прости меня,— сказал он,— я говорю с тобой из добрых побуждений. Я вижу, что ты себя мучаешь, вижу, что ты огорчен. Твой сын, дорогой мой, внушает тебе тревогу, равно как и мне тоже. Этот птенец привык к другой жизни, к другому гнезду. Он не бежал богатства и города, как ты, из отвращения и досады, он оставил все это против своей воли. Я спрашивал реку, о друг мой, много раз спрашивал. Но река смеется, насмешничает надо мной, насмешничает над нами обоими, покатывается со смеху над нашей дуростью. Вода стремится к воде, юность стремится к юности, твой сын очутился в таком месте, где он не может плодотворно развиваться. Спроси и ты реку, послушай и ты ее!

Огорченно глядел Сиддхартха в его доброе лицо, где среди множества морщин неизменно жила безмятежная ясность.

— Разве я могу расстаться с ним? — тихо, пристыженно спросил он.— Дай мне еще хоть немного времени, дорогой мой! Видишь, я борюсь за него, стараюсь завоевать его сердце, любовью и добрым терпением хочу взять его в полон. Когда-нибудь река заговорит и с ним, он тоже взыскан.

Улыбка Васудевы расцвела еще ярче.

— О да, он тоже взыскан, ему тоже дарована вечная жизнь. Но разве мы — ты и я — знаем, чем он взыскан, какой путь ему уготован, какие дела, какие страдания? Немало страданий ожидает его, ведь сердцем он заносчив и жесток, такие поневоле много страдают, делают много ошибок, совершают много несправедливостей, обременяют себя многими грехами. Скажи, мой дорогой: ты не строг в воспитании сына? Не принуждаешь мальчика? Не бьешь? Не наказываешь?

— Нет, Васудева, ничего этого я не делаю.

— Я так и знал. Ты не принуждаешь его, не бьешь, не командуешь им, ибо ты понимаешь: мягкость сильнее строгости, вода сильнее камня, любовь сильнее принуждения. Очень хорошо, хвалю тебя. Но не заблуждаешься ли ты, полагая, что не принуждаешь его, не наказываешь? Разве же ты не опутываешь его цепями твоей любви? Не смущаешь его каждодневно, не затрудняешь ему жизнь твоей добротой и терпением? Не принуждаешь его, мальчика своевольного и балованного, ютиться в хижине с двумя стариками, которые рады питаться одними бананами и уже рис и тот считают лакомством; и мысли их он перенять не может, и сердце у него бьется не так, как их старые безмятежные сердца? Разве же все это не принуждение для него, не наказание?

Ошеломленно потупил Сиддхартха свой взор. И тихо спросил:

— Так что же мне, по-твоему, делать?

И отвечал Васудева:

— Отведи его в город, в дом его матери; слуги, наверно, еще там, передай его им. А если там никого не осталось, отведи его к наставнику, не ради ученья, а чтобы

он был вместе с другими мальчиками и девочками в том мире, которому он принадлежит. Ты никогда об этом не думал?

— Ты читаешь в моем сердце,— печально молвил Сиддхартха.— Я много раз думал об этом. Но как, как мне отдать в этот мир мальчика, у которого и без того нет в сердце кротости? Не станет ли он кичлив, не погрязнет ли в удовольствиях и власти, не повторит ли всех заблуждений своего отца, не потеряется ли навек в сансаре?

Ярко вспыхнула перевозчикова улыбка; он легонько коснулся плеча Сиддхартхи и сказал:

— Спроси у реки, друг мой! Услышь, как она смеется над этим! Ты что же, всерьез думаешь, будто делал свои глупости, чтоб избавить от них сына? И разве ты способен защитить своего сына от сансары? Интересно, каким образом? Проповедью, молитвой, предостережением? Дорогой мой, ты что же, совсем забыл ту историю, ту поучительную историю о сыне брахмана Сиддхартхе, которую некогда поведал мне вот на этом самом месте? Кто уберег подвижника Сиддхартху от сансары, от греха, от алчности, от глупости? Разве набожность отца, предостережения наставников, разве собственные знания, собственные поиски смогли уберечь его? Какой отец, какой наставник мог защитить его так, чтобы не прожил он своей жизни, не замарал себя жизнью, не взвалил на свои плечи бремя вины, не испил своими устами горькую чашу, не отыскал свой собственный путь? Неужели, мой дорогой, ты полагаешь, что хоть кому-то удастся этого избежать? К примеру, твоему сыночку: потому что ты любишь его, потому что всей душою желаешь избавить его от страданий, от боли и разочарования? Увы! Ты можешь умереть за него хоть десять раз — от судьбы ты его тем нимало не избавишь.

Еще никогда Васудева не произносил так много слов. Сердечно поблагодарил его Сиддхартха, печальный ушел в хижину, долго не мог заснуть. Васудева не сказал ему ничего нового, обо всем об этом он уже и сам думал, все это он уже знал. Но он не мог на деле осуществить это знание, сильнее знания была его любовь к мальчику, сильнее — его нежность, его страх потерять сына. Разве он когда-нибудь привязывался к чему-то вот так, всем сердцем, разве любил когда-нибудь другого человека вот так — слепо, мучительно, безысходно и все же счастливо?

Сиддхартха не мог последовать совету друга, не мог отдать сына. Он позволял мальчишке командовать собой, помыкать собой. Молчал и ждал, день за днем сызнова начиная безмолвную битву доброжелательности, беззвучную войну терпения, и Васудева тоже молчал и ждал, доброжелательно, мудро, терпеливо. В терпении оба они были мастера.

Однажды, когда лицо мальчика очень напомнило Камалу, в памяти Сиддхартхи вдруг сама собой всплыла фраза, давным-давно, в пору юности, сказанная Камалой. «Ты не умеешь любить»,— сказала она ему тогда, и он признал ее правоту и сравнил себя со звездою, а ребячливых людей — с сорванными листьями, но все же ощутил в тех словах укор. Он и вправду никогда не мог безоглядно увлечься другим человеком, отдаться ему всем своим существом, забыть себя, совершать ради него безумства любви, никогда он этого не умел и ведь считал тогда, что именно в этом и состоит его огромное отличие от ребячливых людей. Теперь же, с того дня как здесь появился его сын, теперь и он, Сиддхартха, окончательно стал ребячливым человеком, страдая из-за человека, любя человека, безоглядно предавшись любви, ставши от любви безумцем. Теперь и он пусть поздно, а все же испытывал эту страсть, самую могучую из всех и самую необыкновенную, терзался ею, и терзался жестоко, а все же был на верху блаженства, обновленный, обогащенный.

Конечно, он сознавал, что эта любовь, слепая любовь к сыну — страсть, нечто сугубо человеческое, сансара, мутный источник, темная вода. И однако — это он тоже сознавал,— она не была никчемна, она была необходима, шла из глубин собственного его существа. И эту усладу нужно было вкусить, и эту боль изведать, и эти безумства совершить.

Сын между тем позволял ему совершать безумства, позволял ухаживать за собой, каждодневно толкал своими капризами на унижения. В этом отце не было ничего достойного восхищения и ничего внушающего страх. Он был хороший человек, этот отец, хороший, добрый, мягкий, пожалуй, даже весьма кроткий, а пожалуй что и святой, но мальчика всеми этими качествами не завоюешь. Скучен

был ему этот отец, державший его в плену здесь, в жалкой своей хижине, ах как скучен, а то, что на любое озорство он отвечал улыбкой, на любую грубость — приветливым словом, на любую злую выходку — добротой, казалось юному Сиддхартхе лицемерной хитростью и вызывало ненависть. Мальчик предпочел бы угрозы и жестокие побои.

И вот настал день, когда он решил бежать и открыто восстал против отца. Тот дал ему поручение, послал за хворостом. Но мальчик не вышел из хижины, упрямый и разъяренный, не двинулся с места, затопал ногами, сжал кулаки и вне себя от бешенства выплеснул в лицо родителю всю свою ненависть и презрение.

— Сам иди за своим хворостом! — кричал он с пеной у рта.— Я тебе не батрак! Знаю ведь, ты меня не побьешь, духу не хватит; знаю, ты все время норовишь наказать меня и унизить своей кротостью и снисходительностью. Тебе хочется, чтобы я стал таким, как ты, кротким, мягким, мудрым! А я — слышишь? — я, назло тебе, лучше стану разбойником с большой дороги и убийцей и попаду в ад, но таким, как ты, не буду! Я тебя ненавижу, и, будь ты хоть десять раз любовник моей матери, мне ты не отец!

Гнев и ярость кипели в нем, выплескивались на отца сотнями запальчивых и злобных слов. Потом мальчик бросился вон из хижины и вернулся только поздно вечером.

А наутро он исчез. Исчезла и маленькая, сплетенная из двухцветного лыка корзинка, в которой лодочники хранили медные и серебряные монеты, полученные в уплату за перевоз. И лодки тоже не было, Сиддхартха увидел ее на том берегу. Мальчик сбежал.

— Надо идти за ним,— сказал Сиддхартха, безутешный после вчерашних оскорбительных речей сына.— Нельзя ребенку одному ходить по лесу. Он погибнет. Надо построить плот, Васудева, и переплыть через реку.

— Плот мы построим,— сказал Васудева,— чтобы забрать лодку, которую увел мальчишка. А его тебе лучше отпустить, друг мой, он уже не дитя, справится. Он ищет дорогу в город, и он прав, не забывай. Он делает то, что ты сделать опоздал. Он печется о себе, идет своим путем. Ах, Сиддхартха, я вижу, как ты страдаешь, но твоя боль смехотворна, и скоро ты сам над нею посмеешься.

Сиддхартха не ответил. Он уже взял в руки топор и принялся строить бамбуковый плот, а Васудева помогал ему связывать стволы травяными веревками. Затем они поплыли через реку, плот сильно снесло, и на том берегу пришлось тащить его вверх по течению.

— Зачем ты прихватил с собой топор? — спросил Сиддхартха.

И Васудева ответил:

— А что, если весло потерялось?

Сиддхартха, однако же, понимал, о чем думал его друг. Он думал, что мальчик мог выбросить весло или сломать его — в отместку или чтоб помешать им устремиться в погоню. И действительно, весла в лодке не было. Васудева показал на дно лодки и с улыбкой посмотрел на друга, словно говоря: «Разве ты не видишь, что́ хочет сказать тебе сын? Разве не видишь, что он не желает погони?» Но сказал он это безмолвно. Просто принялся мастерить новое весло. Сиддхартха же распрощался с ним и пошел искать беглеца. Васудева ему не препятствовал.

Долго шагал Сиддхартха по лесу, и вдруг подумалось ему, что поиски бесполезны. Либо — так размышлял он — мальчик далеко опередил его и уже добрался до города, либо еще в пути, но прячется от него, от преследователя. Продолжив свои размышления, он обнаружил, что вовсе не тревожится о сыне и в глубине души сознает: мальчик не погиб и в лесу никакая опасность ему не грозит. И все-таки он без отдыха спешил вперед, уже не затем, чтобы спасти сына, а лишь из потребности хотя бы еще раз увидеть его. И пришел Сиддхартха в город.

В предместье, выйдя на широкую улицу, он остановился у ворот прекрасного сада, некогда принадлежавшего Камале; именно здесь он некогда впервые увидел ее паланкин. Минувшее ожило в его душе, вновь увидел он себя, молодого, бородатого, нагого саману с пыльными волосами. Долго стоял Сиддхартха, глядя сквозь открытые ворота в сад, где под сенью прекрасных деревьев прогуливались монахи в желтых одеждах.

Долго стоял он, погруженный в размышления, созерцая картины своей жизни, внимая своей истории. Долго глядел он на монахов и видел на их месте молодого

Сиддхартху и юную Камалу, гуляющих под высокими деревьями. Как наяву видел он себя — вот он принимает угощенье Камалы, вот впервые получает ее поцелуй, вот горделиво и пренебрежительно вспоминает свое брахманское происхождение, вот горделиво и алчно окунается в мирскую жизнь. Он видел Камасвами, видел прислужников, пиры, игроков в кости, музыкантов, видел певчую пташку в клетке у Камалы, переживал все это вновь, дышал сансарой, вновь был стар и утомлен, вновь чувствовал омерзение, вновь чувствовал желанье покончить с собой, вновь упивался священным *ом*.

И здесь, у ворот сада, Сиддхартха наконец понял все безрассудство потребности, приведшей его в эти места, понял, что не способен помочь сыну, что не вправе любить его. Глубоко в сердце, точно рану, чувствовал он любовь к беглецу и в то же время сознавал, что рана дарована ему не затем, чтобы ее бередить, нет, ей назначено обернуться цветком и сиять.

В этот час рана еще не распустилась цветком, еще не сияла, и это печалило его. Вместо заветной цели, которая призвала его сюда вслед за беглецом, теперь зияла пустота. Печальный, опустился он наземь, чувствуя, как что-то в сердце у него умирает, не видя более ни радости, ни цели. Он сидел в глубочайшей задумчивости и ждал. Этому, и только этому, научился он подле реки: ждать, быть терпеливым, слушать. И он сидел в дорожной пыли и слушал, слушал свое сердце, его усталые, печальные удары, ждал го́лоса. Не один час сидел он вслушиваясь и уже не видел картин, погружался в пустоту, тонул в ней, а выхода все не видел. Чувствуя жженье раны, он беззвучно произносил *ом*, наполнял себя этим словом. Монахи в саду увидели его; поскольку же он сидел на корточках уже много часов и его седые волосы покрылись пылью, один из монахов приблизился и положил перед ним два банана. Старик не заметил их.

Из оцепенения его вывела рука, легко коснувшаяся плеча. Он сразу узнал это прикосновенье, ласковое, робкое, и очнулся. И встал, и поздоровался с Васудевой, который пришел за ним. А когда глянул в доброе лицо Васудевы, в мелкие, точно полные улыбки морщины, в безмятежно-ясные глаза, тоже улыбнулся. Теперь он увидел перед собою бананы, поднял их, дал один перевозчику, второй съел сам. После этого они с Васудевой молча ушли в лес, вернулись домой, к перевозу. Ни тот, ни другой не говорил о случившемся сегодня, ни тот, ни другой не говорил о бегстве мальчика, не упоминал о ране. В хижине Сиддхартха лег на свою постель, а когда Васудева немного спустя подошел к нему с чашкой кокосового молока, он уже спал.

Ом

Долго еще саднела рана. Не раз переправлял Сиддхартха через реку путешествующих, которые везли с собой сына или дочь, и на всех на них он смотрел с завистью и думал: «Так много людей, многие тысячи обладают этим величайшим счастьем — почему же мне его не дано? И злодеи, и воры, и разбойники тоже имеют детей, и любят их, и любимы ими, только я этого лишен». Так просто, так безрассудно думал он теперь, так схож стал с ребячливыми людьми.

По-иному смотрел он теперь на людей, не как раньше, менее умно, менее горделиво, зато теплее, участливее, с бо́льшим любопытством. Когда перевозил обыкновенных путешествующих, ребячливых людей, дельцов, воинов, женщин, эти люди уже не казались ему, как прежде, чужими: он понимал их, понимал и разделял их жизнь, которой управляют не мысли и знания, а лишь инстинкты и желания, он чувствовал себя так же, как они. Хотя он был близок к совершенству и страдал от последней раны, ему все же представлялось, будто эти ребячливые люди — его братья, их суетные утехи, чувственные страстишки и смехотворные поступки утратили в его глазах смехотворность, стали понятны, достойны любви, более того, достойны уважения. Слепая любовь матери к ребенку, нелепая слепая гордость зазнайки-отца единственным сыном, слепая, безумная жажда украшений и восхищенных мужских взглядов, обуревающая молодую тщеславную бабенку,— все эти бессознательные порывы, все эти ребячества, все эти простые, безрассудные, однако же необычайно сильные, пышущие силой жизни, всепобеждающие порывы

и желания теперь уже не были для Сиддхартхи ребячеством; он видел, что люди живут ради них, совершают ради них бесконечное, отправляются в странствия, ведут войны, терзаются бесконечным, выносят бесконечное на своих плечах и мог любить их за это, видел жизнь, живое, несокрушимое; Брахман во всяком из их терзаний, во всяком из их поступков. Достойны любви и восхищения были эти люди с их слепой верностью, слепой силой и упорством. Все было при них, никакого преимущества не имел перед ними мудрец и мыслитель, кроме одной-единственной мелочи, одной-единственной крохотной безделицы: сознания, сознательного помышления о единстве всего живого. И Сиддхартха даже сомневался порой, стоит ли так высоко ценить эту мудрость, этот помысел, не есть ли и это тоже ребячество разумных людей, разумных ребячливых людей. Во всем прочем миряне были ровней мудрецу, а часто и превосходили его, подобно тому как животные, действующие решительно и твердо, иной раз словно бы и превосходят человека.

Медленно взрастало, медленно зрело в Сиддхартхе постижение, осознание того, что́, собственно, есть мудрость, что́ есть цель его долгих исканий. И было это не что иное, как приуготовленность души, способность, сокровенное искусство во всякий миг жизни помышлять о единстве, чувствовать единство и дышать им. Медленно взрастало все это в нем самом, сияло ему навстречу на старом, по-детски открытом лице Васудевы — гармония, сознанье вечного совершенства мира, улыбка, единство.

Рана, однако ж, еще саднела; с тоскою и горечью вспоминал Сиддхартха о сыне, лелеял в сердце своем любовь и нежность, не противился боли, совершал все безумства любви. Само собой это пламя не гасло.

И вот как-то раз, когда рана жестоко болела, Сиддхартха, гонимый тоскою, переправился через реку, вышел на берег и хотел было идти в город на поиски сына. Река струилась тихо и кротко — время дождей еще не настало,— но голос ее звучал странно: она смеялась! Отчетливо смеялась. Река смеялась, звонко и ясно высмеивала старика перевозчика. Сиддхартха наклонился к воде, чтобы еще лучше слышать, и увидел в тихих струях отраженье своего лица, и было в этом отраженном лице что-то всколыхнувшее память, что-то забытое, и, подумав, он вспомнил: это лицо походило на другое, когда-то знакомое, и любимое, и внушавшее страх. Оно походило чертами на брахмана, его отца. И припомнилось ему, как много-много лет назад он, юноша, вынудил отца отпустить его к подвижникам, как попрощался с ним, ушел, да так больше и не вернулся. Разве отец тогда не терпел из-за него те же муки, какие он сейчас терпит из-за своего сына? Разве не умер его отец давным-давно, в одиночестве, не повидавшись с сыном? Не ждет ли и его такая судьба? Не комедия ли все это, странная и глупая история, повтор, бег по губительному кругу?

Река смеялась. Да, так оно и есть, все не выстраданное до конца, нерешенное возвращалось, снова и снова приходилось терпеть одни и те же муки. А Сиддхартха опять сел в лодку и поплыл назад, к хижине, вспоминая о своем отце, вспоминая о сыне, осмеянный рекой, в разладе с самим собою, готовый впасть в отчаяние и не менее готовый громко хохотать над собою и всем миром. Ах, рана еще не обернулась цветком, его сердце еще противилось судьбе, страданье еще не сияло безмятежной радостью и победой. Но он почуял надежду, а когда вернулся к хижине, ощутил неодолимое желание открыться Васудеве, показать ему все, излиться перед ним, ибо он мастер слушать.

Васудева сидел в хижине, плел корзину. Он больше не трудился на переправе, глаза начали слабеть, и не только глаза — руки и плечи тоже. Но лицо осталось прежним — сияло радостью и безмятежной добротой.

Сиддхартха подсел к старику, медленно начал свою речь. Рассказывал о том, о чем речь не заходила ни разу,— о тогдашнем странствии в город, о жгучей ране, о своей зависти к счастливым отцам, о пониманье безрассудства таких желаний, о тщетной борьбе с ними. Все поведал он, все сумел высказать, даже самое щекотливое, все можно было говорить, все — открыть, все — рассказать. Он обнажил свою рану, рассказал и о сегодняшнем бегстве, о том, как переправился через реку — ребячливый беглец, стремящийся в город! — и как река смеялась.

С безмятежным лицом внимал Васудева долгой речи друга, и Сиддхартха сильнее чем когда-либо ощущал это внимание Васудевы, ощущал, как боли и страхи текут к слушателю, как течет к тому и вновь возвращается его сокровенная надежда. Открыть рану перед этим слушателем было все равно что омыть ее в реке, пока она не остынет и не сольется с рекою в одно. Еще продолжая говорить, продолжая свои

признания, свою исповедь, Сиддхартха все больше и больше чувствовал, что слушает его уже не Васудева, не человек, что этот недвижно внимающий вбирает в себя его исповедь, как дерево дождь, что этот недвижный — сама река, само божество, сама вечность. Сиддхартха уже не думал о себе и о своей ране, он целиком отдался постижению преображенной сути Васудевы, и, чем больше вчувствовался и проникал в это, тем меньше испытывал удивления, тем больше осознавал, что все в порядке, все естественно, что Васудева давно уже, чуть ли не всегда, был таким и только он один не вполне это разумел, да и сам, пожалуй, едва ли отличается от него. Он чувствовал, что смотрит теперь на старика Васудеву так, как народ смотрит на богов, и что это не может продлиться долго; в сердце своем он начал прощаться с Васудевой. А между тем все говорил и говорил.

Когда он закончил свои речи, Васудева устремил на него свой дружелюбный, немного подслеповатый взор и молча, без слов осиял его любовью и безмятежностью, пониманием и мудростью. Потом взял Сиддхартху за руку, повел его на берег, сел вместе с ним на упавший ствол, улыбнулся реке.

— Ты слышал, как она смеется,— молвил он.— Но ты слышал не все. Давай послушаем, ты услышишь еще много больше.

Они сидели и слушали. Кротко звучал многоголосый напев реки. Сиддхартха глядел в поток, и в струящихся водах явились ему образы: его отец, одинокий, горюющий о сыне; и он сам, одинокий, тоже привязанный к далекому сыну узами тоски; и его сын, такой же одинокий мальчик, без оглядки спешащий по огненной стезе своих юных желаний,— каждый устремлен к своей цели, каждый одержим своей целью, каждый страждущ. Река пела голосом страданья, вдохновенно пела, вдохновенно бежала к своей цели, жалобно звучал ее голос.

Слышишь? — вопросил безмолвно взор Васудевы. Сиддхартха кивнул.

— Вслушайся получше! — шепнул Васудева.

Сиддхартха постарался напрячь слух. Образ отца, и собственный его образ, и образ сына слились в одно, возник и растаял образ Камалы, и образ Говинды, и иные образы, и все они сливались в одно, становились рекой, и в образе реки все стремились к цели, вдохновенно, жадно, мучительно, и голос реки был полон страсти, полон жгучей боли, полон неутолимой жажды. К цели стремилась река. Сиддхартха смотрел, как она спешит, эта река, что состоит из него, и его близких, и всех людей, которых он когда-либо видел, все волны и воды спешили в страданье к своим целям, многим целям, к водопаду, к озеру, к быстрине, к морю, и все цели бывали достигнуты, и за каждой следовала новая, и из воды делался пар и поднимался в небо, делался дождем и падал с небес на землю, делался источником, ручьем, рекой, вновь стремился, вновь бежал. Но вдохновенный голос стал другим. Он еще звучал, горестный, ищущий, но иные голоса примкнули к нему, голоса радости и страдания, добрые голоса и злые, смеющиеся и печальные, сотни голосов, тысячи голосов.

Сиддхартха вслушивался. Теперь он весь обратился в слух, целиком погрузился в звуки, целиком опустошенный, он только вбирал их в себя, чувствовал, что теперь до конца постиг вслушивание. Сколько раз уже он все это слышал, это множество голосов в реке,— сегодня оно звучало по-новому. Он уже не мог различить это множество голосов, радостных и плачущих, детских и мужских, они все слились воедино, жалоба страсти и смех посвященного, вопль гнева и стон умирающего, все было одно, все переплетено и связано между собой, тысячекратно свито и перекручено. И всё вместе, все голоса, все цели, все стремленья, все страдания, все желания, все доброе и злое, все вместе было — мир. Все вместе было — река бытия, музыка жизни. И когда Сиддхартха внимательно вслушивался в этот поток, в эту тысячеголосую песнь, когда не слушал ни страданья, ни хохота, когда не привязывался душой к какому-то одному голосу, не вникал в него своим «я», а слышал все сразу, внимал целому, единству, тогда великая песнь тысяч голосов оборачивалась одним-единственным словом, и было это слово *ом* — совершенство.

Ты слышишь? — вновь вопросил взор Васудевы.

Светло блистала улыбка Васудевы, сияя, витала она над всеми морщинками его старого лица, как над всеми голосами реки витало *ом*. Светло блистала его улыбка, когда он смотрел на друга, и светло взблеснула теперь та же улыбка и на лице Сиддхартхи. Его рана распустилась цветком, его страдание сияло лучами, его «я» влилось в единство.

В этот час Сиддхартха перестал бороться с судьбой, перестал страдать. На лице его цвела безмятежность знания, которому уже не противится никакая воля, которому ведомо совершенство, которое согласно с потоком бытия, с рекою жизни, преисполнено сострадания, преисполнено сожаления, отдано теченью, принадлежит единству.

Когда Васудева поднялся с упавшего ствола на берегу, когда заглянул в глаза Сиддхартхи и увидел в них сияющую безмятежность знания, он легко тронул рукой его плечо, по обыкновенью бережно и ласково, и молвил:

— Я ждал этого часа, мой дорогой. И теперь, когда он наступил, позволь мне уйти. Долго я ждал этого часа, долго был перевозчиком Васудевой. Теперь довольно. Прощай, хижина, прощай, река, прощай, Сиддхартха!

Сиддхартха тихо склонился перед уходящим.

— Я знал это,— тихо сказал он.— Ты уйдешь в леса?

— Я ухожу в леса, я ухожу в вечность,— сияя, молвил Васудева.

Сияя, он зашагал прочь; Сиддхартха проводил его взглядом. С глубокой радостью, с глубокой серьезностью смотрел он ему вослед, видел его поступь, исполненную умиротворения, видел его главу, исполненную блеска, его фигуру, исполненную света.

Говинда

Вместе с другими монахами Говинда отдыхал однажды в саду, принесенном некогда куртизанкой Камалою в дар ученикам Готамы. Он слышал о старике перевозчике, который жил у реки в дневном переходе отсюда и которого многие считали мудрецом. Когда Говинда продолжил свой путь, он выбрал дорогу к переправе, страстно желая увидеть этого перевозчика. Ведь он хотя и жил всю свою жизнь по уставу и более молодые монахи глубоко чтили его возраст и скромность, в сердце его еще не угасли тревоги и искания.

Он вышел к реке, и попросил старика перевезти его, и, когда на том берегу оба они вылезли из лодки, сказал старику:

— Много добра делал ты нам, монахам и странникам, многих из нас ты уже перевозил. Так, может быть, и ты тоже искатель правильного пути?

И молвил Сиддхартха с улыбкой в старых глазах:

— Ты зовешь себя искателем, о досточтимый, а ведь ты уже в преклонных летах и носишь одежду монахов Готамы.

— Я и вправду стар, чтобы искать,— сказал Говинда,— и все же не оставил поисков. Я никогда не перестану искать, похоже, это — мое предназначение. И сдается мне, ты тоже искал. Не молвишь ли хотя бы одно слово, почтенный?

— Что я могу сказать тебе, досточтимый? — молвил Сиддхартха.— Быть может, ты ищешь слишком много? И оттого не находишь?

— Как это? — спросил Говинда.

— Когда человек ищет,— сказал Сиддхартха,— случается, глаз его видит лишь то, что он ищет, и он не в состоянии ничего найти, не в состоянии ничего воспринять, ибо думает всегда лишь об искомом, имеет цель, одержим этой целью. Искать — значит иметь цель. А вот находить — значит быть свободным, распахнутым настежь, не иметь цели. Ты, досточтимый, верно, и впрямь искатель, ведь, стремясь к своей цели, не видишь того, что совсем рядом, у тебя перед глазами.

— Я еще не вполне понимаю,— взмолился Говинда.— Куда ты клонишь?

И Сиддхартха сказал:

— Когда-то, о досточтимый, много лет назад, ты уже побывал возле этой реки, и нашел на берегу спящего, и сел подле него, чтобы охранять его сон. Но ты не узнал спящего, о Говинда.

Изумленно, точно околдованный, смотрел монах в глаза перевозчика.

— Так ты — Сиддхартха? — спросил он робким голосом.— Я и на сей раз не узнал бы тебя! Сердечный привет тебе, Сиддхартха, сердечно рад вновь видеть тебя! Ты очень изменился, друг мой... Выходит, теперь ты стал перевозчиком?

Сиддхартха дружелюбно рассмеялся.

— Да, перевозчиком. Иным, Говинда, суждено измениться множество раз,

суждено носить всякую одежду, и я — один из них, мой дорогой. Добро пожаловать, Говинда, заночуй сегодня в моей хижине.

И Говинда заночевал в хижине и спал на постели, которая некогда принадлежала Васудеве. Много вопросов задал он другу своей юности, многое из своей жизни пришлось Сиддхартхе ему рассказать.

Когда наутро настало время отправляться в дорогу, Говинда, не без колебаний, произнес такие слова:

— Прежде чем я продолжу мой путь, Сиддхартха, позволь мне еще один вопрос. Есть ли у тебя учение? Есть ли вера или знание, которому ты следуешь, которое помогает тебе жить и вершить справедливость?

Ответил ему Сиддхартха:

— Ты знаешь, мой дорогой, еще молодым человеком, когда мы жили в лесу у подвижников, я пришел к мысли не доверять учениям и наставникам и обратиться к ним спиной. И я не передумал. А все же у меня было с тех пор много наставников. Долгое время моей наставницей была красавица куртизанка, учился я и у богатого купца, и у игроков в кости. Однажды был моим наставником и странствующий ученик Будды, он сидел подле меня, когда я, бродя по свету, заснул в лесу. Я учился и у него, и я благодарен ему, очень благодарен. Но особенно многому научили меня вот эта река и мой предшественник, перевозчик Васудева. Он был очень простой человек, Васудева, не мыслитель, но знал необходимое, почти как Готама, он был Совершенный, Святой.

И Говинда сказал:

— Сдается мне, о Сиддхартха, ты по-прежнему любишь легкую насмешку. Я верю тебе и знаю, что ты не следовал какому бы то ни было наставнику. Но ведь ты сам, наверное, отыскал если не учение, то хотя бы некие мысли, некие выводы, которые принадлежат тебе и помогают жить? Если б ты поделился ими со мной, сердце мое преисполнилось бы радости.

Сиддхартха на это молвил:

— Мысли у меня были, да и выводы я делал время от времени. Порой — всего лишь час или день — я ощущал в себе знание, подобно тому как ощущают в сердце жизнь. Много было мыслей, только мне трудно передать их тебе. Вот, Говинда, это и есть одна из моих находок: мудрость непередаваема. Мудрость, которую мудрец пытается передать, всегда звучит нелепостью.

— Ты шутишь? — спросил Говинда.

— Я не шучу. Я говорю то, что отыскал. Знание можно передать, а мудрость нет. Ее можно отыскать, ею можно жить, можно ею преисполниться, творить с ее помощью чудеса, но нельзя ни высказать ее, ни проповедовать. Именно это в юности нет-нет да и брезжило мне догадкой, именно это отвратило меня от наставников. Я отыскал одну мысль, Говинда, которую ты опять сочтешь шуткой или нелепостью, но это — лучшая из моих мыслей. И она гласит: противоположность любой истины тоже истина! Дело вот в чем: истину можно высказать и облечь в слова, если она однобока. Однобоко все, что можно помыслить и высказать, облечь в мысли и слова, однобоко, половинчато, лишено целостности, завершенности, единства. Когда Возвышенный Готама в проповеди своей говорил о мире, он поневоле делил его на сансару и нирвану, иллюзию и истину, страдание и избавление. Иначе нельзя; тому, кто желает наставлять, иного пути не дано. Однако же сам по себе мир, сущее вовне и внутри нас,— сам по себе мир никогда не бывает однобок. Ни человек, ни деяние не бывают целиком сансарой или целиком нирваной, не бывает человек ни целиком свят, ни целиком греховен. Просто так кажется, ибо мы подвержены иллюзии, что время есть нечто реальное. Время нереально, Говинда, часто, ах, как часто я убеждался в этом. А коль скоро время нереально, значит, и промежуток, якобы разделяющий мир и вечность, страдание и блаженство, зло и добро, тоже есть иллюзия.

— Как же это? — боязливо спросил Говинда.

— Слушай хорошенько, дорогой, слушай хорошенько! Грешник, как я и ты, есть грешник сейчас, но когда-нибудь он вновь станет Брахмой, когда-нибудь достигнет нирваны, станет Буддой — так вот, это «когда-нибудь» есть иллюзия, есть только притча! Грешник вовсе не становится Буддой, не находится в развитии, хотя наше мышление не способно иначе представить себе подобные вещи. Нет, в грешнике уже сегодня, сейчас присутствует грядущий Будда, все его будущее уже

существует, и тебе надлежит почитать в нем, в себе, в каждом Будду завтрашнего, пока не состоявшегося, сокрытого. Мир, друг Говинда, не является несовершенным и не проходит долгий, неспешный путь к совершенству, нет, он совершенен в каждый свой миг, все грехи уже несут в себе свое отпущенье, во всяком малом дитяти уже присутствует старец, во всяком новорожденном младенце — смерть, во всяком умирающем — вечная жизнь. Ни одному из людей невозможно увидеть, сколь далеко иной продвинулся на своем пути, в разбойнике и азартном игроке поджидает Будда, в брахмане поджидает разбойник. В глубокой медитации существует возможность отрешиться от времени, увидеть одновременно все былое, все нынешнее и грядущее, и тогда все хорошо, все совершенно, все Брахман. Вот почему то, что есть, представляется мне хорошим, смерть представляется мне как жизнь, грех как святость, разумность как безрассудство, все так и должно быть, все требует лишь моего одобрения, лишь моей готовности, моего полюбовного согласия, и это для меня хорошо, не может мне повредить. Я убедился телом и душою, что грех был мне весьма необходим, я нуждался в любострастии, в стяжательстве, в тщеславности и позорнейшем отчаянии, чтобы научиться отречению от противодействия, чтобы научиться любить мир, чтобы не сравнивать его более с неким для меня желанным, мною воображаемым миром, вымышленным мною образом совершенства, а оставить его таким, каков он есть, и любить его, и радоваться собственной к нему принадлежности... Вот каковы, о Говинда, немногие из мыслей, что приходили мне на ум.

Сиддхартха нагнулся, поднял с земли камень и взвесил его на ладони.

— Смотри,— молвил он, играя своей находкой,— вот камень, и спустя определенное время он, пожалуй, станет землей, а из земли станет растение, или зверь, или человек. Раньше я бы сказал: «Камень, он и есть камень, он не имеет ценности, принадлежит миру Майи, поскольку же в круговороте перерождений он может стать человеком и разумом, я и ему оказываю уважение». Пожалуй, так бы я думал раньше. Сегодня, однако, я думаю: это сразу и камень, и зверь, и божество, и Будда, я почитаю и люблю его не потому, что он когда-нибудь станет тем-то или тем-то, а потому, что он уже давным-давно, извечно всем этим является... и как раз за то, что он камень, что сегодня и сейчас представляется мне камнем, как раз за это я и люблю его, и вижу значение и смысл в каждой его прожилке и вмятинке, в серых и желтых пятнах, в твердости, в звуке, который он издает, когда я его простукиваю, в сухости или влажности его поверхности. Есть камни, на ощупь схожие с маслом или мылом, и другие — словно листва, и третьи — шершавые, как песок, каждый неповторим и на свой лад произносит молитвенное *ом*, и каждый есть Брахман, а одновременно и в такой же мере — камень, маслянистый или мыльный, и мне именно это по нраву и кажется чудесным и достойным поклонения... Но, с твоего разрешения, я более не стану об этом распространяться. Слова не идут во благо тайному смыслу; произнесенное вслух, все тотчас же неизменно становится чуточку иным, чуточку поддельным, чуточку глупым... н-да, то, что для одного человека есть богатство и мудрость, для другого всегда звучит нелепостью, и это тоже очень хорошо и очень мне по нраву, и с этим я тоже совершенно согласен.

Молча слушал Говинда.

— Зачем ты сказал мне вот это все о камне? — робко спросил он после паузы.

— Так вышло нечаянно. Или, быть может, я имел в виду, что люблю и этот камень, и эту реку, и вообще все предметы, которые мы наблюдаем и у которых способны учиться. Я могу любить камень, Говинда, и дерево, и кусок коры. Это предметы, а предметы можно любить. Слова же я любить не могу. Вот почему проповеди и наставления для меня не годятся, в них нет ни твердости, ни мягкости, ни красок, ни граней, ни запаха, ни вкуса — ничего нет, кроме слов! Быть может, именно это и мешает тебе обрести мир, быть может, все дело именно в многословье. Ведь избавление и добродетель, сансара и нирвана тоже всего лишь слова, Говинда. Нет предмета под названьем *нирвана*; есть только слово *нирвана*.

— Нирвана — это не только слово,— сказал Говинда.— Это мысль.

А Сиддхартха продолжал:

— Мысль? Что ж, возможно. Дорогой мой, признаться, я не провожу различия между мыслями и словами. Откровенно говоря, мысли я тоже ставлю не очень высоко. Мне куда важнее предметы. К примеру, здесь, на этом перевозе, моим предшественником и учителем был один человек, святой, так вот он много лет

попросту верил в реку и больше ни во что. Он заметил, что река говорит с ним, и стал учиться у нее, она воспитывала его и наставляла; эта река казалась ему божеством, долгие годы он знать не знал, что любой ветерок, любое облачко, любая птаха, любой жучок не менее божественны, и знают столь же много, и могут столь же многому научить, как и досточтимая река. Но когда этот святой ушел в леса, он знал все, знал больше тебя и меня, без наставников, без книг, оттого лишь, что верил в реку.

Говинда же молвил:

— Но неужели то, что ты зовешь *предметами*, существует в реальности? Не обман ли это Майи, всего-навсего изображение и кажимость? Твой камень, дерево, река — реальны ли они?

— Вот и это,— ответил Сиддхартха,— более не тревожит меня. Предметы могут быть или не быть кажимостью, но тогда и я сам кажимость, а значит, они всегда мне под стать. И как раз это меня радует, вызывает уважение — они мне под стать. Поэтому я могу любить их. И вот тебе вывод, над которым ты, наверно, посмеешься: любовь, о Говинда, по-моему, вообще самое главное. Постигать мир, объяснять его, презирать — пусть этим занимаются великие мыслители. Для меня же существенно только одно — умение любить мир, не презирать его, не испытывать ненависти к нему и к себе, умение смотреть на него, и на себя, и на все существа с любовью, с восторгом, с благоговением.

— Мне это понятно,— сказал Говинда.— Однако он, Возвышенный, именно это считал обманом. Он предписывает благожелательность, бережное внимание, сочувствие, терпимость, но не любовь; он запрещал нам сковывать свое сердце любовью к земному.

— Я знаю.— Сиддхартха улыбнулся, и улыбка его лучилась золотом.— Я знаю, Говинда. Видишь, вот мы с тобой и угодили в самые дебри суждений, в спор о словах. Ибо я не могу отрицать, что мои слова о любви противоречат, якобы противоречат словам Готамы. Потому-то я так сильно не доверяю словам — знаю же, это противоречие — иллюзия. Знаю, я в согласии с Готамой. Разве же мог он не ведать любви? Ведь он постиг все человеческое бытие в его преходящности, в его ничтожности и, однако, так любил людей, что употребил долгую, многотрудную жизнь единственно для того, чтобы помогать им, давать наставления! И у него, у великого твоего учителя, мне милее предмет, нежели слова, его деяния и жизнь важнее, чем его речи, мановенье его руки важнее всех его суждений. Не в речах, не в помышленьях вижу я его величие, а только в деяньях, в жизни.

Долго молчали старики. Потом Говинда поклонился на прощание и молвил:

— Спасибо тебе, Сиддхартха, что ты поведал мне кое-что из твоих мыслей. Отчасти они диковинны и не все стали мне сразу понятны. Но как бы там ни было, спасибо тебе, и да будут дни твои полны покоя.

(Втайне же он думал: этот Сиддхартха — странный человек, странные мысли он высказывает, нелепо звучит его ученье. Совсем по-другому звучит прозрачное ученье Возвышенного, яснее, чище, понятнее, нет в нем ничего диковинного, нелепого или смехотворного. Но совсем иными, нежели мысли, представляются мне руки и ноги Сиддхартхи, его глаза, лоб, дыхание, улыбка, приветствие, походка. Ни разу с тех пор, как наш Возвышенный Готама вступил в нирвану, ни разу не встречался мне человек, в котором бы я почувствовал святого. Лишь он, этот Сиддхартха, единственный вызвал у меня такое чувство. Пусть его ученье диковинно, пусть слова его звучат нелепо: взгляд его и рука, кожа и волосы — все в нем лучится чистотой, покоем, радостью, и кротостью, и святостью, каких я со времени недавней смерти нашего Возвышенного учителя не видел ни в одном человеке.)

С такими мыслями и разладом в сердце Говинда, влекомый любовью, еще раз склонился к Сиддхартхе. Почтил спокойно сидящего низким поклоном.

— Сиддхартха,— произнес он,— мы оба состарились. Едва ли один из нас встретит другого в нынешнем воплощении. Я вижу, возлюбленный мой, что ты обрел мир. Скажи мне, почтенный, еще хоть слово, дай мне напутствие, которое я смогу понять, смогу постичь! Напутствуй меня в дорогу. Ведь моя дорога нередко трудна, а нередко мрачна, Сиддхартха.

Сиддхартха молчал и смотрел на него со все той же кроткой улыбкой. Неотрывно глядел ему в лицо Говинда, со страхом, с надеждой. Страдание и вечные исканья читались в его глазах и вечное необретение.

Сиддхартха видел это и улыбался.

— Наклонись ко мне! — тихо шепнул он на ухо Говинде.— Наклонись! Вот так, еще ближе! Совсем близко! Поцелуй меня в лоб, Говинда!

Когда же Говинда, охваченный удивлением и все-таки влекомый любовью и смутной догадкой, исполнил просьбу и, наклонясь, коснулся губами его лба, с ним самим произошло чудо. Пока мысли его были еще заняты диковинными словами Сиддхартхи, пока он тщетно и с неохотой пробовал отрешиться от времени, представить себе нирвану и сансару как единое целое, пока даже некоторое пренебрежение к словам друга спорило в нем с огромной любовью и благоговением, с ним произошло вот что.

Он не видел более лица своего друга Сиддхартхи, вместо этого ему виделись иные лица, множество, длинная череда, текучая река лиц, сотни, тысячи, все они появлялись и исчезали и, однако же, словно пребывали здесь все разом, постоянно менялись и возобновлялись и, однако же, все были Сиддхартхой. Он видел черты рыбы, карпа, с разинутой в безмерном страданье пастью, умирающей рыбы, с помутневшими глазами... видел лицо новорожденного ребенка, красное и сморщенное, искаженное плаксивой гримасой... видел лицо убийцы, вонзающего нож в тело какого-то человека... видел, в ту же самую секунду, как этот преступник, связанный, становится на колени и палач, взмахнув мечом, отсекает ему голову... видел нагие тела мужчин и женщин в позах и схватках неистовой любви... видел распростертые трупы, недвижные, холодные, ничтожные... видел звериные головы — кабаньи, крокодильи, слоновьи, бычьи — и головы птиц... видел богов, Кришну *, Агни *— видел все эти воплощенья и лица в тысячах взаимосвязей, одна ипостась помогала другой, любила, ненавидела, истребляла, рождала вновь, и каждая была желаньем смерти, мучительно-страстным приятием бренности, и все же ни одна не умирала, только преображалась, без устали рождаясь вновь, без устали обретая новый облик, и время не разделяло эти обличья... и все эти воплощенья и лица покоились, таяли, создавались, уплывали прочь и сливались друг с другом, а поверху все они были неизменно затянуты чем-то тонким, бесплотным и, однако, сущим, словно бы тонким стеклом либо льдом, словно бы прозрачной пленкой, кожурой, оболочкой, маской из воды, и эта маска улыбалась, и эта маска была — улыбающееся лицо Сиддхартхи, которого он, Говинда, в это самое мгновенье касался губами. И — так виделось Говинде — эта улыбка маски, улыбка единства над текучими воплощениями, улыбка одновременности поверх тысяч рождений и смертей, эта улыбка Сиддхартхи была в точности та же самая, в точности такая же кроткая, тонкая, непроницаемая, не то добрая, не то насмешливая, мудрая, тысячеликая улыбка Готамы, Будды, какую он сам сотни раз благоговейно созерцал. Именно так — Говинда знал это — улыбались Совершенные.

Не ведая уже, существует ли время, продолжалось ли это виденье секунду или столетие, не ведая уже, существует ли Сиддхартха, существует ли Готама, существуют ли «я» и «ты», будто пораженный в самую душу божественной стрелой, что оставляет сладостные раны, околдованный и хмельной душою, стоял Говинда еще минуту-другую, склонясь над кротким лицом Сиддхартхи, которое только что поцеловал, которое только что было театром всех воплощений, всего становленья и всего бытия. Лик остался неизменен, после того как под его поверхностью вновь сомкнулись глубины великого многообразия, он улыбался кротко, улыбался благостно и мягко, не то очень добросердечно, не то очень насмешливо, точь-в-точь как улыбался тот, Возвышенный.

Низко-низко склонился Говинда, по его старому лицу текли слезы, а он и не догадывался; огнем горело в его сердце чувство беззаветнейшей любви, совершеннейшего благоговения. Низко-низко, до земли, склонился Говинда перед недвижно сидящим, улыбка которого напоминала ему обо всем, что он когда-либо в жизни любил, что когда-либо в жизни было ему дорого и свято.

КОММЕНТАРИЙ

Агни́ (*букв.*: огонь) — в ведийской и индуистской мифологии бог огня, домашнего очага, жертвенного костра. Главный из земных богов, персонификация священного огня, стоит в центре основного древнеиндийского ритуала. Основная функция Агни — посредничество между людьми и богами: жертвенный огонь возносит жертву языками пламени на небо.

Атман — одно из кардинальных понятий в религиозно-мифологической системе индуизма; духовное «я» отдельного человека; абсолютная душа всего сущего.

Атхарваведа («Веда заклинаний») — последняя из четырех самхит. Основное ее содержание — связанные с «исцелением» (врачеванием) заклинания, ворожба, колдовство, магические стихи и т. п.

Брахма — первый из трех главных ведических богов, творец Вселенной.

Брахман — в ведийской и индуистской мифологии: 1) субстанция отдельных групп однородных предметов; 2) абсолютная субстанция, первооснова всего сущего; 3) абсолютное сознание, тождественное атману.

Брахман — человек, принадлежащий к варне брахманов, которой было положено заниматься изучением вед, жертвоприношением для себя и для других, раздачей и получением милостыни.

Будда (*букв.*: просветленный, пробужденный) — 1) человек, достигший наивысшего предела духовного развития; 2) антропоморфный символ, воплощающий в себе идеал предела духовного развития. Первоначально словом Будда обозначали, по-видимому, лишь Шакьямуни.

Варна — социальный институт, относящийся к сословной структуре древнеиндийского общества и глубоко укорененный в древнеиндийской мифологии. Варн было четыре: брахманы, кшатрии, вайшьи, шудры.

Веды — древнейший литературный памятник Индии, религиозные тексты. Этим понятием объединены: 1) четыре сборника священных гимнов, так называемые самхиты: Ригведа, Самаведа, Яджурведа, Атхарваведа; 2) брахманы, представляющие собой комментарии к самхитам и имеющие в основном ритуальный характер; 3) араньяки, или «лесные тексты», включающие правила поведения для отшельников; 4) упанишады, представляющие собой собственно философскую часть вед.

Вишну — один из высших богов индуистской мифологии, бог — хранитель мира, составляющий вместе с Брахмой и Шивой так называемую божественную триаду — тримурти; супруг Лакшми. Имеет много различных имен, в том числе *Говинда* («пастырь»), и *Васудева*.

Восьмеричная дорога — путь праведника, включающий следующие компоненты: 1) правильные взгляды, то есть основанные на «благородных истинах»; 2) правильная решимость, то есть готовность к подвигу во имя истины; 3) правильная речь, то есть речь доброжелательная, искренняя, правдивая; 4) правильное поведение, то есть непричинение зла; 5) правильный образ жизни, то есть мирный, честный, чистый; 6) правильное усилие, то есть самовоспитание и самообладание; 7) правильное внимание, то есть активная бдительность сознания; 8) правильное сосредоточение, то есть верные методы созерцания и медитации.

Готама, или *Гаутама* — имя Будды Шакьямуни, данное ему, вероятно, по его мифическому предку — риши (мудрецу) Готаме.

Дерево Бодхи — дерево, под которым Шакьямуни достиг духовного просветления.

Камала — *см.* Лакшми.

Кришна (*санскр.*: черный, темный, темно-синий) — в индуистской мифологии сын Васудевы и Деваки, аватара (воплощение) Вишну.

Лакшми (*санскр.*: добрый знак, счастье, красота) — в индуистской мифологии богиня счастья, богатства и красоты; супруга Вишну; одно из имен Лакшми — *Камала* (лотосная).

Магадха — древнее царство в Северной Индии.

Майя — в ведийской мифологии способность к перевоплощению, свойственная божествам; иллюзия, обман. В послеведийский период нередко выступает в персонифицированном виде как божественная женщина и обозначает иллюзорность бытия, действительность, понимаемую как грезу божества, и мир как божественную игру.

Мара (*санскр.*: убивающий, уничтожающий) — в буддийской мифологии божество, персонифицирующее зло и все то, что приводит к смерти живого существа; главная функция Мары — создание препятствий тем, кто стремится к просветлению.

Мундака-упанишада — примыкает к Атхарваведе; учение упанишады должно «очищать» или освобождать человека от ошибок и незнания.

Нирвана — в буддийской религиозно-мифологической системе одно из основных понятий, означает наивысшее состояние сознания, когда отсутствуют перерождения и переходы от одной сферы сансарического существования к другой; существа, ушедшие в нирвану (то есть будды), теоретически не могут вернуться в сансару.

Ом — слово торжественного обращения или благословения; употреблялось в начале молитв и религиозных церемоний и обычно ставилось в начале книг. Согласно индийской фонетике состоит из трех звуков: а, у, м, которые символизировали три веды. Слово считается священным.

Праджапати (*букв.*: владыка творений) — в брахманизме творец всех живых существ.

Ригведа («Веда гимнов») — древнейший сборник хвалебных стихов, обращенных преимущественно к богам, олицетворяющим силы (явления) природы.

Сиддхартха (*букв.*: цели достигший) — *см.* Шакьямуни.

Самаведа («Веда напевов») — вторая самхита, сборник мелодий, сочиненных преимущественно на стихи Ригведы.

Самана (*язык пали*) — монах-отшельник, подвижник, аскет.

Сансара (*сансара*, или круговорот рождений) — по индуистским религиозным представлениям, бесконечная цепь рождений живого существа то в одном, то в другом облике (метампсихоз), являющаяся источником страданий.

Сатьям — понятие ведической философии, обозначающее: истина, действительное.

Упанишады — *см.* Веды.

Четыре Истины — 1) вот страдание; 2) вот причина страдания; 3) вот избавление от страдания; 4) вот путь к избавлению от страдания.

Чхандогья-упанишада — древнейшая из упанишад; первая философская часть вед.

Шакьямуни — известен как *Сиддхартха* (собств. имя) и *Готама*, или *Гаутама* (родовое имя) — в буддийской мифологии — последний великий Будда.

■

НЕМЕЦКАЯ ЭПИГРАММА

> Но где границы нашего возможного знания очень узки, искушение строить суждения очень велико, иллюзии весьма обманчивы и вред, приносимый заблуждениями, значителен, там *отрицательное* наставление, служащее только для того, чтобы предохранить нас от ошибок, имеет еще больше значения, чем иные положительные поучения, благодаря которым мог бы получиться прирост нашего знания.
>
> *Иммануил КАНТ*

Жанр эпиграммы в числе многого другого унаследован нами от древних греков. За пару тысячелетий он изменился до неузнаваемости и, увы, фактически отрекся от собственного имени — epigramma, что означает «надпись», посвящение на амфоре, доспехах и даже, сколь это ни печально, могиле. Мы говорим: увы, ибо не худо бы иным авторам, сыплющим эпиграммы, как из рога изобилия, вообразить порой свое детище выбитым на мраморе или граните — в качестве текста на необходимость предания его гласности.

Новая история эпиграммы начинается с эпохи Возрождения. До этого она довольствуется скромной ролью дочери достойных, но бедных родителей — «monsieur Анекдота и madam Безнадежности» (Кастелли), изъяснявшихся на медной латыни. Впрочем, Катулл и Марциал пробудили в ней насмешливый ум, а раннехристианские сочинители привили вкус к мистицизму. Неожиданно культура заговорила на живых языках: французском, польском, испанском. Барокко, так прекрасно описанное Бахтиным, явилось как бы постмодернистским ответом на духовный тоталитаризм средневековья.

Эпиграмма в силу своей доступности, всепроникающей способности и экспромтной природы стала точнейшим слепком Единого, склеенным, правда, из обломков. Эпиграмма — это негативное определение здравого смысла. Изящным подтверждением сему может служить тот факт, что романтики не писали эпиграмм: им попросту не было дела до здравого смысла.

Переведенное Львом Гинзбургом двустишие Харсдерфера под названием «Латынь» гласит:

> Рим был мне родиной. С приходом чужеземцев
> Меня изгнали прочь. Теперь живу у немцев.

Словацкая фольклористка Иванна Безрукова является автором прелестной сентенции: «Все русские — дети, все поляки — старики, а немцы навсегда останутся в пубертатном периоде». С детским жаром и со взрослой изощренностью немцы берутся за освоение и развитие жанра эпиграммы. Немецкая культура легко принимала новые веяния и влияния, не поступаясь ни собственным своеобразием, ни традициями. Помещаясь внутри балто-славяно-германского энергетического треугольника, она свободно питалась от его корней. Не случайно взрастившие первые цветы барочной радости Опиц, Грифиус, Гофмансвальдау, Логау жили в Силезии, нынешнем Шленске, а Гёте, Шиллер и Клейст, знаменующие абсолютный расцвет эпиграммы,— на востоке Германии, родине лужичан.

Epigramme, Sinngedichte, Stachelverse — у эпиграмм много названий — мгновенно внедрились в немецкое сознание. Эпиграмма полностью охватила область не только человеческих, но и божественных отношений. Воссоздание откровений о постижении Бога через Ничто при помощи «метких выражений» и в «метрической форме» — задача, как нельзя более подходящая жанру отрицательного наставления.

Конец прекрасной эпохи наступает с восходом гения Ницше (или с закатом, как говорил Заратустра). В его лице человечество снова вкушает от древа познания добра и зла, и доза оказывается лошадиной. Мир предполагает войну. Битва предполагает госпиталь. Ницше — очередная попытка армагеддона разума. После Ницше возможны патологоанатом Бенн и хирург Брехт. Острословие нации Канта выходит на новый виток, время судить о котором не за горами.

СЕРГЕЙ МОРЕЙНО

Настоящие переводы взяты из неизданного сборника «Немецкая эпиграмма», задуманного в 70-е годы В. Вебером и Е. Витковским. Окончательная редакция осуществлена С. Морейно.— *Прим. ред.*

ФРИДРИХ ФОН ЛОГАУ
1604 — 1655

Слово женщины

Лови угря за хвост, а женщину — на слове;
Но, сколько ни держи, что проку в том улове?

Современные Орфеи

Никто за умершей не спустится в ад,
Все въехать туда на живой норовят.

Перевод М. Новожилова

АНДРЕАС ГРИФИУС
1616 — 1664

Мелании

Мои стихи — в твоих устах, Мелания!
Чего там только не бывало ранее!

Улиссу

Увидеть дым Отечества? Однако
Он значит лишь одно: горит Итака.

Ложный шаг

Ты книгу Руфа выдал за свою,
Затем, что Руф воспел жену твою.
Не удалась твоя интрига,
Ведь нарасхват пошла — не книга...

Перевод В. Топорова

АНГЕЛУС СИЛЕЗИУС
1624 — 1677

Не знаю, кто я

Не знаю я, кто я; нет обо мне наук,
Я вещь, и я не вещь; я точечка и круг.

Я с Богом заодно

Я в Боге, Бог во мне; я свет Его огня;
Меня без Бога нет, нет Бога без меня.

Перевод В. Микушевича

ГЕНРИХ АНСЕЛЬМ ФОН ЦИГЛЕР УНД КЛИПХАУЗЕН
1663 — 1696

Эпитафия Овидию

Учитель душ и тел, певец высокой страсти
И низменных страстей — пока твое стило
Касалось только дам, а не верховной власти,—
Песком чужих краев тебя не занесло.

Перевод В. Топорова

ФРИДРИХ ГОТЛИБ КЛОПШТОК
1724 — 1803

Нравы новых

Приемля римлян, греков прочь погнали:
Яйцо в фаворе, курица — в опале!

Перевод В. Летучего

ПЕТЕР ВИЛЬГЕЛЬМ ГЕНСЛЕР МЛАДШИЙ
1742 — 1779

Надпись на могиле

Здесь погребен Дориль. Тем мог он быть утешен,
Что пишем «погребен» мы вместо: «здесь повешен».

Перевод С. Морейно

ФРИДРИХ ГЕЛЬДЕРЛИН
1770 — 1843

Добрый совет

Сердце имей и ум, внимай им попеременно.
Знай, обречен ты, когда станешь им разом внимать.

Перевод С. Морейно

ГЕНРИХ ФОН КЛЕЙСТ
1777 — 1811

Раскаявшаяся

Боже, как часто она пеклась о морали и чести!
В силах ли мыслить теперь злой искуситель о ней?

Крестьянин, выходя из церкви

Какие благие псалмы выбрали нынче для пенья!
Их номера загадал я в лотерею вчера.

Перевод В. Вебера

ЛЮДВИГ УЛАНД
1787 — 1862

Замена

Ветра порыв оборвал с дерева искры соцветий.
Но в потускневшей листве цепко сидит мотылек.

ФРИДРИХ НИЦШЕ
1844 — 1900

Я

Не железо и не камень;
Родом я всемирный пламень,
Не спастись мне от меня;
Вещи в свет я превращаю,
Угли вам я завещаю;
Несомненно, пламень я!

Гёте

Непреходящее —
Только примета!
Ненастоящее —
Бог для поэта...

Вечно вращается
мир, как волчок;
им восхищается
лишь дурачок.

Зрелище адское:
С правдою ложь...
Вечно дурацкое!
Ты нас влечешь...

Песнь и речь

Ритм сначала, рифма следом.
Писк божественный — душа;
Этим песня хороша,
Звук, не брезгующий бредом:
Слово — музыка — душа.

Прыгать может и трунить
В ненасытном увлеченье
Мысль без песни — изреченье!
С песней речь соединить —

Не мое ли назначенье?

Перевод В. Микушевича

КРИСТИАН МОРГЕНШТЕРН
1871 — 1914

Сила воображения

Мир сотворяет заново поэт —
И многого, что в нашем есть, в том нет.

Биография

Ребенком был здоровым,
Мужчиной бестолковым,
А старцем стал — суровым.

Признания посредственного поэта-переводчика

1
Сам от ужаса дрожу я...
Подрубаю на корню:
Или рифмы не рожу я,
Или мысль похороню.

2
Я большой оригинал:
Не гляжу в оригинал.

3
Переводчики эклог,
Од, сонетов, басен!
Перевод бывает плох
Или же... ужасен.

Перевод В. Топорова

ГУГО ФОН ГОФМАНСТАЛЬ
1874 — 1929

Размеры

Альпы — огромны? Я их могу выше неба представить.
Но никогда — Палатин, и Парфенон — никогда.

Перевод С. Морейно

БЕРТОЛЬТ БРЕХТ
1898 — 1956

Эпитафия М.

От акул я ушел,
Тигров я умертвил,
Съеден был я
Клопами.

Что было вершиной

То, что было в тебе вершиной —
Разровняли.
То, что было в тебе долиной —
Засыпали.
Через тебя теперь
Проходит удобный путь.

Тяжкие времена

Один человек, давно не видевший господина К.,
Приветствовал его словами:
«Вы совсем не изменились».
«О!» — ответил господин К. и побледнел.

Музы

Когда их секут,
Музы становятся голосистей.

Подмалеванными глазами
По-сучьи влюбленно глядят на секущего.

Разгорается похоть
От боли.

Перевод В. Вебера

ИОГАННЕС БОБРОВСКИЙ
1917 — 1965

Спор

В буйную драку ввязался я, силясь внушить: Аристо
Тассо во всем превзошел; мне проломили башку.
Если придет мне каюк, на кой же мне ляд Ариосто
Или же Тассо; притом я их и не открывал.

Театр «Берлинер ансамбль»

Классный автор — наш Брехт: мы играем пьесы
с начала
Или с конца. Ни к чему нам режиссер и завлит.
Раньше нам так не везло: Брехт совался во все
непременно.
Умер наш Брехт; мы теперь ставим, как надо, его.

Перевод Г. Ратгауза

■

Х. М. ЭНЦЕНСБЕРГЕР

ВЕЛИКОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ

Тридцать три фрагмента
с одним примечанием
о некоторых особенностях охоты
на людей

Перевод А. ЕГОРШЕВА

К русскому читателю

Миграция — явление глобальное, но в каждой части мира оно носит специфический характер. Когда я писал это эссе, я не имел в виду русский вариант. Скорее я думал о Западной Европе. Что касается ситуации в бывшем Советском Союзе, то я не слишком хорошо ее знаю. Однако ясно, что сегодняшняя Россия сталкивается одновременно с проблемами эмиграции и иммиграции. С одной стороны — угроза широкомасштабной утечки мозгов, связанной с тяжелым положением значительной части интеллигенции. С другой стороны — растущий приток русских беженцев из бывшей советской империи, не говоря уже о движении населения среднеазиатских и кавказских регионов. Поэтому проблема заслуживает серьезного анализа и откровенного обсуждения. Русским следует понимать, что это не только национальная проблема. Она стоит перед каждой из наших стран, и хочется надеяться, что мы способны учиться друг у друга.

Искренне ваш
ХАНС МАГНУС ЭНЦЕНСБЕРГЕР

Мы больше не знаем, кого следует уважать, а кого — нет. В этом смысле мы стали варварами по отношению друг к другу. Ибо от природы мы все равны, будь мы варвары или греки. Это следует из естественных потребностей человека. Все мы дышим ртом и носом, все мы едим руками.

Антифонт. Об истине.
V век до Р. Х.

На статуе, символизирующей свободу, есть надпись: «В этой республиканской стране все люди рождены свободными и равными». Но ниже мелким шрифтом сказано: «За исключением племени хамо (черных)». Это лишает первую фразу смысла. О, республиканцы!

Герман Мелвилл. Марди. 1849.

I

Карта мира. Множество синих и красных стрелок то сбегаются, образуя завихрения, то разбегаются. Зоны различного атмосферного давления обозначены различными цветами: изобары, воздушные массы. Подобная карта выглядит весьма красиво, но прочитать ее может не всякий, ибо для этого нужны определенные знания. Ведь карта абстрактна. Динамический процесс поневоле изображен на ней статичным. Истинное положение дел могла бы показать только киносъемка. Нормальным состоянием атмосферы является движение. То же самое можно сказать о народонаселении Земли.

© Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main, 1992

II

Несмотря на почти целый век палеонтологических исследований, наука не сумела до конца прояснить вопрос о происхождении homo sapiens. Похоже, ученые склоняются к заключению, что впервые этот вид появился на африканском континенте, позднее последовала череда миграционных волн, полных сложностей и риска, благодаря которым люди распространились по всей планете. Оседлость не является генетической характеристикой нашего вида; оседлость — феномен относительно поздний, связанный, видимо, с возникновением земледелия. По своей изначальной сути, мы — охотники, собиратели кореньев и плодов, пастухи.

Пожалуй, именно кочевым прошлым можно объяснить некоторые атавистические черты нашего поведения; в противном случае такие явления, как массовый туризм или страстная любовь к автомобилю, оставались бы загадкой.

III

В мифе о Каине и Авеле запечатлелся конфликт между племенами кочевыми и оседлыми. «И был Авель пастырь овец; а Каин был земледелец». Спор из-за земли закончился смертоубийством. Но соль этой притчи состоит в том, что человек оседлый, убив кочевника, сам оказывается обреченным на скитания: «Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле».

Вся история человечества заключена в этой притче. На протяжении тысячелетий стационарные популяции возникали снова и снова. Тем не менее если взять всю историю в целом, они оказывались скорее исключением. Правилом же были — разбойничьи набеги, завоевательские походы, изгнания, высылки, депортации, взятие в плен, работорговля, колонизация. Значительная часть человечества всегда находилась в пути; причины могли быть различными, мирными или насильственными, но так или иначе непрестанно осуществлялись перемещения, сходные с циркуляцией воздушных масс. Этот процесс был хаотическим, исключающим возможность планового замысла или хотя бы долгосрочного прогноза.

IV

В железнодорожном купе едут два пассажира. Нам неизвестно, кто они, откуда и куда направляются. Они удобно расположились, заняли столик, багажные полки, крючки для одежды. На свободном месте лежат газеты, сумочка или пиджак. Но вот дверь открывается, в купе входят два новых пассажира. Их появление не вызывает положительных эмоций. Напротив, вполне ощущается недовольство, с которым освобождаются места, перекладываются вещи. При этом оба первых пассажира, хотя и незнакомы друг с другом, изъявляют удивительную солидарность. Они выступают по отношению к новым соседям в качестве сплоченной группки. Ведь это их территория, которую теперь приходится перераспределять. Каждый непрошеный гость воспринимается ими как захватчик. Они ведут себя вроде туземцев, которые претендуют на владение всей территорией. Тут не следует даже искать рациональных объяснений, настолько глубоко коренится это в нашем сознании.

Впрочем, до открытой враждебности дело обычно не доходит. Причина в том, что пассажиры подчиняются определенным правилам, установленным для всех. Так что территориальные притязания оказываются ограниченными, с одной стороны, узаконенными нормами поведения пассажиров на железнодорожном транспорте, а с другой стороны — неписаными правилами приличий, в частности, вежливостью. Поэтому все сводится лишь к обмену взглядами и бормотанию извинений. С новыми соседями приходится мириться. Постепенно к ним привыкают, но своего рода стигма, пусть бледнеющая со временем, на них тем не менее остается.

Эта простенькая модель не лишена известной абсурдности. Ведь железнодорожное купе представляет собою как бы транзитное местопребывание, помещение для перемещения в пространстве. Его предназначение — в движении. Пассажир — это отрицание оседлости. Он заменяет реальную территорию виртуальной. И тем не менее он не без известного упорства отстаивает свое мимолетное пристанище.

V

Любая миграция приводит к конфликтам независимо от того, что является ее вольной или невольной причиной, движущей силой и каковы ее масштабы. Групповой эгоизм и ксенофобия суть антропологические константы, предшествующие любым обоснованиям. Всеобщность их распространения свидетельствует о том, что они древнее любых известных нам общественных формаций.

Чтобы погасить эти чувства, избежать нескончаемых кровопролитий и достичь хотя бы минимального общения, обмена между различными кланами, племенами, этническими группами, древние придумали особые табу и ритуалы гостеприимства. Но подобные регуляторы не отменяют чужеродности чужака, а, напротив, закрепляют ее. Гость священен, однако оставаться он не должен.

VI

Но вот еще два пассажира открывают дверь купе. С этого мгновения статус предшествующей пары изменяется. Только что они были чужаками, захватчиками, теперь же они разом превратились в коренных обитателей. Они принадлежат к клану «местных», хозяев купе, и пользуются всеми привилегиями, на которые притязают вновь пришедшие. Как это ни парадоксально, но теперь они отстаивают «собственную» территорию, хотя заняли ее совсем недавно; примечательна их неприязнь к новым пришельцам, которые вынуждены преодолевать то же сопротивление, те же трудности приема в сообщество, которые пережили их предшественники. Поразительно быстрое забвение или даже отрицание собственного недавнего прошлого.

VII

Кланы, племенные союзы существуют на Земле с тех пор, как на ней появились люди. Нации же образовались всего лишь около двух веков тому назад. Различия вполне очевидные. Этносы возникают как бы сами собой, так сказать, естественным путем. Нации же суть результат сознательных усилий, зачастую они представляют собой искусственные формирования, которые не могут обойтись без специфической идеологии. Эта идеологическая основа, наряду с соответствующими ритуалами и эмблематикой (флаги, гимны), сложилась лишь в XIX веке, распространившись по всему миру из Европы и Северной Америки.

Стране, которая хочет стать национальной, необходимы развитое и кодифицированное самосознание, система особых институтов (армия, таможня, полиция, дипломатия), разнообразные юридические средства самоотграничения (суверенитет, гражданство, паспортная система и т. д.).

Многим — но не всем — нациям удалось воспользоваться унаследованными идентификационными формами. Психологически это весьма непростая операция. Те глубинные эмоции, которые прежде одухотворяли небольшие племенные союзы, мобилизуются для образования современного государства. Дело при этом редко обходится без исторических легенд. В крайнем случае славное прошлое собственного этноса попросту фальсифицируется, а уходящие в глубь веков достопочтенные традиции выдумываются. Однако абстрактная идея нации утверждалась естественным путем только там, где государство могло развиваться, опираясь на устоявшиеся порядки. Чем искусственнее его возникновение, тем сомнительнее и истеричнее национальное чувство. Это относится к «молодым» европейским нациям, новым, вышедшим из пут колониальной системы государствам, а также к насильственным союзам вроде СССР и Югославии, движущимся к распаду или гражданской войне.

На земном шаре просто нет наций с компактным, этническим абсолютно однородным населением. Национальное чувство, развившееся в большинстве государств, воспринимает этот факт с нескрываемым отвращением. «Коренная» национальность вследствие этого, как правило, никак не хочет смириться с существованием нацменьшинств, и каждая иммиграционная волна вырастает в политическую проблему. Ярким исключением из этой тенденции являются совре-

менные государства, возникшие в результате крупнейших миграционных процессов; прежде всего это США, Канада и Австралия. Миф об их возникновении — tabula rasa. Обратной стороной медали является уничтожение коренного населения. Лишь в последние десятилетия остаткам его были предоставлены весьма существенные права и статус нацменьшинств.

Почти все остальные нации оправдывают свое существование мощным стремлением их граждан сознавать себя людьми одной крови. Проводить различие между «своими» и «чужаками» кажется им их естественным правом, хотя с исторической точки зрения различие это чрезвычайно сомнительно. Тот, кто держится за право различать «своих» и «пришельцев», должен был бы, следуя собственной логике, утверждать, что он обитает здесь испокон веков. Однако нет ничего легче, чем опровергнуть этот тезис. Поэтому официальная историография предполагает способность забывать то, что ее не устраивает.

Отрицается, однако, не только собственное «лоскутное» происхождение. Крупномасштабные миграционные процессы всегда ведут к борьбе за распределение материальных ресурсов. Носители национального чувства охотно истолковывают эти неизбежные конфликты таким образом, как будто спор идет скорее из-за воображаемых, чем из-за сугубо материальных благ. Страсти разгораются по поводу различий в свойствах характера, приписываемых себе и «пришельцам», а это идеальное поприще для упражнений демагогов всех мастей.

VIII

Взаимные характеристики никогда не привести к одному знаменателю. Такова уж природа этого явления. Гармония тут всегда только кажущаяся. Фраза «финны коварны и горькие пьяницы» имеет совершенно разный смысл: все зависит от того, кто ее произносит — финн или швед. Доказательством является различная реакция, которую эта фраза вызывает в первом и во втором случае. Среди финнов ее может произнести только финн, но никак не швед, если он, конечно, не жаждет скандала.

За такого рода различиями всегда стоит долгая история контактов и конфликтов. Взаимосвязь и взаимозависимость при награждении эпитетами самих себя и чужестранцев весьма запутанны. Тут играют роль любопытство и желание понравиться, чувство собственного достоинства и стремление уязвить, давнишние обиды, скрытая враждебность, перенос собственных чувств, желаний, представлений на других людей в качестве защитного механизма, а также стратегия самокритики, иронии, обезоруживания.

А ведь раньше дело обстояло очень просто, как показывают следующие произвольно выбранные примеры.

Индейцы племени нахуа называли мужчин, женщин, стариков и детей соседних племен popolaca — «заики» и mazahua — «ревущие, словно олени».

Житель Германии зовется по-русски «немец». Это слово — производное от «немой»; то есть имеется в виду человек, лишенный дара речи. Исходным значением греческого слова bárbaros, которым назывались все негреки, является «запинающийся, лепечущий, бормочущий», и лишь потом оно стало нередко означать «необразованный, грубый, трусливый, жестокий, дикий, кровожадный, алчный, неверный».

Готтентоты, что на языке африкаанс означает собственно «заики», сами себя называют k'oi-n — людьми, человеками.

Название племени «айны» идентично со словом «человек», что не мешает японцам называть их emishi, то есть «варвары».

То же самое относится к камчадалам, называющим себя ительменами — «людьми, человеками». Их превосходят только чукчи, не сомневающиеся в том, что они луораветланы — «настоящие люди».

Клод Леви-Строс писал по поводу этого универсального осознания народами самих себя: «Известно, что понятие «человечество», включающее в себя все формы жизни вида Человек без различия между расами и цивилизациями, появилось довольно поздно и не получило широкого распространения. Человечество кончается на границах племени, группы индивидуумов, говорящих на одном наречии, иногда даже селения, поэтому многие так называемые примитивные народы дают себе имя,

означающее «люди, человеки» (или иногда, с большей скромностью,— «добрые», «хорошие», «выдающиеся», «совершенные»), одновременно указывая на то, что другие племена, сообщества, селения не обладают хорошими качествами — или даже природой — человека, а состоят в лучшем случае из «проходимцев», «злыдней», «обезьян, живущих на земле» или «гнид». Порой «инородцам» отказывают даже в последней степени признания, рассматривая их в качестве «призраков» или «явлений». Так возникает странная ситуация, заключающаяся в том, что собеседники самым жестоким образом обмениваются унизительными названиями».

IX

Сегодняшняя миграция отличается от переселений прежних времен в нескольких отношениях. Прежде всего в последние два столетия колоссально возросла мобильность. Торговля Европы с Новым Светом создала транспортные возможности, позволяющие миллионам людей переселяться, преодолевая громадные расстояния. Все расширяющийся мировой рынок требует глобальной мобилизации и осуществляет ее в случае необходимости насильственными методами, как показывает проникновение в Японию и Китай в XIX веке. Капитал ломает все национальные барьеры. Он мог бы практически использовать патриотические и национальные мотивы, но он, как великий стратег, игнорирует их, потому что стремление к максимальной прибыли не позволяет принимать в расчет частные интересы. Тенденция к свободному перемещению капитала влечет за собой свободное перемещение рабочей силы. Охват мировым рынком всего земного шара, завершившийся лишь недавно, сообщает новое качество и миграционным процессам. На смену колониальным войнам, завоевательским походам и депортациям, организуемым государствами, по-видимому, придут молекулярные перемещения человеческих масс. В отличие от электронных денег, следующих только собственной логике и играючи преодолевающих любое сопротивление, люди перемещаются в земном пространстве, словно повинуясь давлению непонятной силы. Их движение, после того как они снялись с насиженных мест, напоминает бегство. Назвать его добровольным было бы цинизмом.

X

Без обещаний никто не пускается в путь. В старые времена надежду будили мифы, предания, слухи. Рассказы о Земле Обетованной, лучезарной Аравии, сказочной Атлантиде, Эльдорадо, Новом Свете действовали магнетически, заставляя людей покидать родные места. Сегодня это высокочастотные картинки, которые глобальная сеть средств массовой информации приносит в самую глухую, бедную деревушку. Их правдивость еще меньше, чем у сказаний о заморских богатствах начала Нового времени. Воздействие же их несравненно сильнее. Особенно реклама, которая в богатых странах, где она делается, попросту понимается как простая система знаков без реально обозначаемого понятия, считается в странах «второго» и «третьего мира» надежным источником сведений о преимуществах новой жизни. Она в значительной степени определяет горизонт ожиданий, связываемых с миграцией.

XI

Испокон веков обмен популяциями был игрой, при которой сумма равнялась нулю. Численность населения земного шара колебалась во времени и пространстве, но абсолютный прирост населения был столь незначителен, что его можно было просто не принимать в расчет. Однако с тех пор, как оно растет стремительными темпами, правила игры изменились. Рано или поздно, но немыслимый количественный рост должен обязательно сказаться на качестве миграционных процессов.

Хотя утверждать, что это уже произошло, по меньшей мере спорно. Считается, что в Западной Европе сегодня живут более двадцати миллионов легальных иммигрантов из других регионов. Потоки беженцев на африканском и азиатском кон-

тинентах достигли аналогичной порядковой величины. Это большие числа. Однако если вспомнить, что в период с 1810 по 1921 год только в США переселились, преимущественно из Европы, 34 миллиона человек, то эти числа, очевидно, нельзя отнести к тем, к которым не применимы никакие исторические параллели. На фоне абсолютного прироста населения земного шара (специалисты ООН прогнозируют на десятилетие с 1990 по 2000 год средний прирост около одного миллиарда человек) масштабы миграции, имевшей место до последнего времени, можно считать незначительными. Это позволяет сделать заключение, что пока лишь малая часть потенциальных мигрантов стронулась с места. А значит, можно предположить, что великое переселение народов еще впереди.

Средства массовой информации уже уверовали в его фатальную неизбежность и рисуют апокалипсические картины с какой-то смесью страха и сладострастия. Для написания соответствующих сценариев используются все кризисные явления последнего времени: шаткое состояние мировой экономики, опасности, которые несет с собой технический прогресс, развал советской империи, угроза экологической катастрофы. Предвосхищаемая таким образом паника, может быть, служит даже иммунизации; она действует вроде психологической прививки. Но попыток решения проблемы она не рождает. В лучшем случае она ведет к политике stop and go [1] между робкими поползновениями что-то подремонтировать и блокадами мысли и действия.

XII

Представим себе спасательную шлюпку, которая до краев занята потерпевшими кораблекрушение. А вокруг нее в бушующем море еще держатся на плаву люди, которым грозит гибель. Как должны вести себя находящиеся в лодке? Отталкивать пытающихся держаться за борта или даже отрубать им руки? Но это — убийство. Помочь тонущим вскарабкаться в лодку? Но тогда она пойдет ко дну со всеми, кто в ней находится. Эта дилемма — из стандартного набора «аргументов», приводимых казуистами. Из поля зрения морализирующих философов и иже с ними как-то ускользает обстоятельство, что сами они сидят на бережку. И именно поэтому оказываются досужими все их рассуждения, к какому выводу они ни приходили бы. В уютной атмосфере дискуссионного клуба лопаются как мыльные пузыри самые благие намерения, потому что никто не в состоянии нарисовать убедительную картину своего поведения в случае реальной опасности.

Притча о спасательной шлюпке заставляет вспомнить купе железнодорожного вагона. Только в притче все заострено до предела. Пассажиры тут тоже ведут себя так, как будто они являются хозяевами, только территория, которую они считают своей и которую поэтому отстаивают, превратилась в ореховую скорлупку на поверхности бушующего моря, и речь идет уже не о том, чтобы у них было немножко больше комфорта, а о жизни и смерти.

Притчу о спасательной шлюпке в политической дискуссии о великом переселении народов вспоминают, конечно, не случайно, причем в форме категорического утверждения: «Лодка переполнена». То, что это утверждение не соответствует действительности, полбеды. Достаточно оглянуться вокруг себя, чтобы опровергнуть его. Это знают и те, кто выступает с подобным утверждением. Но им не важно, истинно ли оно, им важно указать на призрак, содержащийся в нем, а вот это и не может не вызывать удивление. Очевидно, многие западноевропейцы считают, что их жизни угрожает опасность, сравнивая свое положение с положением потерпевших кораблекрушение. Метафора, однако, словно бы ставится с ног на голову. Люди, воображающие себя беженцами в спасательной шлюпке, эмигрантами, покидающими среднюю палубу, или истощенными голодом албанцами на переполненном корабле-призраке, на самом деле не покидали своих уютных жилищ; они — настоящие старожилы. Воображаемое кораблекрушение должно, по-видимому, оправдать поведение в экстремальных ситуациях, если таковые наступят. Так что отрубленные руки из притчи машут нам в знак приветствия.

---

[1] Медленное движение и частые остановки *(англ.).— Здесь и далее прим. перев.*

XIII

Сравнение с купе железнодорожного вагона несет в себе нечто утешительное; уже хотя бы потому, что место действия легкообозримо. Даже на страшной картине, изображающей спасательную лодку, можно разглядеть отдельных людей. Различимы лица, движения, судьбы — как на картинах Жерико. На «Плоту «Медузы» видны восемнадцать человек. В данных современных статистических ведомств самая ходовая цифра — миллион, идет ли речь о голодающих, безработных или беженцах. Перед крупными величинами наше воображение чувствует себя обезоруженным. Это хорошо известно деятелям различных организаций, чья миссия заключается в оказании разного рода помощи, и людям, собирающим пожертвования. Поэтому на своих плакатах они всегда изображают одного-единственного ребенка с безутешным взглядом широко раскрытых глаз: сострадание должно соответствовать масштабам катастрофы. У террора больших величин нет глаз. Способность к сопереживанию просто пропадает, когда ее нещадно эксплуатируют, а разум осознает свое бессилие.

XIV

«Лишний, лишний... Отличное это придумал я слово. Чем глубже я вникаю в самого себя, чем внимательнее рассматриваю всю свою предшествующую жизнь, тем более убеждаюсь в строгой истине этого выражения. Лишний — именно. К другим людям это слово не применяется... Люди бывают злые, добрые, умные, глупые, приятные и неприятные; но лишние... нет».

Ивану Сергеевичу Тургеневу и в голову бы не пришло считать лишними свою няньку, кучера, крестьян в имении, тем более целые деревни, губернии, народы, континенты. Жизнь его героя Чулкатурина кажется сегодня, по прошествии ста пятидесяти лет, чуть ли не идиллией. Он рассказывает о своем отце-помещике, своих имениях, хандре, одиночестве, пресыщенности жизнью. «К другим людям,— рассуждает он,— это слово не применяется».

Точка зрения Чулкатурина оказалась заблуждением с опустошительными последствиями. Конечно, уничтожение целых сел или даже городов происходило во все времена, и всегда где-нибудь царила жестокая нужда. Враги оставались врагами, бедняки — бедняками. Но лишь с тех пор, как история стала всемирной историей, целые народы оказались лишними, а именно в результате действия сил, которые, как ни странно, остаются безличными. Судьями, выносящими приговор, являются «колониализм», «индустриализация», «технический прогресс», «революция», «коллективизация», «окончательное решение» [1], «Версаль» или «Ялта». Приговор выносится гласно и систематически приводится в исполнение. И ни у кого не остается сомнений в том, какая каждому уготована судьба — переселение из деревни в город, эмиграция, депортация или геноцид.

Преступлений, организуемых государством, не убавилось, но высшим анонимным судьей все чаще выступает «мировой рынок», объявляющий все новые и новые народы лишними, причем не посредством политической травли, «приказов фюрера» или партийных решений, а как бы само собой, в силу собственной логики, ведущей к тому, что из него «выпадает» все больше людей. Результат — не менее убийственный с той лишь разницей, что виновника все реже удается задержать на месте преступления. В переводе на язык экономистов это звучит так: колоссально растущему предложению рабочей силы спрос не соответствует; он явно понижается. Даже в богатых странах любой гражданин может завтра оказаться лишним. Как быть с ним?

XV

Логика навязчивых представлений такова, что две взаимоисключающие фобии могут спокойно уживаться в одном мозгу. Это объясняет, почему многих сторонников сравнения со спасательной шлюпкой одновременно преследует призрак,

[1] Имеется в виду «решение еврейского вопроса» в нацистской Германии.

олицетворяющий страх прямо противоположного свойства. И в этом случае предпочтение отдается форме безапелляционного утверждения: «Немцы (французы, шведы, итальянцы и т. д.) вымирают». Стенания такого рода основываются на шатком фундаменте долгосрочных экстраполяций роста населения Земли в данный момент, хотя подобные прогнозы в прошлом сплошь и рядом оказывались ложными. Картина рисуется, разумеется, самая ужасная: быстрое старение, дряхление, обезлюдение, причем озабоченные взгляды бросаются в сторону экономического роста, налоговых поступлений и пенсионной системы.

Таким образом, паника рождает представление, что на одной и той же территории может жить слишком мало и слишком много людей. Эту болезнь я предлагаю назвать демографической булимией [1].

XVI

Анализы, сделанные в те далекие времена, когда по крайней мере предпринимались попытки наметить контуры политэкономии миграционных процессов, прямотаки поражают своей трезвостью на фоне горячечного бреда сегодняшних комментаторов. На рубеже веков американский экономист Ричмонд Майо-Смит дал образец такого хладнокровного расчета:

«Иммигранты обычно не привозят с собой сколь-либо значительного капитала. Как правило, это суммы, которые они посылают домой для поддержки своих семей и друзей или для того, чтобы их родственники могли эмигрировать. Собственно ценностью в качестве производственного фактора является сам иммигрант. Говорят, что, например, взрослого раба оценивали в 800—1000 долларов. Денежную стоимость взрослого иммигранта я бы определил такой же суммой.

С другой стороны, можно слышать утверждения, что денежная стоимость каждого взрослого переселенца равна затратам на воспитание ребенка в течение первых 15 лет его жизни. По расчетам Эрнста Энгеля, эти затраты в Германии составляют 550 долларов. Если же действовать строго по науке, то надо вычислить зарплату иммигранта, которую он получит до конца своей жизни, и вычесть из этой суммы прожиточный минимум. Разность составит чистая прибыль, которую он приносит своей второй родине. По подсчетам В. Фарра, в случае необученного английского переселенца это около 175 фунтов стерлингов. Помножив общее число иммигрантов на эту сумму, получим годовой эффект иммиграции в денежном выражении.

Однако все эти попытки вычислить денежную стоимость миграции неточны, так как не учитывают квалификацию рабочей силы и спрос на нее на рынке труда. Расходы на содержание иммигранта окупаются только в том случае, если у него отменное здоровье, а также если он честен и прилежно работает. Иначе, будучи больным, увечным, нечестным или ленивым, вместо того чтобы приносить обществу доход, он станет для него обузой. Но даже при всех указанных положительных предпосылках чистая прибыль принесет эффект лишь в том случае, если существует спрос на иммигранта как на рабочую силу».

XVII

В Европе долгое время больше беспокойства вызывали последствия эмиграции, а не иммиграции. Споры на эту тему велись уже в XVIII веке. Понятие «полная заселенность» рождено философией меркантилизма. Отток людей из страны расценивался тогда как кровопускание, эмиграцию пытались ограничить, даже запретить. Нелегальная эмиграция, а особенно вербовка эмигрантов и содействие им во многих государствах карались телесными наказаниями и смертной казнью. Коммунисты, как известно, вплоть до последнего времени придерживались этой практики. Еще Людовик XIV приказал зорко охранять границы, чтобы держать своих подданных в их пределах. В Англии запрет на выезд квалифицированных рабочих из страны сохранялся до середины XIX века. В Германии налог с эмигрантов взимался

[1] Булимия — приступы ненасытного голода при приеме пищи.

до 1817 года. Нацисты конфисковывали имущество покидающих Германию евреев до тех пор, пока не решили истреблять их, вместо того чтобы вынуждать отправляться в изгнание.

XVIII

Ирландия — классический пример страны, граждане которой покидали ее в массовом масштабе. В результате жесточайшей эксплуатации со стороны англичан в 40-е годы прошлого столетия там разразился голод, последствия которого чувствуются до сих пор. В 1843 году население Ирландии составляло восемь с половиной миллионов человек; в 1961 году в стране едва насчитывалось три миллиона граждан. В период с 1851 по 1901 год из Ирландии выехало 72 процента ее жителей. И сегодня Ирландия относится к беднейшим странам Западной Европы. Можно долго ломать себе голову над вопросом: виной ли тому эмиграция, или она, наоборот, облегчила материальное положение населения,— легче от этого ирландцам не становится.

Пожелавший остаться неизвестным автор одного толкового словаря, изданного в 1843 году, приходит, возможно, к наивному, но тем не менее впечатляющему выводу: «Эмиграция не является панацеей от пауперизма. Если бы сегодня даже удалось увезти всех бедняков из стран, где обнищание стало массовым явлением, то через двадцать, а может быть, даже уже и через десять лет их будет там опять столько же, если не устранить причины пауперизма. Государству следует стремиться главным образом к созданию и поддержанию в стране таких условий, при которых нужда и отчаяние не заставляют людей покидать свою родину».

XIX

При оценке последствий эмиграции решающим является тот факт, что переселенцы никогда не представляют всю популяцию. «Шансов достичь успеха в новой для себя стране, идя при этом на риск, ищут люди энергичные, умелые, честолюбивые; бедные, вялые, слабые, физически неполноценные остаются дома,— пишет все тот же американский экономист Майо-Смит.— Утверждают, что вследствие этого в стране, из которой эмигрируют люди, происходит селекция отрицательного характера».

Этот тезис не потерял актуальности и в наши дни. Утечка мозгов, своего рода демографический отлив капитала, причиняет таким странам, как Китай и Индия, а также странам СНГ тяжелейший урон. Brain drain способствовал в немалой степени и развалу ГДР. В последние десятилетия многие талантливые люди умственного труда покинули Иран. Число врачей из стран «третьего мира», работающих в Западной Европе, выше, чем число специалистов из стран Европейского сообщества в Азии, Африке и Латинской Америке, хотя там повсеместно ощущается острая нужда в квалифицированных медиках.

Чем выше квалификация иммигрантов, тем меньше предвзятости по отношению к ним. Астрофизик-индиец, выдающийся китайский архитектор, лауреат Нобелевской премии с Черного континента — во всем мире им говорят «добро пожаловать!». О людях богатых в этой связи вообще нет речи. Никому и в голову не придет подвергать сомнению их право свободного передвижения и повсеместного проживания. Для коммерсанта из Гонконга приобрести британский паспорт — не проблема. Теоретически выходец из любой страны может стать швейцарским гражданином — вопрос только в толщине его кошелька. Никто еще презрительно не поморщился при виде султана Брунея из-за цвета его кожи. Когда у пришельца из другой страны на банковском счету миллионы, ненависть к нему испаряется, как туман в лучах яркого утреннего солнца.

В этом отношении всех превосходят торговцы наркотиками и оружием вкупе с банкирами, отмывающими свои деньги. Рас для них не существует, они выше любого национализма. Вероятно, они единственные люди на Земле, которые свободны от всяких предрассудков. Чем беднее чужаки, тем они «чужее».

XX

Но и бедняки не представляют собой однородного сообщества. Во всех богатых странах существует сложная процедура контроля над иммиграцией. Она благосклонна к людям с качествами, которые ценятся при капитализме, как-то: жизненный опыт, способность иметь успех, гибкость, предприимчивость на грани допустимого законом. Без этих добродетелей при преодолении бюрократических барьеров не обойтись. В некоторых ситуациях, напротив, ценится голая физическая сила. До самого последнего времени лишь самым молодым и выносливым албанцам удавалось добиться у итальянских иммиграционных властей разрешения на въезд в страну.

«С другой стороны, утверждают, что люди, которым на родине живется хорошо, менее всего склонны эмигрировать, ибо выигрыш для них от этого минимален.— И Майо-Смит продолжает: — Поэтому стремление поискать счастья в другой стране свойственно скорее людям беспокойным, неудачникам и, конечно, тем, кто не выдерживает жесткой конкуренции на рынке труда в собственной стране».

Истинность этого наблюдения доказывают люди, становящиеся по своей доверчивости жертвами организаций, которые, не гнушаясь никакими средствами, вербуют рабочую силу в странах Азии, Африки и Восточной Европы. Обычно они не имеют ни малейшего представления о том, что их ожидает вдали от родины. Прибыв в другую страну, эти переселенцы выглядят вялыми, апатичными, давно потерявшими всякую надежду добиться в жизни маломальского успеха.

XXI

Черный рынок расцветает везде, где есть ограничения. По принципу сообщающихся сосудов он обеспечивает равновесие между спросом и предложением, игнорируя законы, предписания и этические нормы. Поскольку полностью закрытых систем в реальном мире не существует, можно путем контроля осложнить нелегальный переброс рабочей силы, но предотвратить его невозможно. Торговцы, специализирующиеся на таких операциях, находят всевозможные лазейки, им не страшны никакие пограничные заграждения.

Нелегальная торговля людьми получила развитие во всех зажиточных странах. Однако если на классическом черном рынке цены всегда выше, чем в легальной торговле, то черный рынок рабочей силы следует обратной логике. Здесь царит не недостаток, а избыток. Лишние люди дешевы. Тайная иммиграция снижает цену рабочей силы.

Каждый нелегальный работающий иммигрант предполагает, однако, наличие нелегально действующего предпринимателя. Теневая экономика обычно тесно связана с мафиозными организациями по вербовке и доставке рабочей силы. Ситуация, напоминающая торговлю невольниками, характерна прежде всего для строительного дела, текстильной промышленности и сферы самых простых услуг.

В некоторых районах США и странах европейского Средиземноморья теневая экономика обладает такой политической властью, что в состоянии оказывать заметное влияние на правительство. В Германии чиновники из органов управления городов и земель тоже сплошь и рядом закрывают глаза на нелегальное использование рабочей силы. Постановления, направленные на ограничение иммиграции, хоть и не явно, но саботируются, в результате чего заключаются весьма своеобразные компромиссы.

Отсутствие данных об объеме современной работорговли объясняется самой ее природой. Никто не заинтересован в том, чтобы определить этот объем. Не подлежит сомнению только то, что не поддающиеся учету цифры очень высоки. В США предположительно насчитывается несколько миллионов нелегальных иммигрантов, главным образом из Мексики. Италия, видимо, также давно перешагнула миллионный рубеж. Куда ни бросишь более пристальный взгляд, везде обнаруживается, что официально провозглашенная «политика в отношении иностранцев» основана на лжи.

XXII

Решает ли великое переселение какую-либо проблему? И если решает, то какую? Стала бы жизнь в Албании (возьмем крайний случай) легче, если бы половина ее трудоспособного населения вдруг осела в других странах? «Общего ответа на этот вопрос не существует». К такому достаточно общему выводу пришел в свое время Ричмонд Майо-Смит. Сегодня, сто лет спустя, добавить к этому почти нечего.

XXIII

«Греческое божество Asylon [1], божество неприкосновенности, обещало дар иммунитета не только каждому безвинно преследуемому, особенно чужестранцу, но даже совершившему убийство, ибо таким образом пресекалась кровная месть. Так было положено начало вторичному политико-социальному формированию идеи предоставления убежища в утилитаристском духе правопорядка, уже в основном не связанного религиозными канонами. Убежище предоставлялось уже не всем и каждому, а лишь выдающимся личностям в качестве привилегии, определяемой государственными, политическими и экономическими интересами и требующей дипломатического признания в форме декрета. Этот правопорядок гарантировал таким образом защиту практически бесправного иностранца в интересах международной торговли». (Из лексикона античной культуры «Малый Паули». Мюнхен, 1975 г., том I, стр. 671.)

Предоставление убежища является древним обычаем сакрального происхождения. Греки первыми придали ему четкие формы, но сведения о нем встречаются в истории и многих других племенных сообществ, например, иудеев. Обычай этот соблюдался и в средние века. Преступников и должников, прятавшихся в церквах, можно было выдать светскому правосудию только с разрешения епископа. Затем на этот обычай стали накладывать все большие ограничения, сперва в странах с протестантской верой, а с введением современного уголовного права он исчез совсем.

Международное право признавало сначала в качестве политического убежища здания дипломатических миссий. В Латинской Америке эта традиция сохранилась по сегодняшний день. Суверенные государства ввели право предоставлять убежище иностранцам, преследуемым на их родине по политическим мотивам, и отказывать в их выдаче. При этом имеется в виду не личное право беженца, а право государства, дающего ему приют. Классическими примерами такой практики были полякиповстанцы, а также революционеры Гарибальди, Кошут, Луи Блан, Бакунин и Мадзини. На родине их считали преступниками, в странах, предоставивших им убежище, нередко чествовали как героев.

Беженцы, которых у нас называют «asylanten», обычно не имеют ничего общего с этим историческим явлением. Сегодняшнее употребление этого слова идет от значения, которое оно приобрело в викторианские времена.

«Наиболее часто встречающимися приютами, потребность в которых ощущается главным образом в больших городах, являются ночлежные дома для: 1. пьяниц; 2. проституток (такие приюты часто носят имя Св. Магдалины); 3. людей, отбывших тюремное заключение и не имеющих постоянного занятия; 4. бедных рожениц; 5. бездомных бродяг». Старомодно звучащая цитата взята из толкового словаря, изданного в Германии в конце прошлого века.

К первоначальному смыслу предоставления убежища эти мрачные заведения не имеют, конечно, никакого отношения. Они предназначены не для чужестранцев, а для местных жителей, как правило, отвергнутых обществом. Объединяет этих людей только одно — их бедность.

XXIV

Идея предоставления убежища была двусмысленной с самого начала. Религиозно окрашенная этика и умение приспосабливаться заключили компромисс, распоз-

[1] Неограбленный, нетронутый, нераненый *(греч.)*.

нать суть которого весьма затруднительно. Речь вначале шла о разбойниках и убийцах (даже если убийство совершалось без отягчающих обстоятельств). Внутри собственного клана не существовало иного наказания, чем бесконечная цепь актов отмщения. Человек, не принадлежавший к племени, был совершенно бесправен. Асилия, то есть — этимологически — место, где тебя не ограбят, была своего рода паллиативом, позволявшим как-то осуществлять обмен и сношения между племенами, несмотря на наличие границ.

При этом приходилось мириться с тем, что неприкосновенными считались в равной мере виновные и невиновные, преступники и их жертвы. Нравственная двусмысленность этого компромисса прослеживается вплоть до наших дней. Достаточно вспомнить о том, как Пол Пота приняли в Пекине, Иди Амина в Ливии, Маркоса на Гавайях, Стресснера в Бразилии, не говоря уже о многочисленных нацистах, нашедших с помощью Ватикана убежище в Латинской Америке. Возможно, первоначально такая практика основывалась на намерении открыть свергнутым диктаторам пути к отступлению и уменьшить риск возникновения гражданской войны. Однако на примере Камбоджи видно, что предоставление политического убежища может служить и обратной цели, а именно раздуванию конфликта. «Благородный» политэмигрант поэтому остается одной из символических фигур XIX века. В исторической перспективе он обречен быть исключением из правила.

XXV

Соединение права убежища с вопросами иммиграции и эмиграции имеет роковые последствия. В результате расширительного толкования понятия «убежище» с социальной и политической точек зрения путаница стала еще большей. Совершенно непонятно, почему иммигрантов нужно приравнивать к свергнутым диктаторам, беглым преступникам, алкоголикам или бродягам. В итоге слово «asylant» стало отрицательно заряженным, провоцирующим на столкновения понятием, синонимом дискриминации.

Однако намеренное смешение понятий мстит тем, кто его практикует, ибо деление людей на хороших и плохих противоречит самой идее предоставления убежища, не признающей лозунга: «Кто является «настоящим» иммигрантом, просящим убежища, решаю я!»

Между прочим, сделать это невозможно при самых лучших намерениях, говорить о которых едва ли приходится. Проведение различий между беженцами по экономическим мотивам и диссидентами стало во многих странах, которые являются родиной тех и других, сущим анахронизмом. Правовое государство, которое захотело бы проводить такие различия, неизбежно бы опозорилось, ибо все труднее становится оспаривать тот факт, что обнищание целых континентов имеет политические причины, причем провести четкую границу между эндогенными и экзогенными факторами практически невозможно. Незаметно охватившая весь мир гражданская война между теми, кто наживается на иммиграции, и теми, кто, эмигрируя, подвергает себя тяжким страданиям, ведется в конце концов не только с помощью бомб, орудий и автоматов. Коррупция, задолженность, утечка капитала, гиперинфляция, эксплуатация, экологические катастрофы, религиозный фанатизм и просто неспособность управлять делами государства могут достичь такой степени, что основания для бегства за границу будут столь же вескими, как и страх перед прямой угрозой тюремного заключения, пыток или даже расстрела. Уже этого достаточно для того, чтобы потерпели крах все попытки провести административным путем разграничения между иммигрантами, побудительные мотивы которых безупречны, и людьми, которые стремятся к переселению в другую страну в корыстных целях.

XXVI

Германию вполне можно рассматривать как пример страны, население которой образовалось в результате крупномасштабных миграций. С древнейших времен и по самым различным причинам одни народности здесь постоянно сменялись другими.

Уже в силу географического положения немцы, также как и австрийцы, представляют собой необычайно пестрый народ. То, что идеи расового превосходства и «чистоты крови» добились политического господства именно здесь, объясняется скорее всего комплексом неполноценности. Ариец всегда был не чем иным, как смехотворной игрой воображения. (Этим германский расизм отличается от японского, идеологи которого ссылаются на относительно высокую этническую однородность населения островов.) Достаточно заглянуть в любой атлас по истории, чтобы понять: представление о немецком народе как о чем-то компактном, монолитном, является в высшей степени ложным. Утверждать такое можно только для того, чтобы укрепить шаткую конструкцию национальной идентичности домыслами и фикциями.

Свидетельством тому история страны в первой половине XX столетия. Вторая мировая война мобилизовала немцев не только в смысле отправки на фронт. В сравнении с этими катастрофическими перемещениями людских масс все сегодняшние завихрения кажутся пустяком. Мало того, что бóльшая часть мужского населения оказалась рассеянной на огромных пространствах от северного побережья Норвегии до Кавказа (а будучи в плену, и по Сибири и северовосточным американским штатам), мало того, что фашисты вынудили к эмиграции или уничтожили бóльшую часть немецкой интеллигенции и все еврейское население; во время войны в Германию были насильственно угнаны около десяти миллионов рабочих почти из всех стран Европы. Треть из них составляли женщины. В результате около трети всех рабочих мест, а в военной промышленности даже более половины, были заняты иностранцами. После войны за ними последовали миллионы перемещенных лиц, хотя в Германии из них остались лишь очень немногие.

Когда стих гул сражений, поднялись новые миграционные валы. Число беженцев, прибывших в период с 1945 по 1950 год с Востока во все четыре оккупационные зоны, оценивается в двенадцать миллионов; к ним добавились за последние десятилетия почти три миллиона переселенцев немецкого происхождения из стран Восточной Европы и Советского Союза. С территории бывшей ГДР в период с 1944 по 1989 год на Запад переселились 4,4 миллиона человек. С середины 50-х годов началась систематическая вербовка рабочих в других странах, в результате главным образом благодаря этой кампании в Германии сегодня легально проживает свыше пяти миллионов иностранцев. (Перед первой мировой войной доля иностранцев в населении Германской империи, включая поляков из провинций Восточной Пруссии, составляла 10 процентов, так что сегодня до этой цифры еще далеко.)

Право убежища играло в этих миграционных процессах вплоть до конца 80-х годов совершенно незначительную роль. Более того, в период с 1955 по 1986 год ежегодно от 400 до 600 тысяч немцев эмигрировало. Как ни странно, но в политических дискуссиях этот факт обходят молчанием.

Остается только гадать, почему народ, испытавший такое на протяжении жизни одного поколения, страдает на фоне сегодняшних миграционных потоков от болезненного представления, что явлений подобного рода история еще не знала. Создается впечатление, что у немцев происходит потеря памяти, которую мы наблюдали у пассажиров, приводя пример с купе железнодорожного вагона. Являясь в большинстве своем пришельцами, они, едва устроившись на новом месте, настойчиво претендуют на привилегии тех, которые жили здесь испокон веков. Последствия, как известно, не ограничиваются ярко выраженным нежеланием потесниться в купе первого класса. Начиная с 1991 года на людей идет самая настоящая охота.

XXVII

Является ли ненависть к иностранцам чисто немецкой проблемой? Будь это так, ничего безобразного в этом не было бы, просто в это трудно было бы поверить. Решение проблемы напрашивалось бы само собой. Достаточно было бы ФРГ изолировать, и остальной мир вздохнул бы с облегчением. Можно было бы сослаться на некоторые соседние страны, противодействующие иммиграции куда более жесткими методами, чем немцы, и установившие гораздо более низкие квоты приема иммигрантов, чем Германия. Но заниматься такими сравнениями бесполезно. То, что ксенофобия — всеобщее явление, не подлежит сомнению. Ир-

рациональность противоборства тоже не типично немецкое явление. Похоже, разум повсюду пасует перед этой темой. Что же такого странного в немцах? Почему здесь наметилась такая резкая поляризация?

Объяснить это только чувством исторической вины немцев, сколь обоснованным оно бы ни было, едва ли возможно. Причины следует искать в прошлом. Они кроются в сомнительном осознании себя как нации. Это же факт, что немец не может терпеть ни себя, ни своих соплеменников. Эмоции, хлынувшие на поверхность при воссоединении Германии, не оставляют в этом сомнения. А ведь тому, кто не любит самого себя, полюбить «дальнего своего» еще труднее, не так ли?

Это доказывает не только неприязнь к иностранцам, простирающаяся от игнорирования очевидных фактов («Германия и иммиграция — вещи несовместные!») до формирования банд вооруженных молодчиков, но и ее прямая противоположность.

Нигде пышная риторика не ценится выше, чем здесь. Защита иммигрантов сопровождается чтением морали, насквозь пронизанной уверенностью в собственной непогрешимости. Достаточно назвать такие фарисейские лозунги, как «Иностранцы, не оставьте нас наедине с немцами!» или «Не допустим, чтобы Германия появилась снова!». Клеймо расизма повертывается обратной стороной. Иммигрантов идеализируют — по схеме, напоминающей филосемитизм. Вывертывание предрассудка наизнанку, если зайти с этим достаточно далеко, может привести к дискриминации большинства. Ненависть к самому себе проецируется на других, к примеру, лживым утверждением «я — иностранец», которым, как известно, бравировали многие знаменитости германских кровей.

При этом остатки левых сил образуют весьма странный альянс с духовенством. Союзы подобного рода наблюдаются и в скандинавских странах. Напрашивается предположение, что эта позиция в известной степени связана с политической культурой протестантизма. Провозглашение заповедей из Нагорной проповеди, бесспорно, относится к задачам церкви. То, что эти заповеди не соблюдаются, не может служить возражением в религиозном контексте. Заявления о приверженности к ним становятся ханжескими лишь тогда, когда они выдаются за политические решения. Тот, кто призывает своих соотечественников приютить всех страждущих и обремененных мира сего, возможно, ссылаясь при этом на коллективные преступления от завоевания Америки до массового истребления евреев фашистами, но не просчитывает при этом последствий, не оказывает политического и экономического содействия, не думает, осуществима ли вообще такая акция, тот не внушает доверия и недееспособен. Социальных конфликтов, уходящих корнями в глубь веков, проповедями не решить.

Потерявшие ориентировку левые, очевидно, по-прежнему слепо верят в то, что строптивое бытие можно подчинить правильному сознанию, если только народу задать как следует жару, и верят они в это словно в издевку над собственными классиками и несмотря на сокрушительное фиаско, которое потерпел изолгавшийся вконец социализм. То, что кучка самозванцев-праведников желает иметь под собой другой народ, можно объяснить их педагогическим честолюбием, но едва ли моральный шантаж изменит образ мысли. «Не проще бы было, если бы пастыри распустили народ и избрали себе иной?»

XXVIII

Склонность немецкой интеллигенции держаться за собственные принципы, даже если шаткость их очевидна, стала притчей во языцех. Она ведет не только к постоянному этическому перенапряжению и раз за разом повторяющейся потере веры в интеллигенцию; у нее есть и другая неприятная сторона. Мало того, что немцам трудно разобраться в самих себе и своих соседях, нет, нужно поднимать на щит злодеев из недавнего прошлого и ставить их в пример другим народам, дабы преисполненные раскаяния германцы принесли исцеление жителям стран «второго» и «третьего мира». Идея и в этом случае терпит крах, едва столкнувшись с материальным интересом. Хорошо еще, что такая манера делать политику связана с наименьшим риском, она вызывает лишь чувство неловкости.

XXIX

Предсказать, сколько иммигрантов способна принять та или иная страна, невозможно, ибо задача содержит слишком много независимых переменных. К тому же дело не только в абсолютных величинах. Социально-психологические процессы приспособления к новым жизненным условиям и приобретения необходимых знаний не поддаются безграничному ускорению. У населения стран, не имеющих достаточного опыта приема иммигрантов, резкое увеличение квот приема может вызвать почти аллергическую реакцию.

Однако с помощью экономического анализа можно определить оптимальные отправные точки. Конфликты, неизбежно возникающие в результате массовой миграции, обострились лишь после того, как безработица в странах, принимающих иммигрантов, стала хронической. Во времена полной занятости, которые, видимо никогда не повторятся, были завербованы миллионы рабочих. В США прибыли почти десять миллионов мексиканцев, во Францию — три миллиона жителей из стран Магриба, в ФРГ — пять миллионов граждан разных стран, в том числе почти два миллиона турок. Нашествие это не только не вызывало нетерпимости, оно бурно приветствовалось. Настроение круто переменилось лишь тогда, когда кривая структурной безработицы пошла вверх, и это при растущем материальном благосостоянии. С тех пор шансы иммигрантов продать свою рабочую силу на рынке труда резко упали. Многим предстоит стать получателями пособия по безработице — незавидная карьера. Другие вынуждены находиться на нелегальном положении вследствие труднопреодолимых бюрократических барьеров. Они обречены на случайную работу, за выполнение которой им грозит штраф, или вынуждены, чтобы как-то существовать, совершать уголовно наказуемые преступления. Предрассудок превращается, таким образом, в прорицание, которое, как говорят англичане, исполняется само собой.

XXX

Другим препятствием для иммиграции, трудность преодоления которого недооценивается, является «государство всеобщего благоденствия». В отличие от Америки, где пришелец не может рассчитывать получить какое-либо социальное вспомоществование, жителям многих европейских государств гарантирована минимальная поддержка в виде пособий по безработице, в случае заболевания и т. п. В принципиальном праве на получение долговременной помощи нельзя будет отказать и иммигрантам.

Однако там, где священным признается право не только частной, но и коллективной собственности, шансы распространить чувство солидарности на чужеземцев незначительны. Лавировать тут приходится и профсоюзам, и социал-демократам, тем более что на «государство всеобщего благоденствия» оказывается все больший нажим. Существующие системы социального обеспечения считают себя товариществами, члены которых платят обязательные взносы. Их жизненный срок краток, долгосрочное финансирование с их стороны проблематично.

Бесполезно убеждать членов этих товариществ с помощью точных расчетов в том, что пришельцы из других стран являются не только потребителями, но и налогоплательщиками и что иммиграция может положительно повлиять на возрастную структуру населения. Ибо для этого нужна предпосылка в виде готовности рынка труда принять рабочую силу из-за границы. Многие демографы и без того считают надежды на такого рода компенсации химерой. Иммиграция, говорят они, должна была бы достичь для восстановления традиционной возрастной пирамиды огромных порядковых величин. Расчеты показывают, что США в этих целях в год понадобилось бы от четырех до десяти миллионов, ФРГ не менее одного миллиона относительно молодых иммигрантов. Однако ничто не говорит в пользу того, что эти страны справились бы с подобным притоком как в политическом, так и в экономическом отношении.

XXXI

В субъективном аспекте дело обстоит, пожалуй, еще хуже. О готовности и способности к интегрированию сегодня не может быть речи ни в одной стране, причем никоим образом. Мультикультурное общество — звук пустой, пока будут замалчиваться, а не проясняться трудности, связанные с этим понятием. Ожесточенные споры вокруг него ни к чему не приведут, пока люди не узнают или хотя бы не захотят узнать, что понимается под «культурой». «Все, что люди делают или не делают»,— это, кажется, самое точное определение, которым могут оперировать участники дискуссий. И уже хотя бы по этой причине дебаты обречены на то, чтобы вновь и вновь порождать противоречие между умалением опасности и метанием громов и молний, идиллическим спокойствием и паникой.

Опыт, накопленный в прошлом в обращении с массовыми пришествиями иностранцев, в дискуссиях на эту тему игнорируется. Противники иммиграции ничего не хотят знать об удачных примерах, кои можно найти всюду, начиная от шведов, осевших в Финляндии, и гугенотов и кончая поляками в Рурском бассейне и беженцами из Венгрии после событий 1956 года. Сторонники иммиграции ничего не желают слышать о факторах связанного с ней риска. Они не приемлют ссылок на гражданские войны в Ливане, Югославии и на Кавказе, равно как и кровавые стычки в крупных городах Америки. Идею многонационального государства удавалось реализовать крайне редко. Не будем требовать от читателя, чтобы он помнил о распаде Османской империи или Габсбургской монархии. А вот что касается Советского Союза, то здесь не требуется абсолютно никакого знания истории — достаточно включить телевизор. Используя мощный пропагандистский аппарат, там десятилетиями людям вдалбливались идеи общности целей и чувство братского единения. В результате — взрыв с непредсказуемыми последствиями.

Коллизии разного рода маячат на горизонте и в странах, ставших классическим примером приема чужеземцев на постоянное место жительства. Долгое время пришельцы проявляли ярко выраженную готовность к вживанию в новые условия, хотя, конечно, весьма сомнительно, что знаменитый «горн, в котором переплавляются разные нации, образуя сплав-монолит», когда-либо существовал. Иммигранты в большинстве своем тонко чувствовали разницу между интеграцией и ассимиляцией. Они принимали писаные и неписаные нормы общества, которое давало им приют, однако долго держались своих культурных традиций, часто стремились сохранить свой язык и свое вероисповедание.

Сегодня рассчитывать на такое поведение не приходится ни у укоренившихся нацменьшинств, ни у прикочевавших в последние годы. Общее, связывающее коренное население с пришельцами, все чаще игнорируется последними. Бедность и дискриминация привели к идеологизации меньшинств, особенно в США, Великобритании и Франции. Отверженные поворачивают оружие противника против него самого и отгораживаются от коренных жителей. Быстро растет число групп населения, требующих признания за ними «национальной идентичности». Что следует, однако, под этим словосочетанием понимать, остается загадкой. Воинствующие лидеры этих групп выдвигают сепаратистские требования. Лозунги при этом иногда берутся из наследия, оставленного трайбализмом. Много разговоров о «нации» темнокожих и исламской «нации». В Англии пакистанские фундаменталисты создали «Мусульманский парламент», ссылаясь на то, что исламисты в этой стране образуют собственную политическую систему. Заговорщицкие теории находят массу приверженцев. Большинство темнокожих в США всерьез верит, что за торговлей наркотиками скрывается планомерное стремление белых искоренить черное меньшинство.

Конфронтация существует не только по отношению к коренному населению, но и между нацменьшинствами. Афро-американцы сражаются с евреями, латиноамериканцы с корейцами, гаитяне против местных чернокожих и т. д. Социальные конфликты приобретают национальную окраску. В некоторых городских кварталах уже идет настоящая война. Дело доходит до того, что перед судебными инстанциями выдвигаются требования признать апартеид одним из прав человека, а конечной целью борьбы объявляется национализация гетто. Лидеры этих движений являются, однако, отпетыми демагогами, и, похоже, массы, которые они якобы представляют, не очень-то хотят следовать за ними.

XXXII

Хотя иммигранты все меньше склонны интегрироваться, конфликты провоцируют не они, а те, которые чувствуют себя старожилами. Если бы это были только деклассированные элементы, бритоголовые и неонацисты! Нет, банды — это лишь самозваный, готовый применить грубую силу авангард ксенофобии. Европейцы в большинстве своем до сих пор не приемлют целей интеграции. Многие из них не готовы к ней, более того, видимо, они сегодня даже не способны осуществить ее.

Для защиты от иммиграции с недавних пор используется аргумент, взятый, как это ни странно, из арсенала антиколониализма. Алжир — алжирцам! Куба — кубинцам! Тибет — тибетцам! Африка — африканцам! Лозунги, под которыми многие угнетенные народы завоевали свободу, пишут теперь на своих знаменах европейцы, что не лишено в некоторой степени коварной логики.

Гуманный вариант этой идеи можно увидеть в проекте «превентивной миграционной политики», цель которого в устранении причин эмиграции. Для этого необходимо ликвидировать разницу в развитии между бедными и богатыми странами или по крайней мере значительно уменьшить ее. Экономический потенциал промышленно развитых стран, очевидно, недостаточно высок для решения этой задачи, не говоря уже о пределах, которые ставит росту благосостояния экология. Впрочем, политической воли к глобальному перераспределению жизненных благ не наблюдается нигде. Политика оказания так называемой помощи слаборазвитым странам проводится уже полстолетия, и ее результаты показывают, что все надежды на такой радикальный поворот являются не более чем утопией.

Имре Ференци, сотрудник Лиги Наций, еще в 1925 году задавался вопросом, как в таких условиях можно добиться «равномерного расселения по земному шару людей, сильно отличающихся друг от друга своими обычаями, уровнем жизни и расовыми признаками, не подвергая опасности всеобщий мир и прогресс человечества». Ответа на этот вопрос никто не знает и поныне.

XXXIII

Каждый имеет возможность высказать свое мнение о власть предержащих в стране, где он живет, или о боженьке нашем, не опасаясь быть подвергнутым за это пыткам или даже смертной казни. Споры, расхождения во мнениях решаются с помощью Фемиды, а не актами кровавой мести. Женщины имеют право свободно ходить по улицам городов и сел и свободны от необходимости торговать своим телом или соглашаться на стерилизацию. Человек переходит улицу, зная, что не станет мишенью опьяненной запахом крови солдатни и его не скосит вдруг пулеметная очередь. Все это не только приятно — это не может быть иначе. На свете есть достаточно людей — и, видимо, их большинство,— которые желают, чтобы так было везде, и которые готовы защищать такие нормы жизни там, где они существуют. Не впадая в патетику, очевидно, можно утверждать, что речь идет о минимуме цивилизации.

В истории человечества этот минимум достигался всегда как исключение и только как преходящее явление. Он хрупок и легкораним. Тот, кто хочет защитить его от нападений извне, станет перед дилеммой. Чем упорнее та или иная цивилизация сопротивляется, отражая натиск ее внешних врагов, чем толще она делает стены своей крепости, тем меньше то, что́ она защищает в конечном итоге. Что же касается варваров, то ждать их перед воротами нашей крепости не приходится. Они всегда тут как тут.

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ОХОТЫ НА ЛЮДЕЙ (Вместо заключения)

Тот, кто вступает в политические дискуссии, ведущиеся немецкой общественностью, делает это на свой страх и риск. Отпугивающе действуют не столько подозрения морального характера, которые процветают на этой ниве. Они давно стали у нас традицией и вошли у публицистов в обыкновение. Гораздо больше риск

интеллектуального плана, которому подвергается каждый участник дебатов в средствах массовой информации. Выступив, он почти всегда выглядит глупее, чем есть на самом деле. По весьма простой причине: тот, кто принимает условия ведущего, проиграл. Сам виноват! Ибо не составляет никакой тайны, кем определяются «речевые нормы», которым участники дискуссий подчиняются с большей или меньшей радостью.

В штаб-квартирах политических партий ни для кого не секрет, что иметь на вооружении определенные понятия стратегически так же важно, как располагать хорошим аппаратом. Удивительна ловкость, с которой правящий класс, которому мысль как таковая вообще чужда, присваивает себе чужие мысли. То, что политические дискуссии все больше напоминают сражения призраков,— одно из следствий этого. На телевидении они испаряются, как капли дождя от выглянувшего солнца, причем там, где телевидение больше всего напоминает голую пустыню. Создается впечатление, что идет не обмен мнениями, а передается сообщение, продиктованное из Бонна. Оппозиционные силы свыклись с тем, что им постоянно дают фору, и ограничиваются выворачиванием лозунгов противника наизнанку.

И нигде эта неуклюжая схема не видна так явственно, как в «политике по отношению к иностранцам» и в «дебатах о предоставлении убежища». Сами эти формулировки могли явно вырасти только на почве, удобренной боннским навозом. Политики, кроме того, позаботились, чтобы сражение шло на двух полях, которые в зависимости от потребности можно свободно поменять местами: с одной стороны, затевается абстрактная дискуссия о принципах с чтением морали, с другой стороны, всегда можно пуститься в обсуждение юридических тонкостей, как только кто-нибудь требует предпринять практические шаги. При такой рокировке остаются загнанными в угол самые элементарные, прямо-таки напрашивающиеся вопросы, постановка которых, однако, явно не в интересах устроителей дебатов.

Один из таких вопросов мне и хотелось поднять в этих заметках, хотя в проблематике великого переселения он далеко не центральный. Тем не менее это вопрос жизни или смерти для тех людей, которые уже живут в этой стране — не важно, с каким паспортом, с какой отметкой в нем, на каком основании. Речь идет, таким образом, о пригодности Федеративной Республики для житья. Непригодной для житья я называю местность, где любой банде вооруженных молодчиков дозволяется разбойничать на большой дороге и поджигать дома мирных жителей.

Причем вопрос о том, кто должен считаться немцем, а кто нет, можно спокойно оставить в стороне, по крайней мере до тех пор, пока, например, не будет решено, что одни граждане могут носить нормальную одежду, а другие согласно закону должны пришить к их платью уголки, крестики или звезды. А поскольку ни одна из сторон еще не предложила принять такой закон, проводить различия между коренными жителями и иностранцами в этой связи — пустое занятие, так же как, в этой связи, излишне, расчувствовавшись, окружать статус иностранца неким ореолом, скажем, в виде фразы, которой бравирует сегодня встречный и поперечный: «Я — иностранец».

Достаточно беглого взгляда на встречного и поперечного, чтобы сказать: любители потрепать другим нервы, мошенники, грубияны и идиоты встречаются среди местного населения не реже, чем среди турок, тамилов и поляков. Хотя требование мирно уживаться с людьми является очень жестким, с ним в цивилизованной стране должны смириться все без исключения. Нежелающих выполнять его надо к этому принуждать. А вот терпеть присутствие в стране людей, которые в одиночку или коллективно охотятся на других людей, нельзя.

Это простое различие совершенно не связано с так называемой иммиграционной проблематикой. Не идет речи и ни о каких-либо законодательных актах по процедуре предоставления убежища, не говоря уже о прозябании «третьего мира» в нищете или вездесущем расизме. Речь идет о монополии на применение силы, которую присваивает себе государство.

Упрекать правителей страны можно в чем угодно, но только не в том, что они хоть раз заколебались использовать эту монополию, когда ее существование, казалось, находится под вопросом. Совсем наоборот, усердия у исполнительной власти в этом отношении всегда хватало. Федеративная пограничная охрана, секретные службы, подразделения внутренних войск, отряды быстрого реагирования, уголовный розыск на земельном и федеративном уровне — все они всегда находились

в состоянии боевой готовности, имея на вооружении новейшую компьютерную технику, вертолеты, бронетранспортеры, не говоря уже о фотографиях «преступников», сделанных на основании свидетельских показаний. Не дремали и законодатели. Осмелев до безоглядности, чувствуя себя первопроходцами в юриспруденции, они разработали положение о преследовании членов уголовных синдикатов и приняли закон о пресечении всех контактов [1]. В результате правовое государство располагает сегодня прямо-таки устрашающим арсеналом возможностей защитить себя от своих противников.

Однако ни одно из этих предохранительных средств в последние месяцы использовано не было. На массовые выступления вооруженных молодчиков в обеих частях Германии репрессивный аппарат, начиная с полиции и кончая судами, реагировал с беспрецедентным равнодушием. Арестовывали лишь в исключительных случаях. Если аресты и случались, то преступники, как правило, уже на следующий день оказывались на свободе. Раньше чиновники Федеральной прокуратуры и Федерального уголовного розыска высунув язык носились по редакциям средств массовой информации, чтобы, не дай Бог, кто-нибудь не обидел бы немецкий народ, не причинил ему вреда. Сегодня от этого рвения не осталось и следа, как будто чиновников этих временно отправили на пенсию. Спецназ, еще несколько лет тому назад маячивший в городах на каждом втором перекрестке, теперь словно сквозь землю провалился.

Что касается политических деятелей, то многие из них начали выступать в новой для себя роли, а именно в роли социальных целителей. Однако пользовали они не гонимых — для этих хватало карамели с начинкой из громких фраз,— а специалистов по охоте на людей. Заговорили о достойных сожаления недостатках системы школьного образования, в первую голову в бывшей ГДР; настойчиво просили с пониманием отнестись к безрадостной судьбе безработных; в качестве смягчающего обстоятельства называлась возрастная незрелость убийц, потеря ими жизненных ориентиров. От этих бедолаг никуда не деться, вещали радио и телевидение, писали газеты; поправить дело можно только педагогической мудростью и терпением. Нельзя же от людей, явно обделенных привилегиями, ожидать, что они сразу же осознают: сжигать детей, строго говоря, недопустимо. И уж конечно, нужно принять срочные меры, чтобы юные поджигатели могли интересно и с пользой проводить свое свободное время.

Такая сердечная забота о преступниках не может не вызывать удивление, если вспомнить то, что случилось в Брокдорфе и на стартовой полосе «Запад». Тогда начальники не считали, что проблему можно решить, быстро открыв новые дискотеки и молодежные клубы.

Очевидно, беспрепятственный, бесплатный доступ в царство свободного времени в семидесятых годах еще не относился к неотъемлемым правам человека. Наоборот, стражи порядка пускали в ход кулаки, пинали упавших ботинками с кованой подошвой, открывали огонь. И власти, насколько я помню, открыто заявляли, что без трупов в такой борьбе не обойтись.

Откуда вдруг такая перемена в умонастроениях? Может быть, кто-то призвал сменить веру? С эпохи Просвещения то и дело находились альтруисты, уверявшие нас в том, что уголовное право непригодно для решения общественных проблем. Если посмотреть, что творится в наших тюрьмах, и принять во внимание число повторных преступлений, то тезис этот кажется бесспорным, хотя реформаторы и остались у нас в долгу, не предложив убедительной альтернативы. Как бы там ни было, загадочный поворот государственного аппарата от жестких методов подавления к более чем снисходительному обращению с преступниками, обагрившими свои руки кровью, таким образом не объяснить. Воров, обкрадывающих магазины, грабителей банков, аферистов, мошенников, террористов, шантажистов сажают за решетку, как это было всегда. Ни одна правящая партия еще не выступила за отмену уголовного кодекса или хотя бы за радикальную реформу системы отбывания наказания. Приходится прибегнуть к иным толкованиям, если мы хотим понять, почему, с одной стороны, наблюдается рьяное преследование преступников, а с другой — laissez faire [2].

---

[1] То есть контакты с заключенными-террористами.

[2] Предоставление свободы действий *(франц.)*.

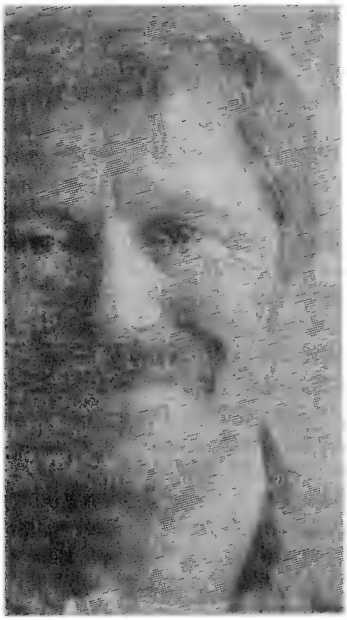
Может быть, мера пресечения зависит от характера объектов, которые обязан охранять закон? Выше, в качестве примера, речь шла о частной собственности в форме недвижимости, о праве расширить территорию аэропортов, строить автострады и разного рода атомные электростанции. Во время эксцессов в последние месяцы (нападений, поджогов) в опасности находилась жизнь многих тысяч наших сограждан. Очевидно, в государственных и судебных инстанциях убийство человека считают всего лишь нарушением общественного порядка, а снос забора — тяжким уголовным преступлением.

Конечно, нынешняя ситуация допускает и иные толкования. Не исключено, хотя трудно в это поверить, что есть политики, которые питают симпатии к орудующим у нас бандам. Более основательным является предположение, что многие равнодушно взирают на охоту за людьми, так как полагают: такая позиция может принести политические дивиденды. Разумеется, поверить, что люди могут так рехнуться, трудно, и лишь отсутствие других, более правдоподобных объяснений побуждает автора не исключать и эту версию.

Между тем и дурак из дураков должен был бы понять, что отказ государства от монополии на применение силы имеет последствия, далеко не безобидные и для правящего класса. Одно из них — необходимость самозащиты. Видя, что государство отказывается охранять их, отдельные граждане и группы граждан, чувствуя угрозу своему существованию, вынуждены будут вооружаться для самообороны. Международным синдикатам не составит труда регулярно поставлять в нашу страну винтовки, автоматы и патроны. Когда отряды самообороны почувствуют себя достаточно сплоченными, начнутся настоящие междуусобные войны. В таких крупных городах, как Берлин и Гамбург, они уже фактически начались. В стране может сложиться политическая обстановка, подобная той, которая наблюдалась в Германии в последние годы Веймарской республики.

С другой стороны, массовый уличный террор, если его не пресечь, рано или поздно приведет к выступлениям против правящего класса. Как известно, обеспечить охрану личности со стопроцентной степенью надежности невозможно, и было бы иллюзией полагать, что мобильные полицейские отряды, которые население иных городов встречает с отеческой любовью, будут всегда платить ему той же монетой. Такая терпимость по отношению к преступникам, но никак не по отношению к их жертвам, говорит об очень сильной приверженности к определенным традициям. Некоторым политикам, очевидно, трудно отказаться от нее. Из этого можно сделать несколько заключений, но только одно из них ошарашивает: чувство самосохранения у этих людей, как явствует из одной басни, развито не так сильно, как полагают многие из их соотечественников.

■



ВОЛЬФ БИРМАН

ОТРЕЧЕНИЕ

Речь, произнесенная 13 декабря 1993 года в связи с вручением поэту и барду премии имени Генриха Гейне

Перевод А. ЕГОРШЕВА

Литературные премии, уважаемые дамы и господа, могут представлять опасность для жизни. У Монтеня я нашел заметку о том, что бессмертный Софокл рухнул замертво от радости, узнав о присуждении ему премии за последнюю драму: это была первая литературная премия в его жизни. Первая премия оказалась роковой и для тирана Дионисия. Облеченный огромной властью, он, очевидно, не смог «переварить» ее и, как гласит легенда, испустил дух во время оргии, устроенной им по случаю собственного чествования.

Меня лично такие мрачные легенды не пугают. В собирании литературных премий у нас больше сноровки, чем у древних греков. Ведь в нашей богатой стране больших поэтических премий больше, чем больших поэтов. Здесь нет исполинов вроде Софокла, и писатели в Германии не покушаются на светскую власть, подобно тирану, узнавшему вкус литературного творчества.

В ухоженном садике-огородике по имени Германия мы, гномы, стоим с ведерочками и лопаточками у цветочной грядки и превращаемся, когда страсти вдруг разгораются, в великанов, снедаемых мелкой завистью. Мы — монстры великодушного недоброжелательства, а наше брюзжание заполонило средства массовой информации.

Наш Софокл — это Хайнер Мюллер, а наш Перикл — это Гельмут Коль. Государственный муж из Афин выиграл Пелопоннесскую войну, а политик из Оггерсгейма — холодную. Анаксагор, философ и буревестник чистого разума, шел в авангарде просвещения, зато наш Хабермас шагает в его арьергарде. От опьяненного победами певца и поэта, великого Пиндара, мы опустились до Вольфа Бирмана, певца великих поражений.

Но довольно греко-германских намеков. Позвольте сказать вам прямо: я страшно рад, что приехал к вам в Дюссельдорф. Ваш город по меньшей мере столь же знаменит, как Нью-Йорк, Венеция или Париж. В каких бы странах я ни бывал, большую деревню на берегах реки Дюссель везде знают и уважают как город с мировым именем, и на то есть веское основание: здесь родился Генрих Гейне. И это прекрасно и справедливо, что город славит себя, учредив премию имени своего великого сына.

Я радуюсь оказанной мне чести и радуюсь деньгам. Жаль только, что с помощью машины времени нельзя сделать банковский перевод назад, в прошлое: 25 тысяч немецких марок — в пересчете на франки 1848 года — вечно сидящему на мели поэту и его расточительной, жизнерадостной жене Матильде.

Но поговорим, наконец, о самом Гейне. Его уже давно нет в живых, а сердце его все еще кровоточит. В самом знаменитом стихотворении из «Романсеро» читаем:

Enfant perdu

Забытый часовой в Войне Свободы,
Я тридцать лет свой пост не покидал.
Победы я не ждал, сражаясь годы;
Что не вернусь, не уцелею, знал...

И в конце — вы все знаете эти строки — Гейне говорит:

...Я весь изранен, кровь моя течет.
Где ж смена? Кровь течет; слабеет тело...
Один упал — другие подходи!
Но я не побежден: оружье цело,
Лишь сердце порвалось в моей груди.

(Перевод М. Михайлова)

Адорно назвал Гейне «кровоточащей раной». Эти слова стали крылатыми. Один из патологоанатомов от литературы заявил, что рана зарубцевалась. Нет, возразил ему его собрат, рана хотя и зарубцевалась, но зарубцевалась криво. А самый последний диагноз гласит: «Рана зарубцевалась и криво, и красиво».

Следя за метаморфозами этой метафоры, я не мог понять, является ли Гейне раной или он ранен. Если же речь идет о том, что Гейне — это рана в нас самих, то я бы хотел знать, гноится ли эта рана в его верных врагах или она горит в нас, любящих его.

Мало кто испытывал такую раздвоенность сознания и чувств, как Генрих Гейне. Брошенный за решетку философ Томас Пейн произносит в «Смерти Дантона» такие слова: «Малейшая судорога разрывает творение сверху донизу». У Гейне эта безобразная трещина проходит не только через творчество, но и через творца. У него редко наблюдалось то, чего у Бюхнера не было вообще,— раздвоение языка. Но в груди его всегда билось раздвоенное сердце. Я бы назвал его поющим противоречием, стоящим на двух ногах.

Гейне всегда и всюду чужак: в Германии еврей, во Франции немец. Если вы хотите знать детали, то прочитайте, не мешкая, книгу Марселя Райх-Раницки «Нарушители спокойствия. Евреи в немецкой литературе». А если хотите понять, какой политический заряд заложен в интимнейшей любовной лирике еврея Гейне, то читайте еретические эссе того же автора под названием «Гейне и любовь».

Первый действительно свободный писатель, Гейне тем не менее всю жизнь облегчал карманы своего дядюшки Соломона и выпрашивал субсидии у французского государства. Он безуспешно делал ставку на революцию и также безуспешно спекулировал акциями железных дорог. Этот вечный бедняк был — nota bene — очень зажиточным человеком, третьим в списке самых богатых граждан Франции того времени. Если хотите знать подробности, возьмите книгу «Гений и денежный мешок», ее написал парижанин Мишель Вернер, один из самых тонких знатоков жизни и творчества Гейне.

Друг народа, чуждавшийся его, радикальный демократ и в то же время меритократ, стремящийся принадлежать к элите, Гейне писал, что тотчас же вымоет руки, если — не дай Бог! — этот вонючий народ после победоносной революции захочет пожать ему руку в знак благодарности. Чаша с мыльным раствором миновала еврея, страдавшего «водобоязнью». Ему не пришлось мыть рук, потому что революция так и не победила.

Если вы хотите углубиться в эту материю, то прочтите книгу тель-авивского профессора-историка Вальтера Граба «Гейне — поэт и политик». Она начисто лишена наукообразности.

Пламенно ненавидим, пламенно любим, Гейне был поэтом, которого музы целовали даже тогда, когда он медленно угасал в зловонном «матрасном склепе». Если вы действительно хотите знать, как это происходило, потрудитесь почитать его стихотворения.

Я хотел бы сегодня высказать только несколько замечаний по поводу его поэмы «Германия. Зимняя сказка». И то лишь под другим углом зрения, который, однако, становится для нас центральным. Итак, речь снова обо всем, то есть об утопии. Мертва ли она или нам только кажется, что она мертва? Жили ли мы когда-нибудь действительно ею? Мне удалось тут кое-что раскопать, скажем так: важный пустячок, который вам, думаю, до сих пор оставался неизвестным.

Работая в январе 1844 года над «Зимней сказкой», Гейне отдавался субъективным, случайным впечатлениям, как это уже было в ранних стихах «Книги песен», сделавшей его имя известным широкой публике. Он вновь был весь в плену ассоциаций, как тогда, когда совсем молодым писал свои дерзкие «Путевые картины». Однако рассказывая в стихах о путешествии из Парижа в Гамбург, ему удалось, как извещал он своего издателя Кампе, создать «вещицу» другого калибра. В ней — волшебство случайного и в то же время она представляет собой композиционно стройное, широкое историческое полотно.

Решить эстетическую проблему построения рифмованных путевых заметок всегда сложно. Поэт может легко сбиться на монотонную болтовню. На один какой-нибудь стержень он нанизывает элементы одного и того же порядка. Еще один эпизод, еще один шаг в сторону, еще одна встреча, еще несколько ядовитых цветов на обочине. При таком обилии мелочей трудно найти вразумительное начало и еще труднее найти убедительный, единственно возможный конец.

Прозрения случаются и у художников средней руки. Удачную рифму находит даже студент-германист, отдыхая на зеленом бережку где-нибудь в Нижней Саксонии. Лоснящиеся лошадиные зады малевали художники-подмастерья у гениального Гойи: истинное же мастерство проявляется, как известно, не в удачно найденной детали, а в композиции всего материала.

Гейне начинает «Зимнюю сказку» не в Париже, скажем, сценой прощания со своей женой Матильдой, а в момент прибытия на германский пограничный контрольный пункт близ Аахена. Он растроган пением маленькой девочки-арфистки: фальшивым голосом, но с неподдельным чувством она поет о «том лучшем мире, где душе неведомо страдание». И поэт сразу же окунается в грандиозное видение своего времени. Иисус Христос служит ему при этом опорой, за ним стоят Бабеф и Сен-Симон, рядом с ним Этьенн Кабе, Вильгельм Вейтлинг и Карл Маркс. Гейне славит утопию радостного коммунизма бессмертным четверостишием, которое мы знаем наизусть:

Я новую песнь, я лучшую песнь
Теперь, друзья, начинаю:
Мы здесь, на земле, устроим жизнь
На зависть небу и раю.

(Перевод В. Левика)

В Гамбурге, где заканчивается его путешествие, немецкий поэт-парижанин встречает не только свою старую мать. Его манят ночные улицы. И вот на берегу Альстер, у холма Девственниц, его подбирает богиня Гаммония, пышнотелая смазливая покровительница Гамбурга, и приводит к себе в мансарду.

А поскольку она души не чает в его романтических стихах из «Книги песен», она не только забавляется с ним, причем с искренним удовольствием, но и бесплатно дает ему возможность испытать нечто из ряда вон выходящее. Гость Гаммонии наслаждается в эту ночь привилегией, которую ни один мужчина не мог бы купить себе ни у одной публичной женщины. Гаммония позволяет поэту заглянуть в ее ночной горшок. А это манит его по меньшей мере с такой же силой, что и вполне земной зад его Богини. Фривольные француженки никогда бы не доставили поэту такой утехи. Гейне разрешается сделать то, что так хотели бы сделать все мы. Гаммония позволяет ему не спеша и глубоко заглянуть в... будущее.

Поэт, вытаращив глаза, затыкает себе нос. Он видит сквозь дырку грядущие беды и нищету, XX век, видит фурий угнетения, грозных призраков германского национализма, зловонных драконов шовинизма, которых мы, потомки Гейне, могли бы уже назвать поименно, он видит чудовищ, словно вышедших из-под кисти Гойи, чудовищ, деяния которых мы уже пережили, но Гейне видит и такие ужасы, которые нам предстоит еще испытать.

Эти ужасы закамуфлированы, разумеется, искусными рифмами, поэт прибегает к красивым образам и легко запоминающимся аллегориям. Но его точка зрения известна нам и из низкой прозы. В конце книги «К истории религии и философии в Германии» он с сомнамбулической точностью предсказал появление третьего рейха и даже операции Роммеля в Африке.

«Тогда из забытого мусора восстанут старые каменные боги, протрут глаза, засыпанные тысячевековой пылью, и, наконец, поднимется на ноги Тор со своим исполинским молотом и разгромит готические соборы... А немецкий гром, конечно, тоже немец, он не особенно ретив... но он грянет, и тогда, услышав грохот, какой никогда еще не гремел во всемирной истории, знайте: немецкий гром поразил цель. При этом грохоте замертво попадают орлы с высоты и львы в отдаленнейшей пустыне Африки подожмут хвосты». И Гейне дает своим любимым французам совет ни в коем случае не разоружаться. Он пишет: «Я желаю вам добра и потому высказываю вам горькую истину. Освобожденная Германия для вас опаснее целого Священного Союза со всеми хорватами и казаками...» *(Перевод А. Горнфельда)*.

Итак, в начале «Зимней сказки» Гейне набрасывает картину рая, а в конце рисует антирай, то бишь ад. Так рассуждали тогда все светлые умы. Карл Маркс: или социализм, или варварство. Синдром «или-или». Так или иначе, но Земля будет красной, или красной, как жизнь, или красной, как смерть... Эта апокалипсическая идея со страшной силой окрылила в нашем столетии миллионы людей и подняла их, исполненных дикого отчаяния, на борьбу за лучший, справедливый мир. И я один из них.

За год до смерти Гейне написал свое политическое завещание — предисловие к «Лютеции». Это было собрание публицистических статей, напечатанное в гамбургском издательстве «Гофман и Кампе», а затем в Париже.

Гейне принадлежал к тем людям, которые перенесли наимоднейшее тогда слово «коммунизм» из французского языка последователей Бабефа и икарийца Этьенна Кабе в немецкий. Уже в декабре 1841 года Гейне писал в «Аугсбургер альгемайне цайтунг»: «Пропаганда коммунизма обладает языком, понятным каждому народу. Элементы этого универсального языка столь же просты, как голод, как зависть, как смерть».

И вот, разочарованный поражением революций 48-го года, на пороге смерти, Гейне вписал своим французам в предисловие к книге «Лютеция» то знаменитое предостережение от коммунизма, которое мы столь часто цитировали, но никогда не принимали всерьез. Более того, мы читали эти пророческие слова о коммунизме, иронически перемигиваясь. Мы делали вид, что не понимаем поэта, а притворяться мы умели.

Будучи молодым, я видел в этом мрачном предупреждении саркастическую самоиронию эстета, протаскивающего революционную контрабанду в литературный раздел буржуазных газет.

Я приведу сейчас, уважаемые почитатели Гейне, цитату, которую вы знаете наизусть. Я, конечно же, приехал в Дюссельдорф не для того, чтобы лить воду в колодец. Но я хотел бы, чтобы вы по-новому восприняли слова, ставшие для нас привычными. «Признание, что будущее принадлежит коммунизму,— писал Гейне,— я сделал с бесконечным страхом и тоской, и — увы! — это отнюдь не было притворством! Действительно, только со страхом и ужасом думаю я о времени, когда эти мрачные иконоборцы достигнут власти. Мозолистыми руками они беспощадно разобьют все мраморные статуи красоты, столь дорогие моему сердцу; они уничтожат все те фантастические игрушки и безделушки искусства, которые так любил поэт; они опустошат мои лавровые рощи и посадят там картофель... Розы, эти праздные невесты соловьев, подвергнутся такой же участи; соловьи, эти бесполезные певцы, будут изгнаны, и — увы! — из моей «Книги

песен» бакалейный торговец будет делать пакетики, в которые станет насыпать кофе или нюхательный табак для старух будущего. Увы! Все это я предвижу, и несказанная печаль овладевает мной при мысли, что победоносный пролетариат угрожает гибелью моим стихам... И все же, честно сознаюсь, этот самый коммунизм, столь враждебный моим вкусам и склонностям, держит мою душу во власти своих чар, и я не в силах им противиться; два голоса в моей груди говорят в его пользу, два голоса, которые не хотят замолчать, я в их власти, и никакие заклинания не могут их побороть.

Ибо первый из этих голосов — голос логики. «Дьявол — логик!» — говорит Данте. Меня околдовал страшный силлогизм, и если я не могу опровергнуть посылку, что «все люди имеют право есть», я вынужден подчиниться и всем выводам из нее. Когда я думаю об этом, я боюсь лишиться рассудка, я вижу, как ликующие демоны истины пляшут вокруг меня, и наконец мое сердце охватывает великодушное отчаяние, и я восклицаю: «Оно давно уже осуждено и приговорено, это старое общество! Да свершится правосудие! Да будет он разрушен, этот старый мир, где невинность погибала, где процветал эгоизм, где человек эксплуатировал человека!.. И да будет благословен тот бакалейный торговец, который станет изготовлять пакетики из моих стихотворений и всыпать в них кофе и табак для бедных старух, которым в нашем теперешнем мире несправедливости, может быть, приходилось отказывать себе в подобных удовольствиях! «Fiat justitia, pereat mundus!» [1]

А о своих феодально-националистически настроенных врагах в Германии Гейне говорит: «Коммунизм нанесет им последний удар, и, конечно,— отмечает чувствительный поэт без обиняков, по-пролетарски в своем парижском салоне,— не ударом палицы уничтожит их этот гигант, нет, он просто раздавит их ногой, как давят жабу. Это будет началом». *(Перевод А. Федорова.)* И так далее, и тому подобное о conditiones humanae.

Мрачные, пророческие слова. За время, истекшее с тех пор, мы узнали не только, каким было всемирно-историческое начало коммунистического гиганта, но и каким был его позорный конец. Коммунисты преимущественно давили коммунистов, как жаб. Только партийных работников, включая все ленинское политбюро, при Сталине было уничтожено около двух миллионов. Да, любимые поэтом лавровые рощи были вырублены, однако коммунистической картошки нигде в достаточном количестве посажено не было. Соловьи сгинули, а вместе с ними и старухи.

Сладкий горошек найдется для всех? Как бы не так! Пуля найдется для каждого! И даже не для каждого. В некоторых братских могилах заключенные лежали, связанные попарно. Во время казни им приказывали встать лицом друг к другу. Так одной пули хватало для двух голов.

Захватывающее и манящее слово «утопия» пустил бродить по свету Томас Мор еще в 1516 году. Мы знали, что означает оно по-немецки: «Нет такого места; нигде!» Но мы не удосужились вникнуть в этот смысл и истерзали и себя, и половину человечества в поисках обетованной земли, которой не существует на свете.

Бедняки в странах коммунистической утопии стали еще беднее, они огрубели и отупели. Революционно настроенные массы в стране «Великого Октября» сгнили в лагерях ГУЛАГа. Те же, кто отстаивал справедливость, были поставлены к стенке их же товарищами, вот отчего весь мир может провалиться в тартарары. Ну, а тех, кто утверждает, что это была всего лишь первая попытка, к сожалению, не удавшаяся из-за разных исторических напастей и дурных характеров, я вынужден презирать и побаиваться.

Эгоизм нигде не был так отвратителен, как в странах, которые всеобщее благо сделали своим главным лозунгом. В какой бы стране людям ни обещали рай на земле, они попадали там в ад гораздо хуже библейского. Прикрываясь фразой об освобождении труда, эксплуатацию человека человеком довели до самых абсурдных пределов. Нигде из пролетариев не выжимали последние соки с такой жестокостью, как в так называемых государствах рабочих и крестьян. «Книга песен» Гейне не использовалась даже в качестве оберточной бумаги, ибо завертывать было нечего. Не хватало ни пряностей для старух будущего, ни кофе в зернах на протянутую ладонь современного фабричного раба. В Советском Союзе при Сталине было убито шестьдесят миллионов человек.

Пещерные коммунисты в Камбодже завершили дело, начатое Сталиным, также не тратя по пуле на каждого. Черепа раскалывались, как стручки сладкого горошка у Гейне. А прекрасная девственница Европа? Она не слилась в первом поцелуе с юным гением Свободы, как казалось ликующему Гейне, а судорожно извивалась под сапогами новоявленных спасителей человечества.

Итак, мы расшифровали мрачное послание из ночного горшка богини. Узнали, что означают миазмы, о которых Гейне вещал в грозных, окрашенных в темный цвет строфах. Кровавый XX век все сделал явью: крещеного еврея Генриха Гейне эсэсовцы шесть миллионов раз сожгли в газовых камерах Треблинки и Освенцима. В украинских лесах выстрелом в затылок его валили в свежевыкопанный огромный ров. Анархист-вольнодумец был как жаба раздавлен вместе с Эрихом Мюзамом в концлагере Ораниенбург. Самый немецкий из немецких поэтов был испепелен огнеметами германского вермахта в варшавском гетто. Радикального демократа товарищи пытали на Лубянке вместе с Всеволодом Мейерхольдом. Кости насмешника, не уступавшего в колючей иронии Аристофану, гниют в дамбах Беломорканала. Творец «Лорелеи» сгинул всместе с Осипом

[1] «Да свершится правосудие, да погибнет мир!» *(лат.)*

Мандельштамом и Исааком Бабелем за колючей проволокой на одной из великих строек коммунизма в бескрайней сибирской тайге.

Скажу вам напрямик: обе противоположные утопии в поэме Гейне я читаю сегодня как одно целое. Гейне предчувствовал это и боялся этого. Мы же, умники, живущие полтора столетия после написания поэмы, знаем: тот, кто ищет царствие небесное на Земле, окажется в аду. А тот, кто обещает райскую жизнь, на самом деле готовит нам карьеру узника концлагеря или надзирателя в нем. Печально, но факт? Нет, это не печально, потому что это истина.

И этой истиной мы обязаны сэру Исайе Берлину, великому мудрецу из Оксфорда. Это он доказал, что утопия является древним, идущим еще от Платона заблуждением. Утопическое мышление основывается на незнании того, что существуют логически взаимоисключающие этические ценности. Помните язвительное замечание Гёте по поводу лозунга: «Свобода — Равенство — Братство»? Гёте писал: «Законодатели и революционеры, одним чохом обещающие равенство и свободу, или фантазеры, или шарлатаны».

Мое толкование «Зимней сказки» ни в коем случае не означает, что мы должны поджать хвост и отучиться мечтать. Я во всяком случае никогда не откажусь от деятельной надежды на социально лучшую, политически более справедливую, мирную жизнь. Эту надежду нельзя стереть с лица как грим. Генетическим кодом, сложившимся во времена, когда люди имели еще облик обезьян, предусмотрено, что мы всегда на что-то надеемся и хотим что-то улучшить. Иначе мы и сегодня еще сидели бы на деревьях.

Но наши представления о будущем уже не сделаны из материала, который поставляет нам апокалипсическое мышление. Меня не устраивает больше это ребяческое: все или ничего! Надо навсегда изгнать из нашего сознания эту альтернативу прогресса: царство небесное или ад! Надо раз и навсегда освободить себя от мании поиска спасения: теперь или никогда! И навеки покончить с этими идиотскими мечтаниями о шутовском рае. Я не хочу завоевывать царство небесное — я хочу защищать. Защищать нашу крошечную Землю, дабы она не превратилась окончательно в ад.

В заключение я спою вам несколько куплетов из «Зимней сказки» Гейне. Начало вы знаете: «Я новую песнь, я лучшую песнь...» Но где кончить? Думаю, лучше всего на пятой после этого строфе. У Гейне она звучит так:

Вот новая песнь, лучшая песнь!
Ликуя, поют миллионы!
Умолкнул погребальный звон,
Забыты надгробные стоны!..

Но надгробные стоны не забыты, вернее, слышны до сих пор. Когда Гейне писал эти строки, современная машина массового уничтожения людей еще не была изобретена и тем более не была еще создана. Это было старое доброе худое время, когда отдельного человека разрубали примитивным ударом по башке.

Между тем Безносая, к которой мы так привыкли, рухнула, совсем обессилев; косой уже дела не сделаешь. Сегодня человека косят гигантскими комбайнами, и целые народы сгорают, как сгорает огромное пшеничное поле. Поэтому при всей моей любви и при всем моем уважении к гению я позволил себе противопоставить его стихам маленькое собственное стихотворение.

Но сначала я пропою гейневские строки:

Я новую песнь, я лучшую песнь
Теперь, друзья, начинаю:
Мы здесь, на земле, устроим жизнь
На зависть небу и раю.

При жизни счастье нам подавай!
Довольно слез и муки!
Отныне ленивое брюхо кормить
Не будут прилежные руки.

А хлеба хватит нам для всех,—
Закатим пир на славу!
Есть розы и мирты, любовь, красота
И сладкий горошек в приправу.

Да, сладкий горошек найдется для всех,
А неба нам не нужно,—
Пусть ангелы да воробьи
Владеют небом дружно!

Скончавшись, крылья мы обретем,
Тогда и взлетим в их селенья,
Чтобы самых блаженных пирожных вкусить
И пресвятого печенья.

Вот новая песнь, лучшая песнь!
Ликуя, поют миллионы!
Умолкнул погребальный звон,
Забыты надгробные стоны!

(Перевод В. Левика)

Ну, а теперь — мое «контрстихотворение»:

Никого вокруг, кто бы мертвым вдруг
дал на помине вечный покой.
Звон погребальный, мой мертвый друг,
опять не слыхать во мгле роковой...
Не слыхать по причине другой:

Смерть сечет нас, словно траву, косой,
мы мрем, как бродяги-собаки.
И гнием в своей же клоаке...
Потому-то не слышен звон за упокой —
мы умираем все сразу — гурьбой.

Когда горел в Освенциме мой отец
без колокольного звона над головой,
наступил самой смерти смердящий конец,
над лагерем выгнулся тяжкий венец —
трупов безумный вой.

Лагерный колокол — адский котел,
вонь горелого мяса и плесени...
Но и после Освенцима
стих рифмой зацвел
и пелись добрые песенки.
Вот такие дела: мы сгораем дотла
и воскресаем весело.

(Перевод Р. Вебера)

МАРК ХАРИТОНОВ

ПРИГВОЖДЕННЫЙ К РАБОТЕ

Встреча с ЮККЕРОМ

Мы беседуем с Гюнтером Юккером в его мастерской на Кайштрассе в Дюссельдорфе; из окна виден один из рейнских протоков, напротив — плавучая гостиница для иностранных беженцев, вокруг — грузовые склады. И сама мастерская больше напоминает производственное или складское помещение, чем ателье художника: громадный грузовой лифт соединяет два этажа, большинство объемистых работ запаковано, обшито фанерой для отправки на очередную выставку. Упаковкой и отправкой занимаются, конечно, специальные службы, но над работами Юккер здесь трудится один, без помощников. В нем есть что-то от старинного мастера, умеющего держать в руках и пилу, и топор,— не говоря уже о молотке, которым он поистине виртуозно заколачивает свои знаменитые гвозди, главный изобразительный элемент многих произведений. Белый круглый стол, громадный, как и все в этой мастерской, сейчас завален книгами, альбомами, бумагами. Юккер любит белый цвет, на нем белый свитер, даже рабочий комбинезон его белый. У него целая философия белого. «Белизна,— писал он в одной из ранних статей,— это вершина света, победа над тьмой. Белый мир представляется мне гуманным миром... Состояние белого можно понимать как молитву...»

— Одно из самых ранних воспоминаний,— рассказывает Юккер,— юбка моей матери, под которую так тянуло спрятаться. Чувство защищенности, укрытости. Поздней ее заменил стол со свисающей скатертью. А потом изгнание из этого рая, чувство его утраты, его иллюзорности.

Из этих чувств возникла скульптура «Гвоздевой стол» (один из ее вариантов установлен в австрийском городе Линце).

Вырос с годами былой ребенок, как вырос стол, он теперь выше человеческого роста, под него можно войти, не пригибаясь,— и тянет войти, вернуться в потерянный рай — но невозможно. Страшно. Крышка стола насквозь пробита гвоздями, острия торчат над самой головой, от них исходит физически ощутимая угроза. Я помню это ощущение: пыточная камера на четырех ножках.

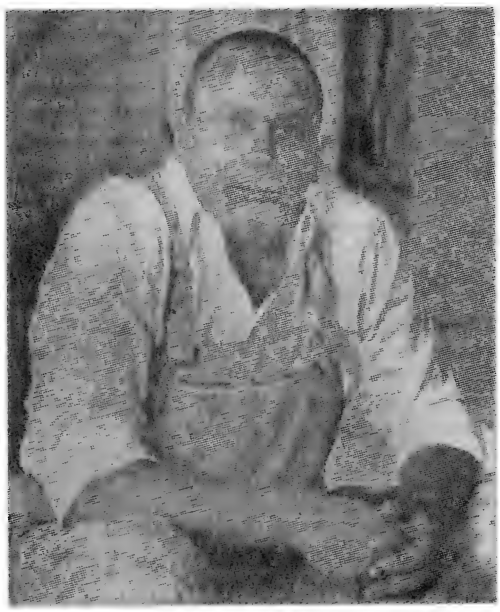
— Человек должен жить не прячась,— вот что я еще хотел сказать,— развивает Юккер свою мысль.— Он не должен искать защиты ни у какой-либо общности, ни у какой-либо системы, которые предлагают ему свою мощь в качестве укрытия. Он должен сам, преодолевая страх, осмысливать жизнь, справляться с проблемами бытия. Это ключ ко многому, что я делаю. И это же объясняет, что отталкивает зрителя от моих работ. Я обращаю его к самому себе. В каком-то смысле это антиобразы.

— Значит, для вас гвоздь — символ агрессивности, символ угрозы? — спрашиваю я подтверждения.

— Для меня это не агрессивный символ,— отвечает Юккер.— Для меня это нежный предмет.

Я смотрю на него вопросительно.

— Гвоздь — это проникновение. А разве проникновение не может быть нежным? В любовном соединении, например. Я ощущаю свои действия как проникновение. Это тоже начиналось с некоторых ранних впечатлений. Я учился живописи в ГДР. Там нам внушали: надо изображать реальный мир, а главная тема и центр всего — человек. Я рисовал обнаженную модель, надо было переносить очертания на бумагу остро заточенным карандашом. И у меня было чувство, что я ковыряюсь острием в человеческом лице, в зрачке, в вагине. Бр-р! У меня шли мурашки по коже. Чисто физиологически. Эта физиологическая реакция мне всегда казалась более реалистичной, чем попытка изобразить карандашом иллюзию. Мой озноб, мои навязчивые идеи — вот реальность. Я не изображающий художник. Мои работы возникают из потребности в самозащите, в освобождении. Из потребности вступить в диалог, объясниться в любви, вырваться из одиночества, дать знак, что мне трудно, что мне это нужно. Говори со мной, люби меня!



Гвозди, ставшие на долгое время своего рода опознавательным знаком, символом творчества Юккера, в разные годы значили для него разное. Они могли служить формальным элементом, модулируя свет и тени, создавая впечатляющие оптические эффекты, как стерженьки миниатюрных солнечных часов. Они служили орудием разнообразных акций — когда, например, с громадным гвоздем наперевес Юккер штурмовал подъезд музея «Кунстхалле» в Баден-Бадене, когда он обивал гвоздями лужу, поле, снег — или обыденные предметы: телевизор, мебель, пианино, швейную машинку, скрипку. Так возникали объекты, обросшие гвоздями, точно щетиной, вызывающие мысль об ореоле живых волосков, вроде тех, что видишь, вглядевшись, по краям древесного листа (или, может, скорей об ореоле невидимого излучения? Доказано, что оно сохраняет свои очертания, даже когда лист оборван). Предметы словно ищут продолжения в пространстве; дремлющая в них энергия высвобождается, прорастает, затвердевает...

Кто-то из немецких критиков увидел в «огвоздевании» (Übernagelung) дорогостоящих предметов протест против «вещизма» общества потребления. Повреждаются полированные поверхности, фетиши потребительского культа. Вершиной такого протеста можно считать гигантский гвоздь, пробивший козырек универмага «Кауфхоф» в Дортмунде. Не знаю, насколько такое толкование совпадает с замыслом художника. Сам Юккер говорил о стремлении «преодолеть разрыв между высоким и обыденным», уравнять объект искусства с товаром в витрине. Я действительно видел в Мюнхене рядом с «Кунстхалле», где проходила выставка Юккера, магазинную витрину, украшенную его «гвоздевой» композицией. Кстати, двадцатиметровый гвоздь над входом в универмаг весьма неплохо смотрится и как реклама. Так что насчет протеста я лично не очень уверен. Общество потребления умеет переварить и не такие протесты. Да только ли оно? То, что было когда-то живым чувством, вызовом, криком отчаяния или боли, сплошь и рядом превращается на наших глазах в музейный экспонат и потребительскую ценность, объект любования или продажи...

Разговор, как это бывает, по ассоциации, сам собой переходит на более общие темы. Незадолго до нашей встречи я прочел в немецком журнале рассказ о предприимчивом дельце, который организовал для западногерманских туристов поездку по Енисею, в том числе по местам недавних концлагерей. Среди самых ходовых сувениров там были куски ржавой колючей проволоки — они продавались за доллары. На подобные же сувениры разошлись не так давно обломки Берлинской стены, у которой тоже пролилось немало крови. «Самый модернистский музей мира я видел в Освенциме»,— написал Юккер в одном из стихотворений более двадцати лет назад. Чудовищная мысль: а не смогут ли когда-нибудь в самом деле эти свидетельства и останки исчезнувших жизней, эти груды обуви и одежды, человеческих волос и зубных протезов восприниматься как экспонаты некоего поп-арта? Разве нельзя даже в орудиях пыток и убийств увидеть художественные объекты? Разве не воспевали итальянские футуристы новую красоту пулеметов и пушек, которая была для них выше Ники Самофракийской? Не впервые происходит своего рода эстетизация человеческого страдания, превращение его в тему и предмет искусства. Мне пришлось читать работу, в которой и сталинизм, и фашизм рассматриваются как эстетические феномены, вписывающиеся на равных с прочими в культуру нашего века. У меня это вызывало чувство внутреннего сопротивления, которое не так просто обосновать. В самом деле, разве не любуемся мы храмами и пирамидами, воздвигнутыми на крови и костях рабов? — какое нам теперь дело до их страданий!..

— Вот, может, с этого все и началось,— откликается Юккер.— Когда в нашу духовную культуру вошло, я бы сказал, археологическое измерение, когда мы начали копать. Открыли для себя, например, тот же некрофильский мир Египта, где возводили монументальные сооружения, чтобы ублажить мертвецов после смерти, и стали популяризировать уже на своей европейской почве, в своих небольших государствах или маленьких княжествах мысль, будто великие достижения культуры оправдывают уничтожение людей. Это роковое, трагическое недоразумение. Можно было обосновывать такими теориями любые издевательства над людьми. К памятникам давних времен стали относиться, не осмыслив понастоящему, изнутри, всего, чем они были порождены, как к чему-то внешнему, как к объекту музейного любования,— продолжает Юккер свою мысль. (Не отсюда ли, среди прочего, чувство протеста, заставившее его в конце 60-х годов присоединиться к бунту против музеев?) Такое культурное самоощущение имело далеко идущие последствия: искусство словно бы отчуждалось от реальной жизни. Вагнер после разочарований, связанных с поражением революции 1848 года, пришел к фатальному выводу: свободу нельзя реализовать в действительности, но ее можно изобразить. А это значило, что можно создать и утопию как великое произведение искусства. Гитлера очаровала в Вагнере прежде всего утопия в форме импозантного произведения искусства, он перенес эту идею на улицу. Я говорил однажды на эту тему с Брекером, скульптором, которому Гитлер поручил сделать ряд работ для Олимпийских игр 1936 года. Меня это интересовало. Я спросил его, что ему говорил при встрече Гитлер.

А Гитлер ему сказал: «Господин Брекер, вы тот человек, который может воплотить на германской почве новогреческий идеал в духе национал-социализма». На что Брекер ответил: «Что вы, мой фюрер, я всего лишь пытаюсь изобразить человека в архитектурном пространстве». Он был весьма наивен. Он мне показывал письма Сталина, они сохранились. Сталин в это же самое время приглашал Брекера для работы в Россию.

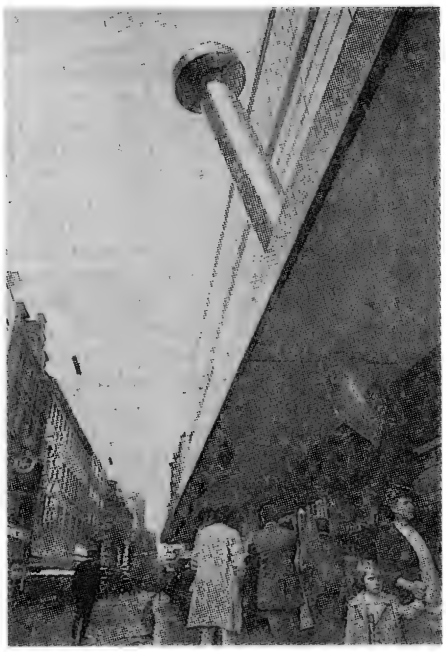
— Как вы думаете,— говорю я,— случайно ли такое сходство эстетических вкусов?

— Что-то общее, конечно, есть. Эстетика коммунистической утопии основана, по сути, на том же представлении: чего нельзя достичь, то можно изобразить. Возможно, в России это восходит еще и к какой-то византийской традиции. Так вот, Брекер мне сказал: «Если бы я тогда поехал к Сталину, я был бы теперь мировой знаменитостью. Но я остался у Гитлера, который проиграл войну, и за это меня преследовали». Наивный человек. Хотя при всем том действительно талантливый художник. Художник, которым злоупотребили. Поэтому я говорю себе: художник должен быть все время начеку, в каждое мгновение. Проще было, когда человек чувствовал себя включенным в какую-либо религиозную традицию, иудейскую или христианскую, признавал законы Моисея или заповеди Христа. Но в ситуации секуляризованной, идеологической, когда человек освобождается от Бога, он легко может поддаться теоретической утопии. А это приводит к неизбежному разочарованию и крушению. Для художника это великая трагедия и великая вина.

— Всяким ли художником можно злоупотребить? — спрашиваю я.

— Думаю, что да,— отвечает Юккер.

Все, что он делает, рождается из непосредственного, интенсивного переживания жизни, из стремления понять других людей, другие культуры. Юккер объездил едва ли не весь мир, и не просто из любознательности путешественника. Он стремится выйти за привычные пределы, обогатить свой внутренний опыт. Его тянут экстремальные ситуации. Пять месяцев он ездит на джипе по Африке, он подымается в горы, живет среди бразильских индейцев и присутствует при их ритуалах, что далеко не всякому чужестранцу позволяется. И своих студентов в Дюссельдорфской академии художеств он учит не живописи и не рисунку — для этого есть другие учителя, другие классы. К нему приходят уже что-то умеющие, во многом сформировавшиеся молодые люди, и учит он их — вникать в жизнь, вглядываться, осмысливать ее во всей полноте и во всем богатстве проявлений, набираться опыта, не отворачиваться от страшного и трагического, пропуская все сквозь собственную душу. Юккер мог бы повезти их во Флоренцию,



вместо этого он спускается с ними в рудник, считая это тоже художественным опытом. Они вместе живут в глухом карельском лесу у границы с Финляндией, две недели проводят в клинике для душевнобольных в Литтенхайде — потрясением для учеников и для учителя было увидеть, как фантазия, источник вдохновения и счастья для творящего художника, может обернуться для человека ужасом и кошмаром. «Какие глубины открылись мне..,— писал позднее Юккер.— Ночь наваливается на меня, мои образы угрожают мне, теснят меня, лишают дыхания, я цепенею». Студенты Юккера были в Вильнюсе во время трагических событий января 1991 года, видели танки, раненых и убитых. В раковой клинике Годесберга они навещали больных после ампутации, человеческие обрубки на грани жизни и смерти — и учились понимать искусство как помощь умирающему человеку. Но едва ли не самым страшным для них оказалось знакомство с опытами в области лучевых и генных исследований. Некоторые падали в обморок. Однако это было нужно, считает Юккер, чтобы осознать реальность нашей технической цивилизации.

По его мнению, односторонность, узость этой цивилизации, где возобладало механическое мышление, принцип механической ротации и механического прогресса, где постоянно совершается насилие не только над окружающей средой, но над самой природой человека, таит в себе все возрастающую угрозу для будущего. Новая технологическая среда, которую человек создал вокруг себя,— это уже как бы мутация природного мира. Западное «общество благосостояния» Юккер называет «вампирическим», оно не только сосет соки из других народов, оно грозит опустошить самого

человека. Необходимость новой ориентации заставляет людей Запада все внимательней вглядываться в опыт других культур. Отсюда многолетний интерес Юккера к цивилизациям и религиям Азии, Африки, Латинской Америки.

Среди издержек современной западной цивилизации — стремление вытеснить куда-то на задворки сознания мысль о неизбежной смерти — понятие фундаментальное для любой культуры. Смерть для многих нынешних европейцев и американцев — скорее житейский казус, неприятность, которая случается иногда с другими; желательно поскорей завершить эту тягостную процедуру с помощью хорошо налаженных служб и побыстрей вернуться к своим делам.

Юккер возвращается к теме смерти постоянно. Для него смерть не отделена от жизни, она неотъемлемая часть всего нашего существования.

— Осознавать смерть, ее необходимость — значит осознавать жизнь,— говорит он.— Если бы не смерть, мы жили бы, наверно, не так интенсивно. Это было бы растительное существование.

— Можно ли назвать ваше мироощущение трагичным? — спрашиваю я.

— Трагизм так же необходим, как эйфорические взлеты. Между трагизмом и счастьем — все богатство жизни, палитра красок и ощущений.

Пожалуй, можно сказать, что в центре его творчества все-таки остается человек — но не тот, что бывает изображен на картинах, а тот, что стоит среди его работ, перед угрожающими остриями, что вслушивается в шумы, издаваемые движущимися объектами, чувствует себя соучастником его акций, тот, кому художник адресует свои послания, кому он пытается передать свое ощущение и свое понимание мира, свои видения и свои кошмары. Если же на работах Юккера и появляется человеческая фигура, то это чаще всего сам художник. В серии «Пепельные люди» слой безжизненного серого вещества очерчивает контуры его собственного тела — напоминая, возможно, о временах, когда двадцатилетний Юккер в своей родной деревне на полуострове Вустров по приказу советских оккупационных властей занимался собиранием трупов, выброшенных морем. На том месте, где лежали тела, оставалась трупная жидкость, обрисовывавшая контуры человеческой фигуры.

Материал для Юккера всегда обладал собственным содержательным значением. И пепел для него — это не просто серая краска, это символ сгоревшей, уничтоженной жизни. Он становился элементом многих юккеровских работ, например, посвященных чернобыльской катастрофе. С годами художник все чаще использует для воплощения своих идей и ощущений не твердые и острые гвозди, а материалы более мягкие: веревки, полотнища, золу, травы, листья, ветки деревьев, песок. Но и мягкий материал в беспрестанном движении способен оставлять все более заметный след на свинцовой пластине, подтверждая неумолимую работу времени.

В 1991 году под влиянием российских впечатлений возникает работа «Россия, Россия». «Правильней было бы сделать названием возглас «Россия, Россия, что будет?» — говорит Юккер.— Меня очень трогало происходящее в России, я глубоко это переживал».

На деревянной плоскости укреплены вниз головой обрезанные ветви берез — остатки погибшего, обгорелого леса. Ветки опалены огнем, обиты гвоздями, которые, как всегда, сами являются смыслонесущим элементом изображения. Промежутки и контуры прочерчены черным углем. Серый пепел от сгоревших деревьев закреплен на плоскости клеем. Листья с ветвей перенесены на отдельную доску и тоже перемешаны с пеплом.

Однажды я услышал от замечательного философа и удивительного человека Мераба Мамардашвили толкование надписи на вратах дантовского ада: «Оставь надежду всяк сюда входящий». Если цепляться за надежду,— говорил Мераб,— невозможно добраться до подлинно трагических глубин, пройти через все круги познания. Потянет остановиться на полпути, вернуться назад. Когда научишься жить без надежды и без страха, тогда наступает что-то, что можно назвать «трагическим весельем». Я рассказываю об этом Юккеру.

— Как, как? — переспрашивает он.— Трагическое веселье? Мне это нравится! Хорошо сказано!

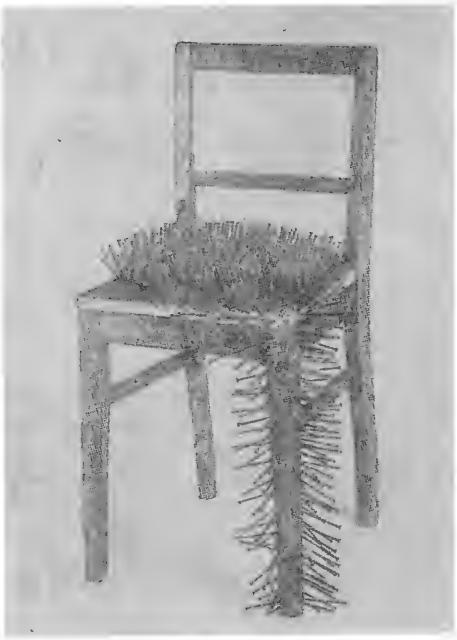
— И ведь Мераб был действительно необычайно жизнелюбивым, светлым, веселым человеком, он умел наслаждаться каж-

дым мгновением жизни при всем трагизме внешних обстоятельств. Но всем ли это по силам? — спрашиваю я.— Не слишком ли это аристократическая постановка вопроса? Так может говорить себе художник, философ, доискивающийся этих самых трагических глубин. Но можно ли отказывать в надежде людям, которые так в ней нуждаются?

Юккер задумывается. «Есть то, что немецкий философ Эрнст Блох называл «принцип надежды», его нельзя отвергать. Было бы безответственностью так разочаровывать людей. Церковь тоже говорит: нет надежды, однако она обещает спасение на небесах. Но когда принцип надежды секуляризируется, возникает все тот же соблазн утопии. Мне кажется, что-то подобное произошло в России после 1917 года. Это была слишком светская надежда: у нас будет больше еды, мы будем богаче. Такая надежда очень уязвима, она в конце концов разочаровывает. Я бы сказал так: надежда удаляет нас от возможности действовать. Я ни на что не надеюсь, я все делаю. Нужно мыслить и действовать, а не надеяться».

— Душа — это постоянная активность,— возвращается он опять к той же мысли.— Это энергия, которая остается и после смерти... Нет, надо не надеяться, а действовать,— повторяет Юккер.— Все, что я думаю, можно и сделать.

Может быть, эта активность, это стремление действовать — свойство, отличающее именно западного человека. Недаром целый ряд его поздних работ носит название «Действие». «В начале было дело»,— так переводил гётевский Фауст слова Писания. Юккер, конечно, художник наднациональный, он противник всякой национальной ограниченности, он ищет новые духовные и творческие импульсы на Востоке, в цивилизациях и религиях, культивирующих ме-



дитацию, созерцательность, недеяние — но осмысливает их на Западе и претворяет на западный, фаустовский, деятельный лад. Возможно, в этом есть внутреннее противоречие — но ведь все творчество Юккера далеко от гармонии.

В одной из книг, которые подарил мне Юккер, я уже потом, в Москве, прочел его давние стихи:

«я заколачиваю в стену гвоздь,
который в ответ высовывается
у моего затылка.
здесь становится предметом
мысль, которую я хочу сделать
видимой в пространстве,
где направление действия
определяет действие».

«AKZENTE»

John Ashbery • Jürgen Becker • Monica Adolph Hans Bender • Rainer Brambach • Robert Creeley • Hans Magnus Enzensberger • Elke Erb Wulf Kirsten • Jayne-Ann Igel • Kathrin Schmidt Lawrence Ferlinghetti • Allen Ginsberg • Günter Grass • Lars Gustafsson • Michael Hamburger Rolf Haufs • Helmut Heißenbüttel • Zbigniew Herbert • Günter Herburger • Friederike Roth Miroslav Holub • Russel Edson • Felix Philipp Ingold • Ilya Kutik • Ernst Jandl • Norbert Hummelt • Sarah Kirsch • Karl Krolow • Michael Krüger • Günter Kunert • Kurt Drawert Friederike Mayröcker • Nina Ranalter • Christoph Meckel • Paulus Böhmer • Annette Gerok Christopher Middleton • Franz Mon • Oskar Pastior • Tadeusz Różewicz • Peter Rühmkorf Werner Söllner • Franz Hodjak • Harry Oberländer • Marin Sorescu • Tomas Tranströmer Gunnar Harding • Peter Waterhouse • Andrea Zanzotto • Ferenc Szijj • Ror Wolf

Herausgegeben von Walter Höllerer

Перевод и вступление Н. ВАСИЛЬЕВОЙ

«ТЕМ, КТО ХОЧЕТ ЧИТАТЬ...»

«В этом обществе чтение литературных журналов относится к разряду странных развлечений миноритарной группы. Но пока еще, слава Богу, не вменено в обязанность утверждать свое «я» и свои традиции исключительно только средствами телевидения или с помощью иллюстрированных журналов»,— писал в 1988 году с характерной для него саркастической интонацией Михаэль Крюгер, поэт, прозаик, директор одного из известнейших в Германии издательств «Ханзер» и издатель литературного журнала «Акценты».

В современном журнально-литературном ландшафте Германии трудно выделить самый «авторитетный», самый «читаемый» журнал. И не потому, что журналов мало или они недостаточно высокого уровня. В Германии выходит много значительных литературных и общекультурных изданий: мюнхенский журнал «Меркурий» («немецкий журнал европейского мышления»), «Нойе рундшау» (литературное обозрение, существующее с 1890 года), «Зинн унд форм» (издаваемый Берлинской академией искусств), «Курсбух» (берлинский журнал, основанный Х. М. Энценсбергером), «Фрайбойтер» (журнал культуры и политики) и др., но широкой, мажоритарной читательской аудитории эти журналы почти неизвестны, средние их тиражи не превышают пяти тысяч экземпляров, и приобрести их можно далеко не в каждой книжной лавке, не говоря уже о киосках печати.

«Акценты» не утверждают, что олицетворяют собой разум эпохи»,— подчеркивал М. Крюгер. И хотя журнал не претендует на роль властителя дум и законодателя мод, издание это безусловно заслуживает внимания.

Во-первых, потому, что наряду с «Меркурием» является своеобразным литературным центром, группирующим вокруг себя талантливых писателей.

Во-вторых, потому, что в силу своей специфики («журнал для литературы», как сказано на его обложке) предлагает своему «читательскому меньшинству» высококачественный литературный материал, увлекательное, хотя и серьезное чтение.

В-третьих, потому, что является изданием безусловно жизнеспособным, о чем свидетельствует его уже «почтенный» для журнала возраст. В этом году «Акценты» (почти ровесник «ИЛ») отмечают свой сорокалетний юбилей. Сегод-

ня в Германии такое журнальное долголетие выглядит «биологической», а одновременно и «экономической» загадкой — по подсчетам специалистов, год жизни журнала приравнивается к трем годам человеческой жизни.

И в-четвертых, потому, что в судьбе журнала, в его позиции, в его взаимоотношении с читательской средой всегда ощущается узел основных проблем, определяющих литературную жизнь Германии, этого постиндустриального, постисторического, постмодернистского общества, в котором, как свидетельствует «один из самых умных», по оценкам критики, современных немецких писателей Ханс Магнус Энценсбергер, «литература вообще стала делом меньшинства... ее аудиторию составляют 10—20 тысяч читателей». И эту реальность, у которой много социальных, исторических и других предпосылок, оспорить трудно, хотя относиться к ней можно по-разному, все зависит, считает М. Крюгер, от точки зрения, от «пункта обзора».

«Акценты» были созданы в 1954 году писателями Вальтером Хёллелером и Хансом Бендером на базе мюнхенского издательства Карла Ханзера (сегодня издательство «Ханзер»), выпускавшего в основном специальную литературу и собрания сочинений классиков и сумевшего таким образом выстоять в годы войны. Целью нового журнала было установить более тесную связь издательства с современной литературой. «После всех разрушений войны, в условиях нарастающей языковой отчужденности в Германии четырех оккупационных зон, мы хотели,— вспоминает Вальтер Хёллелер,— создать журнал, восприимчивый к новым импульсам». Послевоенное время безусловно предоставляло журналу большие возможности для открытий, для восстановления прерванных в годы национал-социализма связей с литературой внутренней и внешней эмиграции, с литературным авангардом, с экспериментами классического модернизма.

Никакой определенной программы журнал тогда сознательно не выдвигал, давая возможность ей самой проявиться в публикациях, главный упор делался на литературный текст, на литературу. «Тот, кто хочет читать, разберется; от тех, кто хочет читать только под руководством вступлений, нам придется отказаться» — так позднее сформулировал М. Крюгер эту установку журнала. С первых же номеров «Акценты» оказались открыты самым разным литературным направлениям, они никогда не были рупором какой-нибудь одной литературной группы. Многие впоследствии широкоизвестные писатели — Гюнтер Грасс, Ханс Магнус Энценсбергер, Мартин Вальзер, Барбара Кёниг, Петер Биксель — впервые опубликовали свои произведения именно на страницах «Акцентов». С самого начала журнал был широко ориентирован и на различные языковые культуры. Эстетические, художественные установки журнала оказались вполне созвучны настроениям и ожиданиям той эпохи, того еще достаточно «читающего» общества.

С 1976 года соиздателем журнала вместе с Хансом Бендером становится Михаэль Крюгер, а с 1981-го — его единственным издателем. Журнал по-прежнему остается верен своим «добрым традициям», двум главным принципам: приверженность литературе и интернациональность, но общественная роль журнала, особенно в 80-е годы, заметно меняется, постоянство и пристальность читательского внимания в значительной степени утрачиваются.

«Акценты» и сегодня отличает широкая географическая и временная палитра. Перелистав хотя бы последние его номера, мы наряду с крупнейшими европейскими авторами (Малларме, Стриндберг, Ларс Густафссон, Гуннар Экелёф, Эмиль Чоран, Милан Кундера) встретим имя Дерека Уолкотта, найдем на страницах журнала подборки стихов иракских поэтов, антологию конголезской лирики, произведения авторов Перу; во втором номере за 1989 год опубликована новелла Сальмана Рушди — свидетельство также и гражданской смелости издателя; достаточно широко представлена и русская литература (О. Мандельштам, которому в 1982 году был посвящен целый номер, А. Ахматова, И. Бродский, Вс. Некрасов, Дм. Пригов, Г. Айги, Б. Ахмадулина, В. Аксенов, Е. Попов). Однако эта «интернациональность», то, чем сам журнал по праву гордится, становится в последнее десятилетие поводом для нападок; «Акценты» упрекают в излишнем увлечении «забытыми» авторами, да к тому же еще и зарубежными.

Еще большее непонимание и отчуждение встречает у читательского

большинства приверженность журнала высокой литературе. Уже в 1979 году М. Крюгер точно уловил и отметил эту тенденцию: «В условиях информационного изобилия и скуки отстаивание ценностей литературы только на том основании, что она от всего другого отлична и хочет быть отличной, может показаться безрассудством». Защита культуры, высокой литературы становится в 80-е годы лейтмотивом обращений издателя к своим читателям. «Отстаивать смысл прекрасного в мире, который всеми силами стремится избавиться от всякого смысла, защищать чувство языка от становящегося с каждым днем все более безликим языкового потока, защищать безвластность изящного против агрессивных манифестаций власти» стало целью журнала.

Потеря широкого читателя была, однако, не столько неудачей одного конкретного издания, сколько симптомом общего изменения роли и веса литературы в обществе. Обратимся еще раз к свидетельству Х. М. Энценсбергера: «Если с созданием гражданского общества литература взяла на себя роль ведущего социального медиума и поэты превратились в предчувствователей и выразителей, а их произведения становились общественным событием, то теперь литература лишилась своего всемогущественного влияния, она свободна, но не может ни узаконить, ни оспорить устройство мира; ей все дозволено, но от нее больше ничего не зависит». Крюгер определил эту ситуацию еще резче: «Литература больше ничего не значит».

Оценка этой данности, отношение к «этому не читающему литературу обществу» зависит, как мы уже отмечали, от точки зрения, от «пункта обзора». «Для меня на самом деле важнее всего представлять современную литературу постоянно на фоне всего модерна,— писал Михаэль Крюгер в 1984 году.— Только тот, кто читает и эту отнюдь не исключительно немецкую литературу, понимает, какие традиции стоят за плечами у пишущих сегодня авторов». Это признание не кажется неожиданным. Уже сама идея защиты высокой литературы, ставшая главным кредо журнала, звучит очень «по-модернистски», напоминает модернистский бой за культуру, когда «культура стала военным лагерем», когда «в жизни слова наступила героическая эра», как виделось это, например, Мандельштаму.

Однако обращение к «модерну» сегодня, в эпоху, за которой уже довольно прочно закрепился другой термин — «постмодерн», суперпонятие нашего времени, «объясняющее все и оправдывающее все» (Крюгер), не может быть нейтральным и безусловно мыслится как полемическое противостояние «постмодерну». Журнал тем самым оказывается вовлеченным в спор «модерна» и «постмодерна», особенно яростно шумевший в Германии в 80-е годы, к этой проблеме не раз возвращается в своих письмах к читателям и М. Крюгер.

Декларируемый «модернизм» журнала не следует понимать как некий консерватизм, как негативное отношение к современной литературе. Журнал открыт для любого литературного эксперимента, приветствует его; Петер Хандке, Милан Кундера, Умберто Эко и многие другие писатели современности — его авторы. В приверженности «модерну» нет никакого налета «литературного донкихотства», наивно борющегося за уже давно нежизненные идеалы, бессмысленно сражающегося с ветряными мельницами массового, развлекательного искусства. Программное противопоставление «модерна» и «постмодерна» помогает журналу обозначить эстетического противника, «определяющего», но и «оправдывающего» многое в этом обществе, помогает противостоять его «уравнительной» тенденции, постмодернистской нивелировке различий между литературой «высокой» и «низкой», элитарной и массовой. Программному элитаризму журнала вполне соответствует и его «элитарное» распространение — в основном по подписке, «ни один киоск в Германии не рассчитывает на спрос и не держит журнал на своих прилавках» (Крюгер).

Твердо отстаивают «Акценты» и «модернистское» право литературы жить по своим собственным законам, защищают автономность литературы, автономность ее языка, тоже оспариваемые постмодерном, размывающим грани искусств, поднимающим роль визуального, зрительного восприятия и «оправдывающим» тем самым засилье иллюстрированных журналов, комиксов и т. д. на литературном рынке. Оформление «Акцентов», напротив, почти провокационно-традиционное, сдержанное, неброское: обычный книжный формат, двухцветная обложка, почти

полное отсутствие иллюстраций (кроме фото писателей на обложке), главное в нем — тексты.

Модернистскую ориентацию журнала подчеркивает и все нарастающая, особенно в письмах к читателям последних лет, интонация политической ангажированности, определенное стремление установить между литературой и миром некую утраченную моральную, эстетическую связь, выдающее нежелание мириться с тем, что литература «ничего не значит» и что «от нее ничего не зависит». Возможно, в этом постмодернистском, изверившемся мире журналом движет все та же вера, вера в красоту, которая «спасет мир», пусть и с некоторыми оговорками, как это прозвучало, например, в Нобелевской лекции И. Бродского: «Мир, вероятно, спасти не удастся, но отдельного человека всегда можно» или — отдельную «миноритарную группу», как, может быть, сказал бы Михаэль Крюгер.

Ниже мы публикуем небольшое интервью, данное М. Крюгером специально для журнала «Иностранная литература», одно из писем издателя «Акцентов» к своим читателям, словесный портрет этого читателя, а также сами литературные тексты — для «тех, кто хочет читать».

ИНТЕРВЬЮ С ИЗДАТЕЛЕМ ЖУРНАЛА «АКЦЕНТЫ» МИХАЭЛЕМ КРЮГЕРОМ

Какое место занимает ваш журнал среди других литературных журналов Германии? Какая роль вообще у литературных журналов в Германии?

— «Акценты» были основаны сорок лет назад и, естественно, в течение этой долгой жизни пережили несколько линек. Сначала они наряду с другими журналами были рупором новой литературы, но «Акценты» были также решительно намерены взять на себя роль посредника между той литературой, которая во время фашизма создавалась за границей, между литературой так называемой внутренней эмиграции, между литературой, которую двадцать лет не печатали — экспрессионизмом, и новым поколением писателей, которое теперь должно было неожиданно влиться в общий литературный поток. Очень знаменательно, на мой взгляд, то, что открывался первый номер нового журнала стихотворением Оскара Лёрке [1], и в том же номере были напечатаны материалы первой после войны большой конференции по Музилю, в которой участвовали такие молодые авторы, как Ингеборг Бахман и Карл Маркус Михель, которые позднее получили признание как незаурядные, самобытные художники. Собрания сочинений Музиля в то время еще не существовало, о научном исследовании творчества Музиля не могло быть и речи, изучение произведения, над которым он до конца своей жизни работал в эмиграции, было еще делом будущего [2]. Лёрке же, напротив, был представителем так называемой природной лирики, неизменно присущей немецкой поэзии. Лёрке — это связующее, переходное звено к поэзии Гюнтера Айха и Петера Хухеля [3], оба они ведь во времена фашизма оставались в Германии и некоторые свои ранние произведения опубликовали еще при третьем рейхе. Разумеется, оба они не были нацистами. В пятидесятые годы нужна была большая чуткость, чтобы с подлинным тактом восстанавливать эти связи. Вы должны представлять себе, что общественная атмосфера во времена Аденауэра предрасполагала к тому, чтобы полностью вычеркнуть из национального сознания фашистский период. Поэтому писатели, которые как-то были с ним связаны, попадали под самые худшие подозрения. Старый спор об отношениях литературы и власти, который начался в годы Веймарской республики, нашел свое продолжение в дебатах аденауэровского времени. Если вы хотели вести его средствами литературы, вы не могли обойтись без писателей.

Может быть, обращение к творчеству Музиля — лучший пример того, как удавалось тогда разрешать литературно-идеологические споры. С тех пор прошло сорок лет, и функция литературных журналов у нас за это время по сути своей изменилась. И дело не только в том, что в настоящее время в стране существует неимоверно разросшийся литературный рынок, представляющий практически все виды литературы, хотя много говорится и о его недостатках. Однако фактом остается то, что в Германии больше пятидесяти процентов всей литературной продукции составляют переводы, так что, по всей вероятности, важнейшие тексты модернизма уже переведены на немецкий. Поскольку теперь очень много новых литературных журналов занимается молодой литературой, современной немецкой литературой, задачи, ко-

[1] Оскар Лёрке (1884—1941) — писатель, поэт, эссеист. *(Здесь и далее — прим. перев.)*

[2] Имеется в виду неоконченный роман Р. Музиля «Человек без свойств».

[3] Гюнтер Айх (1907—1972) — поэт-лирик, прозаик и автор радиопостановок.

Петер Хухель (1903—1981) — лирик, в 1949—1962 гг.— главный редактор восточноберлинского журнала «Зинн унд форм», с 1971-го жил в ФРГ.

торые ставят перед собой «Акценты», в значительной степени изменились. Сегодня главное, на мой взгляд,— представить и прояснить процесс модернизма, как он складывался, формировался в литературе, чтобы противостоять уравнительству берущего верх как на теоретическом, так и на практическом уровне постмодернизма. Постмодернизм более или менее откровенно исходит из того, что после лингвистических увлечений философии однозначных суждений о смысле литературных текстов больше не существует. Если допустить, что это в какой-то мере так, то тем важнее становится та особая позиция, которую мы занимаем по отношению к литературе, совершенно независимо о того, какое именно литературное направление мы предпочитаем. Такая поддержка бесконечно многообразных форм проявления литературного модернизма была, однако, оценена в эпоху постмодернизма как консервативный вздор и принесла журналу дурную славу. В этой ситуации для меня важно постараться дать современному читателю представление о многих программных положениях модернизма и о том, как они проявляются прежде всего в поэзии. Всегда ли мне это удается, не мне судить, но предпринимать такие попытки безусловно стоит.

Теперь о второй части вопроса. Я думаю, что литературные журналы в Германии не играют больше какой-либо значительной роли. Если разворачиваются дискуссии по эстетическим вопросам, то они находят свое отражение или на страницах ежедневной газеты, или в журналах широкого профиля, например в «Меркурии». Другими словами, взаимное отдаление литературы и эстетической теории становится все более ощутимым. Как правило, немецкие писатели не читают теоретических исследований, наплевать им на них, и академики не особенно интересуются современной литературой. Такого журнала, который бы ставил своей целью соединить философские, эстетические теории с литературой, нет, есть только попытки что-то сделать в этом направлении. Впрочем, вы должны учитывать, что тиражи литературных журналов в Германии колеблются от 1000 до 5000 экземпляров, то есть имеют очень небольшое распространение. Сейчас речь идет о сохранении журналов как печатного средства, способного поддерживать и усиливать определенные тенденции. Но возможности оказывать серьезное влияние на ход литературных дебатов у журналов при их сегодняшней вялости и медлительности никакой нет.

В 1979 году по поводу 25-летия «Акцентов» вы писали: «Журнал можно рассматривать как хронику, как зеркало литературного развития в послевоенной Германии». Ставит ли журнал в свой юбилейный, сороковой год перед собой те же задачи? Как бы вы могли в этой связи охарактеризовать современное литературное развитие в Германии? Другими словами: что случилось с немецкой литературой и что случилось в немецкой литературе?

— Частично я уже ответил на первый вопрос выше. Нет, журнал больше не может восприниматься как зеркало немецкой современной литературы, ни один журнал не может выполнять теперь эту роль. Литература ушла в сферу книги. В функции литературного журнала входит скорее оценивать эту литературу и представлять ее в интернациональном контексте.

На второй вопрос ответить сложно. В Германии по-прежнему имеет широкое распространение роман как литературный жанр, но настоящее экспериментаторство в этой области встречается теперь значительно реже. Это связано с очень многими вещами, не в последнюю очередь с историко-философскими представлениями сегодняшнего времени, в которое новые смелые эксперименты в области литературы уже больше не вписываются. Думаю, что подобные попытки вряд ли вообще были бы восприняты, настолько изменилась сама психология восприятия литературы. Спрос сейчас скорее на сюжет, на фабулу. И на это есть много разных причин. Среди прочих та, что все усиливающийся напор информации, все множащиеся технические средства коммуникации совершенно очевидно не в состоянии сделать общественные процессы более обозримыми. Надежда на то, что отдельный человек будет чувствовать себя освобожденным от многих организационных забот, поскольку государство и его институты возьмут на себя эти его проблемы, не оправдалась, скорее наоборот. Сегодня человек еще больше растерян «перед жизнью», чем раньше, когда ему приходилось со всеми своими проблемами справляться самому. Эта «новая необозримость», как назвал ее Хабермас [1], приводит к тому, что человек ищет в литературе идентификационные пространства, в которых жизненные процессы протекали бы разумно, понятно и логично. А это опять же может предоставить не эксперимент, а история со счастливым концом. Но разумеется, было бы большим упрощением свести все проблемы современной литературы в Германии только к этим вопросам. Литература эта по-прежнему исключительно живая, многообразная и интересная, даже если некоторые критики и ставят ей в упрек недостаточную литературную изощренность. То, что у литературы нет никаких бесспорных ответов на современные проблемы в отношениях между Востоком и Западом, Западом и Югом, представляется мне скорее хорошим знаком. Было бы ужасно, если бы сегодня уже в других условиях

[1] Юрген Хабермас (род. в 1929) — философ и социолог, ученик Ротакера и Адорно, в 1985-м выпустил книгу «Новая необозримость».

опять повторилось фатальное идеологизирование литературы конца шестидесятых.

ПИСЬМО ИЗДАТЕЛЯ «АКЦЕНТОВ» К СВОИМ ЧИТАТЕЛЯМ

Литературный журнал, как и любой другой журнал, получает каждый день уйму почты. Как правило, речь идет о рукописях, сопровождаемых подробными письмами, в которых разъясняется значение прилагаемых текстов; другими словами, поэтический язык переводится на прозаический; «буйные джунгли литературы», как называет это Джордж Стайнер [1], как бы предстают уже окультуренными. Качественное различие двух языковых пластов трудно себе представить бóльшим: в то время как в художественном тексте находит свое выражение в изысканных образах, смелых метафорах и рискованных сравнениях бедный или богатый внутренний мир автора, сопроводительное письмо уже предлагает вам с поразительным прямодушием инструкцию, как следует его читать, а именно как «знак отчужденности», как «выражение моего отвращения ко всему окружающему», как «ответ на бессмысленность» и т. д. Если бы подобные авторские ярлыки включались бы в заголовки, то тексты в большинстве случаев становились бы объектом осмеяния: четыре стихотворения отчуждения; новелла отвращения; сонет бессмысленности. Настоящий читатель сопротивляется тому, чтобы ему навязывалось определенное восприятие прочитанного. «Смысл — это не то, что сообщает текст, а то, что улавливает читатель»,— пишет Ролан Барт, и совершенно недопустимо, когда улавливаемое эхо заранее направляется по определенному руслу, когда читателя оповещают о якобы особом значении произведения прежде, чем он сам его почувствует. Часто такой ярлык подменяет чтение, толкование разрушает возможное читательское эхо; и тогда мы читаем уже «субъективизм», или «герметизм», или «экспериментаторство», то есть мы уже больше не читаем. Это конец литературы.

Но вернемся к почте. Зимой, к концу года, попадаются среди рукописей письма, в которых читатели отказываются от дальнейшей подписки, часто, между прочим, это единственная форма непосредственного контакта издателя с читателями журнала. Об этом не стоило бы и говорить, если бы в некоторых из этих писем не называлось, как причина отказа от подписки, то, что журнал стал якобы слишком «эзотеричным», слишком уж на «взыскательного читателя» или попросту «странным». Эти упреки не потому заслуживают внимания, что они повторяют все те же уже набившие оскомину суждения, которые сопровождают литературу модерна со времени его возникновения, а потому, что они метят в самую суть современного литературного процесса. В них ведь речь идет о том, что литература, которая не может быть использована как «чтиво», как литературный подножный корм, как развлекательная дребедень или как политическое боевое орудие, должна быть исключена из культурного обихода. Этот вердикт направлен не только против так называемого авангарда, который, если он принимает себя всерьез, по его собственному признанию, не может чувствовать себя уязвленным, этот вердикт прежде всего направлен против литературы, которая непоколебимо подчиняется только своим собственным законам, ускользает от «объективного» навешивания ярлыков и чувствует себя лишь на службе у фантазии, сквозь призму которой состояние мира, общества и языка выглядит иначе и понято глубже, чем в так называемой реалистической литературе, которая сегодня в ходу. Вот тут-то неожиданно и обнаруживается альянс между большой частью литературной критики и отказывающимися от подписки читателями: и те и другие встречаются на самом «жалком» уровне, там, где чрезвычайно сложная связь мира и литературы сводится к худосочным псевдопонятиям: «странный», «эзотеричный» и т. д. Если с такими предпосылками считать авторов «Акцентов» «эзотеричными», тогда мы и в самом деле видим свое назначение в том, чтобы быть хранителями и защитниками всего эзотеричного. Другой программы и нельзя представить себе, если ждать от литературы нечто большего, чем литературного корма. Конечно, некоторые наши современники предпочитают есть четыре раза в неделю гамбургер, два раза в неделю чизбургер, а по воскресеньям хотдог. Они прекрасно знают, где могут насытить свой желудок, точно так же как поставщики литературного корма прекрасно знают, какими публикациями они могут утолить их голод. Подобные центры литературной кормежки встречаются на каждом шагу, и там умеют прекрасно преподнести то, чего ждут от них клиенты: тридцать стихотворений о разоружении и мире; секс сегодня; стихи и проза; или еще что-то в этом роде. Чего же еще? Может быть, это даже и нужно в обществе, которое способно реагировать только на шаблоны, на ключевые слова, которые у всех на слуху. В переводах тут больше нет необходимости, заглавием уже все сказано!

Но если все уже сказано, зачем же тогда литература?

1982, № 1

[1] Джордж Стайнер (род. в 1929) — американский писатель французского происхождения.

Прежде чем перейти непосредственно к текстам журнала, предлагаем читателям «ИЛ» провести маленький эксперимент. Определите, подходите ли вы под категорию «читателя «Акцентов».

ЧИТАТЕЛЬ «АКЦЕНТОВ»

1. Это обходительный человек с сильной склонностью к учтивости, которую он понимает и приветствует как проявление цивилизованности.
2. Он еще не окончательно разочаровался в мире и все еще лелеет слегка безумную надежду иметь возможность и далее предаваться пороку чтения.
3. Он принимает действительность за выдумку поэтов и часто бывает ошеломлен и напуган, когда ему приходит счет, подлежащий оплате (к примеру, за подписку на «Акценты», чью цену, впрочем, пугающей назвать сложно).
4. Если он встречает в тексте иностранное слово, которое не понимает, он не отказывается сразу же от подписки на журнал на том основании, что тот якобы эзотеричен, он скорее обратится к словарю.
5. Он как представитель меньшинства с уважением относится к меньшинствам и к формам выражения их взглядов.
6. Он, не рассчитывая на адекватную реакцию, убежденный демократ и допускает, таким образом, в противоположность некоторым критикам, которые претендуют на знание истины, различные интерпретации истины.
7. Он достаточно уверен в себе, но — не абсолютно.
8. О нем вряд ли можно сказать: свой парень, и многие думают, к его тайному удовольствию, будто он ставит себя выше других; он не станет опровергать этого суждения, поскольку сам-то отлично знает, что он собой представляет.
9. Он, порой по слабости, бывает заносчив, однако, по слабости, считает эту заносчивость простительной.
10. Ему не нравится, когда в литературных дискуссиях цитируются расхожие мысли.
11. Приказы, призывы к порядку, проработки и предупреждения приводят его, упорного почитателя поэзии, в ярость, затем в отчаяние, а в случае длительного пренебрежения поэтичностью языка повергают его в депрессию.
12. Он, будучи по убеждению осторожным анархистом, по сути своей — пессимистический оптимист.

1987, № 1

РЕЙНХАРД ЛЕТТАУ

РЕЙНХАРД ЛЕТТАУ — ПИСАТЕЛЬ И ЛИТЕРАТУРОВЕД, РОДИЛСЯ В 1929 ГОДУ В ЭРФУРТЕ, В 1991 ГОДУ ВЕРНУЛСЯ В ГЕРМАНИЮ ПОСЛЕ МНОГОЛЕТНЕГО ПРЕБЫВАНИЯ В США, ГДЕ В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ПРЕПОДАВАЛ В КАЛИФОРНИЙСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ В САН-ДИЕГО ИСТОРИЮ НЕМЕЦКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. «ВВЕДЕНИЕ В ЛОГИСТИКУ» — ОТРЫВОК БОЛЬШОЙ, ЕЩЕ НЕ ЗАВЕРШЕННОЙ ПРОЗАИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, НАПИСАННОЙ В ХАРАКТЕРНОМ ДЛЯ ПИСАТЕЛЯ СТИЛЕ ИГРОВОГО ПРИЧУДЛИВОГО СОЕДИНЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ И ФАНТАЗИИ.

ЯКОБЫ ДРУГИЕ

Все хотят быть другими, совершенно другими, ни на кого не похожими. И других, кроме них, с их точки зрения, никого нет. Даже когда они одни, в своем узком кругу, они не считают нас другими. Другими являются только они и относительно нас, в то время как мы для них никакие не другие, и это только они определяют, кто такие другие — то есть они сами,— у нас подобных привилегий нет.

Если бы мы, к примеру, подошли к другим и крикнули им: «Вы совсем другие» — и, возможно, ожидали бы от них, что они нам скажут: «И вы тоже!», но нет, они обязательно ответят нам: «А вы нет!»

Таким образом, из двух разных групп только одна — другая относительно другой, но ни в коем случае не наоборот: ни в коем случае не вторая относительно первой, то есть одно дело — это те, которые требуют от нас, чтобы мы считали их другими, в то время как нам не позволяется даже намекнуть на то, что мы, хотя бы с их точки зрения, хотя бы в момент

счастливого отстранения от них, тоже другие. А не есть ли это простая невоспитанность, и те, другие, слишком торопятся сказать свое слово, как только речь заходит о них, не перестают ли они в тот же момент быть другими, как только назовут себя другими? Когда во что бы то ни стало захочется быть другим, ни на кого не похожим, не лучше ли тогда взять и промолчать? А иначе какие могут быть новости из Парижа?

1989, № 5

ВВЕДЕНИЕ В ЛОГИСТИКУ

Если бы меня вдруг спросили, чем я был занят в последние годы, я должен был бы честно признаться: «Я следил за тем, чтобы все мои вещи были на своих местах».

Но дело в том, что ожидать от кого-либо большого интереса к местоположению моих вещей мне не приходится. Даже и сами вещи — на своих ли местах или нет — вряд ли вызовут у кого-то интерес. Поэтому мне скорее всего пришлось бы услышать в ответ: «Нас не интересуют ни ваши вещи, ни где они находятся, ни вы сами. А впрочем, что это за вещи такие?»

Должен ли я покрепче держать язык за зубами и молча сидеть с молчаливыми вещами в доме, где застал меня этот вопрос? А если вещи тоже умеют плакать — логически доказать, что это не так, мы не в состоянии,— должен ли я все-таки уступить, запрятать куда-нибудь мои вещи или пустить их, как кавалерию, скитаться по дому? Ведь дело совсем не в том, что я расставляю вещи, чтобы любоваться их видом. Вовсе нет: самое лучшее — это пустой, то есть свободный от всего совершенно необходимого дом, который выглядит всегда одинаково, где не видно ничего самого необходимого, вот почему вещи и прячут, чтобы их вид не наводил человека ни на какие ненужные мысли. Кроме того, вещи, старательно убранные, быстро становятся невидимыми, и место, которое они занимают, перестает существовать как место в этом мире.

Была бы ему, миру, от того какая-нибудь польза, если бы я выбросил свои ложки? Должен ли я выйти на улицу и раздать тарелки людям, у которых дома тарелки еще красивее, но они их не используют, а выставляют их на обозрение приходящих в нескрываемое восхищение гостей, которые тоже в свою очередь такими тарелками не пользуются или используют их не по назначению? А когда все последние вещи будут розданы, должен ли я тогда, так сказать из соображений престижа, вести роскошную жизнь как неимущий бедняк?

Если бы последовали новые вопросы относительно того, какие жизненные происшествия привели меня к подобным умозаключениям, мне пришлось бы заводить речь о гостях, снова и снова о гостях, которые часто, едва успев войти в дом, впивались глазами в мои вещи, потом ощупывали их, хватали, переставляли на какие-то другие места, которые вряд ли моим вещам нравились. Самое подходящее место для вещи то, где ее всегда можно найти и где она хорошо себя чувствует. Когда я раскладываю по кругу, к примеру, пять персиков на голубой тарелке, мне всегда кажется, что эти персики предпочли бы оставаться одни, а не смешиваться в живописный ансамбль с другими фруктами. Но сегодня с вещами принято обращаться как с людьми, главные вещи срываются со своих мест, особенно если в вашем доме гости, и начинают путешествовать по дому, сахар к чаю подают к кофе, нож используется как открывалка для консервов, блюдца идут в ход вместо тарелок, и соль в солонке вечно в бороздках, сколько бы раз мы ее, даже во время еды, ни встряхивали.

Ложка чайная — это совсем не то, что ложка кофейная. Серебро чайное прочнее, но тоньше и гибче, чем кофейное. Некоторым людям это просто

невозможно объяснить. Само собой разумеется, у меня есть ложки для чая, для кофе, для какао, а также одна ложка, которую можно использовать для всего в дороге, на пикнике, назовем ее кавалеристом за мобильность и разносторонность ее применения по сравнению с другими офицерами, скажем, с железной сковородой, этим офицером-артиллеристом в звании генерала.

Разумеется, не следует думать, что в один прекрасный день я предстал перед своими ложками и скомандовал: «Отныне ты ложка для супа-пюре, ты — для бульона» и т. д. или же: «Ты — ложка-мешалка, ты — половник, половник — китайский полковник». Отнюдь нет, ложки сами должны были, скажем так, заслужить свое звание и род войск непосредственно в деле, в боевой операции, где они и проявили себя так, как мы их теперь используем. Таким образом, все вещи, способные нести службу вне дома, кавалеристы по сути своей и т. д. И как это обычно бывает, на большее, нежели стать полковником в своем полку, они не рассчитывают. Впрочем, это в основном только люди штатские вещами не интересуются.

И вот гость, который уже несколько дней гостит в нашем доме, хватает нас за руку, подлавливая в прихожей, и шепотом просит заглянуть на минутку в гостиную. Мы подсаживаемся к нему на диван, а он, бросая взгляд в дальний угол комнаты, говорит: «А у тебя, оказывается, есть камин!» или: «А у тебя, оказывается, там сад!», причем его «оказывается» означает, что мы сами до сих пор вряд ли обращали на это внимание или же, что тоже вполне вероятно, надеялись от него это утаить. «И в самом деле, это камин!» — должна быть ответная реакция с нашей стороны, или: «А я надеялся, ты его не заметил!»

А бывает, что с прибытием гостя в вашем доме наступают серьезные перемены. Это плохой знак, если гость появляется раньше времени. Он якобы добрался с вокзала более короткой дорогой и потому, несмотря на чемоданы и сумки, среди которых, зажатый ими, стоит теперь в прихожей, появился у нас на несколько часов раньше. А мы бы предпочитали его еще немного подождать, и гораздо лучше было бы сначала ободряюще махнуть ему рукой из глубины дома, приглашая войти. Но он уже тут. Руки он держит в карманах распахнутого дорожного пальто, которое пока еще не снимает.

В общем-то, это не враждебный, но далеко и не благодарный взгляд, который он быстро бросает на видимые ему из прихожей предметы этого дома. Несколько раз глаза его возвращаются к картине, на которой изображены два монарха — каждый в мундире армии другого, они приветствуют друг друга, окруженные ликующими офицерами. К этой картине, которую я много лет назад в тихий послеобеденный час, готовясь к праздничному приему, в надежде доставить моим тогда еще хорошо воспитанным гостям радость, вставил в раму и повесил здесь,— к этой картине он направляется, осторожно снимает ее со стены и произносит, обращая ко мне слова, из которых я заключаю, что картина здесь не на месте, лучше бы ей висеть где-нибудь еще, а где именно — потом придумаем.

Но это только начало, позднее я слышу из комнаты для гостей на третьем этаже, куда он удалился, чтобы немного поспать после обеда, страшный шум, как будто там переезжают, и действительно, в скором времени он появляется в прихожей, тяжело дыша, с комодом, до сих пор вполне удачно располагавшимся в комнате для гостей. В такие минуты я всегда задаю себе вопрос: подхожу ли я еще для роли гостеприимного хозяина?

Но уж совсем беззащитен оказываюсь я, когда в тягучие, неотвязные сновидения позднего утра, с которыми, просыпаясь, так тяжело расставаться, вторгаются бодрые шаги расхаживающего взад-вперед перед вашей спальней гостя, который уже давно покончил с завтраком, а подкрепив силы, просто лопается от жажды приключений и бросает мне, когда я выхожу из спальни, через плечо уже у входной двери что-то безусловно от-

вратительное. Еще неприятнее бывает, когда, едва я успеваю, приняв с вечера в постели горизонтальное положение, погрузиться в сладчайший сон, меня через какую-нибудь, на мой взгляд, минуту-другую возвращает к жизни крик гостя, возвещающего мне о наступлении утра. Чувство, что день начался с поражения, преследует вас потом до самого вечера. Вряд ли тут может служить утешением то, что гость предлагает вам устроить совместный завтрак — по всей вероятности, для него уже второй, достаточно бросить один беглый взгляд на кухню.

Впрочем, о кухне лучше и не вспоминать. Признать в ней кухню может только тот, кто будет смотреть на нее с одного определенного, с миллиметровой точностью установленного пункта, если к тому же ограничит угол обзора слева и справа, поднеся к глазам, наподобие бинокля, скругленные ладони. Только при этом строжайшем условии, если к тому же наблюдатель не будет никуда наклоняться, это еще кухня. Но взгляд налево, где сплошной дым и чад, или направо, откуда машет вам гость,— и перед вами предстает картина под названием «Не павший жертвой буйного разгула».

Вот только несколько деталей из миллиона других: дверцы шкафов и кладовок распахнуты, ящики выдвинуты и обнажают содержимое, все вещи на виду. Щедро намазанный моим клубничным вареньем кусок хлеба висит на самом краю стола. Скатерть вокруг него покрыта красными пятнами. Буханка хлеба лежит перевернутая, круглой выпуклой стороной вниз, так что стоит случайно задеть стол, и хлеб, а также и находящееся по соседству с ним мыло, тоже перевернутое и тоже плоской стороной кверху, полетят на пол — со всеми неизменными ужасными для дома и семьи последствиями этой старой приметы. Неудачно откупоренная и еще неудачнее снова закупоренная пробкой бутылка красного вина — внутри же раскрошившиеся во время торопливого открывания кусочки пробки, которая потом поврежденным концом была опять воткнута в бутылку,— свидетельствует о мощных попойках. Голландский соус из кувшинчика гость наливал себе явно прямо через край, соль в солонке словно изборождена, будь они тысячу раз неладны, эти горы и долины, а что творится в раковине, нельзя описать без боли.

На все это мне могут сказать, что я уж чересчур чувствителен: больше строгости в оценке своей собственной персоны не помешало бы и т. д. На этот упрек у меня есть два ответа: один длинный и один короткий. Короткий ответ гласит: нет, я не согласен. Длинный ответ гласит: мне идет уже седьмой десяток, и я перенес в своей жизни следующие операции: операцию спины, операцию груди, операцию лобных пазух, операцию челюсти, операцию желудка, а недавно пришлось снимать на правой и на левой руке ногти, под которыми было нагноение. Прибавьте еще сюда неизлечимые: одышка, слабое зрение, перепады в настроении. Данное сочинение я пишу, медленно передвигаясь вдоль доски, тянущейся слева от меня у стены моего рабочего кабинета, мелом, который, когда исписывается, я заменяю другим, опуская руку в правый карман куртки, при этом мне, как вот и теперь, приходится останавливаться. На слове «останавливаться», которое я только что записал, а упомянув о том, что я его написал, записал во второй раз, я должен был сделать два больших шага вперед,— такие большие получаются буквы, так плохо видят глаза, и так отвратительны перепады в настроении, от которых я принимаю лекарства, которые обеспечивают мне кошмары во сне, которые в свою очередь лишают меня чувства юмора и т. д.

Последняя неожиданность — это то, что я якобы не могу больше председательствовать на устраиваемых мной званых обедах. Люди жалуются, что я якобы засыпаю за столом, потом вдруг якобы внезапно просыпаюсь и начинаю поспешно убирать со стола бокалы, тарелки, а также все серебряные приборы. Но не может быть правдой и то и другое

одновременно. Либо я убираю со стола столовые приборы, а это значит, что я не сплю, либо же я сплю, но тогда никто не мешает моим гостям продолжать трапезу. Но то, что именно этот ничтожный характер разговоров, показуха, несерьезность, соглашательство, трусость и глупость — мои гости в основном критики и профессора, следовательно, люди теоретического склада,— а также общая хаотическая процедура самого застолья не оставляют мне никакого другого выхода, как решиться на убийство или притвориться спящим, еще никому не пришло в голову.

Когда вы встречаете гостей, переступающих порог вашего дома, можно не опасаться никаких сюрпризов, ведь вы сами их пригласили, следовательно, и раньше их знали. И тем не менее каждый раз поражаешься, как они, в общем, непривлекательны внешне.

Вы уже давно убедили себя в том, что именно тех людей, во внешности которых очевидны погрешности и изъяны, природа обязательно должна была одарить незаурядными качествами иного рода. У моих гостей ничто из того, что они изрекают, не позволяет вам ни на минуту забыть о том, как они выглядят: чрезмерно выпуклый, влажный лоб, оскал щелкунчика, в красное или зеленое, как на охоту, одетые старухи, лысые головы, пестрые бороды отшельников.

И возникают сами собой грустные вопросы: может быть, я вообще не люблю гостей? Как же я терпел все эти годы таких отвратительных гостей? И не оборачиваются ли все эти сетования против меня самого?

Разумеется, мне не доставляет никакого удовольствия обсуждать недостатки других людей. Я также знаю, что каждая жалоба на того или иного гостя, исходящая от меня, в первую очередь ударяет по мне, по тому, кто их пригласил. И даже само мое признание настраивает против меня, ведь я таким образом расчищаю поле для более острых нападок. Да и из того, что я сообщаю, ведь достоверно только то, что сообщаю это я, и та характеристика профессорши Дурнулер как огромной курицы, судорожно дергающей во все стороны головой, выдает скорее меня, того, кто об этом сообщает, который потом сообщает, что именно он об этом сообщает, так что деваться мне некуда. Даже если бы я выдумал вдруг гостя с приятной внешностью, то только бы выставил себя дураком, предпринявшим неудачную попытку заставить других поверить, что такое в принципе возможно. А что, если и вправду гостей с приятной внешностью вообще не существует, может быть, гости с приятной внешностью — это гости с отвратительной внешностью, к которым мы уже привыкли, может быть, гости приятной наружности бывают в более благополучных странах, может быть, они у нас днем прячутся и вылетают роем только по ночам, когда мы спим, может быть, мы сами — тот единственный гость приятной наружности, и второго такого, который мог бы к нему прийти, нет?

Что же касается первого вопроса, то либо к гостям привыкаешь и тогда радуешься всякому приятному вечеру с приятными людьми, либо надо начинать вести жизнь отшельника. Сам я пока еще жду, не понравятся ли мне вдруг какие-нибудь гости. Но что же нужно сделать, чтобы прийти к заключению, что кто-то кому-то нравится? Надо ли для этого, как я уже пытался, закрыв глаза, откинуться на спинку кресла и с перекошенным от напряжения лицом ждать, когда сложится это благоприятное суждение о госте?

Вся моя жизнь есть история ожидания такого суждения, однозначность которого определила бы мою жизнь, то есть я, так сказать, отодвинул мое возможное привыкание к гостям на тот момент, когда я в один прекрасный день мог бы проснуться и сказать: «По крайней мере, этот гость мне нравится!» А пока я жду этого момента, решил я, я буду наблюдать за гостями, а вдруг они станут лучше? Это как с принятием решения. Не прийти к какому-то решению — значит перенести это решение на более поздний срок, но оно в условиях постоянно меняющихся обстоятельств,

которые, казалось, требуют его принятия, с каждым днем представляется все менее необходимым. Часто, однако, нежелание немедленно принять какое-то решение вызывает потребность в каком-то новом решении, часто упущенное решение порождает необходимость принятия многих новых решений. А между тем, чтобы пока не скучать, можно было бы заманить всех гостей в подвал, напялить на них с помощью нескольких сильных садовников ливреи и заставить прислуживать в столовой. А можно было бы, едва заметив в окне приближение гостей, скрыться из дома по заранее прокопанному потайному ходу, который вывел бы вас в дальний угол сада, где-нибудь за сараем для садового инвентаря, где у белой стены спрятана машина, а оттуда уже прямо в горы: мечты и планы, которым никогда не суждено сбыться...

1989, № 5
1991, № 2

ЖАН-ЛЮК НАНСИ

ЖАН-ЛЮК НАНСИ ПРЕПОДАЕТ КОМПАРАТИВИСТИКУ В УНИВЕРСИТЕТЕ БЕРКЛИ (КАЛИФОРНИЯ).

ЛЕТТАУ ВЫХОДИТ НА СЦЕНУ

Леттау выходит на сцену, уходит со сцены, снова выходит на сцену.

Он говорит: «Я писатель. Я не писатель. Я профессор. Я не профессор. Я немец. Я не немец. Я живу в Америке. Я не живу в Америке».

Публика свистит. Нас что здесь, дурачат? Может, он еще скажет: «Я человек. Я не человек»? Или: «Я слон. Я не слон»? С него станется. Леттау грустно. Он никого не хочет дурачить. Но как обо всех этих вещах — по-другому? И почему люди не понимают того, что так просто?

Это и вправду все очень просто. Писатель никогда не может сказать, что он писатель. Как только он сам в это поверит, он сразу утрачивает то самое чувство абсолютной неопределенности, которое единственно и делает писательство писательством. Неизвестно, что у тебя напишется, неизвестно, стоит ли это писать, неизвестно, напишешь ли вообще. Леттау никогда не знает, как это получается, но иногда, совершенно неожиданно, что-то оказывается написанным.

Профессор же, наоборот, не может вдруг совершенно неожиданно для себя обнаружить, что ведет семинар. К семинару надо готовиться, надо знать, что хотел сказать и что говоришь. И все-таки Леттау профессор тоже, но на это есть своя особая причина. Он любит людей, любит в них вспышки и проблески чего-то такого, что таится глубже, чем простое знание или незнание. И ценится выше.

Немец — это что-то очень далекое, туманное; некая идентичность, не поддающаяся идентификации, это что-то между саксами и швабами, Тюрингией и Баварией. Стоит только попытаться поточнее определить «немецкость», что-то непременно сюда не впишется. Леттау это прекрасно знает.

Жить в Америке — значит, жить именно там, где в основном не живут, а действуют, воплощают, реализуют. И все-таки здесь есть и жизнь (life), и времена года (seasons), даже в Калифорнии, и друзья, и рассветы (dawns).

— Это ведь так просто. Почему же Леттау затрачивает столько усилий, чтобы все это объяснить?

— Потому что он говорит все сразу.

— Но зачем же говорить все сразу? Это же смешно. Метод научного исследования для того и существует, чтобы излагать все вещи по порядку, в более-менее ясной последовательности.

— Но говорить о каждой вещи по порядку и в отдельности — это значит или заблуждаться, или лгать. Сам порядок есть ложь. И ясность тоже. Здесь и начинается литература. Иная ясность.

— Если литература состоит в том, что можно говорить обо всем одновременно, то это означает, что скоро вообще ничего нельзя будет понять.

— Или же можно будет понять все сразу. Вдруг увидишь, что все стало понятно. Как писатель вдруг видит, что у него что-то написалось. Леттау пишет не для людей, желающих что-либо понять, он пишет для тех, кто знает толк в сочинительстве и кто, читая, отмечает про себя, да, это писал писатель.

— Простите, пожалуйста, но мои не такие уж поверхностные занятия теорией литературы, стилистикой, поэтикой, социологией, историей, философией, даже психоаналитическими и деконструктивными методами исследования литературного текста...

— Да, да, конечно. Но не мне же вам говорить, ведь вы так ничего и не поняли.

— А вы-то что об этом знаете?

— Ничего, тут вы правы. Я должен признаться: это достаточно сложно — ничего не понимать, и самые углубленные занятия не могут истребить упорного стремления вопреки всему что-то понять в сочинительстве.

Безусловно, перед этим стремлением что-то понять устоять труднее. Я убежден, вы чувствуете, с каким жаром, с каким нетерпением и с каким спокойствием садится Леттау за свой письменный стол. И с каким удовольствием он из-за него встает и через какое-то время снова садится. Это пересиливает в нем все остальное, Германию и Америку, университет и даже соблазн быть писателем. Леттау пересиливает соблазн быть Леттау. Послушайте, давайте расставим все точки над «i». Леттау — это не имя человека. Пора в конце концов это признать.

— Ах вот как? И что, по-вашему, означает это имя: Леттау?

— Это имя реки, оросительного канала, пустыни, утеса, sky scraper'a, если хотите?

— Да, я и вправду не совсем понимаю, что же вы знаете?

— Разве мы здесь для того, чтобы знать? Вы, наверно, правы. Леттау знает. Он нам это скажет.

Леттау выходит на сцену. Уходит со сцены. Никто не смеется. Спектакль тут же начинается снова. И так несколько часов подряд. Пока дирекция цирка считает это целесообразным для кассы. Наконец силы у всех иссякли. Ни воздушные гимнастки, ни клоуны больше не в состоянии исполнять свои номера. И Леттау тоже не в состоянии. Он спит. Ему снится, что ему больше не надо выходить на сцену или уходить с нее. Леттау снится, что он стал Леттау и не стал Леттау. Снится, что он в Берлине и не в Берлине. Снится, что все уснули и только у него одного глаза открыты. Леттау пишет.

Может быть, он пишет, что Леттау звучит почти как литеры, что и эти литеры, что он пишет, будут набраны литерами, или что он сам, Леттау, сделан из литер? Господи, какая старая история...

1989, № 5

ХАНС БЛЮМЕНБЕРГ

ХАНС БЛЮМЕНБЕРГ — ФИЛОСОФ, РОДИЛСЯ В 1920 ГОДУ В ГОРОДЕ ЛЮБЕКЕ, ПРЕПОДАЕТ ФИЛОСОФИЮ В УНИВЕРСИТЕТЕ ГОРОДА МЮНСТЕР, АВТОР МНОГИХ ФИЛОСОФСКИХ ТРУДОВ И ЭССЕ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ СОБОЙ СИНТЕЗ ЛИТЕРАТУРЫ, ФИЛОСОФИИ, ИСТОРИОГРАФИИ И ФИЛОЛОГИИ, СЧИТАЕТСЯ ОДНИМ ИЗ САМЫХ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ФИЛОСОФОВ-ПИСАТЕЛЕЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ.

МИХАЭЛЬ КРЮГЕР

«У философа бывают читатели и слушатели. Читатели его не видят»,— пишет Ханс Блюменберг, философ и писатель, которому летом 1990 года исполнилось семьдесят лет. В самом деле, ни к одному из именитых философов это утверждение не применимо в большей степени, чем к его автору, который тем самым выпадает из тех рамок, в которых должен был бы предстать. Тот, кому удалось в это жадное до изображений время уклониться от камеры телевидения и даже от линзы фотографа, безусловно, сознательно добивался этого желанного визуального неприсутствия, ведь тот, кто плюет на, казалось бы, естественное требование публики представить ей фото, плюет на время, когда все идет через зрительное восприятие, должен иметь на это веские причины. Даже у тех, кто никогда не слышал лекций Хайдеггера и знаком с ним только по книгам, все равно перед глазами его лицо и усики; аскетический профиль Витгенштейна украшает стены студенческих каморок; величественно-изысканная цезарева голова Гадамера сопровождает чтение его исследований творчества Гёльдерлина; меланхолический взгляд Беньямина, запечатленный Жизель Фройнд [1], сопутствует изучению его работ в любом уголке мира; степенная округлая голова Адорно строго призывает снова и снова склониться над всем прочитанным, даже если не все представляется безусловным. Ханс Блюменберг для читателя в этой галерее отсутствует. «*Читатель,*— пишет он,— *видит перед собой продукты мысли в последней редакции, в которой устранено все, что может быть воспринято как невольное свидетельство субъективности*». Можно ли это суждение отнести и к нему самому? И не правильнее ли будет сказать, что именно эти миниатюры, сопровождающие его масштабные исследования, именно они — и не только там, где обсуждаются физиогномические проблемы,— исподволь представляют нам свидетельства субъективности и воссоздают образ их автора? Иными словами, кто хочет его *увидеть*, должен его *прочесть*; его нет *до* чтения, но тем зримее и отчетливее предстает он после.

«Мы существуем только тогда, когда идем кружным путем. Если бы все шли самой короткой дорогой, то к цели пришел бы только один»,— сказано в «Тревоге», сокровищнице философских откровений нашего завершающегося столетия, для которого бесконечные постановки целей совсем закрыли перспективу. У того, кто идет к цели кратчайшим путем, тоже закрыты перспективы. В лабиринте кружных путей, в которых и есть суть культуры, мир приобретает свой смысл *(«бессмысленность — страшное слово»)*, а блуждающий без

[1] Жизель Фройнд (род. в 1912) — фотограф. Ею создано собрание фотопортретов художников и писателей.

дороги — свое лицо. Каждая история, которую рассказывает Ханс Блюменберг, это ответ, но каждый его ответ обнажает новый вопрос, на который необходимо искать ответ в новой истории. В материале, таким образом, нет недостатка для того, кто не рвется напрямую к исторической цели, которая к тому же довольно часто оборачивается тупиком. Счастье поджидает совсем в другом месте.

«Это наше счастье, что мы не знаем, что такое счастье». Но даже если мы этого не знаем, мы можем иногда быть счастливыми, особенно если необязательно в этом признаваться. Я, к примеру, всегда счастлив, когда почта приносит мне новые поиски кружных путей Ханса Блюменберга. (Да и он вполне мог бы говорить о счастье, когда его статья появляется без опечаток.)

1990, № 3

ВОЛК И ЯГНЕНОК

Четыре глоссы к басне

...никому не хочется быть ягненком.
Кьеркегор

I

Наверное, было время, когда ягнята еще не примеряли на себя шкуру волков.

Иначе Эзоп не мог бы выдумать своей басни, в которой волк и ягненок пьют из одной реки и волк, отыскивая благовидный предлог, требует от ягненка, чтобы тот перестал мутить его воду. А ягненок возражает, он, дескать, стоит ниже по течению. Тогда волк заявляет, что ягненок обидел его полгода назад. Меня в то время еще на свете не было, протестует ягненок. Значит, это был твой отец, приходит к заключению волк, чтобы довести до конца задуманное, а это он так или иначе все равно бы сделал.

Лютер включил эту басню в свой маленький сборник 1530 года, куда вошли тринадцать эзоповых басен, почему-то под общим названием «Ненависть». В лютеровском тексте, однако, волк не ограничился обвинением ягненка в грехах отца, он упрекает его еще и в том, что ягненок якобы хочет равняться на отца: *«Ты хочешь быть как отец».* Уже во времена античности подразумевалось, что набор лжеупреков волка мог бы быть расширен; вот и здесь мы читаем дальше, что ягненок-де потравил и попортил волку его луга и пашни, а тот снова защищается, у него-де еще и зубов нет.

Добавление о лугах и пашнях выглядит в устах волка не особенно убедительно. Тут, вероятно, мы имеем дело с ошибочным толкованием той версии, в которой Бабрий, греческий подражатель Федра, изложил эту басню. Словесный поединок между волком и ягненком завершается у Бабрия упреком, не допускающим уже никаких возражений: если уж ягненок ни в чем другом не виноват, то он будет виновен в том, что лишит волка его пищи. Так, съедая ягненка, он тем самым подтверждает его абсолютную невиновность. Уже обгладывая косточки, волк, согласно Бабрию, изрекает: *«Ты не смеешь лишать волка обеда»*... Хотя это и глубже по мысли, чем мораль, которую выведет из этой басни Лютер, но, несмотря на формальную близость к десяти заповедям, гораздо менее — по сравнению с басней Лютера — теологично: *«Если волк того желает, значит, ягненок не прав».*

II

Почему же волку так нужны все эти долгие словопрения, чтобы съесть ягненка? Ведь ему даже не нужно, как это часто бывает в баснях, проявлять какую-то хитрость. Ягненок в пределах его досягаемости.

Волк хочет быть не только сильнейшим, ему хотелось бы еще быть и правым. Тогда быть сильнейшим намного приятнее. Потому-то он и приходит в ярость — совершенно для него здесь необязательную,— чтобы покуситься на жизнь ягненка, когда все его аргументы разбиваются о терпеливую кротость его оппонента.

Волк в этой басне чувствительнее всех других басенных волков. Он страдает из-за своей волчьей натуры и медлит с тем, что она ему подсказывает. В этом промедлении угадывается то, что он и вправду мог

бы быть одетым в волчью шкуру человеком. Кто в этом сомневается, должен обратить внимание, как в одной из версий басни проскальзывает нечто такое, что по отношению к волку звучит абсурдно даже тогда, когда об этом говорится с отрицанием.

В двуязычном издании практиковавшего в Ульме врача Генриха Штайнхёвеля — его сборник эзоповых басен, появившийся в 1476 году, будет иметь в дальнейшем много почитателей и толкователей — за возражением ягненка, что он никак не мог замутить волку воду, поскольку он стоит от него вниз по течению, следует: *«Волк не покраснел, хотя ягненок сказал правду»*. Или с латинской лаконичностью: *«Lupus non erubuit veritatem»*.

Он не краснеет, но совсем не потому, что волки вообще не могут покраснеть, а если бы и краснели, то этого бы просто никто не заметил, здесь важно, что этот волк чуть было не покраснел. Ведь так неловко быть заранее уличенным в несправедливости, которую он намеревался совершить только после ее логического оправдания.

Этот неожиданный штрих к словесной дуэли заметно проясняет то, что должно и быть сказано: как чувствителен волк, раз он чуть было не покраснел.

III

Девятилетний Гёте получил задание перевести басню о волке и ягненке с латинского в двух ее версиях: в редакции Эзопа (по одному теперь неизвестному латинскому переложению) и в стихотворной разработке Федра. Как и полагается будущему классику, оба варианта он сделал весьма недурно.

Ввиду того что мальчик немало потрудился над басней, уместно спросить, какой след это могло оставить в более поздних его произведениях. К этому старому приему нравоучительности — через образы животных — Гёте вновь обращается в тот момент, когда ужасы и террор революции во Франции, которые он предчувствовал, достигают своего апогея, он создает на материале нижненемецкого эпоса поэму «Рейнеке-лис». То, что в период царствования короля зверей Нобеля в конце концов восторжествовала и произведена в рейхканцлеры фигура сомнительная и коварная — Рейнеке, не могло в тот исторический момент восприниматься без явных ассоциаций с современностью; однако в своем изложении и переложении древнего эпоса Гёте использовал характерный для него художественный прием: он обращается к классическим формам и размерам (здесь: к гомеровскому гекзаметру), чтобы смягчить обнаженный макиавеллизм политики в царстве зверей неким ощущением своеобразной литературной нереальности. Непререкаемый авторитет в области немецкого гекзаметра Иоганн Генрих Фосс не знал, разумеется, пощады, познакомившись в 1794 году с напечатанным эпосом; обвинял он автора и в отсутствии литературного вкуса.

Но Бог с ним, с плохим гекзаметром; в басенном мире нижненемецкого «Рейнеке-лиса» Гёте снова наталкивается на волка и ягненка, на образы его юношеских упражнений в переводе с латинского. В шестой песне своего «Рейнеке-лиса» он поведал историю этой заклятой вражды, вложив ее в стихотворный размер древнегреческого эпоса. Баран Бэллин, без вины виноватый, впутанный хитрым Лисом в убийство Зайца Лампе, на веки вечные приносится в жертву коррумпированным королем зверей Волку, которому еще раньше нанес жестокую обиду коварный Рейнеке. То, что происходит в маленькой эзоповой басне между волком и ягненком на берегу реки,— это только крохотный эпизод из вечного повторения того политического соглашения, которое путем хитрости и коварства было навязано животному миру в качестве — хотя и довольно сомнительного — «порядка»:

Так восстановлен был мир. Баран за него головою
Вынужден был заплатить, а потомки его и поныне
Терпят разбой беспощадный всесильного племени волка.

Так вековая вражда [1] началась. До сих пор без зазренья
Бешено волки терзают овец и ягнят и несчетно
Губят их, это считая своим неотъемлемым правом.
Ярости их не унять, — о мире не может быть речи.

И чуть раньше:

Не церемоньтесь — хватайте их, где б они вам ни попались:
В поле, в лесу — все равно. Всюду и все они ваши! [2]

Удивительно, но здесь снова повторяется то ключевое слово «ненависть», которое Лютер закрепил за басней, ставшей в его изложении первой попыткой увидеть тут злой рок наследственности, а это всегда как бы само собой напрашивается, чтобы дать возможность пустить корни настоящей ненависти. Гёте, по всей вероятности, это понимал. По крайней мере, он знал, и благодаря ему знаем мы из этой древней-предревней истории, почему невинному ягненку на эзоповой речке не могло быть никакой пользы от самых веских аргументов.

IV

Со времен Эзопа ищет волк повод сделать ягненка самого виноватым в том, что он его съедает. Он утонченный хищник. Хотя он и голоден, но только веские основания могут дать ему возможность откушать с удовольствием.

Сделать ягненка похожим на него самого волку не удается, потому что ягненок действительно ягненок и, согласно своей репутации, воды не мутит. А это для волка было бы очень желательно, ведь тогда ягненок сам бы содействовал тому, что его сожрут.

Иначе он будет съеден потому, что не может предоставить волку достаточно убедительный повод, чтобы быть съеденным.

Неубедительность словесных нападок волка — это квинтэссенция всей фабулы. Волк не хочет подчеркивать то, что он волк. Более того: ему не совсем нравится, что он не ягненок, и он ведет себя так, как будто в чем-то с ним схож — по крайней мере, пока длится диалог. Потом волку это надоедает, так как ягненок не делает ему такого одолжения, не признает в нем себе подобного.

И вот тут один мастерски сделанный набросок позволяет басне выйти за ее классические рамки. Фридрих Хеббель [3] нашел неожиданную эффектную концовку, которая дает волку возможность добиться того, что могло быть его самым сокровенным желанием. Одна-единственная фраза в дневнике Хеббеля высекает этот смысл как бы из ничего: *«Волку так часто говорили, что у него нет ничего от ягненка, что он в конце концов решил ягненка съесть, чтобы у него было от ягненка все»*. Это придает басне блистательный завершенный вид.

Волк — реалист. Ему хочется не только ягненка видеть, не только слышать, не только ощупывать, не только когда-нибудь завладеть им — ему хочется им быть. Поэтому он и есть волк.

В прежние времена он вполне мог бы быть теологом. А точнее, авторитетнейшим специалистом в вопросах причастия.

1983, № 5

ГЛОССЫ К АНЕКДОТАМ

Два полкусочка сахара

«В мои детские годы к нам приходило много интересных людей, и мне очень жаль, что я почти ничего не могу о них вспомнить». Читатель мемуаров Агаты Кристи тоже жалеет об этом — поначалу. Позднее,

[1] В оригинале: «ненависть».
[2] Перевод Л. Пеньковского.
[3] Кристиан Фридрих Хеббель (1813—1863) — немецкий драматург и теоретик драмы. В 1845 г. женился на Кристине Энгхаус (1817—1910), актрисе Венского королевского театра.

однако, приходит к выводу, что это даже и к лучшему. Забывается как раз то, что и не очень-то вписывалось бы в воспоминания. Эта искусная конструкторша многих тонких убийств, чьи орудия вплоть до духового ружья в самолете потрясают воображение читателя, оказывается не самым лучшим наблюдателем необычного как формы жизни, а не формы убийства.

Уже первый случай такой забывчивости — прискорбный для почитателей того, о ком идет речь,— демонстрирует, чего можно было бы нам ожидать, прояви память автора мемуаров бóльшую цепкость: *«О Генри Джеймсе у меня осталось в памяти только то, что мать на него сердилась, потому что он всегда упрямо хотел класть в свой чай кусочек сахара, обязательно расколотый на две половинки».* А как же иначе? — спрашивает себя ценящий Генри Джеймса не меньше, чем Агату Кристи, читатель и тут же читает дальше в тексте: *«обыкновенный каприз, вполне можно было и целиком класть».*

Но ведь ни за что и никогда! В каком-нибудь тонко продуманном убийстве отравленный кусочек сахара, возможно, имел бы более сильное воздействие, будь он предварительно расколот на две части. Но при воссоздании зримого образа художника, подобного Генри Джеймсу, в свете тончайшего соотношения между художественным стилем и образом жизни, между восприятием и способом самовыражения ни одному критику — ни с целью глумления, ни с целью прославления, оба варианта возможны — не пришло бы в голову сказать: «Он всегда кладет в чай две половинки кусочка сахара, и никогда — кусочек сахара целиком». Кто еще, кроме самого Генри Джеймса, мог бы так полностью выразить себя в подобном снобизме и в то же время так полностью в нем скрыться?

И в заключение самое что ни на есть непреклонное подтверждение достоверности анекдота: он, дескать, взят Агатой Кристи из семейных преданий, *такого* сама она выдумать не могла.

Эффектная сцена при слабом освещении

Вряд ли сама Кристина Энгхаус поведала Хеббелю эту историю, о которой он сделал в своем дневнике запись, одно-единственное, к тому же незаконченное предложение: *«Актриса сворачивает в трубочку врученную ей банкноту, поджигает ее и говорит, обращаясь к поднявшемуся за ней по лестнице навязчивому кавалеру: «Я же должна вам посветить, когда вы будете спускаться!»*

Добродетель дамы, чья профессия не лишена черт богемности, не оставляет никаких сомнений, ведь она даже мельком не взглянула на цифры, обозначенные на денежной купюре, до того как купюра вспыхнула. Главный смысл этой сцены сводится к тому, чтобы пристыдить наглого ухажера, который был настолько уверен в продажности этой женщины, что не предполагал в оплате вперед никакого риска. Не осветившая ему ничего, кроме дороги домой, купюра развеивает его иллюзии и делает очевидным то, чему в данном случае вообще цены нет.

Хеббель, когда речь идет об актрисе, не способен на свое обычное бесстрашие перед пограничными ситуациями. Он не только живет на 6000 гульденов годового жалованья, которое получает его жена в королевском театре от императора. Еще в большей степени он «живет» тем, что эта импозантная трагедийная актриса — его «ангел», который видится ему на сцене «темным пламенем»,— наделяет его несценичные драматургические создания от Юдифи до Кримхильды магической силой, спасая их от провала и от забвения. Кристина поддерживает в нем чувство собственного достоинства — не в последнюю очередь и тем, что принуждает его вернуть долг Элизе Ленсинг [1].

[1] Элиза Ленсинг (1804—1854) — возлюбленная Хеббеля, работая швеей, помогла молодому писателю, когда он оказался в бедственном финансовом положении.

Необходимо иметь в виду эти особые обстоятельства, поскольку совершенно ясно: Хеббель страшится придать этой ночной сцене в доме с крутой лестницей опасный оборот, логичность которого для «зрителя» была бы вполне очевидна. «Зритель» легко себе представляет, как Хеббель мог бы заострить ситуацию, не будучи во власти почтительного страха перед Кристиной.

Актриса пригласила бы кавалера к себе. При прощании он вручает ей банкноту, которую она тут же поджигает и на неподдельный ужас гостя реагирует неоспоримым замечанием: *«Я же должна вам посветить, когда вы будете спускаться!»*

И эта версия истории была бы неправильно понята, если бы воспринималась как выражение презрения к деньгам. Совсем не в протесте против денег, на которые все можно купить, заключается ее смысл.

Как раз наоборот: кавалер бы в этом случае честно заплатил за то, что купил. И актриса тоже с толком использовала бы честно заработанные деньги, чтобы купить себе то, что далеко не каждый день выпадало ей в театре: эффектную сцену.

Оздоровительные прогулки в Тиргартене

Фонтане практиковал сам и настойчиво советовал другим особый укрепляющий грудь вид прогулок: вместо того чтобы бесполезно тыкать тростью в землю или размахивать ею, он предлагал использовать трость для укрепления позвоночника, закинув ее за спину поперек туловища и обхватив согнутыми в локтях руками.

Следование рекомендациям по укреплению здоровья с достижением определенного возраста, что и подтверждает эта история, уже не отличишь от пустого упрямства. Даже в зимнее время по вечерам нередко расхаживал Фонтане по дорожкам Тиргартена, держась исключительно прямо — из-за зажатой за спиной трости. Это нарушало, как он признается в письме дочери Мете, еще не написанные для гуляющих правила движения. Если бы кто-то захотел обогнать его, то обязательно наткнулся бы на рукоятку его трости.

Однажды вечером в феврале 1894 года именно это и случилось: *«Я хотел извиниться, поскольку трость не полагается носить за спиной, но в тот момент, когда я обернулся, я вдруг увидел прямо перед собой черное лицо мавра, который, несмотря на то что был родом из Камеруна или из Дар-эс-Салама, произнес на чистейшем немецком: «Прошу прощения, господин». В этом было что-то фантастическое».*

Фонтане, человеку светскому, приходилось и раньше видеть мавров; по крайней мере — сароттского мавра безусловно [1]. Но то, что в Тиргартене поздно вечером его обогнал мавр, говорящий на прекрасном немецком и признавший и его, и трость, и суверенность территории ее обладателя, было для него, знающего толк в балладах, чуть ли не историей с привидением.

Он даже не вспомнил о том, что хотел извиниться. В такой необычной ситуации ему показалось совершенно естественным, что нереальность, призрачность, в надлежащей изысканной форме извинилась перед реальностью и явью. Ему, сведущему в истории семидесятипятилетнему писателю, даже не пришло в голову, что для этой тиргартенской сцены могли быть вполне реальные основания. Камерун к этому времени был уже десять лет как колонией Германской империи. Дар-эс-Салам, Дом счастья,— на один год меньше. Там существовали уже новые порядки, даже и для гуляющих по ночам.

[1] Сароттский мавр — имеется в виду эмблема на упаковке товаров крупной шоколадной фабрики «Сарotти», основанной в 1868 году.

Эскорт грабителя

От кого хотелось бы нам услышать подтверждение собственного мнения — нескрываемого или тщательно скрываемого — о самом себе? Или точнее: от кого хотелось бы нам неожиданно получить такую высокую оценку, которую мы бы сами никогда не рискнули высказать? В большинстве случаев мы признаем высокую похвалу, когда она исходит из уст тех, кто сам достоин самой высокой похвалы. Только в исключительных случаях — и поэтому всегда неожиданно — вызывает у нас удовлетворение выражение почтения со стороны тех, чья собственная репутация в данный момент может быть оценена скорее негативно.

Марсель Пруст, которому пришлось однажды вечером в Париже времен первой мировой войны возвращаться домой пешком, вдруг замечает, как из темноты выныривает какой-то человек и, догнав его, упорно идет за ним следом. Пруст якобы сразу понял, расскажет он потом преданно ждущей его дома Селест [1], что это был грабитель, но не подал и вида. Только когда они уже подошли к его дому, Пруст поблагодарил своего спутника за то, что тот проводил его, и затем добавил одновременно очень любезно и дерзко: *«Не позволите ли вы мне задать вам один вопрос? Почему вы меня не ограбили?»*

И словно ничего естественнее этого вопроса и быть не могло, ночной попутчик одной полуфразой дает понять, что он за человек и на проявление какого почтения он способен: *«Oh non, pas un homme comme vous, Monsieur»* [2]. Селест Альбаре в своих воспоминаниях сообщает также, что Пруст был в совершеннейшем восторге от выраженного ему почтения: «*Il en était trés fier*» [3].

Такого человека, как вы,— никогда. Не быть ограбленным грабителем, произвести на того, кто в силу своей профессии есть сама бесчувственность, такое впечатление, что жажда часов и денег отступила,— в этом литератор увидел свидетельство подлинного успеха. И он настойчиво уверяет Селест в том, что все было именно так.

Подобные происшествия нельзя смоделировать, их можно только пережить. Личное достоинство, проявления которого нельзя добиться никакими искусственными провоцированиями,— одно из тех человеческих качеств, которым обладают немногие и которое бесценно. И это не склонность к экзальтации, не оторванность от реальной действительности, как это можно было бы заключить по тону явного недоумения, звучавшего в воспоминаниях экономки, вызванного тем, что Пруст так гордился этим происшествием. Он знал, что ему было засвидетельствовано подлинное почтение.

1983, № 5

ХАННО ХЕЛЬБЛИНГ

ХАННО ХЕЛЬБЛИНГ — ДОКТОР ФИЛОСОФИИ, ПЕРЕВОДЧИК, ЛИТЕРАТУРНЫЙ КРИТИК, РОДИЛСЯ В 1930 ГОДУ, РАБОТАЕТ РЕДАКТОРОМ «НОЙЕ ЦЮРИХЕР ЦАЙТУНГ», ЖИВЕТ В ЦЮРИХЕ.

БЕТХОВЕН? ТРЮФЕЛИ?

В дошедшем до нас изложении этого эпизода с большой долей достоверности засвидетельствован только вопрос, который Пруст в ночь с 18 на 19 мая 1921 года задал Джойсу: «Aimez-vous les truffles?» [4]

Ханс Блюменберг, вспоминая этот эпизод, ссылается на Артура Пауэра, которому Джойс рассказывал о своей единственной встрече с Прустом и, посмеиваясь, сожалел, что между двумя столь значительными писателями так и не состоялось никакой настоящей беседы. «Yes, I am very fond of truffles» [5],— так якобы звучал его ответ.

---

[1] Селест Альбаре — экономка М. Пруста с 1913 по 1922 год, ухаживавшая за больным писателем; через пятьдесят лет после смерти Пруста опубликовала свои воспоминания «Господин Пруст».

[2] О нет, не такого человека, как вы, сударь *(франц.)*.

[3] Он был для этого слишком горд *(франц.)*.

[4] Вы любите трюфели? *(франц.)*

[5] Да, я очень люблю трюфели *(англ.)*.

Блюменберг считает, что разделять это сожаление вовсе не обязательно. Он предлагает в вопросе Пруста видеть «деликатное стремление избежать обоюдных попыток» обмениваться многозначительными суждениями; а также в какой-то степени и стремление огородить себя — можно еще добавить — и от повышенного внимания третьих лиц, которые присутствовали при встрече.

Одни утверждают, что Джойс будто бы позднее присоединился к обществу, которое собралось после премьеры «Байки про Лису...» Стравинского; другие считают, что он уже был у Шиффов, когда появился Пруст. Однако все в один голос подтверждают, что Джойс, Пруст и супружеская чета Шиффов потом вместе поехали на такси на квартиру Пруста; а также то, что от дома Пруста Джойса отправили на такси домой, может быть, по причине его уже несколько нетрезвого состояния.

Вероятнее всего, Пруст задал свой вопрос в такси (и возможно, он был продолжением какого-то разговора о званом ужине, устроенном Шиффами, или же он был вызван проехавшим мимо к рынку фургоном с овощами). Какая-нибудь менее банальная беседа в подобной ситуации вряд ли могла бы состояться.

Блюменберг полагает, что Джойс вполне мог привести вопрос о трюфелях в качестве полемической характеристики Пруста: как доказательство склонности привычного к салонной жизни писателя к пустым светским разговорам. Этому, однако, в некоторой степени противоречит тот факт, что Джойс как раз в той беседе с Пауэром уверяет его в своем глубоком уважении к Прусту и точно его обосновывает. В пользу же предположения Блюменберга говорит то, что Джойс не предпринимает никакой попытки, скорее даже сознательно избегает того, чтобы какими-либо дополнительными фактами прояснить саму постановку вопроса.

Нам не известны высказывания Пруста относительно этого эпизода. И ничто не мешает нам понять его «Aimez-vous les truffles?» так, что писателю показалось малоприличным пускать в ход орудия бóльшего калибра, к тому же против человека, который, очевидно, был уже не совсем трезв и вообще, по-видимому, был редкостный чудак, чьих книг к тому же он не читал. На самом деле, как утверждают, во время той поездки он также заявил, что он, к сожалению, незнаком с творчеством господина Джойса; на что Джойс не очень любезно и не совсем честно якобы ответил, что тоже (без «к сожалению») незнаком с книгами господина Пруста.

«Aimez-vous les truffes?»

Можно было бы считать, что все необходимое по этому поводу сказано. Но хроника того вечера свидетельствует еще об одном разговоре и еще об одном вопросе Пруста, и интересно было бы проверить, не расширит ли этот разговор контекста беседы о трюфелях. Дело в том, что Пруст подошел в этот вечер к главному виновнику торжества — к Стравинскому — и задал ему следующий вопрос: «Aimez-vous Beethoven?» [1]

И тут все, кто находился поблизости и кому предстояло услышать от выдающихся личностей выдающийся обмен мнениями, уже замерли в предвкушении огромнейшего удовольствия. Но это было именно предвкушение. Поскольку Стравинский сказал лишь: «Je le déteste» [2]. Это, разумеется, не было его последним словом, сказанным им о Бетховене, это лишь пресекало все притязания вовлечь его при таких обстоятельствах в беседу на такую тему. И действительно, в самом вопросе Пруста вряд ли заключалось «деликатное стремление избежать обоюдных попыток» многозначительного обмена мнениями.

Как тут ни ломай голову, оправдать этот вопрос сложно. С композитором, который после премьеры своего собственного произведения скорее всего ожидал бы услышать слова восхищения, не следовало бы — по крайней мере, в первую минуту — говорить о Бетховене. Разве Пруст не должен был этого понимать? Потом-то он это, разумеется, понял. И вполне можно себе представить, что *эту* свою ошибку он не хотел — тут же снова — повторить. Прежде он взял слишком высокую ноту, теперь решил — октавой ниже: может быть, он подавил в себе что-то вроде «Aimez-vous Dante?» и решил ограничиться чем-то вполне безобидным, как он полагал. И совершенно прав Ханс Блюменберг, который считает: это скорее правило, нежели исключение, что «великие» при встречах ни о чем действительно важном не говорят.

1990, № 3

[1] Вы любите Бетховена? *(франц.)*
[2] Я его презираю *(франц.)*.

КЛАУС ИОГАННЕС ТИС

КЛАУС ИОГАННЕС ТИС — ПИСАТЕЛЬ, РОДИЛСЯ В 1950 ГОДУ, ЖИВЕТ В БРЕМЕНЕ, АВТОР РОМАНОВ, ДРАМАТИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ, СТИХОВ, РАДИОПОСТАНОВОК.

ОТЕЛЬ «ХОЛИДЕЙ» В БОЛОНЬЕ

Ко дню рождения я послал себе письмо, чтобы первым себя поздравить, на фирменной бумаге отеля «Холидей» из Болоньи. Вот это был сюрприз. У меня сразу возникло ощущение, что я в каком-то другом городе, и не где-нибудь, а в Болонье. К тому же двадцать

градусов в апреле и никаких затруднений типа надевать свитер или нет. Я, разумеется, тут же отправился в город, как ни странно, берегом Везера [1], чтобы поменять подарки, которые мне не нравились, держа в голове строчки моего брата: «Поздравляю с днем рождения. Желаю счастья». Это было еще одно письмо из моей почты, третье поздравление пришло от больничной кассы из Бармена, хотя на свет я появился в роддоме Вупперталя-Эльберфельда. Холодный, пронзительный ветер порывами слал свои поздравления. Впрочем, это вполне мог бы быть обычный день, если бы мне удалось несколько от себя отстраниться и эти два слова «день рождения» не рыскали бы постоянно подле меня, как ищейки. В Болонье среда была нормальным рабочим днем. Я специально справился у портье. На это моих знаний итальянского хватило. С моими темными волосами и мои языковые трудности не очень бросались в глаза; пока не позвонила моя мама, чтобы поздравить меня с пятидесятилетием. Я не стал обращать на это внимания, хотя она ошиблась на девять лет. «Надо же, какими взрослыми могут быть дети»,— повторила она несколько раз в трубку и осчастливила меня под конец библейским изречением, чтобы потом, ровно в восемь, к программе новостей, повесить трубку. Как все точно рассчитано, думал я и тоже разглядывал голодающих курдов, которые в настоящий момент были темой номер один во всем мире. «Желаю счастья!» — больше всего хотелось мне крикнуть им из отеля «Холидей». Как чудом оставшийся в живых я поднял бокал шампанского и условился — до следующего раза, ровно через год: в 42.

ПОКРЫВАЛО НА ТЕКСТЕ

Ты по крайней мере слушаешь меня с удовольствием. Но мне хотелось бы развлечь целый зал. Я должен этого хотеть. Чтобы жить сочинительством, я должен иметь в виду целый зал. Как же я буду иначе платить за квартиру? Извини, но мне то и дело приходится об этом думать. Я писатель по крайней мере в ту секунду, когда пишу, я формирую буква за буквой кабинет моих фигур. Мои создания смотрят тебе в глаза. Мои бедные словесные создания довольно часто бывают одни, потому что их мало кто читает, если же совсем честно: никто.

«Зачем же мы появились на свет, зачем же мы живем, зачем же было так трудиться и создавать нас на бумаге, если эти страницы даже никогда не перелистают, не пробегут глазами? Как были бы мы счастливы, если бы хоть ласточка пролетела. Но нет, как безнадежных грамматических больных оставляют нас, стиснув двумя крышками переплета, лежать в карантинном отделении, куда не проникнет и лучик читательского внимания, а нам бы так хотелось, чтобы нас увидели. Со слезами в голосе натягиваем мы на текст покрывало. Глаза людей услаждает господин, ровно в восемь зачитывающий «Последние известия».

Слышишь? Это были мои фразы, как грустно они говорили. Я могу их понять. У меня всегда перед глазами пустой зал и мои фразы, теряющиеся в этом пустом пространстве, словно они уже навсегда потеряны, даже если еще не успели попасть на бумагу.

Иногда странная прихоть охватывает меня, и я не могу ей противиться. Я говорю: «Я пишу». «Прекрасно,— отвечают люди и хлопают меня одобрительно по плечу.— Пока ты пишешь, ты никому не мешаешь. Прибери только потом свои буквы, когда закончишь!»

ВЕСЬ ЗЕМНОЙ ШАР ПОДНИМАЕТ БОКАЛЫ

В конце остается подсчитать страницы. Столько-то страниц ты сегодня одолел, столько-то клиентов обслужил. То, что должно считаться

[1] Везер — река на северо-западе Германии.

успехом, обязательно должно быть измерено. Новый рекорд? Разумеется! Стоит тебе только подняться от пишущей машинки, сразу же приходится пожимать руки. Тебя встречают аплодисментами. Слышишь их? Такие дни бывают, поскольку бывают редко, прекрасны. Даже душ шумит как рукоплескание. Это теплый дождь, который ласково обрушивается на тебя. Подсчет, простейшее сложение, начиная от единицы и до бесконечности,— так выглядит итог рабочего дня. Как кассир, опустошаю я свою кассу. Только вместо денег я считаю предложения. Единицу как число, безусловно, запомнить можно. Запомнить два предложения — уже сложнее. И тем не менее прислушайся, как звучит слово «вечер»: легко, как птичка, и весело, как ее чириканье. Когда становится темно, никуда уже больше не надо лететь, ни к какой цели, все теперь идет как бы само собой. Сам собой легко отыскивается водопой. Стакан будто сам собой появляется на столе. Тебе очень хочется поделиться со всеми своим итогом, только каждый сидит за своим столом со своими цифрами, гоняет туда-сюда свой баланс, обкатывает свою сумму, как какой-то шар, радуется, если тот попадает в стакан соседа. Высокомерно звучат речи. В конце дня люди хвастаются своими успехами. Их рты полны бахвальства и счастья. «За здоровье»,— говорят они и пьют. Когда исписываешь страницу за страницей, это вызывает жажду, а пока их пересчитываешь, жажда уже наполовину утоляется. А под конец ты уже совсем пьян, может быть, и немного пьян от счастья. Летать необязательно. Если идешь пошатываясь, тебе кажется, что ты летишь. Я говорю «тебе», потому что в этот час не знаю, о себе ли я говорю. И в этом состоянии я себе нравлюсь, я — это как бы «все». Обнимем стаканы! Я обнимаю стакан. Кому теперь важно, что нас разделяет? «За здоровье!» Весь земной шар поднимает бокалы.

1993, № 3

■

Т. МОТЫЛЕВА

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

Работая над этим номером, мы, разумеется, не могли не вспомнить Тамару Лазаревну Мотылеву (1910—1992).
Т. Л. МОТЫЛЕВА была видным отечественным германистом и одним из создателей нашего журнала.

С 1933 по 1943 год в Москве выходил ежемесячник «Интернациональная литература». Он был, можно сказать, предтечей журнала, который вы в эту минуту читаете и который даже унаследовал от него инициалы заглавия, хотя само оно в соответствии с духом времени существенно изменилось.

Никто, пожалуй, не отдал обоим изданиям стольких лет заинтересованного труда, сколько Тамара Лазаревна Мотылева. Да и вообще десятки лет она была в центре множества начинаний, связанных с популяризацией зарубежных литератур в нашей стране. Мотылева стала доктором филологических наук, когда обладателей этой ученой степени можно было перечесть по пальцам. У нее были любимые темы научных исследований — Лев Толстой, Ромен Роллан, немецкая литература XX века. Но эрудиция ее была особого, не кабинетного толка. Свободно владея немецким, французским, английским, бегло читая еще на нескольких европейских языках, она постоянно участвовала в литературных дискуссиях, всегда знала, чем заняты ее коллеги, литературоведы, переводчики, и прямо-таки спешила помочь их работе книгой, библиографической справкой, практическими хлопотами. Имя Мотылевой было известно далеко за пределами узкого круга «западников».

Одни вспоминают Тамару Лазаревну с доброй улыбкой, другие хмурятся при упоминании о ней и говорят: «ортодокс». Третьи прибегают к ничего не объясняющему обобщению «человек тридцатых годов» — как будто в тридцатые годы все люди были одинаковы и словно Мотылева не работала с тех пор еще целых полвека.

Конечно, время формирует характеры. В 1930 году в Харькове состоялась Международная конференция пролетарских и революционных писателей, и там двадцатилетняя Мотылева познакомилась с уже знаменитой тогда Анной Зегерс. Почти все слова этой фразы дышат эпохой: «1930», «пролетарские», «революционные», «Анна Зегерс». В нынешнем нашем сознании остался, однако, не романтический, а жестокий и страшный воздух тех лет, и даже самая искренняя, самая бескорыстная тогдашняя вера кажется сегодня узостью и слепотой.

Сегодня уже, к счастью, у очень многих нет сомнения, что вопросы, которые решаются только собственной совестью и личным вкусом, не вправе и не в силах решить никакое политбюро. А раньше у многих, увы, не было сомнений в обратном. Я говорю не о беспринципных карьеристах, а о людях, которые в своем пафосе служения абстракции были субъективно честны.

Вкус Тамары Лазаревны отчасти был даже сформирован таким служением

директиве. Только так я могу объяснить, например, ее неоправданно резкий печатный отзыв на пастернаковский перевод «Фауста», или эпитет «американизированный» в заголовке рецензии сороковых годов на роман Фейхтвангера, или ее публичные возражения против знакомства советских читателей с Кафкой.

Но в характере Т. Л. были черты как раз не самые распространенные среди проводников директивы — сильное чувство собственного достоинства, отзывчивая доброжелательность, бескорыстие.

В сорок девятом году, во время антисемитской борьбы с «космополитами», в институте, где работала Мотылева, происходили отвратительные сцены: на трибуну поднимались заранее подготовленные ораторы и поносили — по заранее составленному списку — подлежащих «разоблачению». Поносимые оправдывались, доказывали свою правоверность. Мотылева не оправдывалась, не унижалась, она просто не пошла на ожидавшую ее гражданскую казнь, поставив крест и на своей должности, и на зарплате.

Иные наши доктора наук становились начальством, богатели, иные гедээровские литераторы, с которыми Т. Л. дружила, превращались в привилегированных охранителей сопротивлявшегося переменам режима. Мотылева не наживала ни имущества, ни постов, не оплакивала дискредитированных историей «принципов», не злопыхательствовала по поводу неудач нашей молодой демократии.

В своей аскетической комнате она и на исходе восьмого десятка садилась каждое утро за письменный стол и работала. Она сидела очень прямо, как Эразм на портрете Гольбейна, и покрывала очень прямыми и четкими строчками листок за листком.

С. АПТ

В «Вестник иностранной литературы» я пришла студенткой-практиканткой.

Конечно же, если открыть этот журнал сегодня, в глаза бросится догматическая узость его установок, данная временем. Ведь выходить он начал перед годом «великого перелома»... Но легко заметить не только это. В журнале всегда были первоклассные имена и настоящая проза. В 1928-м он напечатал очерк Андре Жида «Путешествие в Конго» и первые выступления Дос Пассоса, надолго приехавшего тогда к нам. Позднее и в этом журнале, и в следовавшем за ним «Литература мировой революции» появилось много страниц из знаменитых книг американца — «42-я параллель» и «1919». В начале 30-х Джон Дос Пассос (Иван Кашкин в шутку назвал его Иваном Шаговым) стал одним из самых популярных у нас романистов.

Подобные переводы раздвигали рамки допущенного тогда в литературе. Их отрезвляющая правда сильно расходилась с наивным оптимизмом, обычным для литературы тех лет. И тем более свежий и сильный отклик они вызывали у читателей. В антивоенном номере «Вестника» печатались известные вещи Ремарка и Ренна. Помню, что сказал тогда мой товарищ с филфака, ставший потом известным искусствоведом: «Прочел Ремарка. Ой, ребята, как не хочется воевать».

Сами фигуры писателей, входивших в наш литературный обиход, их взгляды и облик очень интересовали и читателей, и, конечно же, нас, молодых зарубежников. Я занималась Германией и в 1930-м году на Харьковской конференции смогла близко наблюдать нескольких немецких писателей. Каждый из них открылся с неожиданной стороны.

Официальный в моих глазах Бехер сказал мне весьма неофициально, как его смутил пышный прием в доме одного из украинских литературных руководителей (это было время карточек). «Ведь мы знаем, что у вас дела с продовольствием далеко не блестящи. Так зачем это показное изобилие?»

Ренн, по-офицерски подтянутый, строгий, удивил всех тем, что он на открытии Харьковской конференции заговорил по-украински. Речь шла о тех, кого секретариат предлагает в президиум,— и Ренн отчетливо объявил это по-украински, не только по-русски. Было видно, что хозяева вовсе не избалованы такими обращениями гостей. Когда он произнес слово «пропонуе», это вызвало взрыв восторга.

Анна Зегерс, лауреат престижной премии имени Клейста, держалась незаметно. Ей явно было интереснее не то, что она может сказать здесь, а то, что она может здесь услышать.

В последующие месяцы в Москву приезжали писатели, тоже удивлявшие. Молодой Бертольт Брехт в гостях у Белы Куна подошел к роялю и исполнил свою «Балладу о мертвом солдате», прозвучавшую мрачно и сильно.

Конечно, печать времени с его жестокими ограничениями лежит и на выпусках лучших лет. Это сказывается и в отборе художественных вещей (когда многие авторы, не «того» политического поведения, исключаются изначально), и в критике с ее непременными утверждениями и умолчаниями. Но в то же время «Интерлит» — из более свободных изданий тех несвободных лет, со своим содержанием и смыслом. Его можно сравнить с его закрытым перед войной собратом — «Литературным критиком»: он тоже был на обочине управляемой культуры.

А если проводить сравнение между ним и позднейшей «Иностранной литературой», даже более вольных, «оттепельных» лет,

то оно вполне может оказаться в пользу «Интерлита». Это был живой, сильный журнал. И ничуть не желая рисовать идиллию (когда ее не было и быть не могло!), я хочу сказать о том, что придавало силу довоенному изданию.

Стремление выдерживать высокий уровень публикаций ощутимо уже в 1933-м, когда начал выходить «Интерлит». Он напечатал фрагменты из романов Селина и Мальро, из «Фонтамары» Силоне и романа Фаллады «Маленький человек, что же дальше?». А в 1934-м в журнале были помещены страницы из другого его романа — «Кто отведает тюремной похлебки...» и появилась знаменитая публикация — «Два рассказа Хемингуэя», настоящее открытие этого мастера, представленного читателю Кашкиным. Это было начало, «заявка», в дальнейшем уровень сохранялся.

Бывало, журнал проявлял чуткость к первоклассным новинкам, только что изданным на Западе в оригинале, и появлялись они по-русски не в торопливых, а в мастерских переводах. На память приходят и два романа Генриха Манна о Генрихе IV, и «Эпилог», завершающий «Семью Тибо» Мартен дю Гара, и «Лотта в Веймаре» Томаса Манна, и два романа из США, молниеносно и отлично переведенных у нас накануне войны — «Гроздья гнева» Стейнбека и «Сын Америки» Райта. (Конечно, эта чуткость, эта оперативность, сочетавшаяся со вкусом, проявлялась далеко не всегда. И знаменитые в 30-е романы Фолкнера или Бернаноса мы открыли для себя с большим опозданием.)

У журнала была постоянная внутренняя тема. Ему была особенно дорога настоящая литература, отрицающая фашизм. Журнал охотно печатал даровитых французских прозаиков, тяготевших к Народному Фронту. Эта тема представала на его страницах в разных национальных поворотах. А чтобы ощутить ее постоянство, достаточно сопоставить две публикации, разделенные несколькими годами. Это «Броненосец «Орлов» — сильный эпизод из «Успеха» Фейхтвангера. И роман-антиутопия Чапека «Война с саламандрами».

В жестких рамках наших 30-х журнал стремился шире представить литературу XX века с ее трагическим ощущением времени, с ее неканоничностью и новизной форм. Событием стала появившаяся в «Интерлите» первая треть «Улисса». Прервать печатание Джойса заставила разгоревшаяся в 1936-м борьба с «формализмом». Но через два-три года журнал смог опубликовать и тех же «Саламандр», и «Мать» Чапека — а обе эти вещи весьма далеки от понимания реализма как жизнеподобия. И они в «Интерлите» отнюдь не выглядели случайными или одинокими.

В итоге у журнала, волновавшего и дававшего пищу для ума, была стойкая интеллигентная аудитория. Среди писателей, бывших его истовыми читателями, достаточно назвать Андрея Платонова. Он подробно писал о вещах, прочитанных в журнале, будь то роман Хемингуэя «Иметь и не иметь» или чапековские «Саламандры»; есть у него и большая статья о романе, напечатанном в «Интерлите» перед войной.

* * *

И еще одно воспоминание — уж совсем личного характера.

В феврале 1938 года был арестован мой муж, венгерский политэмигрант Бела Ландор. Коллектив редакции «ИЛ» был взволнован, мне сочувствовали. И. о. главного редактора Тимофей Рокотов реагировал на мое сообщение милостиво.

— Вы будете продолжать для нас работать,— сказал он.— Слишком мало у нас кадров, чтобы мы могли ими швыряться. Будете писать мелочи — рецензии, хронику,— и, конечно, не под собственной фамилией.

(Когда муж в 1939-м вернулся домой, в составе «антипотока», по выражению Солженицына, редакция, включая и Рокотова, была рада, и мое право на авторское имя было вполне восстановлено.)

Предложением писать мелочи я тут же воспользовалась. В течение 1938 года я успела напечатать под инициалами несколько рецензий на иностранные книги, поступавшие самотеком. Все они публиковались немедленно, без замечаний. Только одна из них, уже на уровне Главлита, была забракована: рецензия на роман Жана-Поля Сартра «Тошнота».

Почему? По причинам вовсе не идеологическим.

У нас в то время никто не знал о Сартре. Я была предельно далека от мысли, что его первый роман станет исходной точкой влиятельной литературно-философской концепции. Рецензию я написала, насколько помнится, в безлико-информационном тоне. Это был поистине «разыгранный Фрейшиц перстами робких учениц».

Впоследствии выяснилось, что цензор Главлита зарезал сей робкий труд только потому, что счел название «Тошнота» неприличным и неподобающим для романа.

И так получилось, что о Сартре и содержании его первого романа советский читатель получил представление с опозданием не на один год.

АНАТОЛИЙ МОШКОВСКИЙ

КОНСТАНТИН БОГАТЫРЕВ И ЕГО ВРЕМЯ

(Из книги «Моя единственная жизнь»)

Ему меньше всего подходила фамилия — Богатырев. Телосложения был непрочного, неосновательного и ростом особенно не взял. Худощав, узок и лицо узкое. Нос длинноват. Тонкогубый, большеротый, как добродушный лягушонок из сказки, а маленький подбородок убегал вниз... Ничего от богатыря.

Это все о Косте. Константине Петровиче Богатыреве, лейтенанте Красной Армии времен войны, поэте, переводчике, германисте. Переводчик он был замечательный и человек яркий. А жизнь его была трагическая. До сих пор не пойманы его убийцы, хотя погиб Костя семнадцать лет назад, да и неизвестно, старательно ли искали их. Его странная, загадочная, зловещая гибель всколыхнула очень многих, о ней долго говорили, строили разные домыслы. Большинство склонялось к тому, что Костю устранили для устрашения более известных, защищенных этой известностью диссидентов.

Богатырев достоин, чтобы его сегодня вспомнить.

Мы в один год — в начале шестидесятых — въехали с ним в писательский «муравейник» возле метро «Аэропорт» и даже угодили в один подъезд. Да и квартиры были неподалеку: его на пятом этаже, моя на седьмом. Мы никогда с ним не были близкими друзьями, я не навязывался ему в друзья, не пил на его застольях, не пытался влезть в его многошумную компанию, потому что не страдал одиночеством — у меня была своя компания. Но вот, как мне кажется, хорошими товарищами мы были. Костя мне доверял, наверно, потому, что по первым же разговорам после скорого знакомства понял, что мы во многом думаем одинаково.

Он родился в Праге и был сыном известного фольклориста, этнографа и театроведа Петра Григорьевича Богатырева. Костя был похож на мать, Тамару Юльевну, маленькую, худенькую старушку — морщинистое лицо, нос чуть крючком. Он был образован, но эрудиция напоказ никогда не перла из него, и как истинный интеллигент был прост и скромен. Даже когда мы с ним были давно на «ты», он подарил мне книгу Эриха Кестнера «Мальчик из спичечной коробки», переведенную им с немецкого языка, с довольно официальной надписью: «Дорогому Анатолию Ивановичу нежно от Маленького Человека и его переводчика. К. Богатырев. 25.10.66.»

Я не сразу узнал, как несправедливо сурово, беспощадно обошлась с ним жизнь.

Как-то мы случайно встретились на переходе в метро «Белорусская», и Костя ни с того ни с сего вдруг рассказал мне, не переставая между прочим улыбаться, что во время учебы в МГУ, в 1951 году, его с несколькими товарищами неожиданно арестовали по тягчайшему обвинению — за участие в террористической группе, подготавливавшей убийство ни больше ни меньше величайшего отца народов. И посадили в самую жестокую из тюрем — Сухановскую. Костю приговорили к расстрелу, позже приговор заменили на двадцать пять лет лагерей. Отсидел Костя пять лет, потому что «величайший» наконец-то ушел в мир иной, и, конечно же, обвинение оказалось обычной постыдной липой, хотя от нее в свое время получили пулю или лагеря, в которых погибли от голода, холода, болезней и непосильной работы миллионы ни в чем не повинных людей.

Костя Богатырев был первым моим ровесником, кого я встретил вернувшимся из лагерей. Встреча с ним заставила мою память вернуться к институтским годам и многое домыслить. Я вспомнил глухие разговоры о тайных осведомителях среди нас, и сегодня со всей пронзительной очевидностью понимаю, что молодежь наших лет казалась тогда ненадежной, подозрительной, если не сказать опасной тоталитарному режиму, и кое-кого выборочно хватали сталинско-бериевские ищейки, и, наверно, многие тысячи моих сверстников легли в скудную землю Колымы, Мордовии, Сибири...

Раздумывая о Костиной судьбе, я понял, что он старше меня на десять, на двадцать лет по опыту пережитого — тюремных и лагерных нар, несъедобных паек, допросов, каторжного труда, издевательств, а возможно, и пыток — о них я у Кости не спросил. Но здоровье его было основательно подорвано. Теперь я стал несколько другими глазами смотреть на Костю, удивлялся, как он, пройдя лагерный ад, каждодневное насилие над личностью, сохранил добрую душу, интеллигентность, отзывчивость и веселость.

Такой уж был Костя Богатырев, так внешне непохожий на богатыря.

Как-то Костя позвал меня к себе. Он перебирал книги и спросил, нет ли у меня книжки Лиона Фейхтвангера «Москва 1937». Я сказал, что нет, но до войны была в отцовской библиотеке, мальчишкой я ее читал, а в войну пропала.

— Могу подарить, есть второй экземпляр.

Я не возражал, и Костя на титульном

листе потрепанной книжки, не раздумывая, с маху написал: «Толе плохую книгу — не я писал! К. Б. 28.8.71».

На тоненькой брошюрке избранной лирики Райнера Марии Рильке, которого очень любил, много и хорошо переводил Костя, он написал: «Дорогому Толе очень дружески и с большими извинениями. К. Богатырев. 30 ноября 74 г.» Я привожу эти надписи только потому, что в них просматривается его характер, горячий, находчивый, совестливый.

Я уже точно не помню сейчас, за что аккуратный и очень щепетильный в товарищеских отношениях Костя извинялся: то ли не вернул мне вовремя взятую книгу, то ли не принес в назначенный день... бутылку водки. Сейчас о смешной, забавной стороне наших отношений. Наше товарищество с ним было не таким уж «бескорыстным» для Кости.

Человек он был общительный и очень компанейский. Приходили к нему друзья-зеки и просто товарищи по перу, по жизни — таких у него, по-моему, было много. А какая мужская компания обходится в России без рюмки горячительного? И, как известно, во время дружеских сборищ питья на столе всегда катастрофически не хватает.

Как-то Костя позвонил мне и извиняющимся голосом спросил, не найдется ли у меня случайно водки. Я ответил, что случайно найдется, чем несказанно его обрадовал.

— Через день-два верну,— пообещал Костя и буквально через минуту позвонил в дверь.

...Костя унес бутылку, и я понял: у него гости. Через день он появился — Костя отличался необыкновенной пунктуальностью, всегда держал слово и поэтому довольно часто пользовался моим скромным винным погребком. Вернув долг, Костя усаживался на кушетку в рабочей комнате, и мы могли долго разговаривать обо всем на свете.

Костя рассказывал об Ахматовой, которая, как я узнал от других, ценила Костю как человека, как одаренного переводчика и дала ему рекомендацию для поступления в Союз писателей, о Пастернаке (он был одним из поэтических кумиров моей юности), чей круг писательский сам Костя хорошо знал, о своем друге, непечатном у нас тогда поэте Геннадии Айги...

Костя рассказывал, и его всегда живые, даже мальчишеские чуть озорновато-смешливые серо-голубые глаза искрились природной веселостью, доброжелательностью, и возле глаз появлялись длинные тонкие морщинки. Иногда он смеялся до слез и вытирал их платком. Его юмора и жизнелюбия хватило бы на десяток человек.

Он рассказывал и о прославленном Генрихе Бёлле, и Максе Фрише, чьи вещи он переводил, и которые не раз приходили к нему в гости.

Иногда Костя забегал на пять минут и исчезал — он умел ценить время. Как-то на улице возле нашего дома Костя раскрыл портфель и показал мне свое письмо-протест и другие отпечатанные на машинке письма. Костя не был диссидентом в классическом понимании, но не боялся в те тяжелые для серьезного писателя годы переписываться с заграницей, дружить с опальными лицами — это тогда совсем не поощрялось властями.

Как-то я встретил Костю возле нашего дома в прекрасном коричневом плаще, и он с улыбкой сказал: «Бёлль подарил, ничего, правда?» — и пощупал добротную ткань, как бы приглашая и меня пощупать. «И отлично сидит»,— сказал я, пощупав плащ.

В Косте, повторяю, было много порывистого, мальчишеского, непосредственного. Он никого и ничего не боялся, и я еще больше зауважал его, потому что никак не мог сравниться с ним в решительности.

После освобождения из лагеря Костя не стал благоразумным и осторожным, деятельная душа его не ведала лени и покоя. После его гибели я узнал от его жены Лены Суриц, известной переводчицы, что Костя в самые трудные дни безбоязненно помогал оболганному Сахарову. А совсем недавно я более подробно узнал из вышедшей у нас в прошлом году замечательной книги Ольги Всеволодовны Ивинской, последней большой любви Пастернака,— «Годы с Борисом Пастернаком» — о давних очень дружеских отношениях Кости с Пастернаком, о той помощи, которую они оказывали друг другу. Я прочитал, что, узнав об аресте Кости в 1951 году, Борис Пастернак, старый знакомый Костиного отца, предложил им денежную помощь, что он послал Косте в лагерь большой том Шекспира в своем переводе с надписью:

«Дорогому Косте с лучшими надеждами и горячим поцелуем.

Б. П.

Это — пустяки, а через месяц будет «Фауст». Мужайтесь, Костя, Вы молодец, как я всегда и думал».

Когда вышел «Фауст», Пастернак послал его в лагерь с надписью:

«Дорогой Костя!

Ждать осталось недолго! Мужайтесь, крепитесь. Спасибо за память. Папа Вам обо мне напишет. От души желаю Вам в нужном количестве сил и здоровья, нет, в избытке, больше, чем нужно. И терпения, терпения.

Всегда Ваш

Б. Пастернак.

27 января 1954 г.

Москва».

Было время, когда Костя активно собирал подписи писателей под письмами в защиту репрессированных правозащитников, и доверительно иногда с презрительной улыбкой рассказывал мне, кто как себя вел: один безоговорочно подписывал, другой отказывался и спокойно объяснял причины — этих Костя понимал, но тех, кто что-то жалко лепетал и откровенно по-мелкому трусил, Костя так же откровенно презирал.

Конечно, эта деятельность Кости, его дружба с Пастернаком и Сахаровым, поддержка их в труднейшие моменты их жизни не могли понравиться всем тем, кто бдитель-

но следил, чтобы человек, живущий в созданной ими могущественной ядерной сверхдержаве под торжественным названием «Союз Советских Социалистических Республик», не переступал черту дозволенного.

Он очень тщательно, ответственно работал над переводами, добиваясь предельного совпадения буквы и духа подлинника. Костя не терпел неряшливости и приблизительности. В подаренной мне книжечке избранной лирики Рильке он исправил три незначительные опечатки, которые можно было и не заметить при чтении. Такое отношение к работе — признак настоящего мастера. И очень жаль, что он не дожил какого-нибудь года до выхода тома Рильке в почетной серии «Литературные памятники» — «Новые стихотворения». Этот том он вместе с другими литераторами подготовил к печати и перевел первую и вторую части «Новых стихотворений».

Я уже писал о веселости, жизнелюбии и врожденном чувстве юмора у Кости. О его вежливости без тени заискивания, о деликатности и скромности. Не было в нем ни капли высокомерия.

Повторяю, Костя был настоящий интеллигент: прост, смел, откровенен, честен, очень требователен, и в первую очередь к себе.

Оттого меня и тянуло к нему, и не только меня.

Наступил вечер 26 апреля 1976 года. Я стучал, как дятел, на пишмашинке в рабочей комнате в глубине квартиры. Час назад пришел из книжного магазина. Лифтерши, толстой старухи Ирины Алексеевны, которая в тот день дежурила и редко отлучалась, почему-то на месте не было. Потом узнали: ушла к кому-то пить чай. Так ли? А может, велели на полчаса убраться?

Сквозь стук металлических литер через несколько дверей пробился до меня не то крик, не то гоготание. «Опять мальчишки дурачатся»,— подумал я. Когда не было на месте лифтерши, в подъезд нередко вваливались какие-то компании, курили, орали, глотали из горлышка водку, целовали подружек, жгли на подоконниках костерчики из спичек и коробок от сигарет. Но на этот раз пробивавшийся из-за дверей крик был непривычный, какой-то странный. Будто на нижних этажах учинили драку и кого-то били — это тоже не новость в наше время. А может, и не били, а просто по-идиотски вопили, чтобы попугать жильцов.

Нет, крик был резкий, пронзительный, и, как потом я вспоминал, полный отчаяния.

Утром всех в подъезде ошеломила весть: примерно в восемь тридцать вечера на Костю было совершено нападение, когда он вышел из лифта с сумкой — шел из магазина. Вроде бы он уже вынул из кармана ключи, и здесь притаившийся у двери какой-то тип ударил его свинцовым кастетом или еще чем-то очень тяжелым по голове. Ударил раз или несколько раз и скрылся. Обливаясь кровью, с проломленной головой Костя упал рядом с порогом своей квартиры.

Ближайшие по этажу соседи выскочили, вызвали «скорую», и Костю увезли в 67-ю горбольницу. Откуда-то жильцам стало известно, что бил один, а второй стоял этажом-двумя ниже. На шухере? Пол перед лифтом был залит кровью, а рядом валялась сумка с пачками печенья и бутылкой сухого вина.

Когда я сбежал на площадку пятого этажа, кровь была старательно вытерта.

Весь день не мог я опомниться от случившегося. Кто напал? Зачем? Нет, у Кости ничего не взяли, даже ключи, чтобы открыть квартиру и обчистить... Напали просто так? Не похоже. Наверно, еще на улице выследили, пошли следом. Все заранее разработано и «чисто», профессионально исполнено. Как я позже узнал от жены Кости, она в это время была с подругой в кино, хотя обычно ходила в кино с Костей. Момент был выбран очень точно. За ним следили, ему звонили с угрозами по телефону и подстерегли на лестнице.

Многое прояснилось днем, когда ко мне зашел невысокий человек в штатском с незапоминающимся лицом, представился следователем нашего 12-го отделения милиции. Он сел на ту же кушетку, где не так давно сидел Костя, вынул лист бумаги и спросил, что я знаю о нападении на Богатырева. Я рассказал ему все, что знал, вернее — слышал и в свою очередь спросил у следователя, чем может быть вызвано это нападение.

Следователь откровенно сказал — я даже удивился такой откровенности,— что нападение могло быть вызвано тремя причинами: хулиганское действие, немотивированное или политическое... Последнее его предположение сильно врезалось мне в мозг.

— Будем искать,— сказал следователь и ушел, не получив от меня ценных данных.

Костю оперировали. Его друзья добились, чтобы оперировал хороший хирург. Операция длилась несколько часов. Потом его перевезли из больницы в Институт нейрохирургии имени Бурденко. Я часто спрашивал у Лены, Костиной жены, как он себя чувствует. Она глухо и замкнуто отвечала: положение очень тяжелое. Костя все время без сознания, что будет дальше — неизвестно.

Все Костины близкие и друзья жили ожиданием: выживет ли?

О нападении на него не раз передавало западное радио.

Лена, ежедневно навещавшая Костю и носившая ему еду, рассказывала, что положение становится все хуже, Костя лишь иногда приходит в сознание и узнает ее. Около двух месяцев Костин организм боролся за жизнь, но удары были нанесены слишком профессионально, и Костин организм после всех тягот, бедствий и борьбы за выживание в лагере на этот раз не победил...

В милиции сказали, что дело будет передано на Петровку, 38,— больше шансов найти убийц.

Народа на похоронах было много. Отпевали Костю в знаменитой очень красивой и очень древней времен Ивана Грозного церкви Преображения Господня в Переделкино, в которой отпевали и Пастернака. Потом

большая процессия с венками двинулась на кладбище. Я смотрел на бледное Костино лицо с венчиком на лбу и не мог поверить, что его многотрудная, многострадальная жизнь кончилась.

В процессии было много знакомых и незнакомых мне писателей и Костиных друзей по литературе, по ГУЛАГу. Был здесь и академик Сахаров — мне показал его старый приятель Б. С., нынче видный литературовед и критик.

Я впервые видел живого Сахарова — он был совсем не похож на того седого, сутулого старика, каким стал через каких-то десять лет. Очень, очень трудных для него. Тогда он был сравнительно молод, строен; лицо очень простое, живое, без печати собственной значительности — никак не скажешь, что это всемирно известный академик. Он был в скромном синем костюме с белой незастегнутой рубашкой, с развевающимися на ветру седеющими волосами.

То и дело щелкали из-за кустов и деревьев, да и открыто фотоаппараты, работали кинокамеры; и кто-то около меня заметил: «Всех присутствующих засекают...»

«Ну и черт с ними, пусть засекают! Все равно всех не напугаешь и не посадишь!» — думали, как мне кажется, почти все, а закаленные в боях за человеческие права в стране, уже медленно разгибающей полусогнутую спину,— те не обращали никакого внимания на опасный блеск оптики.

Что меня порадовало — если здесь уместно это слово,— тут были люди разных национальностей и возрастов: всех объединила беда, желание отдать последний долг настоящему — в истинном смысле этого слова — человеку. И мало было просто любопытных.

Возле вырытой в глинистой подмосковной земле чуть на склоне могилы неподалеку от могилы старшего друга, любившего Костю, Бориса Пастернака, в цветах лежал в гробу Костя. Был яркий июньский день, двадцатое июня, свежо зеленели не так давно вырвавшиеся на волю из почек и из-под земли молодые листки и трава, в легком синем небе плыли, растягиваясь и перестраиваясь в высоте, прозрачные облачка. И этот праздник раннего лета, доброе тепло высоко стоящего вечного солнца, радостно носившиеся в небе ласточки — все это так не соответствовало тому непоправимому, что чувствовали стоявшие у гроба.

Вечная жизнь продолжалась, но продолжалась уже без Кости.

Выступали с последним словом прощания его друзья — Шаров, Осип Черный, Айги... Говорили откровенно и резко, не боясь, что, возможно, кое у кого в штатском из спецслужб четко работал, мотая пленку, маленький спецдиктофон в кармане или в полуоткрытой сумке.

Писатель Владимир Войнович, размахивая одной рукой, вбивал в надгробную тишину слова. Среди прочего он сказал, что Костя был приговорен к смерти, потом — к двадцати пяти годам лагерей, и теперь ровно через двадцать пять лет приговор приведен в исполнение. Кто приговорил, тот и убил.

Я сел в автобус, ехавший с кладбища.

Автобус остановился возле подъезда дома, где жили мы с Костей. Народу было много. Женщины вжимались в переполненный лифт, мужчины шли пешком на пятый этаж к Костиной квартире. В открытую дверь ее валил народ. Я на миг остановился возле этой двери, что-то дрогнуло внутри — войти? Поместятся ли все? Да и не такой я близкий Костин друг, чтобы ломиться на поминки.

Я пошел выше на свой этаж.

Придя к себе, я долго смотрел в окно, смотрел и вспоминал, как стучали о крышку опущенного в могилу гроба горсти уже подсохшей глинистой земли, как быстро с профессиональной деловитостью замелькали лопаты могильщиков, и над Костей вырос холмик, вскоре покрытый венками и цветами. Я смотрел в окно, и думалось самое обычное и простое, что приходит на ум в такие минуты. Мы еще ходим по земле со своими горестями, радостями и надеждами, скорее всего тщетными, а Костя уже лежит в земле. Навсегда. Навечно.

Своей жизнью он прикрывал других, более терпеливых и нерешительных.

Часа через полтора мои раздумья прервал телефонный звонок.

В трубке послышался голос брата Лены. Он извинился и спросил, нет ли у меня водки. Я ответил, что кое-что есть, всегда, всегда ее, проклятой, не хватает! — взял, что у меня было, и спустился в Костину квартиру.

Наверно, у живого Кости были и слабости, и недостатки — у кого их нет? Все мы человеки. Но я их не знал. Как и не знал, очевидно, всех сложностей и противоречий его характера — у кого их нет? — не знал в подробностях всех перипетий его не очень долгой, но очень живой, насыщенной жизни. Но и за свою недолгую жизнь он сумел сделать много. Его знает наш читатель. Его любят и чтят в Германии. Недаром там вышла толстая книга на двух языках «Константин Богатырев — друг немецкой литературы». Давно понимая его роль в сближении русско-немецких культур, германское телевидение сняло фильм о похоронах Кости. Несколько лет назад в Центральном доме медика прошел вечер его памяти...

Но долго ли его живой образ — веселый и печальный — будет жить среди нас?

Честно говоря, заметки о Константине Петровиче Богатыреве, ярком, отзывчивом, талантливом человеке с трагической судьбой, давно должны были написать его близкие друзья, знавшие Костю лучше меня. Многие упоминания и даже абзацы в наших журналах и газетах о нем за последние годы — маловато для Кости. И раз никто не написал о нем серьезных, значительных заметок, пришлось написать мне все, что я знаю о Косте.

Богатырев не должен быть забыт.

■

ИЗ РЕЕСТРА ОТКРЫТИЙ ЧУ́ДНЫХ

Пожалуй, ни один из крупных германистов не рискнет сегодня назваться подлинным знатоком творчества Генриха Бёлля, ибо знает: истинные масштабы наследия писателя теперь не ведомы никому. Достаточно напомнить, что своего первенца «Ангел молчал» (см. о нем «ИЛ», 1993, № 3) автор фактически скрыл: роман увидел свет не в начале 1951 года (как полагалось бы), а почти сорок лет спустя.

И вот очередная маленькая сенсация: оказывается, кроме небольших прозаических произведений, зимой 1946/47 года появился и роман «Крест без любви» — 204 страницы, написанные убористым почерком. Машинописный вариант этой до сих пор не опубликованной книги родственники писателя продали на аукционе в марте нынешнего года. В прошлом году пошли с молотка письма и открытки (всего 364); их адресат — друг Бёлля, Эрнст Адольф Кунц. Издание объявившейся рукописи — увы, дело далекого будущего или уже нешуточная сенсация: покупатель приобрел только бумаги; авторские права, срок действия которых истекает лишь в 2055 году, остаются у семьи Бёлля. Наследники милостиво разрешили печатать только выдержки из романа в трудах литературоведов.

Впрочем, это тоже отрадно: ведь новое 25-томное издание сочинений Нобелевского лауреата не вместило в себя все последние литературоведческие находки. О них профессор Вернер Белльман, автор послесловия к роману «Ангел молчал», продолжает сообщать, в частности, на страницах «Нойе цюрхер цайтунг». Конечно, принципиально новых открытий в творчестве Бёлля не случилось. Напротив, отмечено почти парадоксальное постоянство автора и в тематике (любовь, брак, религия), и в мировоззрении (критика общества и церкви). В этом смысле его ранние работы-наброски 1948 года («Ранение», «На краю», «Из дневника молодого священника») суть сказанное в зрелом периоде. Обнаруженные расхождения совсем иного рода: установлено, например, что в том же 1948 году было напечатано не пять (как считалось), а девять коротких рассказов. Словом, приведенные в справочниках даты и цифры требуют уточнения.

Среди исследовательских новинок выделяется книга Бернхарда Зовински «Генрих Бёлль» (издательство «Мецлер»). В ней хронологически представлены важнейшие произведения, а также очерки, выступления и интервью писателя; в каждом случае даны комментарии и анализ очерченного круга проблем. Специалисты оценивают эту книгу и как хорошее учебное пособие для филологов, изучающих немецкий язык.

ЕГО УНИВЕРСИТЕТЫ

Чарльз Буковски
(Журнал «Магазин литтерер»)

Умер Чарльз Буковски — один из самых интересных писателей современности, проживший пеструю и непростую жизнь. Он родился в 1920 году в местечке Андернах, что на Рейне.

А два года спустя семья в поисках лучшей доли перебралась в далекий Лос-Анджелес. Однако эта земля оказалась еще менее обетованной. Поначалу, правда, им удалось купить домик с садом и машину, на которой Буковски-старший развозил по утрам молоко. Но настали времена Великой Депрессии; отец, как и многие вокруг, потерял работу и ездил теперь лишь в ближайшую пивную. От этих периодических возлияний жизнь его домашних превратилась в пытку: скандалы, издевательства, побои. И мальчик возненавидел отца самой обыкновенной человеческой ненавистью.

Годы отрочества также протекали под знаком физических и моральных страданий: мучила тяжелейшая кожная болезнь, но более — унизительное бесплатное лечение (как сына неимущих). Приходилось сносить все, и это «все», словно злой рок, неизменно обращалось против Чарльза (так звали его на американский лад). Душа его тянулась к литературному творчеству; первые попытки сочинять он делал еще в школе. Но жизненная дорога повернула на безрадостную тропу: кабаки, бордели, ночлежки — путь в никуда. Чем только не доводилось зарабатывать на хлеб — от мойки посуды до обмывания трупов. Пятнадцать лет, начиная с 1955 года, Чарльз проработал на почте: он сортировал и разносил корреспонденцию, в основном в ночную смену, посвящая день стихам. Они публиковались в подпольных изданиях, вниманием почти не пользовались, да и поныне малоизвестны читателям. О своей карьере почтовика он расскажет впоследствии в романе «Человек с кожаной сумкой».

«Поэтом по совместительству» Чарльз был вплоть до 1969 года — тогда его имя появилось наконец среди авторов антологии престижного издательства «Пенгвин». Но настоящая слава пришла к нему благодаря Карлу Вайсснеру. Это он открыл миру нового писателя, перевел его произведения, обустроил его домашний очаг. Так Чарльз Буковски стал признанным поэтом, не имея университетского диплома, как не имели его Эзра Паунд и Т. С. Элиот, которыми он восхищался.

На закате своих дней Чарльз Буковски полностью отказался от пива и вина. Соседи радостно наблюдали, как он ходит с газонокосилкой по своему саду. Нынешняя весна стала для него последней: он умер от лейкемии и похоронен в Лос-

Анджелесе. Жизнь его прошла вдали от Германии, но страна помнит своего сына и считает его — Генриха Карла Буковски — своим, немецким, поэтом.

ФОТОИСКУССТВО НА СЛУЖБЕ ЗЛА

Весной 1944 года в Мюнхенском городском музее открылась выставка «Фотография как средство мифологизации фюрера». Представленные на ней работы были позаимствованы из книги «Хоффман и Гитлер» с подзаголовком, давшим название выставке (издательство «Клинкхардт унд Бирман»). В этом исследовании искусствовед Рудольф Херц показал, как фотоиндустрия Хоффмана создала тот образ, в котором немецкий народ увидел воплощение своих чаяний.

Фотоделу будущий главный фотограф третьего рейха обучался в Лондоне; свою карьеру он начал в Мюнхене времен революции 1918—1919 годов, работая фоторепортером. К 1920 году он из «красного» превратился в «коричневого», а доверие Гитлера завоевал тем, что в течение трех лет — вплоть до ноябрьского путча 1923 года — послушно соблюдал запрет фотографировать фюрера во время его выступлений. Благодаря своей уживчивости, общительности и устойчивости к спиртному он стал для нацистского главаря советником, компаньоном и наперсником в одном лице. (Кстати, он же познакомил Гитлера с Евой Браун.) Дружбу с главой рейха Хоффман скрывал до самой смерти в 1957 году.

Поиск желаемого имиджа фотограф и его «фотомодель» вели сообща, но режиссером, по мнению Р. Херца, был Гитлер. В ходе многочисленных фотопроб продумывалось все до мелочей: мимика, жесты, позы, одежда, прическа, фон. Через ряд образов — молодежный лидер в кожанке, партийный босс с пресловутой челкой и Железным крестом, серьезный политик в черном костюме — к президентской кампании 1932 года был найден впечатляющий имидж нового лидера, взявшего власть над людьми еще до официального к ней прихода. После 1933 года Хоффман, являясь и главным издателем этой фотопродукции, закрепил успех, запустив в производство сотню новых снимков из личного архива Гитлера. Всего с 1926 по 1945 год первый человек рейха предстал перед народом в 235 вариантах: то были иллюстрации в газетах и журналах, специальные фотоальбомы, изображения на упаковках сигарет и одежде, а также наборы открыток. (Интересно, что один из таких комплектов изучал Чарли Чаплин, готовясь к роли в фильме «Великий диктатор».)

Профессионально наводя глянец на облик нацистского вождя (не только в переносном, но и в прямом смысле — например, с помощью световых эффектов, смягчавших, если требовалось, черты «сверхчеловека»), Генрих Хоффман, безусловно, оказал великую услугу нацистам в массовой агитации. Однако, отмечает Р. Херц, массы и сами агитировались с полуоборота. Впрочем, его изыскания — один из первых, хотя и весомых, камней, заложенных в фундамент этих исторических исследований, и вопрос о роли фотопропаганды — в отсутствие телевидения — требует новых материалов для своего разрешения.

«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» НА БЕРЛИНСКОЙ СЦЕНЕ

Такие драматурги, как Бото Штраус и Петер Хандке, такие режиссеры, как Клаус Михаэль Грюбер, Петер Штайн и Люк Бонди, такие актеры, как Бруно Ганц и Эдит Клевер, превратили известный берлинский театр «Шаубюне» в крупнейший европейский центр современного сценического искусства. Весной этого года в «Шаубюне» прошла еще одна премьера европейского масштаба: Клаус Михаэль Грюбер осуществил постановку пьесы «Великолепный» знаменитого французского драматурга и писателя XX века Жана Жене.

Первый вариант пьесы был создан в 1943 году; затем автор несколько раз переписывал текст, менял название, а в 1948 году уничтожил практически готовое произведение. Единственный уцелевший экземпляр был опубликован лишь недавно (согласно воле Ж. Жене — посмертно). Перевод на немецкий для постановки в Берлине сделал Петер Хандке.

«Великолепный» — это название роскошного отеля, где разворачивается действие. В одном из номеров шестеро бандитов держат заложницей богатую американку; к ним присоединяется перебежчик-полицейский. Когда заложницу случайно убивают, главарь банды, дабы предотвратить нападение группы захвата, гримируется под нее, переодевается в женское платье и появляется на балконе, сбивая с толку полицию. Диалоги действующих лиц полны черного юмора, парадоксов и игры слов. Рефреном звучит мысль о том, что полные противоположности необходимы друг другу — как, например, в цепочке «заложник — бандит — полицейский».

Любопытное оформление сцены предложил постоянный творческий партнер Клауса Михаэля Грюбера мадридский художник Эдуардо Арройо. Сценическое пространство (номер в отеле) определяется четырьмя основными элементами. Стены номера покрыты обоями с узором из огромных цветов, которые в ключевые моменты действия становятся то черными, то кроваво-красными; гигантская — шесть метров в диаметре — люстра с висюльками; статуя дискобола в центре; и, наконец, балкон, выходящий на улицу.

Афиша спектакля «Великолепный».
(Газета «Паис»)

ПРОЩАНИЕ С ЛЕГЕНДОЙ

Во времена Веймарской республики имя Курта Тухольского было синонимом антимилитаризма и антишовинизма. Впрочем, свои критические работы в стихах и прозе он подписывал псевдонимами. На зарождение фашизма писатель отозвался известной публикацией «Германия, Германия превыше всего». Придя к власти, нацисты сожгли его книги в числе прочих неугодных, а самого автора лишили гражданства. Уроженец Берлина нашел пристанище в Швеции, где в 1935 году в возрасте сорока пяти лет покончил с собой.

Жизнеописанию этой яркой личности посвятил свое обширное — в 576 страниц — исследование «Курт Тухольский» (издательство «Ровольт») историк и публицист Михаэль Хепп. Обилие новых архивных данных поражает: комментарии к ним заняли целый раздел из 160 страниц. В свете биографических подробностей ореол славы этого кумира левых, увы, тускнеет. Так оказывается, что в 1920 году Тухольский, возглавив журнал «Пирон», участвовал в антипольской пропагандистской кампании в Верхней Силезии. В переломные 1918—1919 годы его отношение к первой мировой войне было неопределенным. Возможно, здесь сказа-

лась противоречивая натура Тухольского; к тому же его политические взгляды, развитие которых биограф прослеживает особенно тщательно, периодически менялись.

Глубже других исследователей М. Хепп проникает в частную жизнь К. Тухольского. В результате святой лик его героя приобретает более земные черты. Щеголь и бонвиван, он не вписался в рамки однобрачия, не стал примерным сыном в глазах матери, с которой не ладил,— как органически не мог поладить ни с одной из встретившихся на его пути женщин. Конечно, моральные несовершенства не умаляют писательских заслуг и являются просто штрихами к портрету. Более того, по мнению некоторых рецензентов, истинное лицо главного героя еще скрыто не одной маской, и новая книга — при всей своей полноте — лишь веха в исследованиях темы «Тухольский и литература».

ТРИУМФАЛЬНАЯ ПРОЗА ПОЭТА

Готфрид Август Бюргер — сейчас имя этого немецкого поэта, со дня смерти которого минуло 200 лет, вряд ли о чем говорит широкой публике. Между тем герой-путешественник его прозаических произведений, затмив и «Ленору», и другие баллады направления «Буря и натиск», снискал мировую известность, особенно полюбившись юным читателям. Впрочем, в те времена в Германии книгами о странствиях увлекались все от мала до велика: ведь за ее пределами бывали лишь военные, моряки да особо важные персоны. (Так, Шиллер никогда не видел моря, а Кант не покидал Восточной Пруссии.)

Ханс Альберс в роли Мюнхгаузена (1943)

(Газета «Вельт»)

Одним из таких служивых был сын помещика из Ганновера. В 1740 году, во время русско-турецкой войны, он находился в рядах русской армии. Перипетии его военных походов легли в основу приключенческих историй, поведанных от лица его литературного двойника. По воле автора в пересказе героя они обросли небылицами, отчего стали еще занимательнее. Непревзойденный враль сочинял так заразительно, что следом за ним начали травить байки всевозможные «соавторы». С каждым переизданием сборник рассказов Бюргера все пух, сюжеты множились и переиначивались. В зарубежном лондонском варианте, например, это были, скорее, фантазии на темы оригинала 1787 года. Лишь в переиздании 1890 года его оставили нетронутым. Красочнее всех получился, пожалуй, нынешний выпуск (издательство «Инзель»): иллюстрации Фрица Кределя великолепны.

Надо сказать, что самозванцы не повредили популярности автора. Семь последних лет, отведенных ему судьбой, омрачали сочинители иного толка с их пересудами о двоеженстве Бюргера. Тем временем его балагур одолевал конкурентов, и даже Мориц Август фон Тюммель со своим десятитомником «Путешествие из Франции по полуденной провинции» был побежден. Человек, давший имя персонажу, пережил скончавшегося в Гёттингене Бюргера всего на три года, но литературная слава увековечила имя этого немецкого офицера. Его звали Карл Фридрих Иероним барон фон Мюнхгаузен.

ИН ВИ́НО ВЕ́РИТАС?

Каких только подсчетов не видала современная эпоха — эпоха статистики! Но дотошности человека вкупе с изощренностью его ума, похоже, нет предела. Поэт, прозаик и эссеист Михаэль Крюгер, например, полюбопытствовал выяснить, как количество созданной и потребленной пищи для души соотносится с потреблением спиртных напитков. Результаты изысканий он, среди прочего, привел на страницах своей вполне серьезной книги «Конец романа», в которой попытался выявить все, что определило дух человека XX века. Естественно, для этого автор обратился к интеллектуальной истории столетия: к учению тантра-йога, теории языка, философии постмодернизма, а также фашистской доктрине в различных ее проявлениях.

Готфрид Август Бюргер (1747—1794)

(Газета «Вельт»)

Итак, по данным М. Крюгера, житель Германии ежегодно поглощает 23,4 литра вина и 20 книг (баланс неплохой — почти один к одному), а житель Франции — 100,9 литра и 12 книг. Чтобы написать философский трактат в 360 страниц, немецкому профессору требуется 18 литров, то есть 0,05 литра на страницу. Его коллега-француз, работая над очерком в 30 страниц, потребляет 21 литр, или 0,7 литра на страницу. Вот почему философские труды у немцев получаются суше, иронизирует М. Крюгер. И пристрастие к пиву их не спасает. Что касается шнапса и напитков покрепче, то на одну прочтенную книгу у испанца приходится 5 литров, у немца — 0,8 литра, у француза — 1,7 литра, а у итальянца — 3 литра. Так что коегде в Европе возлияние предпочитают чтению и, как утверждает М. Крюгер, хмель и творчество идут в тандеме. Что до самого статистика-любителя, то он не называет дозу горячительного, принятую им, чтобы написать сто с лишним страниц этой книги.

По материалам газет «Вельт» (Германия), «Паис» (Испания), еженедельника «Цайт» (Германия), журналов «Фахдинст германистик» (Германия), «Кензен литтерер», «Магазин литтерер» (Франция)

Проза, пьесы, статьи, стихи

1956
Э. М. Ремарк. Время жить и время умирать (роман). № 8—10.

1957
Б. Брехт. Добрый человек из Сезуана (пьеса), № 2.
А. Зегерс. Возвращение (повесть), № 6.
Э. М. Ремарк. Черный обелиск (главы из романа), № 8.

1958
И. Р. Бехер. Стихи, № 10.

1959
Э. М. Ремарк. Триумфальная арка (роман), № 8—11.

1960
А. Зегерс. Решение (роман), №1—4.
С. Хермлин. Стихи, № 5.

1961
А. Зегерс. О глубине и широте в литературе (сокр. текст доклада на Пятом съезде немецких писателей), № 9.

1962
Д. Нолль. Приключения Вернера Хольта (роман), № 4—7.

1964
К. Вольф. Расколотое небо (роман), № 1.
Г. Бёлль. Глазами клоуна (роман) № 3.
Д. Нолль. Приключения Вернера Хольта, Кн. 2-я (роман), № 8—10.

1965
В. Кёппен. Смерть в Риме (роман), № 10.
Э. Штриттматтер. Оле Бинкоп (роман), № 7—10.

1966
Х. М. Энценсбергер. Стихи, № 10.
Г. Бёлль. Чем кончилась одна командировка (повесть), № 11, 12.

1968
Г. Кант. Актовый зал (роман), № 1—3.
Г. Грасс. Кошка и мышь (повесть), № 5.

1969
Г. Кунерт. Стихи, № 10.
Г. де Бройн. Буриданов осел (роман), № 11, 12.

1971
З. Ленц. Урок немецкого (роман), № 5—7.
Э. М. Ремарк. Тени в раю (роман), № 10,11.

1972
И. В. Гёте. Стихи, № 8.

1973
Г. де Бройн. Присуждение премии (роман), № 5.
С. Кирш. Стихи, № 6.

1974
М. Вальзер. Дуб и кролик (пьеса), № 2.
Г. Кант. Выходные данные (роман), № 3—5.

1975
М. Л. Кашниц. Стихи, № 2.

1977
Г. Гессе. Степной Волк (роман), № 4,5.

1978
Д. Веллерсхоф. Повести, № 2.
И. Р. Бехер. Стихи, № 6.

1979
М. В. Шульц. Солдат и женщина (повесть), № 10.

1981
И. Р. Бехер. Стихи, № 6.
Ф. Браун. Стихи, № 10.

1982
Г. де Бройн. Бранденбургские изыскания (повесть), № 1.

1983
А. Мехтель. Другая половина мира, или Утренние беседы с Паулой (роман), № 1.
Г. Грасс. Встреча в Тельгте (повесть), № 5.
Г. Грасс. Стихи, № 10.

1984
В. Буш. Стихи, № 3.

1985
Г. Бёлль. Письмо моим сыновьям, № 12.

1986
К. Вольф. Кассандра (повесть), № 1.
Д. Веллерсхоф. Победителю достанется все (роман), № 6—8.
Г. Вальраф. На самом дне (главы из книги), № 8,9.

1987
Кр. Хайн. Чужой друг (повесть), № 1.
К. Вольф. Авария (повесть), № 12.

1988
Г. Вальраф. Взгляд в досье, № 1.
Г. де Бройн. Новое благоденствие (роман), № 1.
Г. Бёлль. Под конвоем заботы (роман), № 11,12.
Ф. Фюман. Два рассказа на античные сюжеты, № 12.

1989
З. Ленц. Сербиянка. Облеченный доверием (рассказы), № 6.
Г. Бёлль. Четыре статьи о Солженицыне, № 8.
В. Хайдучек. Прегрешение (повесть), № 2.

1990
Ст. Гейм. Книга царя Давида (роман), № 4,5.

1991
И. Бобровский. Стихи, № 6.
П. Зюскинд. Парфюмер (роман), № 8.
Э. Юнгер. Из философской прозы, № 11.

1992
Т. Манн. Страдая Германией. Дневники 1933—1936 гг., № 1.
Х. Х. Эверс. Паук (рассказ), № 3.

1993
Г. Бенн. Лирика, № 1.
Г. Розендорфер. Письма в Древний Китай (роман), № 1.
Г. Гессе. Демиан (повесть), № 5.

1994
У. М. Майнхоф. Статьи, № 3.
У. Хан. Стихи, № 2.

❖ АВТОРЫ ЭТОГО НОМЕРА

ПАТРИК ЗЮСКИНД (PATRICK SÜSKIND; род. в 1949 г.) — немецкий драматург и прозаик. Получил музыкальное образование; изучал историю в Мюнхенском университете. Переменил несколько профессий: работал в патентном отделе фирмы «Сименс», тапером в танцевальном баре, тренером по настольному теннису. В 1984 году опубликовал пьесу «Контрабас» («Der Kontrabas»), принесшую ему известность. Автор романа «Парфюмер» (перевод напечатан в «ИЛ», 1991, № 8), сценариев для телевидения, рассказов и др. Повесть «Голубка» вышла в Швейцарии в 1987 году («Die Taube». Zürich, Diogenes Verlag, 1987).

ХАЙНЦ ЧЕХОВСКИЙ (HEINZ CZECHOWSKI; род. в 1935 г.) — немецкий поэт. Автор сборников стихов «Послеобеденные часы любящей пары» («Nachmittag eines Liebespaar», 1962), «Прогулка по воде» («Wasserfahrt», 1968), «Овцы и звезды» («Schafe und Sterne», 1974), «Что касается меня» («Was mich betrifft», 1981), «Я, скажем» («Ich, beispielweise», 1982), «Точных примет нет» («Kein naheres Zeichen», 1987).
Публикуемые стихи взяты из перечисленных сборников.

СТЕФАН ГЕЙМ (STEFAN HEYM; род. в 1913 г.) — немецкий писатель, пишет на немецком и английском языках. После прихода к власти фашизма эмигрировал в Чехословакию, затем в США. С 1952 г. живет в Восточной Германии. Автор романов «5 дней в июне» («5 Tage im Juni», 1974), «Коллин» («Collin», 1979), «Шварценберг» («Schwarzenberg», 1984), «Некролог» («Nachruf», 1988). На русский язык переведены его романы: «Заложники», «Крестоносцы», «Голдсборо», «Архив Андреаса Ленца», «Книга царя Давида» («ИЛ», 1990, № 4,5). Лауреат литературных премий имени Г. Манна и Национальной премии ГДР.
Роман «Агасфер» вышел в Мюнхене в 1981 г. («Ahasver». München, Wilhelm Goldmann Verlag, 1981).

ГЕРМАН ГЕССЕ (HERMANN HESSE; 1877—1962) — немецкий писатель, лауреат Нобелевской премии (1946); большую часть жизни прожил в Швейцарии. На русский язык переведены: повесть «Под колесом» («Unterm Rad», 1906; рус. пер. 1961), романы: «Игра в бисер» («Das Glasperlenspiel», 1943; рус. пер. 1963), «Степной Волк» («Der Steppenwolf», 1927; перевод напечатан в «ИЛ», 1977, № 4,5), «Демиан» («ИЛ», 1993, № 5), сборник повестей «Последнее лето Клингзора» («Klingsors letzter Sommer», Библиотека «ИЛ», 1986).
Предлагаемый вниманию читателя новый перевод индийской поэмы «Сиддхартха» Г. Гессе печатается по изданию: «Eine indische Dichtung. Siddhartha». Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag, 1969.

ХАНС МАГНУС ЭНЦЕНСБЕРГЕР (HANS MAGNUS ENZENSBERGER; род. в 1929 г.) — немецкий поэт, публицист, переводчик, издатель. Лауреат премии имени Бюхнера. Автор сборников стихов: «Защита волков» («Verteidigung der Wölfe», 1957), «Язык страны» («Landessprache», 1960), «Шрифт слепых» («Blindenschrift», 1964), принесших ему известность, «Мавзолей. 37 баллад из истории прогресса» («Mausoleum. Siebenunddreissig Balladen aus der Geschichte des Fortschritts», 1975), книги стихов «Музыка будущего» («Zukunftsmusik», 1992), книги очерков «Ах, Европа!» («Ach, Europa!», 1987) и других произведений. Книга «Великое переселение. 33 фрагмента с одним примечанием о некоторых особенностях охоты на людей» вышла в Германии («Die Grosse Wanderung. Dreiunddreissig Markierungen mit einer Fussnote. Über einige Besonderheiten bei der Menschenjagd». Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag, 1992.)

ХАРИТОНОВ МАРК СЕРГЕЕВИЧ (род. в 1937 г.) — писатель, литературовед. Автор повестей: «Прохор Меньшутин» (1988), «Провинциальная философия» (1993), романа «Линии судьбы, или Сундучок Милашевича», за который в 1992 году М. Харитонов удостоен премии «Букер», а также многих статей по немецкоязычным литературам.

■ Переводчики:

ВЕНГЕРОВА ЭЛЛА ВЛАДИМИРОВНА — литературный критик и переводчик с немецкого. В ее переводах публиковались пьесы немецких драматургов: Ф. Брукнера «Наполеон I», Д. Форте «Мартин Лютер и Томас Мюнцер», Ф. Брауна «Великий мир», П. Хакса «Амфитрион», «Пандора», «Разговор в семействе Штайн...», Х. Мюллера «Филоктет» и др. В «ИЛ» напечатаны в ее переводе главы из книги Гюнтера Вальрафа «На самом дне» (1986, № 8,9) и роман Патрика Зюскинда «Парфюмер», 1991, № 8).

МОРЕЙНО СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ (род. в 1964 г.) — поэт-переводчик с немецкого и польского языков. В его переводах печатались стихи немецких поэтов Пауля Целана, Готфрида Бенна, Гюнтера Айха, Карла Кролова («ИЛ», 1993, № 8), с польского — Чеслава Милоша и др.

ХЛЕБНИКОВ БОРИС НИКОЛАЕВИЧ (род. в 1943 г.) — поэт-переводчик. В его переводах публиковались немецкие народные песни и баллады, песни Ж. Брассанса (Франция), стихи У. Дж. Смита и Р. Фроста (США). В «ИЛ» напечатаны стихи Х. Вадера (1985, № 6), Э. Фрида (1987, № 10), Г. Грасса (1983, № 10 и 1988, № 4), повесть Кристофа Хайна «Чужой друг» (1987, № 1), роман Ст. Гейма «Книга царя Давида» (1990, № 4, 5) и др.

ФЕДОРОВА НИНА НИКОЛАЕВНА — переводчик с немецкого и шведского языков. В ее переводах издавались произведения писателей ГДР и ФРГ, Австрии, Швеции; в «ИЛ» напечатаны: повесть Анны Зегерс «И снова встреча» (1978, № 11), романы Ангелики Мехтель «Другая половина мира, или Утренние беседы с Паулой» (1983, № 1), Д. Веллерсхофа «Победителю достанется все» (совместно с М. Рудницким; 1986, № 6—8), новелла Ф. Дюрренматта «Поручение, или О наблюдении наблюдателя за наблюдателями» (1990, № 1), рассказы З. Ленца, Ф. Фюмана, Р. Вернер и др.

ЕГОРШЕВ АНАТОЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ (род. в 1935 г.) — журналист-германист, переводчик, сотрудник газеты «Нойес лебен» (Москва). Пишет на немецком языке. Переводит главным образом с русского на немецкий рассказы и журналистские работы русских авторов.

ВАСИЛЬЕВА НАТАЛИЯ ГЕННАДИЕВНА — переводчик с венгерского и немецкого языков. В ее переводах публиковались новеллы М. Бабича, Й. Е. Тершанского, Э. Кестнера и др.

■

Британская Энциклопедия

"БРИТАННИКА" - самая знаменитая и самая авторитетная энциклопедия в мире.
"БРИТАННИКА" - это мудрость веков и американская полиграфия 1994 года.

Что общего между Генри Фордом, Зигмундом Фрейдом, Бернардом Шоу и Львом Троцким?
Все они были авторами "БРИТАННИКИ".
Что общего между Елизаветой II, Милошем Форманом, Полом Маккартни и Маргарет Тэтчер?
Все они - владельцы комплекта "БРИТАННИКИ".
Что общего между историей Франции, правильным питанием, игрой на бирже и Ф. Дзержинским?
Обо всем этом Вы прочтете в "БРИТАННИКЕ".

"ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA"

это 33 роскошных тома с золотым обрезом и черным переплетом из натуральной кожи. 82 300 статей, 23 000 фотографий, двухтомный "ИНДЕКС" с 500 000 ссылками, бесплатный "ЕЖЕГОДНИК" с последней статистикой о 146 странах и обзором мировых событий за прошлый год, а также специализированные медицинские и научно-технические "ЕЖЕГОДНИКИ".

Каждый покупатель получает официальное свидетельство и становится членом элитарного
"Клуба Владельцев Британники".
Для членов клуба комплект "ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA" обновляется ежегодно.

Другая продукция компании "ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA":

Полное издание словаря английского языка **WEBSTER'S** в 3 томах.
468 000 слов, 200 000 примеров словоупотребления, 3000 иллюстраций. В последенем томе - удобный англо-французско-немецко-итальянско-испанско-шведско-идиш словарь наиболее употребительных слов.
Крупноформатный Атлас мира **"BRITANNICA"**. Одно из самых знаменитых изданий в мире. 558 стр. Формат 286×381. Подробный индекс географических названий. Справочные таблицы. Специальная информация для путешественников. Красочное подарочное издание.
"GREAT BOOKS" - "Великие книги Западной цивилизации" в 60 томах. Единственное в мире издание подобного рода, включающее полные тексты 517 произведений 130 авторов, наиболее повлиявшие на развитие западной цивилизации. От Гомера до Орвелла, от Плутарха до Кейнса, от Архимеда до Макса Планка. Уникальный двухтомный индекс 3020 тем, обсуждаемых на каждой из 37 000 стр. этого издания, делает его естественным дополнением к "ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA". Незаменимый справочник для всех, кто пишет по-русски и читает по-английски.
CD-ROM, содержащий двухтомный индекс "БРИТАННИКИ" и словарь WEBSTER'S.

"ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA" для детей:

"ОТКРЫТИЕ МИРА" - **"Britannica Discovery Library"** в 12 томах.
Красочная энциклопедия для малышей, начинающих учиться читать одновременно по-русски и по-английски.
"БРИТАННИКА" для детей младшего возраста. **"Young Children Britannica"** в 16 томах.
"ДЕТСКАЯ БРИТАННИКА" в 20 томах. **Простой английский язык, доступный школьнику. 6 770 страниц, 6000 иллюстраций. Дальние страны, великие люди, диковинные звери, персональные компьютеры... И еще 30 000 тем! В составе энциклопедии - аннотированный Атлас мира.**

Весь этот мир знаний впервые делает доступным фирма

"Мир Знаний",

эксклюзивный дистрибьютор компании
"ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA"

Телефон/факс в Москве: (095) 161 07 75
и 924 90 02, 923 78 91

E.-mail: mir@znanija.msk.su